

## Герберт Уэллс

### Рассказы

#### *Замечательный случай с глазами Дэвидсона*

Пер. - К. Чуковский.

Временное душевное расстройство Сиднея Дэвидсона, замечательное само по себе, приобретает еще большее значение, если прислушаться к объяснениям доктора Уэйда. Оно наводит на мысли о самых причудливых возможностях общения между людьми в будущем, о том, что можно будет переноситься на несколько минут на противоположную сторону земного шара и оказываться в поле зрения невидимых нам глаз в те мгновения, когда мы заняты самыми потаенными делами. Мне пришлось быть непосредственно свидетелем припадка, случившегося с Дэвидсоном, и я считаю своей прямой обязанностью изложить свое наблюдение на бумаге.

Говоря, что был ближайшим свидетелем припадка, я имею в виду тот факт, что я оказался первым на месте происшествия. Случилось это в Гарлоу, в Техническом колледже, возле самой Хайгетской арки. Дэвидсон был один в большой лаборатории, я был в малой, там, где весы, и делал кое-какие заметки. Гроза прервала мои занятия. После одного из самых сильных раскатов грома я услышал в соседней комнате звон разбитого стекла. Я бросил писать, оглянулся и прислушался. В первое мгновение я ничего не слышал. Град оглушительно барабанил по железной крыше. Потом опять раздался шум и звон стекла, на этот раз уже несомненный. Что-то тяжелое упало со стола. Я мигом вскочил и открыл дверь в большую лабораторию.

К своему удивлению, я услышал Странный смех и увидел, что Дэвидсон стоит посреди комнаты, шатаясь, со странным выражением лица. Сначала я подумал, что он пьян. Он не замечал меня. Он хватался за что-то невидимое, словно отстоявшее на ярд от его лица; медленно и как бы колеблясь, он протягивал руку и ловил пустое пространство.

- Куда она девалась? - спрашивал он. Он проводил рукой по лицу, растопырив пальцы. - Великий Скотт! - воскликнул он. Три-четыре года тому назад была в моде такая божба.

Он неловко приподнял одну ногу, как будто ноги у него были приклеены к полу.

- Дэвидсон! - крикнул я. - Что с вами, Дэвидсон?

Он обернулся ко мне и стал искать меня глазами. Он глядел поверх меня, на меня, направо и налево от меня, но, очевидно, не видел меня.

- Волны! - сказал он. - И какая красивая шхуна! Я готов поклясться, что слышал голос Беллоуза. Эй! Эй! - вдруг закричал он громко.

Я подумал, что он дурачится. Но тут я увидел на полу у его ног осколки нашего лучшего электрометра.

- Что с вами, дружище? - спросил я. - Вы разбили электрометр?

- Опять голос Беллоуза, - сказал он. - У меня исчезли руки, но остались друзья. Что-то насчет электрометров. Беллоуз! Где вы? - И он, пошатываясь, быстро направился ко мне. - Вот гадость, мягкое, как масло, - сказал он. Тут он наткнулся на скамью и отпрыгнул. - А вот это совсем не похоже на масло, - заметил он и остановился, покачиваясь.

Мне стало страшно.

- Дэвидсон! - воскликнул я. - Ради бога, что с вами такое?

Он оглянулся по сторонам.

- Готов держать пари, что это Беллоуз. Полно прятаться, Беллоуз. Выходите, будьте мужчиной.

Мне пришло в голову, что он, может быть, внезапно ослеп.

Я обошел вокруг стола и дотронулся до его рукава. Никогда не видел я, чтобы кто-нибудь так вздрагивал! Он отскочил и встал в оборонительную позу. Лицо его исказилось от ужаса.

- Боже! - воскликнул он. - Что это?

- Это я, Беллоуз. Прошу вас, Дэвидсон, перестаньте!

Когда я ответил ему, он подпрыгнул и поглядел - как бы это выразить? - прямо сквозь меня. Он заговорил не со мной, а с собою:

- Здесь днем на открытом берегу спрятаться негде. - Он с растерянным видом оглянулся. - Надо бежать! - Он неожиданно повернулся и с размаху налетел на большой электромагнит - с такой силой, что, как потом обнаружилось, расшиб себе плечо и челюсть. Он отскочил на шаг и, чуть не плача, воскликнул:

- Что со мной?

Потом замер, побелев от ужаса и весь дрожа. Правой рукой он обхватил левую в том месте, которое только что ушиб о магнит.

Тут и меня охватило волнение. Я был страшно испуган.

- Дэвидсон, не волнуйтесь, - сказал я.

При звуке моего голоса он встрепенулся, но уже не так тревожно, как в первый раз. Я повторил свои слова как только мог отчетливо и твердо.

- Беллоуз, это вы? - спросил он.

- Разве вы не видите меня?

Он засмеялся.

- Я не вижу даже самого себя. Черт возьми, куда это нас занесло?

- Мы здесь, - ответил я, - в лаборатории.

- В лаборатории? - машинально повторил он и провел рукой по лбу. - Это прежде я был в лаборатории. До того, как сверкнула молния... Но черт меня побери, если я сейчас в лаборатории!.. Что это там за корабль?

- Нет никакого корабля, - ответил я. - Пожалуйста, опомнитесь, дружище!

- Никакого корабля! - повторил он, но, кажется, тотчас же позабыл мои слова. - Я думаю, - медленно начал он, - что мы оба умерли. Но любопытней всего, что я чувствую себя так, будто тело все же у меня осталось. Должно быть, к этому не сразу привыкаешь. Очевидно, старый корабль разбило молнией. Ловко, не правда ли, Беллоуз?

- Не городите чепуху. Вы целы и невредимы. И ведете себя отвратительно: вот разбили новый электрометр. Не хотел бы я быть на вашем месте, когда вернется Бойс.

Он перевел глаза с меня на диаграммы криогидратов.

- Должно быть, я оглох, - сказал он. - Я вижу дым, - значит, палили из пушки, а я совсем не слышал выстрела.

Я опять положил руку ему на плечо. На этот раз он отнесся к этому спокойнее.

- Наши тела стали теперь как бы невидимками, - сказал он. - Но смотрите, там шляпка... огибает мыс... В конце концов это очень похоже на прежнюю жизнь. Только климат другой!

Я стал трясти его за руку.

- Дэвидсон! - закричал я. - Дэвидсон! Проснитесь!

Как раз в эту минуту вошел Бойс. Как только он заговорил, Дэвидсон воскликнул:

- Старина Бойс! Вы тоже умерли? Вот здорово!

Я поспешил объяснить, что Дэвидсон находится в каком-то сомнамбулическом трансе. Бойс сразу заинтересовался. Мы делали все, что могли, чтобы вывести его из этого необычного состояния. Он отвечал на наши вопросы и сам спрашивал, но его внимание поминутно отвлекалось все теми же видениями какого-то берега и корабля. Он все толковал о какой-то шляпке, о шляпбалках, о парусах, раздуваемых ветром. Жуткое чувство вызывали у нас его речи в сумрачной лаборатории. Он был слеп и беспомощен. Пришлось взять его под руки и отвести в комнату к Бойсу. Покуда Бойс беседовал с ним и терпеливо слушал его бредни о корабле, я прошел по коридору и пригласил старика Уэйда посмотреть его. Голос нашего декана как будто отрезвил его, но ненадолго. Дэвидсон спросил, куда девались его руки

и почему он должен передвигаться по поясу в земле. Уэйд долго думал над этим (вы знаете его манеру сдвигать брови), потом тихонько взял его руку и провел ею по кушетке.

- Вот это кушетка, - сказал Уэйд. - Кушетка в комнате профессора Бойса... Набита конским волосом.

Дэвидсон погладил кушетку и, подумав, сказал, что руками он ее чувствует хорошо, но увидеть никак не может.

- Что же вы видите? - спросил Уэйд.

Дэвидсон ответил, что видит только песок и разбитые раковины. Уэйд дал ему пощупать еще несколько предметов; при этом он описывал их и внимательно наблюдал за ним.

- Корабль на горизонте, - ни с того ни с сего промолвил Дэвидсон.

- Оставьте корабль, - сказал Уэйд. - Послушайте, Дэвидсон, вы знаете, что такое галлюцинация?

- Конечно, - сказал Дэвидсон.

- Так имейте в виду: все, что вы видите - галлюцинация.

- Епископ Беркли, - произнес Дэвидсон.

- Послушайте меня, - сказал Уэйд. - Вы целы и невредимы, и вы в комнате профессора Бойса. Но у вас что-то произошло с глазами. Испортилось зрение. Вы слышите и осязаете, но не видите... Понятно?

- А мне кажется, что я вижу даже слишком много. - Дэвидсон потер глаза кулаками и прибавил: - Ну, еще что?

- Больше ничего. И пусть это вас не беспокоит. Мы с Беллоузом посадим вас в кэб и отвезем домой.

- Погодите, - Дэвидсон задумался. - Давайте я опять сяду, а вы, будьте добры, повторите, что только что сказали.

Уэйд охотно исполнил его просьбу. Дэвидсон закрыл глаза и обхватил голову руками.

- Да, - сказал он, - вы совершенно правы. Вот я закрыл глаза, и вы совершенно правы. Рядом со мной на кушетке сидите вы и Беллоуз. И я опять в Англии. И в комнате темно.

Потом он открыл глаза.

- А там солнце всходит, - сказал он, - и корабельные снасти, и волнующееся море, и летают какие-то птицы. Я никогда не видел так отчетливо. Я на берегу, сижу по самую шею в песке.

Он наклонил голову и закрыл лицо руками. Потом снова открыл глаза.

- Бурное море и солнце! И все-таки я сижу на диване в комнате Бойса... Боже мой! Что со мной?

Так началось у Дэвидсона странное поражение глаз, длившееся целые три недели. Это было хуже всякой слепоты. Он был совершенно беспомощен. Его кормили, как птенца, одевали, водили за руку. Когда он пробовал двигаться сам, он либо падал, либо натыкался на стены и двери. Через день он немного освоился со своим положением; не так волновался, когда слышал наши голоса, не видя нас, и охотно соглашался, что он дома и Уэйд сказал ему правду. Моя сестра - она была невестой Дэвидсона - настояла, чтобы ей разрешили приходить к нему, и часами сидела около него, пока он рассказывал о своей странной бухте. Он удивительно успокаивался, когда держал ее за руку. Он рассказал ей, что, когда мы везли его из колледжа домой - он жил в Хэмпстеде, - ему представлялось, будто мы проезжаем прямо сквозь какой-то песчаный холм; было совершенно темно, пока он сквозь скалы, деревья и самые крепкие преграды снова не вышел на поверхность; а когда его повели наверх, в его комнату, у него закружилась голова и он испытывал безумный страх, что упадет, потому что подъем по лестнице показался ему восхождением на тридцать или сорок футов над поверхностью его воображаемого острова. Он беспрестанно твердил, что перебьет все яйца. В конце концов пришлось перевести его вниз, в приемную отца, и там уложить на диван.

Он рассказывал, что его остров - довольно глухое и мрачное место и что там очень мало растительности: только голые скалы да жесткий бурьян. Остров кишит пингвинами; их так

много, что вся земля кажется белой, и это очень неприятно для глаз. Море часто бушует, раз была даже буря и гроза, и он лежал на диване и вскрикивал при каждой беззвучной вспышке молнии. Изредка на берег выбираются котики. Впрочем, это было только в первые два-три дня. Он говорил, что его очень смешит, что пингвины проходят сквозь него, как по пустому месту, а он лежит посреди этих птиц, нисколько их не пугая.

Я вспоминаю один любопытный эпизод. Ему очень захотелось курить. Мы раскурили и дали ему в руки трубку, причем он чуть не выколол себе глаза. Он не почувствовал никакого вкуса. Я потом заметил, что точно так же бывает и со мной; не знаю, как другие, но я не получаю удовольствия от курения, если не вижу дыма.

Но самые странные видения были у него, когда Уэйд распорядился вывезти его в кресле на свежий воздух. Дэвидсоны взяли напрокат кресло на колесах и приставили к нему своего приживальщика Уиджери, глухого и упрямого человека. У этого Уиджери было довольно своеобразное представление о прогулках на свежем воздухе. Как-то, возвращаясь из ветеринарного госпиталя, моя сестра повстречала их в Кэмдене, около Кингс-красса. Уиджери с довольным видом быстро шагнул за креслом, а Дэвидсон, видимо, в полном отчаянии, безуспешно пытался привлечь к себе его внимание. Он не удержался и заплакал, когда моя сестра заговорила с ним.

- Дайте мне выбраться из этой проклятой темноты! - взмолился он, сжимая ее руку. - Мне надо уйти отсюда, или я умру...

Он не мог объяснить, что произошло. Сестра решила сейчас же отвезти его домой, и как только они стали подниматься на холм по пути к Хэмпстеду, испуг его прошел. Он сказал, что очень приятно опять видеть звезды, хотя было около полудня и ярко светило солнце.

- Мне казалось, будто меня с непреодолимой силой вдруг стало уносить в море, - рассказывал он мне потом. - Сначала это очень испугало меня... Дело, конечно, было ночью. Это была великолепная ночь.

- Почему же "конечно"? - с удивлением спросил я.

- Конечно, - повторил он. - Когда здесь день, там всегда ночь. Меня несло прямо в море. Оно было спокойно и блестело в лунном сиянии. Только широкая зыбь ходила по воде. Она оказалась еще сильнее, когда я попал в нее. Сверху море блестело, как мокрая кожа; Вода вокруг меня поднималась очень медленно - потому что меня несло вкось, - пока не залила мне глаза. Потом я совсем погрузился в воду, и у меня было такое чувство, будто эта кожа лопнула у меня перед глазами и опять срослась. Луна подпрыгнула в небесах и стала зеленой и смутной; какая-то рыба, слегка поблескивая, суетливо заскользила вокруг меня, и я увидел какие-то предметы как бы из блестящего стекла и пронесся сквозь целую чашу водорослей, светившихся маслянистым светом; Так я спускался вглубь, и луна становилась все более зеленой и темной, а водоросли сияли пурпурно-красным светом. Все это было очень смутно, таинственно, все как бы колебалось. И в то же время я отчетливо слышал, как поскрипывает кресло, на котором меня везут, и мимо проходит народ, и где-то в стороне газетчик выкрикивает экстренный выпуск "Пэл-Мэл".

Я погружался в воду все глубже и глубже. Вокруг меня все стало черным, как чернила; ни один луч не проникал в темноту; и только фосфоресцирующие предметы становились все ярче. Змеистые ветви подводных растений засветились в глубине, как пламя спиртовых горелок; но немного погодя пропали и они. Рыбы подплывали ко мне стаями, глядели на меня, разевая рты, и проплывали мимо меня, в меня и сквозь меня. Я никак не предполагал, что существуют такие странные рыбы. По бокам у них с обеих сторон были огненные полосы, словно проведенные фосфором. Какая-то гадина с извивающимися длинными щупальцами пятилась в воде, как рак.

Потом я увидел, как во тьме на меня медленно ползет масса неясного света, которая вблизи оказалась целым сонмом рыб, шныряющих вокруг какого-то предмета, опускающегося на дно. Меня несло прямо на них, и в самой середине стаи я увидел справа распростершийся надо мной обломок разбитой мачты, а потом - опрокинутый темный корпус

корабля и какие-то светящиеся, фосфоресцирующие тела, податливые и гибкие под напором прожорливой стаи. Тут я и стал стараться привлечь к себе внимание Уиджери. Ужас охватил меня. Ух! Мне пришлось бы наехать прямо на эти полуобглоданные... если бы ваша сестра вовремя не подошла ко мне... Беллоуз, они были проедены насквозь и... Ну, да все равно. Ах, это было ужасно!

Три недели находился Дэвидсон в этом странном состоянии. Все это время взор его был обращен к тому, что мы сперва считали плодом его фантазии. Он был слеп ко всему окружающему. Но вот однажды - это было во вторник - я пришел к нему и встретил в передней его отца.

- Он уже видит свой палец, Беллоуз! - в восторге сообщил мне старик, надевая пальто, и слезы показались у него на глазах. - Есть надежда на выздоровление.

Я бросился к Дэвидсону. Он держал перед глазами книжку и слабо смеялся.

- Вот чудеса! - сказал он. - Что-то похожее на пятно. - И он показал пальцем. - Я по-прежнему на скалах; пингвины по-прежнему ковыляют и возятся вокруг; по временам появляется даже кит, и только темнота мешает мне разглядеть его как следует. Но положите что-нибудь вот сюда, и я увижу - плохо, неясно, какими-то клочками, но все-таки увижу, - правда, не предмет, но бледную тень предмета. Я заметил это сегодня утром, когда меня одевали. Как будто в этом фантастическом мире образовалась дыра. Вот, положите свою руку рядом с моей. Нет, не сюда. Ну, конечно, я вижу ее. Ваш большой палец и край манжеты. Ваша рука встала на темнеющем небе, как привидение; и тут же, везде нее, какое-то созвездие в форме креста.

С этого дня Дэвидсон начал выздоравливать. О перемене в своем состоянии он рассказывал очень убедительно. Мир его видений как будто постепенно линял, становился все прозрачнее, в нем появлялись какие-то щели и просветы, и Дэвидсон начинал смутно различать сквозь них окружающую действительность. Просветы ширились, их становилось все больше, они сливались, и скоро только несколько пятен заслоняли видимый мир от его глаз. Он мог опять вставать, одеваться и двигаться без посторонней помощи, опять стал есть, читать, курить и вообще вести себя, как нормальный человек. Сперва ему сильно мешала двойственность впечатлений, наползающих одно на другое, как картинки волшебного фонаря, но вскоре он научился отличать призрачные от настоящих.

Сначала это его радовало; казалось, он думал только о том, чтобы окончательно выздороветь, и охотно прибегал для этого к разным упражнениям и укрепляющим средствам. Но когда его странный остров стал таять у него перед глазами, он вдруг очень заинтересовался им. Ему особенно хотелось еще раз погрузиться на морское дно, и он стал проводить целые дни в блужданиях по низко расположенным кварталам Лондона в надежде натолкнуться на тот обломок судна, который он тогда видел. Дневной свет действовал на него так сильно, что уничтожал все являющееся в видениях. Зато ночью, в темной комнате, он опять видел скалы в белых подтеках и жирных пингвинов, ковыляющих вокруг него. Но и эти видения становились все прозрачнее и наконец, вскоре после его женитьбы на моей сестре, совсем исчезли.

Но самое любопытное впереди. Через два года после этой истории я как-то обедал у Дэвидсонов. После обеда к ним пришел один знакомый по фамилии Аткинс. Это был лейтенант королевского флота, человек любознательный и большой говорун. Он был в приятельских отношениях с моим зятем, а через какой-нибудь час подружился и со мной. Оказалось, что он жених двоюродной сестры Дэвидсона, и вышло так, что он вынул небольшой карманный альбом, чтобы показать фотографическую карточку своей невесты.

- Кстати, - сказал он, - вот снимок нашего старого "Фальмара".

Дэвидсон бросил взгляд на карточку. Вдруг он вспыхнул.

- Боже мой! - воскликнул он. - Я готов поклясться...

- В чем? - спросил Аткинс.

- Что уже видел это судно.



- Сомневаюсь. Оно уже шесть лет плавает в южных морях. А до тех пор...

- Однако... - начал Дэвидсон. И, помолчав, продолжал: - Да, это то самое судно, которое я видел. Оно стояло у острова; там была пропасть пингвинов, и оно палило из пушек...

- Господи! - воскликнул Аткинс, узнав подробности его болезни. - Как вы могли это видеть?

И тут слово за словом выяснилось, что в тот самый день, когда Дэвидсона постигло несчастье, английское военное судно "Фальмар" случайно оказалось невдалеке от маленького рифа, к югу от острова Антиподов. Оно спустило шлюпку, чтобы набрать пингвиновых яиц. Шлюпка почему-то замешкалась там, и ее застигла буря. Ей пришлось прождать там всю ночь и вернуться к судну только на рассвете. Аткинс тоже был в лодке, и он подтвердил до мельчайших подробностей все, что сообщил об этом острове и о лодке Дэвидсон. Ни у кого из нас не осталось ни тени сомнения, что Дэвидсон действительно видел это место. Каким-то непонятным образом, покуда он передвигался по Лондону, его взор в точном соответствии с этим передвигался по поверхности отдаленного острова. Как это происходило, остается тайной.

На этом, собственно, и кончается рассказ о замечательном случае с глазами Дэвидсона. Это, может быть, самый достоверный случай видения на расстоянии. Нет никакой возможности объяснить его, если не принять объяснения профессора Уэйда. Но в его теории фигурирует четвертое измерение и целая диссертация о формах пространства. Толковать о каких-то "щелях в пространстве" мне представляется бессмысленным, может быть, оттого, что я совсем не математик. Когда я говорил Уэйду, что как-никак, а место видений Дэвидсона отстоит от нас на восемь тысяч миль, он отвечал, что на листе бумаги две точки могут отстоять одна от другой на ярд и все-таки могут быть слиты в одну, если мы сложим лист вдвое. Может быть, читатель поймет этот довод - мне он недоступен. Его мысль, по-видимому, сводится к тому, что Дэвидсон, очутившись между двумя полюсами большого электромагнита, получил необычайное сотрясение сетчатой оболочки глаз благодаря внезапной перемене поля силы при ударе молнии.

Из этого он выводит, что тело может жить в одном месте земного шара, а зрение бродить в другом. Он даже делал какие-то опыты в подтверждение своих взглядов, но все, чего ему удалось пока достигнуть, - это лишить зрения нескольких собак. Как мне известно, это единственный результат его опытов. Впрочем, я не видел его уже несколько недель: за последнее время у меня было столько работы по оборудованию института, что я никак не мог выбрать время заглянуть к нему. Но вся его теория в целом кажется мне фантастической. Между тем факты, относящиеся к случаю с Дэвидсоном, ничуть не фантастичны, и я могу поручиться за точность каждой подробности своего рассказа.

## ***Волшебная лавка***

Пер. - К. Чуковский.

Издали мне случалось видеть эту волшебную лавку и раньше.

Раза два я проходил мимо ее витрины, где было столько привлекательных товаров: волшебные шары, волшебные куры, чудодейственные колпаки, куклы для чревоугодников, корзины с аппаратурой для фокусов, колоды карт, с виду совсем обыкновенные, и тому подобная мелочь. Мне и в голову не приходило зайти в эту лавку. Но вот однажды Джим взял меня за палец и, ни слова не говоря, потащил к витрине; при этом он вел себя так, что не войти с ним туда было никак невозможно.

По правде говоря, я и не думал, что эта скромная лавчонка находится именно здесь, на Риджент-стрит, между магазином, где продаются картины, и заведением, где выводятся цыплята в патентованных инкубаторах. Но это была она. Мне почему-то казалось, что она ближе к Сэркус, или за углом на Оксфорд-стрит, или даже в Холборне, и всегда я видел ее на другой стороне улицы, так что к ней было не подойти, и что-то в ней было неуловимое,

что-то похожее на мираж. Но вот она здесь, в этом нет никаких сомнений, и пухлый указательный пальчик Джипа стучит по ее витрине.

- Будь я богат, - сказал Джип, тыча пальцем туда, где лежало "Исчезающее яйцо", - я купил бы себе вот это. И это. - Он указал на "Младенца, плачущего совсем как живой". - И это.

То был таинственный предмет, который назывался: "Купи и удивляй друзей!" - как значилось на аккуратном ярлычке.

- А под этим колпаком, - сказал Джип, - пропадает все, что ни положи. Я читал об этом в одной книге... А вон, папа, "Неуловимый грошик", только его так положили, чтобы не видно было, как это делается.

Джип унаследовал милые черты своей матушки: он не звал меня в лавку и не надоедал приставаниями, он только тянул меня за палец по направлению к двери - совершенно бессознательно, - и было яснее ясного, чего ему хочется.

- Вот! - сказал он и указал на "Волшебную бутылку".

- А если б она у тебя была? - спросил я.

И, услышав в этом вопросе обещание, Джип просиял.

- Я показал бы ее Джесси! - ответил он, полный, как всегда, заботы о других.

- До дня твоего рождения осталось меньше ста дней, Джип, - сказал я и взялся за ручку двери.

Джип не ответил, но еще сильнее сжал мой палец, и мы вошли в лавку.

Это была не простая лавка, это была лавка волшебная. И потому Джип не проследовал к прилавку впереди меня, как при покупке обыкновенных игрушек. Здесь он всю тяжесть переговоров возложил на меня.

Это была крошечная, тесноватая полутемная лавчонка, и дверной колокольчик задребезжал жалобным звоном, когда мы захлопнули за собой дверь. В лавчонке никого не оказалось, и мы могли оглядеться. Вот тигр из папье-маше на стекле, покрывающем невысокий прилавок, - степенный, добродушный тигр, размеренно качающий головой; вот хрустальные шары всех видов; вот фарфоровая рука с колодой волшебных карт; вот целый набор разнокалиберных волшебных аквариумов; вот нескромная волшебная шляпа, бесстыдно выставившая напоказ все свои пружины. Кругом было несколько волшебных зеркал. Одно вытягивало и суживало вас, другое отнимало у вас ноги и расплющивало вашу голову, третье делало из вас какую-то круглую, толстую чурку. И пока мы хохотали перед этими зеркалами, откуда-то появился какой-то мужчина, очевидно, хозяин.

Впрочем, кто бы он ни был, он стоял за прилавком, странный, темноволосый, бледный. Одно ухо было у него больше другого, а подбородок - как носок башмака.

- Чем могу служить? - спросил он и растопырил свои длинные волшебные пальцы по стеклу прилавка.

Мы вздрогнули, потому что не подозревали о его присутствии.

- Я хотел бы купить моему малышу какую-нибудь игрушку попроще, - сказал я.

- Фокусы? - спросил он. - Ручные? Механические?

- Что-нибудь позабавнее, - ответил я.

- Гм... - произнес продавец и почесал голову, как бы размышляя. И прямо у нас на глазах вынул у себя из головы стеклянный шарик.

- Что-нибудь в таком роде? - спросил он и протянул его мне.

Это было неожиданно. Много раз мне случалось видеть такой фокус на эстраде - без него не обойдется ни один фокусник средней руки, - но здесь я этого не ожидал.

- Недурно! - сказал я со смехом.

- Не правда ли? - заметил продавец.

Джип отпустил мой палец и потянулся за стеклянным шариком, но в руках продавца ничего не оказалось.

- Он у вас в кармане, - сказал продавец, и действительно, шарик был там.

- Сколько за шарик? - спросил я.

- За стеклянные шарики мы денег не берем, - любезно ответил продавец. - Они достаются нам, тут он поймал еще один шарик у себя на локте, - даром.

Третий шарик он поймал у себя на затылке и положил его на прилавок рядом с предыдущим. Джип, не торопясь, оглядел свой шарик, потом те, что лежали на прилавке, потом обратился вопрошающий взгляд на продавца.

- Можете взять себе и эти, - сказал тот, улыбаясь, - а также, если не брезгуете, еще один, из рта. Вот!

Джип взглянул на меня, ища совета, потом в глубочайшем молчании сгреб все четыре шарика, опять ухватился за мой успокоительный палец и приготовился к дальнейшим событиям.

- Так мы приобретаем весь наш товар, какой помельче, - объяснил продавец.

Я засмеялся и, подхватив его остроу, сказал:

- Вместо того, чтобы покупать их на складе? Оно, конечно, дешевле.

- Пожалуй, - ответил продавец. - Хотя в конце концов и нам-приходится платить, но не так много, как думают иные. Товары покрупнее, а также пищу, одежду и все, что нам нужно, мы достаем вот из этой шляпы... И позвольте мне заверить вас, сэр, что на свете совсем не бывает оптовых складов настоящих волшебных товаров. Вы, верно, изволили заметить нашу марку: "Настоящая волшебная лавка".

Он вытащил из-за щеки преysкурант и подал его мне.

- Настоящая, - сказал он, указывая пальцем на это слово, и прибавил: - У нас без обмана, сэр. У меня мелькнула мысль, что его шутки не лишены последовательности.

Потом он обратился к Джипу с ласковой улыбкой:

- А ты, знаешь ли, Неплохой Мальчуган...

Я удивился, не понимая, откуда он мог догадаться. В интересах дисциплины мы держим это в секрете даже в домашнем кругу. Джип выслушал похвалу молча и продолжал смотреть на продавца.

- Потому что только хорошие мальчики могут пройти в эту дверь.

И тотчас же, как бы в подтверждение, раздался стук в дверь и послышался пискливый голосок:

- И-и! Я хочу войти туда, папа! Папа, я хочу войти! И-и-и!

И уговоры измученного папаши:

- Но ведь заперто, Эдуард, нельзя!

- Совсем не заперто! - сказал я.

- Нет, сэр, у нас всегда заперто для таких детей, - сказал продавец, и при этих словах мы увидели мальчика: крошечное личико, болезненно-бледное от множества поедаемых лакомств, искривленное от вечных капризов, личико бессердечного маленького себялюбца, царапающего заколдованное стекло.

- Не поможет, сэр, - сказал торговец, заметив, что я со свойственной мне услужливостью шагнул к двери.

Скоро хнычущего избалованного мальчика увели.

- Как это у вас делается? - спросил я, переводя дух.

- Магия! - ответил продавец, небрежно махнув рукой. И - ах! - из его пальцев вылетели разноцветные искры и погасли в полутьме магазина.

- Ты говорил там, на улице, - сказал продавец, обращаясь к Джипу, - что хотел бы иметь нашу коробку "Купи и удивляй друзей"!

- Да, - признался Джип после героической внутренней борьбы.

- Она у тебя в кармане.

И, перегнувшись через прилавок (тело у него оказалось необычайной длины), этот изумительный субъект с ужимками заправского фокусника вытащил у Джипа из кармана коробку.



- Бумагу! - сказал он и достал большой лист из пустой шляпы с пружинами.

- Бечевку! - И во рту у него оказался клубок бечевки, от которого он отмотал бесконечно длинную нить, перевязал ею сверток, перекусил зубами, а клубок, как мне показалось, проглотил. Потом об нос одной из чревовещательных кукол зажег свечу, сунул в огонь палец (который тотчас же превратился в палочку красного сургуча) и запечатал покупку.

- Вам еще понравилось "Исчезающее яйцо", - заметил он, вытаскивая это яйцо из внутреннего кармана моего пальто, и завернул его в бумагу вместе с "Младенцем, плачущим совсем как живой". Я передавал каждый готовый сверток Джипу, а тот крепко прижимал его к груди.

Джип говорил очень мало, но глаза его были красноречивы, красноречивы были его руки, обхватившие подарки. Его душой овладело невыразимое волнение. Поистине это была настоящая магия.

Но тут я вздрогнул, почувствовав, что у меня под шляпой шевелится что-то мягкое, трепетное. Я схватился за шляпу, и голубь с измятыми перьями выпорхнул оттуда, побежал по прилавку и шмыгнул, кажется, в картонную коробку позади тигра из папье-маше.

- Ай, ай, ай! - сказал продавец, ловким движением отбирая у меня головной убор. - Скажите, пожалуйста, эта глупая птица устроила здесь гнездо!..

И он стал трясти мою шляпу, вытряхнул оттуда два или три яйца, мраморный шарик, часы, с полдюжины неизбежных стеклянных шариков и скомканную бумагу, потом еще бумагу, еще и еще, все время распространяясь о том, что очень многие совершенно напрасно чистят свои шляпы только сверху и забывают почистить их внутри, - все это, разумеется, очень вежливо, но не без личных намеков.

- Накапливается целая куча мусора, сэр... Конечно, не у вас одного... Чуть не у каждого покупателя... Чего только люди не носят с собой!

Мятая бумага росла, и вздымалась на прилавке все выше и выше, и совсем заслонила его от нас. Только голос его раздавался по-прежнему:

- Никто из нас не знает, что скрывается иногда за благообразной внешностью человека, сэр. Все мы - только одна видимость, только гробы повапленные...

Его голос замер, точь-в-точь как у ваших соседей замер бы граммофон, если бы вы угодили в него ловко брошенным кирпичом, - такое же внезапное молчание. Шуршание бумаги прекратилось, и стало тихо.

- Вам больше не нужна моя шляпа? - спросил я наконец.

Ответа не было.

Я поглядел на Джипа, Джип поглядел на меня, и в волшебных зеркалах отразились наши искаженные лица - загадочные, серьезные, тихие.

- Я думаю, нам пора! - сказал я. - Будьте добры, скажите, сколько с нас следует... Послушайте, - сказал я, повышая голос, - я хочу расплатиться... И, пожалуйста, мою шляпу...

Из-за груды бумаг как будто послышалось сопение.

- Он смеется над нами! - сказал я. - Ну-ка, Джип, поглядим за прилавком.

Мы обошли тигра, качающего головой. И что же? За прилавком никого не оказалось. На полу валялась моя шляпа, а рядом с нею в глубокой задумчивости, съежившись, сидел вислоухий белый кролик - самый обыкновенный, глупейшего вида кролик, как раз такой, какие бывают только у фокусников. Я нагнулся за шляпой - кролик отпрыгнул от меня.

- Папа! - шепнул Джип виновато.

- Что?

- Мне здесь нравятся, лапа.

"И мне тоже нравилось бы, - подумал я, - если бы этот прилавок не вытянулся вдруг, загораживая нам выход". Я не сказал об этом Джипу.

- Киска! - произнес он и протянул руку к кролику. - Киска, покажи Джипу фокус!

Кролик шмыгнул в дверь, которой я там раньше почему-то не видел, и в ту же минуту оттуда опять показался человек, у которого одно ухо было длиннее другого. Он по-прежнему улыбался, но когда наши глаза встретились, я заметил, что его взгляд выражает не то вызов, не то насмешку.

- Не угодно ли осмотреть нашу выставку, сэр? - как ни в чем не бывало сказал он.

Джип потянул меня за палец. Я взглянул на прилавок, потом на продавца, и глаза наши снова встретились. Я уже начинал думать, что волшебство здесь, пожалуй, слишком уж подлинное.

- К сожалению, у нас не очень много времени, - начал я. Но мы уже находились в другой комнате, где была выставка образцов.

- Все товары у нас одного качества, - сказал продавец, потирая гибкие руки, - самого высшего. Настоящая магия, без обмана, другой не держим! С ручательством... Прошу прощения, сэр!

Я почувствовал, как он отрывает что-то от моего рукава, и, оглянувшись, увидел, что он держит за хвост крошечного красного чертика, а тот извивается, и дергается, и норовит укусить его за руку. Продавец беспечно швырнул его под прилавок. Конечно, чертик был резиновый, но на какое-то мгновение... И держал он его так, как держат в руках какую-нибудь кусачую гадину. Я посмотрел на Джипа, но его взгляд был устремлен на волшебную деревянную лошадку. У меня отлегло от сердца.

- Послушайте, - сказал я продавцу, понижая голос и указывая глазами то на Джипа, то на красного чертика, - надеюсь, у вас не слишком много таких... изделий, не правда ли?

- Совсем не держим! Должно быть, вы занесли его с улицы, - сказал продавец, тоже понизив голос и с еще более ослепительной улыбкой. - Чего только люди не таскают с собой, сами того не зная!

Потом он обратился к Джипу:

- Нравится тебе тут что-нибудь?

Джипу многое нравилось.

С доверчивой почтительностью обратившись к чудесному продавцу, он спросил:

- А эта сабля тоже волшебная?

- Волшебная игрушечная сабля - не гнется, не ломается и не режет пальцев. У кого такая сабля, тот выйдет цел и невредим из любого единоборства с любым врагом не старше восемнадцати лет. От двух с половиной шиллингов до семи с половиной, в зависимости от размера... Эти картонные доспехи предназначены для юных рыцарей и незаменимы в странствиях. Волшебный щит, сапоги-сороходы, шапка-невидимка.

- Ох, папа! - воскликнул Джип.

Я хотел узнать их цену, но продавец не обратил на меня внимания. Теперь он совершенно завладел Джипом. Он оторвал его от моего пальца, углубился в описание своих проклятых товаров, и остановить его было невозможно. Скоро я заметил со смутной тревогой и каким-то чувством, похожим на ревность, что Джип ухватился за его палец, точь-в-точь как обычно хватался за мой. "Конечно, он человек занятый, - думал я, - и у него накоплено много прелюбопытной дряни, но все-таки..."

Я побрел за ними, не говоря ни слова, но зорко присматривая за этим фокусником. В конце концов Джипу это доставляет удовольствие... И никто не помешает нам уйти, когда вздумается.

Выставка товаров занимала длинную комнату, большая галерея изобиловала всякими колоннами, подпорками, стойками; арки вели в боковые помещения, где болтались без дела и зевали по сторонам приказчики самого странного вида; на каждом шагу нам преграждали путь и сбивали нас с толку разные портьеры и зеркала, так что скоро я потерял ту дверь, в которую мы вошли.

Продавец показал Джипу волшебные поезда, которые двигались без пара и пружины, чуть только вы открывали семафор, а также драгоценные коробки с оловянными солдатами,

которые оживали, как только вы поднимали крышку и произносили... Как передать этот звук, я не знаю, но Джип - у него тонкий слух его матери - тотчас же воспроизвел его.

- Браво! - воскликнул продавец, весьма бесцеремонно бросая оловянных человечков обратно в коробку и передавая ее Джипу. - Ну-ка еще разок!

И Джип в одно мгновение опять воскресил их.

- Вы берете эту коробку? - спросил продавец.

- Мы бы взяли эту коробку, - сказал я, - если только вы уступите нам со скидкой. Иначе нужно быть миллионером...

- Что вы! С удовольствием.

И продавец снова впихнул человечков в коробку, захлопнул крышку, помахал коробкой в воздухе - и тотчас же она оказалась перевязанной бечевкой и обернутой в серую бумагу, а на бумаге появились полный адрес и имя Джипа!

Видя мое изумление, продавец засмеялся.

- У нас настоящее волшебство, - сказал он. - Подделок не держим.

- По-моему, оно даже чересчур настоящее, - отозвался я.

После этого он стал показывать Джипу разные фокусы, необычайные сами по себе, а еще больше - по выполнению. Он объяснял устройство игрушек и выворачивал их наизнанку, и мой милый малыш, страшно серьезный, смотрел и кивал с видом знатока.

Я не мог уследить за ними. "Эй, живо!" - вскрикивал волшебный продавец, и вслед за ним чистый детский голос повторял: "Эй, живо!" Но меня отвлекло другое. Меня стала одолевает вся эта чертовщина. Ею было проникнуто все: пол, потолок, стены, каждый гвоздь, каждый стул. Меня не покидало странное чувство, что стоит мне только отвернуться - и все это заплещет, задвигается, пойдет бесшумно играть у меня за спиной в пятнашки. Карниз извивался, как змея, и лепные маски по углам были, по правде говоря, слишком выразительны для простого гипса.

Внезапно внимание мое привлек один из приказчиков, человек диковинного вида.

Он стоял в стороне и, очевидно, не знал о моем присутствии (мне он был виден не весь: его ноги заслоняла груда игрушек и, кроме того, нас разделяла арка). Он беспечно стоял, прислонясь к столбу и проделывая со своим лицом самые невозможные вещи. Особенно ужасно было то, что он делал со своим носом. И все это с таким видом, будто просто решил поразвлечься от скуки. Сначала у него был коротенький приплюснутый нос, потом нос неожиданно вытянулся, как подзорная труба, а потом стал делаться все тоньше и тоньше и в конце концов превратился в длинный, гибкий красный хлыст... Как в страшном сне! Он размахивал своим носом в разные стороны и забрасывал его вперед, как рыболов забрасывает удочку.

Тут я спохватился, что это зрелище совсем не для Джипа. Я оглянулся и увидел, что все внимание мальчика поглощено продавцом и он не подозревает ничего дурного. Они о чем-то шептались, поглядывая на меня. Джип взобрался на табуретку, а продавец держал в руке что-то вроде огромного барабана.

- Сыграем в прятки, папа! - крикнул Джип. - Тебе водить!

И не успел я вмешаться, как продавец накрыл его большим барабаном.

Я сразу понял, в чем дело.

- Поднимите барабан! - закричал я. - Сию минуту! Вы испугаете ребенка! Поднимите!

Человек с разными ушами беспрекословно повиновался и протянул мне этот большой цилиндр, чтобы я мог вполне убедиться, что он пуст! Но на табуретке тоже не было никого! Мой мальчик бесследно исчез!..

Вам, может быть, знакомо зловещее чувство, которое охватывает вас, словно рука неведомого, и больно сжимает вам сердце! Это чувство сметает куда-то прочь ваше обычное "я", вы сразу напрягаетесь, становитесь осмотрительны и предприимчивы, вы не медлите, но и не торопитесь, гнев и страх исчезают. Так было со мной.

Я подошел к ухмыляющемуся продавцу и опрокинул табуретку ударом ноги.

- Оставьте эти шутки, - сказал я. - Где мой мальчик?

- Вы сами видите, - сказал он, показывая мне пустой барабан, - у нас никакого обмана...

Я протянул руку, чтобы схватить его за шиворот, но он, ловко извернувшись, ускользнул от меня. Я опять бросился на него, но он опять увильнул и распахнул какую-то дверь.

- Стой! - крикнул я.

Он убежал со смехом, я ринулся за ним и со всего размаху вылетел... во тьму.

Хлоп!

- Фу ты! Я вас и не заметил, сэр!

Я был на Риджент-стрит и столкнулся с каким-то очень почтенным рабочим. А невдалеке от меня, немного растерянный, стоял Джип. Я кое-как извинился, и Джип с ясной улыбкой подбежал ко мне, как будто только что на одну секунду потерял меня из виду.

В руках у него было четыре пакета!

Он тотчас же завладел моим пальцем.

Сначала я не знал, что подумать. Я обернулся, чтобы увидеть дверь волшебной лавки, но ее нигде не было. Ни лавки, ни двери - ничего! Самый обыкновенный простенок между магазином, где продаются картины, и окном с цыплятами...

Я сделал единственное, что было возможно в таком положении: встал на краю тротуара и помахал зонтиком, подзывая кэб.

- В карете! - восторженно воскликнул Джип. Он не ждал этой дополнительной радости.

Я усадил Джипа, не без труда вспомнил свой адрес и сел сам. Тут я почувствовал что-то необычное у себя в кармане и вынул оттуда стеклянный шарик. С негодованием я бросил его на мостовую.

Джип не сказал ни слова.

Некоторое время мы оба молчали.

- Папа! - сказал наконец Джип. - Это была хорошая лавка!

Тут я впервые задумался, как же он воспринял все это приключение. Он оказался совершенно цел и невредим - это главное. Он не был напуган, он не был расстроен, он просто был страшно доволен тем, как провел день, и к тому же у него в руках было четыре пакета.

Черт возьми! Что могло там быть?

- Гм! - сказал я. - Маленьким детям нельзя каждый день ходить в такие лавки!

Он принял эти слова со свойственным ему стоицизмом, и на минуту я даже пожалел, что я его отец, а не мать, и не могу тут же, *coram publico* [при народе (лат.)] расцеловать его. "В конце концов, - подумал я, - не так уж все это страшно".

Но окончательно утвердился я в этом мнении, только когда мы распаковали наши свертки. В трех оказались коробки с обыкновенными, но такими замечательными оловянными солдатиками, что Джип совершенно забыл о тех "Настоящих волшебных солдатах", которых он видел в лавке, а в четвертом свертке был котенок - маленький белый живой котенок, очень веселый и с прекрасным аппетитом.

Я рассматривал содержимое пакетов с облегчением, но все-таки еще с опаской. Проторчал я в детской не знаю сколько времени...

Это случилось шесть месяцев тому назад. И теперь я начинаю думать, что никакой беды не произошло. В котенке оказалось не больше волшебства, чем во всех других котятках. Солдаты оказались такими стойкими, что ими был бы доволен любой полковник. Что же касается Джипа...

Чуткие родители согласятся, что с ним я должен был соблюдать особенную осторожность.

Но недавно я все же отважился на серьезный шаг.

Я спросил:

- А что, Джип, если бы твои солдаты вдруг ожили и пошли маршировать?

- Мои солдаты живые, - сказал Джип. - Стоит мне только сказать одно словечко, когда я открываю коробку.

- И они маршируют?

- Еще бы! Иначе за что их и любить!

Я не высказал неуместного удивления и попробовал несколько раз, чуть только он возьмется за своих солдатиков, неожиданно войти к нему в комнату. Но никаких признаков волшебного поведения я до сих пор за ними не заметил. Так что трудно сказать, прав ли Джип или нет.

Еще один вопрос: о деньгах. У меня неизлечимая привычка всегда платить по счетам. Я исходил вдоль и поперек всю Риджент-стрит, но не нашел той лавки. Тем не менее я склонен думать, что в этом деле честь моя не пострадала: ведь раз этим людям - кто бы они ни были - известен адрес Джипа, они могут в любое время явиться ко мне и получить по счету.

## ***Мистер Скеммерсдейл в стране фей***

Пер. - Н.Явно.

- Вот в этой лавке служит один парень, ему довелось побывать в стране фей, - сказал доктор.

- Чепуха какая, - ответил я и оглянулся на лавку. Это была обычная деревенская лавчонка, она же и почта, из-под крыши тянулся телеграфный провод, у двери были выставлены щетки и оцинкованные ведра, в окне - башмаки, рубахи и консервы.

Помолчав, я спросил:

- Послушайте, а что это за история?

- Да я-то ничего не знаю, - ответил доктор. - Обыкновенный олух, деревенщина, зовут его Скеммерсдейл. Но тут все убеждены, что это истинная правда.

Вскоре я снова вернулся к нашему разговору.

- Я ведь толком ничего не знаю да и знать не хочу, - сказал доктор. - Я накладывал ему однажды повязку на сломанный палец - играли в крикет холостяки против женатых - и тогда в первый раз услышал эту чепуху. Вот и все. Но по этому как-никак можно судить, с кем мне приходится иметь дело, а? Веселенькое занятие - вбивать в голову такому народу современные принципы санитарии!

- Что и говорить, - посочувствовал я, а он начал рассказывать, как в Боунаме собирались чинить канализацию. Я давно заметил, что наши деятели здравоохранения больше всего заняты подобными вопросами. Я опять выразил ему самое искреннее сочувствие, а когда он назвал жителей Боунама ослиами, добавил, что они "редкие ослы", но и это его не утихомирило.

Некоторое время спустя, в середине лета, я заканчивал трактат о Патологии Духа - мне думается, писать его было еще труднее, чем читать, - и непреодолимое желание уединиться где-нибудь в глуши привело меня в Бигнор. Я поселился у одного фермера и довольно скоро в поисках табака снова набрел на эту лавчонку. "Скеммерсдейл", - вспомнил я, увидев ее, и вошел.

Продавец был невысокий, но стройный молодой человек, светловолосый и румяный, глаза у него были голубые, зубы ровные, мелкие и какая-то медлительность в движениях. Ничего особенного в нем не было, разве что слегка грустное выражение лица. Он был без пиджака, в подвернутом фартуке, за маленьким ухом торчал карандаш. По черному жилету тянулась золотая цепочка от часов, на ней болталась согнутая пополам гинея.

- Больше ничего не угодно, сэр? - обратился он ко мне. Он говорил, склонясь над счетом.

- Вы мистер Скеммерсдейл? - спросил я.

- Я самый, - ответил он, не поднимая глаз.

- Это правда, что вы побывали в стране фей?

Он взглянул на меня, сдвинув брови, лицо стало раздраженным, угрюмым.



- Не ваше дело! - отрезал он, с ненавистью посмотрел мне прямо в глаза, потом снова взялся за счет.

- Четыре... шесть с половиной шиллингов, - сказал он, немного погодя. - Благодарю вас, сэр.

Вот при каких неблагоприятных обстоятельствах началось мое знакомство с мистером Склмерсдейлом.

Ну, а потом мне удалось завоевать его доверие, хоть это и стоило долгих трудов.

Я снова встретил его в деревенском кабачке, куда заходил вечерами после ужина сразиться в бильярд и перекинуться словечком с ближними своими, общества которых днем я старательно избегал, что было весьма на пользу моей работе. С великими ухищрениями я сначала уговорил его сыграть партию в бильярд, а потом вызвал и на разговор. Я понял, что страны фей лучше не касаться. Обо всем остальном он рассуждал благодушно и охотно и казался таким же, как все, но стоило завести речь о феях, и он сразу мрачнел: это была явно запретная тема. Только раз слышал я, как при нем в бильярдной наемкнули на его приключения, да и то это был какой-то батрак, тупой детина, который ему проигрывал. Склмерсдейл сделал подряд несколько дуплетов, что по бигнорским понятиям было явлением из ряда вон выходящим.

- Эй, ты! - буркнул его противник. - Это все твои феи тебе подыгрывают.

Склмерсдейл уставился на него, швырнул кий на стол и вышел вон из бильярдной.

- Ну что ты к нему прицепился? - упрекнул задиру какой-то почтенный старичок, с удовольствием наблюдавший за игрой. Со всех сторон послышалось неодобрительное ворчание, и самодовольная ухмылка исчезла с лица остряка.

Как было упустить такой случай?

- Что это у вас за шутки насчет страны фей? - спросил я.

- Никакие это не шутки, молодому Склмерсдейлу не до шуток, - заметил почтенный старичок, отхлебнув из своего стакана.

А какой-то низенький краснолицый человечек оказался более словоохотливым.

- Да ведь не зря поговаривают, сэр, что феи утащили его к себе под Олдингтонский Бугор и держали там три недели кряду.

Тут собравшихся словно прорвало. Стоит одной овце сделать шаг, и за ней потянется все стадо. Скоро я уже знал, хоть и в общих чертах, о приключении Склмерсдейла. Раньше, до того как поселиться в Бигноре, он служил в точно такой же лавчонке в Олдингтон-Корнер, там-то все и произошло. Мне рассказали, что однажды он отправился на ночь глядя на Олдингтонский Бугор и пропал на три недели, а когда он вернулся, "манжеты были чисты, как будто только вышел за порог", а карманы набиты пылью и золой. Возвратился он угрюмый, подавленный, долго не мог прийти в себя и никак от него нельзя было добиться, где он пропадал. Одна девушка из Клэптон-хилла, с которой он был помолвлен, старалась у него все выпытать, но он упорно молчал, да к тому же еще, как она выразилась, просто "нагонял тоску", и по этим причинам она вскорости ему отказала. А потом он неосторожно кому-то проговорился, что побывал в стране фей и хочет туда вернуться, и, когда об этом все узнали и с деревенской бесцеремонностью стали над ним потешаться, он вдруг взял расчет и сбежал от насмешек и пересудов в Бигнор. Но что все-таки с ним приключилось в стране фей, этого не знала ни одна душа. Посетители кабачка плели кто во что горазд - так разбредается во все стороны стадо без пастуха. Один говорил одно, другой - другое. Рассуждали они об этом чуде с видом критическим и недоверчивым, но было заметно, что на деле они склонны многому верить. Я счел нужным высказать разумный интерес и вполне обоснованное сомнение:

- Если страна фей лежит под Олдингтонским Бугром, что же вы ее не отроете?

- Вот и я про это толкую, - подхватил молодой батрак.

- Уж не один брался под тем Бугром копать, не раз принимались, - мрачно заметил почтенный старичок, - да только вот похвалиться нечем...

Их единодушная, хотя и смутная вера подействовала на меня, я понимал: здесь что-то кроется, - и это еще больше разжигало мое любопытство, не терпелось узнать, что же на

самом деле произошло. Но рассказать обо всем мог лишь один человек, сам Скеммерсдейл; и я взялся за многотрудную задачу - нужно было сгладить первое неблагоприятное впечатление, которое я произвел на него, и добиться, чтобы он сам, по своей воле заговорил со мной откровенно и не таясь. Тут свою роль сыграло и то, что я был не простым деревенским жителем. Человек я по натуре приветливый, работы никакой вроде бы не делаю, ношу твидовые куртки и брюки гольф, и в Бигноре, естественно, меня сочли за художника, а там, как это ни странно, художника ставят неизмеримо выше, чем приказчика из бакалейной лавки. Скеммерсдейл, как и вообще многие из ему подобных, - изрядный сноб; вспылив, он сказал мне дерзость, но только когда я вывел его из себя, и сам, я уверен, потом раскаивался, и я знал, что ему очень льстит, когда все видят, как мы вместе прогуливаемся по улице. Пришло время, и он довольно охотно согласился зайти ко мне выпить стаканчик виски и выкурить табачку, и вот тогда-то меня осенила счастливая догадка: здесь не обошлось без сердечной драмы. Я, зная, как откровенность располагает к откровенности, рассказал ему пропасть интересных и поучительнейших случаев из моей жизни, вымышленных и подлинных. И во время третьего, если не ошибаюсь, визита, после третьей рюмки виски, когда я поведал ему, присочинив немало чувствительных подробностей, об одном весьма мимолетном увлечении моей юности, лед был сломан - под влиянием моего рассказа мистер Скеммерсдейл разоткровенничался.

- И со мной так же вышло, - сказал он. - В Олдингтоне. Это вот и чудно. Сперва мне было вроде ни к чему, она по мне страдала. А потом стало все наоборот, да только уж было поздно.

Я удержался от расспросов, последовал еще один намек, и вскоре стало ясно как день, что ему просто не терпится поговорить о своих приключениях в стране фей, тех самых, о которых так долго из него нельзя было вытянуть ни слова. Как видите, моя хитрость удалась: поток откровенных излияний сделал свое дело. Скеммерсдейл уже не опасался, что я, как все посторонние люди, не поверю ему, стану над ним насмехаться, теперь он увидел во мне возможного наперсника. Он томился желанием показать, что и он многое пережил и перечувствовал, и совладать с собой он был не в силах.

Поначалу он изводил меня намеками, так и подмывало спросить обо всем в упор и добраться наконец до самой сути, но я опасался поспешностью испортить дело. Только после того, как мы встретились еще раз-другой и я полностью завоевал его доверие, я сумел постепенно выведать у него многое, вплоть до мелочей. В сущности, я выслушал, и не один раз, почти все, что мистер Скеммерсдейл, рассказчик весьма неважный, вообще способен изложить. Итак, я подхожу к истории его приключений и буду рассказывать все по порядку. Случилось ли это в действительности, был ли это сон, игра воображения, какая-то странная галлюцинация, судить не берусь. Но я ни на минуту не допускаю мысли, чтобы он мог все это выдумать. Этот человек глубоко и искренне верит, что все на самом деле произошло именно так, как он рассказывает; он явно не способен лгать столь последовательно, сочинять такие подробности, ему верят наивные, но и весьма проницательные деревенские жители, и это - лишнее доказательство его правдивости. Он верит - и никто пока что не сумел поколебать его веру. Что до меня, то мне больше нечего сказать в подтверждение рассказа, который я передаю. Я уже не в том возрасте, когда убеждают или что-то доказывают.

По его словам, он заснул однажды вечером часов в десять на Олдингтонском Бугре - вполне вероятно, что это случилось в Иванову ночь, а может, неделей раньше или позже, он над этим не задумывался - был безветренный ясный вечер, всходила луна. Я не поленился три раза взобраться на этот Бугор после того, как выведал у мистера Скеммерсдейла его тайну, и однажды пошел туда в летние сумерки, когда луна только что поднялась и все, наверное, выглядело так же, как в ту ночь. Юпитер в своем царственном великолепии блистал над взошедшей луной, а на севере и северо-западе закатное небо зеленело и сияло. Голый и мрачный Бугор издали отчетливо вырисовывается на фоне неба, но вокруг на некотором расстоянии густые заросли кустарника, и, пока я поднимался, бесчисленные кролики, мелькавшие, как тени, или вовсе невидимые в темноте, выскакивали из

кустов и стремглав пускались наутек. Над самой вершиной - над этим открытым местом - тонко гудело несметное полчище комаров. Бугор, по-моему, - искусственное сооружение, могильник какого-нибудь доисторического вождя, и уж, наверное, никому не удавалось найти лучше места для погребения, откуда бы открывался такой необъятный простор. Гряда холмов тянется к востоку до Хайта, за нею виден Ла-Манш, и там, милях в тридцати, а то и дальше, мигают, гаснут и снова вспыхивают ярким белым светом маяки Гри Не и Булони. К западу, как на ладони, вся извилистая долина Уилда - ее видно до самого Хиндхеда и Лейт-хилла, а на севере долина Стауэра разрезает меловые горы, уходящие к бесконечным холмам за Уайем. Посмотришь на юг - Ромнейские топи расстилаются у ваших ног, где-то посредине Димчерч, и Ромни, и Лидд, Гастингс на горе и совсем вдали, там, где Истборн поднимается к Бич Хед, снова громоздятся в дымке холмы.

Вот здесь и бродил Скеммерсдейл, горюя из-за сердечных невзгод. Шел он, как он говорит, "не разбирая дороги", а на вершине решил сесть и подумать о своем горе и обиде и, сам того не заметив, уснул. И очутился во власти фей.

А расстроился он по пустякам: повздорил с девушкой из Клэптон-хилла, своей невестой. Дочь фермера, рассказывал Скеммерсдейл, из "очень почтенной семьи" - словом, прекрасная для него пара. Но и девица и поклонник были слишком молоды и, как всегда бывает в этом возрасте, ревнивы, нетерпимы до крайности, полны безрассудного стремления искать в другом одни лишь совершенства - жизнь и опыт, к счастью, быстро от этого излечивают. Почему, собственно, они поссорились, я не имею представления. Может быть, она сказала, что любит, когда мужчины носят гетры, а он в тот день гетры не надел, а может, он сказал, что ей другая шляпка больше к лицу, - словом, как бы эта ссора ни началась, она перешла в нелепую перебранку и закончилась колкостями и слезами. И, наверное, он совсем сник, когда она, вся заплаканная, удалилась, наградив его обидными сравнениями, сказав, что вообще никогда его не любила и что уж теперь-то между ними все кончено. Вот этой ссорой были заняты его мысли, и в горестном раздумье он поднялся на Олдингтонский Бугор, долго сидел там, пока неизвестно почему его не сморил сон.

Проснулся он на необычно мягкой траве - никогда раньше такой не видывал, - в тени густых деревьев, их листва заслонила небо. Вероятно, в стране фей неба вообще не бывает видно. За все время, что мистер Скеммерсдейл там провел, он единственный раз увидел звезды в ту ночь, когда феи танцевали. И мне думается, вряд ли это было в самой стране фей, скорее, они водили свои хороводы в поросшей тростником низине, неподалеку от Смизской железнодорожной ветки.

И все же под сенью этих развесистых деревьев было светло, среди листвы и в траве поблескивали бесчисленные светлячки, мелкие и очень яркие. Мистер Скеммерсдейл превратился в совсем крошечного человечка - это было первое, что он осознал, а потом он увидел вокруг целую толпу созданий, которые были еще меньше, чем он. Он рассказывал, что почему-то совсем не удивился и не испугался, сел поудобнее в траве и протер глаза. А вокруг толпились веселые эльфы - он заснул у них во владениях, и они утащили его в страну фей.

Я так и не смог добиться, какие они из себя, эти эльфы: язык у мистера Скеммерсдейла бедный, невыразительный, наблюдательности никакой - он почти не запомнил мелких подробностей. Одеты они были во что-то очень легкое и прекрасное, но это не были ни шелк, ни шерсть, ни листья, ни цветочные лепестки. Эльфы стояли вокруг, ждали, пока он совсем проснется, а вдоль прогалины, как по аллее, озаренной светлячками, шла к нему со звездой во лбу Царица фей, главная героиня его воспоминаний и рассказов. Кое-что о ней мне все-таки узнать удалось. На ней было прозрачное зеленое одеяние, тонкую талию охватывал широкий серебряный пояс. Вьющиеся волосы были откинuty со лба, и не то чтобы она была растрепана, но кое-где выбивались непослушные прядки, голову украшала маленькая корона с одной-единственной звездой. В прорезях рукавов иногда мелькали белые руки, и у ворота, наверное, платье слегка открывало точеную шею, красоту которой он мне все описывал. Шею

обвивало коралловое ожерелье, на груди был кораллово-красный цветок. Округлые, как у ребенка, щеки и подбородок, глаза карие, блестящий и ясный, искренний и нежный взгляд из-под прямых бровей. Мистер Склмерсдейл запомнил все эти подробности - можете себе представить, как глубоко врезался ему в память образ красавицы. Кое-что он пытался выразить, но не сумел. "Ну, вот как-то так она ходила", - повторил он несколько раз, и я представил себе ее движения, излучавшие сдержанную радость.

И с ней, с этим восхитительным созданием, отправился мистер Склмерсдейл, желанный гость и избранник, по самым сокровенным уголкам страны фей. Она встретила его приветливо и ласково - слегка, должно быть, пожала ему руку обеими руками, обратив к нему сияющее лицо. Ведь лет десять назад, юношей, мистер Склмерсдейл был, видимо, совсем недурен собой. И потом, наверное, повела его прогалиной, которая вся искрилась огнями светлячков.

Из маловразумительных и невнятных описаний мистера Склмерсдейла трудно было понять, где он побывал и что видел. Бледные обрывки воспоминаний смутно рисуют какие-то необычайные уголки и забавы, лужайки, где собиралось вместе множество фей, "мухоморы, от них такой шел свет розоватый", диковинные яства - он только и мог про них сказать: "Вот бы вам отведать!", - волшебные звуки "вроде как из музыкальной шкатулки", которые издавали, раскачиваясь, цветы. Была там и широкая лужайка, где феи катались верхом и носились друг с другом наперегонки "на букашках", однако трудно сказать, что подразумевал мистер Склмерсдейл под "букашками": каких-то личинок, быть может, или кузнечиков, или мелких жучков, которые не даются нам в руки. В одном месте плескался ручей и цвели огромные лютики, там феи купались все вместе в жаркие дни. Кругом в чаще мха резвились, танцевали, ласкали друг друга крошечные создания. Нет сомнения, что Царице фей мистер Склмерсдейл очень полюбился, нет сомнений и в том, что сей юноша решительно вознамерился устоять перед искушением. И вот пришло такое время, когда, сидя с ним на берегу реки, в тихом и укромном уголке ("фиалками там здорово пахло"), она призналась ему в любви.

- Голос у нее стал тихий-тихий, шепчет что-то, взяла меня, знаете, за руку и под села поближе, и такая ласковая и славная, я прямо чуть совсем голову не потерял.

Похоже, что, к несчастью, он слишком долго не терял головы. Благоухали фиалки, пленительная фея была с ним рядом, но мистер Склмерсдейл понимал, как он выразился, "куда ветер дует", и поэтому деликатно намекнул, что у него есть невеста.

А фея перед тем говорила ему, что нежно его любит, что среди других пареньков, его товарищей, он ей милее всех и, что бы он ни попросил, все она исполнит - даже самое заветное его желание.

Мистер Склмерсдейл, который, должно быть, упорно отводил взгляд от ее губок, произносивших эти слова, сказал, что ему бы не помешал небольшой капиталец - он хочет открыть свою собственную лавку. Могу себе представить слегка удивленное выражение ее карих глаз, о которых он столько мне говорил, но она, видимо, все поняла и стала подробно расспрашивать, какая у него будет лавка, "и этак посмеивалась" все время. Вот и пришлось сказать правду о помолвке и о невесте.

- Все как есть? - спросил я.

- Все, - отвечал мистер Склмерсдейл. - И кто такая, и где живет, и все вообще без утайки. Словно что меня заставило говорить, правда.

- Все тебе будет, что ни попросишь, - сказала Царица фей. - Считаю, что твое желание выполнено. И непременно будут у тебя деньги, раз ты этого хочешь. А теперь вот что: ты должен меня поцеловать.

Мистер Склмерсдейл притворился, что не слышал ее последних слов, и сказал, что она очень добрая. И что он даже не заслужил такой доброты. И...

Царица фей вдруг придвинулась к нему еще ближе в шепнула: "Поцелуй меня!"

- И я, дурак набитый, послушался, - сказал мистер Склмерсдейл.



Поцелуи, как я слышал, бывают разные, и этот совсем, наверное, не походил на звучные проявления нежности, которые ему дарила Милли. В этом поцелуе было что-то колдовское, и, безусловного той минуты все переменялось. Во всяком случае, об этом событии он рассказывал подробнее всего. Я пытался вообразить, как это было на самом деле, воссоздавал в уме эту волшебную картину из путаницы намеков и жестов, но разве могу я описать, какой мягкий свет пробивался сквозь листву, как все вокруг было прекрасно, удивительно, как волнующе и таинственно молчал сказочный лес. Царица фей снова в снова расспрашивала его о Милли: и какая она, и очень ли красивая - все ей надо было знать подробнее. Кажется, на вопрос, хороша ли собой Милли, он ответил "ничего себе". А затем после одного такого разговора фея поведала ему, что, когда он спал при свете луны, она увидела его и влюбилась, и как его унесли к ним, в страну фей, и она мечтала, не зная ничего о Милли, что, может быть, и он полюбит ее. Но раз уж ты любишь другую, сказала она, то побудь со мной хоть немного, а потом ты должен возвратиться к своей Милли. Она так говорила, а Скеммерсдейл уже был во власти ее чар, но с присущим ему тугодумием все не мог отрешиться от прежнего. Воображаю, как он сидел в странном оцепенении среда этой невиданной красоты в все твердил про Милли и про лавку, которую он заведет, и что нужна лошадь и тележка... И, должно быть, много дней тянулась эта канитель. Я так и вижу - крошечная волшебница не отходит от него ни на шаг, все старается его развлечь, она слишком беспечна, чтобы понять, как тяжело ему приходится, и слишком полна нежности, чтобы его отпустить. А он, понимаете, следует за ней по пятам, настолько поглощенный удивительным новым чувством, что ничего вокруг не замечает, а между тем земные заботы по-прежнему владеют им. Трудно, пожалуй, невозможно передать словами лучезарную прелесть маленькой феи, светившуюся в корявом и сбивчивом рассказе бедняги Скеммерсдейла. Мне, по крайней мере, она сияла чистым блеском сквозь сумбур неуклюжих фраз, как светлячок в спутанной траве.

А тем временем прошло, должно быть, немало дней, и он многое видел - и один раз, как я понял, феи даже танцевали при лунном свете, водили хоробы по всей лужайке возле Смиза, - но вот всему пришел конец. Она привела его в большую пещеру, "такой там красный ночник горел" и громоздились один на другом сундуки, сверкали кубки и золотые ларцы и - тут мистер Скеммерсдейл никак не мог ошибиться - высились горы золотых монет. Маленькие гномы хлопотали среди этих сокровищ, они поклонились и отступили в сторону. Царица фей обернулась к нему, и глаза ее заблестели.

- Ну вот, - сказала она, - ты такой славный, так долго со мною пробыл, и пора уж тебя отпустить. Ты должен вернуться к своей Милли. Ты должен вернуться к своей Милли, а я свое обещание не забыла, сейчас тебе дадут золота.

- Она словно бы задохнулась, - рассказывал мистер Скеммерсдейл. - А я чувствую, - он коснулся груди, - будто все у меня тут замерло. Бледнею, дрожу, а сказать ничего не могу, нечего мне сказать.

Он помолчал.

- А потом? - спросил я.

Описать эту сцену было ему не под силу. Я узнал только, что на прощание она его поцеловала.

- И вы ничего не сказали?

- Ничего, - отвечал он. - Стоял, как теленок. Она лишь разок обернулась, улыбается словно и плачет - мне видно было: глаза блестят, а потом пропала, а вся эта мелюзга забегала вокруг меня, и суют мне золото в руки, и в карманы, и за шиворот.

И лишь когда Царица фей исчезла, мистер Скеммерсдейл все понял и осознал. Он вдруг стал отшвыривать золото, которым его осыпали, и закричал, что ему ничего не надо. "Не нужно мне вашего золота, - говорю. - Я не уйду. Я останусь. Хочу с вашей госпожой еще раз поговорить". Кинулся было за ней, а они меня не пускают. Да, упираются мне в грудь ручонками, толкают назад. И все суют и суют мне золото, из рук уж падает, из карманов высыпается.



- Не нужно мне золота, - говорю им. - Мне бы только вашей госпоже еще хоть словечко сказать.

- И удалось вам с ней поговорить?

- Куда там, драка началась.

- Так ее больше и не увидели?

- Не пришлось. Когда их расшвырял, уже ее не было.

И он кинулся ее искать - из этой пещеры, залитой красным светом, но длинному сводчатому переходу, пока не очутился посреди мрачной и унылой пустоши, где роились блуждающие огни. А вокруг, насмехаясь, плясали эльфы, и гномы из пещеры мчались за ним по пятам с руками, полными золота, они швыряли ему золото вслед и кричали: "Прими от феи ласку! Прими от феи злато!"

Когда он услышал эти слова, его охватил страх, что все кончено, и он стал громко звать ее по имени, вдруг пустился бежать, от входа в пещеру вниз по склону, продираясь сквозь боярышник и терновник, и все громко звал ее и звал. Эльфы плясали вокруг, щипали его, царапали - он ничего не замечал, и блуждающие огни вились над головой, кидались ему в лицо, а гномы неслись следом и кричали: "Прими от феи ласку! Прими от феи злато!" Он бежал, и за ним гналась эта странная орава, сбивала его с пути, он то проваливался по колено в болото, то спотыкался о сплетенные толстые корни и вдруг зацепился ногой за один из них и упал.

Упал ничком, перевернулся на спину - и в тот же миг увидел, что лежит на Олдингтонском Бугре и вокруг ни души - лишь звезды над головой.

По его словам, он тут же сел, чувствуя, что продрог, все тело затекло, а одежда намочила от росы. Занимался бледный рассвет, повеяло холодным ветерком. Он было подумал, что все это ему пригрезилось в каком-то небывало ярком сне, но сунул руку в карман и увидел, что карман набит золой. Сомневаться не приходилось - это волшебное золото, которым его одарили. Он чувствовал, что весь исщипан, исколот, хотя на нем не было ни царапины. Таким было внезапное возвращение мистера Склмерсдейла из страны фей в этот мир, где обитают люди. Ему казалось, что прошла одна только ночь, но, вернувшись в лавку, он обнаружил, что, к всеобщему изумлению, пропадавал целых три недели.

- Господи! И намучился я тогда!

- Почему?

- Объяснять нужно было. Вам, думаю, ни разу не приходилось объяснять такое.

- Ни разу, - сказал я.

Он некоторое время бубнил о том, кто и как себя вел. Лишь одного имени не упомянул.

- А Милли? - спросил я наконец.

- Мне, по правде, и видеть ее не хотелось, - последовал ответ.

- Она, должно быть, изменилась?

- Все изменились. Навсегда изменились. Такие стали здоровенные, неуклюжие. И вроде очень горластые. А когда утром солнце, бывало, встанет, так мне аж глаза резало.

- Ну, а Милли?

- И видеть-то ее не хотелось.

- А когда увидели?

- Она мне повстречалась в воскресенье, из церкви шла. "Ты где пропадал?" - спрашивает, а я гляжу - быть ссоре. Мне-то было наплевать, пусть ссора. Я вроде ее и не замечаю, хоть она тут рядом и говорит со мной. Словно ее и нет. Сообразить не мог, чем это она мне раньше приглянулась. Иногда, если подолгу ее не видел, будто возвращалось старое. А когда увижу, тут словно та, другая, придет и заслонит ее... Ну, да и Милли не очень-то убивалась.

- Вышла замуж? - спросил я.

- За двоюродного брата, - ответил мистер Склмерсдейл и некоторое время пристально изучал узор на скатерти.

Когда он снова заговорил, было ясно, что от первой любви не осталось и следа, наша беседа вновь возродила в его сердце образ Царицы фей. Он опять принялся говорить о ней. Он открыл мне необычайные секреты, странные любовные тайны - повторять их было бы предательством. И вот что казалось мне самым поразительным во всей этой истории: сидит маленький франтоватый приказчик из бакалейной лавки, рассказ его окончен, на столе перед ним рюмка виски, в руке сигара - и от него ли я слышу горестные признания, пусть теперь уже и притупилась эта боль, о безысходной тоске, о сердечной муке, которая терзала его в те дни?..

- Не ел, - рассказывал он. - Не спал. В заказах ошибался, сдачу путал. Все о ней думал. И так по ней тосковал! Так тосковал! Все там пропадал, чуть не каждую ночь пропадал на Олдингтонском Бугре, часто и в дождь. Брожу, бывало, по Бугру, снизу доверху облазал, кличу их, прошу, чтобы пустили. Зову. Чуть не плачу. Оползнул от горя. Все повторял, что, мол, виноват. А по воскресеньям и днем туда лазал и в дождь и в ведро, хоть и знал не хуже вашего, что ничего днем не выйдет. И еще старался там уснуть.

Он неожиданно замолчал и отхлебнул виски.

- Все старался там уснуть, - продолжал он, и, готов поклясться, у него дрожали губы. - Сколько раз хотел там уснуть. И, знаете, сэр, не мог - ни разу. Я думал: если там усну, может, что и выйдет... Но сижу ли там, бывало, лягу ли - не заснуть, думы одолевают и тоска. Тоска... А я все хотел...

Он тяжело вздохнул, залпом допил виски, неожиданно поднялся и, пристально и неодобрительно разглядывая дешевые олеографии на стене у камина, стал застегивать пиджак. Маленький блокнот в черной обложке, куда он заносил ежедневно заказы, выглядывал, у него из нагрудного кармана. Он застегнулся на все пуговицы, похлопал себя по груди и вдруг обернулся ко мне.

- Ну, - сказал он, - пойду.

Во взгляде, во всем его облике сквозило что-то такое, чего он не мог передать словами.

- Заговорил вас совсем, - промолвил он уже в дверях, слабо улыбнулся и исчез с моих глаз.

Такова история приключений мистера Скелмерсдейла в стране фей, как он сам мне ее рассказал.

## ***Большой жаворонок***

Мой первый аэроплан! Какое яркое воспоминание из далеких дней детства!

Да-да, именно весной 1912 года я приобрел летательный аппарат "Alauda Magna" - "Большой Жаворонок". (Это я дал ему такое название.) В ту пору я был стройным мужчиной двадцати четырех лет от роду: блондин с роскошной шевелюрой, украшавшей безрассудно смелую молодую голову. Право же, я был неотразим даже несмотря на то, что из-за слабого зрения пользовался очками. Они так шли к моему выдающемуся орлиному носу, который никто не рискнул бы назвать бесформенным, носу авиатора. Я хорошо бегал и плавал, был убежденным вегетарианцем, носил одежду только из шерстяной ткани и неизменно придерживался самых крайних взглядов во всем и по любому поводу. Пожалуй, ни одно новое веяние или движение не обходилось без моего участия. У меня было два мотоциклета, и на большой фотографии тех лет, которая до сих пор висит в кабинете над камином, я красуюсь в кожаном шлеме, защитных очках и перчатках с крагами. Добавьте ко всему, что я слыл большим специалистом по запуску аэростатов и всеми уважаемым инструктором бойскаутов.

Естественно, что, как только начался авиационный бум и всем захотелось летать, я был готов ринуться в самое пекло.

Какое-то время меня сдерживали слезы рано овдовевшей матушки, но, в конце концов, терпение лопнуло. Я заявил:

- Если я не стану первым летающим жителем Минтончестера, уеду отсюда. Только так! У меня твой характер, мама, и этим все сказано!

Не далее как вчера в ящике комода, набитом аляповатыми гравюрами на дереве и еще более нелепыми плодами изобретательства, мне попался на глаза один из старых прейскурантов. Что это было за время! Скептики наконец согласились поверить: человек может летать. Как бы в поддержку племени автомобилистов, энтузиастов-мотоциклистов и им подобных, сотни новых, ранее неизвестных фирм выпускали аэропланы любых размеров и любой формы. А цены... Ох уж эти цены: минимум триста пятьдесят гиней за летательный аппарат! В этом прейскуранте стояло и четыреста пятьдесят и пять сотен за изделия, многие из которых летали с таким же успехом, как дубовое бревно! И это бы еще куда ни шло, но аэропланы не только продавались без какой-либо гарантии, но представители фирмы еще и мило извинялись, что не прилагают инструкций.

Как свежи в памяти мечты и сомнения той поры!

Все мечты сводились к волшебству пребывания в воздухе. Мне виделось, как изящно взлетаю я с лужайки за нашим домом, легко перемахивая через живую изгородь, кругами набираю высоту, чтобы не задеть груши в саду священника, и проношусь между шпилем церкви и холмом Уитикомб в сторону рыночной площади. Боже мой! Как все будут стараться разглядеть меня. Донесутся голоса: "Это снова молодой мистер Бэтс. Мы знали, он совершит это". Я сделаю круг и, может быть, помашу платком. После этого я собирался пролететь над садами Лаптона - к огромному саду сэра Дигби Фостера. Как знать, может быть, из окна коттеджа выглянет его прелестная обительница?..

Ах, молодость, молодость!

Помню, как мчался на мотоциклете в Лондон, чтобы выяснить положение вещей и сделать заказ. Не забыть, как я лавировал в потоке автомобилей, окатывавших меня грязью, когда я метался от одного магазина к другому. Не забыть раздражения от многократно услышанного ответа: "Распродано! Можем гарантировать доставку не раньше начала апреля".

Это могло обескуражить кого угодно, но меня - нет!

В конце концов я купил "Большого Жаворонка" в маленькой конторе на Блэкфрэйрс-роуд. Заказ на него был уступлен этой фирме другим фабрикантом аэропланов в одиннадцать утра из-за смерти заказчика. Чтобы заполучить аппарат, я превысил возможности моего скромного счета в банке - даже сегодня я ни за что не назову цену, которую уплатил. Бедная матушка!

Не прошло и недели, как детали летательного аппарата были доставлены на лужайку за домом и два весьма посредственных механика смонтировали их в единое целое.

О, радость свершения!.. И дрожь на пороге безрассудно смелого поступка. Меня никто не обучал полетам - все квалифицированные инструкторы были уже наняты за сумасшедшие деньги на много месяцев вперед, - но останавливаться на полпути не в моем характере! Я бы не выдержал отсрочки полета, даже если бы речь шла о каких-нибудь трех днях. Я уверил маму, что брал уроки: грош цена сыну, если он не способен соврать во имя спокойствия родительницы.

Помню состояние ликующего смятения, когда с напускным равнодушием слонялся вокруг аппарата, который обретал все более законченный вид. Добрая половина жителей Минтончестера почтительно глазела на меня поверх зеленой изгороди, удерживаемая от вторжения новым щитом с предупредительной надписью и суровым выражением лица Снайпа, нашего верного садовника, который косил траву и, вооруженный острой косой, одновременно нес караульную службу, не пуская никого на лужайку. Я закурил папиросу и с умным видом следил за работой механиков. Чтобы уберечь аэроплан от назойливых любителей всюду совать свой нос, мы наняли старика безработного Снортикомба сторожить наше сокровище всю ночь. Ведь вы понимаете, что в те дни аэроплан был и знаменем времени, я чудом.

Для своего времени; "Большой Жаворонок" был красавцем, хотя, полагаю, сегодня его вид вызвал бы иронический смешок у любого школьника. Это был моноплан, напоминавший творение Блерио. На нем стоял самый замечательный, изумительно сработанный семицилиндровый мотор системы "Джи-кэй-си" в сорок лошадиных сил с маховиком марки "Джи-би-эс".

Я провел целый час, регулируя работу мотора. От рокота можно было оглохнуть - он трещал как пулемет. В конце концов священник прислал сказать, что пишет проповедь "О покое в душе" и никак не может сосредоточиться на избранной теме, так ему мешает шум. Я принял этот протест благосклонно. Мотор в последний раз взревел и умолк. Окинув мое сокровище долгим взглядом, я отправился прогуляться по городу.

Я очень старался держаться скромно, но не мог не ощущать всеобщего внимания. Отправляясь на прогулку, я случайно забыл переодеться. На мне были бриджи и краги, купленные специально для полетов, а на голове - кожаный шлем с небрежно болтавшимися "ушами", так что я мог слышать все, что говорилось вокруг. Не успел я дойти до конца Гай-стрит, как позади меня уже топало не меньше половины жителей городка в возрасте до пятнадцати лет.

- Собираетесь полететь, мистер Бэтс? - спросил один толстощекий юнец.

- Как птица?

- Не летите, пока мы не вернемся из школы, - умоляюще пискнул какой-то малыш.

Тот вечер был для меня сродни путешествию по стране очень высокопоставленного лица. Я нанес визит старине Лаптону - нашему ученому садоводу, и ему стоило большого труда не показать, как он польщен моим вниманием. Он провел меня по новой оранжерее и мимоходом упомянул, что теперь у него три акра теплиц, а также показал всевозможные хитрые приспособления для получения обильных урожаев. Потом мы прошагали в дальний конец запущенного цветника и полюбовались его пчелами.

Когда я вышел на улицу, моя свита все еще ждала меня, причем толпа явно увеличилась. Обойдя стороной Параморз, заглянул в гостиницу "Бык и лошади" - без особой надобности, просто так, ради стаканчика лимонада. Все говорили о моем аэроплане. Стоило мне появиться на пороге зала, как посетители на мгновение умолкли, а затем градом посыпались вопросы.

Я особо подчеркиваю это, так как очень скоро мне пришлось убедиться, что приливы и отливы популярности относятся к разряду самых необъяснимых и изменчивых явлений на свете.

Особенно вспоминается, как старина Чизмен, колбасник, свиней которого потом я задавил, все снова и снова повторял тоном полного удовлетворения:

- ПОДНЯТЬСЯ тебе не составит никакого труда. ВЗЛЕТЕТЬ будет нетрудно.

При этом он подмигивал и кивал головой другим почтенным лавочникам, собравшимся там.

ВЗЛЕТЕТЬ НЕ СОСТАВИЛО ТРУДА. "Большой Жаворонок" легко оторвался от земли.

Стоило мотору позади меня взречься, а пропеллеру начать вращаться, как - хлоп, хлоп - аппарат несколько раз оттолкнулся от земли, полозья повисли под передними колесами, и мы быстро понеслись над лужайкой в сторону живой изгороди, окружавшей дом священника. Мой аппарат двигался вперед и вверх как-то волнообразно: так колыхнется при ходьбе дородная, но очень темпераментная дама.

На пороге нашей веранды я мельком увидел мою храбрую маленькую маму, пытавшуюся сдерживать слезы и полную гордости за сына. Рядом стояли обе служанки и старина Снайп. Потом я разом сосредоточил все внимание на штурвале, так как мне не хотелось повиснуть на грушах в саду священника.

Взлетев, я ощутил легчайшее вздрагивание аэроплана. Показалось, будто я услышал звучный удар по нашему новенькому предупредительному щиту, гласившему: "Нарушители будут привлечены к ответственности!" Увидел, как при моем оглушающе громком приближении толпа на проселке между живыми изгородями заматалась и бросилась

врассыпную. Только после полета, когда все кончилось, я понял, до чего додумался этот идиот из идиотов Снортикомб. Он явно вбил себе в голову, что крылатому чудовищу нужна привязь - иначе объяснить ход его рассуждений я не берусь, - и, прикрепив к концам крыльев по канату длиной в дюжину ярдов, он надежно прикрепил аэроплан к двум железным стойкам, на которые обычно натягивали сетку для игры в бадминтон. "Жаворонок" без труда выдернул эти колья. Теперь они волочились за аэропланом, плясали, подскакивали и буквально кидались на все, что оказывалось на их пути, нанося жестокие удары. Мне рассказали, что на проселке сильнее всего досталось бедняге Темплкому - лысая голова старика получила крепкий подзатыльник. Вслед за этим мы расколошматили парники для огурцов у священника, лишили жизни его попугая, вышибли верхнюю раму в окне кабинета и чудом не стукнули служанку, когда она высунулась из окна второго этажа. Разумеется, в то время я ничего не знал о своих художествах - это происходило намного ниже плоскости полета. Я старался обогнуть дом священника и все-таки чуть не задел красивое строение, а потом молил бога, чтобы не коснуться груш в дальнем конце сада. И это мне удалось (листья и мелкие ветки, которые полетели во все стороны от соприкосновения с полозьями, не в счет).

Хвала всевышнему за прочные цилиндры мотора!

Потом некоторое время я летел, не касаясь земли.

Пилотировать аэроплан оказалось намного труднее, чем представлялось: мотор оглушительно ревел, а штурвал вел себя как живое существо - он упрямо сопротивлялся намерениям человека. Мне все же удалось направить аппарат в сторону рыночной площади. Пророкотали над овощной лавкой Станта - железные колья прошлись по постройке с тыла, весело пересчитали черепицу на крыше и обрушили лавину битого кирпича от разрушенной трубы на тротуар, полный прохожих. Затем аппарат резко клюнул носом - кажется, одному из железных колеьев вздумалось таким якорем на миг уцепиться за стропила крыши Станта, - и мне стоило большого труда проскочить мимо конюшни при гостинице "Бык и лошади". Признаюсь, конюшню я все-таки задел. Подобные лыжам полозья для приземления скользнули по коньку крыши, а левое крыло погнулось о верх дымовой трубы, неуклюже попыталось отцепиться и повредилось еще сильнее.

Позже мне говорили, что увлекаемые аэропланом колья просвистели над полной народа рыночной площадью дьявольски коварным образом, так как аэроплан сперва клюнул носом, а затем резко подскочил вверх. Делаю оговорку: эта часть повествования явно грешит преувеличениями. Никого не убило. С того момента, когда я появился над лавкой Станта, а затем соскользнул с крыши конюшни, чтобы пересчитать стекла теплиц Лаптона, прошло всего-то полминуты. Если бы люди проявили разумную осторожность, а не глазели на меня, никто бы не пострадал. Неужели мне следовало разъяснять всем и каждому, что их может трахнуть железной дубиной, которая решила сопровождать аэроплан. Вот уж кому действительно следовало бы предупредить народ, так это идиоту Снортикомбу. Непредвиденное повреждение левого крыла, а также появившиеся перебои в работе одного из цилиндров - рокот мотора стал тревожно-прерывистым - требовали всего моего внимания без остатка.

Пожалуй, я повинен в том, что сбросил старину Дадни с империаля станционного омнибуса, но не имею никакого отношения к последовавшим затем маневрам омнибуса, который после галопа среди рыночных палаток врезался в витрину магазина Чизмена. Не могу же я, право, отвечать за невоспитанную толпу бездельников, которой вздумалось обратиться в паническое бегство по небрежно расставленной на земле глиняной посуде и опрокинуть прилавок, за которым торговали маслом. Меня просто сделали козлом отпущения.

Я бы не сказал, что на парники Лаптона мы упали или проехали по ним. Нет. Если уж быть точным, то здесь к месту только слово "срикошетировать". Да, только этот глагол.

Было очень странно чувствовать, как тебя несет крупное, способное держаться в воздухе сооружение, которое, по сути дела, составило с тобой единое целое, и, хотя ты изо всех сил



стараешься управлять полетом, то подскакивает, то с хрустом падает на крышу очередной теплицы. Наконец, после пятой или шестой атаки я вздохнул с радостным облегчением: мы стали набирать высоту!

Все неприятное мгновенно забылось. Сомнения в том, создан ли "Большой Жаворонок" для полета, рассеялись. Он мог летать, и еще как! Мы уже пророкотали над стеной в конце участка, а позади чертовы колья все еще лупили по чему попало. На лугу Чизмена я не причинил вреда никому и ничему, разве что колом ударило корову. (На следующий день она сдохла.) Затем я начал медленно, но неуклонно набирать высоту и, ощутив, что аппарат послушен моей воле, заложил вираж над свинарниками Чизмена, горя желанием еще раз показать Минтончестеру, на что я способен.

Я собирался подняться по спирали выше строений и деревьев, а затем описать несколько кругов вокруг церковного шпиля. До этого момента я был так поглощен нырками и рывками чудовища, которое пилотировал, что почти не обращал внимания на происходящее на земле. Теперь же мне удалось рассмотреть, как небольшая толпа во главе с Лаптоном устремилась наискосок по лугу Чизмена. В руках Лаптона грозно сверкали навозные вилы. "Хм! Какого невидимку они преследуют?"

Все выше и выше, рокоча и покачиваясь.

Я бросил взгляд вдоль Гай-стрит и увидел ужасающий разгром, постигший рыночную площадь. Тогда я еще не связывал этот жуткий ералаш с моим полетом.

Только сотрясение от сильного удара о флюгер выключило мотор "Жаворонка". Я так никогда и не понял, как меня угораздило стукнуться о несчастную вертушку: может быть, надежному управлению аппаратом мешало левое крыло, погнутое о крышу дома Станта? Так или иначе, но я ударил по этому уродливому украшению, повредил его и в течение нескольких долгих секунд казалось, что в следующий момент аэроплан рухнет на рыночную площадь. Я все-таки удержал аппарат в воздухе нечеловеческим усилием. (Люди, которых я не раздавил, могли бы пролить за это хоть слезинку благодарности.) Пронесся, цепляясь за макушки деревьев Уитикомба, вздохнул с облегчением и... понял, что мотор останавливается. Времени на выбор места для приземления уже не было, возможности свернуть тоже. Разве я виноват, что добрая четверть жителей Минтончестера заполнила луг Чизмена? Этот луг давал единственный шанс приземлиться, а не грохнуться. Я воспользовался им, круто пошел на снижение и проделал все от меня зависящее. Возможно, я сбил нескольких человек. Что поделаешь: прогресс не обходится без жертв!

Да, да, и мне пришлось убить его хрюшек. Вопрос стоял так: либо я сажаю аппарат на пасущихся свиней и сокращаю длину пробега по земле, либо, перелетев их, с разгона врезаюсь в свинарники из гофрированного железа. От меня осталось бы мокрое место, а у всех свинок конец известен и неизбежен.

Мы остановились. Я с усилием поднялся во весь рост и оглянулся. Мгновенно стало ясно, что в порыве черной неблагодарности Минтончестер собирается прикарманить мои скромные лавры организатора Дня Авиации.

Воздух звенел от визга двух свиней, которых подмял аппарат, и негодующих криков зевак. Ближе всех ко мне был Лаптон. Он крепко сжимал вилы с очевидным намерением всадить их мне в живот. В момент опасности я никогда не теряю головы и соображаю очень быстро.

Пулей выскочил я из бедного "Жаворонка", промчался через свинарник, пересек сад Фробишера, перемахнул через стену двора коттеджей Хинкса и оказался внутри полицейского участка с черного хода раньше, чем кому-либо удалось приблизиться ко мне ближе пятидесяти футов.

- Привет! - сказал инспектор Нэнтон. - Угробил свою колымагу?

- Нет. Но людей, кажется, что-то разозлило. Я хочу... Заприте меня в камеру...

Две недели, целые две недели мне не давали приблизиться к собственной машине. Когда первое возбуждение немного спало, я покинул гостеприимный полицейский участок и отправился домой, причем красться пришлось окружным путем - по Лав-лейн и Чарту, - только

чтобы не дать повода к новой вспышке активности сограждан. Разумеется, я нашел матушку в страшном негодовании от того, как со мной обошлись.

И вот, представьте себе, я оказался на осадном положении в комнатах второго этажа, а мой крепыш - "Большой Жаворонок" - виднелся на поле Чизмена, причем любой мог разгуливать вокруг него и паяться на диковинку, любой, но не я! Чизмен носился с теорией, что он захватил этот аппарат. Однажды ночью поднялся сильный ветер и швырнул моего любимца через изгородь - снова на парники Лаптона...

После этого Лаптон прислал нам глупейшую записку. В ней говорилось, что, если мы не уберем аэроплан, то в возмещение убытков он его продаст. Далее следовала длинная тирада о причиненном ущербе; был упомянут и его поверенный. Матушка поспешила в Апнортон Корнер, где обратилась к Клампсу ("Доставка мебели"). Молодцы из конторы раздобыли фуру для возки бревен, и к тому времени, когда эта громоздкая телега прибыла на место, настроение общественности уже смягчилось до такой степени, что я смог лично руководить перевозкой.

Аэроплан распластался на руинах агротехнических новшеств Лаптона как крупный мотылек, почти невредимый, если не считать нескольких дыр, погнутых стоек и подкосов левого крыла, а также сломанного полоза. Но аппарат был забрызган кровью свиней и выглядел очень непривлекательно.

Я сразу же бросился к мотору, и к прибытию фуры двигатель работал, как полагается.

Торжественное шествие домой вернуло мне некоторую популярность. С помощью толпы мужчин "Большого Жаворонка" водрузили на телегу. Для большей устойчивости аппарата я расположился в кресле пилота, и разномастная упряжка из семи лошадей потащила аэроплан к нашему дому. Когда мы тронулись, было около часу дня, и сбежавшиеся ребятишки приветствовали сей торжественный момент дружным смехом и залпом насмешек. Мы не могли проехать по Пукс-лейн - узкой улочке, окруженной высокими стенами, мимо дома священника и направились окольным путем - по лугу Чизмена, в сторону Стоукс-Уэйст и общинного выгона.

Конечно, было весьма неосмотрительно поступить так, как я поступил (теперь-то я это понимаю), но учтите: я возвышался на триумфальной колеснице, кругом волновалось море голов, все это возбуждало. Упоение славой!.. Поверьте, я собирался всего лишь приветственно рокотнуть мотором, а меня подняло в воздух. Вр-р-р-р!! Как будто что-то взорвалось, и вот тебе на - "Жаворонок" уже оторвался от повозки и ринулся над пастбищем во второй полет.

- Боже!

Я решил набрать небольшую высоту, развернуться и посадить аппарат на лужайке за нашим коттеджем. Увы! Первые аэропланы были очень своевольными созданиями.

Впрочем, приземлиться в саду священника было вовсе не дурной идеей; именно так мы и поступили. Можно ли винить меня за то, что на лужайке в этот момент завтракало все семейство священника с приглашенными к ним друзьями. Им просто не хотелось выбегать на улицу, когда "Большой Жаворонок" следовал домой; они заняли удобное место заранее. Этот ленч был задуман как скромное торжество. Они собирались позлорадствовать над каждой подробностью моего позорного возвращения. Это ясно из того, где именно накрыли стол. При чем тут я, если судьбе вздумалось сделать наш обратный путь менее унижительным и она швырнула меня на их головы?

В тарелках дымился суп. Полагаю, что меня собравшаяся компания оставила на сладкое.

До сих пор не могу понять, как я не убил священника. Передняя кромка левого крыла зацепила его под подбородок и пронесла в таком положении - спиной вперед - ярдов десять. Его шейные позвонки, вероятно, были из стали; но даже если это и так, поразительно, что ему не оторвало голову. Может быть, он держался за что-нибудь снизу? Только не могу себе представить за что. Очевидно, мое изумление при виде его лица с выпученными глазами виной тому, что я врезался в веранду. Но как тут было не разинуть рот?

Все всмятку... Веранда под слоем зеленой краски, должно быть, была трухлявой. Так это или нет, но она сама, выющиеся розы, черепица кровли - все оказалось поломано, порвано, перебито и рухнуло, как театральная декорация, а мотор, половина аэроплана и я - через огромное двустворчатое окно-дверь - приземлились в гостиной. Нам здорово повезло, что окно было распахнуто. Нет ничего неприятнее ранений от тонкого оконного стекла, если случится пролететь сквозь него; мне следовало это знать. На мою голову сразу обрушился жуткий ливень нравоучений и упреков - хорошо еще, что священник был выведен из строя. Ах, эти глубокие и высокопарные сентенции! Однако, может быть, они и смягчили несколько накал страстей?..

"Большому Жаворонку", моему первому аэроплану, пришел конец. Никогда, даже мысленно, я не пытался вернуть его; мне просто не хватило решительности...

Потом разразилась буря!

Идея, вероятно, заключалась в том, чтобы заставить маму и меня уплатить за все, что когда-либо обрушилось или сломалось в Минтончестере с самого сотворения мира. Да что там, нам следовало раскошелиться за каждое животное, которое внезапно подошло на памяти старейшего из жителей городка. Тариф был под стать претензиям.

Коровы оценивались в двадцать-тридцать фунтов стерлингов и выше; свиньи шли по фунту за каждую, без скидки за убиение разом нескольких животных; веранды, эти жалкие пристройки, оценивались неизменно не менее сорока пяти гиней. Обеденные сервизы тоже были в цене, так же как черепица и всякого рода строительные работы. Представлялось, что некоторые жители Минтончестера вообразили, что над городком забрезжила заря процветания, ограниченного фактически только нашей платежеспособностью. Священник попытался было прибегнуть к устаревшей форме шантажа, угрожая распродажей для покрытия убытков, но я смиренно согласился: "Распродавайте..."

Я ссылаясь на дефектный мотор, на роковое стечение обстоятельств, лез из кожи вон, чтобы свалить вину на фирму с Блэкфрэйрс-роуд, и в виде дополнительной меры безопасности представил документ о несостоятельности. Благодаря моей матушке я не владел никаким имуществом, кроме двух мотоциклов (злодеи конфисковали их!), темной комнаты для занятий фотографией и уймы книг в переплетах - по авиации и о прогрессе вообще. Матушка, конечно, не была виновата. Она не имела к случившемуся никакого отношения.

Так вот, несмотря на все, неприятности навалились лавиной. Стоило мне появиться на улице, как всякий сброд вроде школяров, мальчишек, прислуживавших игрокам в гольф, и неуклюжих подростков выкрикивал мне вслед обидные слова; глупцы, подобные старику Лаптону, не соображавшие, что человек не может оплатить то, чего он не получал, грозили мне физической расправой; меня изводили жены разных джентльменов, считавших, что их мужьям следовало отдохнуть от трудов праведных на законном основании, то есть из-за телесных повреждений; меня засыпали целым ворохом идиотских судебных повесток с перечислением целой кучи фантастических преступлений, таких, например, как злостное членовредительство и человекоубийство, преднамеренное нанесение убытков и нарушение чужого права владения. Оставался один выход - бежать из Минтончестера, уехать в Италию и оставить бедную маленькую матушку укрощать человеческие страсти в свойственной ей твердой и сдержанной манере. Должен признаться, она проявила исключительную твердость. Не женщина, а кремень!

Как бы то ни было, минтончестерцы не очень-то поживились за ее счет, но ей все-таки пришлось распрощаться с уютным домиком в Минтончестере и присоединиться ко мне в Арозе, несмотря на ее отвращение к итальянской кухне. По приезду она обнаружила, что и тут я уже успел стать в некотором роде знаменитостью, так как за три дня мне удалось свалиться в три разные горные расселины, чем я, несомненно, установил рекорд. Но это уже совсем другая история.

Полагаю, что от старта до финиша эпопея с первым аэропланом обошлась моей матушке в девять сотен фунтов с хвостиком. Если бы я не вмешивался, а она упорствовала в своем первоначальном намерении покрыть все убытки, это стоило бы ей около трех тысяч...

Но пережитое стоило того, да, стоило. Как бы мне хотелось пройти через это все заново! Знаю, не один старый чудак вроде меня сидит сейчас у камина и вздыхает о безвозвратно ушедшем счастливым времечке, полном приключений, когда любой отважный мужчина был волен летать и ходить куда угодно и рушить что угодно, а потом хладнокровно подсчитывать убытки и размышлять, что ему за это будет.

## ***Дверь в стене***

Месяца три назад, как-то вечером, в очень располагающей к интимности обстановке, Лионель Уоллес рассказал мне историю про "дверь в стене". Слушая его, я ничуть не сомневался в правдивости его рассказа.

Он говорил так искренне и просто, с такой подкупающей убежденностью, что трудно было ему не поверить. Но утром у себя дома я проснулся совсем в другом настроении. Лежа в постели и перебирая в памяти подробности рассказа Уоллеса, я уже не испытывал обаяния его неторопливого, проникновенного голоса, когда за обеденным столом мы сидели с глазу на глаз, под мягким светом затененной абажуром лампы, а комната вокруг нас тонула в призрачном полумраке и перед нами на белоснежной скатерти стояли тарелочки с десертом, сверкало серебро и разноцветные вина в бокалах, и этот яркий, уютный мирок был так далек от повседневности. Но сейчас, в домашней обстановке, история эта показалась мне совершенно невероятной.

- Он мистифицировал меня! - воскликнул я. - Ну и ловко это у него получалось! От кого другого, а уж от него я никак этого не ожидал.

Потом, сидя в постели и попивая свой утренний чай, я поймал себя на том, что стараюсь доискаться, почему эта столь неправдоподобная история вызвала у меня такое волнующее ощущение живой действительности; мне приходило в голову, что в своем образном рассказе он пытался как-то передать, воспроизвести, восстановить (я не нахожу нужного слова) те свои переживания, о которых иначе невозможно было бы поведать.

Впрочем, сейчас я уже не нуждаюсь в такого рода объяснениях. Со всеми сомнениями уже давно покончено. Сейчас я верю, как верил, слушая рассказ Уоллеса, что он всеми силами стремился приоткрыть мне некую тайну. Но видел ли он на самом деле, или же это ему просто казалось, обладал ли он каким-то редкостным драгоценным даром или же был во власти игры воображения, не берусь судить. Даже обстоятельства его смерти не пролили свет на этот вопрос, который так и остался неразрешенным. Пусть судит сам читатель!

Теперь я уже не помню, что вызвало на откровенность этого столь замкнутого человека - случайное ли мое замечание или упрек. Должно быть, я обвинил его в том, что он проявил какую-то расхлябанность, даже апатию, и не поддержал одно серьезное общественное движение, обманув мои надежды. Тут у него вдруг вырвалось:

- У меня мысли заняты совсем другим... Должен признаться, - продолжал он, немного помолчав, - я был не на высоте... Но дело в том... Тут, видишь ли, не замешаны ни духи, ни привидения... но, как это ни странно, Редмонд, я словно околдован. Меня что-то преследует, омрачает мою жизнь, пробуждает какое-то неясное томление.

Он остановился, подавшись той застенчивости, какая нередко овладевает нами, англичанами, когда приходится говорить о чем-нибудь трогательном, печальном или прекрасном.

- Ты ведь прошел весь курс в Сент-Ателстенском колледже? - внезапно спросил он совсем некстати, как мне показалось в тот момент. - Так вот... - И он снова умолк. Затем, сперва неуверенно, то и дело запинаясь, потом все более плавно и непринужденно, стал рассказывать о том, что составляло тайну его жизни: то было неотвязное воспоминание о

неземной красоте и блаженстве, пробуждавшее в его сердце ненасытное томление, отчего все земные дела и развлечения светской жизни казалась ему глупыми, скучными и пустыми.

Теперь, когда я обладаю ключом к этой загадке, мне кажется, что все было написано на его лице. У меня сохранилась его фотография, на которой очень ярко запечатлелось это выражение какой-то странной отрешенности. Мне вспоминается, что однажды сказала о нем женщина, горячо его любившая. "Внезапно - заметила она,- он теряет всякий интерес к окружающему. Он забывает о вас. Вы для него не существуете, хотя вы рядом с ним..."

Однако Уоллес далеко не всегда терял интерес к окружающему, и, когда его внимание на чем-нибудь останавливалось, он добивался исключительных успехов. И в самом деле, его карьера представляла собой цепь блестящих удач. Он уже давно опередил меня, занимал гораздо более высокое положение и играл в обществе такую роль, о какой я не мог и мечтать.

Ему не было еще и сорока лет, и поговаривают, что будь он жив, то получил бы ответственный пост и почти наверняка вошел бы в состав нового кабинета. В школе он всегда без малейшего усилия шел впереди меня, это получалось как-то само собой.

Почти все школьные годы мы провели вместе в Сент-Ателстенском колледже в Восточном Кенсингтоне. Он поступил в колледж с теми же знаниями, что и я, а окончил его, значительно опередив меня, вызывая удивление своей блестящей эрудицией и талантливыми выступлениями, хотя я и сам, кажется, учился недурно. В школе я впервые услышал об этой "двери в стене", о которой вторично мне довелось услышать всего за месяц до смерти Уоллеса.

Теперь я совершенно уверен, что, во всяком случае для него, эта "дверь в стене" была настоящей дверью в реальной стене и вела к вечным реальным ценностям.

Это вошло в его жизнь очень рано, когда он был еще ребенком пяти-шести лет.

Я помню, как он, очень серьезно и неторопливо размышляя вслух, приоткрыл мне свою тайну и, казалось, старался точно установить, когда именно это с ним произошло.

- Я увидел перед собой,- говорил он,- ползучий дикий виноград, ярко освещенный полуденным солнцем, темно-красный на фоне белой стены... Я внезапно его заметил, хотя и не помню, как это случилось... На чистом тротуаре, перед зеленой дверью лежали листья конского каштана. Понимаешь, желтые с зелеными прожилками, а не коричневые и не грязные: очевидно, они только что упали с дерева. Вероятно, это был октябрь. Я каждый год люблюсь как падают листья конского каштана, и хорошо знаю, когда это бывает... Если не ошибаюсь, мне было в то время пять лет и четыре месяца.

По словам Уоллеса, он был не по годам развитым ребенком: говорить научился необычайно рано, отличался рассудительностью и был, по мнению окружающих, "совсем как взрослый", поэтому пользовался такой свободой, какую большинство детей едва ли получает в возрасте семи-восьми лет. Мать Уоллеса умерла, когда ему было всего два года, и он остался под менее бдительным и не слитком строгим надзором гувернантки. Его отец - суровый, поглощенный своими делами адвокат - уделял сыну мало внимания, но возлагал на него большие надежды. Мне думается, что, несмотря на всю его одаренность, жизнь казалась мальчику серой и скучной. И вот однажды он отправился побродить.

Уоллес совсем забыл, как ему удалось улизнуть из дома и по каким улицам Восточного Кенсингтона он проходил. Все это безнадежно стерлось у него из памяти. Но белая стена и зеленая дверь вставали перед ним совершенно отчетливо.

Он ясно помнил, что при первом же взгляде на эту дверь испытал необъяснимое волнение, его влекло к ней, неудержимо захотелось открыть и войти.

Вместе с тем он смутно чувствовал, что с его стороны будет неразумно, а может быть, даже и дурно, если он поддастся этому влечению. Уоллес утверждал, что, как ни удивительно, он знал с самого начала, если только память его не обманывает, что дверь не заперта и он может, когда захочет, в нее войти.



Я так и вижу маленького мальчика, который стоит перед дверью в стене, то порываясь войти, то отходя в сторону.

Каким-то совершенно непостижимым образом он знал, что отец очень рассердится, если он войдет в эту дверь.

Уоллес со всеми подробностями рассказал, какие он пережил колебания. Он прошел мимо двери, потом засунул руки в карманы, по-мальчишески засвистел, с независимым видом зашагал вдоль стены и свернул за угол. Там он увидел несколько драных, грязных лавчонок, и особенно запомнились ему мастерские водопроводчика и обойщика; кругом валялись в беспорядке пыльные глиняные трубы, листы свинца, круглые краны, образчики обоев и жестянки с эмалевой краской.

Он стоял, делая вид, что рассматривает эти предметы, на самом же деле трепетно стремился к зеленой двери.

Внезапно его охватило необъяснимое волнение. Боясь, как бы на него снова не напали колебания, он решительно побежал, протянув руку, толкнул зеленую дверь, вошел в нее, и она захлопнулась за ним. Таким образом, в один миг он очутился в саду, и видение этого сада потом преследовало его всю жизнь.

Уоллесу было очень трудно передать свои впечатления от этого сада.

- В самом воздухе было что-то пьянящее, что давало ощущение легкости, довольства и счастья. Все кругом блистало чистыми, чудесными, нежно светящимися красками. Очутившись в саду, испытываешь острую радость, какая бывает у человека только в редкие минуты, когда он молод, весел и счастлив в этом мире. Там все было прекрасно...

Уоллес задумался, потом продолжал свой рассказ.

- Видишь ли,- сказал он нерешительным тоном, как человек, сбитый с толку чем-то совершенно необычным. - Там были две большие пантеры... Да, пятнистые пантеры. И, представь себе, я их не испугался. На длинной широкой дорожке, окаймленной с обеих сторон мрамором и обсаженной цветами, эти два огромных бархатистых зверя играли мячом. Одна из пантер не без любопытства поглядела на меня и направилась ко мне: подошла, ласково, потерлась своим мягким круглым ухом о мою протянутую вперед ручонку и замурлыкала. Говорю тебе, то был зачарованный сад. Я это знаю... А его размеры? О, он далек"" простирался во все стороны, и, казалось, ему нет конца. Помнится, вдалеке виднелись холмы. Бог знает, куда вдруг провалился Восточный Кенсингтон. И у меня было такое чувство, словно я вернулся на родину.

Знаешь, в тот самый миг, когда дверь захлопнулась за мной, я позабыл и дорогу, усыпанную опавшими листьями каштана, с ее экипажами и фургонами, забыл о дисциплине, властно призывавшей меня домой; забыл обо всех своих колебаниях и страхах, забыл всякую осторожность; забыл и о повседневной жизни. В одно мгновение я очутился в другом мире, превратившись в очень веселого, безмерно счастливого ребенка. Это был совсем иной мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом; тихая ясная радость была разлита в воздухе, а в небесной синеве плыли легкие, пронизанные солнцем облака. Длинная широкая дорожка, по обеим сторонам которой росли великолепные, никем не охраняемые цветы, бежала передо мной и манила идти все дальше, рядом со мной шли две большие пантеры. Я бесстрашно погрузил свои маленькие руки в их пушистую шерсть, гладил их круглые уши, щекал чувствительное местечко за ушами и забавлялся с ними. Казалось, они приветствовали мое возвращение на родину. Все время мною владело радостное чувство, что я наконец вернулся домой. И когда на дорожке появилась высокая прекрасная девушка, с улыбкой пошла ко мне навстречу и сказала: "Вот и ты!" - потом подняла меня, расцеловала, опустила на землю и повела за руку,- это не вызвало во мне ни малейшего удивления, но лишь чудесное сознание, что иначе и не могло быть, напоминая о чем-то счастливом, что странным образом выпало из памяти. Я помню широкие красные ступени, видневшиеся между стеблями дельфиниума; мы поднялись по ним на убегающую вдаль аллею, по сторонам которой росли старые престарелые тенистые деревья. Вдоль этой аллеи, среди красноватых, изборожденных

трещинами стволов, высились мраморные памятники и статуи, а вокруг бродили ручные, очень ласковые белые голуби.

Поглядывая вниз, моя спутница осторожно вела меня по этой прохладной аллее. Мне запомнились милые черты ее нежного, доброго лица с тонко очерченным подбородком. Тихим, задушевым голосом она задавала мне вопросы и рассказывала что-то, без сомнения, очень приятное, но что именно, я начисто забыл... Внезапно обезьянка-капуцин, удивительно чистенькая, с красновато-бурой шерсткой и добрыми карими глазами, спустилась к нам с дерева и побежала рядом со мною, поглядывая на меня и скаля зубы, потом прыгнула мне на плечо. Так мы оба, веселые и довольные, продолжали свой путь.

Он умолк.

- Продолжай,- сказал я.

- Мне вспоминаются всякие мелочи. Мы прошли мимо старика, сидевшего в тени лавров и погруженного в размышления. Миновали рощу, где порхали стаи резвых попугаев. Прошли вдоль широкой тенистой колоннады к просторному прохладному дворцу, где было множество великолепных фонтанов и самых замечательных вещей-все, о чем только можно мечтать. Там я заметил много людей - некоторых я помню очень ясно, других смутно, но все они были прекрасны и ласковы. И каким-то непостижимым образом я сразу почувствовал, что я им дорог и они рады меня видеть. Их движения, прикосновения рук, приветливый, сияющий любовью взгляд - все наполняло меня неизъяснимым восторгом. Вот так-то...

Он на секунду задумался.

- Я встретил там товарищей своих детских игр. Для меня, одинокого ребенка, это было большой радостью. Они затевали чудесные игры на поросшей зеленой травой площадке, где стояли солнечные часы, обрамленные цветами. И во время игр мы горячо привязались друг к другу.

Но, как это ни странно, тут в моей памяти провал. Я не помню игр, в какие мы играли. Никогда не мог вспомнить. Впоследствии, еще в детские годы, я целыми часами, порой обливаясь слезами, ломал голову, стараясь припомнить, в чем же состояло это счастье. Мне хотелось снова у себя в детской возобновить эти игры. Но куда там!.. Все, что я мог воскресить в памяти - это ощущение счастья и облик двух дорогих товарищей, игравших со мной.

Потом появилась строгая темноволосая женщина с бледным серьезным лицом и мечтательными глазами, с книгой в руках, в длинном одеянии бледно-пурпурного цвета, падавшем мягкими складками. Она поманила меня и увела с собой на галерею над залом. Товарищи по играм нехотя отпустили меня, тут же прекратили игру и стояли, глядя, как меня уводят. "Возвращайся к нам! - вслед кричали они.- Возвращайся скорей!"

Я заглянул в лицо женщине, но она не обращала на их крики ни малейшего внимания. Ее кроткое лицо было серьезно. Мы подошли к скамье на галерее. Я стал рядом с ней, собираясь заглянуть в книгу, которую она открыла у себя на коленях. Страницы распахнулись. Она указывала мне, и я в изумлении смотрел: на оживших страницах книги я увидел самого себя. Это была повесть обо мне; в ней было все, что случилось со мной со дня моего рождения.

Я дивился, потому что страницы книги не были картинками, ты понимаешь, а реальной жизнью.

Уоллес многозначительно помолчал и поглядел на меня с сомнением.

- Продолжай,- сказал я,- мне понятно.

- Это была самая настоящая жизнь, да, поверь, это было так: люди двигались, события шли своим чередом. Вот моя дорогая мать, почти позабытая мною, тут же и отец, как всегда непреклонный и суровый, наши слуги, детская, все знакомые домашние предметы. Затем входная дверь и шумные улицы, где сновали туда и сюда экипажи. Я смотрел, и изумлялся, и снова с недоумением заглядывал в лицо женщины, и переворачивал страницы книги, перескакивая с одной на другую, и не мог вдоволь насмотреться; наконец я увидел

самого себя в тот момент, когда топтался в нерешительности перед зеленой дверью в белой стене. И снова я испытал душевную борьбу и страх.

- А дальше! - воскликнул я и хотел перевернуть страницу, но строгая женщина остановила меня своей спокойной рукой.- Дальше! - настаивал я, осторожно отодвигая ее руку и стараясь изо всех своих слабых сил освободиться от ее пальцев. И когда она уступила и страница перевернулась, женщина тихо, как тень, склонилась надо мной и поцеловала меня в лоб.

Но на этой странице не оказалось ни волшебного сада, ни пантер, ни девушки, что вела меня за руку, ни товарищей игр, так неохотно меня отпустивших. Я увидел длинную серую улицу в Восточном Кенсингтоне в унылый вечерний час, когда еще не зажигают фонарей. И я там был - маленькая жалкая фигурка: я горько плакал, слезы так и катились из глаз, как ни старался я сдержаться. Плакал я потому, что не мог вернуться к моим милым товарищам по играм, которые меня тогда звали: "Возвращайся к нам! Возвращайся скорей!" Там я и стоял. Это уже была не страница книги, а жестокая действительность. То волшебное место и державшая меня за руку задумчивая мать, у колен которой я стоял, внезапно исчезли, но куда?

Уоллес снова замолк и некоторое время пристально смотрел на пламя, ярко пылавшее в камине.

- О, как мучительно было возвращение! - прошептал он.

- Ну, а дальше? - сказал я, помолчав минутдругую.

- Я был маленьким, жалким созданием! И снова вернулся в этот безрадостный мир! Когда я до конца осознал, что со мною произошло, безудержное отчаяние охватило меня. До сих пор помню, какой я испытал стыд, когда рыдал на глазах у всех, помню и позорное возвращение домой.

Я вижу добродушного старого джентльмена в золотых очках, который остановился и сказал, предварительно ткнув меня зонтиком: "Бедный мальчонка, верно, ты заблудился?" Это я-то, лондонский мальчик пяти с лишним лет! К тому же старик вздумал привести молодого любезного полисмена, вокруг нас собралась толпа, и меня отвели домой. Смущенный и испуганный, громко всхлипывая, я вернулся из своего зачарованного сада в отцовский дом.

Таков был, насколько я припоминаю, этот сад, видение которого преследует меня всю жизнь. Разумеется, я не в силах передать словами все обаяние этого призрачного, словно бы нереального мира, такого непохожего на привычную, обыденную жизнь, но все же... это так и было. Если это был сон, то, конечно, самый необычайный, сон среди белого дня... М-да! Разумеется, за этим последовал суровый допрос,- мне пришлось отчитываться перед тетужкой, отцом, няней, гувернанткой.

Я попытался рассказать им обо всем происшедшем, но отец в первый раз в жизни побил меня за ложь. Когда же потом я вздумал поведать об этом тетке, она, в свою очередь, наказала меня за злостное упрямство. Затем мне настрого запретили об этом говорить, а другим слушать, если я вздумаю рассказывать. Даже мои книги сказок на время отняли у меня под предлогом, что у меня было слишком развито воображение. Да, это сделали! Мой отец принадлежал к старой школе... И все пережитое вновь всплыло у меня в сознании. Я шептал об этом ночью мокрой подушке и ощущал у себя на губах соленый вкус своих детских слез.

К своим обычным не очень пылким молитвам я неизменно присоединял горячую мольбу: "Боже, сделай так, чтобы я увидел во сне мой сад! О, верни меня в мой сад. Верни меня в мой сад!" Как часто мне снился этот сад во сне!

Быть может, я что-нибудь прибавил в своем рассказе, возможно, кое-что изменил, право, не знаю.

Это, видишь ли, попытка связать воедино отрывочные воспоминания и воскресить волнующее переживание раннего детства. Между ним и воспоминаниями моего отрочества

пролегла бездна. Настало время, когда мне казалось совершенно невозможным сказать кому-нибудь хоть слово об этом чудесном мимолетном видении.

- А ты когда-нибудь пытался найти этот сад? - спросил я.

- Нет,- отвечал Уоллес,- не помню, чтобы в годы раннего детства я хоть раз его разыскивал. Сейчас мне кажется это странным, но, по всей вероятности, после того злополучного происшествия из боязни, как бы я снова не заблудился, за каждым моим движением зорко следили.

Я снова стал искать свой сад, только гораздо позже, когда уже познакомился с тобой. Но, думается, был и такой период, хотя это мне кажется сейчас невероятным, когда я начисто забыл о своем саде. Думается, в то время мне было восемь-девять лет. Ты меня помнишь мальчиком в Сент-Ателстенском колледже?

- Ну еще бы!

- В те дни я и виду не подавал, что лелею в душе тайную мечту, не правда ли?

2

Уоллес посмотрел на меня - лицо его осветилось улыбкой.

- Ты когда-нибудь играл со мной в "северо-западный проход"?.. Нет, в то время мы не были в дружбе с тобой.

Это была такая игра, продолжал он, в которую каждый ребенок, наделенный живым воображением, готов играть целые дни напролет. Требовалось отыскать "северо-западный проход" в школу. Дорога туда была простая и хорошо знакомая, но игра состояла в том, чтобы найти какой-нибудь окольный путь. Нужно было выйти из дому на десять минут раньше, завернуть куда-нибудь в сторону и пробраться через незнакомые улицы к своей цели. И вот однажды, заблудившись в каких-то закоулках по другую сторону Кампден-хилла, я уже начал подумывать, что на этот раз проиграл и опоздаю в школу. Я направился наобум по какой-то улочке, казавшейся тупиком, и внезапно нашел проход. У меня блеснула надежда, и я пустился дальше. "Обязательно пройду",- сказал я себе. Я миновал ряд странно знакомых грязных лавчонок и вдруг очутился перед длинной белой стеной и зеленой дверью, ведущей в зачарованный сад.

Я просто оторопел. Так, значит, этот сад, этот чудесный сад был не только сном?

Он замолчал.

- Мне думается, что мое вторичное переживание, связанное с зеленой дверью, ясно показывает, какая огромная разница между деятельной жизнью школьника и безграничным досугом ребенка. Во всяком случае, на этот раз у меня и в помыслах не было сразу туда войти. Видишь ли... в голове вертелась лишь одна мысль: поспать вовремя в школу,- ведь я оберегал свою репутацию примерного ученика. У меня, вероятно, тогда явилось желание хотя бы приоткрыть эту дверь. Иначе и не могло быть... Но я так боялся опоздать в школу, что быстро одолел это искушение. Разумеется, я был ужасно заинтересован этим неожиданным открытием и продолжал свой путь, все время думая о нем. Но меня это не остановило. Я шел своей дорогой. Вынув из кармана часы и обнаружив, что в моем распоряжении еще десять минут, я прошмыгнул мимо стены и, спустившись быстро с холма, очутился в знакомых местах. Я добрался до школы, запыхавшись и весь в поту, но зато вовремя. Помню, как повесил пальто и шляпу... Подумай, я мог пройти мимо сада, даже не заглянув в калитку?! Странно, а?

Он задумчиво посмотрел на меня.

- Конечно, в то время я не подозревал, что этот сад не всегда можно было найти. Ведь у школьников довольно ограниченное воображение. Наверное, меня радовала мысль, что сад где-то неподалеку и я знаю дорогу к нему. Но на первом плане была школа, неудержимо влекущая меня. Мне думается, в то утро я был рассеян, крайне невнимателен и все время силился припомнить удивительных людей, которых мне вскоре предстояло встретить. Как это ни странно, я ничуть не сомневался, что и они будут рады видеть меня. Да, в то утро этот

сад, должно быть, представлялся мне прелестным уголком, хорошим прибежищем для отдыха в промежутках между напряженными школьными занятиями.

Но в тот день я так и не пошел туда. На следующий день было что-то вроде праздника, и, вероятно, я оставался дома. Возможно также, что за проявленную мною небрежность мне была назначена какая-нибудь штрафная работа, и у меня не оказалось времени пойти окольным путем. Право, не знаю. Знаю только, что в ту пору чудесный сад так занимал меня, что я уже не в силах был хранить эту тайну про себя.

Я поведал о ней одному мальчугану. Ну как же его фамилия? Он был похож на хорька... Мы еще звали его Пройда...

- Гопкинс,- подсказал я.

- Бот, вот, Гопкинс. Мне не очень хотелось ему рассказывать. Я чувствовал, что этого не следует делать, но все-таки в конце концов рассказал. Возвращаясь из школы, мы часть дороги шли с ним вместе. Он был страшный болтун, и если бы мы не говорили о чудесном саде, то все равно тараторили бы о чем-нибудь другом, а мысль о саде так и вертелась у меня в голове. Вот я и выболтал ему. Ну а он взял да выдал мою тайну. На следующий день, во время перемены, меня обступило человек шесть мальчишек постарше меня. Они подтрунивали надо мной, и в то же время им не терпелось еще что-нибудь разузнать о заколдованном саде. Среди них был этот верзила Фоусет. Ты помнишь его? И Карнеби и Морли Рейнольдс. Ты случайно не был с ними? Впрочем, нет, я бы запомнил, будь ты в их числе...

Удивительное создание - ребенок! Я сознавал, что поступаю нехорошо, я был сам себе противен, и в то же время мне льстило внимание этих больших парней. Помню, мне было особенно приятно, когда меня похвалил Кроушоу. Ты помнишь сына композитора Кроушоу - Кроушоу-старшего? Он сказал, что ему еще не приходилось слышать такой увлекательной лжи. Но вместе с тем я испытывал мучительный стыд, рассказывая о том, что считал своей священной тайной. Это животное Фоусет даже позволил себе отпустить шутку по адресу девушки в зеленом.

Уоллес невольно понизил голос, рассказывая о пережитом им позоре.

- Я сделал вид, что не слышу,- продолжал он.- Неожиданно Карнеби обозвал меня лгунишкой и принялся спорить со мной, когда я заявил, что все это чистая правда. Я сказал, что знаю, где находится эта зеленая дверь, и могу провести их всех туда - какихнибудь десять минут ходу. Тут Карнеби, приняв вид оскорбленной добродетели, заявил, что я должен подтвердить свои слова на деле, а не то он меня хорошенько проучит. Скажи, тебе никогда не выкручивал руку Карнеби? Если да, ты тогда поймешь, что произошло со мной. Я поклялся, что мой рассказ - истинная правда.

В то время в школе некому было защитить меня от Карнеби. Правда, Кроушоу пропищал что-то в мою защиту, но Карнеби был хозяином положения. Я испугался, взволновался, уши у меня разгорелись. Я вел себя, как маленький глупый мальчишка, и под конец вместо того чтобы пойти одному на поиски своего чудесного сада, я потащил за собой всю компанию. Я шел впереди, веки у меня пылали, глаза застилал туман, на душе было тяжело, я сгорал от стыда, а за мной шагали шесть насмешливых, любопытных и угрожавших мне школьников... Мы не увидели ни белой стены, ни зеленой двери...

- Ты хочешь сказать?..

- Я хочу сказать, что мне не удалось найти стены. я так хотел ее разыскать, но никак не мог. И позже, когда я ходил один, мне также не удавалось ее найти. В то время я так и не разыскал белой стены и зеленой двери. Теперь мне кажется, что все школьные годы я только и делал, что искал зеленую дверь в белой стене, но ни разу не увидел ее, веришь, ни единого разу.

- Ну, а как обошлись с тобой после этого товарищи?

- Зверски!.. Карнеби учинил надо мной лютую расправу за явную ложь.

Помню, как я пробрался домой и, стараясь, чтобы домашние не заметили, что у меня заплаканные глаза, тихонько поднялся к себе наверх. Я уснул весь в слезах. Но я плакал не от



обиды, я плакал о потерянном саде, где мечтал провести чудесные вечера. Я плакал о нежных, ласковых женщинах и ожидавших меня товарищах, об игре, которой я снова надеялся выучиться,- об этой чудесной позабытой игре...

Я был уверен, что если бы тогда не рассказал... Трудное время наступило для меня, бывало, по ночам я лил слезы, а днем витал в облаках.

Добрых два семестра я нерадиво относился к своим занятиям и получал плохие отметки. Ты помнишь? Конечно, ты не мог забыть. Ты перегнал меня по математике, и это заставило меня снова взяться за зубрежку.

3

Несколько минут мой друг молча смотрел на красное пламя камина, потом опять заговорил:

- Я вновь увидел зеленую дверь, когда мне было уже семнадцать лет. Она внезапно появилась передо мной в третий раз, когда я ехал в Падингтон на конкурсный экзамен, собираясь поступить в Оксфордский университет. Это было мимолетное видение. Я сидел в кебе, наклонившись над дверцами экипажа, и курил папиросу, считая себя, без сомнения, безупречным светским джентльменом. И вдруг передо мной возникла стена, дверь, и в душе всплыли столь дорогие мне незабываемые впечатления.

Мы с грохотом прокатили мимо. Я был слишком изумлен, чтобы сразу остановить экипаж. Мы проехали довольно далеко и завернули за угол. Затем был момент странного раздвоения воли. Я постучал в стенку кеба и опустил руку в карман, вынимая часы.

- Да, сэр? - сказал любезно кучер.

- Э-э, послушайте! - воскликнул я.- Впрочем, нет, ничего! Я ошибся! Я тороплюсь!

Поезжайте! Мы проехали дальше...

Я прошел по конкурсу. В тот же день вечером я сидел у камина у себя наверху, в своем маленьком кабинете, и похвала отца, столь редкая похвала, и разумные его советы все еще звучали у меня в ушах. Я курил свою любимую трубку, огромную трубку, неизбежную в юности, и раздумывал о двери в длинной белой стене.

"Если бы я остановил извозчика,- размышлял я,- то не сдал бы экзамена, не был бы принят в Оксфорд и наверняка испортил бы предстоящую мне карьеру". Я стал лучше разбираться в жизни. Этот случай заставил меня глубоко призадуматься, но все же я не сомневался, что будущая моя карьера стоила такой жертвы.

Дорогие друзья и пронизанный лучезарным светом сад казались мне чарующими и прекрасными, но странно далекими. Теперь я собирался покорить весь мир, и передо мной распахнулась другая дверь - дверь моей карьеры.

Он снова повернулся к камину и стал пристально смотреть на огонь; на миг багровые отсветы пламени озарили его лицо, и я прочел в его глазах выражение какой-то упрямой решимости, но оно тут же исчезло.

- Да,- произнес он, вздохнув.- Я безраздельно отдался своей карьере. Работал я много и упорно, во в своих мечтаниях неизменно возвращался к зачарованному саду. С тех пор мне пришлось четыре раза мельком увидеть дверь этого сада. Да, четыре раза. В эти годы мир стал для меня таким ярким, интересным и значительным, столько открывалось возможностей, что воспоминание о саде померкло, отодвинулось куда-то далеко, потеряло надо мной власть и обаяние.

Кому придет в голову ласкать пантер по дороге на званый обед, где предстоит встретиться с хорошенькими женщинами и знаменитостями?

Когда я переехал из Оксфорда в Лондон, я был юношей, подающим большие надежды, и кое-что уже успел совершить. Кое-что... Однако были и разочарования...

Дважды я был влюблен, но не буду останавливаться на этом. Расскажу только, что однажды, направляясь к той, которая, как мне было известно, сомневалась, посмею ли я к ней прийти, я наугад пошел по кратчайшей дороге и очутился в глухом переулке близ Эрлс-Корт. Там я вдруг наткнулся на белую стену и знакомую зеленую дверь.

"Как странно,- сказал я себе,- а ведь я думал, что это где-то в Кэмпден-хилле. Это заколдованное место так же трудно найти, как сосчитать камни Стоунхенджа".

И я прошел мимо, так как настойчиво стремился к своей цели. Дверь не манила меня в тот день.

Правда, был момент, когда меня потянуло открыть эту дверь,- ведь для этого пришлось бы сделать каких-нибудь три шага в сторону. В глубине души я был уверен, что она распахнется для меня, но тут я подумал, что ведь это может меня задержать, я опоздаю на свидание, а ведь дело идет о моем самолюбии. Позднее я пожалел о том, что так торопился, ведь мог же я хотя бы заглянуть в дверь и помахать рукой своим пантерам. Но в то время я уже приобрел житейскую мудрость и перестал гоняться за недостижимым видением. Да, но все же тогда я был очень огорчен...

Потом последовали годы упорного труда, и о двери я и не помышлял. И лишь недавно я снова вспомнил о ней, и мною овладело непонятное чувство: казалось, весь мир заволокла какая-то тонкая пелена. Я думал о том, что больше уж никогда не увижу эту дверь, и меня томила горькая тоска. Возможно, я был слегка переутомлен, а может быть, уже сказывается возраст: ведь мне скоро сорок. Право, не знаю. Но вот с некоторых пор я утратил жизнерадостность, которая помогает бороться и преодолевать все препятствия. И это теперь, когда назревают важные политические события и надо энергично действовать. Чудно, не правда ли? Я начинаю уставать от жизни, и все земные радости, какие выпадают мне на долю, кажутся мне ничтожными.

С некоторых пор я снова испытываю мучительное желание увидеть сад. Да... я видел его еще три раза.

- Как, сад?

- Нет, дверь. И не вошел.

Уоллес наклонился ко мне через стол, и, когда он заговорил снова, в его голосе звучала неизбывная тоска.

- Трижды мне представлялась такая возможность. Понимаешь, трижды! Я давал клятву, что, если когда-нибудь эта дверь окажется предо мной, я войду в нее. Убегу от всей этой духоты и пыли, от этой блестящей мишуры, от этой бессмысленной суеты. Убегу и больше никогда не вернусь. На этот раз я уже непременно останусь там. Я давал клятву, а когда дверь оказывалась передо мной, не входил.

Три раза в течение одного года я проходил мимо этой двери, но так и не вошел в нее. Три раза за этот последний год.

Первый раз это случилось в тот вечер, когда произошел резкий раскол при обсуждении закона о выкупе арендных земель и правительство удержалось у власти большинством всего трех голосов. Ты помнишь? Никто из наших и, вероятно, большинство из оппозиции не ожидали, что вопрос будет решаться в тот вечер. И мнения раскололись, подобно яичной скорлупе.

В тот вечер мы с Хотчкинсом обедали у его двоюродного брата в Бретфорде. Оба мы были без дам. Нас вызвали по телефону, мы тотчас же помчались в машине его брата и едва успели к сроку. По пути мы проехали мимо моей двери в стене, она казалась совсем призрачной в лунном сиянии. Фары нашей машины бросали на нее яркие желтые блики,- несомненно, это была она! "Бог мой!" - воскликнул я. "Что случилось?"- спросил Хотчкинс. "Ничего!" - ответил я.

Момент был упущен.

- Я принес большую жертву,- сказал я организатору нашей партии, войдя в здание парламента.

- Так и надо! - бросил он на бегу.

Но разве я мог тогда поступить иначе?

Во второй раз это было, когда я спешил к умирающему отцу, чтобы сказать этому суровому старику последнее "прости". Момент был опять-таки крайне напряженный.

Но в третий раз было совсем по-другому. Случилось это всего неделю назад. Я испытываю жгучие угрызения совести, вспоминая об этом. Я был с Гаркером и Ральфсом. Ты понимаешь, теперь это уже не секрет, что у меня произошел разговор с Гаркером. Мы обедали у Фробишера, и разговор принял интимный характер.

Мое участие в реорганизуемом кабинете стояло еще под вопросом.

Да, да. Теперь это уже дело решенное. Об этом пока еще не следует говорить, но у меня нет оснований скрывать это от тебя... Спасибо, спасибо. Но позволь мне досказать тебе мою историю.

В тот вечер вопрос висел еще в воздухе. Мое положение было крайне щекотливым. Мне было очень важно получить от Гаркера нужные сведения, но мешало присутствие Ральфса.

Я из кожи лез, стараясь поддержать легкий, непринужденный разговор, не имевший прямого отношения к интересующему меня вопросу. Это было необходимо. Дальнейшее поведение Ральфса доказало, что я был прав, остерегаясь его... Я знал, что Ральфс распростится с нами, когда мы минуем Кенсингтон-Хайстрит, тут я и огорошу Гаркера неожиданной откровенностью. Иной раз приходится прибегать к такого рода уловкам... И вдруг в поле моего зрения на дороге вновь появилась и белая стена и зеленая дверь...

Разговаривая, мы прошли мимо стены. Шли мы медленно. Как сейчас вижу на белой стене четкий силуэт Гаркера - низко надвинутый на лоб цилиндр, а под ним нос, похожий на клюв, и мягкие складки кашне; вслед за его тенью промелькнули на стене и наши.

Я прошел в каких-нибудь двадцати дюймах от двери. "Что будет, если я попрощаюсь с ними и войду в эту дверь?" - спросил я себя. Но мне не терпелось поговорить с Гаркером. Меня осаждал целый рой нерешенных проблем, и я так и не ответил на этот вопрос. "Они подумают, что я сошел с ума, - размышлял я. - Предположим, я сейчас скроюсь. Загадочное исчезновение видного политического деятеля..." Это перетянуло чашу весов, В критический момент мое сознание было опутано сетью светских условностей и деловых соображений.

Тут Уоллес с грустной улыбкой повернулся ко мне.

- И вот я сижу здесь. Да, здесь, - тихо сказал он. - Я упустил эту возможность.

Три раза в этом году мне представлялся случай войти в эту дверь, дверь, ведущую в мир покоя, блаженства, невообразимой красоты и любви, неведомой никому из живущих на земле. И я отверг это, Редмонд, и все исчезло...

- Откуда ты это знаешь?

- Я знаю, знаю. Что же мне теперь остается? Идти дальше по намеченному пути, добиваться своей цели, мысль о которой так властно меня удержала, когда пробил желанный час. Ты говоришь, я добился успеха? Но что такое успех, которому все завидуют? Жалкая, нудная, пустая мишура! Да, успеха я добился.

При этих словах он с силой раздавил грецкий орех, который был зажат в его большой руке, и протянул его мне:

- Вот он, мой успех!

Послушай, я должен тебе признаться, Редмонд, меня мучает мысль об этой утрате, за последние два месяца - да, уже добрых десять недель - я почти не работаю, буквально через силу выполняю самые неотложные свои обязанности. Я не нахожу себе места. Меня томит глубокая, безысходная печаль. По ночам, когда меньше риска с кем-нибудь встретиться, я отправляюсь бродить по городу. Хотел бы я знать... Да, любопытно, что подумают люди, если вдруг узнают, что будущий министр, представитель самого ответственного департамента, бредет в темноте одинешенек, чуть ли не вслух оплакивая какую-то дверь, какой-то сад...

Передо мной воскресает побледневшее лицо Уоллеса, его глаза с необычайным, угрюмым блеском. Сегодня вечером я вижу его особенно ясно. Я сижу на диване, вспоминая его слова, звук его голоса, а вчерашний вечерний выпуск вестминстерской газеты с извещением о его смерти лежит рядом со мной. Сегодня в клубе за завтраком только и было разговоров, что о его внезапной кончине.

Его тело нашли вчера рано утром в глубокой яме, близ Восточно-Кенсингтонского вокзала. Это была одна из двух траншей, вырытых в связи с расширением железнодорожной линии на юг. Для безопасности проходящих по шоссе людей траншеи были обнесены сколоченным наспех забором, где был прорезан небольшой дверной проем, куда проходили рабочие. По недосмотру одного из десятников дверь осталась незапертой, и вот в нее-то и прошел Уоллес.

Я, как в тумане, теряюсь в догадках.

Очевидно, в тот вечер Уоллес прошел весь путь от парламента пешком. Часто во время последней сессии он шел домой пешком. Я так живо представляю себе его темную фигуру; глубокой ночью он бредет вдоль безлюдных улиц, поглощенный одной мыслью, весь уйдя в себя.

Быть может, в бледном свете привокзальных фонарей грубый дощатый забор показался ему белой стеной? А роковая дверь пробудила в нем заветные воспоминания?

Да и существовала ли когда-нибудь белая стена и зеленая дверь? Право, не знаю.

Я передал эту историю так, как мне ее рассказал Уоллес. Порой мне думается, что Уоллес был жертвой своеобразной галлюцинации, которая завлекла его в эту дверь, как на грех, оказавшуюся не на запоре. Но я далеко не убежден, что это было именно так. Я могу показаться вам суеверным, даже чуточку ненормальным, но я почти уверен, что он действительно обладал каким-то сверхъестественным даром, что им владело - как бы это сказать? - какое-то неосознанное чувство, внушавшее ему иллюзию стены и двери. как некий таинственный, непостижимый выход в иной, бесконечно прекрасный мир. Вы скажете, что в конечном итоге он был обманут? Но так ли это? Здесь мы у порога извечной тайны, прозреваемой лишь немногими подобными ему ясновидцами, людьми великой мечты. Все вокруг нас кажется нам таким простым и обыкновенным, мы видим только ограду и за ней траншею. В свете наших обыденных представлений нам, заурядным людям, кажется, что Уоллес безрассудно пошел в таивший опасности мрак, навстречу своей гибели.

Но кто знает, что ему открылось?

1911

## ***Современная утопия***

Что такое утопия

Утопия - это мечта. Это "царство будущего", которое человек создает себе в грезах. Это то лучшее будущее, ради которого человек борется, живет.

Казалось бы, что для всех людей и всех времен это царство будущего должно рисоваться одинаковым, но в действительности этого никогда не было и не будет. Не только каждая эпоха имела свою утопию, свою утопию имеет каждый народ, даже больше - каждый мыслящий человек. И, если мы, тем не менее, решаемся говорить об определенной современной утопии, то мы имеем в виду лишь те общие черты, которые имеют утопии большинства современных мыслящих людей.

Для того, чтобы дать некоторое понятие о возможном разнообразии утопий, приведем несколько примеров.

Правоверный магометанин считает идеалом благополучия семь небес, населенных прекрасными гуриями, потому что в настоящем возможность иметь большой гарем является мечтой всякого магометанина.

Какая утопия может возникнуть в мечтах африканского бушмена? Мы слишком мало знаем психологию дикарей, чтобы уверенно ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности можно сказать, что в мечтах бушмена рисуется блаженное время, когда с земли

исчезнут все белокожие люди, когда никто не будет мешать ему заниматься своей охотой и время от времени сражаться с соседями, такими же темнокожими дикарями, как и он.

В произведениях прошлого мы встречаемся с утопиями. Самое слово "утопия" создано Томасом Мором, государственным деятелем времен Генриха VIII в Англии. Мор в 1516 году написал книгу, в которой нарисовал картину идеального государственного устройства на острове Утопия.

Книга эта, чрезвычайно смелая для XVI века, в наше время кажется наивной, потому что мы, в наших демократических республиках, далеко ушли от того "идеального" строя, о котором мечтал канцлер Генриха VIII. За четыре века, которые отделяют нас от этой первой настоящей утопии, утопий было создано такое невероятное количество, что пришлось бы написать целые тома, чтобы только перечислить их. И, хотя в основе всех утопий лежит благоденствие человечества, все они значительно разнятся.

Возьмем хотя бы такое грубое подразделение: утопии, созданные до 1859 года, т. е. до появления учения Дарвина о происхождении видов, и утопии, написанные после этого года. До учения Дарвина, перевернувшего все наше представление о животном мире, человек гордо верил в то, что он представляет собою совершенство, дальше которого некуда идти. И в утопиях хотя и рисовались заманчивые картины светлого будущего, но человек оставался таким, каков он есть сейчас.

В утопиях, появившихся к концу прошлого века, звучат уже другие ноты. Наряду с совершенствованием социального строя, техники и т. д., рисуется и физическое совершенствование человека. Теория естественного отбора, созданная и доказанная гениальным Дарвином, развивается в этих утопиях настолько последовательно, что рисуются ее осязательные результаты. Нет больше убогих, хилых, слабых, нет больше вымирающих народов, нет даже цветных рас: путем постепенного развития все люди сравнялись, все стали добрыми и сильными.

Некоторые утописты идут еще дальше. Развивая теории Дарвина, они рисуют будущего человека таким, что у него одни органы развились в ущерб другим. У мыслителя сильно развит мозг, но в зачаточном состоянии ноги, у астрономов прекрасно развито зрение, но притуплен слух и т. д.

Утопии, которые создавались в первой половине прошлого века, отличаются от утопий, созданных позднее, еще и тем, что в них почти никакой роли не играет электричество. Утописты не знали, какую дивную роль в жизни человека суждено играть динамо-машине, потому что... тогда самая динамо-машина была игрушкой, не выходившей за пределы лаборатории. В современной утопии электричеству отводится первенствующее место, что вполне понятно, ибо уже теперь культурный человек не в состоянии обойтись без этой чудесной энергии.

Современный утопист не может оставить без внимания и воздухоплавание. Сбывается то, что жило в грезах таких мечтателей, как Жюль Верн. Человек завоевывает воздух, человек этой новой победой разрушает все прежние устои социальной жизни. Нет больше границ на земле, нет больше островов, для защиты которых достаточно флота. И современная утопия спешит воспользоваться воздухоплаванием, спешит угадать, в какие формы оно выльется в будущем.

Но все эти попытки утопистов рисовать будущее, пользуясь настоящим, не выдерживают критики. Угадать то, что даст нам техника, немислимо. Немислимо даже для гениальных специалистов. Если бы Фарадей мог "угадать", что его открытие индуктивного тока через несколько десятков лет поможет создать мощную динамо-машину и могучий электромотор, то... Фарадей сам построил бы и динамо-машину и электромотор.

Если бы братья Монгольфьеры или Шарль могли себе представить, что через 100 лет создается управляемый аэростат, они наверное постарались бы создать его сами.

В области открытий и изобретений мы меньше всего можем предсказывать. Всякое великое открытие именно тем и велико, что открывает перед нами новые горизонты, поднимает завесу



над областью, которая до тех пор была нам неизвестна. Предугадать то, что нам неизвестно, значит - объять необъятное.

Поэтому утопии, рассматривающие будущее лишь с точки зрения научного прогресса, при всем интересе, который они представляют для читателя, не могут иметь серьезного значения: быть может, завтра же будет сделано открытие, которое перевернет все наши понятия о законах природы, которые производили открытия гениев прошлого. Несравненно интереснее и важнее те утопии, которые рассматривают будущее с точки зрения отношений между - людьми. В конце концов будущее интересует нас лишь постольку, поскольку в нем будет принимать участие человек. Можно с уверенностью сказать, что, если мы наверное узнаем, что вся животная жизнь во вселенной прекратится через два года, не найдется ни один утопист, который пожелал бы заглянуть дальше этих двух лет.

Раз это так, то утопии должны оставаться в той сфере, которая имеет наиболее важное значение для жизни человечества, а эта сфера, несомненно, заключается в отношениях людей между собою. Поэтому величайшими утопиями, величайшими как по глубине мысли, так и по их значению для человечества, являются религии. Какую религию мы ни возьмем, она неизменно касается взаимоотношений между людьми и неизменно, в случае точного выполнения своих заветов, рисует светлое будущее, в котором все будут одинаково счастливы, все будут равны. Такое будущее обещает христианство, сулит буддизм, рисует магометанство, о будущей "земле обетованной" мечтают рассеянные по всей земле евреи. Проходят века, меняются устои общественного и государственной строя, делаются чрезвычайно важные открытия и изобретения, человек подчинил себе огонь и воду, воздух и землю, но лучшее будущее ему рисуется все в том же, в чем он его видел тысячи лет тому назад: в равенстве и в братстве.

И многие утописты уже начинают сознавать это. Утопии "технические" выливаются в форму повести или романа, и только утопии социальные остаются на высоте, представляют действительно серьезный, длительный интерес.

Уже в начале этой главы мы сказали, что утопий возникало и возникает целая масса. Мы не будем поэтому создавать новых утопий, мы ограничимся тем, что из существующих в настоящее время утопий мы приведем главные, наиболее характерные черты.

Во всех утопиях красной нитью проходит мысль, что в будущем 'населяющее землю человечество не будет знать деления на расы. Будут люди, и только люди. Люди будут говорить на одном языке и будут иметь общие интересы. Это, так сказать, основа, на которой покоится осуществление того "лучшего будущего", которому посвящены все утопии, к которому человека стараются направить все религии.

Вопрос о том, когда осуществится все это и возможно ли вообще на земле создание такого идеального строя, мы в данное время решить не можем, да в этом, собственно говоря, нет и особенной надобности: мы говорим об утопии, т. е. рисуем будущее в том виде, в котором оно кажется нам желательным. Цель всякой утопии вообще, а утопии социальной - в частности, заключается в том, чтобы показать, куда может прийти человек, если он пойдет по тому или иному направлению. Но пойдет ли человек по направлению, которое ему указывает утопия, предугадать невозможно. Достаточно вспомнить великие заветы, которые дали миру две величайших религии - христианство и буддизм. Если бы хотя часть этих заветов исполнялась людьми, то на земле, быть может, уже давно воцарилось бы то лучшее будущее, о котором мы до сих пор можем только мечтать, которому мы до сих пор можем посвящать лишь утопии, не зная даже, осуществятся ли они когда-либо.

Нет надобности много говорить по поводу того, что именно необходимо для осуществления идеалов социальной утопии. Всякому понятно, что для этого прежде всего необходимо самосовершенствование, с одной стороны, и терпимость к другим людям - с другой.

Для того, чтобы человек мог нравственно совершенствоваться, ему, разумеется, нужна известная свобода. Но так как люди под свободой нередко понимают то, что социологи

называют анархией, то будет далеко не лишним посвятить вопросу о свободе отдельную главу.

О личной свободе

Если я могу перемещаться по всему земному шару, то я свободен. Если я могу высказывать мои мысли, никого не оскорбляя и никому не принося вреда, то я свободен. Если я могу избрать себе профессию по своим способностям, своему вкусу, то я свободен. Если я могу молиться моему Богу, то я свободен.

Так писал философ Гэринг в 1876 году (1).

Быть может, многим такое ограничительное понятие о свободе покажется убогим, но в действительности здесь собрано все, что необходимо для свободы человека. Далее идет разнузданность, кажущаяся свобода, основанная на эксплуатации других людей, а еще дальше - анархия, полный произвол.

В тесном смысле, личная свобода возможна лишь при условии самой широкой терпимости к другим людям. Если я не буду терпимо относиться к людям, то я непременно должен ограничить их свободу. Нетерпимость неизбежно влечет за собою угнетение.

Все это азбучные истины.

И современная утопия, основываясь на этих истинах, мечтает для будущего о самой широкой терпимости, о всеобщем мире, о торжестве законности и порядка.

Законность и порядок, включенные в программу современных социальных утопий, уже не раз вызывали возражения и протесты масс. В законности и порядке массы склонны видеть способы порабощения. Этот взгляд неправилен, хотя отчасти нельзя не признать его вполне естественным продуктом всего нашего прошлого и, пожалуй, даже настоящего.

Законность и порядок...

В настоящее время, когда утопии только создаются, но не осуществляются, слова "законность и порядок" часто действительно приобретают оттенок, который по существу им совершенно чужд. Когда законность на каждом крошечном клочке земного шара понимается особо, когда не существует законов, общих для всего человечества, законы, конечно, приноравливаются к личным вкусам и интересам тех, кто их создает. И получается чрезвычайно любопытная картина: то, что вполне законно в Лондоне, карается смертной казнью в Калькутте (свободная критика действий правительства, например). Какой-нибудь Шульц, который в Берлине ударил Миллера, отделяется кратким арестом, а туземец Центральной Африки, такой же человек, как Шульц, за оскорбление того же Миллера вешается на ближайшем дереве, и притом с соблюдением всех законных формальностей. Видя такое разнообразное толкование законности в наше время, массы склонны смешивать закон с беззаконием, так же как свобода иногда смешивается с анархией.

Положительно то же самое можно сказать и относительно порядка. Если в Англии несколько тысяч или даже десятков тысяч граждан соберутся на митинг для обсуждения какого-нибудь вопроса (в лондонском Гайд-парке митинги в десятки тысяч считаются обыденным явлением) и если при этом не нарушаются общие уголовные законы, порядок считается ненарушенным, и полиция не принимает никаких репрессивных мер. Но если несколько сот индусов, таких же подданных Великобритании, как и жители Лондона, осмелятся собраться для обсуждения своих жизненных вопросов, та же английская полиция видит в этом "грубое нарушение порядка" и не задумываясь прибегает к вооруженной силе, "чтобы восстановить порядок".

Вполне понятно, что, когда утопия мечтает в светлом будущем о торжестве законности и порядка, эти мечты часто не находят себе отклика среди масс.

Поэтому, как это ни странно, приходится защищать от нападков законность и порядок, по крайней мере, в том виде, в каком о них мечтает современная утопия.

В дальнейшем мы постараемся возможно полнее набросать картину того будущего, о котором говорит современная утопия. Теперь же, относительно законности и порядка, нам предстоит решить несравненно менее сложную задачу. Мы привели ряд примеров, которые,

вероятно, убедили читателей в том, что причина отрицательного отношения современных людей к законности и порядку кроется в разнообразии понимания этих слов. Теперь представим себе иное положение вещей, не похожее на современное, представим себе именно то положение, о котором мечтает утопия.

На земле живут разумные существа, люди, равные друг другу, обладающие одинаковыми правами. Это не та казарменная, серая одинаковость, которая является почему-то идеалом некоторых социологов. Нет! Современная утопия, созданная людьми самых разнообразных политических направлений, не только признает личность, индивидуальность человека, но и отводит ей выдающуюся роль в "царстве будущего". Талант, гений должны пользоваться особым вниманием, особо тщательным уходом, как все выдающееся, все особенно полезное. Но и законность должна быть одинакова для всех - от идиота до гения, от чернорабочего до министра.

Читатели, усвоившие себе социальные учения, с удивлением спросят:

- Разве утопия, рисуя светлые картины будущего, может признавать чернорабочих и министров? Не значит ли это признавать нормальным положение, при котором люди делятся на классы, на касты?

Нет, утопия не знает ни классов, ни каст, но она, рисуя жизнь, не может отказаться от одного из основных принципов жизни - от принципа разделения труда.

Не могут все люди в мире заведовать электрическими станциями. Так же мало все люди в мире могут писать газетные статьи или делать стулья. В то же время человек, при современном развитии науки, добровольно не захочет стать и Робинзоном Крузо, который на необитаемом острове сам удовлетворял все свои жизненные потребности.

Словом, разделение труда безусловно необходимо как в настоящем, так и в будущем.

Раз необходимо разделение труда, то люди должны взять на себя именно ту работу, которая им более всего подходит. Во всякой даже небольшой общине должны быть люди, следящие за соблюдением общинных правил, направляющие деятельность других членов общины. Такие люди, разумеется, должны быть и будут в мировой общине, которая будет состоять из многих сот миллионов членов. Эти руководители, быть может, будут называться министрами. Возможно, что они будут носить иной титул, но сущность дела от этого не изменится.

Будут существовать и чернорабочие. Нас несколько коробит это слово, потому что мы, при нашем социальном строе, привыкли считать положение чернорабочего чуть ли не оскорбительным. А между тем "черная" работа для всякого общежития не менее необходима, чем работа распорядителя или "министра". Пусть, согласно "техническим" утопиям, техника в будущем достигнет такой высокой степени развития, что физический труд станет для человека почти ненужным. Все-таки останется уход за силовыми и рабочими машинами, потребуются добывание топлива, смазочных материалов, наконец, нужно будет добывать и обрабатывать сырую руду, нужно будет собирать и удалять отбросы и т. д. Словом, "черная" работа останется.

Останется и работа на земле, хотя бы и при помощи самых усовершенствованных машин.

Но это не важно. Важно то, что и министр, и "чернорабочий", и купец, и земледелец, - все, во всякой точке земного шара, будут подчинены одной законности, созданной ими же, будут знать один порядок, одинаково обязательный для всех. И все будут охотно подчиняться этой законности и этому порядку именно потому, что они едины для всех, на всем земном шаре.

И именно подчинением создается та свобода, о которой многие напрасно мечтают теперь. Странно звучат слова: подчинением создается свобода - а между тем это неоспоримая истина.

Свобода отдельного человека неразрывно связана с другими людьми. О совершенной свободе, когда всеми поступками руководит одно только "я", может говорить (или мечтать)

только тот, кто в одиночестве живет на заброшенном острове. Все другие люди не могут быть свободными, ибо в своих поступках должны сообразоваться с интересами других людей.

Дело закона - установить условия, при которых отдельные личности будут возможно менее чувствовать стеснения от совместной жизни с другими людьми, т. е. свобода может быть создана и поддержана только законами, обязательными для всех, свобода мыслима только при законности и порядке.

От законов будущего, вообще, человечество может ждать многого.

Гэринг свое перечисление свобод недаром начинает словами: "Если я могу перемещаться по всему земному шару, я свободен".

Действительно, нет свободы выше свободы передвижения. В настоящее время каждый из нас как будто обладает этой свободой, но в действительности лишь редкие счастливицы могут по своему желанию перемещаться. Теперь путешествие сопряжено с огромными затратами, которые под силу разве лишь очень богатым людям. Подавляющее большинство людей лишено свободы передвижения или, в крайнем случае, может пользоваться этой свободой лишь в очень скромных размерах. Между тем ничто так не развивает человека, как путешествие. Видеть земной шар со всех сторон, наблюдать природу во всех широтах, от полюсов до экватора - лучше этой школы трудно что-либо придумать.

И вот, современная утопия представляет себе в самых широких границах свободу передвижения, свободу путешествия. Усовершенствованные пути сообщения, созданные общими усилиями людей, должны находиться в полном распоряжении всех людей. Всякий, кто принадлежит к общине обитателей земли, кто вносит свою крупицу труда в общее дело, имеет полное право пользоваться всеми плодами общего труда и, следовательно, путями сообщения.

Мы не будем здесь рисовать картины возможных в будущем средств сообщения, но несомненно, что эти средства будут значительно совершеннее, чем теперь. И ими свободно будут располагать все люди, работающие по своей специальности на общее благо. Именно здесь проявится настоящая свобода, равная для всех. Министр или ученый будут иметь точно такое же право на путешествие, как "чернорабочий", и все будут пользоваться одинаковыми удобствами. Но при этом все будут подлежать и одинаковой ответственности за малейшее нарушение законности и порядка.

Особенно важное значение путешествие должно и будет иметь для молодежи, которая таким образом будет заканчивать свое образование, и именно молодежи будет особенно облегчено передвижение.

Таким образом непременно будет осуществлено первое требование Гэринга: "Свобода передвижения по всему земному шару".

Далее следует: "Свобода высказывать свои мысли".

Кажется, трудно придумать требование более справедливое и естественное, но даже Гэринг, включивший его в число необходимых для человека прав, добавляет: "...никого не оскорбляя и никому не принося вреда".

В наше время это условие почти неосуществимо. Всякое свободное суждение невольно, но обязательно содержит в себе порицание, кого-либо или что-либо осуждающее. Разумеется, здесь речь идет не о повседневном разговоре, а о высказывании мыслей, имеющих общественное или политическое значение. При современном пестром социальном строе (вернее, неустройстве) вполне понятно недовольство масс, понятно и стремление захватить в свои руки руль государственного корабля, но примеры показали, что угнетаемые сегодня массы сами делаются неумолимыми угнетателями, как только власть попадает в их руки.

Утопия мечтает о таком строе, когда не будет народных "масс" в современном значении этого слова, а будет человечество. На всем земном шаре в это утопическое время будут общие, единые законы. Чернорабочий будет пользоваться теми же правами и благами, какими пользуется министр. Исчезнет зависть, эта главная побудительная причина тех оскорблений, которые теперь зачастую примешиваются к критике. Завидовать будет некому,

а критиковать придется свое, общее дело, по которому свободное суждение можно высказать спокойно.

И чем меньше будет поводов для резкой, оскорбительной критики, тем строже будет караться всякое оскорбление, ибо тогда оскорбление будет вызываться не увлечением, не желанием во что бы то ни стало добиться правды, открыть на нее глаза другим, что иногда случается теперь; тогда оскорбление будет вызываться только злобой, только злой волей, и тогда оно станет серьезным преступлением.

Мы можем доказать массой примеров, что преступление карается тем строже, чем меньше было понятных поводов для него.

Так, в Англии самая мелкая кража, даже если виновный в ней раньше под судом не был, карается несколькими годами принудительных работ, потому что в Англии есть рабочие дома, в которых всякий может найти кров, пищу и труд, сообразно его силам и способностям. В Англии кража признается только проявлением злой воли.

По законам же Китая первая кража наказывается немногими ударами бамбуковой палкой, потому что в перенаселенной стране, из которой жители десятками тысяч бегут за грошовым заработком, на кражу может толкнуть необходимость.

Таким образом, оправдывается положение, которое на первый взгляд кажется диким: в эпоху, о которой мечтает современная утопия, будет полная свобода суждения, но всякое оскорбительное суждение будет строго наказываться.

Свобода избирать профессию по своим способностям и своему вкусу существует и теперь, но существует в теории, как существует полная свобода путешествия. Но как для путешествия, так и для свободы выбора профессии нужны средства, которых теперь у большинства людей нет. Кроме того, в будущем на выбор профессии должны влиять совсем иные причины, чем в настоящем. Можно с уверенностью сказать, что теперь подавляющее большинство людей, имеющих возможность выбирать себе профессию, стараются выбрать занятие подходящее. Как часто приходится слышать, что жители городов мечтают о сельском домике, о полевом хозяйстве! И многие, кому удалось скопить денег, уходят из города, куда их загнало только стремление заработать.

Мы видим инженеров, которые любят медицину, докторов, которые увлекаются сельским хозяйством, священников, которые мечтают об астрономии, и т. д. Все эти люди попали в жизни не на свое место, потому что и их родители, и они сами больше думали о "карьере" или (в духовной среде) о "семейных традициях", чем о врожденных наклонностях. Но когда никакой "карьеры" не будет, когда всякий работающий и приносящий пользу будет пользоваться благами жизни наравне со всеми другими, занятие, профессию люди будут избирать только по своим способностям и вкусам, и будут избирать сами, сознательно.

Это будет действительная свобода выбора, а не лотерея, которая теперь заменяет свободу даже у тех людей, которые имели бы возможность выбора.

Свобода молиться Богу...

Об этой свободе, пожалуй, нечего и говорить, до такой степени ее необходимость очевидна. И даже в наше время, далекое от светлого утопического времени, стеснения - свободы вероисповедания встречаются редко. Даже дикари с уважением относятся к молящемуся человеку.

Итак, все свободы, о которых в половине прошлого века говорил Гэринг, современная утопия уже видит осуществленными в будущем, но, кроме того, она предусматривает и длинный ряд других свобод.

Человеку будет безусловно дозволено все, что не вредит и не мешает другим людям.

В наше время, например, издаются законы, ограничивающие выработку и продажу спирта и спиртных напитков. Это - лишение свободы. Утопия говорит, что спиртные напитки будут вырабатываться и распространяться в неограниченном количестве, но злоупотребление ими, пьянство, будет строго караться. В наше время пьянство часто



оправдывается тем, что в нем люди "ищут забвения от тяжелой жизни". Тогда в таком забвении не будет надобности и, как и в свободе суждений, караться будет уже злая воля.

Словом, современная утопия видит счастье человека в полной личной свободе. Человек будущего может делать все, но только в пределах, в которых его поступки не вредят и не мешают другим людям. Сам совершенно свободный, он должен уважать, не нарушать свободу других. Свобода осуществима только в том случае, когда ее охраняют сами свободные. Люди понимали это еще в древности. И в утопическом будущем человек вернется к идеалу, созданному еще в первые исторические эпохи человечества: к полной личной свободе, на правах полного равенства. Свобода абсолютная, не сдерживаемая никакими обязательствами по отношению к другим людям, никогда не будет торжествовать, потому что это уже не свобода, а анархия, ведущая всегда к разрушению, но не к созиданию.

Быт и строй утопического будущего

Возможно, что современная утопия в этом отношении заблуждается, но она решительно предсказывает возвращение человека к природе. Человек напрасно старался, в течение многих веков, Подчинить природу своим вкусам и наклонностям: она сильнее его и неудержимо влечет его к себе, заставляет подчиняться своим законам.

Человек построил себе огромные каменные города и... сам лишил себя необходимого для жизни чистого воздуха. Человек, которого природа создала не хищником, стал питаться мясом убитых животных и... развил в себе массу болезней, начал вырождаться, еще не достигнув полного развития. Человек должен вернуться к природе, и современная утопия видит это возвращение в своем царстве будущего.

Сбросившая с себя гнет искусственности, природа пышно расцветет и сделается величественнее, прекраснее, чем когда-либо. И с ней сольется человек, созданный ею, живущий ею.

Человек вернется к той пище, которая предназначена ему природой, которая полезнее всего для его организма: к растительной пище. Люди все сделаются вегетарианцами. Уже теперь искусство изготовления пищи достигло такой высокой степени развития, что из растительных продуктов делаются кушанья, удовлетворяющие самые изысканные, самые разнообразные вкусы. С течением времени вегетарианство (2) распространится среди людей до такой степени, что люди, питающиеся мясом, сделаются исключениями.

Впрочем, надо сознаться, что здесь соображения нравственного характера будут играть менее значительную роль, чем соображения чисто экономические: на всех не хватит мяса.

Уже теперь почти всюду стоимость мяса поднялась настолько, что оно стало почти недоступным не только для широких народных масс, но и для средних трудящихся классов. С каждым годом стоимость мяса будет возрастать, и люди невольно перейдут на растительную пищу, что, кстати сказать, принесет им только пользу. Вполне возможно, однако, что в чистом виде вегетарианство не перейдет в утопическую эпоху: воздержание от молочных продуктов, полное запрещение всяких спиртных напитков и т. д. - все это требует уже особой, чуть ли не кастовой дисциплины, которая далеко не всем людям приятна и желательна. Дальнейшим шагом к сближению с природой будет бегство людей из каменных груд так называемых "культурных центров".

Человеку нужен чистый воздух, и нужен не менее, чем здоровая, легко перевариваемая пища. Днем человек, вынужденный работать, находится в закрытом помещении и поневоле дышит спертым воздухом, обычно к тому же испорченным разными вредными испарениями. Ночью, следовательно, он должен возместить организму недостаток в свежем воздухе, т. е. в кислороде. Для этой цели люди, несомненно, будут спать на открытом воздухе всюду и все время, когда это возможно по климатическим условиям. Там же, где зима слишком сурова, будут, вероятно, приняты меры для непрерывной смены в помещении воздуха, подогретого специальными батареями вентиляторов.

"Назад к природе!" Таков лозунг современной утопии. В нем, и только в нем она видит спасение для вырождающегося, слабеющего человека.

Вымирание целых рас, которое теперь никого не удивляет, должно сделаться полной невозможностью. Не вымирать должен человек, а процветать и совершенствоваться.

Вполне понятно, что наряду с оздоровлением человека совершится и оздоровление социальных условий, среди которых человек живет. Знаменитую поговорку *Mens sana in corpore sano* (здоровый дух в здоровом теле) надо дополнить словами: здоровое тело в здоровой обстановке.

Тогда каждый будет вносить в общее дело свой труд, не считаясь ни с кем местами и чинами, каждый будет иметь право на то, чтобы ему были предоставлены жизненные удобства наравне со всеми другими людьми. В какую форму выльется жилище, современная утопия сказать затрудняется, но весьма вероятно, что это будут небольшие, но благоустроенные домики, рассеянные среди зелени. Всякий будет иметь право получать, в случае болезни, лекарства и врачебную помощь бесплатно. Старость и болезнь не будут причиной нравственных страданий и мучительных забот, как это наблюдается теперь. Больной и потерявший трудоспособность будут находиться в тех же жизненных условиях, в которых они находились раньше. Это не будет благотворительностью, за которую приходится благодарить. Это будет естественное, законное право на жизнь. И раз общим трудом добытые продукты будут равномерно распределяться, раз ценности не будут сосредоточиваться в одних руках, - старые и больные не лягут ни малейшим бременем на здоровых и работоспособных.

Работа найдется для всех. Та "безработица", с которой приходится сталкиваться в наше время, представляет собою продукт пестроты современного бытового строя человечества. В то время как в Северной Америке в полевом хозяйстве рабочие руки оплачиваются десятками долларов в месяц, в Китае здоровый работник счастлив, если ему тяжелым трудом удалось заработать себе горсть риса. В одной стране недостаток в обученных рабочих на фабриках тормозит развитие промышленности, а в другой - безработные кончают самоубийством. Современная утопия не допускает мысли, чтобы такой порядок вещей мог сохраниться. Когда падут искусственные границы между народами, когда весь земной шар покроется густой сетью путей сообщения, трудящиеся всех специальностей распределятся по земле равномерно. Для врачей, ученых и т. п. не будет того магнита, которым сейчас для них является большой город. На всякой точке земного шара они найдут одинаковые удобства. Если случится, что в одном месте замечается перепроизводство или, наоборот, недостаток в рабочих силах, всегда будет возможно быстро переместить силы, пополнить недостаток в одном месте и устранить чрезмерное скопление в другом.

Все, что нам рисует современная утопия в области социального строя, уже давно является мечтой отдельных социальных учений. Утопия лишь объединила все эти мечты, придала им реальную окраску, освободила их от крайностей, благодаря которым они казались совершенно невероятными, неосуществимыми.

Слова "равенство и братство" написаны на знамени многих учений, но все эти учения отличаются крайней нетерпимостью относительно других учений. "Все должно быть так, как я хочу, или все будет скверно". Так говорит большинство сторонников отдельных учений, а в то же время ничто не может быть ошибочнее такой нетерпимости.

Утопия согласна видеть осуществление всех учений, лишь бы от этого получилась польза для людей. Одно из крайних учений, например, отрицает деньги. И современная утопия вполне согласна с этим отрицанием, хотя и несколько иначе, чем данное учение. Деньги имеют ценность условную. Сами по себе деньги совершенно бесполезны. Если поместить человека на необитаемый остров и положить около него золотые монеты всего мира, то, если на острове не окажется пресной воды или растительности, человек неизбежно умрет, несмотря на окружающее его богатство. А между тем, деньги имеют тот недостаток, что их можно копить, что они возбуждают низкие инстинкты в человеке.

К сожалению, правы люди, утверждающие, что "за деньги можно получить все". С этой точки зрения деньги, как ценность постоянную, утопия в будущем не хотела бы видеть. Однако

даже в том светлом будущем, о котором мечтает утопия, едва ли все люди будут отличаться безукоризненной добросовестностью. Контроль над работой все-таки будет необходим. В настоящее время таким контролем, между прочим, являются деньги. Деньги отчасти можно считать свидетельством о сделанной работе. Но когда такие "свидетельства" сосредоточиваются в руках людей, которые в действительности эту работу не делали, деньги делаются тем злом, которое утопия желала бы видеть уничтоженным. В утопическом будущем, как оно рисуется современным утопистам, каждый человек ежедневно должен получать марку, значок, в доказательство того, что человек работал. Так как, вероятно, образуются небольшие общины, то надзор за работой членов таких обществ не представит затруднений. Но такой значок имеет силу только доказательства сделанной работы. Он немедленно возвращается в контроль взамен удовлетворения разнообразных жизненных потребностей до развлечений и путешествия включительно. Копить такие значки не будет ни возможности, ни надобности.

Может быть, утописты увлекаются, и деньги, как таковые, останутся до тех пор, пока будет существовать человечество, но современная утопия, мечтающая о светлом будущем, не может этого желать.

Утопия нисколько не увлекается мечтами и отлично сознает, что людей никогда не удастся сделать автоматами, подогнать под одну общую мерку, как то мечтают сделать некоторые крайние учения. К счастью для себя, люди всегда останутся людьми с особенностями своими, хорошими и дурными наклонностями, с большими или меньшими способностями. Злая воля всегда будет жить, но только, вероятно, проявляться и наказываться она будет иначе, чем теперь. Прежде всего, некоторые преступления и проступки совсем исчезнут, потому что для них не будет почвы. Например, нищенство. Среди описанных выше условий нельзя себе представить человека, бродящего от дома к дому и выпрашивающего себе пропитание. Если человек стар или болен - о нем заботятся здоровые. Если же человек не хочет работать, то его заставят силой. В случае упорства его изгонят из общества. Вообще изгнание будет единственным наказанием утопического царства. Ты не хочешь подчиняться нашим законам - ступай и живи отдельно как знаешь.

Таково будет несложное правосудие. На каких-нибудь островах, среди океана, будут основаны колонии для изгнанников. Над ними не будет никакого контроля, никакой власти. Только сторожевые суда будут следить за тем, чтобы изгнанники не вернулись на материки. Но зато общество не будет и нести тяготы содержания изгнанников. Каждый изгоняемый получит инструменты и материалы, достаточные для постройки дома и земледелия. И этим кончатся его отношения к другим людям. И едва ли ошибаются утописты, предсказывая, что такое изгнание хотя бы на острова, покрытые пышной животной и растительной жизнью, удержит людей от нарушения порядка лучше, чем тюрьмы, смертные казни и т. д.

Надо принять еще во внимание, что вся жизненная обстановка сложится к тому времени благоприятнее, чем теперь. Преступления ради корысти утратят всякий смысл. Отнять у другого можно будет только то, что есть у всякого, что можно без особого труда получить по праву. Останутся преступления, рожденные злобой или временным помрачением рассудка. Таких преступлений даже теперь не особенно много. Преступники ради злобы будут наказываться, другие будут лечиться.

Вообще очень трудно, почти невозможно предугадать, как сложится утопическое правосудие, но одно можно сказать наверное: не будет судей по профессии. Профессиональный суд заменит то, что мы теперь называем судом товарищеским, но в несравненно более широких размерах. Очень возможно, что этот суд вернется к древней форме греческого народного суда, который на площади выносил приговоры и подвергал граждан остракизму, т. е. изгнанию.

И здесь, как во всех областях жизни, произойдет чрезвычайно характерное возвращение к прошлому. В области социальной жизни, как во всех областях жизни вообще, ничто не пропадает, совершается лишь непрерывный круговорот...

Вполне естественно, что в утопическом государстве, как и во всяком сообществе людей, будут люди, призванные исполнять роль если не начальников, то наблюдателей. Эти наблюдатели, конечно, ни образом жизни, ни правами не будут отличаться от других людей: они просто будут выполнять свои особые обязанности, как рабочий, артист, ученый и т. д. будут выполнять свои.

Некоторые крайние учения, мечтая о равенстве, настолько сгущают краски этого равенства, что получается впечатление казарменности, под гнетом которой должно исчезнуть личное "я" человека. Общая одинаковая работа, общие спальни, общее воспитание детей и т. д. - все это способно скорее отпугнуть людей от учения, чем привлечь их к нему. Утопия значительно смягчает эти крайности. В будущем, как и теперь, и даже еще в большей степени, люди будут трудиться на самых разнообразных поприщах. Ни на чем не основаны утверждения, будто при свободе выбора профессий все бросятся на интеллигентный труд. Это неосновательно уже потому, что неинтеллигентного труда нет. Есть неинтеллигентные люди, выполняющие труд, и обыкновенно выполняющие его очень плохо. Работа в газете, например, считается трудом интеллигентным, а между тем среди английских или американских фермеров, возделывающих свои поля и сады, найдутся люди значительно более интеллигентные, чем большинство мелких газетных работников. Деятельность артиста считается высоко интеллигентной, а между тем о некоторых артистах сохранились воспоминания, говорящие о их крайней некультурности.

Раз трудящиеся во всех областях получают возможность жить по-человечески, найдутся охотники и на мускульный труд.

#### Женщина в царстве утопии

В будущей общине, как мы уже видели раньше, главным законом будет свобода. Нет никакого сомнения в том, что женщина тогда будет так же свободна, как мужчина, но это далеко не значит, что женщина утратит те качества, которые делают ее привлекательной. В некоторых странах уже давно чувствуется стремление женщины сделаться возможно менее женственной, возможно более похожей на мужчину.

Что бы ни говорили социологи о том, что женщина должна стоять наравне с мужчиной, сама природа опровергает это. У всех представителей животного царства самка отличается от самца сравнительной слабостью, но зато она всегда изящнее в своих движениях, мягче в своих наклонностях. Словом, она - женственна.

Надо оговориться, что современное стремление женщины стать во всех отношениях рядом с мужчиной вполне естественно. Женщину в этом направлении толкает бытовое неустройство, борьба за существование. У нас за женщиной не признают многих прав, которые неотъемлемо принадлежат мужчине. Правда, за последнее время женщина добилась того, что она на многих поприщах работает наравне с мужчиной, и для настоящего, когда женщине приходится вести суровую борьбу за право жить, это, пожалуй, отрадно. В будущем положение должно измениться коренным образом. Женщина будет пользоваться безусловно всеми правами, принадлежащими мужчине, но она не будет чувствовать гнета жизненной борьбы, ей не нужно будет добиваться возможности выполнять работы, которыми заняты мужчины. Есть тьма областей, в которых одинокая женщина найдет применение своему труду и окажется несравненно полезнее мужчины. Сфера искусства, уход за больными, птицеводство, некоторые отрасли изящной промышленности и т.д. Здесь всюду женщина, несмотря на производительный труд, может сохранить свою женственность. Женщина семейная, понятно, найдет полное применение своим способностям и силам в кругу семьи.

Напрасно некоторые социологи создают утопии, в которых женщины, наравне с мужчинами, превращены в какие-то безличные машины, что будто бы необходимо для "равенства и братства". Если мы пристальнее взглянем в прошлое или обратимся к современным дикарям, то мы должны будем сознаться, что чем культурнее народ в высоком значении этого слова, тем сильнее в нем развито стремление устроить себе семейную жизнь отдельно.



Ярким примером этого может служить Англия, где люди отличаются большой общительностью, охотно встречаются друг с другом в ресторанах и т. п., но где в семью, в святая святых личной жизни, допускают лишь немногих избранных. Далее, как в прошлом культурных народов, так и в настоящем дикарей мы видим, что женщина стоит почти наравне с рабочим скотом. На женщине лежат все тяжелые работы, причем она даже не пользуется правами, принадлежащими мужчине. По мере того, как народ поднимается по ступеням культуры, положение женщины улучшается, и в то же время женщина из грубого животного состояния самки переходит к состоянию женственности. Самка делается женщиной.

Вполне естественно предположить, что и дальше женщина будет развиваться именно в этом направлении, а не в каком-либо ином.

Кроме того, самые условия жизни будущего сложатся так, что присутствие женщины в доме станет необходимым. Женщина семейная не будет иметь возможности уходить на заработки.

Прежде всего, утопия не признает того класса порабощенных людей, которых мы теперь называем "домашней прислугой". Весьма вероятно, что сохранится лишь тип "помощниц", помогающих в уходе за детьми и в некоторых работах, в которых хозяйка случайно неопытна.

Вероятно, многие современные хозяйки придут в ужас от этой части утопии: пред ними встанет картина жизни без прислуги! Они ярко представят себе положение, при котором им придется самим мыть посуду, ходить на рынок, топить печи и т. д.

Действительно, если бы весь уклад домашней жизни в будущем остался таким, каков он есть сейчас, жизнь без прислуги для многих оказалась бы тягостной. А между тем в утопическом будущем прислуга будет совершенно лишней. Благодаря успехам техники, все то, что мы теперь называем "черной работой", будет выполняться механически, вероятнее всего - при помощи электричества. Уже теперь в Северной Америке можно наблюдать образцы такой жизни без прислуги. В Нью-Йорке и некоторых других городах имеются отели, предназначенные исключительно для миллиардеров. В этих отелях прислуги нет почти совсем, или, по крайней мере, ее не видно. В отделениях, обставленных, конечно, с царской роскошью, в каждой комнате, у каждого стола имеются изящные дощечки с электрическими кнопками. Отопление, освещение и вентиляция управляются автоматически. Кушанья и напитки подаются автоматически, по нажиму соответствующей кнопки. Даже гардины на окнах опускаются и поднимаются посредством электричества. Нечто в этом роде сулит нам в будущем и утопия. Провизия будет утром доставляться на дом. Быть может, жизненные припасы в особых учреждениях будут наполовину готовиться к потреблению, так что в семье останется только доварить или дожарить их по своему вкусу.

Отбросы в больших городах (и благоустроенных поселках) уже теперь удаляются автоматически, через канализационные трубы. То же самое будет и в эпоху утопии, с той лишь разницей, что тогда, вероятно, отбросы будут не только удаляться, но и быстро уничтожаться. Благодаря электрической топке в кухне будет царить идеальная чистота, почти без всяких усилий со стороны хозяйки. Всасыватели пыли позаботятся о том, чтобы не было надобности в уборке комнат. Горячая и холодная вода всегда будет к услугам нуждающихся в ней. Телефон и, быть может, еще какие-нибудь средства сношения сделают посылки с поручениями совершенно ненужными:

все требуемое будет в определенное время доставляться на дом. Очевидно, что при таких условиях мускульный труд прислуги будет совершенно лишним, и прислуга исчезнет так же, как исчезли оруженосцы с тех пор, как тяжелые доспехи рыцарей с поля брани перешли в музеи.

Впрочем, если бы даже и сохранилась некоторая надобность в прислуге, к тому времени, несомненно, уже не найдется женщин, которые пожелали бы взять на себя такие обязанности. Ни одна женщина не пойдет устраивать и обслуживать чужой семейный очаг, если у нее есть возможность отдавать силы и знания своему собственному очагу. Исключением



явятся случаи, когда хозяйка заболевает или будет временно отвлечена от хозяйства более важными обязанностями матери. В таком случае на помощь явятся те женщины, которые почему-либо не имеют собственного хозяйства и посвятили себя делу помощи другим. Но это будет именно помощь, исключая всякую возможность полурабовладельческих отношений.

Будет ли утопическая женщина развита и образованна? Несомненно. Образование девочки будут получать наравне с мальчиками. Так называемое "среднее" образование будет обязательно для всех, за исключением хилых и слабых, которым лечение и отдых нужнее, чем знание. Желаящие могут затем продолжать образование в специальных учебных заведениях. Если женщина захочет стать техником, - никто не будет ей препятствовать в этом. Но повторяем, что тогда для женщины не будет повода избирать себе мужскую профессию: всем знаниям и силам она найдет применение дома, в спокойной, уютной обстановке.

Несмотря на красивые слова, которые говорят и пишут о том, что женщина может и должна работать наравне с мужчиной, мы уже теперь видим, что в действительности для женщины домашний очаг все-таки дороже всякой мужской деятельности. Женщина, добившаяся полной самостоятельности, выдвинувшаяся на каком-либо поприще, возвращается в семью, как только она встретит подходящего для нее мужчину, и, если ей только позволяют материальные условия, она приносит свою деятельность в жертву обязанностям хозяйки и матери.

Рискуя навлечь на себя негодование многих последователей социальных учений, отрицающих институт брака, современная утопия утверждает, что в будущем брак не только не исчезнет, но даже еще более укрепится. В наше время против брака принято возражать, главным образом, в том направлении, что брак как цепями связывает часто людей, совершенно не подходящих друг к другу, случайно встретившихся и вступивших в брак под влиянием минутного порыва. Однако скорее можно утверждать, что неудача большинства современных браков зависит не от "порыва", а от материальных расчетов, на которых эти браки основаны. Никого не удивляют браки, заключенные ради приданого, еще чаще девушка выходит замуж, чтобы "пристроиться". Результат такого брака нетрудно предвидеть, особенно в том случае, когда женщина до тех пор совершенно не имела случая узнать жизнь. Получается положение, при котором, действительно, два человека, не имеющие друг с другом ничего общего, часто даже стоящие на совершенно различных ступенях развития, приковываются друг к другу. Они тяготятся друг другом, совершенно не понимают один другого, и вместо семьи получается очаг мучений, а иногда даже преступлений.

Но разве, уничтожив брак, мы уничтожим причины, создающие теперь такие невозможные положения? Нисколько. Мы, пожалуй, создадим даже еще более благоприятную почву для таких положений. Заключая брачное условие, даже совершенно наивные люди все-таки относятся или, вернее, стараются относиться к своему шагу серьезно. Брак все-таки есть договор, накладывающий известные обязательства, дающий серьезные права.

Современная утопия говорит, что уничтожить надо не брак, а те условия, которые теперь так часто делают брак источником страданий для людей.

Будущее брака утопия рисует следующим образом: в брак, признаваемый законом, могут вступать люди, получившие образование, в возрасте - женщины не менее 21 года, мужчины не менее 26 лет. Уже один этот возраст вместе с образованием ручается за то, что в брак люди будут вступать осмысленно. Кроме того, у вступающих в брак совершенно не будет никаких материальных расчетов: живя отдельно, каждый из них пользовался бы совершенно теми же правами и благами жизни, какими они будут пользоваться, живя вместе. Следовательно, браки будут основаны на личном влечении.

Мальчики и девочки будут оканчивать образование вместе, будут изучать друг друга, привыкать друг к другу, и станет невозможным современное положение, при котором молодая девушка прямо со школьной скамьи навсегда связывает себя чуть ли не с первым

встречным, потому что она не умеет разобраться в людях, а в уговорах более опытных людей видит только обиду... Утопия признает право на брак только за вполне здоровыми людьми. В какой форме будут заключаться браки в это далекое время, предугадать нельзя, да это и не важно.

Женщине, делающейся матерью, законы будут уделять особое внимание. Женщина, имеющая детей, обильнее других снабжается всем необходимым. Мать с детьми получает право, при желании, выбирать себе наиболее благоприятные для здоровья места для жизни, и семьи, не имеющие детей, беспрекословно должны уступать место детям. С самого раннего возраста врачи начинают заботиться о физическом развитии и укреплении детей. Но дети все время остаются с родителями.

В этом отношении современная утопия в корне расходится с утопиями, созданными некоторыми социальными учениями. Если когда-нибудь женщина достигнет такой степени "развития", что в ней заглохнет чувство материнства, чувство любви к детям, то женщина упадет ниже низших животных, и такого "развития" ей едва ли можно пожелать. Между тем, только в состоянии такого полного отупения чувств женщина может согласиться на те способы воспитания детей, которые некоторые социологи мечтают применить в будущем ради "равенства и братства". Казарменное воспитание, при котором невозможно любовное отношение к личности ребенка, к его особенностям, может дать разве лишь живые машины, но не людей. При этом любят ссылаться на Спарту, где будто бы такое коллективное воспитание применялось с успехом, забывая при этом, что Спарта стремилась создать себе, главным образом, защитников, воинов, что спартанцы очень мало жили культурными интересами.

Итак, ребенок будет физически развиваться под наблюдением врачей. Всевозможная гимнастика, игры на открытом воздухе круглый год, летом морские купанья и т. д. - все это позволит воспитать детей сильными, бодрыми, готовыми к учению.

Утопия предвидит коренные изменения и в области преподавания. Масса предметов, считающихся теперь необходимыми, будут выброшены из средней школы, потому что ими желающие могут заняться позднее, как специальностью. Так как к тому времени несомненно все будут говорить на одном общем языке, то не будет никакой надобности изучать языки. Только специалисты по исследованию старины будут изучать языки, как теперь специалисты занимаются халдейским или санскритским языками.

Так как не будет отдельных государств, то изучение географии значительно упростится, тем более что географию дети и юноши будут изучать наглядно во время путешествий.

Весьма вероятно, что те науки, которые теперь ложатся на ребенка мертвым бременем, тогда заменятся живым общением с природой. Ботанику будут изучать в лесу, минералогию в горах и т. д. Ведь тогда исчезнут те препятствия, которые мешают такому свободному преподаванию теперь: тогда человек во всякой точке земного шара будет у себя в отечестве, равный среди равных. Тогда удобными средствами передвижения по всему земному шару будет свободно пользоваться всякий нуждающийся в них...

Вполне понятно, что все эти условия должны очень благотворно влиять на развитие женщины как таковой. Исчезнут те причины, под влиянием которых в наше время лица так рано покрываются морщинами, женщины нередко уже в молодости кажутся старухами.

Признает ли утопия развод? Разумеется. Без этого не было бы свободы. Развод в будущем не должен представлять затруднений, но вместе с тем он должен быть строго обусловлен законами. На развод дают право продолжительные раздоры, указывающие на разность характеров. Поводом к разводу может служить болезнь или увечье. Наконец, поводом к разводу будет признано отсутствие детей. Но во всех случаях развод дается по требованию хотя бы одной стороны, причем каждой стороне предоставляется полное право снова вступать в брак. (Напоминаем, что больные лишены права вступать в брак.) Для того, чтобы сделать брак привлекательным, современная утопия предусматривает меру наказания для тех, кто

пожелал бы уклониться от брака: дети, рожденные вне брака, отбираются от родителей и воспитываются без их участия, хотя на их воспитание и образование обращается такое же серьезное внимание, как и на других детей.

При легкости развода и при общих благоприятных условиях жизни нарушение законов о браке едва ли будет встречаться часто, и, если утопия предусматривает кару за это нарушение, то лишь потому, что люди всегда остаются людьми. Нарушение законов о браке будет совершаться только теми людьми, которые не имеют права вступить в брак, т. е. больными, а такое нарушение, конечно, может принести будущему поколению только вред.

Таким образом, современная утопия рисует положение женщины будущего в таких светлых красках, что невольно рождается желание, чтобы это будущее настало возможно скорее...

#### Утопический человек

Благодаря прекрасным жизненным условиям и правильному развитию организма в детстве утопический человек должен отличаться здоровьем, о котором мы при нашем образе жизни и при нашей лихорадочной борьбе за существование не смеем и мечтать. Люди и в этом отношении должны вернуться к прошлому. Постепенно совершенствуясь, организм человека делается таким же могучим, каким он был в древности. Исчезнут следы той дегенерации, жертвой которой человечество едва не стало в наше время. Природа создала человеческий организм с таким расчетом, чтобы он жил не менее 100 лет. Следовательно, первая половина жизни до 50 лет должна считаться молодостью. Человек семидесяти пяти лет, достигший третьей четверти средней жизни, должен считаться человеком зрелого возраста. И только на девятом десятке могут проявляться первые признаки естественной старости.

У нас признаки нередко проявляются на пятом десятке лет, а некоторая часть молодежи страдает всеми старческими недугами вплоть до морщин на лице, едва достигнув двадцатилетнего возраста...

Когда человек вновь станет ближе к природе, когда он получит возможность работать спокойно, не опасаясь каждое мгновение, что у него вырвут изо рта кусок хлеба, он снова станет сильным, бодрым, его организм будет успешно бороться с болезненными началами, жертвой которых становится ослабленный организм современного человека.

Словом, утопический человек физически будет таким же, каким был человек в древности.

Костюм утопического человека, несомненно, не будет таким уродливым, как наши костюмы, и не будет менять свой фасон каждый год. То, что мы теперь называем модой, слишком чудовищно для того, чтобы жить вечно. Человеческое тело слишком красиво для того, чтобы скрывать его мягкие линии в безобразных складках материи. Костюм будущего, несомненно, устранил этот недостаток, будет прост, красив и гигиеничен. Разнообразие костюма будет, вероятно, существовать только в зависимости от климата, потому что в Лондоне, конечно, нельзя одеваться так, как одеваются на экваторе...

Таков в общих чертах должен быть физический облик утопического человека. Каков будет его духовный, нравственный облик?

Если мы внимательно всмотримся в нравственные течения современности, то мы заметим, что по ним красной нитью проходит стремление поколебать всякую религиозность.

Религиозность многими считается простой отсталостью. И некоторые социальные учения открыто включают в свою программу уничтожение религии. Этих людей свободно можно сравнить с вандалами, разграбившими и уничтожившими сокровища искусства в Риме.

Их можно еще сравнить с хранителем музея, где статуи и картины запылились. Вместо того, чтобы промыть картины и статуи, снять с них грязный налет, зритель разбивает статуи, сжигает ценные картины.

Точно так же поступают люди, стремящиеся во что бы то ни стало уничтожить религиозность. Современная утопия решительно отвергает возможность такого

уничтожения. Напротив того, утопический человек должен быть и будет чрезвычайно религиозным.

Утопический человек, с широко развитым философским взглядом, близкий к природе, знакомый со многими ее тайнами, не может не углубиться в философию вселенной. Между тем, эта философия, напрасно старающаяся найти первоисточник, первопричину всего существующего, неизбежно приводит к желанию поклоняться этой Первопричине. Эта философия неизбежно приводит нас к Богу. Грубый материализм, которым стараются заполнить ту пустоту, которая остается на месте религии, рассыплется в пыль при первом дуновении божественной философии. Человек будущего, узнав еще больше тайн природы, чем их знаем мы, должен еще глубже склониться пред той Мудростью, которая создала природу и руководит ее законами. Человек будущего не может быть материалистом, потому что вся его жизнь будет сплошным стремлением к совершенствованию духа, а потому он будет религиозным.

Уже теперь в этом направлении заметна реакция. Уже теперь начинают успокаиваться те волны неверия, которые поднялись в половине прошлого века под влиянием нескольких крупных открытий в области естествознания. Уже теперь разве лишь увлекающаяся молодежь склонна все в мире объяснять "круговоротом материи" и "законом о сохранении энергии". Но даже и эта молодежь задумывается, когда ей задают вопрос, откуда же взялись хотя бы эти два закона?

Поворот в сторону религиозности уже теперь проявляется очень заметно. Всевозможные религиозные братства и общества возникают массами. Правда, большинство этих обществ и братств основано с целями, имеющими мало общего с чистой, возвышенной религией, но тот факт, что они все-таки привлекают массу сторонников, говорит сам за себя.

Какую религию будут исповедовать утопические люди?

Вероятнее всего, это будет религия, которая объединит в себе все лучшее, что драгоценными блесками рассеяно по известным нам религиям. Эта религия будущего будет сверкать мудростью и красотой, не признавать ее будет невозможно.

Каковы будут обряды этой религии? Современная утопия совсем не касается этого вопроса, да он и совершенно не важен.

Утопический человек, таким образом, должен быть прекрасен и физически, и духовно. Однако современная утопия придает ему черты, которые в нашем представлении обычно не вяжутся с высоким духовным развитием: утопический человек не будет знать жалости. Он создаст для себя прекрасные условия жизни, он станет на высокую ступень духовного развития и нравственности, но в то же время он безжалостно будет карать за всякий проступок, угрожающий целостности созданной гармонии.

Создастся совершенно новая этика, не похожая на этику современную. Мы говорим, что земля - это временный приют, в котором человек - странник, временный гость. И огромное большинство людей, слепо придерживаясь этого взгляда, ведет себя именно так, как ведет себя странник, останавливаясь где-нибудь на отдых. Такой странник, конечно, не заботится о том, чтобы украсить свой временный приют, чтобы перестроить его. Большинство людей совершенно безучастно относится к тому, что совершается на земле, если только событие не касается их самих, не затрагивает их интересы. Если бы современные люди жили общими интересами и отзывались на всякое событие, хотя бы оно и не касалось их непосредственно, то уже теперь исчезла бы значительная часть зла и несправедливости, которым в утопическом царстве не будет места на земле. Этика утопии будет видеть в жизни человека на земле особую привилегию, которая налагает на человека серьезные обязанности. Земля перестанет быть подобием ночлежного приюта для душ, слетающих на нее из мирового пространства.

Каждый человек будет стремиться возможно полезнее провести жизнь, внести в нее как можно больше красоты и счастья. Девизом утопического человека будет: "Красиво жить и красиво умереть".



И ради сохранения этой красоты человек будет безжалостен по отношению ко всякому, кто будет искажать ее. Человек, не признающий приведенного девиза, будет навсегда изгоняться.

Не только сами изгнанники, но и их потомки будут лишены права когда-либо возвратиться в общество незапятнанных людей.

Выше мы уже говорили о том, что в утопическом царстве в брак вступать будет дозволено только сильным, здоровым людям. Ясно, что этим имеется в виду избежать физического вырождения людей. Хилые дети могут рождаться только от хилых родителей, не имеющих права вступать в брак. Современная утопия предусматривает случаи, когда безнадежно хилые люди как в детском, так и в зрелом возрасте будут уничтожаться. Здесь мы снова встречаемся с чертой, которая по нашим этическим взглядам несовместима с высоким нравственным развитием. Утопическая этика будет относиться к этим вопросам иначе. Во всяком случае, будут приняты все меры для того, чтобы предупредить наследственную передачу как физических, так и духовных болезней и уродств.

Утопический человек будет относиться к смерти иначе, чем мы. У него будут идеалы, ради которых он не задумается умереть сам или устранить других. Вероятно, он предпочтет красивое самоубийство безобразящей болезни и медленному увяданию. И в этом отношении будущее вернется к прошлому, когда больные и слабые предпочитали смерть хилости.

Но смерть утопический человек никогда не изберет орудием устрашения или наказания. Для него смерть будет вполне естественным актом, который должен совершиться возможно безболезненнее, возможно незаметнее для умирающего. К услугам человека будет масса средств, при помощи которых смерть можно будет сделать не только безболезненной и незаметной, но даже прекрасной.

Вообще можно с уверенностью сказать, что утопический человек совсем не будет знать боли. Но это не значит, что он будет изнежен. Просто самые условия жизни сложатся так, что всякая возможность причинения боли будет предупреждена и устранена.

Так как в утопическом государстве не будет повода к благотворительности, не будет угнетенных и несчастных, которым надо помочь, то со временем чувство жалости в утопическом человеке умрет совершенно, но зато в нем широко разовьется чувство справедливости и едва ли человек от этого сделается хуже.

Вот в общих чертах физический и духовный облик человека будущего.

Единое человечество будущего

Современная утопия рисует картину постепенного образования единого государства, охватывающего весь земной шар. Для того, чтобы яснее представить себе этот процесс, надо бросить взгляд назад, вспомнить, как возникали современные государства.

Еще в доисторические времена люди объединялись в группы, потому что прежде всего человеку свойственна известная общительность, а кроме того, в группе всегда легче защищаться от нападений. Объединившись в группы, люди естественно начали разделять между собой обязанности. В то время, когда одни охотились, другие в жилищах занимались обработкой кож убитых животных, третьи тесали из камня или дерева оружие и предметы домашнего обихода, четвертые готовили пищу и т. д.

Так как природа не знает полного равенства, то в группах выдвигались на первый план люди, одаренные исключительным умом или энергией. В этих людях просыпалось стремление к власти. Они делались начальниками и подчиняли своей воле других, более слабых людей. Получились общины. Среди начальников отдельных групп, в свою очередь, встречались люди сравнительно слабые, которые легко попадали под влияние других, более сильных начальников. Отдельные группы сливались под начальством сильных. Члены групп роднились между собою, получалось общество. Община, создавшаяся первоначально из одной семьи, из рода, под начальством энергичного человека поглощала другие общины и росла как снежный ком. Она захватывала землю и, в конце концов, вырастала в самостоятельную большую единицу. В средние века, когда на Востоке таких единиц, определившихся в целые



народы, возникло такое множество, что им стало на земле тесно, они поднялись и могучим потоком залили всю Европу. Это было переселение народов. Каждый народ, каждая общинная ячейка заняли себе определенную площадь земли. У каждого народа были свои особенности, был свой быт. Прошло несколько веков сравнительно спокойной жизни, и отдельные ячейки стали сливаться друг с другом, как сливаются друг с другом капельки ртути. Повторилось то же, что раньше делалось с мелкими общинами. Более энергичные властители подчиняли себе других, делались данниками князей и герцогов, которые за это защищали их от насилий со стороны соседей. Среди герцогов и князей тоже нашлись более сильные люди, и герцогства слились в государства.

То же самое, но в несравненно больших размерах должно произойти в будущем. Уже в настоящее время заметны шаги в этом направлении. Отдельные государства уже теперь чувствуют себя слишком слабыми. Заключаются союзы, которыми объединяются несколько государств для защиты своих интересов. Это, в сущности, то же самое, что раньше выливалось в форму слияния. Пока изобретатели не сделают своими изобретениями войну настолько убийственной, что она станет невозможной, будут наблюдаться такие временные слияния государств на основании договоров. Затем начнется уже настоящее слияние, на почве общности интересов.

Положительно невозможно предсказать, по какому пути пойдет это слияние, т. е. к какому современному государству будут постепенно примыкать другие.

Во всяком случае, в будущем произойдет постепенное слияние отдельных государств, как в прошлом эти государства создались путем слияния более мелких единиц. Современная утопия представляет себе человечество будущего совершенно одинаковым, т. е. без деления на разноцветные расы. Едва ли надо говорить, как исчезнут цветные расы. На примере метисов и мулатов мы видим, что черные расы при родстве с белыми постепенно утрачивают резкую окраску кожи. В данное время дикие явления "обесцвечивания" приходится наблюдать сравнительно редко, потому что цветные расы, особенно чернокожие, находятся в полудиком состоянии и более культурная белая раса редко роднится с ними. Недалеко время, когда чернокожие поднимутся выше в культурном отношении, когда браки между черными и белыми людьми станут обыденным явлением, и тогда, вероятно через несколько поколений, цветные расы исчезнут совершенно, сольются с белокожими.

Таким образом и в этом предположении современной утопии нет решительно ничего неосуществимого.

В утопическом царстве будет жить единое человечество.

(1) "О свободе и вменяемости человека".

(2) Учение о безубойном, растительном питании, т. е. вегетарианство, возникло в начале XIX века. В 1811 году появилась книга "Return to nature" (возвращение к природе), которой было основано вегетарианство, хотя еще в XVII веке Ньютон проповедовал (насколько ему хватало времени и позволяла его рассеянность) растительное питание. В 1847 году Джон Симпсон основал в Лондоне первое Общество вегетарианцев.

## ***Похищенная бацилла***

Перевод Н. Семевской

- А вот это, - сказал бактериолог, подкладывая под микроскоп стеклянную пластинку, - препарат знаменитой холерной бациллы - микроб холеры.

Человек с бледным лицом заглянул в микроскоп - очевидно, он не привык иметь дело с этим прибором - и мягкой белой рукой прикрыл левый глаз.

- Я почти ничего не вижу, - сказал он.

- Поверните вот этот винт, - посоветовал бактериолог, - может быть, изображение не в фокусе для вас, глаза ведь у всех разные. Чуть-чуть поверните в одну сторону, потом в другую.

- Так, теперь вижу, - сказал посетитель, - но в конце концов видеть-то особенно нечего. Розовые полоски и пятнышки. А между тем такие вот крошечные существа, эти ничтожные микробы могут размножиться и опустошить целый город. Удивительно!

Он встал и, вынув пластинку из-под микроскопа, поднял ее, рассматривая на свет.

- Их почти не видно, - сказал он, разглядывая препарат, и, помолчав, добавил: - Это живые бациллы? Они опасны?

- Нет, они убиты и окрашены, - ответил бактериолог. - Я хотел бы, чтобы мы могли умертвить все подобные бациллы во вселенной.

- Думаю, - с легкой улыбкой проговорил человек с бледным лицом, - что вам не очень-то хотелось бы держать у себя такие существа живыми, в активном состоянии.

- Напротив, нам обязательно надо держать их живыми, - возразил бактериолог. - Да вот, например... - Он прошел в другой конец комнаты и взял одну из нескольких запечатанных пробирок. - Вот это - живая бацилла. Это - культура живой бактерии... - Он запнулся. - Так сказать, холера, загнанная в бутылку.

На бледном лице посетителя на мгновение, блеснуло выражение удовольствия.

- Вы владеете смертоносным оружием, - проговорил он, впиваясь глазами в пробирку.

На лице своего гостя бактериолог уловил выражение нездоровой радости. Этот человек только что пришел к нему с рекомендательным письмом от его старого друга и заинтересовал бактериолога, который почувствовал, что он и его гость - люди совсем разного склада. Прямые черные волосы и глубоко посаженные серые глаза незнакомца, осунувшееся лицо и нервные движения, жадный, острый интерес к бациллам - все это было так не похоже на флегматичных, рассудительных ученых, с которыми привык общаться бактериолог. Перед слушателем, интересующимся, очевидно, прежде всего смертоносностью бактерий, естественно было показать дело с самой эффектной стороны.

Задумавшись, бактериолог держал в руке пробирку.

- Да, - проговорил он, - это - холера, посаженная за решетку. Разбейте такую вот пробирку над источником, питающим городской водопровод, скомандуйте этим крошечным живым частичкам - таким крохотным, что их можно рассмотреть только в самый мощный микроскоп, и то окрасив препарат, бактериям без вкуса и запаха, - скомандуйте им: "Вперед! Растите И размножайтесь, наполняйте цистерны!" - и тогда смерть, таинственная и неуловимая, смерть быстрая и ужасная, смерть мучительная и безобразная обрушится на город и начнет рыскать повсюду, отыскивая себе жертвы. Здесь она лишит жену мужа, там отнимет у матери ребенка, оторвет государственного деятеля от его обязанностей, труженика - от его забот. Она будет следовать по путям водопроводных труб, проникая во все улицы, вылавливая и наказывая то в одном, то в другом дом тех, кто пьет сырую воду, она проникнет в чаны фабрикантов минеральной воды, проберется в салат, когда его будут мыть, и притаится в мороженом. Она будет сидеть в кормушках животных и ждать, когда ее проглотят, она будет подкарауливать беспечных ребятишек, которым захочется напиться из уличного фонтана. Она пропитает землю и появится в ручейках и колодцах, в тысяче самых неожиданных мест. Только пустите эту бациллу в водопровод, и, прежде чем мы поймаем и укротим ее, она уничтожит столицу!

Бактериолог внезапно замолчал. Ему не раз указывали на его страсть к риторике.

- Ну, а здесь, видите ли, она совершенно безопасна. Человек с бледным лицом кивнул головой. Глаза его сверкали. Он откашлялся.

- Эти негодяи-анархисты - дураки, - сказал он, - слепые дураки: бросать бомбы, когда есть такая штука! Мне кажется...

В дверь тихонько постучали, скорее даже не постучали, а поцарапали об нее ногтем. Бактериолог открыл дверь.

- На минуточку, милый, - прошептала его жена. Когда он вернулся в лабораторию, посетитель смотрел на часы.

- Я и понятия не имел, что отнял у вас целый час, - сказал он, - сейчас без двенадцати четыре, а мне нужно было уйти в половине четвертого. Но то, что вы мне показывали, было так интересно... Нет, право же, больше я не могу остаться ни на минуту, в четыре у меня важное свидание!

Рассыпаясь в благодарностях, он вышел из комнаты. Бактериолог проводил его до дверей, а затем, задумавшись, вернулся по коридору в лабораторию. Он хотел догадаться, какой национальности его посетитель. Несомненно, не германец, но не похож и на представителя латинских народов. Во всяком случае, в нем есть что-то патологическое, - про себя заметил бактериолог, - как он уставился на эту культуру болезнетворных микробов! Внезапно у него мелькнула тревожная мысль. Он повернулся к скамье возле паровой ванны, затем быстро подошел к письменному столу и стал поспешно шарить в своих карманах, потом бросился к двери.

- Может быть, я оставил ее на столе в передней, - пробормотал он.

- Минни! - хриплым голосом закричал он из передней.

- Да, милый? - отозвался голос из дальней комнаты.

- Когда я только что с тобой разговаривал, милочка, было у меня что-нибудь в руках?

Пауза.

- Нет, милый, ничего не было, потому что я помню...

- Синяя бацилла пропала! - воскликнул бактериолог. Он опрометью кинулся к двери и сбежал по ступеням на улицу.

Услышав стук захлопнувшейся двери, Минни в тревоге кинулась к окну. Она увидела, как на улице какой-то худой человек усаживался в кеб. К нему, неистово размахивая руками, мчался бактериолог без шляпы и в домашних туфлях. Одна туфля упала с ноги, но он не стал терять времени на то, чтобы поднять ее.

- С ума сошел! - воскликнула Минни. - Вот что наделала эта противная наука!

Минни открыла окно и хотела позвать мужа. Худой человек внезапно оглянулся и, по-видимому, тоже подумал, что ученый сошел с ума. Он торопливо показал кебмену на бактериолога и что-то сказал. Щелкнула застежка кожаного фартука, просвистел бич, копыта застучали по мостовой, и в тот же миг кеб и бактериолог, бросившийся за ним следом, понеслись по улице и исчезли за углом.

С минуту Минни стояла, высунувшись из окна, потом вернулась в комнату. Она была совершенно ошеломлена.

"Конечно, муж чудак, - размышляла она, - но все-таки бегать по Лондону в самый разгар сезона в одних носках!.." Ей пришла в голову счастливая мысль. Она быстро надела шляпку, схватила ботинки мужа, выбежала в переднюю, сняла с вешалки его летнее пальто, шляпу и выскочила на улицу. На ее счастье, как раз мимо медленно проезжал кеб, и она его окликнула.

- Везите меня прямо, потом сверните на Хейвлок-кресент и постарайтесь догнать джентльмена без шляпы и в бархатной куртке.

- Бархатная куртка, мэм, и без шляпы? Очень хорошо, мэм!

И кебмен стегнул лошадь с таким решительным видом, точно ему каждый день приходилось ездить по подобным адресам.

Несколько минут спустя кучка кебменов и ротозеев, как всегда собравшаяся у стоянки извозчиков на Хаверсток-хилле, была поражена видом бешено мчавшейся пегой лошаденки, запряженной в кеб.

Все молчали, пока кеб не скрылся из виду, а затем полный джентльмен, известный под кличкой Старого Болтуна, сказал:

- Это Гарри Хикс. Что это с ним стряслось?

- А кнутом-то как работает, зря не машет, - добавил мальчишка конюх.

- Гляди-ка, - воскликнул Томми Байлс, - а вот еще один сумасшедший, разрази меня на этом месте, и впрямь еще один катит!

- Это наш Джордж, - отозвался Старый Болтун, - а везет он сумасшедшего, это ты верно сказал; как бы он не вывалился из кеба! Не за Гарри ли Хиксом он гонится?

Общество на извозничьей стоянке все больше оживлялось. Кричали хором: "Наддай. Джордж!", "Вот так скачки!", "Ты его догонишь!", "Погоняй!"

- Ишь, как чешет! - сказал мальчишка конюх.

- Голова кругом идет, - воскликнул Старый Болтун, - ей-богу, сейчас сам помчусь! Глядите, еще один! Никак все кебмены в Хэмпстеде спятили сегодня!

- На этот раз - баба! - сказал мальчишка конюх.

- За ним гонится, - добавил Старый Болтун, - чаще бывает наоборот; он за ней, а не она за ним.

- Что у нее в руках?

- Похоже, что шляпа.

- Вот забава! Ставлю три против одного на старика Джорджа, - предложил мальчишка конюх, - кто следующий?

Минни промчалась мимо. Ее сопровождала буря оваций. Ей это не понравилось, но она сознавала, что исполняет свой долг, и неслась дальше по Хаверсток-хиллу и Кэмдентаун-Хай-стрит, не отрывая глаз от спины старого Джорджа, непонятно почему увозившего от нее беглеца-мужа.

Человек в первом кебе сидел, забившись в угол, скрестив на груди руки и крепко сжимая в кулаке пробирку с могучим средством разрушения. Он испытывал смешанное чувство страха и радостного возбуждения. Больше всего он боялся, что его поймут, прежде чем он успеет осуществить свой замысел, однако в глубине его души был смутный, но еще более сильный страх перед чудовищностью затеянного преступления. И все же радость пересиливала страх. Ни один анархист еще не додумался до того, что собирался сделать он. Равашоль, Вайан и все эти знаменитые деятели, славе которых он завидовал, бледнели и казались ничтожными по сравнению с ним. Ему надо только добраться до городской водоканализации и разбить пробирку над баком. Как блестяще он все подготовил, подделал рекомендательное письмо, проник в лабораторию и так блестяще воспользовался случаем! Наконец-то мир услышит о нем! Наконец-то всем этим людям, которые над ним смеялись, им пренебрегали, избегали его общества, придется считаться с ним. Смерть, смерть, смерть! Сколько унижений он вытерпел как человек, не заслуживающий внимания. Весь мир был в заговоре, чтобы не дать ему подняться. Теперь он покажет, что значит не замечать человека! Кажется, эта улица ему знакома. Да, конечно, это улица Сент-Эндрю. А где же его преследователь? Он выглянул из кеба. Между ним и бактериологом было не больше пятидесяти ярдов. Плохо! Его еще могут нагнать и остановить. Он нащупал в кармане деньги и достал полсоверена. Приподнявшись, он через окошечко в крыше сунул монету под нос кучеру.

- Еще дам, - закричал он, - если сумеете удрать! Мгновенно деньги были выхвачены у него из руки.

- Ладно! - сказал кебмен.

Окошечко захлопнулось, и бич опустился на блестящий бок лошади. Кеб дернуло, и анархист, который еще не успел сесть, ухватился рукой со стеклянной пробиркой за фартук, чтобы не упасть. Он почувствовал, как пробирка сломалась в его руке. Отбитая половинка звякнула о дно кеба. Он выругался, откинулся на сиденье и мрачно поглядел на капли жидкости, упавшие на фартук.

Анархист содрогнулся.

- Ну что ж, кажется, мне придется быть первым. Бр-р, но я по крайней мере стану мучеником. Это уже кое-что! А все-таки ужасная смерть. Так ли она мучительна, как говорят?

Тут у него мелькнула новая мысль. Он пошарил у себя под ногами. В отбитой части пробирки сохранилось немного жидкости, и он для верности выпил ее. Надо было действовать наверняка. Как бы то ни было, неудачи он не потерпит!

Потом он подумал, что теперь ему незачем удирать от бактериолога. На Веллингтон-стрит он велел кучеру остановиться и вышел из кеба. На подножке он поскользнулся, голова у него слегка кружилась. Быстро действует этот холерный яд! Он помахал кебмену, как бы устрняя его из своего бытия, и, скрестив руки на груди, остановился на тротуаре, поджидая бактериолога. В его позе было что-то трагическое. Сознание близкой гибели придавало его фигуре некоторое достоинство. Он приветствовал бактериолога вызывающим смехом:

- Vive l'Anarchie [Да здравствует анархия! (франц.)!] Опоздали, мой друг! Я выпил ваш препарат. Холера спущена с цепи!

Не выходя из кеба, бактериолог сквозь очки поглядел на него с веселым любопытством:

- Выпили? Анархист? Теперь понятно!

Он хотел было что-то добавить, но воздержался. В углах рта затаилась усмешка. Он отбросил фартук, как будто хотел вылезти из кеба, в то время как анархист драматическим жестом махнул ему на прощанье рукой и пошел к мосту Ватерлоо, стараясь своим зараженным телом толкнуть возможно большее число людей. Бактериолог с таким интересом смотрел ему вслед, что почти не выразил удивления, когда на тротуаре появилась Минни со шляпой, пальто и ботинками.

- Очень мило, что ты принесла мои вещи, - рассеянно заметил он, все еще внимательно следя за удалявшейся фигурой анархиста.

- Садись ко мне, - добавил он, не поворачивая головы.

Минни теперь была совершенно убеждена, что ее муж сошел с ума, и на свою ответственность велела кучеру ехать домой.

- Что? Надеть ботинки? Разумеется, милочка, - сказал бактериолог, когда кеб повернул и скрыл от него торжественную черную фигуру, казавшуюся на расстоянии совсем маленькой.

Вдруг ему что-то показалось таким смешным, что он расхохотался, а потом заметил:

- Это все-таки очень серьезное дело. Понимаешь, этот человек пришел сегодня ко мне, а он - анархист... не падай в обморок, а то я не смогу тебе всего рассказать. Я не знал, что он анархист, хотел удивить его и показал ему культуру этой новой бациллы, о которой я тебе говорил, той самой, которая, я думаю, вызывает появление синих пятен у обезьян разных пород. Я свалил дурака и сказал ему, что это - бацилла азиатской холеры. Он похитил ее и убежал, чтобы отравить воду в Лондоне, и он действительно мог бы наделать много неприятностей нашему цивилизованному городу. А теперь он сам проглотил бациллу. Конечно, я не могу оказать наверное, что с ним случится, но ты помнишь, как котенок и три щенка покрылись от нее синими пятнами, а воробей стал ярко-голубым. Хуже всего то, что мне придется опять возиться и тратить деньги, чтобы приготовить новый препарат.

Что? Надеть пальто в такую жару! Зачем? Потому что мы можем встретить миссис Джеббер? Но, милочка моя, ведь миссис Джеббер не сквозняк. Чего ради я стану в жару надевать пальто из-за миссис... А... ну, ладно!

1894

## ***Человек, который делал алмазы***

Перевод Н. Рахмановой

Дела задержали меня на Чансери-лейн до девяти вечера. Начинала болеть голова, и у меня не было никакой охоты развлекаться или опять сесть за работу. Кусочек неба, едва видный между высокими скалами узкого ущелья улицы, возвещал о ясном вечере, и я решил пройтись по набережной, дать отдых глазам, освежить голову и полюбоваться на пестрые



речные огоньки. Вечер, бесспорно, самое лучшее время дня здесь, на набережной: благодатная темнота скрывает грязную воду, и всевозможные огни, какие только есть в наш переходный век - красные, ослепительно оранжевые, желтые газовые, белые электрические, - вкраплены в неясные силуэты зданий самых разных оттенков, от серого до темно-фиолетового. Сквозь арки моста Ватерлоо сотни светящихся точек отмечают изгиб набережной, а над парапетом подымаются башни Вестминстера - темно-серые на фоне звездного неба. Неслышно течет черная река, и только изредка легкая рябь колеблет отражения огней на ее поверхности.

- Теплый вечер, - сказал голос рядом со мной.

Я повернул голову и увидел профиль человека, облокотившегося на парапет подле меня. Лицо у него было тонкое, можно даже сказать красивое, хотя довольно изможденное и бледное. Поднятый и зашпиленный воротник пальто указывал на место незнакомца в жизни не менее точно, чем мог бы указывать мундир. Я почувствовал, что, если отвечу ему, мне придется заплатить за его ночлег и завтрак.

Я с любопытством посмотрел на него. Окупит ли его рассказ деньги, которые я на него потрачу, или это обыкновенный неудачник, неспособный даже рассказать собственную историю? Глаза и лоб выдавали в нем человека мыслящего. Нижняя губа слегка дрожала. И я решился заговорить.

- Очень теплый, - ответил я, - но все же стоять здесь холодновато.

- Нет, - сказал он, продолжая глядеть на воду, - здесь очень приятно... именно сейчас.

- Как хорошо, - продолжал он, помолчав, - что еще можно найти в Лондоне такое тихое место. Когда целый день тебя мучают дела, заботы о том, как бы прожить, как выплатить долги и избежать опасностей, не представляю, что бы я стал делать, не будь таких умиротворяющих уголков.

Он делал длинные паузы после каждого предложения.

- Вероятно, вам знакомы житейские невзгоды, иначе вы не стояли бы здесь. Но вряд ли у вас такая усталая голова и так болят ноги, как у меня... Да! По временам я сомневаюсь, стоит ли игра свеч? Мне хочется все бросить - имя, богатство, положение - и заняться каким-нибудь скромным ремеслом. Но я знаю, что, как бы туго мне ни приходилось, если я откажусь от своих честолюбивых стремлений, я до конца моих дней не перестану раскаиваться.

Он замолчал. Я глядел на него с изумлением. Я никогда не встречал человека в более плачевном состоянии. Оборванный, грязный, небритый и нечесаный, он выглядел так, словно неделю провалялся в мусорном ящике.

И он мне рассказывает об утомительных заботах крупного дельца! Я чуть не рассмеялся. Или это помешанный, или он неудачно издевается над собственной бедностью.

- Если высокие цели и высокое положение, - сказал я, - имеют свою оборотную сторону - напряженный труд и постоянное беспокойство, то они приносят и вознаграждение: влияние, возможность делать добро, помогать слабым и бедным; наконец, удовлетворенное тщеславие - уже награда.

Подшучивать при таких обстоятельствах было бестактно. Меня подстрекнуло несоответствие между его наружностью и тем, что он говорил. Я не успел кончить, как мне уже стало совестно.

Он обернул ко мне угрюмое, но совершенно спокойное лицо.

- Я забылся. Разумеется, вы не можете меня понять, - сказал он.

С минуту он присматривался ко мне.

- Конечно, все это кажется нелепым. Даже если я вам расскажу, вы все равно не поверите, так что я могу рассказывать, ничем не рискуя. А мне так приятно с кем-нибудь поделиться. У меня действительно на руках крупное дело, очень крупное. Но как раз сейчас начались затруднения. Дело в том, что я... изготавливаю алмазы.

- Вы, вероятно, сейчас без работы?

- Мне надоело вечное недоверие, - нетерпеливо сказал он. С этими словами он вдруг расстегнул свое жалкое пальто, вытащил из-за пазухи холщовый мешочек, висевший на шнурке у него на шее, и вынул из мешочка темный камень.

- Интересно, можете ли вы определить, что это такое? - Он протянул мне камень.

Надо сказать, что приблизительно год назад в свободное время я занимался подготовкой к экзаменам на ученую степень в лондонском университете, так что у меня есть некоторое представление о физике и минералогии. Камень напоминал неотшлифованный темный алмаз, но был слишком велик, почти с ноготь большого пальца. Я взял его и увидел, что у него форма правильного октаэдра с гранями, характерными для этого драгоценного минерала. Я вынул перочинный нож и поскреб камень - безрезультатно. Под газовым фонарем я испытал камень: чиркнул им по часовому стеклу и легко провел белую черту. С возрастающим любопытством я посмотрел на моего собеседника:

- Действительно, очень похоже на алмаз. Но тогда это гигант среди алмазов. Откуда он у вас?

- Я же вам говорю, что сам его сделал, - ответил он. - Отдайте его мне.

Он торопливо засунул камень обратно в мешочек и застегнул пальто.

- Я продам вам его за сто фунтов, - вдруг прошептал он.

Ко мне вернулись мои подозрения. В конце концов камень мог быть просто корундом - веществом почти такой же твердости - и лишь по чистой случайности походить формой на алмаз. Если это алмаз, то как он очутился у этого человека и почему он предлагает продать камень всего за сто фунтов?

Мы взглянули друг другу в глаза. В его взгляде выражалось ожидание - нетерпеливое, но честное. В эту минуту я поверил, что он пытается продать мне настоящий алмаз. Но я небогат, сто фунтов пробили бы заметную брешь в моих финансах, да и какой человек в здравом уме станет покупать алмаз при свете газового фонаря у оборванного бродяги, поверив ему на слово. И все же алмаз такой величины вызвал в моем воображении тысячи фунтов. Но тогда, подумал я, этот алмаз должен упоминаться во всех книгах о драгоценных камнях. Мне вспомнились рассказы о контрабандистах и ловких кафрах в Капской колонии. Я уклонился от прямого ответа.

- Откуда он у вас? - спросил я.

- Я сделал его.

Я кое-что слышал о Муассоне, но знал, что его искусственные бриллианты очень небольшой величины.

Я покачал головой.

- Вы как будто разбираетесь в этих вещах. Я расскажу вам немного о себе. Быть может, тогда вы передумаете и купите алмаз.

Он отвернулся от реки, засунул руки в карманы и вздохнул:

- Я знаю, вы все равно мне не поверите.

- Алмазы, - начал он, и по мере того, как он говорил, я перестал чувствовать, что это говорит бродяга: речь его становилась свободной речью образованного человека, - алмазы делаются так. Углерод выделяют из соединения в определенном плавильном флюсе и при соответствующем давлении. Тогда углерод выкристаллизовывается не в виде графита или угольного порошка, а в виде мелких алмазов. Все это давно известно химикам, но никому еще не удалось напасть именно на тот флюс, в котором надо плавить углерод, и определить давление, которое может дать наилучшие результаты. Поэтому-то алмазы, сделанные химиками, такие мелкие и темные и не имеют настоящей ценности.

И вот я посвятил этой задаче свою жизнь - всю свою жизнь. Я начал изучать условия, при которых получают алмазы, когда мне было семнадцать лет, а теперь мне тридцать два. Я знал, что на это уйдет лет десять, а то и двадцать, которые могут отнять у человека все его силы, всю его энергию, но даже и тогда игра стоила свеч. Предположим, что кто-то,

наконец, натолкнулся на разгадку секрета; тогда, прежде чем тайна выйдет наружу и алмазы станут дешевле угля, этот человек сможет заработать миллионы. Миллионы!

Он замолчал и взглянул на меня, словно ища сочувствия. Глаза его сверкали голодным блеском.

- И подумать только, - сказал он, - что я почти всего достиг, и вот теперь...

Когда мне исполнился двадцать один год, у меня было около тысячи фунтов, и я думал, что эта сумма и небольшой приработок уроками дадут мне возможность продолжать изыскания. Учение, главным образом в Берлине, заняло года два, а затем я стал работать самостоятельно. Самое трудное было - соблюдать тайну. Видите ли, если бы я проболтался, моя вера в осуществимость идеи могла бы подстрекнуть других, а я не считаю себя таким гением - чтобы наверняка прийти к открытию первым, если начнется борьба за первенство. Как вы сами понимаете, важно было, раз уж я действительно решил сколотить состояние, чтобы люди не знали о том, что алмазы можно делать искусственным путем и производить тоннами. Поэтому я был вынужден работать совершенно один. Сперва у меня была маленькая лаборатория, но когда мои ресурсы начали истощаться, мне пришлось продолжать опыты в жалкой комнатухе без мебели в Кэнтиш-тауне. Я спал на соломенном матрасе прямо на полу, посреди приборов. Деньги буквально испарялись. Я отказывал себе во всем, чтобы покупать необходимое для моих исследований. Я старался продержаться, давая уроки, но педагог я неважный, нет у меня ни университетского диплома, ни достаточного образования, кроме химического. Мне приходилось тратить уйму времени и труда, а получать за это пустяки. Но я все приближался и приближался к цели. Три года назад я решил проблему состава флюса и почти достиг нужного давления, поместив флюс и особую углеродную смесь в ружейный ствол; я добавил туда воды, герметически закрыл ствол и принялся нагревать.

Он помолчал.

- Довольно рискованно, - сказал я.

- Да. Ружье разорвалось и разбило все окна и значительную часть аппаратуры. Зато я получил что-то вроде алмазного порошка. Пытаясь добиться большого давления на расплавленную смесь, чтобы выкристаллизовать из нее алмазы, я обнаружил, что некий Добре, работавший в Парижской лаборатории пороха и селитры, взрывал динамит в плотно завинченном стальном цилиндре, таком прочном, что он не мог лопнуть. Я узнал, что Добре мог дробить скалы, превращая их в породы, подобные южноафриканским, в которых залегают алмазы. Я заказал стальной цилиндр, сделанный по его чертежу, хотя это сильно подкосило меня в смысле средств. Я забил в цилиндр весь материал и взрывчатые вещества, развел огонь в горне и - вышел прогуляться.

Меня рассмешило, что он рассказывает это так деловито.

- А вы не подумали, что может взорваться весь дом? Были там другие жильцы?

- Этого требовали интересы науки, - сказал он помолчав. - Этажом ниже жила семья торговца фруктами, рядом со мной - сочинитель просительных писем, а наверху - две цветочницы. Возможно, я поступил несколько необдуманно, но не исключено, что не все жильцы были дома. Когда я вернулся, цилиндр лежал на том же месте в куче раскаленных добела углей. Взрывчатка не разорвала корпуса. Теперь передо мной встала новая проблема. Видите ли, время - важный фактор при кристаллизации. Если сократить процесс, кристаллы получатся мелкие. Только длительное выдерживание увеличивает кристаллы. Я решил охлаждать цилиндр в течение двух лет, постепенно снижая температуру. Деньги у меня к этому времени кончились. Мне приходилось все время поддерживать огонь в горне и платить за комнату, надо было также утолять голод, и у меня не осталось ни гроша.

Вряд ли я теперь припомню все, чем я промышлял, пока занимался изготовлением алмазов. Я продавал газеты, держал под уздцы лошадей, открывал дверцы экипажей. В течение многих недель я надписывал конверты. Мне пришлось служить помощником у продавца с ручной тележкой, я должен был сзывать народ по одну сторону улицы, в то время

кал он выкликал товар по другую. Один раз у меня целую неделю не было никакой работы, и я просил милостыню. Что это была за неделя! Однажды, когда погас огонь в горне и я весь день ничего не ел, какой-то парень, гулявший с девушкой, хотел пустить ей пыль в глаза и дал мне шесть пенсов. Да благословит бог тщеславие! Какое благоухание доносилось из лавок, где торговали жареной рыбой! Но я пошел и на все деньги купил угля, снова раскалил горн, а потом... Да, от голода человек глупеет. Наконец, три недели назад, я погасил огонь и вынул цилиндр. Он был еще такой горячий, что жег мне руки, пока я его развинчивал. Я выскреб крошащуюся лавообразную массу долотом и растолок ее на железном листе. И нашел в ней три крупных алмаза и пять маленьких. Когда я сидел на полу, стуча молотком, дверь отворилась и вошел мой сосед, сочинитель просительных писем. Он был по обыкновению пьян.

"Ан-нархист", - сказал он.

"Вы пьяны", - отрезал я.

"Разрр-рушитель, мерр-завец!" - продолжал он.

"Подите к дьяволу", - отвечал я.

"Не бес-по-койтесь", - сказал он, икая и подмигивая мне с хитрым видом.

Потом он прислонился к двери и, устремив глаза на косяк, начал болтать о том, как он рылся в моей комнате, как ходил сегодня утром в полицию и там записывали все, что он говорил, "как будто я джнт-мен", - сказал он.

Тут я вдруг понял, что влип. Или я должен выдать полиции мой секрет, и тогда о нем узнают все и каждый, или же меня арестуют как анархиста. И вот я взял соседа за шиворот, встряхнул его как следует, а потом убрался подобра-поздорову со своими алмазами. Вечерние газеты называли мою каморку "кэнтиш-таунской фабрикой бомб". И теперь я никак не могу отделаться от своих алмазов. Если я захожу к почтенным ювелирам, они просят меня обождать, и я слышу, как они шепчутся с приказчиком и посылают его за полисменом, и тогда я заявляю, что не могу ждать. Я нашел скупщика краденого: он прямо вцепился в алмаз, который я ему дал, и предложил мне потребовать его обратно через суд. Теперь я ношу алмазы на себе - несколько сот тысяч фунтов - и не имею ни пищи, ни крова. Вы первый, кому я доверил свою тайну: мне нравится ваше лицо, а меня, что называется, приперло к стене.

Он посмотрел мне в глаза.

- Было бы сумасшествием, - сказал я, - купить алмаз при таких обстоятельствах, да я и не ношу с собой сотен фунтов. И все же я готов поверить вам. Если хотите, сделаем так: приходите завтра ко мне в контору...

- Вы думаете, я вор, - с горечью сказал он. - Вы сообщите в полицию. Нет, не пойду я в ловушку.

- Я почему-то убежден, что вы не вор. Вот моя карточка, и во всяком случае возьмите еще вот это. Не будем назначать свидания. Приходите, когда угодно.

Он взял карточку и то, что я дал ему в залог моей доброжелательности.

- Надеюсь, вы передумаете и придете, - сказал я.

Он с сомнением покачал головой.

- Когда-нибудь я отдам ваши полкроны и с процентами, с такими процентами, что вы ахнете, - сказал он. - Ведь вы сохраните все в тайне? Не ходите за мной.

Он перешел через улицу к ступенькам под аркой, ведущей на Эссекс-стрит, и исчез в темноте. Больше я его никогда не видел.

Впоследствии я дважды получал от него письма с просьбой прислать банкноты (но не чеки) по такому-то адресу. Взвесив все, я поступил так, как счел наиболее благоразумным. Один раз он заходил, когда меня не было на месте: по описанию посыльного мальчишки, это был очень худой, грязный, оборванный человек, мучительно кашлявший. Он ничего не просил передать. И это все, что я знаю о нем. Иногда мне очень хочется узнать, что стало с ним? Был ли это просто маниак, мошенник, торговавший фальшивыми камнями, или он действительно сделал эти алмазы, как утверждал? Последнее настолько правдоподобно, что по

временам я спрашиваю себя, не упустил ли я самую блестящую возможность всей своей жизни? Быть может, он умер, и алмазы его выбросили, как сор, - повторяю, один был величиной с ноготь. А может быть, он все еще бродит по улицам, пытаюсь сбить свои сокровища? Может случиться и так, что он еще предстанет когда-нибудь миру и, пересекая мой путь на безоблачной высоте, доступной лишь богачам и патентованным знаменитостям, безмолвно упрекнет меня за отсутствие предприимчивости. Иногда я думаю, что, пожалуй, надо было рискнуть. Хотя бы пятью фунтами.

1894

## ***История покойного мистера Элвешема***

Пер. Н. Семевской

Я пишу эту историю, не рассчитывая, что мне поверят. Мое единственное желание спасти следующую жертву, если это возможно. Мое несчастье, быть может, послужит кому-нибудь на пользу. Я знаю, что мое положение безнадежно, и теперь в какой-то мере готов встретить свою судьбу.

Зовут меня Эдвард Джордж Иден. Я родился в Трентеме в Стаффордшире, где отец занимался садоводством. Мать умерла, когда мне было три года, а отец когда мне было пять. Мой дядя Джордж Иден усыновил меня и воспитал, как родного сына. Он был человек одинокий, самоучка, и его знали в Бирмингеме как предприимчивого журналиста. Он дал мне превосходное образование и всегда разжигал во мне желание добиться успеха в обществе. Четыре года назад он умер, оставив мне все свое состояние, что после оплаты счетов составило пятьсот фунтов стерлингов. Мне было тогда восемнадцать лет. В своем завещании дядя советовал мне потратить деньги на завершение образования. Я уже избрал специальность врача и благодаря посмертному великодушию дяди и моим собственным успехам в конкурсе на стипендию стал студентом медицинского факультета Лондонского университета. В то время, когда начинается моя история, я жил в доме О 11-а по Университетской улице, в убогой комнатке верхнего этажа с окнами на задний двор. В ней вечно был сквозняк. Это была моя единственная комната, потому что я старался экономить каждый шиллинг.

Я нес в мастерскую на Тоттенхем-Корт-роуд башмаки в починку и тут впервые встретил старичка с желтым лицом. С этим-то человеком и сплелась так тесно моя жизнь. Когда я выходил из дому, он стоял у тротуара и в нерешительности разглядывал номер над дверью. Его глаза тускло-серые, с красноватыми веками остановились на мне, и тотчас же на его сморщенном лице появилось любезное выражение.

- Вы вышли вовремя, сказал он. Я забыл номер вашего дома. Здравствуйте, мистер Иден!

Меня несколько удивило такое обращение, потому что я никогда прежде и в глаза не видел этого человека, к тому же я чувствовал себя неловко, потому что под мышкой у меня были старые ботинки. Он заметил, что я не очень-то обрадован.

- Думаете, что это за черт такой, а? Я ваш друг, уверяю вас. Я видел вас прежде, хотя вы никогда не видели меня. Где бы нам поговорить?

Я колебался. Мне не хотелось, чтобы незнакомый человек заметил все убожество моей комнаты.

- Может быть, пройдемся по улице? сказал я. К сожалению, я сейчас не могу... И я пояснил жестом.

- Что ж, хорошо, согласился он, оглядываясь по сторонам. По улице? Куда же мы пойдем?

Я сунул ботинки за дверь. - Послушайте, отрывисто проговорил старичок, это дело, в сущности, моя фантазия; давайте позавтракаем где-нибудь вместе, мистер Иден. Я человек



старый, очень старый и не умею кратко излагать свои мысли, к тому же голос у меня слабый, и шум уличного движения...

Уговаривая меня, он положил мне на плечо худую, слегка дрожавшую руку.

Я был молод, и пожилой человек имел право угостить меня завтраком, но в то же время это неожиданное приглашение несколько меня не обрадовало.

- Я предпочел бы... начал я.

- Но мы сделаем то, что предпочел бы я, перебил старик и взял меня под руку. Мои седины ведь заслуживают некоторого уважения.

Мне пришлось согласиться и пойти с ним.

Он повел меня в ресторан Блавитского. Я шел медленно, приноравливаясь к его шагам. Во время завтрака, самого вкусного в моей жизни, мой спутник не отвечал на вопросы, но я мог лучше разглядеть его. У него было чисто выбритое, худое, морщинистое лицо, сморщенные губы, за которыми виднелись два ряда вставных зубов, седые волосы были редкие и довольно длинные. Мне казалось, что он маленького роста впрочем, мне почти все люди казались маленькими. Он сильно сутулился. Наблюдая за ним, я не мог не заметить, что он тоже изучает меня. Глаза его, в которых мелькало какое-то странное, жадное внимание, перебежали с моих широких плеч на загорелые руки и затем на мое веснушчатое лицо.

- А сейчас, сказал он, когда мы закурили, я изложу вам свое дело. Должен вам сказать, что я человек старый, очень старый. Он помолчал. Случилось так, что у меня есть деньги, и теперь мне придется кому-то завещать их, но у меня нет детей, и мне некому оставить наследство.

У меня мелькнула мысль, что старик, изображая откровенность, хочет сыграть со мной какую-то шутку, и я решил быть настороже, чтобы мои пятьсот фунтов не уплыли от меня.

Старик продолжал распространяться о своем одиночестве и жаловался, что ему трудно найти достойного наследника.

- Я взвешивал разные варианты, сказал он. Думал завещать деньги приютам, благотворительным учреждениям, назначить стипендии и наконец принял решение. Глаза его остановились на моем лице. Я решил найти молодого человека, честного, бедного, здорового телом и духом и, короче говоря, сделать его своим наследником, дать ему все, что имею. Он повторил: Дать ему все, что имею. Так, чтобы он внезапно избавился от всех своих забот и мог бороться за успех в той области, какую он сам себе изберет, располагая свободой и независимостью.

Я старался сделать вид, что совершенно не заинтересован, и, явно лицемеря, проговорил:

- Вы хотите моего совета, может быть, моих профессиональных услуг, чтобы найти такого человека?

Мой собеседник улыбнулся и взглянул на меня сквозь дым папиросы, а я рассмеялся, видя, что он, не говоря ни слова, разоблачил мою притворную скромность.

- Какую блестящую карьеру мог бы сделать этот человек! воскликнул старик. Я с завистью думаю, что вот я накопил такое богатство, а тратить его будет другой... Но я, конечно, поставлю условия; моему наследнику придется принести кое-какие жертвы. Например, он должен принять мое имя. Нельзя же получить все и ничего не дать взамен. Прежде чем оставить ему свое состояние, я должен узнать все подробности его жизни. Он обязательно должен быть здоровым человеком. Я должен знать его наследственность, как умерли его родители, а также его бабушки и деды, я должен иметь точное представление о его нравственности...

Я уже мысленно поздравлял себя, но эти слова несколько умили мою радость...

- Правильно ли я понял, начал я, что именно я...

- Да, раздраженно перебил он, вы, вы! Я не ответил ни слова. Мое воображение разыгралось, и даже врожденный скептицизм не в силах был его унять. В душе у меня не было ни тени благодарности, я не знал, что сказать и как сказать.

- Но почему вы выбрали именно меня? наконец выговорил я. Он объяснил, что слышал обо мне от профессора Хазлера, который отзывался обо мне как о человеке исключительно здоровом и здравомыслящем, а старик хотел оставить свое состояние тому, в ком, насколько это возможно, сочетаются идеальное здоровье и душевная чистота.

Такова была моя первая встреча со старичком. Он держал в тайне все, что касалось его самого. Он заявил, что пока не желает называть своего имени, и, после того как я ответил на кое-какие его вопросы, расстался со мной в вестибюле ресторана Блавитского. Я заметил, что, расплачиваясь за завтрак, он вытащил целую горсть золотых монет. Мне показалось странным, что он так настойчиво требует, чтобы его наследник был физически здоров.

Мы договорились, что я в тот же день подам в местную страховую компанию заявление с просьбой застраховать мою жизнь на очень крупную сумму. Врачи этой компании мучили меня целую неделю и подвергли всестороннему медицинскому обследованию. Однако и это не удовлетворило старика, и он потребовал, чтобы меня осмотрел еще знаменитый доктор Хендерсон. Только в пятницу перед Троицей старик наконец принял решение. Он пришел ко мне довольно поздно вечером было около девяти часов и оторвал меня от зубрежки химических формул. Я готовился к экзамену. Он стоял в передней под тусклой газовой лампой, бросавшей на его лицо причудливые тени. Мне показалось, что он еще больше сгорбился и щеки его впали.

От волнения у него дрожал голос. - Я удовлетворен, мистер Иден, начал он, вполне, вполне удовлетворен. В нынешний знаменательный вечер вы должны пообедать со мной и отпраздновать вашу удачу. Приступ кашля прервал его. Недолго придется вам дожидаться наследства, проговорил он, вытирая губы платком и сжав мою руку своей длинной, худой рукой. Вам, безусловно, не очень долго придется дожидаться.

Мы вышли на улицу и окликнули кеб. Я живо помню этот вечер: кеб, кативший быстро, ровно, контраст газовых ламп и электрического освещения, толпы на улицах, ресторан на Риджент-стрит, в который мы вошли, и роскошный обед. Сначала меня смущали взгляды, которые безукоризненно одетый официант бросал на мой простой костюм, затем я не знал, что делать с косточками маслин, но когда шампанское согрело кровь, я почувствовал себя непринужденно. Вначале старик говорил о себе. Еще в кебе он назвал себя. Это был Эгберт Элвешем, знаменитый философ, имя которого было мне известно еще на школьной скамье. Мне казалось невероятным, что человек, ум которого волновал меня, когда я был еще школьником, этот великий мыслитель вдруг оказался знакомым дряхлым старичком. Вероятно, всякий молодой человек, внезапно очутившись в обществе знаменитости, чувствует некоторое разочарование.

Теперь старик говорил о будущем, которое откроется передо мной, когда порвутся слабые нити, связывающие его с жизнью, говорил о своих домах, денежных вкладах, авторских гонорарах. Я и не предполагал, что философы могут быть так богаты. А он не без зависти смотрел, как я ем и пью.

- Сколько в вас жизненной силы! сказал он и добавил со вздохом (мне показалось, что это был вздох облегчения): Теперь недолго ждать!

- Да, ответил я, чувствуя, что голова у меня кружится от шампанского, может быть, у меня есть будущее, и благодаря вам ему можно позавидовать. Я буду теперь иметь честь носить ваше имя, зато у вас есть прошлое, которое стоит моего будущего!

Он покачал головой и улыбнулся, приняв мое лестное восхищение как бы с некоторой грустью.

- Будущее! повторил он. А променяли бы вы его на мое прошлое? К нам подошел официант с ликерами. - Пожалуй, вы охотно примете мое имя, мое положение, продолжал старик, но согласились ли бы вы добровольно взять на себя мои годы?

- Вместе с вашими достоинствами, любезно ответил я. Он опять улыбнулся. - Кюммель, две порции, сказал мистер Элвешем официанту и занялся бумажным пакетиком, который достал из кармана.

- Это время дня, произнес старик, этот послеобеденный час час, когда можно развлекаться пустяками. Вот маленький образчик моей мудрости. Это нигде не опубликовано.

Дрожащими желтыми пальцами он развернул пакетик: в нем был порошок розоватого цвета.

- Вот... сказал старик. Впрочем, сами догадайтесь, что это такое. Насыпьте порошок в рюмку, и кюммель превратится для вас в райский напиток.

Его глаза ловили мой взгляд, в их выражении было что-то загадочное.

Меня неприятно поразило, что этот великий ученый может заниматься приправами к напиткам, но я сделал вид, что очень заинтересован этой его слабостью, я был достаточно пьян, чтобы подличать.

Мистер Элвешем всыпал половину порошка в свою рюмку, а половину в мою. Затем вдруг поднялся и с подчеркнутым достоинством протянул мне руку. Я тоже протянул руку, и мы чокнулись.

- За скорое получение наследства, сказал старик, поднося рюмку к губам.

- Нет, нет, поспешно ответил я, только не за это. Он остановился с рюмкой у рта и пристально заглянул мне в глаза. - За долгую жизнь, сказал я.

Он помедлил. - За долгую жизнь! с внезапным взрывом смеха отозвался он, и, глядя друг на друга, мы выпили ликер.

Пока я пил старик продолжал смотреть мне прямо в глаза, а я испытывал какое-то удивительно странное чувство. С первого же глотка в голове началась страшная путаница. Мне казалось, что я физически ощущаю, как что-то шевелится у меня в черепе, а уши наполнились невообразимым гулом. Я не чувствовал вкуса ликера, не замечал, как его ароматная сладость скользила мне в горло. Я видел только напряженный, жгучий взгляд серых глаз, устремленных на меня. Мне казалось, что страшное головокружение и грохот в ушах продолжались бесконечно долго. Где-то в глубине сознания мелькали и тотчас исчезали какие-то неясные воспоминания о полузабытых событиях.

Наконец старик прервал молчание. С внезапным вздохом облегчения он поставил рюмку на стол.

- Ну как? спросил он.

- Чудесно, ответил я, хотя и не почувствовал вкуса ликера. Голова у меня кружилась. Я сел. В мыслях был хаос. Потом сознание прояснилось, но я видел все каким-то искаженным, точно в вогнутом зеркале. Манеры моего компаньона изменились, они стали нервными и торопливыми. Он вытащил часы и с гримасой взглянул на них.

- Семь минут двенадцатого! воскликнул он. А сегодня я должен... одиннадцать двадцать пять... на вокзале Ватерлоо... Мне нужно идти.

Мистер Элвешем уплатил по счету и стал с трудом надевать пальто. На помощь нам пришли официанты. Еще минута, и он сидел в кебе, а я прощался с ним, все еще испытывая нелепое чувство: все вокруг стало маленьким и четким, точно я... как бы это объяснить? точно я смотрел через перевернутый бинокль.

Мистер Элвешем приложил руку ко лбу. - Этот напиток... сказал он, Не надо было его вам давать! Завтра у вас голова будет раскалываться. Подождите, вот! Он дал мне плоский конвертик, в каких обычно выдают порошки в аптеках. Перед сном примите этот порошок. Тот, первый, был наркотик. Только запомните: примите его перед самым сном. Он проясняет голову. Вот и все. Дайте еще раз вашу руку, наследник.

Я сжал дрожавшую руку старика. - До свидания, сказал он, и по выражению его глаз я понял, что и на него подействовал этот напиток, свихнувший мне мозги.

Вдруг, вспомнив что-то, он принялся шарить в кармане пиджака и вытащил еще один пакет, на этот раз цилиндрической формы, по размерам и очертаниям напоминавший мыльную палочку для бритья.

- Вот, сказал он, чуть не забыл, возьмите, но не открывайте, пока я не приду к вам завтра.

Пакет был такой тяжелый, что я его едва не уронил. - Ладно, пробормотал я, а он улыбнулся мне, показав вставные зубы.

Кучер взмахнул кнутом над дремавшей лошастью.

Пакет, который дал мне Элвешем, был белый с красными печатями с обеих сторон и посередине.

+Если это не деньги, подумал я, то это платина или свинец.

Я с величайшими предосторожностями засунул пакет в карман и, чувствуя по-прежнему сильное головокружение, пошел домой сквозь толпу гуляющих по Риджент-стрит, потом свернул в темные, задние улицы на Портленд-роуд. Я живо помню всю странность своих ощущений. Я настолько сохранил ясность мысли, что замечал свое необычайное психическое состояние и спрашивал себя, не подсыпал ли он мне опиума, с действием которого я практически был совершенно незнаком.

Мне очень трудно сейчас описать все особенности моего состояния; пожалуй, его можно было бы назвать раздвоением личности. Идя по Риджент-стрит, я не мог отделаться от странной мысли, что нахожусь на вокзале Ватерлоо, и мне даже хотелось взобраться на крыльцо Политехнического института, будто на подножку вагона. Я протер глаза и убедился, что нахожусь на Риджент-стрит. Как бы мне это объяснить? Вот вы видите искусного актера, он спокойно смотрит на вас; гримаса и это совсем другой человек! Не найдете ли вы слишком невероятным, если я скажу, что мне казалось, будто Риджент-стрит вела себя в ту минуту так, как этот актер? Потом, когда я убедился, что это все же Риджент-стрит, меня стали сбивать с толку какие-то фантастические воспоминания. +Тридцать лет назад, думал я, я поссорился здесь с моим братом. Я тотчас расхохотался, к удивлению и удовольствию компании ночных бродяг. Тридцать лет назад меня еще не было на свете, и никогда у меня не было брата. Порошок, несомненно, лишил людей рассудка, потому что я продолжал глубоко сожалеть о своем погибшем брате. На Портленд-роуд мое безумие приняло несколько иной характер. Я стал вспоминать магазины, которые когда-то тут находились, и сравнивать улицу в ее нынешнем виде с той, какой она была раньше. Вполне понятно, что после ликера мои мысли стали путанными и тревожными, но я недоумевал, откуда явились эти удивительно живые фантазмагорические воспоминания; и не только те воспоминания, которые заползли мне в голову, но и те, которые от меня ускользали. Я остановился у магазина живой природы Стивенса и стал напрягать память, чтобы вспомнить, какое отношение имел ко мне владелец этой лавки. Мимо прошел автобус для меня он грохотал, как поезд. Мне показалось, что я далеко-далеко и погружаюсь в темную яму в поисках воспоминаний.

- Ах да, конечно, сказал я себе. Стивенс обещал дать мне завтра трех лягушек. Странно, что я об этом забыл.

Показывают ли сейчас детям туманные картины? Я помню картины, на которых появлялся ландшафт, сначала как туманный призрак, потом он становился отчетливее, пока его не вытеснял другой. Вот так же, мне казалось, призрачные новые ощущения борются во мне со старыми, привычными.

Я шел по Юстон-роуд и Тоттенхем-Корт-роуд, встревоженный, немного испуганный и почти не замечая, что иду необычным путем, потому что обыкновенно пробирался через целую сеть боковых улиц и переулков. Я свернул на Университетскую улицу, и тут выяснилось, что я забыл номер своего дома. Только ценой страшного напряжения памяти я вспомнил номер 11-а, но и то у меня было такое чувство, будто мне этот номер кто-то подсказал, но кто я забыл. Я старался привести в порядок свои мысли, вспоминая подробности обеда, но никакими силами не мог представить себе лицо своего компаньона, я видел только неясные очертания, как видишь отражение собственного лица в стекле, сквозь которое смотришь. Однако вместо мистера Элвешема я, как ни странно, узнавал себя самого, сидящего за столом, румяного от вина, с блестящими глазами, болтливого.

+Надо будет принять второй порошок, подумал я. это становится невыносимым.

Я принялся искать свечу и спички в той части передней, где они никогда не лежали, а потом долго соображал, на какой площадке моя комната.

+Я пьян, подумал я, тут нет никакого сомненияИ.

И, как бы в подтверждение этого, я без всякой причины начал спотыкаться на каждой ступеньке лестницы.

На первый взгляд моя комната показалась мне незнакомой. - Что за чепуха! пробормотал я, оглядываясь вокруг. Усилием воли мне как будто удалось вернуть себе сознание действительности, и странная фантазмагория сменилась знакомыми предметами. Вот старое зеркало, за раму засунуты мои записки о свойствах белков. На полу валяется мой будничный костюм. Но все-таки все это было как-то нереально. У меня все время было дурацкое ощущение, будто я сижу в вагоне, поезд только что остановился на незнакомой станции и я выглядываю в окно. Я изо всех сил сжал спинку кровати, чтобы прийти в себя.

+Может, это ясновидение, подумал я, надо будет написать в Общество психиатровИ.

Я положил на туалетный столик пакет, который мне дал мистер Элвешем, сел на кровать и стал снимать ботинки. Чувство у меня было такое, будто картина моих ощущений наложена на другую картину, и эта вторая картина все время старается проступить сквозь первую.

- К черту! воскликнул я. Что я, спятил или действительно нахожусь сразу в двух местах?

Наполовину раздевшись, я высыпал порошок мистера Элвешема в стакан. Вода зашипела и приняла флюоресцирующую янтарную окраску. Я выпил эту воду. Не успел я лечь, как мысли мои успокоились. Голова коснулась подушки, и я, по-видимому, сразу заснул.

Я проснулся внезапно ото сна, в котором мне грезились какие-то странные животные. Я лежал на спине. Вероятно, всем знакомы эти гнетущие сновидения; проснувшись, человек избавляется от них, но они все же оставляют какое-то тягостное впечатление. Во рту у меня был странный вкус, во всех членах усталость, ощущение физического неудобства. Я лежал неподвижно, не поднимая головы от подушки, ожидая, что чувство отчужденности и ужаса развеется, и тогда мне, может быть, удастся снова заснуть, но вместо этого оно только росло. Вначале я не замечал вокруг себя ничего необычного. Комната была освещена очень слабо, настолько слабо, что в ней было почти совсем темно, и мебель проступала в виде совершенно темных пятен. Я пристально смотрел перед собой, насколько позволяло одеяло, натянутое до самых глаз. Мне пришло в голову, что кто-то забрался в комнату и украл мой пакет с деньгами. Но затем я полежал, ровно дыша, чтобы вновь вызвать сон, и понял, что это только мое воображение. Тем не менее я беспокоился, я был уверен: что-то случилось. Я оторвал голову от подушки и всмотрелся в темноту. Сначала я не мог понять, в чем дело. Я вглядывался в окружающие меня темные предметы, по большей или меньшей густоте мрака угадывал, где должны быть окна с задернутыми шторами, стол, камин, книжные полки и так далее. Потом что-то в окружавших меня темных вещах стало казаться мне необычным. Может быть, кровать повернута не так, как раньше. Там, где должны быть книжные полки, туманно белело что-то на них непохожее. Не могло это быть также и моей рубашкой, брошенной на стул: она была много меньше.

Преодолевая ребяческий страх, я сбросил одеяло и спустил ноги. Они не достали до полу, как бывало всегда, когда я садился на своей низкой кровати, а повисли, едва достигая края матраса. Я подвинулся и сел на самый край кровати. Рядом с ней на сломанном стуле должны были быть свеча и спички. Протянув руку и ничего не нащупав, я принялся шарить вокруг себя. Рука попала на какую-то тяжелую ткань, мягкую и плотную, которая зашуршала под пальцами. Я ухватился за нее и потянул. Оказалось, что это полог над изголовьем.

Теперь я окончательно проснулся и понял, что нахожусь в незнакомой комнате. Я был озадачен и постарался припомнить все, что случилось вечером. Как ни странно, оказалось, что я помню все совершенно ясно: обед, порошок, сначала один, потом другой, мои сомнения насчет того, пьян я или нет, медлительность, с которой я раздевался, прохладную подушку, которой я касался лицом. Вдруг я стал сомневаться: было ли это вчера или



позавчера? Как бы то ни было, комната была чужой, и я не мог понять, как я в ней очутился.

Туманный, бледный предмет, который я видел раньше, становился все светлее, и теперь я понял, что это окно, а перед ним овальное зеркало, на которое падали слабые лучи света, проникавшие сквозь шторы.

Я встал, и меня поразило, что я чувствую такую слабость и неуверенность. Я медленно пошел к окну, протянув руки, но все-таки наткнулся по дороге на стул и ушиб колено. Обошел зеркало. Оно оказалось очень большим, с красивыми бронзовыми канделябрами по бокам. Я стал ощупью искать шнурок от шторы, не нашел его, но случайно схватил кисточку, и штора, щелкнув пружиной, поднялась.

Передо мной был абсолютно незнакомый вид. Небо было затянуто, и сквозь густую серую толщу облаков едва пробивались слабые лучи рассвета. На самом горизонте облака были окаймлены кроваво-красной полосой. Ниже все было темным и неясным. Вдали холмы в дымке, туманная масса домов со шпилями, чернильные пятна деревьев, а под окном кружево темных кустарников и бледно-серые дорожки. Все это было так чуждо, что на минуту я подумал: не сплю ли я еще? Я ощупал туалетный столик. Он был из полированного дерева, на нем стояли хрустальные флаконы и лежала головная щетка. На блюдечке лежал какой-то странный предмет, подковообразный на ощупь, с гладкими твердыми выступами. Я не мог найти ни свечи, ни спичек.

Снова я обвел глазами комнату. Теперь, при поднятых шторах, призрачные силуэты вещей выступали из темноты: огромная кровать с пологом и камин за нею, с большой белой полкой, поблескивавшей мрамором.

Прислонившись к туалетному столику, я закрыл глаза, потом снова открыл, стараясь сосредоточиться. Все вокруг было вполне реальным; это не было сновидением. Я готов был вообразить, что от выпитого вчера странного напитка в памяти у меня образовался какой-то пробел. Может быть, думал я, меня уже ввели во владение наследством, а я потом вдруг забыл обо всем и не помню, что случилось после того, как я узнал о своей удаче? Может быть, если я подожду немножко, мои мысли прояснятся? Между тем воспоминания об обеде со стариком Элвешемом были необыкновенно живыми и свежими: шампанское, услужливые официанты, порошок, напиток... Я был готов дать голову на отсечение, что все это было лишь несколько часов назад!

Затем произошло нечто совершенно обыкновенное и вместе с тем столь ужасное, что я до сих пор содрогаюсь при одном воспоминании об этой минуте. Я заговорил вслух.

- Как же, черт возьми, я сюда попал? сказал я. Но голос был не мой! Это был не мой голос, это был тонкий голос, артикуляция была неясной, и резонанс совсем не такой, как у меня. Чтобы успокоиться, я схватился одной рукой за другую, рука была костлявая, кожа старчески дряблая.

- Но ведь это же сон, проговорил я ужасным голосом, который непонятно как поселился в моем горле, ведь это сон!

Быстро, почти инстинктивно, я сунул в рот пальцы. Зубы мои исчезли. Пальцы нащупали мягкую поверхность сморщенных десен. У меня закружилась голова от ужаса и отвращения.

Я почувствовал безудержное желание увидеть свое лицо, сразу же убедиться в той страшной, кошмарной перемене, которая произошла со мной. Неверной походкой я пошел к камину за спичками и стал шарить на полке. В это время из моего горла вырвался лающий кашель, и я запахнул толстую фланелевую рубашку, которая, как оказалось, была на мне надета. На камине спичек не было. Я вдруг почувствовал, что руки и ноги у меня окоченели от холода. Кашляя и шмыгая носом (возможно, что при этом я немножко и стонал), я заковылял к кровати.

- Ведь это же сон, бормотал я, забираясь в постель, сон! Я сам чувствовал, что говорю это по старческой привычке повторять одно и то же.

Я натянул одеяло на плечи, на голову, засунул под подушку свои морщинистые руки и решил успокоиться и заснуть. Несомненно, все это только сон. Утром он развеется, и я проснусь сильным, энергичным, ко мне вернется молодость и жажда знаний. Я закрыл глаза, стал дышать равномерно и, убедившись, что сон не идет ко мне, принялся медленно вычислять степени числа три.

А то, чего я так жаждал, не приходило. Я не мог заснуть и все больше убеждался, что во мне действительно произошла страшная перемена. Потом я заметил, что лежу с широко открытыми глазами, забыв про свои вычисления, и ощупываю худыми пальцами беззубые десны. Я действительно внезапно и неожиданно превратился в старика. Каким-то необъяснимым путем я проскочил через всю свою жизнь до самой старости, каким-то образом у меня украли лучшую часть моей жизни, мою любовь, борьбу, силы и надежды. Я зарылся в подушку и старался убедить себя, что, может быть, это галлюцинация.

Медленно, но неуклонно приближалось утро. Наконец, отчаявшись заснуть, я сел на кровати и огляделся вокруг. Холодный рассвет проник через окно, и видна была вся комната. Она была просторна и хорошо обставлена лучше, чем все другие комнаты, в которых мне раньше приходилось спать. На маленьком столике в нише виднелись свеча и спички. Я сбросил одеяло и, дрожа от сырости раннего летнего утра, встал и зажег свечу. Затем, дрожа так сильно, что гасильник для свечи подпрыгивал на своем шпиле, я, шатаясь, подошел к зеркалу и увидел... лицо Элвешема! Хотя в душе я уже этого ожидал, тем не менее впечатление было ужасным. Мистер Элвешем всегда казался мне физически слабым и жалким, но сейчас, когда он был одет только в грубую фланелевую ночную рубашку, которая распахнулась на груди и открыла тощую шею, сейчас, когда я сам стал Элвешемом, я не берусь описать, каким жалким и дряхлым он мне показался. Впалые щеки, растрепавшаяся прядь грязных седых волос, тусклые, слезящиеся глаза, дрожащие морщинистые губы. Вы, кому душой и телом столько лет, сколько вам и должно быть, не можете представить себе, что означало для меня это дьявольское заточение в чужом теле. Быть молодым, полным желаний и сил и оказаться замурованным и раздавленным в этой трясущейся развалине!..

Но я отвлекся от своего рассказа. На некоторое время я, должно быть, совершенно потерял голову, когда убедился, что со мной произошло такое превращение. Было уже совсем светло, когда я настолько пришел в себя, что мог думать. Каким-то необъяснимым образом я изменился, хотя, как это могло случиться, если не волшебством, я не могу сказать. Теперь, когда я думал об этом, я понял, как дьявольски умен был Элвешем. Было ясно, что так же, как я оказался в его теле, он завладел моим телом, а, следовательно, моей силой и моим будущим. Но как доказать это? Сейчас, когда я думал обо всем, это превращение казалось мне самому настолько невероятным, что голова моя пошла кругом, я должен был ущипнуть себя, ощупать свои беззубые десны, посмотреть в зеркало и потрогать окружавшие меня предметы, чтобы быть в состоянии здраво смотреть на совершившееся. Или вся наша жизнь лишь галлюцинация? Стал ли я на самом деле Элвешемом, а он мною? Может быть, я только во сне видел Идена? Был ли вообще на свете Иден? Но если бы я был Элвешемом, я должен был бы помнить, что я делал прошлым утром, как назывался город, в котором я жил, что происходило до того, как началось мое сновидение. Я боролся с этими вопросами. Мне вспомнилось странное раздвоение моих воспоминаний накануне вечером. Но теперь ум мой был ясен. Я не мог вызвать и тени каких-нибудь воспоминаний, не имевших отношения к Идену.

- Вот так сходят с ума! воскликнул я визгливым голосом. Я с трудом поднялся на ноги и потащил свое ослабевшее и отяжелевшее тело к умывальнику. Там я окунул седую голову в таз с холодной водой. Вытираясь полотенцем, я снова пытался думать о себе как об Элвешеме, но это было бесполезно. Не было никакого сомнения в том, что я Иден, а не Элвешем, но Иден в теле Элвешема.

Если бы я был человеком другого века, я, может быть, покорился бы судьбе, считая себя зачарованным. Но в наше время скептицизма не очень-то верят в чудеса. Со мной проделали

какой-то психологический трюк. То, что могли сделать порошок и пристальный взгляд, могут переделать другой порошок и другой пристальный взгляд или какое-нибудь средство в этом роде. И раньше случалось, что люди теряли память, но чтобы они могли меняться телами, как зонтиками!.. Я рассмеялся. Увы! Это был не прежний здоровый смех, а хриплое, старческое хихиканье. Я представил себе, как старик Элвешем смеется над моим положением, и меня обуял приступ необычной для меня ярости. Я начал быстро одеваться в ту одежду, которая валялась на полу, и только когда был уже совершенно одет, понял, что это была фрачная пара. Я открыл шкаф и нашел там одежду для каждого дня клетчатые брюки и старомодный халат. Я надел на свою почтенную голову почтенную домашнюю шапочку и, слегка покашливая от всех этих усилий, вышел, ковыляя, на площадку лестницы.

Было приблизительно без четверти шесть, шторы были опущены, и дом погружен в тишину. Площадка была просторная, широкая, покрытая богатыми коврами, лестница вела вниз, в темный холл. Дверь напротив той, из которой я вышел, была приоткрыта, и я увидел письменный стол, вращающуюся книжную этажерку, спинку кресла у стола и полки с рядами томов в роскошных переплетах.

- Мой кабинет, пробормотал я и пошел туда через площадку. При звуках моего голоса у меня мелькнула новая мысль, и, вернувшись в спальню, я надел вставные челюсти, которые легко сели на привычное место.

- Так-то лучше, сказал я, пожевал челюстями и снова пошел в кабинет. Ящики бюро были заперты. Откидной верх был тоже заперт. Ни в кабинете, ни в карманах брюк я не нашел никакого признака ключей. Тогда я снова поплелся в спальню и обследовал сначала карманы того костюма, который валялся на полу, а затем карманы всей одежды, какую я только мог найти. Я был в большом нетерпении, и если бы кто-нибудь вошел в комнату после того, как я кончил ее обследовать, он подумал бы, что в ней побывали грабители. Я не нашел ни ключей, ни единой монеты, ни клочка бумаги, кроме счета за вчерашний обед.

Меня внезапно охватила страшная усталость. Я сел и усталился на разбросанные вокруг костюмы с вывороченными карманами. Бешенство мое улеглось. С каждой минутой я все яснее начинал понимать поразительную предусмотрительность моего противника, и все яснее становилась для меня безнадежность моего положения.

Я с усилием поднялся и снова поторопился вернуться в кабинет. На лестнице я увидел служанку, подымавшую шторы. По-видимому, выражение моего лица поразило ее, и она с удивлением посмотрела на меня. Я закрыл за собой дверь кабинета и, схватив кочергу, набросился на стол, пытаясь взломать ящики. Так меня и застали слуги. Стекло на столе было разбито, замок сломан, письма из ящиков бюро разбросаны по полу. В своем старческом бешенстве я раскидал перья и опрокинул чернильницу. Кроме того, большая ваза, стоявшая на камине, упала и разбилась, я сам не знаю как. Я не нашел ни денег, ни чековой книжки и никаких указаний, которые могли бы помочь мне вернуть мое тело в прежний вид. Я отчаянно колотил по ящикам стола, когда в кабинет вторглись дворецкий и две служанки.

Такова без всяких прикрас история моего превращения. Никто не верит моим фантастическим уверениям. Со мной обращаются как с сумасшедшим и даже сейчас за мной присматривают. Между тем я человек нормальный, абсолютно нормальный, и чтобы доказать это, я сел за письменный стол и записал очень подробно все, что со мной случилось. Я взываю к читателю. Пусть он скажет, есть ли в стиле или ходе изложения истории, которую он только что прочел, какие-нибудь признаки безумия. Я молодой человек, заключенный в тело старика, но никто не верит этому бесспорному факту. Естественно, я кажусь сумасшедшим тем, кто не верит мне; естественно, я не знаю, как зовут моих секретарей, не знаю навещающих меня врачей, своих слуг и соседей, не знаю названия города, в котором очутился, и где он находится. Естественно, я не знаю расположения комнат в своем собственном доме и терплю множество неудобств всякого рода. Естественно, я задаю очень странные вопросы. Естественно, что иногда я плачу, кричу и у меня бывают приступы отчаяния. У меня нет ни денег, ни чековой книжки. Банк не признал бы моей подписи,

потому что, я полагаю, у меня все еще почерк Идена, несколько изменившийся вследствие ослабления мускулов. Окружающие меня люди не позволят мне самому пойти в банк; да, кажется, в этом городе и нет банка, а мой текущий счет находится в каком-то районе Лондона. Кажется, Элвешем скрывал от своих домашних имя своего поверенного, но я ничего не знаю толком. Несомненно, Элвешем глубоко изучал психологию и психиатрию, и мои рассказы о себе только подтверждают предположение окружающих, что я сошел с ума от чрезмерного увлечения проблемами душевных расстройств. А еще говорят о тождестве личности!

Два дня назад я был здоровым юношей, перед которым была открыта вся жизнь, а теперь я озлобленный старик, неопрятный несчастный, полный отчаяния. Я брожу по огромному роскошному чужому дому, а все вокруг следят за мной, боятся и избегают меня, как безумца. Между тем в Лондоне Элвешем начинает жизнь заново в здоровом молодом теле и с мудростью и знаниями, накопленными за семь десятков лет!

Он украл у меня жизнь!

Я не знаю точно, как это произошло.

В кабинете я нашел множество рукописных записей, относящихся главным образом к психологии памяти, кое-что зашифровано значками, совершенно непонятными для меня. Некоторые записи указывают на то, что Элвешем интересовался также философией математики.

Как мог произойти такой обмен, остается за пределами моего разума. Всю свою сознательную жизнь я был материалистом, но здесь явный случай отделения духа от тела.

Я хочу испытать одно отчаянное средство. Сейчас я допишу свою историю, а потом прибегну к нему. Утром с помощью ножа, который я припрятал за завтраком, мне удалось взломать секретный ящик в бюро заметить этот ящик было не очень трудно. Я не нашел там ничего, кроме маленького стеклянного флакончика зеленого цвета с белым порошком. На горлышке этикетка. На ней написано только одно слово: «Освобождение». Может быть, и вероятнее всего, это яд. Мне понятно, что Элвешем подсунил мне яд, я был бы даже уверен, что он хотел избавиться таким образом от единственного свидетеля, если бы флакончик не был так тщательно припрятан. Этот человек фактически разрешил проблему бессмертия. Если не произойдет какой-нибудь случайности, он будет жить в моем теле, пока оно не состарится, а затем сбросит его и отнимет молодость и силу у новой жертвы. Если вспомнить его бессердечие, страшно подумать, как он будет накапливать все больше опыта, который... Как давно он уже переходит из одного тела в другое?..

Но я устал писать. Порошок, оказывается, легко растворяется в воде. Вкус у него не неприятен.

Такова история, найденная на столе мистера Элвешема. Его мертвое тело лежало между письменным столом и креслом, последнее было резко отодвинуто в сторону, по-видимому, в предсмертных конвульсиях. История написана карандашом, размашистым почерком, совсем непохожим на обычный мелкий почерк Элвешема.

Остается добавить еще два любопытных факта: несомненно между Иденом и Элвешемом была какая-то связь, поскольку все состояние Элвешема было завещано этому молодому человеку. Но он не получил наследства. В то время, когда Элвешем покончил с собой, Иден, как это ни странно, был уже мертв. Сутками раньше на людном перекрестке Хауэр-стрит и Юстон-роуд его сбил кеб, и он тотчас же скончался. Так что единственный человек, который мог бы пролить свет на фантастическую историю, ничего нам не скажет.

1897

**Остров Эпиорниса**

Перевод Н. Надеждиной

Человек со шрамом на лице перегнулся через стол и посмотрел на мои цветы.

- Орхидеи? - спросил он.

- Всего несколько штук, - ответил я.

- Венерины башмачки?

- В основном.

- Что-нибудь новенькое? Хотя вряд ли. Я обследовал эти острова двадцать пять - нет, двадцать семь лет назад. Если вы найдете здесь кое-что новое - значит, это уж совсем новехонькое. После меня не осталось почти ничего.

- Я не коллекционер.

- Тогда я был молод, - продолжал он. - Господи! Сколько я гонял по свету! - Он как бы присматривался ко мне. - Два года пробыл в Индии, семь лет в Бразилии. Потом поехал на Мадагаскар.

- Несколько исследователей я знаю понаслышке. - Я уже предвкушал интересную историю. - Для кого вы собирали образцы?

- Для Доусона. Может вам доводилось слышать такую фамилию - Бутчер?

- Бутчер, Бутчер?.. - Эта фамилия смутно казалась мне знакомой; потом я вспомнил: "Бутчер против Доусона". - Постойте! Так это вы судились с ними, требуя жалованье за четыре года - за то время, что пробыли на пустынном острове, где вас бросили одного?

- Ваш покорный слуга, - кланяясь, сказал человек со шрамом. - Занятное судебное дело, правда? Я сколотил себе там небольшое состояньице, пальцем о палец не ударив, а они никак не могли меня уволить. Я часто забавлялся этой мыслью, пока оставался на острове. И даже вел подсчеты, вырисовывая огромные цифры на песке чертова атолла.

- Как же это случилось? Я уже забыл подробности дела...

- Видите ли... Вы слышали когда-нибудь об эпиорнисе?

- Конечно. Эндрюс как раз работает над его новой разновидностью; он рассказывал мне о ней примерно месяц назад. Перед самым моим отплытием. Они раздобыли берцовую кость чуть ли не с ярд длиной. Ну и чудовище это было!

- Охотно верю, - сказал человек со шрамом. - Настоящее чудовище. Легендарная птица Рух Синдбада-морехода безусловно принадлежала к этому семейству. И когда же они нашли эти кости?

- Года три-четыре назад - кажется, в девяносто первом году. А почему вас это интересует?

- Почему? Потому что их нашел я - да, да, почти двадцать лет назад. Если б у Доусона не заупрямились с моим жалованьем, они могли бы поднять здоровую шумиху вокруг этих костей. Но что я мог поделать, если проклятую лодку унесло течением...

Он помолчал.

- Это, наверно, то же самое место. Нечто вроде болота, в девяносто милях к северу от Антананариво. Не слышали? К нему надо добираться вдоль берега, на лодке. Может, вы случайно помните?

- Нет. Но, кажется, Эндрюс говорил что-то о болоте.

- Очевидно, о том же самом. На восточном берегу.

Там в воде, уж не знаю откуда, есть какие-то вещества, предохраняющие от разложения. Пахнет словно креозотом. Сразу вспоминается Тринидад. А яйца они нашли? Мне попадались яйца в полтора фута величиной. Болото образует круг, понимаете, и это место совершенно отрезано. Помимо всего, там много соли. Да-а... Не легко мне пришлось в то время! А нашел я все это совсем случайно. Я взял с собой двух туземцев и отправился за яйцами в таком нелепом каноэ, связанном из кусков; тогда же мы нашли и кости. Мы прихватили с собой палатку и провизии на четыре дня и расположились там, где грунт потверже. Вот сейчас вспомнилось мне все, и сразу почудился тот странный, отдающий дегтем запах. Занятная была работа. Понимаете, надо шарить в грязи железными прутьями. Яйца при этом обычно разбиваются. Интересно, сколько лет прошло с тех пор, как жили эпиорнисы? Миссионеры утверждают, что в туземных легендах говорится о временах, когда такие птицы



жили, но сам я рассказов о них не слыхал [насколько известно, ни один европеец не видел живого эпиорниса, за маловероятным исключением Мак-Эндрью, который побывал на Мадагаскаре в 1745 г. (Прим. авт.)]. Однако те яйца, которые мы достали, были совершенно свежие. Да, свежие! Когда мы тащили их к лодке, один из моих негров уронил яйцо, и оно разбилось о камень. Ох, и отлупил же я парня! Яйцо было ничуть не испорченное, словно птица только что снесла его, даже не пахло ничем, а ведь эта птица, может быть, уже четыреста лет как сдохла. Негр оправдывался тем, что его будто бы укусила сколопендра. Впрочем, я уклонился в сторону. Целый день мы копались в этой грязи, стараясь вынуть яйца неповрежденными, вымазались с ног до головы в противной черной жиже, и вполне понятно, что я разозлился. Насколько мне было известно, это единственный случай, когда яйца достали совершенно целыми, без малейшей трещинки. Я смотрел потом те, что хранятся в Музее естественной истории, в Лондоне; все они надтреснутые, куски скорлупы слеплены вместе, как мозаика, и некоторых кусочков не хватает. А мои были безукоризненными, и я собирался по возвращении выдуть их. Ничего удивительного, что меня взяла досада, когда этот идиот погубил результат трехчасовой работы из-за какой-то сколопендры. Здорово ему досталось от меня!

Человек со шрамом вынул из кармана глиняную трубку. Я положил перед ним свой кисет с табаком. Он задумчиво набил трубку, не глядя на нее.

- А другие яйца? Довезли вы их до дома? Никак не могу припомнить...

- Вот это-то и есть самое необыкновенное в моей истории. У меня было еще три яйца. Абсолютно свежих. Мы положили их в лодку, а потом я пошел к палатке, варить кофе; оба мои язычника остались на берегу - один возился со своим укусом, а другой помогал ему. Мне и в голову не могло прийти, что эти негодяи воспользуются моим положением, чтобы устроить мне пакость. Видимо, один из них совсем одурел от яда сколопендры и от моей взбучки - он вообще был довольно строптивый - и сманил другого.

Помню, я сидел, курил, кипятил воду на спиртовке, которую всегда брал с собой в экспедиции, и любовался болотом, освещенным заходящим солнцем. Болото все было в черных и кроваво-красных полосах - очень красиво. Дальше к горизонту местность повышалась и переходила в подернутые серой дымкой холмы, над которыми небо полыхало, словно жерло печи. А в пяти-десяти шагах от меня, за моей спиной, чертовы язычники, равнодушные ко всему этому покою, сговаривались угнать лодку и бросить меня одного, с трехдневным запасом провизии, холщовой палаткой и без питья, если не считать воды в маленьком бочонке. Я услышал, как они вдруг завопили, смотрю, а они уже в этом своем каноэ - настоящей лодкой его и не назовешь - шагах в двадцати от берега. Я сразу смекнул, в чем дело. Ружье у меня осталось в палатке, и патронов, вдобавок, не было, - только мелкая дробь. Негры это знали. Но у меня в кармане лежал еще маленький револьвер; я его вытащил на ходу, когда побежал к берегу.

"Назад!" - крикнул я, размахивая револьвером. Они о чем-то залопотали между собой, и тот, который разбил яйцо, ухмыльнулся. Я прицелился в другого - поскольку он был здоров и греб, - но промазал. Они засмеялись. Однако я не считал себя побежденным. Нужно сохранять хладнокровие, подумал я, и выстрелил вторично. Пуля прожужжала так близко от гребца, что он даже подскочил. Тут уж он не смеялся. В третий раз я попал ему в голову, и он полетел за борт вместе с веслом. Для револьверного выстрела здорово метко. Между мной и каноэ было, по-моему, ярдов пятьдесят. Негр сразу скрылся под водой. Не знаю, застрелил я его или он был просто оглушен и утонул. Тогда я стал орать и требовать, чтобы второй негр вернулся, но он съезжился в комок на дне челнока и не желал отвечать. Пришлось мне выпустить в него и остальные заряды, но все мимо.

Должен вам признаться, что положение мое было совершенно дурацким. Я остался один на атом гиблом берегу, позади меня - болото, впереди - океан, похолодавший после захода солнца, а эту черную лодчонку неуклонно уносит течением в открытое море. Ну и проклинал же я

доусоновскую фирму, и джэмраковскую, и музеи, и все прочее - и совершенно справедливо! Я звал этого негра обратно, пока у меня не сорвался голос.

Мне не оставалось ничего другого, как поплыть за ним вдогонку, рискуя встретиться с акулами. Я раскрыл складной нож, взял его в зубы и разделся. Как только я вошел в воду, я сразу потерял из виду каноэ, но плыл я, по-видимому, наперерез ему. Я надеялся, что негр ранен и не в состоянии управлять рулем и что его суденышко будет относить все в том же направлении. Вскоре челнок показался на горизонте, примерно к юго-западу от меня. Закат уже потускнел, стали надвигаться сумерки. В синеве неба проглянули звезды. Я плыл, как заправский чемпион, хотя ноги и руки у меня скоро заныли.

Все-таки я догнал каноэ, к тому времени как звезды усыпали все небо. Когда стемнело, в воде появилось множество каких-то светящихся точек - ну, эта самая фосфоресценция. Порою у меня даже кружилась от нее голова. Я не мог разобраться, где звезды и где фосфоресценция, и как я плыву - вверх головой или вверх ногами. Каноэ было черным, как смертный грех, а рябь на воде под ним - как жидкое пламя. Я, конечно, немного побаивался залезать на борт. Надо было сначала узнать, что там задумал этот негр. Он лежал, свернувшись клубком, на носу, а корма вся поднялась над водой. Лодка медленно вертелась - будто вальсировала. Я схватился за корму и потянул ее вниз, думая, что негр проснется. Затем я вскарабкался на борт с ножом в руке, готовый броситься вперед. Но негр даже не шелохнулся. Так я и остался на корме, маленького каноэ, а течением несло его в спокойное фосфоресцирующее море; над головой была сплошные звезды, а я сидел и ждал, что будет дальше.

Много времени прошло, прежде чем я окликнул негра по имени. Он ничего не ответил. Я сам настолько устал, что боялся подойти к нему ближе. Так мы и сидели. Кажется, я раза два вздремнул. Когда рассвело, я увидел, что он уже давно мертв и весь распух и посинел. Три яйца эпиорниса и кости лежали посередине челнока, в ногах у мертвеца - бочонок с водой, немного кофе и сухарей, завернутых в номер кэйпского "Аргуса", а под телом - жестянка с метиловым спиртом. Весла не было, и вообще ничего, что можно было бы использовать вместо весла, если не считать этой жестянки; и я решил дрейфовать, пока меня не подберут. Обследовав тело, я поставил диагноз: укус неизвестной змеи, скорпиона или сколопендры, и выкинул негра за борт.

После этого я попил воды, поел сухарей, а затем осмотрелся вокруг. Когда человек ослабевает так, как я ослабел тогда, он, вероятно, не может видеть на далеком расстоянии; во всяком случае, я не замечал не только Мадагаскара, но и вообще какой-либо земли. Я разглядел лишь удалявшийся к юго-западу парус, очевидно, какой-то шхуны, но само судно так и не показалось. Вскоре солнце уже поднялось высоко на небе и начало меня припекать. Ну и жгло! У меня чуть мозги не сварились. Я пробовал окунать голову в море, а потом мне попался на глаза кэйпский "Аргус"; я вытянулся плашмя на дне каноэ и накрылся газетным листом. Замечательная вещь - газета! До того времени я никогда не прочитывал их полностью, но, удивительное дело, - когда человек остается один, он способен дойти бог весть до чего. Я перечел этот окаянный старый "Аргус", кажется, раз двадцать. Смола, которой было обмазано каноэ, так и курилась от жары и вздувалась большими пузырями.

- Течение носило меня десять, - продолжал человек со шрамом. - Когда рассказываешь, выходит, будто это пустяк, верно? Каждый день был похож на предыдущий. Наблюдать за морем я мог только утром и вечером, - такой был вокруг нестерпимый блеск. После первого паруса я три дня не видал ничего, а потом с тех судов, которые я успевал заметить, не видели меня. Примерно на шестой вечер мимо проплыл корабль на расстоянии меньше полумили; на нем ярко горели огни, иллюминаторы были открыты - он был точно большой светяк. На палубе играла музыка. Я вскочил на ноги, кричал и вопил ему вслед... На второй день я продырявил одно из яиц эпиорниса, по кусочкам очистил с одного конца от скорлупы и попробовал его; к счастью, оно оказалось съедобным. Яйцо немножко припахивало, - не испорчено было, нет, - но по вкусу напоминало утиное. На одной стороне желтка было нечто вроде круглого пятна, около шести дюймов в диаметре - с кровавыми прожилками и белым

рубцом лесенкой; пятно показалось мне странным, но в то время я еще не понял, что это значит, да и не собирался быть особенно разборчивым. Яйца мне хватило на три дня, с сухарями и водой из бочонка. Кроме того, я жевал кофейные зерна - как укрепляющее. Второе яйцо я вскрыл примерно на восьмой день и - испугался.

Человек со шрамом умолк.

- Да, - сказал он, - в нем был зародыш.

Вам, вероятно, трудно этому поверить. Но я поверил, ведь я видел собственными глазами. Это яйцо, погруженное в холодную черную грязь, пролежало в ней лет триста. Тем не менее ошибиться было невозможно. Там оказался... как его?... эмбрион, с большой головой и выгнутой спиной; в нем билось сердце, желток весь ссохся, а внутри скорлупы тянулись длинные перепонки, которые покрывали и желток. Получилось, что я, плавая в маленьком каноэ по Индийскому океану, высиживал яйца самой большой из вымерших птиц. Если б старик Доусон это знал! Такое дело стоило жалованья за четыре года. Как, по-вашему, а?

Но еще до того, как показался риф, мне пришлось съесть эту драгоценность до последней крошки, и черт знает, до чего это была противная еда! Третье яйцо я не трогал. Я просматривал его на свет, но при такой плотной скорлупе трудно было разобрать, что творится внутри; и хотя мне казалось, будто я слышу биение пульса, может быть, у меня просто шумело в ушах, как бывает, когда приложишь к уху морскую раковину.

Затем показался атолл. Выплыл вместе с восходящим солнцем, неожиданно, совсем рядом. Меня несло прямо к нему до тех пор, пока до берега не осталось меньше полумили, а затем течение вдруг свернуло в сторону, и мне пришлось грести изо всех сил руками и кусками скорлупы эпиорниса, чтобы попасть на остров. И все-таки я добрался до него. Это был самый обыкновенный атолл, около четырех миль в окружности; на нем росло несколько деревьев, сочился родник, а лагуна так и кишела рыбой, главным образом губанами. Я отнес яйцо на берег, выбрав для него подходящее место, - достаточно далеко от границы прилива и на солнце, чтобы создать для него самые лучшие условия; затем втащил на берег каноэ, целое и невредимое, и отправился осматривать окрестности. Удивительно, до чего тоскливы эти атоллы! Как только я нашел родник, у меня пропал всякий интерес к острову. В детстве мне казалось, что ничто не может быть лучше и увлекательнее, чем жить Робинзоном, но мой атолл был скучен, как сборник проповедей. Я ходил вокруг него, разыскивая что-нибудь съедобное и предаваясь раздумью; но еще задолго до того, как кончился этот первый день, меня уже одолела тоска. А ведь мне очень повезло - едва я высадился на сушу, погода переменилась. Над морем, по направлению к северу, пронеслась гроза, захватив своим краем остров; ночью пошел проливной дождь и поднялся ветер, который выли и крутил все вокруг. Каноэ ничего не стоило бы перевернуться, это ясно.

Я спал под каноэ, а яйцо, к счастью, лежало в песке, подальше от берега. Первое, что я тогда услышал, был грохот, такой, словно на доски обрушился град камней; меня всего обдало водой. Перед этим мне снилось Антананариво, и я сел и стал звать Интоши, чтобы узнать у нее какого черта там шумят; я протянул было руку к стулу, на котором обычно лежали спички, и тут только вспомнил, где я. Фосфоресцирующие волны катились прямо на меня, словно собираясь меня поглотить, кругом было темно, как в аду. В воздухе стоял сплошной рев. Тучи висели над самой моей головой, а дождь лил так, будто небо начало тонуть и кто-то вычерпывал воду, выливая ее за край небосвода. Ко мне приближался огромный вал, извивающийся как разъяренная змея, и я пустился бежать. Затем я вспомнил о лодке, и как только вода с шипеньем отхлынула, помчался к ней, но она уже исчезла. Тогда я решил посмотреть, цело ли яйцо и ощупью добрался до него. Оно было в безопасности, самые ярые волны не могли бы докатиться туда; я уселся рядом с ним и обнял его, как приятеля. Ну и ночька это была, господи боже ты мой!

Шторм улегся еще до утра. Когда рассвело, от туч уже не оставалось ни клочка, а по всему берегу были разбросаны обломки досок, так сказать, скелет моего каноэ. Но мне хоть

нашлась какая-то работа. Я выбрал два дерева, росших рядом, и соорудил между ними из останков лодки нечто вроде шалаша для защиты от штормов. И в этот день вылупился птенец.

Вылупился, сэр, в то время, как я спал, положив голову на яйцо, как на подушку! Я услышал сильный стук, меня тряхнуло, и я сел, - кончик яйца был пробит, и оттуда выглядывала забавная коричневая головка.

"Господи! - сказал я. - Добро пожаловать!"

Птенец поднатужился и вылез наружу.

Он оказался славным, дружелюбным малышом, величиной с небольшую курицу, очень похожим на любых других птенцов, только крупнее. Вначале его оперение было грязно-бурым, с какими-то серыми струпьями, которые вскоре отвалились, и редкими перышками, пушистыми, как мех. Трудно передать мою радость при виде его. Робинзон Крузо и тот не был так одинок, как я, уверяю вас. А тут у меня появилась преинтересная компания. Птенец смотрел на меня и мигал, закатывая веки кверху, как курица, затем чирикнул и сразу начал клевать песок, как будто вылупиться с опозданием в триста лет было для него сущей безделицей.

"Привет, Пятница!" - сказал я; еще в каноэ, увидав, что в яйце развивается зародыш, я уже решил: если птенец вылупится, конечно, он будет зваться Пятницей. Меня немножко беспокоило, чем я его буду кормить, и я сразу дал ему кусок сырого губана. Он проглотил его и снова разинул клюв. Это меня обрадовало, - ведь если бы он, при подобных обстоятельствах, оказался чересчур разборчивым, мне пришлось бы в конце концов съесть его самого.

Вы не можете себе представить, каким занятым был этот птенец эпиорниса. С самого начала он не отходил от меня ни на шаг. Обычно он стоял рядом и смотрел, как я ужу рыбу в лагуне; я делился с ним всем, что вылавливал. И к тому же он был умницей. На берегу, в песке, попадались какие-то противные зеленые бородавчатые штучки, похожие на маринованные корнишоны; он попробовал проглотить одну из них, и ему стало худо. Больше он на них даже и не глядел.

И он рос. Рос чуть ли не на глазах. А так как я никогда не был особенно общительным, его спокойная дружелюбная натура вполне устраивала меня. Почти два года мы были так счастливы, как только это возможно на подобном острове. Зная, что мне накапливается у Доусона жалованье, я откинул все деловые заботы. Временами мы видели парус, однако ни одно суденышко не приблизилось к нашему острову. Я развлекался тем, что украшал атолл узорами из морских ежей и различных причудливых раковин и кругом по берегу выложил камнями: "Остров Эпиорниса", - очень аккуратно, большими буквами, как делают из цветных камешков у нас на родине, возле железнодорожных станций; кроме того, я разместил там математические вычисления и разные рисунки. Иногда я лежал и смотрел, как эта птичка важно выступает около меня и все растет, растет; если меня когда-нибудь снимут отсюда, думал я. вполне можно будет заработать на жизнь, демонстрируя мою птицу. После первой линьки она стала красивой - с хохолком и голубой бородкой и пышными зелеными перьями в хвосте. Я все ломал себе голову, имеет Доусон право претендовать на нее или нет. Во время шторма или в период дождей мы уютно лежали в шалаше, построенном из остатков каноэ, и я рассказывал Пятнице всякие небылицы про своих друзей на родине. А после шторма мы вместе обходили остров, проверяя, не выкинуло ли чего-нибудь на берег. Словом - идиллия. Если бы еще немного табачку, ну просто была бы райская жизнь.

Но к концу второго года что-то стало не ладиться в нашем маленьком раю. Пятница достиг тогда примерно четырнадцати футов в высоту; у него была большая, широкая голова, по форме как конец кирки, и огромные коричневые глаза с желтым ободком, посаженные не по-куриному - с двух сторон, а по-человечьи - близко друг к другу. Оперение у него было красивое: не полутраурное, как у всяких страусов, а скорее, по цвету и фактуре, как у казуара. И вот он начал топорщить гребешок при виде меня. и важничать, и проявлять признаки скверного характера.



А затем однажды, когда рыбная ловля оказалась довольно неудачной, моя птица стала ходить за мной с каким-то странным, задумчивым видом. Я думал, что, может быть, она наелась морских огурцов или еще чего-нибудь такого, но это она просто показывала мне свое недовольство. Я тоже был голоден и, когда, наконец, вытащил рыбу, хотел съесть ее сам. В то утро мы оба были не в духе. Она клюнула губана и схватила его, а я стал гнать ее прочь и стукнул по голове. Тут она и накинута на меня. Боже!

- Она начала с этого. - Человек со шрамом показал на свое лицо. - Потом стала лягаться. Лягаться, как ломовая лошадь! Я вскочил и, видя, что она не унимается, помчался что есть мочи, прикрыв обеими руками лицо. Но эта проклятая птица, несмотря на неуклюжие ноги, бежала быстрее скаковой лошади, и все молотила меня ногами, и долбила своей киркой по затылку. Я понесся к лагуне и забрался в воду по самую шею. Птица остановилась на берегу, потому что не любила мочить лапы, и начала пронзительно кричат, как павлин, только более хрипло, а потом принялась расхаживать по берегу взад да вперед. Сказать по правде, довольно-таки унижительно было видеть, как это ископаемое чувствует себя хозяином положения. С головы и лица у меня стекала кровь, а тело - тело было все в синяках.

Я решил переплыть через лагуну и ненадолго оставить свою птицу одну, чтобы она утихомирилась. Потом я залез на самую высокую пальму и стал все это обдумывать. Кажется, в жизни я не был еще так оскорблен. Такая черная неблагодарность! Я был для нее ближе родного брата. Высидел ее, воспитал. Этакую большую, неуклюжую, допотопную птицу! Я - человек, царь природы и тому подобное.

Я думал, что через некоторое время она сама это поймет и устыдится. Я думал, что если мне удастся поймать вкусных рыбок и я как бы случайно подойду и угощу ее, она образумится. Прошло немало времени, пока я узнал, какой мстительной и сварливой может быть вымершая порода птиц. Воплощенное коварство!

Не буду рассказывать обо всех уловках, которые я применял, чтобы снова заставить птицу слушаться. Я просто не в состоянии: даже и теперь сгораю со стыда, когда вспомню, как пренебрежительно обращалась со мной и как избивала меня эта музейная диковинка! Я пробовал применить силу и стал бросать в нее кусками коралла - с безопасного расстояния, но она только проглатывала их. Потом я попробовал швырнуть в нее раскрытым ножом и чуть не расстался с ним, хотя он был слишком велик, чтобы она могла его проглотить. Пытался я взять ее измором и перестал удить рыбу, но она научилась отыскивать на берегу, после отлива, червяков, и ей этого хватало. Половину времени я проводил, стоя по шею в лагуне, а другую половину - наверху, на пальмах. Однажды пальма оказалась недостаточно высокой, и когда моя птица настигла меня там, ну и полакомилась она моими икрами! Положение стало совершенно невыносимым. Не знаю, пробовали ли вы когда-нибудь спать на пальме. У меня были ужаснейшие кошмары. И какой позор, к тому же! Эта вымершая тварь бродит по моему острову с надутым видом, словно герцогиня, а я не имею права ступить ногой на землю. Я даже плакал от усталости и досады. Я прямо заявил ей, что не позволю такому дурацкому анахронизму гоняться за мной по пустынному острову. Пусть разыскивает какого-нибудь мореплавателя своей собственной эпохи и клюет его, сколько вздумается. Но она только щелкала клювом, завидя меня. Этакая огромная уродина, одни ноги и шея!

Сколько все это тянулось, даже не хочется говорить. Я убил бы ее раньше, да не умел. В конце концов я все же сообразил, как мне ее прикончить. Так ловят птиц в Южной Америке. Я соединил все свои рыболовные лесы, связав их стеблями водорослей и другими штуками, и сделал крепкий канат, ярдов в двенадцать, даже больше; к каждому его концу я привязал по куску коралла. На это у меня ушло довольно много времени, потому что постоянно приходилось то влезать в лагуну, то забираться на дерево - смотря по обстоятельствам. Затем я быстро развертел этот канат в воздухе, над головой, и запустил им в птицу. В первый раз я промахнулся, но во второй раз канат ловко обвился вокруг ее ног и



опутал их. Она упала. Я бросал канат, стоя по пояс в лагуне, и как только птица свалилась на землю, выскочил из воды и перепилил ей горло ножом...

Мне даже теперь неприятно об этом вспоминать. В ту минуту я чувствовал себя убийцей, хотя во мне все так и кипело от злости. Я стоял над ней и видел, как ее кровь текла на белый песок, как ее могучие длинные ноги и шея дергались в агонии... Ах, да что там!..

После этой трагедии одиночество нависло надо мной, как проклятье. Боже мой, вы даже представить себе не можете, как мне не хватало моей птицы. Я сидел около ее тела и горевал; меня пробирала дрожь, когда я оглядывал свой унылый риф, на котором царило полное безмолвие. Я думал о том, каким славным птенцом был этот эпиорнис, когда вылупился, и какие симпатичные, забавные повадки были у моего Пятницы, пока он не взбесился. Кто знает - если б я его только ранил, я, вероятно, сумел бы, выйдя из него, привить ему дружеские чувства. Если бы у меня была какая-нибудь возможность вырыть яму в коралловой скале, я похоронил бы его. Мне казалось, что я расстался с человеком, а не с птицей. Съесть ее я, конечно, не мог бы и поэтому опустил в лагуну, где рыбки начисто ее обглодали. Я даже не оставил себе перьев. А потом какому-то типу, путешествовавшему на яхте, в один прекрасный день вздумалось поглядеть, существует ли еще мой атолл.

Он явился как раз вовремя, потому что мне стало так тошно на этом пустынном острове, что я только не мог решить, зайти ли мне просто подальше в море и там покончить со всеми земными делами или поесть зеленых штучек...

Я продал кости человеку по имени Уинслоу, торговавшему поблизости от Британского музея, а он, по его словам, перепродал их старику Хэверсу. Хэверс, видимо, не знал, что они исключительно велики. Поэтому они привлекли к себе внимание только после его смерти. Птице дали имя... эпиорнис... как это дальше, вы не помните?

- Eryornis Vastus, - сказал я. - Забавное совпадение, ведь именно об этих костях упоминал один мой приятель. Когда был найден скелет эпиорниса с берцовой костью длиной в один ярд, считалось, что это уже верхушка шкалы - Eryornis Maximus. Потом кто-то раздобыл другую берцовую кость в четыре фута шесть дюймов или больше, и она получила название Eryornis Fitan. Затем, после смерти старика Хэверса, в его коллекции нашли ваш Vastus, а потом нашелся Vastissimus.

- Уинслоу так и говорил мне, - сказал человек со шрамом. - Если найдутся еще новые эпиорнисы, он думает, что какую-нибудь ученую шишку хватит удар. А все-таки странные истории случаются с людьми, правда?

1894

## ***Правда о Пайкрафте***

Перевод Е. Фролова

Он сидит всего в десяти шагах от меня. Стоит мне поглядеть через плечо, и я увижу его. И если я встречу с ним взглядом (а это непременно случится), то в его глазах...

В общем это умоляющий взгляд, по все же с оттенком подозрения.

К черту его подозрения! Если бы я захотел, я бы давно, все про него рассказал. Однако же я молчу, я ничего не рассказываю, и он может быть спокойным и чувствовать себя вольготно. Если, конечно, такое громоздкое и жирное создание, как он, вообще может чувствовать себя вольготно. Да если бы я и рассказал, кто бы мне поверил?

Бедняга Пайкрафт! Экая неуклюжая бесформенная масса - студень, да и только! Самый толстый клубный завсегдатай в Лондоне.

Он сидит за одним из столиков в большой нише около камина и... жует. Что это он жует? Я оглядываюсь, будто невзначай, - так и знал: набивает себе рот сдобной булкой с маслом, не спуская с меня глаз. А, чтоб ему с его неотвязным взглядом!

Ну хорошо же, Пайкрафт! Раз вы хотите быть несносным, раз вы продолжаете вести себя так, будто сомневаетесь в моей порядочности, пеняйте на себя! Вот тут, перед вашими заплывшими жиром глазами, я все напишу, я расскажу всю правду о Пайкрафте. Расскажу о человеке, которому я помог, которого я покрывал и который отплатил мне тем, что превратил моя клуб в место, невыносимое для меня, совершенно невыносимое из-за этого водянистого взгляда, умоляющего без конца об одном и том же: "Только, ради бога, никому не говорите!"

И потом, почему он все время ест?

Так вот вам правда, вся правда, правда без прикрас! Пайкрафт... Я познакомился с ним здесь же, в курительной комнате. В клубе я был тогда молодым и мнительным новичком, - и он это заметил. Я сидел в одиночестве, жалел, что у меня еще так мало знакомых, как вдруг ко мне приблизилась некая туша, состоявшая из нескольких подбородков и живота. Это и был Пайкрафт. Он хрюкнул, сел рядом на стул, посопел, долго чиркая спичкой, наконец закурил сигару и обратился ко мне.

Не помню, что он сказал, - кажется, что-то о плохих спичках. Продолжая говорить со мной, он останавливал каждого проходящего официанта и бранил спички своим тонким, певучим голосом. Так или иначе мы разговорились.

Он болтал о разных вещах, затем перешел к спорту, а от спорта - к моей фигуре и цвету лица.

- Вы, должно быть, хорошо играете в крикет, - сказал он.

Я считаю себя стройным, могу даже кое-кому показаться тощим. Знаю также, что я довольно смуглый, тем не менее... Прабабушка у меня была индуска, и я этого ничуть не стыжусь, но я не хочу, чтобы каждый встречный при первом взгляде считал себя вправе строить догадки о моих предках. Вот почему я с самого начала невзлюбил Пайкрафта.

Но он-то завел разговор обо мне только для того, чтобы перейти к собственной персоне.

- Двигаетесь вы, наверное, не больше моего, - сказал он, - а едите не меньше... (Как и все очень тучные люди, он воображал, что ничего не ест.) Однако же между нами есть разница, - добавил он, криво улыбаясь.

И тут он начал без конца говорить о своей полноте. О том, что он делал, чтобы избавиться от полноты, что с обирается делать, чтобы вылечиться от полноты, что ему советовали делать против полноты и что, он слышал, делают другие люди, страдающие полнотой.

- A priogì, [независимо от опыта, заранее, наперед (лат.).] - сказал он, - вы, наверно, думаете, что вопрос питания решается диетой, а вопрос усвоения пищи организмом - лекарствами.

Это было невыносимо. Слушая этого обжору, я чувствовал, что сам начинаю пухнуть.

Конечно, в клубе бывают иногда такие встречи, испытывающие наше терпение, но вскоре мне стало казаться, что этому надо положить конец. Было совершенно ясно, что этот субъект не отвяжется от меня. Стоило мне появиться в курительной комнате, как он вразвалку шел ко мне, а иногда, когда я завтракал, подсаживался к моему столу и без стеснения предавался чревоугодию. Порою он прямо-таки прилипал ко мне. Нудный человек! Но все-таки, неужели от его навязчивости должен страдать только я? С самого начала в его поведении было что-то такое, будто он знал, будто интуитивно понял, что я мог бы... что во мне одном он мог видеть единственную надежду, которой нигде больше не найдет.

- Я все бы отдал, чтобы сбавить в весе, - говорил он, - решительно все! - и, задыхаясь, пытливо всматривался в меня глазками, утонувшими в пухлых щеках.

Бедный Пайкрафт! Вот он позвонил, - наверно, чтобы заказать еще сдобной булки и масла.

Однажды он перешел прямо к делу.

- Наша фармакопоя, - сказал он, - наша западная фармакопоя далеко не последнее слово в медицине. На Востоке, я слышал... - Он осекся и уставился на меня. Мне показалось, что я стою перед аквариумом.

Тут я вдруг на него рассердился.

- Послушайте, - сказал я, - кто вам сказал о рецептах моей прабабушки?

- Помилуйте! - попытался он увильнуть.

- Вот уже целую неделю при каждой нашей встрече, - а встречались мы с вами частенько, - вы явно намекали мне о моей маленькой тайне.

- Ну, хорошо, - промолвил он. - Раз так, я скажу все. Признаюсь, да, верно... Я узнал...

- От Пэттисона?

- Косвенно, - сказал он, что, по-моему, означало "да".

- Пэттисон, - сказал я, - принимал это снадобье на свой риск и страх.

Он сжал губы и поклонился.

- Рецепты моей прабабушки - с ними так просто обращаться нельзя. Отец хотел взять с меня обещание.

- Но вы не обещали?

- Нет. Но он меня предупредил. Он как-то сам воспользовался одним из них, - всего раз!

- Вот как! И вы думаете?.. Предположим, предположим, что среди них найдется такой...

- Эти рецепты - странная штука, - сказал я, - даже пахнут они... Нет, оставим это!

Но я знал: раз уж я зашел так далеко, Пайкрафт от меня не отстанет. Я всегда немного побаивался, что, если вывести его из терпения, он внезапно навалится на меня всей тушей и задавит. Я сознаю, что проявил слабость характера. Кроме того, Пайкрафт надоел мне. В этот момент я был так не расположен к нему, что не удержался и сказал:

- Ну хорошо, рискните!

С Пэттисоном, о котором я упомянул, дело было совсем другое. Что с ним произошло, - это к рассказу не относится, но тогда я по крайней мере знал, что лекарство не опасно для здоровья. В остальных рецептах я не был так уверен и вообще склонен сомневаться в безопасности лечебных средств прабабушки.

Но если даже Пайкрафт и отравится...

Должен сказать, что отравить колоссальное тело Пайкрафта казалось мне вовсе не простым предприятием.

В тот же вечер я вынул из сейфа странный, прописанный своеобразным запахом ящик из сандалового дерева и стал перебирать шуршащие куски кожи. У джентльмена, который писал рецепты для моей прабабушки, было несомненное пристрастие к коже различного происхождения, и он отличался на редкость неразборчивым почерком. Некоторые записки были вовсе недоступны моему пониманию (несмотря на то, что в нашей семье, долго связанной с Ост-Индской компанией, знание хинди передается из поколения в поколение), - и не было ни одной, расшифровать которую было бы легко. Все же я довольно скоро нашел то, что искал, и некоторое время сидел на полу возле сейфа, рассматривая рецепт.

- Вот, глядите, - сказал я Пайкрафту на следующий день, держа полоску кожи подальше от его жадных рук. - Насколько я мог разобраться, это рецепт для тех, кто хочет сбавить в весе. (О! - воскликнул Пайкрафт.) Я не совсем уверен, но, кажется, так. Все же, если хотите послушать моего совета, бросьте это дело. Потому что, знаете ли, насколько мне известно, мои предки по этой линии были очень странные люди. Видите, я не боюсь чернить своих родичей в ваших интересах, Пайкрафт!

- Дайте мне попробовать, - сказал Пайкрафт. Я откинулся на стуле. Огромным усилием воображения я попытался представить себе, каким он станет потом... но безуспешно.

- А вы подумали, Пайкрафт, - сказал я, - на какого дьявола вы будете похожи, когда похудеете?

Он не внял голосу разума. Я взял с него слово никогда больше не говорить со мной о его отвратительной полноте - никогда, что бы ни случилось! - и только тогда отдал ему маленький лоскут кожи.

- Тошнотворное снадобье, - сказал я.

- Ничего, - ответил он и взял рецепт. Посмотрев на него, он выпучил глаза: - Но позвольте!..

Только теперь он обнаружил, что рецепт был написан не по-английски.

- Насколько это в моих силах, - сказал я, - я вам переведу.

Я постарался перевести рецепт как можно лучше. Затем в течение двух недель мы не разговаривали. Как только Пайкрафт ко мне приближался, я хмурился и делал знак, чтобы он отошел. Он соблюдал наш уговор но к концу второй недели был такой же толстый, как и прежде. Наконец он не выдержал.

- Я должен поговорить с вами, - сказал он. - Так не годится! Здесь что-то не то. Не помогает. Не к чести вашей прабабушки...

- Где рецепт?

Он осторожно извлек его из бумажника.

Я пробежал глазами перечень всех составных частей:

- Вы тухлое яйцо взяли?

- Нет. А разве нужно было... тухлое?

- Это подразумевается во всех рецептах моей любезной прабабушки, - сказал я. - Если качество или состояние не указано, надо брать самое худшее. Она была женщина решительная и не терпела паллиативов. Из остальных веществ одно или два можно заменить другими. А яд гремучей змеи был свежий?

- Я достал гремучую змею у Джемрака. Она обошлась мне...

- Ну, это ваше дело. Теперь последняя часть состава...

- Я знаю человека, который...

- Прекрасно. Гм!.. Я напишу вам, какие составные части можно заменить и чем. Насколько я знаю язык, орфография в этом рецепте особенно хромает. Между прочим, под словом "пес" здесь подразумевается бродячий пес.

В продолжение месяца я постоянно видел Пайкрафта в клубе - все таким же толстым и озабоченным. Он соблюдал соглашение и только иногда нарушал дух нашего договора, с сокрушением покачивая головой. Однажды в гардеробе у него вырвалось:

- Ваша прабабушка...

- Не слова о ней! - оборвал я его, и он прикусил язык.

Я уже считал, что он разочаровался в рецепте и отстал от меня. Один раз я видел, как он разговаривал (о своей полноте) с тремя новыми членами клуба, как бы в поисках других рецептов. Как вдруг, совсем неожиданно, пришла телеграмма.

- Мистеру Формалину! - под самым моим носом выкрикнул мальчик, который состоит в клубе на побегушках. Я взял телеграмму и сразу распечатал ее:

"Ради бога, приходите. Пайкрафт".

- Гм! - пробормотал я.

По правде сказать, я так обрадовался этой телеграмме, предвещавшей реабилитацию моей прабабушки, что позавтракал с отменным аппетитом.

Адрес я узнал у швейцара. Пайкрафт занимал верхнюю половину дома на Блумсбери, и я помчался туда, как только выпил кофе с бенедиктином. Не успел даже докурить сигару.

- Мистер Пайкрафт дома? - спросил я внизу.

Мне ответили, что он, вероятно, болен: два дня не выходил из дому.

Я сказал, что он ждет меня, и мне предложили подняться.

На площадке я позвонил у двери с решеткой.

"Все-таки не следовало ему пробовать это средство, - подумал я. - Человек, который жрет, как свинья, должен и выглядеть, как свинья".

Почтенного вида женщина с озабоченным лицом и кое-как надетым чепцом появилась по ту сторону решетки.

Я назвал себя, и она нерешительно отперла дверь.

- Ну? - спросил я, когда мы остановились друг против друга в прихожей Пайкрафта.

- Он сказал, что, если вы придете, чтобы шли прямо к нему, - наконец заговорила она, продолжая неподвижно смотреть на меня, вместо того чтобы показать мне дорогу. Потом понизила голос: - Он заперся, сэр.

- Заперся?

- Заперся еще со вчерашнего утра и никого не впускает, сэр. И все время ругается. Беда, как бранится!

Я посмотрел на дверь, которую она мне показала глазами.

- Здесь? - спросил я.

- Да, сэр.

- Что с ним?

Она печально покачала головой:

- Все время еды требует, сэр! Тяжелой еды. Я достаю ему, что могу: свинину, пудинг, колбасу, свежий хлеб. Все вот такое тяжелое. Оставляю у дверей, раз ему так хочется, а сама ухожу. А сколько он ест, сэр, что-то ужасное!

В это время из-за двери раздался визгливый голос:

- Это Формалин?

- Это вы, Пайкрафт? - закричал я, подошел к двери и постучал.

- Скажите, чтобы она ушла!

Я велел ей уйти.

И тогда за дверью послышалась возня, будто кто-то нащупывал ручку в темноте, и я услышал знакомое хрюканье Пайкрафта.

- Все в порядке, - сказал я, - она ушла.

Но дверь еще долго не отворялась.

Наконец ключ повернулся, и голос Пайкрафта сказал:

- Войдите!

Я нажал на ручку и открыл дверь, естественно ожидая, что увижу Пайкрафта.

Но его не было.

Никогда в жизни я не был так потрясен. Я увидел его кабинет в необыкновенном беспорядке: опрокинутые стулья, груды грязных тарелок и блюд, наваленных вместе с книгами и письменными принадлежностями. Но Пайкрафта...

- Ладно, ладно, дружище, закройте дверь! - сказал он, и тут я увидел его.

Он был наверху, в углу над дверью, у самого карниза, будто его приклеили к потолку. Лицо у него было смущенное и жалкое. Он пыхтел и махал руками.

- Закройте дверь, - попросил он. - Если эта женщина узнает, в чем дело...

Я закрыл дверь, отошел на несколько шагов и, разинув рот, смотрел на него.

- Если только что-нибудь не выдержит и вы сорветесь, - сказал я, - вы сломаете себе шею.

- Увы, я был бы этому рад, - просипел он.

- Что за ребячество? В вашем возрасте и при вашем весе я бы не рискнул заниматься такой гимнастикой...

- Оставьте! - простонал он, и видно было, что он очень страдает. - Я вам все объясню, - и он опять замахал руками.

- Но как же, черт побери, вы там держитесь?

И вдруг я понял, что ему и не надо было держаться, что он висел, прижатый к потолку той же силой, которая заставляет лететь вверх пузырь, наполненный газом.

Он начал отчаянно барахтаться, чтобы оторваться от потолка и спуститься ко мне по стене.

- Это все ваш рецепт, - пыхтел он, работая руками и ногами. - Ваша праба...

В этот момент он неосторожно схватился за висевшую на стене гравюру в рамке, она сорвалась, и он взлетел обратно к потолку, а картина шлепнулась на диван. Он ударился о потолок, и я понял, почему он на самых выступающих местах своего тела весь запачкан белым. Он снова начал спускаться, на этот раз осторожнее, держась за полку камина.



Поистине это было необыкновенное зрелище: большой, жирный, полнокровный человек лез головой вниз, стараясь изо всех сил спуститься с потолка на пол.

- Лекарство... - сказал он, - подействовало чересчур сильно.

- Как так?

- Потеря в весе - почти полная!

И тут я, конечно, все понял.

- Клянусь богом, Пайкрафт! - воскликнул я. - Вы хотели лечиться от ожирения. Но вы всегда называли это "сбавлять в весе". Вы упорно говорили: "сбавить в весе".

Признаться, я ликовал в душе. В эту минуту я готов был полюбить Пайкрафта.

- Дайте я помогу вам, - сказал я, поймал его руку и потянул вниз. Он лягся, стараясь встать на ноги. Ощущение у меня было примерно такое, как если бы я держал флаг в ветреный день.

- Стол из крепкого красного дерева, и очень тяжелый, - сказал он. - Если можете, запихните меня под него.

Я так и сделал, и вот он сидел и покачивался под столом, как привязной воздушный шар, а я стоял на коврике у камина и разговаривал с ним. Я закурил сигару.

- Расскажите, как все это случилось.

- Я принял лекарство, - сказал он.

- И какое оно на вкус?

- Ужасная мерзость!

Вероятно, и все эти снадобья такие. Судя по составным частям и по их сочетанию, а также по возможным результатам, почти все рецепты моей прабабушки были по меньшей мере чрезвычайно неаппетитны. Сам бы я ни за что...

- Сначала я отпил один глоток.

- Да?

- Примерно через час я почувствовал себя легче и лучше и тогда решил проглотить все.

- Но, милый Пайкрафт!..

- Я зажал нос, - пояснил он. - Потом я почувствовал, что делаюсь все легче и легче и, знаете, каким-то беспомощным.

И вдруг он дал волю своей ярости.

- Но что же, черт побери, мне теперь делать?! - завопил он.

- Пока только ясно, чего вам не следует делать, - сказал я. - Если вы выйдете из дому, вы взлетите и будете подниматься все выше и выше. - Я помахал рукой, показывая ввысь. - Придется посылать в воздух Сантос-Дюмона, чтобы вернуть вас на землю.

- Может быть, со временем пройдет?

Я покачал головой:

- Не думаю, чтобы на это можно было рассчитывать.

Новая вспышка ярости. В порыве гнева он ногами сшибал стулья и стучал по полу. Он вел себя так, как, собственно, и должен вести себя в минуту испытания такой несуразный, жирный и неводержанный человек, то есть очень скверно. Он говорил обо мне и о моей прабабушке, пренебрегая всеми правилами приличия.

- Я не уговаривал вас принять лекарство, - сказал я.

Великодушно пропуская мимо ушей оскорбления, которыми он меня осыпал, я уселся в его кресле и начал говорить с ним спокойным дружеским тоном.

Я указал ему, что он сам навлек на себя беду. Это было похоже на некое возмездие, на карающую руку Немезиды. Он слишком много ел. С этим он не согласился, и мы начали спорить. Но он стал так кричать и шуметь, что я не настаивал на этом поучительном выводе и подошел к делу иначе.

- Кроме того, - сказал я, - вы грешили против ясности речи: вы изысканно именовали "весом" то, что было бы справедливее, хотя и обиднее для вас, называть просто "жиром". Вы...

Он перебил меня, сказав, что все это он признает. Но теперь-то что ему делать?

Я предложил ему приспособиться к своему новому состоянию. Так мы перешли к практической стороне вопроса. Я высказал мысль, что ему будет не так уж трудно научиться ходить на руках по потолку и...

- Я не могу спать, - сказал он.

- Ну это, - заметил я, - не такая уж трудная проблема. Вполне можно устроить постель под проволочным матрасом, прикрепить все необходимые подстилки тесьмой, а одеяло, простыню и покрывало пристегивать на пуговицах по бокам.

Ему, видимо, придется довериться своей экономке.

Мы поспорили, но затем он согласился. (Впоследствии было очень занятно смотреть, с каким невозмутимо деловым видом добрая женщина приняла все эти удивительные нововведения.) Можно принести в его комнату библиотечную лесенку и подавать ему обед на книжный шкаф. Мы изобрели также остроумное приспособление, с помощью которого он мог в любое время спускаться на пол. Для этого надо было только расставить все тома Британской энциклопедии (десятое издание) на верхних книжных полках. Он вытаскивает один или два тома, берет их под мышку и опускается. Мы договорились, что вдоль стен должны быть укреплены железные скобы: за них он будет держаться, если захочет путешествовать по комнате на более низком уровне.

Чем дальше, тем больше я входил во вкус всего этого дела. Это я позвал экономку и осторожно посвятил ее в нашу тайну. Я же сам, почти без чужой помощи, устроил ему перевернутую книзу постель. Целых два дня я провел в его квартире. Ведь я изобретательный и ловкий малый, когда вооружаюсь отверткой, и люблю во все соваться. Я сделал для него всевозможные хитроумные приспособления: провел провод, чтобы ему легче было звонить, переставил все электрические лампы так, чтобы они светили снизу вверх, а не сверху вниз, и тому подобное. Все это было необыкновенно забавно и интересно для меня. Я очень развлекался, представляя себе, как Пайкрафт, подобно огромной, жирной мухе, станет ползать по своему потолку и перебираться через притолоки дверей из одной комнаты в другую, и с удовольствием думал, что никогда, никогда больше он не придет в клуб.

Но вот однажды моя роковая изобретательность сыграла со мной злую шутку. Я сидел у его камина, попивал его виски, а он в своем излюбленном углу у карниза прибавал коврик к потолку, как вдруг меня осенила новая мысль.

- Пайкрафт! - воскликнул я, - клянусь богом, все это совершенно не нужно! - И прежде чем я успел рассчитать все последствия своих слов, я выпалил: - Свинцовые подштанники! - И непростительная оплошность была совершена.

Пайкрафт ухватился за мою идею, едва сдерживая слезы.

- И я снова вернусь в нормальное человеческое состояние... - лепетал он.

Я выложил ему весь секрет, не подумав о том, к чему это приведет.

- Купите свинцовый лист, - сказал я, - наштампуйте из него кружков. Зашейте их в белье, сколько нужно для нормального веса. Закажите сапоги со свинцовой подошвой, заведите себе свинцовый чемодан - и дело в шляпе! Вместо того чтобы торчать здесь под потолком, вы сможете отправиться опять за границу, сможете путешествовать...

Тут мне пришла в голову еще более блестящая мысль:

- И никакие кораблекрушения для вас не страшны. Стоит вам только скинуть с себя хотя бы часть одежды, взять в руки необходимый багаж, и вы взлетите на воздух...

Он так разволновался, что уронил молоток и чуть не проломил мне голову.

- Боже правый! - воскликнул он. - И я смогу опять ходить в клуб!

Я осекся, пораженный таким оборотом дела.

- Да, да! - промолвил я упавшим голосом. - Конечно, сможете.

Он пришел. Он приходит каждый день. Вот он сидит позади меня, уплетая - клянусь! - уже третью порцию сладкой булки с маслом. И никто на целом свете, кроме его экономки и меня, не знает, что он фактически ничего не весит, что он не что иное, как докучная масса

ассимилирующей пищу материи, какая-то облачность в одежде человека, niente, nefas, самый ничтожный из людей. Вот он сидит и ждет, когда я кончу писать. И тогда он попытается подкараулить меня. Он подойдет ко мне, колыхаясь...

И будет снова говорить мне обо всем этом: как он себя чувствует и как он не чувствует того, что должен чувствовать, и как ему иногда кажется, что стало чуточку лучше. И обязательно где-нибудь посреди глупой, бесконечной болтовни вставит: "Ну как, не выдадим секрет, а? Если кто-нибудь узнает, это такой стыд... Знаете, когда человек в таком дурацком положении: ползает по потолку, и все прочее..."

Я кончил писать. Теперь осталось улизнуть от Пайкрафта, занявшего превосходную стратегическую позицию между дверью и мной.

1903

## ***Цветение необыкновенной орхидеи***

Перевод Г. Печерского

Покупка орхидей всегда дело несколько рискованное. Перед вами темный комоч каких-то высохших тканей, а в остальном вы должны довериться, смотря по вкусу, или собственному выбору, или уговорам аукционщика, или просто счастливому случаю.

Растение может оказаться или почти совсем мертвым, или оно может оказаться покупкой, в которой вы не раскаетесь, хотя только-только оправдаете затраченные деньги. Иногда же - сколько бывает и таких случаев! - покупателю посчастливится, и перед его восхищенными глазами каждый день начнут раскрываться все новые прелести; богатство нежных красок, причудливый изгиб невиданных лепестков, неожиданная мимикрия... Всего один тонкий зеленый стебель, а на нем цветут и гордость, и красота, и доход, и - может быть - даже бессмертие. Ведь этому чуду природы понадобится особое имя, а что лучше имени владельца? Например, "Джонсмития"?! Что ж, бывают названия и похуже.

Может быть, именно надежды на подобное счастливое открытие побудили Уинтер-Уэддерберна стать постоянным посетителем цветочных аукционов, а возможно что ему решительно нечего было делать и ничто на свете его не интересовало. Застенчивый, одинокий, по натуре бездеятельный, он был достаточно обеспечен, чтобы не нуждаться, но недостаточно энергичен, чтобы искать занятий, требующих усилия. Он мог бы, пожалуй, коллекционировать марки или монеты, или переводить Горация, или переплетать книги, или открывать новые разновидности диатомовых водорослей. Но случилось так, что он выращивал орхидеи, гордясь своей единственной оранжевой.

- У меня предчувствие, - сказал он как-то за утренней чашкой кофе, - что сегодня со мной должно что-то случиться.

Говорил Уэддерберн не торопясь, так же медленно как двигался и думал.

- Не надо так говорить, - сказала экономка (она приходилась ему дальней родственницей). В ее понимании "что-то случится" имело только один, и притом самый печальный смысл.

- Вы меня не так поняли. Я не имел в виду ничего дурного, хотя... вряд ли я сам знаю, что имел в виду. Сегодня, - продолжал он, помолчав, - у Питерса будут продавать партию растений из Индии и с Андаманских островов. Поеду-ка и я взглянуть на них. Может, случайно мне и попадется что-нибудь хорошее. Вот и оправдается мое предчувствие.

Он протянул экономке пустую чашку.

- Вы говорите о цветах, собранных несчастным молодым человеком, о котором вы мне как-то рассказывали? - спросила она, наливая ему кофе.

- Да, - задумчиво ответил он, с ломтиком поджареной булки в руке. - Никогда со мной ничего не случается, - размышлял он вслух. - Почему бы это? Чего только с другими не бывает!

Возьмите Харвея: на прошлой неделе - в понедельник он нашел шестипенсовик, в среду все его цыплята заболели вертячкой, в пятницу возвратился из Австралии его родственник, а в субботу Харвей сломал ногу. Какой вихрь переживаний! А у меня?..

- Пожалуй, я бы обошлась без такого вихря, - сказала экономка, - да и вам это было бы вредно.

- Возможно, что такие переживания и не всегда приятны. Но со мной, увы, вообще ничего не случается. Когда я был мальчишкой, со мной не бывало никаких происшествий. Когда вырос, ни разу не влюблялся. Никогда не был женат!.. Даже не представляю, как люди себя чувствуют, когда что-нибудь случается, что-нибудь действительно необыкновенное... Этому собирателю орхидей, когда он погиб, было всего тридцать шесть лет - он был на двадцать лет моложе меня. А он успел два раза жениться и один раз развестись, четыре раза переболеть малярией и раз сломать бедро. Однажды он убил малайца, и раз сам был ранен отравленной стрелой. В конце концов погиб от пиявок в джунглях... Само собой, все это беспокоит, но зато как интересно! Кроме, пожалуй, пиявок...

- Я уверена, - убежденно встала экономка, - ему это было вредно.

- Может быть! - Уэддерберн взглянул на часы. - Двадцать три минуты девятого. Я поеду поездом одиннадцать сорок пять, так что времени еще много. Я думаю надеть легкий пиджак - ведь еще совсем тепло, - серую фетровую шляпу, коричневые туфли. Думаю...

Он взглянул в окно на совершенно ясное небо, на залитый солнцем сад, затем - с легким сомнением - на лицо своей родственницы.

- Мне кажется, - сказала она твердо, - раз вы едете в Лондон, надо взять зонтик. Погода быстро меняется, а до станции отсюда далеко.

Из Лондона Уэддерберн возвратился несколько возбужденный.

Он приехал с покупкой! Редко случалось, чтобы он сразу решался, но на этот раз решился сразу и купил.

- Это Ванды, - перебирал он купленные орхидеи, - вот это Дендробиум, а здесь - несколько видов Палеонофиса.

Пока ел суп, он с нежностью посматривал на свои покупки. Растения были разложены перед ним на белоснежной скатерти, Уэддерберн медленно ел и все рассказывал и рассказывал о них экономке. У него давно вошло в привычку по вечерам заново переживать вместе с ней, к их обоюдному удовольствию, свои поездки в Лондон.

- Я же знал, что сегодня со мной что-нибудь да случится. Вот я и купил все это! Уверен, что некоторые из них, понимаете, хоть некоторые, должны оказаться замечательными. Не знаю - почему, но я просто уверен. Так уверен, будто кто-то мне обещал.

- Вот этот, - указал он на сморщенный клубень - точно не установлено, какой. Может быть, Палеонофис, а может быть, и нет. Вдруг это новый вид орхидеи, даже какой-нибудь новый род! Это последняя орхидея из тех, которые собрал бедняга Бэттен.

- Не нравится она мне, - заявила экономка. - Уж очень безобразная форма у этого клубня!

- По-моему, он просто без всякой формы.

- Как противно торчат вот эти штуки, - твердила она.

- Ничего, завтра упрячу их в горшок.

- Точно паук, который притворился мертвым, - сказала экономка.

Уэддерберн улыбнулся и, чуть наклонив голову набок, снова оглядел сморщенный клубень:

- Он, конечно, некрасив, этот жалкий комочек, но нельзя о таких растениях судить, пока они в сухом состоянии. Из каждого может выйти очень, очень красивая орхидея. Завтра у меня будет много дела! С вечера я все обдумаю, а завтра уж примусь высаживать.

- Бедняга Бэттен! Его нашли не то мертвым, не то умирающим в мангровом болоте, - продолжал он через некоторое время, - а под ним одну из этих самых орхидей, раздавленную его телом. До этого он несколько дней болел какой-то местной лихорадкой. Кажется, даже был без сознания. Эти тропические болота такие страшные... Говорят, всю кровь до

последней капли из него высосали пиявки в джунглях!.. Кто знает, может быть, именно этот цветок и стоил ему жизни.

- Цветку, по-моему, это ценности не прибавляет!

- Жена пусть слезы льет, обязан муж трудиться, - глубокомысленно заметил Уэддерберн.

- Подумать только, умирать и таких условиях, в мерзком болоте! Болеть лихорадкой, а кроме хлородина да хинина и принять нечего. Предоставьте мужчин самим себе, они и будут жить только хлородином и хинином. А вокруг ни души, кроме противных туземцев! Говорят, андаманские островитяне - самые ужасные дикари, и уж во всяком случае ухаживать за больными они не умеют - кто же их там обучит как следует? И для чего жизнью жертвовать? Чтобы у людей в Англии были орхидеи!

- Что и говорить! Приятного в этом мало, но есть люди, которым такие приключения, кажется, нравятся, - сказал Уэддерберн. - Как бы то ни было, туземцы в его партии были достаточно цивилизованными, чтобы сохранить коллекцию, пока не вернулся его коллега-орнитолог из внутренних районов острова. Правда, они не разобрались в разновидностях орхидей и к тому же дали им завянуть. Хотя, знаете, от этого цветы мне кажутся лишь интереснее...

- Не интереснее, а отвратительнее. Я бы боялась, ведь на них, может быть, сидит лихорадка. Представить себе только: на этих уродах лежало мертвое тело... Я об этом раньше не подумала. Как хотите: мне кусок в горло не лезет!

- Хорошо, я уберу их со стола и положу на подоконник. Мне их там будет не хуже видно.

Несколько дней Уэддерберн почти не выходил из своей жаркой и влажной теплицы: все возился с древесным углем, кусками тикового дерева, мохом и другими тайнами, известными любителям орхидей. Он считал, что для него настало замечательное, полное неожиданностей время. По вечерам, в кругу друзей, он не уставал рассказывать об орхидеях, снова и снова повторяя, что ждет от них чего-то необычайного.

Несмотря на тщательный уход, несколько орхидей из вида Ванда и Дендробиум, погибли, но странная орхидея вскоре начала проявлять признаки жизни. Уэддерберн был в восторге. Как только он заметил, что орхидея оживает, он сразу позвал экономку, которая варила варенье.

- Вот это почка, - объяснял он. - Вот здесь скоро появится множество листьев. А эти штучки, которые пробиваются тут наружу, - воздушные корни.

- Они мне напоминают растопыренные белые пальцы, торчащие из бурого комка. Не нравятся они мне! - сказала экономка.

- Но почему?

- Не знаю. У них такой вид, точно хотят меня схватить. Нравится так нравится, противно так противно, - ничего с этим не могу поделать!

- Может, это только мне так кажется, но я не помню другой орхидеи с такими воздушными корнями. Смотрите, они чуть-чуть сплюснены на концах!

- Нет, не по душе они мне, - повторила экономка, поежилась, точно ее знобило, и отвернулась. - Знаю, что глупо... Мне, право, жаль... а вам-то еще они так полюбились, - но я не могу забыть этот труп.

- Ну, может, он лежал и не на этом именно месте. Это просто моя догадка.

Экономка пожала плечами.

- Как бы там ни было, а эта орхидея мне совсем не нравится, - твердила она.

Уэддерберна и на самом деле немного обидело ее отвращение к орхидее. Однако это нисколько не помешало ему, когда вздумается, разговаривать со своей родственницей об орхидеях вообще и этой - в частности.

- Странная вещь - орхидеи, - сказал он как-то, - в них столько сюрпризов и неожиданностей. Знаете, сам Дарвин изучал их опыление и доказал, что у обыкновенной орхидеи такое строение, чтобы мотыльки могли легко переносить пыльцу от цветка к цветку. И что же? Оказывается, есть множество известных нам орхидей, строение которых



препятствует обычному опылению. Например, некоторые Циприпедиумы. Среди известных нам насекомых нет таких, которые могли бы их опылить. А у иных Циприпедиумов вовсе нет семян.

- Но как же в таком случае они размножаются?

- Специальными отводками, клубнями, вот такими отростками. Это объяснить нетрудно. Загадка в том, для чего тогда цветы?

- Очень возможно, - продолжал он, - что и моя необычная орхидея может оказаться в этом смысле исключительной. Если так, я буду ее изучать. Мне давно хотелось стать исследователем, как Дарвин, но до сих пор все было некогда или что-нибудь мешало. Сейчас начинают распускаться листья. Ну, пойдите же на них поглядеть!

Но экономка сказала, что в оранжерее чересчур жарко: голова разбалчивается. Она ведь видела орхидею совсем недавно. Некоторые воздушные корни, теперь уже длиной свыше фута, к сожалению, напомнили ей длинные жадные щупальца. Даже во сне ей привиделось, будто они растут с невероятной быстротой и все тянутся к ней. Нет, она твердо решила, что больше на цветок и не взглянет.

Пришлось Уэддерберну восхищаться листьями необычайного растения в одиночестве. Они были, как всегда, широкие, но необычно блестящие, с темно-зеленым глянцем и с ярко-красными пятнами и точками у основания. Таких листьев у других орхидей он до сих пор не встречал.

Растение поставили на низкую скамейку, около термометра, рядом с нехитрым приспособлением - краном, вода из которого, падая на горячую трубу, проложенную в теплице, помогала сохранять здесь необходимую влажность.

После обеда Уэддерберн теперь только и делал, что гадал, как будет цвести необыкновенная орхидея.

Наконец это великое событие свершилось!

Не успел он как-то раз войти в маленький стеклянный домик, как догадался, что орхидея распустилась, хотя большой Палеонофис и закрывал угол, где стояла его новая любимица. Воздух был напоен особым ароматом, пряным и душистым; он подавлял все остальные запахи в этой тесной, насыщенной испарениями теплице.

Едва уловив это благоухание, Уэддерберн бросился к орхидее.

Да! На трех свисающих, стелющихся побегах раскрылись огромные пышные цветы. От них и шел опьяняющий аромат, душистый и приторно-сладкий. В радостном восхищении Уэддерберн замер перед расцветшим растением. Лепестки крупных белых цветов были покрыты золотисто-оранжевыми прожилками. Самый нижний стебель извивался сложными кольцами, и местами к золоту примешивался чудесный голубовато-пурпурный оттенок.

Уэддерберн сразу понял, что его орхидея - совершенно нового, неизвестного вида.

Но какой невыносимый аромат! И какая нестерпимая жара!..

Цветы вдруг поплыли перед его глазами...

Он захотел проверить температуру. Нагнулся к термометру.

Внезапно все зашаталось. Кирпичи под ногами заплясали. За ними - белые пятна цветов, потом - зеленые листья. И, наконец, вся оранжерея, казалось, наклонилась вбок и куда-то поплыла...

В половине пятого экономка, как обычно, приготовила чай. Однако Уэддерберн не приходил.

"Наверное, молится на эту ужасную орхидею", - подумала она и подождала еще десять минут.

"Нет, должно быть, у него часы остановились. Придется пойти его позвать".

Она пошла прямо в оранжерею, приоткрыла дверь и позвала его. Никакого ответа. Душный воздух теплицы был насыщен сильным запахом цветов. Что-то лежало на кирпичном полу между трубами отопления. Минуту она стояла в оцепенении.

Уэддерберн лежал лицом вверх под самой орхидеей. Воздушные корни ее теперь не извивались отдельными щупальцами в воздухе, а, тесно переплетенные в клубок серых жгутов и туго натянутые, впивались в его шею, подбородок и руки.

Она ничего не поняла. Потом разглядела, что к нему властно протянулись торжествующие щупальца и под одним из них по его щеке струйкой сочится кровь.

Она вскрикнула, кинулась к Уэддерберну и попыталась оттащить его от воздушных корней, которые присосались к нему как пиявки. Она обломала два отростка: из них закапал красный сок.

Теперь и у нее закружилась голова. Как они впились в него! Из всей силы она старалась разорвать крепкий жгут, но внезапно и Уэддерберн и белые цветы поплыли у нее перед глазами. Ей стало дурно, но поддаваться было нельзя. Оставив Уэддерберна, она быстро распахнула дверь: секунду она глотала свежий воздух. Тут ее осенило вдохновение.

Схватив цветочный горшок, она перебила им стекла в конце оранжереи. Затем быстро вернулась и с новыми силами стала оттаскивать безжизненное тело Уэддерберна. Орхидею она сбросила на пол. Цветок все еще крепко цеплялся за свою жертву. Вне себя от ужаса, она вытащила на свежий воздух Уэддерберна вместе с орхидеей.

Теперь она догадалась оборвать один за другим все корешки и затем, освободив от них Уэддерберна, оттянула его прочь от страшного растения.

Он был мертвенно бледен. Из множества круглых ранок сочилась кровь.

В это время из сада подошел работник, нанятый Уэддерберном для разных услуг. Он услышал звон разбитого стекла и не понимал, в чем дело. Он был поражен, когда увидел, как экономка окровавленными руками волочит безжизненное тело. На мгновение ему пришли в голову самые невероятные мысли,

- Несите воды! - крикнула экономка, и ее голос рассеял его фантастические подозрения.

Вернувшись с несвойственной ему быстротой, работник застал экономку в слезах. Она держала голову Уэддерберна у себя на коленях и вытирала кровь с его лица.

- Что случилось? - на мгновение с трудом приоткрыв глаза, спросил Уэддерберн.

- Позовите ко мне скорее Энни и бегите за доктором Хэддоном! - приказала экономка работнику, как только он принес воды. - Я вам потом все объясню, - добавила она, заметив его недоумение.

Когда Уэддерберн снова открыл глаза, она заметила, что он беспокоится, не понимая, почему лежит здесь.

- Вы потеряли сознание в оранжерее, - сказала она.

- А орхидея?

- Я присмотрю за ней.

Уэддерберн потерял много крови, но в остальном ничего серьезного с ним не случилось. Ему дали выпить смесь бренди с розовым мясным экстрактом и отнесли наверх в постель. О невероятном происшествии экономка коротко рассказала доктору Хэддону.

- Пройдите к оранжерее, - уговаривала она. - Взгляните сами!

Холодный воздух врвался через распахнутые двери, и нездоровый аромат почти рассеялся. На кирпичном полу, среди больших темных пятен, валялись увядшие воздушные корни орхидеи. Стебель сломался, когда орхидея упала, края лепестков свернулись и потемнели.

Доктор наклонился было над орхидеей, но, заметив, что один корень чуть шевелится, остановился в нерешительности...

На следующее утро необыкновенная орхидея все еще лежала на том же месте, но теперь она начала разлагаться и уже почернела. Утренний ветер непрерывно хлопал дверью теплицы, все орхидеи Уэддерберна сморщились и поникли.

Но наверху у себя Уэддерберн был очень весел и болтлив. Он был в полном восторге от своего невероятного приключения.

## Новейший ускоритель

Пер. - Н.Волжина

Если уж кому случилось искать булавку, а найти золотой, так это моему доброму приятелю профессору Гибберну. Мне и прежде приходилось слышать, что многие исследователи попадали куда выше, чем целились, но такого, как с профессором Гибберном, еще ни с кем не бывало. Можно смело, без всяких преувеличений, сказать, что на этот раз его открытие произведет полный переворот в нашей жизни. А между тем Гибберн хотел создать всего лишь какое-нибудь тонизирующее средство, которое помогло бы апатичным людям поспевать за нашим беспокойным веком. Я сам уже не раз принимал этот препарат и теперь просто опишу его действие на мой организм - так будет лучше всего. Из дальнейшего вы увидите, какой богатой находкой окажется он для всех любителей новых ощущений.

Мы с профессором Гибберном, как известно многим, соседи по Фолкстону. Если память меня не подводит, несколько его портретов, и в молодости и в зрелом возрасте, были помещены в журнале "Стрэнд", кажется, в одном из последних номеров за 1899 год. Установить это точно я не могу, потому что кто-то взял у меня этот номер и до сих пор не вернул. Но читатель, вероятно, помнит высокий лоб и на редкость длинные черные брови Гибберна, которые придают его лицу нечто мефистофельское.

Профессор Гибберн живет на Аппер-Сэндгейт-роуд, в одном из тех прелестных особнячков, которые так оживляют западный конец этой улицы. Крыша у его домика островерхая, во фламандском стиле, портик мавританский, а маленькая рабочая комнатка профессора Гибберна смотрит на улицу большим фонарем в форме готического стрельчатого окна. В этой комнатке мы проводим вечеров за трубкой и беседой, когда я прихожу к нему. Гибберн - большой шутник, но от него услышишь не только шутку. Он часто рассказывает мне о своих занятиях, так как общение и беседы с людьми служат ему стимулом для работы, и поэтому у меня была возможность шаг за шагом проследить создание "Новейшего ускорителя". Разумеется, большую часть опытов Гибберн производил не в Фолкстоне, а на Гауэр-стрит, в новой, прекрасно оборудованной больничной лаборатории, где он первый и обосновался.

Как известно, если не всем, то уж образованным-то людям, во всяком случае, Гибберн прославился среди физиологов своими работами по изучению действия медикаментов на нервную систему. Там, где дело касается различных наркотических, снотворных и анестезирующих средств, ему, говорят, нет равных. Его авторитет как химика тоже велик, и в непроходимых джунглях загадок, окружающих клетки нервных узлов и осевые волокна, есть расчищенные им маленькие просветы и прогалины, недостижимые для нас до тех пор, пока он не сочтет нужным опубликовать результаты своих изысканий в этой области.

В последние годы, еще до открытия "Новейшего ускорителя", Гибберн много и весьма плодотворно работал над тонизирующими медикаментами. Благодаря ему медицина обогатилась по крайней мере тремя абсолютно надежными препаратами, значение которых во врачебной практике огромно. Препарат под названием "Сироп "Б" д-ра Гибберна" сохранил больше человеческих жизней, чем любая спасательная лодка на всем нашем побережье.

- Но такие пустяки меня совершенно не удовлетворяют, - сказал он мне однажды около года назад. - Все эти препараты либо подхлестывают нервные центры, не влияя на самые нервы, либо попросту увеличивают наши силы путем понижения нервной проводимости. Они дают лишь местный и очень неравномерный эффект. Одни усиливают деятельность сердца и внутренних органов, но притупляют мозг; другие действуют на мозг, как шампанское, никак не влияя на солнечное сплетение. А я добиваюсь - и добьюсь, вот увидите! - такого средства,

которое встряхнет вас всего с головы до пят и увеличит ваши силы в два... даже в три раза против нормы. Да! Вот чего я ищу!

- Это подействует на организм изнуоряюще, - заметил я.

- Безусловно! Но есть вы будете тоже в два-три раза больше. Подумайте только, о чем я говорю! Представьте себе пузырек... ну, скажем, такой, - он взял со стола зеленый флакон и стал постукивать им по столу в такт своим словам, - и в этом бесценном пузырьке заключена возможность вдвое скорее думать, вдвое скорее двигаться, вдвое скорее работать.

- Неужели это достижимо?

- Надеюсь, что да. А если нет, значит, у меня целый год пропал даром. Различные препараты гипофосфатов показывают, что нечто подобное... Ладно! Пусть подействует только в полтора раза - и то хорошо!

- И то хорошо! - согласился я.

- Возьмем для примера какого-нибудь государственного деятеля. У него бездна обязанностей, срочные дела, и со всем этим никак не справишься.

- Пусть напоит вашим снадобьем своего секретаря.

- И выиграет времени вдвое. Или возьмите себя. Положим, вам надо закончить книгу...

- Обычно я проклиная тот день, когда начал ее.

- Или вы врач. Заняты по горло, а вам надо сесть и обдумать диагноз. Или адвокат. Или готовитесь к экзаменам...

- Да с таких по гинее за каждую каплю вашего препарата! - воскликнул я. - Если не дороже!

- Или, скажем, дуэль, - продолжал Гибберн. - Когда все зависит от того, кто первый спустит курок.

- Или фехтование, - подхватил я.

- Если мне удастся сделать этот препарат универсальным, - сказал Гибберн, - вреда от него не будет никакого, разве что он на самую малость приблизит вас к старости. Но зато жизнь ваша вместит вдвое больше по сравнению с другими, так как вы...

- А все же на дуэли будет, пожалуй, нечестно... - в раздумье начал я.

- Это уж как решат секунданты, - заявил Гибберн.

Но я снова вернулся к исходной точке нашей беседы.

- И вы уверены, что такой препарат можно изобрести?

- Совершенно уверен, - сказал Гибберн, выглянув в окно, так как в эту минуту мимо дома что-то пронеслось с грохотом. - Вот изобрели же автомобиль! Собственно говоря...

Он умолк и, многозначительно улыбнувшись, постучал по столу зеленым пузырьком. - Собственно говоря, я такой состав знаю... Кое-что уже сделано...

По той нервной усмешке, с какой Гибберн произнес эти слова, я понял всю важность его признания. О своих опытах он заговаривал только тогда, когда они близились к концу.

- И, может быть... может быть, мой препарат будет ускорять даже больше чем вдвое.

- Это грандиозно, - сказал я не очень уверенно.

- Да, грандиозно.

Но мне кажется, тогда Гибберн и сам еще не понимал всей грандиозности своего открытия.

Помню, мы несколько раз возвращались к этому разговору. И с каждым разом Гибберн говорил о "Новейшем ускорителе" - так он назвал свой препарат - все с большей уверенностью. Иногда он начинал беспокоиться, не вызовет ли его "Ускоритель" каких-либо непредвиденных физиологических последствий; потом вдруг с нескрываемым корыстолюбием принимался обсуждать со мной коммерческую сторону дела.

- Это - открытие! - говорил Гибберн. - Великое открытие! Я дам миру нечто замечательное и вправе рассчитывать на приличную мзду. Высоты науки своим чередом, но, по-моему, мне должны предоставить монополию на мой препарат хотя бы лет на десять. В конце концов почему все лучшее от жизни должны получать какие-то колбасники!

Мой интерес к новому изобретению Гибберна не ослабевал. Я всегда отличался склонностью к метафизике. Меня увлекали парадоксы времени и пространства, и теперь я

начинал верить, что Гибберн готовит нам не больше и не меньше, как абсолютное ускорение нашей жизни. Представим себе человека, регулярно пользующегося этим препаратом: дни его будут насыщены до предела, но к одиннадцати годам он достигнет зрелости, в двадцать пять станет пожилым, а в тридцать уже ступит на путь к дряхлости. Следовательно, думал я, Гибберн сделает со своими пациентами то же самое, что делает природа с евреями и обитателями стран Востока: ведь в тринадцать-четырнадцать лет они совсем взрослые люди, к пятидесяти старики, а мыслят и действуют быстрее нашего.

Магия фармакопеи неизменно повергала меня в изумление. Лекарства могут сделать человека безумным, могут и успокоить; могут наделить его невероятной энергией и силой или же превратить в безвольную тряпку; могут разжечь в нем одни страсти и погасить другие! А теперь к арсеналу пузырьков, которые всегда в распоряжении врачей, прибавится еще одно чудо! Но Гибберна такие мысли мало занимали: он был весь поглощен технологией своего изобретения.

И вот седьмого или восьмого августа - время бежало быстро - профессор Гибберн сказал мне, что он поставил опыт дистилляции, который должен решить, что его ждет, победа или поражение, а десятого все было закончено, и "Новейший ускоритель" стал реальностью. Я шел в Фолкстон по Сэндгейт-хилл, кажется, в парикмахерскую, и встретил его - он спешил ко мне, поделиться своим успехом. Глаза у него блестели больше обычного, лицо покраснелось, и я сразу же заметил несвойственную ему раньше стремительность походки.

- Готово! - крикнул он и, схватив меня за руку, заговорил быстро-быстро. - Все готово! Пойдемте ко мне, посмотрите сами.

- Неужели правда?

- Правда! - воскликнул Гибберн. - Уму непостижимо! Пойдемте, пойдемте!

- И ускоряет... вдвое?

- Больше, гораздо больше. Мне даже страшно. Да вы посмотрите. Попробуйте его сами! Испытайте на себе! В жизни ничего подобного не было! - Он схватил меня за локоть и, не переставая взволнованно говорить, потащил за собой с такой силой, что мне пришлось пуститься рысью. Навстречу нам ехал омнибус, и все сидевшие в нем точно по команде уставились на нас, как это свойственно пассажирам таких экипажей.

Стоял один из тех ясных, жарких дней, которыми так богато лето в Фолкстоне, и все краски казались необычайно яркими, все контуры - необычайно четкими. Дул, разумеется, и ветерок, но разве легкий ветерок мог освежить меня сейчас? Наконец я взмолился о пощаде.

- Неужели слишком быстро? - удивился Гибберн и перешел с рыси на маршевый шаг.

- Вы что, уже приняли свое лекарство? - еле выговорил я.

- Нет, - ответил он. - Только выпил воды из той мензурки, самую капельку... Но мензурка была тщательно вымыта. Вчера вечером я действительно принял небольшую дозу. Но это - дело прошлое.

- И ускоряет вдвое? - спросил я, весь в поту подходя к его дому.

- В тысячу раз, во много тысяч раз! - выкрикнул Гибберн, театральным жестом распахивая настежь резную - в стиле Тюдоров - калитку своего сада.

- Фью! - свистнул я и последовал за ним.

- Я даже не могу установить точно, во сколько раз, - продолжал он, вынимая из кармана ключ.

- И вы...

- Это проливает новый свет на физиологию нервной системы, это переворачивает вверх ногами теорию зрительных ощущений... Одному богу известно, во сколько раз. Мы займемся этим позднее... А сейчас надо испробовать на себе.

- На себе? - переспросил я, идя за ним по коридору.

- Непременно! - сказал Гибберн уже в кабинете, повернувшись ко мне лицом. - Видите вот этот маленький зеленый пузырек? Впрочем, может быть, вы боитесь?



Я человек по природе осторожный и рисковать люблю больше в теории, чем на деле. Мне действительно было страшно, но гордость в карман не сунешь.

- Значит, вы пробовали? - Я старался оттянуть время.

- Пробовал, - ответил Гибберн. - И, кажется, нисколько не пострадал от этого. Правда? У меня даже цвет лица не изменился, а самочувствие...

Я сел в кресло.

- Дайте мне ваше зелье, - сказал я. - На худой конец не надо будет идти стричься, а это, по моему, самая тяжкая обязанность цивилизованного человека. Как его принимают?

- С водой, - ответил Гибберн, размашистым жестом ставя рядом со мной графин.

Он остановился у письменного стола и внимательно посмотрел на меня. В его тоне вдруг появились профессиональные нотки. - Это препарат не совсем обычный, - сказал он.

Я махнул рукой.

- Прежде всего должен вас предупредить: как только сделаете глоток, зажмурьтесь и минуты через две осторожно откройте глаза. Зрение у вас не исчезнет. Оно зависит от длины воздушных волн, а отнюдь не от их количества. Но если глаза у вас будут открыты, сетчатка получит шок, сопровождаемый сильным головокружением. Так что не забудьте зажмуриться.

- Есть! - сказал я. - Зажмурюсь.

- Далее: сохраняйте полную неподвижность. Не ерзайте в кресле, не то здорово ушибетесь. Помните, что ваш организм будет работать во много тысяч раз быстрее. Сердце, легкие, мускулы, мозг - решительно все. Вы и не заметите резкости своих жестов. Ощущения ваши останутся прежними, но все вокруг вас как бы замедлит ход. В этом-то и заключается вся странность.

- Боже мой! - воскликнул я. - Значит...

- Сейчас увидите, - сказал Гибберн, беря мензурку, и обвел взглядом письменный стол. - Стаканы, вода. Все готово. На первый раз нальем поменьше.

Драгоценная жидкость булькнула, переливаясь из пузырька в мензурку.

- Не забудьте, что я вам говорил, - сказал Гибберн и опрокинул мензурку в стакан с ловкостью итальянского лакея, наливающего виски. - Зажмурьте глаза как можно крепче и соблюдайте полную неподвижность в течение двух минут. Я скажу, когда можно открыть.

Он добавил в оба стакана немного воды.

- Да, вот еще что! Не вздумайте поставить стакан на стол. Держите его в руке, а локтем обопритесь о колено. Так... Правильно. А теперь...

Он поднял свой стакан.

- За "Новейший ускоритель"! - сказал я.

- За "Новейший ускоритель"! - подхватил Гибберн, и мы чокнулись, выпили, и я тотчас же закрыл глаза.

Вам знакома та пустота небытия, в которую погружаешься под наркозом? Сколько это продолжалось, я не знаю. Потом до меня донесся голос Гибберна. Я шевельнулся в кресле и открыл глаза. Гибберн стоял все там же и по-прежнему держал стакан в руке. Разница заключалась только в том, что теперь стакан был пуст.

- Ну? - сказал я.

- Ничего особенного не чувствуете?

- Ничего не чувствую. Пожалуй, легкое возбуждение. А больше ничего.

- Звуки?

- Тишина, - ответил я. - Да! Честное слово, полнейшая тишина! Только где-то кап-кап... точно дождик. Что это такое?

- Звуки, распавшиеся на свои элементы, - пояснил Гибберн.

Впрочем, я не ручаюсь за точность его слов.

Он повернулся к окну.

- Вам случалось раньше видеть, чтобы занавески висели вот так?

Я проследил за его взглядом и увидел, что один угол у занавески загнулся кверху на ветру и так и застыл.

- Нет, не случилось, - ответил я. - Что за странность!

- А это? - сказал он и разжал пальцы, державшие стакан.

Я, конечно, вздрогнул, ожидая, что стакан разобьется вдребезги. Но он не только не разбился, а повис в воздухе в полной неподвижности.

- Грубо говоря, - сказал Гибберн, - в наших широтах падающий предмет пролетает в первую секунду футов шестнадцать. То же самое происходит сейчас и с моим стаканом - из расчета шестнадцать футов в секунду. Но он не успел пролететь и сотой доли секунды. Теперь вы имеете некоторое представление о силе моего "Ускорителя". - И Гибберн стал водить рукой вокруг медленно опускающегося стакана, потом взял его за доньшко, тихонько поставил на стол и засмеялся.

- Ну-с?

- Недурно, - сказал я, осторожно поднимаясь с кресла.

Самочувствие у меня было отличное, мысли отчетливые, во всем теле какая-то легкость. Словом, все во мне заработало быстрее. Сердце, например, делало тысячу ударов в секунду, хотя это не вызывало у меня никаких неприятных ощущений. Я выглянул в окно.

Неподвижный велосипедист, с застывшим облачком пыли у заднего колеса, опутив голову, с бешеной скоростью догонял мчавшийся омнибус, который тоже не двигался с места. Я раскрыл рот от изумления при виде этого невероятного зрелища.

- Гибберн! - вырвалось у меня. - Сколько времени действует ваше зелье?

- Одному богу известно! - ответил он. - Последний раз я, доложу вам, сильно струхнул и сразу лег спать после приема. На сколько времени его хватит, не знаю, наверно, на несколько минут, а минуты кажутся часами. Но вообще-то сила действия начинает спадать довольно резко.

С гордостью отмечаю, что я не испытывал ни малейшего страха... может быть, потому, что был не один.

- А что, если нам пойти погулять? - предложил я.

- И в самом деле!

- Но нас увидят.

- Что вы! Что вы! Мы понесемся с такой быстротой, какая ни одному фокуснику не снилась. Идем! Как вы предпочитаете: в окно или в дверь?

И мы выскочили в окно.

Из всех чудес, которые я испытал на себе, о которых фантазировал или читал в книгах, эта небольшая прогулочка по Фолкстону в обществе профессора Гибберна после приема "Новейшего ускорителя" была самым странным, самым невероятным приключением за всю мою жизнь.

Мы выбежали из садика Гибберна и стали разглядывать экипажи, неподвижно застывшие посреди улицы. Верхушки колес того самого омнибуса, ноги лошадей, кончик хлыста и нижняя челюсть кондуктора (он, видимо, собирался зевнуть) чуть заметно двигались, но кузов этого неуклюжего рыдвана казался окаменевшим. И мы не слышали ни звука, если не считать легкого хрипа в горле кого-то из пассажиров. Кучер, кондуктор и остальные одиннадцать человек словно смерзлись с этой застывшей глыбой. Сначала такое зрелище поразило нас своей странностью, а потом, когда мы обошли омнибус со всех сторон, нам стало даже неприятно. Люди как люди, похожие на нас, и вдруг так нелепо застыли, не завершив начатых жестов! Девушка и молодой человек, улыбаясь, делали друг другу глазки, и эта улыбка грозила остаться на их лицах навеки; женщина во вздувшейся мешком накидке сидела, облокотившись на поручни и вперив немигающий взгляд в дом Гибберна; мужчина закручивал ус - ни дать ни взять восковая фигура в музее, а его сосед протянул окостеневшую руку и растопыренными пальцами поправлял съехавшую на затылок шляпу.

Мы разглядывали их, смеялись над ними, корчили им гримасы, но потом, почувствовав чуть ли не отвращение ко всей этой компании, пересекли дорогу под самым носом у велосипедиста и понеслись к взморью.

- Бог мой! - вдруг воскликнул Гибберн. - Посмотрите-ка!

Там, куда он указывал пальцем, по воздуху, медленно перебирая крылышками, двигалась со скоростью медлительнейшей из улиток - кто бы вы думали? - пчела!

И вот мы вышли на зеленый луг. Тут началось что-то совсем уж невообразимое. В музыкальной раковине играл оркестр, но мы слышали не музыку, а какое-то сипение или предсмертные вздохи, временами переходившие в нечто вроде приглушенного тиканья огромных часов. Люди вокруг кто стоял навывтяжку, кто, словно какое-то несуразное немое чучело, балансировал на одной ноге, прогуливаясь по лугу. Я прошел мимо пуделя, который подскочил кверху и теперь спускался на землю, чуть шевеля лапками в воздухе.

- Смотрите, смотрите! - крикнул Гибберн. Мы задержались на секунду перед щеголем в белом костюме в полоску, белых башмаках и соломенной панаме, который оглянулся назад и подмигнул двум разодетым дамам. Подмигивание - если разглядывать его не спеша, во всех подробностях, как это делали мы, - вещь малопривлекательная. Оно утрачивает всю свою игривую непринужденность, и вы вдруг замечаете, что подмигивающий глаз закрывается неплотно и из-под опущенного века видна нижняя часть глазного яблока.

- Отныне, - заявил я, - если господь бог не лишит меня памяти, я никогда не буду подмигивать.

- А также и улыбаться, - подхватил Гибберн, глядя на ответный оскал одной из дам.

- Однако становится невыносимо жарко, - сказал я. - Давайте убавим шаг.

- А-а, бросьте! - крикнул Гибберн.

Мы пошли дальше, пробираясь между креслами на колесах, стоявшими вдоль дорожки. Позы тех, кто сидел в этих креслах, большей частью казались почти естественными, зато на искаженные багровые физиономии музыкантов просто больно было смотреть.

Апоплексического вида джентльмен застыл в неподвижности, пытаясь сложить газету на ветру. Судя по всему, ветер был довольно сильный, но для нас его не существовало. Мы отошли в сторону и стали наблюдать за публикой издали. Разглядывать эту толпу, внезапно превратившуюся в музей восковых фигур, было чрезвычайно любопытно. Как это ни глупо, но, глядя на них, я преисполнился чувства собственного превосходства. Вы только представьте себе! Ведь все, что я сказал, подумал, сделал с того мгновения, как "Новейший ускоритель" проник в мою кровь, укладывалось для этих людей и для всей вселенной в десятую долю секунды!

- Ваш препарат... - начал было я, но Гибберн перебил меня.

- Вот она, проклятая старуха!

- Какая старуха?

- Моя соседка, - сказал Гибберн. - А у нее болонка, которая вечно лает. Нет! Искушение слишком велико!

Гибберн - человек непосредственный и иной раз бывает способен на мальчишеские выходки. Не успел я остановить его, как он ринулся вперед, схватил злосчастную собачонку и со всех ног помчался с ней к скалистому берегу. И удивительное дело! Собачонка, которую, кроме нас, никто не мог видеть, не выказала ни малейших признаков жизни - даже не залаяла, не трепыхнулась. Она продолжала крепко спать, хотя Гибберн держал ее за загривок. Похоже было, что в руках у него деревянная игрушка.

- Гибберн! - крикнул я. - Отпустите ее! - И добавил еще кое-что. Потом снова воззвал к нему:

- Гибберн, стойте! На нас все загорится; Смотрите, брюки уже тлеют.

Он хлопнул себя по бедру и в нерешительности остановился.

- Гибберн! - продолжал я, настигая его. - Отпустите собачонку. Бегать в такую жару! Ведь мы делаем две-три мили в секунду. Соппротивление воздуха! - заорал я. - Соппротивление воздуха! Слишком быстро движемся. Как метеориты! Все раскалилось! Гибберн! Гибберн! Я

весь в поту, у меня зуд во всем теле. Смотрите, люди оживают. Ваше зелье перестает действовать. Отпустите наконец собаку!

- Что?

- "Ускоритель" перестает действовать! - повторил я. - Мы слишком разгорячились. Действие "Ускорителя" кончается. Я весь взмок.

Гибберн посмотрел на меня. перевел взгляд на оркестр, хрипы и вздохи которого заметно участились. Потом сильным взмахом руки отшвырнул от себя собачонку. Она взвилась вверх, так и не проснувшись, и повисла над сомкнутыми зонтиками оживленно беседующих дам. Гибберн схватил меня за локоть.

- Черт возьми! - крикнул он. - Вы правы. Зуд во всем теле и... Да! Вон тот человек вынимает носовой платок. Движение совершенно явственное. Надо убираться отсюда, и как можно скорее.

Но это было уже не в наших силах. И, может статься, к счастью. Мы, наверное, пустились бы бежать, но тогда нас охватило бы пламенем. Тут и сомневаться нечего. А тогда нам это и в голову не пришло. Не успели мы с Гибберном сдвинуться с места, как действие "Ускорителя" прекратилось - мгновенно, за какую-нибудь долю секунды. У нас было такое ощущение, словно кто-то коротким рывком задернул занавес. Я услышал голос Гибберна: "Садитесь!" - и с перепугу шлепнулся на траву, сильно при этом обжегшись. В том месте и по сию пору остался выжженный круг. И как только я сел, всеобщее оцепенение кончилось.

Нечленораздельные хрипы оркестра слились в мелодию, гуляющие перестали балансировать на одной ноге и зашагали кто куда, газеты и флажки затрепетали на ветру, вслед за улыбками послышались слова, франт в соломенной панаме кончил свое подмигивание и с самодовольным видом отправился дальше; те, кто сидел в креслах, зашевелились и заговорили.

Мир снова ожил и уже не отставал от нас, вернее, мы перестали обгонять его. Такое ощущение знакомо пассажирам экспресса, резко замедляющего ход у вокзала. Секунду-другую передо мной все кружилось, я почувствовал приступ тошноты... и только. А собачонка, повисшая было в воздухе, куда взметнула ее рука Гибберна, камнем полетела вниз, прорвав зонтик одной из дам!

Это и спасло нас с Гибберном. Нашего внезапного появления никто здесь не заметил, если не считать одного тучного старика в кресле на колесах, который вздрогнул при виде нас, несколько раз недоверчиво покосился в нашу сторону и под конец сказал что-то сопровождавшей его сиделке. Раз! Вот и мы! Брюки на нас перестали тлеть почти мгновенно, но снизу меня все еще здорово припекало. Внимание всех, в том числе и оркестрантов увеселительного общества, впервые в жизни сбившихся с такта, было привлечено женскими криками и громким тьяканьем почтенной разжиревшей болонки, которая только что мирно спала справа от музыкальной раковины и вдруг угодила на зонтик дамы, сидевшей, совсем в другой стороне, да еще подпалила себе шерсть от стремительности такого перемещения. И это в наши-то дни, когда люди прямо-таки помешались на разных суевериях, психологических опытах и прочей ерунде! Все повскакали с мест, засуетились, налетая друг на друга, опрокидывая стулья и кресла. Прибежал полисмен. Чем там все кончилось, не знаю. Нам надо было как можно скорее выпутаться из этой истории и скрыться с глаз старика в кресле на колесах. Придя в себя, немножко остыв, поборов чувство тошноты, головокружение и общую растерянность, мы с Гибберном обошли толпу стороной и зашагали по дороге к его дому. Но в шуме, не умолкавшем позади, я совершенно явственно слышал голос джентльмена, который сидел рядом с обладательницей прорванного зонтика и распекал ни в чем не повинного служителя в фуражке с надписью "Надзиратель".

- Ах, не вы швырнули собаку? - бушевал он. - Тогда кто же?

Внезапный возврат нормальных движений и звуков в окружающем нас мире, а также, вполне понятно, опасения за самих себя (одежда все еще жгла нам тело, дымившиеся минуту назад брюки Гибберна превратились из белых в темно-бурые) помешали мне заняться

наблюдениями. Вообще на обратном пути ничего ценного для науки я сделать не мог. Пчелы на прежнем месте, разумеется, не оказалось. Когда мы вышли на Сэндгейт-роуд, я поискал глазами велосипедиста, но то ли он успел укатить, то ли его не было видно в уличной толчее. Зато омнибус, полный пассажиров, которые теперь все ожили, громыхал по мостовой где-то далеко впереди.

Добавлю еще, что подоконник, откуда мы прыгнули в сад, слегка обуглился, а на песчаной дорожке остались глубокие следы от наших ног.

Таковы были результаты моего первого знакомства с "Новейшим ускорителем". По сути дела, вся эта наша прогулка и то, что было сказано и сделано во время нее, заняли две-три секунды. Мы прожили полчаса, пока оркестр сыграл каких-нибудь два такта. Но ощущение у нас было такое, словно мир замер, давая нам возможность приглядеться к нему. Учитывая обстоятельства и главным образом опрометчивость, с которой мы выскочили из дому, нужно признать, что все могло кончиться для нас значительно хуже. Во всяком случае, наш первый опыт показал следующее: Гибберну придется еще немало потрудиться над своим "Ускорителем", прежде чем он станет годным для употребления, но эффективность его несомненна - тут придраться не к чему.

После наших с ним приключений Гибберн продолжает упорно работать, усовершенствуя свой препарат, и мне случалось неоднократно, без всякого для себя вреда, принимать различные дозы "Новейшего ускорителя" под наблюдением его творца. Должен, впрочем, признаться, что выходить из дому в таких случаях я уже не решался. Этот рассказ (вот вам пример действия "Ускорителя") написан мною за один присест. Я отрывался от работы только для того, чтобы откусить кусочек шоколада. Начат он был в шесть часов двадцать пять минут вечера, а сейчас на моих часах тридцать одна минута седьмого. Не передашь словами, какое это удобство - вырвать среди суматошного дня время и целиком отдаться работе!

Теперь Гибберн занят вопросом дозировки "Ускорителя" в зависимости от особенностей организма. В противовес этому составу он надеется изобрести и "Замедлитель", с тем чтобы регулировать чрезмерную силу первого своего изобретения. "Замедлитель", разумеется, будет обладать свойствами, прямо противоположными свойствам "Ускорителя". Прием одного этого лекарства позволит пациенту растянуть секунду своего времени на несколько часов и погрузиться в состояние покоя, застыть, наподобие ледника, в любом, даже самом шумном, самом раздражающем окружении.

Оба эти препарата должны произвести переворот в нашей цивилизации. Они положат начало освобождению от "Покровов времени", о которых писал Карлейль. "Ускоритель" поможет нам сосредоточиваться на каком-нибудь мгновении нашей жизни, требующем наивысшего подъема всех наших сил и способностей, а "Замедлитель" дарует нам полное спокойствие в самые тяжкие и томительные часы и дни. Может быть, я возлагаю чересчур большие надежды на еще не существующий "Замедлитель", но что касается "Ускорителя", то тут никаких споров быть не может. Его появление на рынке в хорошо усваиваемом, удобном для пользования разведении - дело нескольких месяцев. Маленькие зеленые бутылочки можно достать в любой аптеке и в любом аптекарском магазине по довольно высокой, но, принимая во внимание необычайные свойства этого препарата, отнюдь не чрезмерной цене. Он будет называться "Ускоритель для нервной системы. Патент д-ра Гибберна", и Гибберн надеется выпустить его трех степеней ускорения: 1:200, 1:900 и 1:2000, - чему будут соответствовать разноцветные этикетки - желтая, розовая и белая.

С помощью "Ускорителя" можно будет осуществить множество поистине удивительных вещей, ибо и самые ошеломляющие и даже преступные деяния удастся тогда совершать незаметно, так сказать, ныряя в щелки времени. Как и всякое сильно действующее средство, "Новейший ускоритель" не застрахован от злоупотреблений. Но, обсудив и эту сторону вопроса, мы с Гибберном пришли к выводу, что тут решающее слово останется за медицинским законодательством, а нас такие дела не касаются. Наша задача - изготовить и продавать "Ускоритель", а что из этого выйдет - посмотрим.



## **Видение Страшного суда**

Пер. - М. Михаловская.

Тра-а-ра-а!

Я прислушивался, ничего не понимая.

Та-ра-ра-ра!

- Боже мой! - пробормотал я спросонья. - Что за дьявольский тарарам!

- Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра! Та-ра-рра-ра!

- Этого вполне достаточно, - сказал я, - чтобы разбудить человека... - И внезапно замолк. -

Где же это я?

- Та-рра-рара! - Все громче и громче.

- Это, верно, какое-нибудь новое изобретение или...

Снова оглушительное турра-турра-турра!

- Нет, - сказал я погромче, чтобы расслышать свой собственный голос. - Это трубный глас в день Страшного суда.

- Тууу-рра!

Последний звук вытащил меня из могилы, как вытаскивают на крючке пескаря.

Я увидел свой надгробный памятник (довольно-таки заурядная штука; хотел бы я знать, кто это его соорудил?). Затем старый вяз и расстилавшееся вдали море исчезли, как облако пара, и вокруг меня оказалось великое множество людей (ни один смертный не мог бы их сосчитать): представители всех народов, всех языков и всех стран, дети разного возраста - и все это толпилось в необъятном, как небо, амфитеатре. А высоко над нами, на ослепительно белом облаке, служившем ему престолом, восседал господь бог и весь сонм его ангелов. Я сразу узнал Азраила по его темному одеянию, Михаила - по мечу, а величавый ангел, издававший трубный глас, все еще стоял с трубою в воздетой руке.

- Ничего не скажешь, быстро орудуют, - проговорил невысокий человечек, стоявший рядом со мной. - Удивительно быстро! Видите вон того ангела с книгой?! - И, чтобы получше рассмотреть, он то приседал, то вытягивал шею, глядя сквозь множество окружавших нас душ.

- Все здесь, - сказал он. - Решительно все. Теперь-то уж мы узнаем!..

- Вот Дарвин, - прибавил он, внезапно отклоняясь от темы. - Ему здорово попадет! А видите вон того высокого, представительного мужчину - он ловит взгляд господа бога - это сам герцог... Но здесь пропасть незнакомых людей!

- А-а! Вот и Пригглз, издатель. Чудной народ эти печатники! Пригглз был умный малый... Но мы узнаем и о нем всю подноготную! Уж я буду слушать во все уши. Я еще успею потешиться. Ведь моя фамилия на букву "С".

Он со свистом втянул воздух.

- А вот и исторические личности! Видите? Вон Генрих Восьмой. Ему-то многое припомнится. Черт побери! Ведь он Тюдор! - Он понизил голос. - Обратите внимание на этого парня, прямо перед нами, он с ног до головы оброс волосами. Это, видите ли, человек каменного века. А там опять.

Но я уже не слушал его болтовни, потому что уставился на господа бога.

- Это все? - спросил господь бог.

Ангел с книгой в руках (перед ним лежало бесчисленное множество таких книг, совсем как в читальне Британского музея) бросил на нас взгляд и, казалось, в одно мгновение всех пересчитал.

- Все, - отвечал он и добавил: - О господь, это была очень маленькая планета.

Бог внимательно оглядел всех нас.

- Итак, начнем, - промолвил он.

Ангел раскрыл книгу и произнес какое-то имя. Там несколько раз повторялся звук "а", и эхо раздалось со всех сторон, из глубины необозримого пространства. Я не расслышал имени, потому что человек, стоявший рядом со мной, отрывисто выкрикнул: "Что такое?!" Мне показалось, что имя прозвучало как "Ахав", но это же не мог быть тот Ахав, о котором упоминается в Ветхом завете.

В тот же миг небольшая черная фигура вознеслась на пушистом облаке к стопам господина бога. Это был осанистый мужчина в богатом чужеземном одеянии, с короной на голове; он сложил руки на груди и мрачно опустил голову.

- Итак? - промолвил бог, глядя на него сверху вниз.

Мы могли ясно расслышать ответ, ибо здесь акустика была поистине замечательной.

- Я признаю себя виновным, - сказал человек.

- Поведай им о своих деяниях, - молвил господь бог.

- Я был королем, - начал человек, - великим королем. Я был похотлив, горд и жесток. Я воевал, опустошая чужие страны; я воздвигал дворцы, но построены они на человеческой крови. Выслушай, о господь, всех этих свидетелей, взывающих к тебе о возмездии. Сотни и тысячи свидетелей. - Он указал на них рукой. - Мало того! Я велел схватить пророка - одного из твоих пророков.

- Одного из моих пророков, - повторил господь бог.

- Он не желал склониться передо мной, и я пытал его четыре дня и четыре ночи, до последнего его издыхания... Более того, о господь! Я богохульствовал. Я присвоил себе все твои преимущества.

- Присвоил себе мои преимущества, - повторил господь бог.

- Я заставил воздавать себе божественные почести. Нет такого греха, которого бы я не совершил! Нет такого злодеяния, которым я не осквернил бы свою душу! И вот наконец ты, господь, наказал меня!

Бог слегка повел бровями.

- Я был убит в сражении. И вот я стою перед тобою, достойный самой жестокой кары в твоём аду. Я не дерзаю лгать, не дерзаю оправдываться перед лицом твоего величия и возвещаю о своих беззакониях в присутствии всего рода человеческого.

Он умолк. Я хорошо разглядел его лицо. Оно показалось мне бледным и грозным, гордым и странно величавым. Я невольно вспомнил Сатану Мильтона.

- Большая часть сказанного взята с надписи на его обелиске, - молвил ангел, который следил по книге, водя перстом по странице.

- В самом деле? - не без удивления вымолвил тиран.

Тут бог внезапно наклонился, взял этого человека и посадил его себе на ладонь, словно для того, чтобы получше рассмотреть. Человек казался лишь темным штрихом на середине его длани.

- Он действительно совершил все это? - спросил господь бог.

Ангел провел десницей по книге и молвил как-то небрежно:

- До известной степени это так.

Взглянув опять на человека, я обнаружил, что его лицо странным образом изменилось. Он смотрел на ангела глазами, полными ужаса, прикрывая одной рукой рот, другой схватившись за голову. Куда девалось его царственное величие и дерзкий вызов?

- Читай, - промолвил господь бог.

И ангел читал, раскрывая перед нами во всех подробностях злодеяния этого изверга. Слушая его, мы испытывали чисто интеллектуальное наслаждение. В его отчете встречались, на мой взгляд, несколько "рискованные" места. Но небеса, конечно, имеют на это право...

Все смеялись. Даже у пророка всевышнего, которого подвергал пыткам этот тиран, появилась на устах улыбка. Великий злодей на поверку оказался смешным, ничтожным человеком!

- И как-то раз, - продолжал ангел с улыбкой, возбудившей наше любопытство, - он переел и пришел в скверное настроение, и вот...

- О, только не это! - завопил изверг. - Никто на свете об этом не знает. Этого никогда не было! - визжал он. - Да, я был скверный человек, можно сказать, злодей. Я совершил немало преступлений, но я не способен на такую глупость, на такую чудовищную глупость...

Ангел продолжал читать.

- О господь! - взмолился злодей. - Они не должны об этом знать! Я готов покаяться! Просить прощения...

И злодей начал неистово прыгать на длани господней, горько плача. Внезапно им овладел стыд. Он кинулся в сторону, собираясь спрыгнуть с господнего мизинца. Но, быстро повернув свое запястье, господь остановил его; тогда он бросился к отверстию между большим и указательным пальцами, но большой палец прижал его к ладони. А между тем ангел все читал и читал, а злодей метался взад и вперед по ладони, потом вдруг повернулся к нам спиной и юркнул в рукав господень.

Я ждал, что господь выгонит его оттуда, но милость божья беспредельна.

Ангел остановился.

- Все, - сказал он.

- Следующий, - ответил бог, и, прежде чем ангел успел назвать имя, на ладони уже стояло обросшее волосами существо в грязных лохмотьях.

- Как! Разве ад в рукаве у бога? - спросил мой сосед.

- А существует ли вообще ад? - спросил я, в свою очередь.

- Я все глаза, признаться, проглядел, - сказал он, стараясь рассмотреть в просветах между ногами ангелов, - но что-то нигде не вижу небесного града.

- Ш-ш-ш, - прошептала, сердито нахмурившись, маленькая женщина, стоявшая возле нас.

- Послушайте, что поведает нам сей великий святой!

- Он был владыкой земли, а я был пророком бога небесного, - вскричал святой, - и, узрев меня, дивились смертные! Ибо я, господи, познал всю славу твоей райской обители. Мне наносили удары ножом, загоняли под ногти лучины, сдирали полосами мясо со спины, но все муки, все терзания я с радостью переносил во славу твою!

Бог улыбнулся.

- И под конец я пошел еле прикрытый лохмотьями, весь в язвах, и смрад исходил от меня, но я объят был святым рвением.

У Гавриила вырвался смешок.

- И я лег у ворот тирана, - продолжал святой, - как некое знамение, как живое чудо...

- Как некая мерзость, - промолвил ангел и начал читать про святого, не обращая внимания, что тот все твердил о жесточайших мучениях во славу божью, которым он себя подвергал, чтобы обрести блаженство рая.

И представьте, все, что было написано в книге об этом святом, также оказалось откровением и чудом.

Мне кажется, не прошло и десяти секунд, как святой, в свою очередь, заметался на великой длани господней. Не прошло и десяти секунд! И вот он тоже завопил, слушая беспощадные разоблачения, и, подобно злодею, спасся бегством под защиту рукава господня. И нам дозволено было туда заглянуть. Там, под сенью божьего милосердия, бок о бок, как братья, сидели эти два существа, утратившие все свои иллюзии.

Туда же спасся бегством и я, когда пришел мой черед.

- А теперь, - промолвил бог, вытряхивая нас из своего рукава на планету, где нам суждено было жить, на планету, быстро вращающуюся вокруг своего солнца, сиявшего зелеными огнями Сириуса.

- Теперь, когда вы стали немного лучше понимать и меня и друг друга... попробуйте-ка снова.

Затем он и окружавшие его ангелы повернулись и внезапно исчезли.

Исчез и престол.

Вокруг меня простиралась прекрасная страна, такая мне и во сне не снилась: пустынная, суровая и чудесная. И меня окружали просветленные души людей в новых, преображенных телах.

## ***В обсерватории Аву***

Пер. - З.Березина.

Обсерватория Аву на острове Борнео стоит на вершине горы. К северу от нее поднимается потухший вулкан, черный ночью, на фоне безбрежной синевы неба. От небольшого круглого здания с грибовидным куполом склоны круто обрываются вниз к мрачным тайнам тропического леса. Ярдах в пятидесяти от обсерватории находится домик, где живут главный астроном и его помощник, а немного поодаль - хижины их туземных слуг.

Тэдди, начальник обсерватории, болел лихорадкой и не выходил из дому. Его помощник Вудхауз постоял немного, любуясь тропической ночью, прежде чем приступить к своей одинокой вахте. А ночь выдалась на редкость тихая. Время от времени в хижинах туземцев слышались голоса и смех или из таинственной глубины леса доносился крик какого-нибудь неведомого зверя. Словно призраки, появлялись из мрака ночные насекомые и порхали вокруг фонаря. Вудхауз, может быть, думал о том, как много неизвестного еще таится в черной чаще там, внизу, ибо для естествоиспытателя девственные леса Борнео - до сих пор страна чудес, полная удивительных загадок и едва намечающихся открытий. Желтый огонь фонаря, который он держал в руке, спорил с бесконечной гаммой цветов, от лиловато-голубого до черного, в которые был окрашен ландшафт. Лицо и руки Вудхауза были смазаны мазью, предохраняющей от укусов moskitov.

Даже в наши дни, когда научились фотографировать небо, нелегко работать в обсерватории временного типа, оборудованной только телескопом и самыми примитивными приборами, ибо приходится вести наблюдения в неудобной позе и подолгу не двигаться. Вудхауз вздохнул, когда подумал о предстоящей ему утомительной ночи, потянулся и вошел в обсерваторию.

Читатель, весьма возможно, знаком с устройством обыкновенной астрономической обсерватории. Здание строится в форме цилиндра с очень легкой полукруглой крышей, которую можно вращать изнутри. В центре на каменной подставке стоит телескоп, а часовой механизм, компенсирующий вращение земного шара, позволяет не выпускать из поля зрения намеченную к наблюдению звезду. Помимо этого, у основания телескопа имеется целая система колес и винтов, с помощью которых астроном его регулирует. В подвижной крыше, разумеется, есть прорез, перемещающийся при обозрении неба вместе с объективом телескопа. Наблюдатель сидит или лежит на наклонной деревянной скамье, которую он может откатывать в любое место в зависимости от положения телескопа. Чтобы наблюдаемые звезды казались ярче, в обсерватории должно быть темно, насколько это возможно.

Когда Вудхауз вошел в круглое здание, пламя фонаря ярко разгорелось, и окружающий мрак отступил в черные тени позади огромного телескопа, а потом, когда пламя начало слабеть, снова разлился по всему помещению. Через прорез в крыше виднелась бездонная прозрачная синева неба, в которой шесть звезд сияли тропическим блеском, и их сияние роняло бледный отсвет на черную трубу телескопа. Вудхауз переместил крышу; перейдя к телескопу, он повернул сначала одно, затем другое колесо, и огромный цилиндр медленно качнулся и занял новое положение. Потом он посмотрел в искатель, маленький подсобный телескоп, еще немного сдвинул крышу, сделал кое-какие приготовления и пустил часовой механизм. Он снял куртку, потому что ночь была очень жаркой, и откатил на место неудобную скамейку, к

которой был прикован на ближайшие четыре часа. Вздыхнув, он покорно приступил к наблюдению над тайнами пространства.

В обсерватории стало тихо, огонь в фонаре постепенно меркнул. Далеко в лесу какой-то зверь порою рычал от страха или боли или звал свою самку, а у хижин переговаривались слуги-малайцы. Вот один из них затянул странную песню, которую время от времени подхватывали остальные. Вскоре все они, по-видимому, улеглись спать, потому что больше никаких звуков оттуда не долетало, и шепчущая тишина ночи становилась все более и более глубокой.

Мерно тикал часовой механизм. Москит назойливо гудел, исследуя все уголки помещения, и загудел еще злее, когда налетел на покрытое мазью лицо Вудхауза. Потом погас фонарь, и обсерватория погрузилась во мрак.

Телескоп медленно передвигался, и Вудхаузу пришлось изменить позу, когда сидеть стало совсем уже неудобно.

Он наблюдал за небольшой группой звезд в Млечном Пути, в одной из которых его начальник заметил или вообразил странную игру цвета. Это не входило в работу, для которой обсерватория была предназначена, и, очевидно, именно потому Вудхауз испытывал глубокий интерес. Он, должно быть, отрешился от всего земного. Все его внимание было направлено на огромный синий круг в поле телескопа - круг, усеянный, как казалось, неисчислимым множеством звезд и сверкающий в своей черной оправе. Ему чудилось, что он стал бестелесным, словно сам парил в эфире. Бесконечно далеко было бледно-красное пятнышко, за которым он наблюдал.

Вдруг звезды скрылись. На миг их заслонило что-то черное, потом они появились снова. - Вот странно, - сказал Вудхауз. - Птица какая, что ли?

Явление повторилось, и тотчас же огромная труба качнулась, как от сильного толчка. Потом в куполе обсерватории раздался ряд громовых ударов. Звезды словно смело в сторону, когда телескоп, который не был закреплен, сдвинулся с прореза в крыше.

- Великий боже! - воскликнул Вудхауз. - Что здесь происходит?

Казалось, какое-то огромное черное тело, хлопая подобием крыльев, барахтается в прорезе. Через мгновение отверстие в крыше снова очистилось, и светлый туман Млечного Пути засиял тепло и ярко.

Внутренняя поверхность крыши была совершенно черной, и только какое-то царапанье выдавало присутствие неизвестного существа.

Вудхауз поднялся со скамейки. От неожиданности его бросило в пот, и он весь дрожал. Где это существо, кто бы оно ни было, здесь или снаружи? Во всяком случае, ясно: оно очень большое. Что-то пронеслось мимо прореза, и телескоп качнулся. Вудхауз вздрогнул и поднял руку. Значит, оно в обсерватории, здесь, с ним! Оно, должно быть, уцепилось за крышу. Что же это, черт возьми? И видит ли оно в темноте?

С минуту он стоял в полном оцепенении. Зверь, кто бы он там ни был, царапался с внутренней стороны купола, потом что-то захлопало крылом почти у самого лица Вудхауза, и он увидел мимолетный отблеск звездного света на шкуре, подобной промасленной шагреновой коже. Сильным ударом со столика сбросило графин.

Ощущение, что какое-то существо, похожее на птицу, летает в нескольких ярдах от его лица, было чрезвычайно неприятно Вудхаузу. Когда к нему вернулась способность соображать, он решил, что это, видимо, какая-нибудь ночная птица или огромная летучая мышь. Как бы то ни было, он должен увидеть, что это такое; достав из кармана спичку, он чиркнул ею о подставку телескопа. Протянулась дымящаяся полоска фосфорического света, спичка на мгновение вспыхнула, и он заметил взмах огромного крыла, глянец серо-коричневой шерсти, и в ту же минуту на его лицо обрушился удар, и спичку вышибло из руки. Зверь метил Вудхаузу в голову, когти рванули его щеку. Он пошатнулся и упал, послышался звон разлетевшегося вдребезги фонаря. Последовал новый удар. Вудхауз был оглушен и чувствовал, как по щеке у него течет теплая кровь. Инстинктивно он понял, что в опасности



глаза; желая защитить их, он перевернулся лицом вниз и сделал попытку уползти под телескоп.

Теперь он получил удар в спину и почувствовал, как разорвалась рубашка, а потом неведомое существо ударилось о крышу обсерватории. Он протиснулся, насколько мог, глубже между деревянной скамейкой и трубой прибора, так что незащищенными оказались главным образом ноги. Ими он сможет по крайней мере лягнуть. Он все еще не отдавал себе отчета в происходящем. Странное существо металось в темноте и вдруг вцепилось в телескоп, телескоп закачался, загрохотал приводной механизм. Один раз оно захлопало крыльями совсем рядом, и он, не помня себя, нанес удар и почувствовал под ногой мягкое тело. Теперь он был ужасно перепуган. Оно, очевидно, очень большое, если так качнуло телескоп. На миг он увидел контур головы, черной в звездном свете, с остроконечными торчащими ушами и гребнем между ними. Она показалась ему величиной с голову большой собаки. Тут он стал что есть силы звать на помощь.

Тогда тварь напала на него снова. В эту минуту его рука нащупала что-то рядом на полу. Он лягнул наугад, и в следующее мгновение в его лодыжку впились острые зубы. Он снова закричал и попробовал освободить ногу, отчаянно брыкаясь другой. Потом он сообразил, что под рукой у него разбитый графин, и, схватив его, приподнялся, пошарил во мраке и поймал бархатистое ухо, напоминавшее ухо большой кошки. Он сжал в руке горлышко графина и обрушил сильный удар на голову странного зверя. Он повторил удар и потом стал колотить и тыкать обломанным краем графина туда, где, как ему казалось, была морда.

Маленькие зубы разжались. Вудхауз высвободил ногу и сильно лягнул ею. Его затошнило, когда под каблуком у него хрустнули кости. Он почувствовал зубы зверя у себя на руке и ударил повыше, туда, где, по его расчетам, была морда; удар пришелся по мокрой шерсти.

Наступила передышка, потом он услышал царапанье когтей и звук волочащегося по полу тяжелого тела. Потом все смолкло, только слышалось, как порывисто дышал Вудхауз и зверьлизывал раны. Все было черно, кроме квадрата синего неба со сверкающими пылинками звезд, под которым теперь силуэтом обрисовывался край трубы телескопа. Ожидание тянулось нескончаемо долго.

Неужели оно нападет снова? Вудхауз пошарил в кармане брюк и нашел еще одну спичку. Он попробовал зажечь ее, но пол был мокрый, и она зашипела и погасла. Он выругался. Было непонятно, где находится дверь. В пылу битвы он совсем потерял ориентацию. Неведомый зверь, встревоженный вспышкой света, зашевелился снова. "Тайм!" - крикнул Вудхауз в порыве внезапного веселья, но зверь не напал на него. "Должно быть, я ранил его разбитым графином", - подумал он и почувствовал тупую боль в ноге. Вероятно, идет кровь. Интересно, удержится ли он на ногах, если встанет. Ночь была удивительно тихой. Не доносилось ни малейшего звука. Эти сонные болваны не слышали ни хлопанья крыльев о крышу, ни его криков, незачем кричать понапрасну. Чудовище забило крыльями, и это заставило его принять оборонительное положение. Он ударился локтем о скамейку, и она с грохотом опрокинулась. Он выругал сначала скамейку, а потом окружающий мрак.

Внезапно квадрат звездного света словно закачался из стороны в сторону. Что он, теряет сознание? Только этого не хватало! Он сжал кулаки и стиснул зубы, стараясь овладеть собой. Где же в конце концов дверь? Ему пришло в голову, что он мог бы определить это по звездам, видимым в прорез крыши. Звезды, которые он увидел, находились в созвездии Стрельца и к юго-востоку от него, - значит, дверь должна быть на севере. Или это будет северо-запад? Он напряженно думал. Если бы удалось открыть дверь, он мог бы убежать. Очень возможно, что эта тварь ранена. Ждать больше стало неведомо.

- Вот что! - сказал Вудхауз. - Если ты не нападаешь, я сам нападу на тебя.

Тут оно стало карабкаться по стене обсерватории, и он увидел, как черная тень постепенно закрывает прорез. Что оно, удирает? Он забыл о двери, прислушиваясь, как шатается и скрипит купол. Теперь он почему-то не испытывал больше ни страха, ни возбуждения. Им овладела какая-то странная слабость. Резко очерченный квадрат света с пересекающим его

черным силуэтом становился все меньше и меньше. Это казалось удивительным. Вудхауз чувствовал сильную жажду, но не собирался достать чего-нибудь попить. Ему казалось, что он проваливается в какую-то бесконечно длинную трубу.

Он почувствовал, что ему обжигает горло, и до его сознания дошло, что уже совсем светло и один из слуг-даяков как-то странно смотрит на него. Потом над ним очутилось перевернутое лицо Тэдди. Чудак этот Тэдди, как это он так ходит? Сознание стало проясняться, и он понял, что голова его лежит у Тэдди на коленях и тот вливает ему в рот бренди. А потом он увидел трубу телескопа, всю измазанную красным. Он начал вспоминать.

- Ну и беспорядок вы устроили в обсерватории, - сказал Тэдди.

Мальчик-даяк сбивал желток с бренди, Вудхауз проглотил эту смесь и приподнялся. Он почувствовал острую боль. У него были забинтованы нога и рука и половина лица. Осколки стекла, запятнанные красным, валялись на полу, скамейка опрокинулась, и у противоположной стены виднелась темная лужица. Дверь была растворена, и он увидел серую вершину горы на фоне ослепительно голубого неба.

- Фу! - сказал Вудхауз. - Кто это здесь резал телят? Уведите меня отсюда.

Потом он вспомнил страшного зверя и свою борьбу с ним.

- Что это было? - сказал он Тэдди. - Что это за тварь, с которой я дрался?

- Вам лучше знать, - сказал Тэдди. - Но не думайте об этом сейчас. Дать еще попить?

Тэдди, однако, очень хотелось поскорее все узнать, и ему пришлось выдержать большую борьбу с самим собой, чтобы выполнить свое намерение оставить Вудхауза в покое, уложить его в постель и дать ему выпастись после дозы мясного экстракта, который Тэдди считал для него полезным. Потом они вместе обсудили ночное происшествие.

- Больше всего, - сказал Вудхауз, - оно было похоже на огромную летучую мышь. У него короткие остроконечные уши, мягкая шерсть и перепончатые крылья. Зубы у него небольшие, но дьявольски острые, челюсть, однако, вряд ли особенно сильная, иначе оно прокусило бы мне ногу.

- Оно почти так и есть, - сказал Тэдди.

- Насколько я понял, оно довольно ловко пускает в ход когти. Вот, кажется, и все, что мне известно об этом звере. Мой разговор с ним был хоть и интимным, если можно так выразиться, но отнюдь не откровенным.

- Даяки толкуют что-то о большом колуго, клангутанге, что бы это ни означало. Он редко нападает на человека, но вы, наверно, его раздражили. Они говорят, что бывает большой колуго и маленький колуго, и еще какой-то, с непонятным названием. Все они летают ночью. Мне известно, что в этих местах водятся летающие крысы и летающие лемуры, но они не такие крупные.

- Есть многое на небе и земле, - сказал Вудхауз, и Тэдди вздохнул, услышав эту цитату, - и в частности в лесах Борнео, что и во сне твоей учености не снилось. Впрочем, если фауна Борнео вздумает обрушить на меня еще какую-либо неожиданность, я предпочел бы, чтобы она сделала это не ночью, когда я работаю в обсерватории совсем один.

## Страна Слепых

Пер. - Н.Вольпин.

За триста с лишним миль от Чимборасо, за сто миль от снегов Котопахи, в самой глуши Эквадорских Анд, отрезанная от мира человеческого, лежит таинственная горная долина - Страна Слепых. Много лет назад долина эта была еще настолько открыта для мира, что люди все же могли страшными ущельями, по ледяным тропам проникать на ее плоские луга. И вот пришли туда люди - две-три семьи перуанских метисов, бежавших от жадности и тирании жестокого испанского наместника. Потом произошло страшное извержение Миндобамбы, когда семнадцать суток в Квито стояла ночь, и вода в Ягвачи превратилась в

кипяток, и до самого Гуаякиля вся рыба, всплыв, перемерла. По тихоокеанским склонам шли обвалы, быстрое таяние и внезапные наводнения, и целый гребень древнего Арауканского хребта пополз, обрушился с громом и навсегда отрезал для исследователя путь в Страну Слепых. Но одного из тех первых поселенцев землетрясение захватило по эту сторону ущелья, и пришлось ему - хочешь не хочешь - забыть жену и ребенка, и всех друзей, и все свое добро, оставленное там в горах, и начать жизнь сызнова в низине. Он начал ее сызнова, но не было ему удачи, его постигла слепота, и умер он, сосланный в рудники. Но из его рассказов родилась легенда, которая в Андах живет и поныне.

Он рассказывал, почему отважился уйти из надежного приюта, куда еще ребенком его привезли привязанным к ламе между двух больших тюков с пожитками. В долине, говорил он, было все, чего может желать человек: пресная вода, пастбища и ровный климат, склоны тучного чернозема, заросли кустарника, дающего вкусные плоды, а большой сосновый бор на одном из склонов высоко в горах задерживал лавины. С трех сторон серо-зеленые каменные утесы поднимали ввысь свои головы, покрытые снеговыми шапками. Но ледники не доходили сюда, протекая мимо по дальним склонам, и только время от времени скатывались на края долины большие глыбы льда. Там никогда не бывало ни дождя, ни снега, но бесчисленные родники позволяли провести орошение по всей долине и превратить ее в сплошное, богатое кормом пастбище. Поселенцам, что и говорить, жилось привольно. Их скот тучнел и множился. Одно только омрачало их счастье. Но и этого одного было довольно, чтобы отравить горечью их дни. Странная болезнь напала на них, поражая слепотой всех новорожденных, а иногда и детей постарше. И вот, чтобы найти отворотное средство от проклятия слепоты, человек с великим трудом и опасностями вернулся по ущелью в низину. В те времена люди в подобных случаях думали не о микробах и заразе, а только о грехах; и ему казалось, что причина напасти - небрежение к религии: среди поселенцев не было священника, и они не позаботились, придя в долину, тотчас воздвигнуть церковь. Он надумал построить в долине церковь, настоящую - недорогую, но красивую церковь. Ему нужны были мощи и разные другие предметы культа - священные реликвии, таинственные образки, листки с молитвами. В котомке у него лежал слиток местного серебра, происхождение которого он отказывался объяснить. Настойчиво - с настойчивостью неумелого лгуна - он твердил, что серебра в долине нет. По его словам, поселенцы, не нуждаясь в подобных ценностях, собрали там у себя все свои деньги и украшения и переплавили их в этот слиток, чтобы купить на него божью помощь от своей болезни. Я так и вижу его, молодого подслеповатого горца, как незадолго перед катастрофой он стоит, опаленный солнцем, исхудалый, взволнованный, незнакомый с нравами жителей низины, и, лихорадочно комкая шляпу, рассказывает свою историю какому-нибудь остроглазому, жадно слушающему священнику. Представляю себе, как поспешил он потом домой с чудотворными средствами против их беды, и в каком безграничном отчаянии он стоял перед нагромождением скал, возникшим на том месте, где еще недавно был вход в ущелье. Но история его дальнейших злоключений для меня потеряна. Знаю только о его недоброй смерти через несколько лет. Жалким скитальцем пошел он прочь от места обвала. Ручей, некогда проложивший в скалах то ущелье, теперь выбивается из жерла горной пещеры, а предание, порожденное скупым, бессвязным рассказом пришельца, выросло в легенду о слепом народе где-то "там за горами", которую можно услышать и сегодня.

А среди малочисленного населения отрезанной с тех пор и забытой долины болезнь шла своим ходом. Старики, полуослепшие, двигались ощупью, молодые видели смутно, дети же, рождавшиеся у них, не видели вовсе. Но жизнь была легка в этой отгороженной снегами, потерянной для остального мира котловине, где не было ни шипов, ни колючек, ни вредных насекомых и не было других животных, кроме смиренных лам, которых жители привели с собой, перегнали через крутые перевалы, протащили по руслам зажатых ущельями рек. Зрение меркло так постепенно, что люди едва замечали его утрату. Незрячих детей водили туда и сюда по долине, пока они не ознакомятся с ней в совершенстве, и когда зрение среди них угасло

окончательно, люди все же продолжали жить. Они успели даже приспособиться в слепоте к употреблению огня, который старательно разводился в каменных очагах. Поначалу это было первобытное племя, не знавшее грамоты, лишь слегка затронутое испанской культурой, но сохранившее притом некоторые традиции искусства и ремесел древнего Перу да кое-что от его ныне утраченной философии. Поколение сменялось поколением. Они многое забыли, многое изобрели. Предание о широком мире, откуда они пришли, приобрело для них туманную окраску мифа. Во всем, кроме зрения, они были сильными, способными людьми, и волей случая и наследственности среди них родился человек, обладавший самобытным умом и даром убеждения, а за этим и еще один. Оба оставили по себе след. Маленькая община росла численно и духовно, разрешая встававшие перед нею по мере ее роста социальные и экономические задачи. Поколение сменялось поколением, поколение поколением. Настал час, когда в пятнадцатом поколении родился на свет младенец, явившийся прямым потомком того человека, который ушел из долины со слитком серебра искать помощи у бога и не вернулся. И тут случилось, что явился в общину человек из внешнего мира. Об этом-то человеке и пойдет рассказ.

Он был уроженец горной страны по соседству с Квито, человек, ходивший в море и повидавший свет, по-своему начитанный, ловкий, предприимчивый. Группа англичан, приехавшая в Эквадор лазать по горам, взяла его взамен одного из трех своих проводников-швейцарцев, который заболел. Он лазал с ними повсюду, но при попытке взойти на Параскотопетл - Маттергорн Анд - исчез и считался погибшим. Этот случай описывался уже не раз. Лучше всех излагает его Пойнтер. Он рассказывает, как их небольшая партия одолела тяжелый, почти вертикальный подъем до подножия последней, самой неприступной кручи; как они на ночь собрали шалаш в снегу на узкой площадке уступа, и дальше с подлинно драматической силой передает, как вскоре они обнаружили, что Нуньеса нет. Они кричали, но ответа не было; кричали и свистели и больше не спали в ту ночь.

Когда рассвело, они увидели следы его падения. Наверное, он и вскрикнуть не успел. Он сорвался с восточного, неисследованного, склона горы. С большой высоты он свалился на крутой снежный откос и пробороздил по нему колею, катясь со снежным обвалом. Борозда вела прямо к краю стремнины, а там все уже терялось в бездне. Далеко-далеко внизу виднелись сквозь туман деревья, росшие в узкой, зажатой между гор долине - утерянной Стране Слепых. Но путешественники не могли знать, что то была утерянная для людей Страна Слепых, не могли отличить ее от любой узкой горной долины. Потрясенные несчастьем, они не решились в тот день завершить восхождение, а после Пойнтер был призван на войну, так и не успев повторить попытку. До сего дня Параскотопетл вздымает свой непокоренный гребень и шалаш Пойнтера, никем не навещаемый, ветшает в снегах.

А упавший остался жив.

От края склона он пролетел вниз тысячу футов и в снежном облаке упал на снежный склон, еще более крутой, чем верхний. Он кубарем катился вниз по этому склону, оглушенный и без чувств, но ни одна кость в его теле не была повреждена. Дальше пошли более отлогие склоны, и по ним он скатился до самого конца и лежал, погребенный в мягких белых сугробах, сорвавшихся с ним вместе и спасших его. Когда он очнулся, у него было смутное ощущение, будто он лежит больной в кровати; потом с сообразительностью горца он осознал свое положение и начал разгребать снег вокруг себя. Он отдыхал и опять принимался за работу, пока не увидел звезды. Лежа навзничь, он спрашивал себя, где он и что с ним случилось. Он ощупал себя всего и обнаружил, что на одежде у него не хватает многих пуговиц, а куртка завернулась ему на голову. В кармане не оказалось ножа, и шапка пропала, хотя была завязана под подбородком. Он вспомнил, что пошел поискать камней, чтобы поднять повыше стены шалаша. Его топорик исчез.

Он понял, что упал, и, подняв глаза, проследил головокружительный путь своего падения, показавшийся еще страшнее в призрачном свете восходящего месяца. Какое-то время он тупо глядел на белесый вздымавшийся перед ним утес, что с каждой минутой вырастал все выше



из отступающей, как морской отлив, темноты. Очарованный фантастической, таинственной красотой зрелища, он лежал притихший. Потом забился в припадке рыданий и смеха.

Прошло немало времени, когда он увидел, что лежит у нижней границы снегов. Пробежав взглядом по отлогому откосу, залитому лунным светом, он различил как будто темную, усеянную валунами луговину. Превозмогая боль во всех суставах, он принудил себя встать на ноги; пробился кое-как сквозь сугробы рыхлого снега и долго потом спускался вниз, пока не вышел на ту луговину. Здесь он лег, или скорее упал, у валуна, жадно глотнул из фляги, сохранившейся во внутреннем кармане, и сразу заснул.

Его разбудило пение птиц на деревьях далеко внизу.

Он привстал и увидел, что находится на небольшом пригорке у подножия высоченной кручи, прорезанной ложбиной, по которой он скатился сюда в своем сугробе. Напротив уходила в небо другая такая же стена. Ущелье между обеими кручами тянулось на запад и восток и было залито утренним светом, который озарил на западе громаду рухнувшей горы, закрывшей вход в ущелье. Внизу под ногами открывалась пропасть, но в ложбине, пониже границы снегов, Нуньес нашел тесную расселину, где по стенам струилась вода. Что ж, нужно отважиться! Спуск оказался легче, чем можно было ожидать, и вывел на другой одинокий пригорок; а дальше, за скалистым кряжем, начинался поросший лесом склон. Нуньес осмотрелся и решил пойти вверх по ущелью, так как увидел, что там оно расширяется, переходя в зеленую луговину, посреди которой он теперь ясно различал скопление каменных хибарок необычного вида. Местами приходилось ползти по обрыву на четвереньках. Через некоторое время восходившее солнце перестало бить в ущелье, птичий щебет умолк, и воздух вокруг стал холоден и темен. Зато далекая луговина со своими домиками становилась все светлей. Он взобрался на утес и заметил среди скал - так как был наблюдателем - папоротник невиданной породы, который как бы протягивал из щелей цепкие ярко-зеленые руки. Он сорвал несколько листьев, пожевал их черешки и решил, что они съедобны.

К полудню он выбрался наконец из ущелья на луговину и солнечный свет. Тело одеревенело от усталости. Он сел в тени утеса, наполнил флягу водой из родника, выпил все до капли и лег отдохнуть, перед тем как двинуться дальше, к домам.

Вид у них был странный, да и вся долина, чем дальше он на нее смотрел, тем она ему казалась удивительней. Большую часть ее занимал сочный, зеленый луг, точно звездами, усыпанный красивыми цветами и обводненный с редкой заботливостью; покосы, видимо, производились здесь планомерно по участкам. Вверху долину огораживали стена и что-то очень похожее на окружной оросительный канал, от которого по лугу разбегались питающие растительность ручейки, а за каналом, выше по склонам, щипали скудную траву стада лам. Здесь и там к стене лепились навесы, как видно, служившие кровом или же местом кормежки для тех же лам. Оросительные ручьи стекались к главному каналу в середине долины, обнесенному с обеих сторон оградой по пояс вышиной, что придавало глухому поселку странно городской вид, и это впечатление еще усиливалось оттого, что во все концы в строгом порядке расходилось множество мощенных черным и белым камнем дорожек, и вдоль каждой дорожки тянулась еще какая-то забавная закраина. Дома в деревне не жались в кучу, как в знакомых ему горных деревнях, - они выстроились двумя сплошными рядами по обеим сторонам центральной улицы, на диво чистой; тут и там их пестрые фасады прорезала дверь, но не видно было ни одного окна. Фасады были пестры какой-то беспорядочной пестротой - обмазаны цементом, где серым, где бурым, где аспидно-черным или исчерна-коричневым. Эта нелепая обмазка и вызвала у Нуньеса впервые мысль о слепоте. "Ну и наляпал человек! - подумал он. - Верно, был слеп, как летучая мышь".

Он спустился по круче и подошел к стене и каналу, окружавшим долину, к тому месту, где канал каскадом тонких колеблющихся струй выбрасывал избыток воды в глубину ущелья. Теперь Нуньес видел в дальнем конце луговины много мужчин и женщин, которые сидели на стогах скошенной травы, как будто отдыхая; поближе к деревне - ватагу валявшихся на земле детей, а еще ближе, совсем неподалеку, - трех мужчин, несших на коромыслах ведро По



дорожке, что тянулась от окружной стены к домам. На всех троих была одежда из шерсти ламы, кожаные башмаки и пояса, а на головах - суконные шапки с длинными наушниками. Они шли гуськом, медленным шагом и позевывая на ходу, точно не спали всю ночь. Их осанка была так степенна и такой у них был успокоительно-благополучный и благопристойный вид, что Нуньес после минутного колебания выпрямился на своем уступе во весь рост, стал на самом видном месте и крикнул что есть силы. Эхо раскатилось по долине.

Трое остановились и завертели головами, как будто озираясь. Они поворачивали лица то в одну, то в другую сторону, а Нуньес махал во всю мочь руками. Но сколько он ни махал, те как будто не видели его и лишь какое-то время спустя двинулись к горам, забирая правее, чем нужно, и что-то крикнули словно бы в ответ. Нуньес опять закричал, потом еще раз, вновь замахал руками - все так же безуспешно, и тут вторично слово "слепой" всплыло в его сознании. "Дурачье! Слепые они, что ли?" - подумал он.

Когда наконец, накричавшись и позлившись в досталь, Нуньес пересек по мостику канал, отыскал в стене калитку и подошел к ним, он убедился, что они и в самом деле слепы. Он решил, что попал в Страну Слепых, о которой рассказывает предание. Эта уверенность возникла у него вместе с предчувствием небывалого и завидного приключения. Трое стояли бок о бок, не глядя на него, и настороженно прислушивались к незнакомым шагам. Они жались друг к другу, словно боялись чего-то, и Нуньес увидел, что веки у них опущены и запали, как если бы глазные яблоки под ними ссохлись. Что-то сходное с благоговейным страхом проступило на их лицах.

- Человек, - сказал один на языке, в котором Нуньес едва узнал испанский. - Это человек - человек или дух, вышедший из скал.

А Нуньес подходил уверенным шагом юноши, вступающего в жизнь. Старые сказания о затерянной долине и Стране Слепых всплывали в памяти, и в мысли вплеталась припевом старая пословица:

"В Стране Слепых и кривой - король".

"В Стране Слепых и кривой - король".

Очень учтиво он поздоровался со слепцами. Он с ними говорил, а сам глядел в оба.

- Откуда он, брат Педро? - спросил один.

- Вышел из скал.

- Я пришел из-за гор, - сказал Нуньес, - из страны за горами, где люди - зрячие. Из окрестностей Боготы - города, где живут сто тысяч человек и который тянется так далеко, что глазу не видно, куда.

- "Не видно, - повторил про себя Педро. - Глазу не видно..."

- Из скал, - подхватил второй слепец. - Он вышел из скал.

Их одежда, примечал Нуньес, была странного покроя, и у каждого сшита по-своему.

Они напугали его, двинувшись разом навстречу, каждый с вытянутой вперед рукой. Он отпрянул на шаг от этих наведенных на него растопыренных пальцев.

- Поди сюда, - сказал третий слепец, подступив к нему так же на шаг, и мягко обхватил его.

Слепцы держали Нуньеса. Ни слова не добавив, они принялись его ощупывать.

- Осторожно! - крикнул он, когда ему ткнули пальцем в глаз. И убедился, что глаз с трепещущими веками кажется им странным. Они ощупали его глаза вторично.

- Странное создание, Корреа, - сказал тот, кого звали Педро. - Какой у него жесткий волос! Как у ламы.

- Шершав, как скалы, породившие его, - сказал Корреа, ощупывая небритый подбородок Нуньеса мягкой, чуть влажной рукой. - Может быть, потом он станет глаже.

Нуньес слегка противился обследованию, но слепые цепко держали его.

- Осторожно! - повторил он.

- Говорит, - сказал третий. - Это, конечно, человек.

- Ух! - крикнул Педро, ощупывая его жесткую куртку.

- Итак, ты пришел в мир? - спросил Педро.

- Пришел из мира. Из-за гор и ледников; прямо из-за тех вершин, что на полдороге к солнцу. Из большого, большого мира, который простерся на двенадцать дней пути, до самого моря. Они как будто и не слушали его.

- Наши отцы говорили нам, что человек может быть сотворен силами природы, - сказал Корреа: - теплом, влагой и гниением, да, гниением.

- Отведем-ка его к старейшинам, - предложил Педро.

- Сперва покричим, - сказал Корреа, - чтобы нам не напугать детей. Ведь это - чудище.

Они стали кричать, а Педро пошел впереди и взял Нуньеса за руку, чтобы повести его к домам. Нуньес отдернул руку.

- Я же зрячий, - сказал он.

- Зрячий? - переспросил Корреа.

- Да, зрячий, - повторил Нуньес, обернувшись к нему, и споткнулся о ведро Педро.

- Его чувства еще несовершенны, - сказал третий слепец. - Он спотыкается и говорит бессмысленные слова. Веди его за руку.

- Как хотите, - сказал Нуньес и, усмехнувшись, дал себя вести.

Как видно, они ничего не знают о зрении. Ладно, придет время, он им покажет, что это за штука!

Послышались возгласы, и он увидел толпу, собравшуюся на главной улице.

Эта первая встреча с населением Страны Слепых обернулась для него тяжелым испытанием нервов и терпения - куда более тяжелым, чем он ожидал. Деревня была больше, чем казалась ему издавек, а штукатурка домов выглядела еще несуразней. Дети, мужчины и женщины (он с удовольствием отметил, что иные женщины и девушки были хороши собой, хотя глаза и у них были закрыты и вдавлены) обступили его толпой, хватали, ощупывали мягкими ладонями, обнюхивали, вслушивались в каждое слово. Все же многие девушки и дети пугливо сторонились его. Да и в самом деле голос его был резок и груб по сравнению с певучими голосами слепцов. Его совсем затолкали. Три его проводника с видом собственников не отступали от него ни на шаг и беспрестанно повторяли:

- Дикий человек со скал.

- Богота, - сказал он. - Богота. За горным хребтом.

- Дикий человек говорит дикие слова, - пояснил Педро. - Вы когда-нибудь слышали такое слово - "богота"? Его ум еще не сложился. Речь у него только в зачатке.

Маленький мальчик ущипнул его за руку.

- Богота, - передразнил он.

- Да. Город, не то что ваша деревня... Я пришел из большого мира, где у людей есть глаза, где люди видят.

- Его имя - Богота, - решили слепцы.

- Он спотыкается, - сказал Корреа. - Когда мы шли сюда, он два раза споткнулся.

- Отведем его к старейшинам.

Его вдруг втолкнули через дверь в комнату, где было темным-темно и только в дальнем углу слабо тлел огонь. Толпа ввалилась за ним, закрыв последний доступ дневному свету, и Нуньес с разлету грохнулся прямо на вытянутые ноги сидящего человека. Еще кого-то его вскинутая рука, когда он падал, задела по лицу. Он ощутил под ладонью что-то мягкое, услышал сердитый окрик и с минуту отбивался от множества схвативших его рук.

Получилась какая-то односторонняя драка. Он понял свое положение и затих.

- Я упал, - сказал он. - У вас тут не видно ни зги.

Наступило молчание, как будто невидимые люди вокруг старались понять его слова. Потом послышался голос Корреа:

- Он лишь недавно сотворен, он спотыкается при ходьбе и пересыпает свою речь бессмысленными словами.

Другие тоже что-то о нем говорили, но он не мог все как следует расслышать и понять.

- Можно мне сесть? - спросил он, воспользовавшись минутным молчанием. - Я больше не буду отбиваться.

Они посоветовались и позволили ему сесть.

Чей-то старческий голос стал допрашивать его, и Нуньес попробовал рассказать о большом мире, откуда он упал к ним, о небе, о горах, о зрении и других подобных чудесах - рассказать о них этим старейшинам, сидевшим во мраке в Стране Слепых. Но что он им ни говорил, они ничему не верили и ничего не понимали. Этого он не ожидал. Они даже не понимали иных его слов. На веку четырнадцати поколений эти люди были слепы и отрезаны от зрячего мира. Все слова, относившиеся к зрению, стерлись для них или изменили смысл; стерлись предания о внешнем мире, превратившись в детскую сказку, и больше их не тревожило, что там делается, за скалистыми кручами, над их окружной стеной. Появлялись среди них слепые мудрецы, пересматривали обрывки верований и преданий, донесенных ими от зрячего прошлого, и признали это все пустыми домыслами и заменили их новыми, более трезвыми толкованиями. Многие в их образных представлениях отмерло вместе с глазами, и они составили себе новые представления, подсказанные все истончавшимися слухом и осязанием. Нуньес постепенно это понял; ожидание, что слепцы в изумлении склонятся перед его происхождением и дарованиями, не оправдалось; и когда его жалкая попытка объяснить им, что такое зрение, была отвергнута, сочтена за бессвязный бред вновь сотворенного человека, старающегося описать свои неясные ощущения, он сдался и, подавленный, слушал их назидания. И вот старейший среди слепых стал раскрывать ему тайны жизни, философии и веры. Он говорил, что мир (то есть их долина) был сначала пустой ямой в скалах, а потом возникли сперва неодушевленные предметы, лишенные дара осязания, и ламы, и еще другие существа, у которых очень мало разума; затем появились люди и, наконец, ангелы, которых можно слышать, когда они поют и шелестят над головами, но которых коснуться нельзя. Последнее сильно озадачило Нуньеса, пока он не сообразил, что речь идет о птицах.

Дальше он поведал Нуньесу, как время разделилось на жаркое и холодное (у слепых это значило день и ночь), и объяснил, что в жаркое время положено спать, а работать надо, пока холодно. И что сейчас весь город слепых не спит только по случаю его, Нуньеса, появления. Он сказал, что Нуньес, несомненно, для того и создан, чтобы учиться приобретенной ими мудрости и служить ей, и что, несмотря на недоразвитость своего ума и неловкость движений, он должен мужаться и упорствовать в учении, - и эти слова все столпившиеся у входа встретили одобрительным ропотом. Потом он сказал, что ночь (слепые день называли ночью) давно наступила и всем надлежит вернуться ко сну. Он спросил, умеет ли Нуньес спать, и Нуньес ответил, что умеет, но что перед сном он должен поесть.

Ему принесли пищу - кружку молока ламы и ломоть грубого хлеба с солью - и отвели его в укромное место, где бы он мог поесть неслышно для других и потом соснуть до той поры, когда прохлада горного вечера поднимет всех для их нового дня. Но Нуньес не спал.

Вместо этого он сидел, где его оставили, и, вытянув усталые ноги, перебирал в памяти все неожиданности, сопровождавшие его приход в долину. Он нет-нет; а рассмеется то добродушно, то негодуя.

- "Ум еще не сложился", - повторял он. - "Не развиты чувства!" Им и в голову не приходит, что они оскорбили своего ниспосланного свыше короля и властителя. Вижу, придется мне их образумить. Только нужно подумать... Подумать!

Солнце склонилось к закату, а он все еще раздумывал.

Нуньес всегда умел почувствовать красоту, и когда он смотрел на охваченные заревом снежные склоны и ледники, замыкавшие со всех сторон долину, ему казалось, что ничего прекраснее он никогда не видел. От зрелища этой недоступной красоты он перевел взгляд на деревню и орошенные поля, утопавшие в сумраке, и вдруг им овладело волнение, и он от всего сердца стал благодарить судьбу, что она наделила его даром зрения.

- Го-го! Сюда, Богота, сюда! - услышал он голос из деревни.

Он встал ухмыляясь. Сейчас он раз навсегда покажет этим людям, что значит для человека зрение. Они его станут искать и не найдут.

- Что же ты не идешь, Богота! - сказал голос.

Он беззвучно засмеялся и, крадучись, сделал два шага вбок от дорожки.

- Не топчи траву, Богота: этого делать нельзя.

Нуньес сам еле слышал шорох своих шагов. Он остановился в изумлении.

Человек, чей голос его кликал, бежал по черно-пегой мощеной дорожке прямо на него.

Нуньес опять вступил на дорожку.

- Вот я, - сказал он.

- Почему ты не шел на зов? - спросил слепец. - Что, тебя надо водить, как младенца? Ты разве не слышишь дороги, когда идешь?

Нуньес засмеялся.

- Я вижу ее, - сказал он.

- Нет такого слова "вижу", - сказал слепой, помолчав. - Брось свой вздор и ступай за мной на звук шагов.

Нуньес, досадуя, пошел за ним.

- Придет и мое время, - сказал он.

- Ты научишься, - ответил слепой. - В мире многому надо учиться.

- А ты слышал поговорку: "В Стране Слепых и кривой - король"?

- Что значит слепой? - небрежно бросил через плечо слепец.

Прошло четыре дня, и пятый застал короля слепых все еще скрывающимся среди своих подданных в обличье неуклюжего, никчемного чужака.

Провозгласить себя королем, увидел он, куда труднее, чем он предполагал, и пока что, обдумывая свой coup d'état [государственный переворот (франц.)], он делал, что ему приказывали, и учился порядкам и обычаям Страны Слепых. Он нашел, что работать и гулять по ночам очень неудобно, и решил, что это он изменит в первую очередь.

Народ слепцов вел простую, трудовую жизнь, добродетельную и счастливую, если видеть добродетели и счастье в том, что обычно понимают люди под этими словами. Они трудились, но не слишком обременяя себя работой; у них было вдоволь и пищи и одежды; были дни и месяцы отдыха; они охотно занимались музыкой и пением; познали любовь и рождали детей.

Удивительно, как уверенно и точно двигались они в своем упорядоченном мире. Все было здесь приспособлено к их нуждам, каждая из дорожек, расходящихся лучами по долине, шла под определенным углом к остальным и распознавалась по особой нарезке на закраине. Все препятствия, все неровности на дорожках и лугах были давно удалены, все навыки и весь уклад слепых, естественно, возникали из тех или иных потребностей. Чувства их чудесно изошрились, за пятнадцать шагов они улавливали и различали малейшее движение человека, даже слышали биение его сердца. Интонация давно заменила для них выражение лица, касание заменило жест. Мотыгой, лопатой и граблями они работали свободно и уверенно, как заправские садовники. Их обоняние было чрезвычайно тонко; они по-собачьи, чутьем распознавали индивидуальные различия; уверенно и ловко справлялись с уходом за ламами, которые жили в скалах наверху и доверчиво подходили к ограде, чтобы получить корм или укрыться под кровом. Но как легки и свободны могут быть движения слепого, это Нуньес узнал лишь тогда, когда вздумал наконец утвердить свою волю.

Он поднял мятеж только после бесплодных попыток действовать убеждением.

Сперва он пробовал от случая к случаю заговаривать с ними о зрении.

- Смотрите, люди, - говорил он. - Многое во мне вам непонятно.

Случалось иногда, двое-трое из них слушали его: сидели с умным видом, наклонив голову и наставив ухо, а он всячески старался объяснить им, что значит "видеть". Среди слушавших его была девушка с менее красными и запавшими веками, чем у других. Так и чудилось, что у нее за веками прячутся глаза, и ее-то в особенности надеялся он убедить. Он говорил о радостях зрения, о том, как прекрасны, когда на них глядишь, горы и небо, и утренняя заря, а

те слушали с недоверчивой усмешкой, переходившей тотчас же в осуждение. Ему отвечали, что нет никаких гор, а у конца скал, где ламы щиплют траву, лежит конец мира: туда упирается дырявая крыша мироздания, с которой падают роса и лавины. Когда же он упорно твердил, что у мира нет ни конца, ни крыши, что конец и крыша - лишь выдумка слепых, ему отвечали, что мысли его порочны. Насколько он умел описать им небо с облаками и звездами, оно представлялось им нелепой и страшной пустотой. Как могла она заменить ту гладкую крышу мироздания, о которой говорила их религия! Они свято верили, что эта дырявая крыша восхитительно гладка на ощупь. Он понял, что его объяснения оскорбляют их, и, отказавшись от такого подхода, попробовал показать им практическую ценность зрения. Как-то утром он увидел, что Педро по дороге, называвшейся Семнадцатой, направляется к центральным домам, увидел издалека, когда слепые еще не могли услышать или учуять идущего, и сказал им: "Скоро Педро будет здесь". Один старик возразил, что Педро нечего делать на Семнадцатой дороге, и тут, как бы в подтверждение его слов, Педро свернул на Десятую и торопливо зашагал обратно к окружной стене. А Нуньеса подняли на смех, когда Педро так и не пришел, и после, когда он, желая оправдаться, надел на Педро с расспросами, тот все отрицал, смеясь над ним в лицо, и с тех пор они стали врагами.

Потом он уговорил их, чтобы ему позволили пройти лугами весь долгий путь по отлогому склону до самой стены и чтоб его сопровождал один из них, а он станет описывать ему все, что делается в деревне промеж домов. Он видел, как кое-кто входил и выходил, но то, что они полагали значительным, происходило внутри или позади безоконных домов деревни - все то, что они сами приметили для проверки, - а этого он как раз не видел и не смог описать им. И вот, когда он потерпел поражение, а те не удержались и высмеяли его, он и решил обратиться к силе. Ему пришло на ум схватить лопату, повалить двух-трех из них на землю и в честной борьбе доказать им превосходство зрячего. Следуя своему решению, он уже схватил лопату, и тут он узнал о себе нечто для него самого неожиданное: что он просто не может хладнокровно ударить слепого.

Он остановился в нерешительности и понял: от слепых не укрылось, что он схватил лопату. Они все настороженно склонили головы набок и, наставив ухо, ждали, что он сделает дальше.

- Положи лопату, - сказал один.

И Нуньеса охватило чувство беспомощности и отвращения. Он едва не послушался.

Тогда он отшвырнул одного прямо к стене дома и стремглав бросился мимо него вон из деревни.

Он пересек луг, оставив за собою полосу примятой травы, и присел на закраину одной из бесчисленных дорожек. Он ощущал некоторый душевный подъем, как каждый в начале борьбы, но больше смущение. Он начал сознавать, что с людьми более низкого духовного уровня, нежели ты сам, даже и бороться успешно нельзя. Он увидел издали, что по всей улице мужчины выходят из домов, вооруженные лопатами и кольями, и движутся на него широким строем по нескольким дорожкам сразу. Подвигались они медленно, переговариваясь между собой, и много раз весь отряд вдруг останавливался, слепые поводили носами и прислушивались.

Когда Нуньес увидел это в первый раз, он рассмеялся. Но потом ему стало не до смеха.

Один слепец учуял его след на сырой траве и пошел по нему, нагибаясь и на ощупь проверяя дорогу.

Минут пять Нуньес следил за медленным продвижением отряда; затем его поначалу смутное желание что-то выкинуть и показать себя перешло в исступление. Он вскочил, сделал несколько шагов к окружной стене, повернулся и прошел немного назад. Те выстроились в полукруг и замерли, прислушиваясь.

Он тоже остановился, крепко сжав лопату в обеих руках. Не напасть ли на них?

Кровь стучала у него в ушах, отбивая ритм припева: "В Стране Слепых и кривой - король".

Напасть на них?



Он оглянулся на высокую неприступную стену позади - неприступную из-за гладкой штукатурки, но всюду прорезанную множеством калиток - и на приближающуюся цепь преследователей. Им на подмогу из деревни выходили теперь и другие.

- Напасть?

- Богота! - крикнул один. - Богота! Где ты?

Он еще крепче сжал лопату и пошел лугами назад к деревне, а слепые, едва он сделал шаг, тотчас двинулись на него.

- Я изобью их, если они меня тронут, - сказал он. - Видит бог, изобью!

И он громко закричал:

- Эй вы, я буду делать у вас в долине все, что захочу! Слышите? Буду делать, что хочу, и ходить куда хочу!

Они быстро надвигались на него - ошупью, но все же очень быстро. Это было похоже на игру в жмурки, только навыворот: глаза завязаны у всех, кроме одного.

- Держи его! - крикнул кто-то.

Нуньес увидел, что уже охвачен дугой широкого незамкнутого круга преследователей. "Пора! - вдруг почувствовал он. - Нужно действовать решительно и быстро".

- Вы не понимаете! - крикнул он громким голосом, который должен был звучать сильно и властно, а прозвучал надорванно. - Вы слепые, а я зрячий. Оставьте меня!

- Богота! Положи лопату! И не ходи по траве.

Последний приказ, чудовищный в своей вежливой снисходительности, его взорвал.

- Я вас изувечу! - взревел он, захлебываясь от бешенства. - Видит бог, я изувечу вас! Оставьте меня!

Он побежал, толком не зная, куда бежать. Сперва он побежал от ближайшего к нему слепого, потому что мерзко было бы его ударить. Потом приостановился, сделал рывок, чтоб уйти от их рядов, смыкавшихся все тесней. Метнулся было в промежуток пошире, но двое слепых, сразу учуяв приближение его шагов, устремились друг к другу. Нуньес кинулся вперед, увидел, что сейчас его схватят, и... стукнул лопатой. Послышался глухой звук удара по руке и плечу, человек упал, завопив от боли, - он пробился.

Пробился! Теперь он был опять возле домов, а слепые, размахивая лопатами и кольями, носились взад и вперед с какой-то рассудительной стремительностью.

Он услышал за собой шаги, услышал как раз вовремя, чтобы увидеть высокого детину, вынесшегося вперед и метившего в него на слух. Он растерялся, швырнул в противника лопатой, промахнулся на целый ярд, завертелся вьюном и побежал прочь, с воплем шархнувшись от другого слепца.

Ужас охватил его. В исступлении он кидался туда и сюда, увертывался, когда в том не было нужды, и, торопясь смотреть сразу во все стороны, спотыкался. Была секунда, когда он, споткнувшись, растянулся на земле, и они слышали его падение. Далеко впереди в окружной стене виднелась открытая калитка; это было как просвет в небо. Он кинулся к ней стремглав. Он даже не оглянулся ни разу на преследователей, пока не достиг той калитки. Шатаясь, он прошел по мосту, вскарабкался вверх по скалам, к изумлению и ужасу молодой ламы, которая тотчас усккала от него, и лег, задыхаясь, наземь.

Так окончился его *сoup d'etat*.

Два дня и две ночи он провел за стеной Долины Слепых, без пищи и крова и размышляя о полученном им неожиданном уроке. В ходе своих размышлений он не раз со все более горькой иронией повторял неоправдавшуюся пословицу: "В Стране Слепых и кривой - король". Он думал больше всего о том, как ему одолеть и покорить народ слепцов, и все ясней понимал, что это для него неосуществимо. У него нет оружия, а добыть его теперь будет очень трудно.

Яд цивилизации проник даже в его родную Боготу, и, отравленный им, Нуньес не мог заставить себя пойти и убить слепого. Конечно, сделай он это, он потом диктовал бы свои условия, грозя народу слепцов поголовным истреблением. Но нельзя же человеку не спать, и рано или поздно, когда он уснет...

Он пробовал также искать пищу там, среди сосен, укрываться под сосновыми ветвями от ночного холода и подумывал, как бы изловчиться и поймать ламу, чтобы затем как-нибудь убить ее - пришибить, что ли, камнем - и получить таким образом хоть мясо. Но ламы, видно, заподозрили в нем врага, глядели на него недоверчивыми карими глазами и плевались, когда он подходил поближе. На третий день у него началась лихорадка, и страх обуял его. В конце концов он приполз к стене Страны Слепых с намерением заключить мир. Он полз вдоль канала и звал, пока к воротам не вышли двое слепых. Он вступил с ними в переговоры.

- Я был безумен, - сказал он, - но я только недавно создан.

Это им понравилось.

Он сказал, что стал теперь умнее и раскаивается в своих проступках.

И тут неожиданно для себя он расплакался, потому что был слаб и болен, но они это сочли за добрый знак.

Его спросили, считает ли он по-прежнему, что умеет "видеть".

- Нет, - сказал он. - То было безумие. Это слово ничего не значит, меньше чем ничего.

Его спросили, что у нас над головой.

- На высоте десяти десяти человеческих ростов над миром простирается крыша... каменная крыша, гладкая-прегладкая...

Он опять истерически разрыдался.

- Не спрашивайте больше ни о чем, дайте мне сперва поест, или я умру.

Он ожидал жестокого наказания, но слепые умели проявить терпимость. Они усмотрели в его мятеже лишь новое доказательство того, что он слабоумный и стоит на низшей ступени развития. Его просто выпороли и велели ему исполнять самую тяжелую черную работу, какая только нашлась, и он, не видя, как иначе заработать свой хлеб, покорно делал, что ему приказывали.

Несколько дней он был болен, и они заботливо ухаживали за ним. Это облегчило ему тяжесть подчинения. Но его заставляли лежать в темноте, что было для него большим лишением. Слепые философы приходили к нему, толковали о низком уровне его развития и так вразумительно укоряли за его сомнения в каменной крышке, закрывающей коробку их вселенной, что он сам едва не стал считать себя жертвой наваждения, не видя над собою этой крышки.

Так Нуньес сделался гражданином Страны Слепых. Жители ее уже не сливались для него в однородную массу, а приобрели в его глазах свои индивидуальные особенности, между тем как мир за горами становился все более далеким, нереальным. Здесь, в новой жизни, был его хозяин Якоб - добродушный человек, если его не раздражать. Был племянник Якоба - Педро; и была Медина-Саротэ, младшая дочь Якоба. Ее не слишком ценили в мире слепых, потому что у нее были точеные черты лица, и ей недоставало той приятной шелковистой гладкости, которая составляет для слепого идеал женской красоты. Но Нуньес с самого начала находил ее красивой, а теперь считал красивейшим созданием на земле. Ее сомкнутые веки не были вдавлены и красны, как у остальных в долине, - казалось, они могут в любое мгновение вновь подняться; и у нее были длинные ресницы, что считалось здесь уродливым. Голос ее, густой и звучный, не удовлетворял взыскательному слуху жителей долины. Вот почему у нее не было жениха.

Наступила пора, когда Нуньес стал думать, что, получи он ее в жены, он безропотно остался бы в долине до конца своих дней.

Он наблюдал за ней, искал случая оказать ей небольшую услугу; и вот он заметил, что и она тянется к нему. Как-то на праздничном собрании они сидели рядом при слабом свете звезд и слушали тихую музыку. Он коснулся ее пальцев и осмелился их пожать. Она тихонько ответила на пожатие. А однажды, когда они обедали в темноте, он почувствовал, что ее рука осторожно ищет его руку, и тут как раз огонь вспыхнул ярче, и он увидел выражение нежности на ее лице.

Он стал искать беседы с нею.

Однажды в лунную летнюю ночь он пришел к ней, когда она сидела и пряла. В серебряном свете она сама казалась серебристой и загадочной. Он сел у ее ног и сказал, что любит ее, и говорил, какой она ему кажется красивой. У него был голос влюбленного, он звучал с нежной почтительностью, почти благоговейно, а она никогда до той поры не знала мужского поклонения. Она не дала ему определенного ответа, но было ясно, что его слова ей приятны.

С того часа он заговаривал с нею при каждой возможности. Долина стала для него миром, а мир за горами, где люди жили в свете солнца, казался ему теперь волшебной сказкой, которую он когда-нибудь станет нашептывать ей на ухо. Очень робко и осторожно он пробовал заводить с ней разговор о зрении.

Зрение представлялось ей поэтическим вымыслом, и она виновато слушала описания звезд и гор и своей собственной нежной, лунно-белой красоты, как будто слушать это было преступным попустительством. Она не верила, понимая лишь наполовину, но испытывала непонятную радость, а ему казалось, что она все понимает и верит всему.

Его любовь стала менее благоговейной и более смелой. Он решил просить девушку в жены у Якоба и старейшин, но она робела и оттягивала, пока одна из ее старших сестер не опередила их и сама не сообщила Якобу, что Медина-Саротэ и Нуньес любят друг друга.

Мысль о женитьбе Нуньеса на Медине-Саротэ вызвала сначала сильные возражения: не потому чтобы девушку очень ценили, а просто потому, что Нуньеса считали существом особого рода - кретином, недоразвитым человеком, стоящим ниже допустимого уровня. Сестры злобно воспротивились, говорили, что девушка навлекает позор на всю семью. А старый Якоб, хотя и был по-своему расположен к неуклюжему, послушному рабу, только покачивал головой и твердил, что это невозможно. Всю молодежь приводила в ярость мысль о порче расы, а один парень так разошелся, что грубо обругал Нуньеса и ударил его. Нуньес не остался в долгу. В первый раз за долгие дни ему довелось убедиться, что зрение и в сумерках может дать преимущество. После этой драки больше ни у кого не было охоты поднимать на него руку. Но брак все еще признавали немыслимым.

Старый Якоб питал нежность к своей младшей дочери и печалился, когда она плакала у него на плече.

- Пойми, моя родная, он же идиот. Он бредит наяву; он ничего не умеет делать толком.

- Знаю, - плакала Медина-Саротэ. - Но он сейчас лучше, чем был. Он становится все лучше. И он силен, дорогой мой отец, и добр, сильнее и добрей всех людей в мире. И он меня любит... и я, отец, я тоже его люблю.

Старый Якоб был в отчаянии, видя, что дочь безутешна, да к тому же - и это еще отягчало его горе - Нуньес был ему по душе. И вот он пошел и сел в темном, без окон, зале совета среди других старейшин, следя за ходом обсуждения, и вовремя ввернул:

- Он теперь лучше, чем был; может случиться, что в один прекрасный день он станет таким же разумным, как мы.

Потом некоторое время спустя одного премудрого старейшину осенила мысль. Среди своего народа он слыл большим ученым, врачом-терапевтом и обладал философским, изобретательным умом. И вот у него явилась соблазнительная мысль излечить Нуньеса от его странностей. Однажды в присутствии Якоба он опять перевел разговор на Нуньеса.

- Я обследовал Боготу, - сказал он, - и теперь дело стало для меня ясней. Я думаю, он излечим.

- Я всегда на это надеялся, - ответил старый Якоб.

- У него поврежден мозг, - изрек слепой врач.

Среди старейшин пронесся ропот одобрения.

- Но спрашивается: чем поврежден?

Старый Якоб тяжело вздохнул.

- А вот чем, - продолжал врач, отвечая на собственный вопрос. - Те странные придатки, которые называются глазами и предназначены создавать на лице приятную легкую впадину, у Боготы поражены болезнью, что и вызывает осложнение в мозгу. Они у него сильно

увеличены, обросли густыми ресницами, веки на них дергаются, и от этого мозг у него постоянно раздражен, и мысли неспособны сосредоточиться.

- Вот что? - удивился старый Якоб. - Вот оно как...

- Думается, я с полным основанием могу утверждать, что для его полного излечения требуется произвести совсем простую хирургическую операцию, а именно удалить эти раздражающие тельца.

- И тогда он выздоровеет?

- Тогда он совершенно выздоровеет и станет примерным гражданином.

- Да будет благословенна наука! - воскликнул старый Якоб и тотчас же пошел поделиться с Нуньесом своей счастливой надеждой.

Но его поразило, как нерадостно принял Нуньес его добрую весть.

- Как послушаешь тебя, покажется, что ты вовсе и не думаешь о моей дочери!

Обратиться к слепым хирургам Нуньеса убедила Медина-Саротэ.

- А ты? Ведь ты не хочешь, - спросил он, - чтобы я утратил зрение?

Она покачала головой.

- Зрение - мой мир!

Ее голова поникла.

- Есть красивые вещи на свете, маленькие красивые вещи: цветы, лишайники среди скал, мягонькая пушистая шкурка, далекое небо с плывущими в нем облаками, и закаты, и звезды. И есть на свете ты! Ради тебя одной стоит иметь зрение, чтобы видеть твое милое, ясное лицо, твои ласковые губы, твои дорогие, красивые руки, сложенные на коленях... И моих глаз, которые ты покорила, моих глаз, которые привязали меня к тебе, моих глаз требуют эти идиоты! Чтобы я касался тебя и слышал - и не видел больше никогда! Чтобы я пошел под вашу крышу из камня, утесов и мрака - эту жалкую крышу, которая придавила вашу мысль... Нет, ведь ты не захочешь, чтоб я согласился на это?!

В нем зашевелилось обидное сомнение. Он замолчал, не настаивая на ответе.

- Иногда, - начала она, - иногда мне хочется... - Она замолчала.

- Да?! - сказал он с тревогой.

- Иногда мне хочется, чтобы ты не говорил таких вещей.

- Каких?

- Я понимаю, что они красивы, эти твои фантазии. Я люблю их. Но теперь...

Он похолодел.

- Что же теперь? - тихо спросил он. Она молчала.

- Ты хочешь сказать... ты думаешь, что я, может быть, стану лучше, если...

Он быстро взвесил все. В нем кипела злоба - да, злоба на глупую судьбу, но вместе с тем зашевелилось ласковое чувство к девушке, которой не дано его понять, - чувство, сродни жалости.

- Дорогая, - прошептал он. И ее внезапная бледность показала ему, как сильно, всей душой рвалась она к тому, чего не смела высказать. Он обнял ее, поцеловал в краешек уха, и минуту они сидели молча.

- Что, если бы я согласился? - сказал он тихо-тихо.

- О, если б ты согласился! - твердила она сквозь слезы. - Если б согласился!

За неделю до операции, которая должна была поднять его из рабства и унижения до уровня слепого гражданина, Нуньес совсем лишился сна. В теплые солнечные часы, когда другие мирно спали, он сидел в раздумье или бесцельно бродил по лугам, стараясь вернуть ясность своему смятенному уму и сделать выбор. Он дал свой ответ, дал согласие, но в душе еще не решился. И вот миновала рабочая пора, солнце поднялось во славе своей над золотыми гребнями гор, и начался для Нуньеса последний день света. Он пробыл несколько минут с Мединой-Саротэ, перед тем как она ушла спать.

- Завтра, - сказал он, - я больше не буду видеть.

- Милый, - ответила она и крепко, как могла, сжала его руки.

- Тебе будет только чуть-чуть больно, - сказала она. - И Ты пройдешь через эту боль... ты пройдешь через нее, любимый, ради меня... Дорогой, если сердце женщины, вся ее жизнь могут служить наградой, я вознагражу тебя. Мой дорогой, мой добрый с ласковым голосом, я вознагражу тебя.

Жалость к себе и к ней захлестнула его.

Он обнял ее, припал губами к губам и в последний раз заглянул в ее тихое лицо.

- Прощай, - шепнул он дорогому своему видению, - прощай.

И затем в молчании отвернулся от нее.

Она слышала его медленно удаляющиеся шаги, и было что-то в их ритме, что заставило ее безудержно разрыдаться.

Он собирался просто пойти в уединенное место, на усыпанный белыми нарциссами луг, и побыть там, пока не настанет час его жертвы, но поднял глаза и увидел утро - утро, подобное ангелу в золотых доспехах, сходящему к нему по кручам.

И показалось ему, что перед этим величием он сам, и этот слепой мир в долине, и его любовь - все, все только мерзость и грех.

Он не свернул в сторону, как собирался, а пошел вперед за окружную стену, в горы, и глаза его были все время прикованы к залитому солнцем льду и снегам.

Он видел их бесконечную красоту, и мысли его перенеслись к той жизни, от которой теперь он должен был навеки отказаться.

Он думал о большом свободном мире, с которым был разлучен, о родном своем мире, и перед ним вставало видение все новых горных склонов, даль за далью, и среди них Богота, город многообразной, живой красоты, днем - блеск и величие, ночью - озаренная тайна; город дворцов, фонтанов, статуй и белых домов, красиво расположившийся в самом сердце далей. Он думал о том, как в какие-нибудь два-три дня можно дойти до него горными ущельями, с каждым шагом подходя все ближе к его оживленным улицам и проспектам. Он думал о том, как долго можно идти по реке, от большого города Боготы в большой, огромный мир, через города и села, через леса и пустыни; идти день за днем по быстрой реке, пока берега не расступятся и не поплывут, поднимая волну, большие пароходы; и тогда ты достигнешь моря - бескрайнего моря с тысячьо островов - нет, с тысячами островов и смутно видимыми вдали кораблями, что ходят и ходят без устали по широкому свету. И там, не замкнутое горами, ты увидишь небо - небо, не такое, как здесь, не диск, а купол бездонной синевы, глубь глубин, в которой плывут по круговым своим орбитам звезды.

Все зорче всматривались его глаза в каменную завесу гор.

Если, к примеру, подняться по этой ложбине, а потом вот по той расселине, то выйдешь высоко между тех корявых сосенок, что разбежались там по уступам скал, забираясь все выше и выше над ущельем. А потом? Пожалуй, можно влезть на ту осыпь. Затем как-нибудь вскарабкаться по каменной стене до границы снегов, а если та расселина непроходима, ему послужит, может быть, другая, дальше к востоку. А потом? Потом выйдешь в горящие янтарем снега, на полпути к гребню тех прекрасных пустынных высот.

Он взглянул через плечо на деревню, потом повернулся и долго пристально смотрел на нее.

Он думал о Медине-Саротэ, и она теперь была маленькой и далекой.

Он опять повернулся к стене гор, по которым сошел к нему день. Потом очень осмотнительно начал карабкаться.

Когда солнце склонилось к закату, он больше не карабкался: он был далеко и очень высоко. Побывал он и выше, но и теперь он еще был куда как высоко. Его одежда была изодрана, руки в крови, тело все в синяках, но он лежал покойно, и на его лице была улыбка.

Оттуда, где он лежал, долина казалась ямой, зияющей чуть не на милю вниз. Вечер уже стелил туман и тени, хотя вершины гор окрест были свет и огонь, а скалы рядом с ним в каждой своей частице напоены были тонкой красотой: прожилка зеленой руды бежала по серым камням; вспыхивали тут и там грани кристаллов; мелкий оранжевый лишайник вил тонкий узор вокруг его лица. Ущелье наводнили глубокие таинственные тени; синева



сгустилась в темный пурпур, пурпур - в светящийся мрак, а наверху распростерлась безграничная ширь неба. Но он больше не смотрел на эту красоту, он лежал недвижный, улыбаясь, как будто удовлетворенный уже тем одним, что вырвался из Долины Слепых, где думал стать королем.

Закат отгорел, настала ночь, а он все лежал, примиренный и довольный, под холодными светлыми звездами.

## ***Клад мистера Бришера***

Пер. - Д.Горфинкель.

- Жениться надо с разбором, знать, на ком женишься, - сказал мистер Бришер, задумчиво покручивая пухлой рукой длинные жидкие усы, которые скрывали у него отсутствие подбородка.

- Вот почему вы... - вставил я.

- Да, - продолжал мистер Бришер, мрачно глядя перед собой слезящимися серо-голубыми глазами; он выразительно покачал головой и дружески дохнул на меня спиртным перегаром. - Сколько раз пытались меня окрутить. В одном нашем городе я мог бы назвать многих, но никому это еще не удалось, поверьте, никому.

Я окинул взглядом его раскрасневшееся лицо, обширность его экватора, художественную небрежность его туалета и вздохнул, подумав, как опрометчиво поступает женский пол: вот человек поневоле останется последним отпрыском своего рода!

- Шустрым я был малым в прежние годы, - сказал мистер Бришер. - Трудненько иной раз приходилось, но я был настороже, всегда настороже, ну и спасся.

Он нагнулся ко мне через столик, видимо, раздумывая, заслуживаю ли я доверия или нет. Наконец я с облегчением увидел, что вопрос решен в мою пользу.

- Я был однажды помолвлен, - объявил мистер Бришер; он скользнул взглядом по стойке бара и погрузился в воспоминания.

- Так далеко зашло?

Он поглядел на меня.

- Да, так далеко зашло. Собственно говоря... - Он наклонился ко мне, понизил голос и жестом грязноватой руки как бы отстранил от себя презренный мир. - Собственно говоря, если она не умерла или не вышла за другого, я и сейчас еще помолвлен. Да, до сих пор, - заявил он, покачивая головой и скривив лицо. - Все еще! - сказал он, перестал гримасничать и, к моему удивлению, расплылся в самодовольной улыбке. - Я! Но я сбежал, - пояснил он, восхищенно вскидывая брови. - Унес ноги! И это еще не все! Верьте не верьте, - продолжал он, - но я нашел клад! Самый настоящий клад!

Я подумал, что это ирония, и, быть может, не проявил достаточного удивления.

- Да, - сказал он. - Нашел клад. И унес ноги. Говорю вам, вы до смерти удивитесь, если я расскажу, что со мной случилось.

Он несколько раз повторил, что нашел клад и не воспользовался им.

Я не стал приставать к нему с расспросами, но поспешил позаботиться о телесных нуждах мистера Бришера и только после этого навел его снова на разговор о покинутой невесте.

- Милая была девушка, - сказал он не без грусти, как мне показалось, - и очень порядочная.

Он поднял брови и поджал губы, изображая исключительную порядочность, идущую гораздо дальше того, что нравится нам, пожилым людям.

- Это случилась далеко отсюда, точнее говоря, в Эссексе. Близ Колчестера. Я тогда жил в Лондоне, подвизался по строительной части. Шикарным пареньком я был тогда, скажу я вам! Стройным! Выходной костюм - мое почтение! И цилиндр, обратите внимание! - Рука мистера Бришера взлетела над головой в беспредельность, показывая, каким высоким был его

цилиндр. - Зонттик, отличный зонттик с роговой ручкой. Сбережения! Я знал цену деньгам, расчетливым был.

Он ненадолго задумался, как все мы рано или поздно задумываемся над утраченным блеском юности. Но от прописных истин воздержался, как и подобает в баре.

- Я познакомился с ней через приятеля: он с ее сестрой был помолвлен. Она гостила в Лондоне у тетки, державшей мясную лавку. Тетка была очень строгая - все ее родственники отличались строгостью, - и старуха пускала свою племянницу гулять с моим приятелем лишь с Сестрой, то есть с моей Джен. Вот он и втянул меня в эту затею, ну, просто, чтобы ему удобнее было. Мы всегда в воскресенье под вечер отправлялись в Баттерси-парк. Я в цилиндре, он тоже, и девушки, само собой, в полном параде. И в Баттерси-парке мы были под стать другим. Красивой Джен не назовешь, но лучшей девушки я не встречал. Мне она понравилась с самого начала, и что ж - самому, пожалуй, это говорить и не пристало, - но я ей тоже пришелся по душе. Знаете, как это бывает?

Я сделал вид, что знаю.

- И что же, вы думаете, этот малый сделал, когда женился на ее сестре? Мы с ним были в большой дружбе, ну, он возьми да пригласи меня к себе в Колчестер. Она там поблизости жила. Понятно, меня представили ее родным, так вот и вышло, что скоро мы с ней были помолвлены... Помолвлены! - повторил он.

- Она жила с отцом и матерью, как полагается молодой леди. У них был чудесный домик с садом. На редкость почтенные люди и вдобавок довольно богатые. У них был собственный дом, купили по дешевке у Строительного общества: прежний владелец кого-то ограбил и сидел в тюрьме. Да еще были у них клочок земли и несколько коттеджей, и денежки у них водились под верными закладными. Одним словом, люди хоть куда. Скажу вам прямо, я было уж совсем решился. А мебель! Ух! У них даже пианино было. Джен, ее Джен звали, по воскресеньям играла, и как здорово играла! В книге псалмов не было священной песни, которую она не могла бы сыграть!

Мы часто сходились по вечерам и пели псалмы: и я, и она, и все семейство.

Ее отец был очень видным человеком в церкви. Вы бы посмотрели на него в воскресный день, когда он перебивал священника и сам запевал псалмы! Помню, он носил золотые очки. Бывало, глянет поверх них на вас, а сам так и заливается, уж очень душевно он славил господу. И если случалось ему сбиться с такта, половина прихожан сбивалась вместе с ним, это как пить дать! Вот какой был человек! Идешь иной раз за ним, а он весь в черном, и на голове этакая широкополая шляпа, так невольно гордость возьмет, что тебе такой тесть попался.

Когда настало лето, я поехал туда и гостил у них две недели. Впрочем, надо вам сказать, была в этом деле одна заминка, - вздохнул мистер Бришер. - Мы с Джен хотели пожениться, и делу конец. А папаша говорил, что раньше я должен "занять положение". Вот и вышла заминка. Ну, значит, я поехал туда и из кожи лез, чтобы показать, какой я толковый и нужный малый. Хотел показать, что я мастер на все руки. Понятно?

Я сочувственно хмыкнул.

- А за домом у них, в самой глубине сада, было такое заброшенное местечко. Я и говорю старику: "Почему бы вам не разбить здесь цветник и камнями обложить, все честь честью? Красиво!".

- Дорого обойдется, - говорит.

- Ни гроша не будет стоить, - говорю. - Я дока пс части цветников. Давайте я вам сделаю. - Я, видите ли, помогал брату цветник разбивать в саду для гостей за его баром и знал, с какого конца за это взяться. - Давайте, - говорю, - я вам сделаю. Я, правда, в отпуске, но уж такой я человек: не могу, - говорю, - сидеть сложа руки. Разобью вам цветник по всем правилам. Короче сказать, он мне разрешил.

Тут-то я и наткнулся на клад.

- Какой клад? - спросил я.

- Эх! - произнес мистер Бришер. - Тот самый, о котором я вам говорил. Из-за него-то я и остался холостяком на всю жизнь.

- Как?! Вы откопали клад?

- Да, зарытое сокровище, клад нашел. Он сам мне в руки дался. Я же говорил вам, настоящий клад!

Он посмотрел на меня без обычной почтительности.

- Клад был зарыт неглубоко, на крышке земли лежало около фута, - продолжал он. - Я не успел опомниться, как наткнулся на угол.

- И что дальше? - спросил я. - Я что-то не понимаю.

- Чего же там не понимаете? Как только я за сундук взялся, сразу и сообразил, что в нем клад! Чутье подсказало. Словно внутри у меня что-то крикнуло: "Вот твое счастье! Бери и помалкивай!" Хорошо, что я знал законы о ценных находках, а не то я бы тут же заорал. Вы ведь знаете...

- Казна забирает все и выдает один процент. Прямо безобразие! Ну, а дальше? Что же вы сделали?

- Открыл сундук. В саду и вообще кругом ни души. Джен помогала матери убирать комнаты. И волновался же я, скажу вам! Сперва попробовал замок, потом тянул по петлям. Сундук открылся. Серебро! Полно серебряных монет! Блестят. Как увидел, меня всего так и затрясло. И надо же, чтобы тут как раз мусорщик вышел из-за дома. У меня чуть сердце не оборвалось. Думаю, какой же я дурак, что у меня все эти деньги на виду. А тут еще сосед - он тоже был в отпуске - вздумал поливать бобы в своем огороде. Что, если бы он взглянул через забор?

- Что же вы сделали?

- Захлопнул крышку и давай скорехонько засыпать. Потом принялся, как сумасшедший, рыть землю в ярде от того места. А рожка у меня улыбалась, можно сказать, сама по себе, пока всю работу не кончил. Одна мысль в голове вертится: как бы скрыть это дело, - больше ни о чем думать не мог. "Клад, - шепчу, - клад! Сотни фунтов! Сотни и сотни фунтов!" Шепчу, а сам рою вовсю. И все мне мерещилось, что сундук торчит наружу и виден, как ноги из-под одеяла, когда человек лежит в постели. Поэтому я еще накидал сверху всю ту землю, что была вырыта из ямы для цветника. И взмок же я! А тут из дома притопал сам папаша. Он мне ничего не сказал. Стоит у меня за спиной и глаз не сводит. Потом я от Джен узнал, что он вернулся в дом и говорит: "Этот твой олух, Джен, - он всегда меня олухом почему-то обзывал, - все-таки умеет на работу приналежать". Ясно, что я на него впечатление произвел.

- Какой длины был сундук? - вдруг спросил я.

- Какой длины? - переспросил мистер Бришер.

- Да, ну каких размеров?

- А! Примерно вот столько на столько.

Мистер Бришер показал длину и ширину сундука средних размеров.

- Полный? - спросил я.

- Доверху полный серебряных монет, полукрон, кажется.

- Послушайте! - воскликнул я. - Ведь это значит сотни фунтов!

- Тысячи! - с каким-то печальным спокойствием подтвердил мистер Бришер. - Я высчитал.

- Но как они туда попали?

- Не знаю. Знаю только, что их нашел. Думаю же я вот что: молодчик, который владел домом до ее отца, был заправский грабитель. Что называется, преступник высшей марки. В собственной коляске, развалившись, ездил. - Мистер Бришер остановился перед сложностями задачи рассказчика и наконец разразился длинным вводным периодом: - Не помню, говорил ли я вам, что это был дом одного разбойника, раньше чем попал к тестю, и я знал, что он раз ограбил почтовый поезд. Это я знал. И вот я подумал...

- Это вполне возможно, - согласился я. - Но что же вы дальше сделали?

- Трудился, можно сказать, до седьмого пота, - отвечал мистер Бришер. - С меня прямо градом текло. Все утро. Я делал вид, что разбиваю цветник, а сам все думал, как мне быть. Пожалуй, я

рассказал бы ее отцу, только я сомневался в его честности: боялся, как бы он не обобрал меня и не передал все властям. А потом, раз я собирался жениться и войти в семью, я считал, пусть лучше эти деньги принесу в дом я, и они, так сказать, поднимут мне цену в их глазах. Наконец, у меня оставалось еще три дня отпуска, так что спешить было некуда. Я все и засыпал землей и продолжал копать и раздумывать, как уберечь клад. И ничего не мог придумать. Все голову ломал и ломал, - продолжал мистер Бришер. - Меня даже сомнение взяло, вправду ли я видел эти монеты. Я перешел на то место и опять разрыл землю, но как раз вышла мамаша Джен белье развешивать. Опять на меня трясучка напала. А позже, только я собрался еще раз взяться, приходит Джен и зовет обедать. "Яму-то, - говорит, - какую вырыл, верно, проголодался теперь очень!"

За обедом я был, как в тумане. Из головы все не шло: "А вдруг сосед перемахнул через забор и сейчас набивает себе карманы?" Но потом стало легче на душе. "Раз деньги лежали там так долго, - думаю, - еще полежат". Тогда я завел разговор, чтобы выпытать у старика, как он вообще смотрит на всякие там находки.

Мистер Бришер остановился и сделал вид, будто воспоминание об этом разговоре доставляет ему поистине удовольствие.

- Старик оказался язвой, - сказал он. - Настоящей язвой!

- Как? - удивился я. - Неужели он хотел?..

- Вот как было дело, - пояснил мистер Бришер, дружески взяв меня за руку и дыша мне в лицо, чтобы успокоить. - Я хотел выпытать у него, что он думает, и рассказал ему историю про моего приятеля (все нарочно выдумал, понимаете!), который взял напрокат пальто и будто нашел в нем соверен. "Мой приятель оставил золотой себе, но я, - говорю, - не уверен, правильно ли он поступил". Тут старик и начни. Господи, и отчитал же он меня! - Мистер Бришер сделал вид, что его все это очень забавляет. - Старик был, можно сказать, на редкость вредный. Конечно, говорит, он так и знал, других друзей, мол, у меня и быть не может. Иного поведения, говорит, и нельзя было ожидать от друга безработного бродяги, который заводит шуры-муры с чужими дочками. Каково, а? Чего только он не наговорил! И половины не передашь! Как заведенный сыпал, и все такое оскорбительное! Я стал возражать ему, только чтобы побольше выведать. "Разве, - говорю, - вы не взяли бы себе полсоверена, если бы нашли на улице?" "Конечно, нет! - отвечает. - Конечно, не взял бы!" "Как же так? - говорю. - Ведь это было бы вроде клада!" А он мне на это: "Молодой человек, есть мудрость, которая превышает мою. "Кесарево кесарю...", как дальше там сказано? И принялся расписывать. Да! Ничего не скажешь, ловкий был старик, умел трахнуть людей библией по голове. Говорит, удержу нет. Наконец стал подпускать такие шпильки, что терпение у меня лопнуло. Джен-то я обещал не отвечать ему на обидные слова, но тут меня прорвало!

Загадочными гримасами мистер Бришер старался уверить меня, что одержал верх в этом словесном поединке, но меня не так легко было провести.

- Наконец зло меня взяло, и я ушел, когда понял, что клад мне придется поднимать одному. Но я подбодрился, когда подумал, как утру старому черту нос, когда денежки будут у меня...

Он помолчал.

- Так вот, поверите ли, за все три дня у меня не было случая подобраться к проклятому сундуку. Ни полкроны я не вынул оттуда: всегда что-нибудь мешало.

Удивительно, как мало люди задумываются вот над чем, - продолжал мистер Бришер. - Найти клад - не такое уж большое дело. А вот попробуйте унести его. Мне кажется, я в эти ночи ни на минуту глаз не закрыл. Все думал, как мне прибрать его к рукам, да что я с ним буду делать, да как я объясню, откуда взял такое богатство, Прямо заболел. Все дни ходил такой хмурый, что Джен разозлилась. "Ты, - говорит, - совсем не тот, что был в Лондоне". И это она повторила несколько раз. Я пытался взвалить все на папашу и на его шпильки, но, с позволения сказать, у нее свое было на уме: забрала себе в голову, что я втюрился в другую. Говорит, будто я изменил ей. Ну, мы с ней поцапались чуточку, но я так помешался на этом кладе, что мне было наплевать на все ее слова. В конце концов я придумал план. Я всегда был на этот счет

мастак; планы составлять - это по моей части, вот только выполнить - с этим у меня похуже. Я обдумал все подробно и, значит, наметил план. Прежде всего я хотел унести полные карманы этих самых полукрон - понятно? А потом... ну, вы дальше увидите.

Я дошел до такого состояния, что не мог и подумать о том, чтобы сунуться к сундуку среди дня. Стало быть, я дождался ночи и, когда все стихло, встал и прокрался к задней двери: хотел набить себе карманы. И надо же мне было в кухне споткнуться о ведро! Тут папаша выскакивает с пистолетом: чутко спал старик, и недоверчив он был притом; пришлось объяснять, что я шел к колодцу попить, потому графин у меня был с трещиной. Ну, сами понимаете, прежде чем уйти, пришлось выслушать разные обидные слова.

- И вы хотите сказать... - начал я.

- Погодите, - остановил меня мистер Бришер. - Я говорил вам, что у меня был план. Вышла маленькая заминка, но главному плану это нисколько не повредило. На другой день я вышел и закончил цветник, словно никаких обидных слов и сказано не было. Обмазал камни цементом, покрыл зеленой краской, и все такое прочее. Еще положил зеленый мазок там, где был сундук. Все вышли посмотреть и говорили, как красиво у меня получилось, и даже старик чуточку подобрел, когда увидел. Но он только сказал: "Жаль, что ты не всегда так трудишься. А то мог бы добиться чего-нибудь путного".

- Да, - говорю (не удержался), - я много вложил в этот цветник. Так и сказал! Чувствуете? Когда я говорил, что много вложил в цветник, я, конечно, имел в виду...

- Чувствую, - поспешил я сказать, ибо мистер Бришер любил растолковывать свои остроты.

- А он не понял, - сказал мистер Бришер. - По крайней мере тогда. А когда все было кончено, я уехал в Лондон... Да, уехал в Лондон.

Пауза.

- Только я вовсе не в Лондон уехал, - снова заговорил мистер Бришер с внезапным оживлением и приблизил свое лицо к моему. - Будьте покойны! Как вы думаете?.. Дальше Колчестера я не поехал ни на шаг. Лопату я оставил в таком месте, что мог сразу найти. Все у меня было обдумано наилучшим манером. В Колчестере я нанял тележку и сказал, что поеду в Ипсвич, там переночую и вернусь на следующий день. Мне пришлось оставить два соверена в залог, и я поехал.

Только вовсе не в Ипсвич.

В полночь я привязал лошадь и тележку у дороги, шагах в пятидесяти от дома Джен, и вмиг был на месте. Ночь была самая подходящая для такого дела. Собрались тучи, душновато было. По всему небу зарницы играли, вскоре надвинулась гроза. И вдруг началось! Сперва упало несколько крупных капель, они вроде как обожгли меня. И сразу град. Я продолжал работать: швырял себе землю и совсем не думал, что старик может услышать. Я даже не заботился о том, чтобы не стукнуть лопатой. Гром, молния, град только раззадоривали меня. Не удивлюсь, если я даже пел. Я так старался, что начисто забыл и про гром, и про свою конягу, и про тележку. Очень скоро я добрался до сундука и начал поднимать его...

- Небось, тяжелый был? - спросил я.

- Ух, тяжеленный! Не поднять! Меня зло разобрало. Ведь об этом я не подумал! Тут я рассвирепел, скажу вам, и начал ругаться. Просто вне себя был. В ту минуту мне не пришло в голову разделить груз на части. Да и не мог же я бросать деньги прямо в тележку. С досады поднял я за один конец сундук, и все содержимое посыпалось оттуда разом, со страшным шумом, настоящий серебряный потоп! И вслед за этим - молния! Осветила все кругом, как днем! Смотрю, задняя дверь открыта и старик ковыляет в сад со своим паршивым старым пистолетом. В ста шагах от меня был.

Ну, скажу вам, я вконец растерялся, совсем уж не соображал, что делаю. Не задержался даже, чтобы набить карманы. Стрелой прямо через забор и во весь дух помчался к тележке. Бегу, а сам ругаюсь, чертыхаюсь. Ну и перетрусил же я - всего перевернуло...



И, поверите ли, когда я добежал до места, где оставил лошадь и тележку, гляжу, а их след простыл. Уф! Как я это увидел, и ругаться больше не мог. Только топал ногами и прыгал, а потом взял и махнул в Лондон... Конченный был человек.

Мистер Бришер задумался.

- Конченный человек, - с горечью повторил он.

- Ну и что же? - спросил я.

- Вот и все, - сказал мистер Бришер.

- Вы не вернулись?

- Будьте покойны! Довольно намучился с этим проклятым кладом. А кроме того, я не знал, что делают с теми, кто присваивает себе находки. Я тут же подался в Лондон.

- И больше не возвращались?

- Нет.

- А как же Джен? Вы ей писали?

- Три раза. Уточку закидывал. Не ответила. Перед разлукой мы повздорили из-за ее ревности. Так что я не мог наверняка решить, отчего ответа нет.

Я не знал, что делать. Не знал даже, разглядел ли меня старик. Просматривал газеты: все хотел знать, когда он сдаст клад в казну. Сомнений у меня на этот счет не было: ведь он таким почтенным считался.

- Ну и как?

Мистер Бришер сжал губы и медленно покачал головой.

- Не таковский он! Джен была милая девушка, - продолжал он, - очень милая девушка, заметьте, хотя и ревнивая. Кто знает, может, я и мог бы вернуться к ней немного погодя. Я думал: если старик не сдал клада, я смог бы вроде как держать его в руках. Ну, хорошо. Как-то проглядываю по привычке газету, нет ли чего из Колчестера, и вдруг вижу его имя. А по какому поводу, как вы думаете?

Я не мог отгадать.

Мистер Бришер понизил голос до шепота, прикрывая рот рукой. Его лицо просто светилось радостью.

- Распространение фальшивых монет, - прошептал он, - понимаете вы, фальшивых монет!

- Неужели вы хотите сказать?..

- Да. Именно! Скверная штука. Из этого сделали громкий процесс. Пришлось старику туго, как он ни вертелся. Сумели доказать, что он спустил - подумайте! - около десятка фальшивых полукрон.

- И вы ничего не...

- Еще чего! Да и какая была бы ему польза, если б это назвали присвоением ценной находки!

## **Ограбление в Хэммерпонд-парке**

Пер. - Н.Высоцкая.

Еще вопрос, следует ли считать кражу со взломом спортом, ремеслом или искусством. Ремеслом ее не назовешь, так как техника этого дела вряд ли достаточно разработана, но не назовешь ее и искусством, ибо здесь всегда присутствует доля корысти, пятнающей все дело. Пожалуй, правильнее всего считать грабеж спортом - таким видом спорта, где правила и по сей день еще не установлены, а призы вручаются самым неофициальным путем. Неофициальный образ действий взломщиков и привел к печальному провалу двух подающих надежды новичков, орудовавших в Хэммерпонд-парке.

Ставкой в этом деле были бриллианты и другие фамильные драгоценности новоиспеченной леди Эвелинг. Читателю следует не упускать из виду, что молодая леди Эвелинг была

единственной дочерью небезызвестной хозяйки гостиницы миссис Монтегю Пэнгз. В газетах много шумели о ее свадьбе с лордом Эвелингом, о количестве и качестве свадебных подарков и о том, что медовый месяц предполагалось провести в Хэммерпонде.

Возможность захватить столь ценные трофеи вызвала сильное волнение в небольшом кружке, общепризнанным вожаком которого являлся мистер Тедди Уоткинс. Было решено, что он в сопровождении квалифицированного помощника посетит Хэммерпонд, дабы проявить там во всем блеске свои профессиональные способности.

Как человек скромный и застенчивый, мистер Уоткинс решил нанести этот визит инкогнито и, поразмыслив должным образом над всеми обстоятельствами дела, остановился на роли пейзажиста с заурядной фамилией Смит.

Уоткинс отправился один: условились, что помощник присоединится к нему лишь накануне его отъезда из Хэммерпонда - на другой день к вечеру.

Хэммерпонд, пожалуй, один из самых живописных уголков Суссекса. Там уцелело еще немало домиков под соломенной крышей; приютившаяся под горой каменная церковь с высоким шпилем - одна из самых красивых в графстве, и ее почти не испортили реставраторы, а дорога, ведущая к роскошному особняку, извивается меж буков и густых зарослей папоротника; местность изобилует тем, что доморожденные художники и фотографы именуют "видами". Поэтому мистера Уоткинса, прибывшего туда с двумя чистыми холстами, новеньким мольбертом, этюдником, чемоданчиком, невинной маленькой складной лестницей (вроде той, какою пользовался недавно умерший виртуоз Чарлз Пис), а также ломом и мотком проволоки, с энтузиазмом и не без любопытства приветствовало с полдюжины собратьев по искусству. Это обстоятельство неожиданно придало некоторое правдоподобие избранной Уоткинсом маскировке, но вовлекло его в бесконечные разговоры о живописи, к чему он был совсем не подготовлен.

- Часто ли выставлялись? - спросил его молодой Порсон. Разговор происходил в трактире "Карета и лошади", где мистер Уоткинс в день своего приезда успешно собирал нужные сведения.

- Да нет, не очень, - отвечал мистер Уоткинс. - Так, от случая к случаю.

- В академии?

- Да, конечно. И в Хрустальном дворце.

- Удачно ли вас вешали? - продолжал Порсон.

- Брось трепаться, - оборвал его мистер Уоткинс. - Я этого не люблю.

- Я хочу сказать: хорошее ли вам отводили местечко?

- Это еще что такое? - подозрительно протянул мистер Уоткинс. - Сдается мне, вам охота выведать, случалось ли мне засыпаться.

Порсон воспитывался у теток, и он, не в пример прочим художникам, был хорошо воспитанным молодым человеком; он понятия не имел, что значит "засыпаться", однако счел нужным пояснить, что не хотел сказать ничего подобного. И так как вопрос о вешании, казалось, слишком задевал мистера Уоткинса, Порсон решил переменить тему разговора.

- Делаете вы эскизы с обнаженной натуры?

- Никогда не был силен в обнаженных натурах, - отвечал мистер Уоткинс. - Этим занимается моя девчонка, то есть, я хочу сказать, миссис Смит.

- Так она тоже рисует? - воскликнул Порсон. - Как интересно!

- Ужасно интересно! - отвечал мистер Уоткинс, хотя вовсе этого не думал, и, почувствовав, что разговор выходит за пределы его возможностей, добавил: - Я приехал сюда, чтобы написать Хэммерпендский особняк при лунном свете.

- Неужели! - воскликнул Порсон. - Какая оригинальная идея!

- Да, - отвечал мистер Уоткинс. - Я был до смерти рад, когда она осенила меня. Думаю начать завтра ночью.

- Как? Не собираетесь же вы писать ночью под открытым небом?

- А вот как раз и собираюсь.

- Да как же вы разглядите в темноте холст?

- У меня с собой "светлячок"... - начал было с, увлечением Уоткинс, но тут же, спохватившись, крикнул мисс Дарген, чтобы она принесла еще кружку пива. - Я собираюсь обзавестись одной вещичкой - специальным фонарем, - прибавил он.

- Но ведь скоро новолуние, - заметил Порсон. - И луны не будет.

- Зато дом будет, - возразил Уоткинс. - Видите ли, я собираюсь написать сперва дом, а потом уж луну.

- Вот как! - воскликнул Порсон, слишком ошеломленный, чтобы продолжать разговор.

- Однако поговаривают, что каждую ночь в доме ночует не меньше трех полицейских из Хэзлуорта, - заметил хозяин гостиницы, старик Дарген, хранивший скромное молчание, пока шел профессиональный разговор. - И все из-за этих самых драгоценностей леди Эвелинг. Простую ночь один из полицейских здорово обыграл в девятку лакея.

На исходе следующего дня мистер Уоткинс, вооруженный чистым холстом, мольбертом и весьма объемистым чемоданом с прочими принадлежностями, прошествовал прелестной тропинкой через буковую рощу в Хэммерпондский парк и занял перед домом господствующую позицию. Здесь его узрел мистер Рафаэль Сант, возвращавшийся через парк после осмотра меловых карьеров. И так как его любопытство было подогрето рассказами Порсона о вновь прибывшем художнике, он свернул в сторону, намереваясь потолковать о служении искусству в ночное время.

Мистер Уоткинс, как видно, не подозревал о его приближении. Он только что дружески побеседовал с дворецким леди Эвелинг, и тот удалялся теперь в окружении трех комнатных собачек, прогуливать которых после обеда входило в круг его обязанностей. Мистер Уоткинс с величайшим усердием смешивал краски. Приблизившись, Сант был совершенно сражен невероятно крикливым, сногсшибательно изумрудным цветом. Сант, с малых лет необычайно чувствительный к цветовой гамме, взглянув на эту мешанину, даже присвистнул от удивления. Мистер Уоткинс обернулся, он был явно раздосадован.

- Какого черта вы хотите делать этой адской зеленью? - воскликнул Сант.

Мистер Уоткинс почувствовал, что перестарался: разыгрывая перед дворецким роль усердного художника, он совершил какую-то профессиональную оплошность. Он растерянно поглядел на Санта.

- Извините меня за вмешательство, - продолжал тот. - Но в самом деле этот зеленый слишком необычен. Он прямо-таки сразил меня. Что же вы думаете им писать?

Мистер Уоткинс напряг все свои умственные силы. Только отчаянный шаг мог спасти положение.

- Если вы пришли сюда мешать мне работать, - выпалил он, - я распишу им вашу физиономию!

Сант, человек добродушный, тут же ретировался.

Спускаясь с холма, он повстречал Порсона и Уэйнрайта.

- Это или гений, или опасный сумасшедший, - заявил он. - Поднимитесь-ка на горку и взгляните на его зелень.

И Сант пошел своей дорогой. Лицо его расплылось в улыбке: он уже предвкушал веселую потасовку в сумерках возле мольберта, среди потоков зеленой краски.

Но с Порсоном и Уэйнрайтом мистер Уоткинс обошелся менее враждебно и объяснил, что намеревался загрузить картину зеленым тоном. В ответ на их замечания он сказал, что это совершенно новый, им самим изобретенный метод. Но тут же стал более сдержанным, объяснил, что вовсе не намерен открывать всякому встречному и поперечному секреты своего стиля, и подпустил несколько ехидных словечек касательно подлости некоторых "пронырливых" субъектов, которые стараются выведать у мастера его приемы. Это немедленно избавило Уоткинса от присутствия художников.

Сумерки сгустились, загорелась первая звезда, за ней - вторая. Грачи на высоких деревьях слева от дома давно уже умолкли и погрузились в дремоту, и дом, утратив четкость очертаний,

превратился в темную громаду. Потом ярко загорелись окна залы, осветился зимний сад, тут и там замелькали огоньки в спальнях. Если бы кто-нибудь подошел сейчас к мольберту, стоявшему в парке, он не обнаружил бы поблизости ни души. Девственную белизну холста оскверняло неприличное словцо, коротенькое и ядовито-зеленое. Мистер Уоткинс вместе со своим помощником, который без лишнего шума присоединился к нему, вынырнув из главной аллеи, занимался в кустах какими-то приготовлениями. Он уже поздравлял себя с остроумной выдумкой, благодаря которой ему удалось на виду у всех нахально пронести все свои инструменты прямо к месту действия.

- Вон там ее будуар, - объяснил он своему помощнику.

- Как только горничная возьмет свечу и спустится ужинать, мы заглянем туда. Черт возьми! А домик и вправду красив при свете звезд, да как здорово освещены все окна! Знаешь, Джим, а ведь я, пожалуй, не прочь бы стать художником, черт меня побери! Ты натянул проволоку над тропинкой, что ведет к прачечной?

Он осторожно приблизился к дому, подкрался к окну будуара и принялся собирать свою складную лесенку. Уоткинс был слишком опытным профессионалом, чтобы почувствовать при этом хотя бы легкое волнение. Джим стоял на стреме у окна курительной.

Вдруг в кустах, совсем рядом с мистером Уоткинсом, раздался сильный треск и сдавленная ругань: кто-то споткнулся о проволоку, только что натянутую его помощником. А потом Уоткинс услышал у себя за спиной, на дорожке, посыпанной гравием, быстрые шаги. Как и все настоящие художники, мистер Уоткинс был человек на редкость застенчивый, поэтому он тут же бросил свою складную лесенку и кинулся бежать через кусты. Он смутно чувствовал, что за ним по пятам гонятся двое, и ему показалось, что впереди он различает фигуру своего помощника. Не теряя времени, он перемахнул через низкую каменную ограду, окружавшую кустарник, и очутился в парке. Он услышал, как вслед за ним на траву прыгнули двое.

Это была бешеная гонка в темноте, меж деревьев. Мистер Уоткинс был сухопарый, хорошо натренированный мужчина; он шаг за шагом нагонял тяжело дышавшего человека, который мчался впереди. Они бежали молча, но когда мистер Уоткинс стал догонять беглеца, на него вдруг напало ужасное сомнение. В тот же миг незнакомец обернулся и удивленно вскрикнул.

"Да это вовсе не Джим!" - пронеслось в голове у мистера Уоткинса. Тут незнакомец кинулся ему под ноги, и они, сцепившись, повалились на землю.

- Навались, Билл! - крикнул незнакомец подбежавшему товарищу.

И Билл навалился, пустив в ход руки и ноги. Четвертый же, по всей видимости, Джим, вероятно, свернул в сторону и скрылся в неизвестном направлении. Так или иначе, он не присоединился к этому трио.

То, что последовало дальше, почти испарилось из памяти Уоткинса. Он с трудом припомнил, что попал первому из преследователей большим пальцем в рот и опасался за целостность своего пальца, а потом несколько секунд прижимал к земле, схватив за волосы, голову человека, которого, по-видимому, звали Билл. Его самого крепко лупили по чем попало, как будто на него навалилась целая куча народу. Затем тот из двоих, который не был Биллом, уперся Уоткинсу коленкой в грудь и попытался прижать его к земле.

Когда в голове у мистера Уоткинса немного прояснилось, он обнаружил, что сидит на траве, а вокруг столпилось человек восемь - десять. Ночь была темная, и он слишком отчаялся, чтобы считать. По всей видимости, они дожидались, когда он очнется. Мистер Уоткинс с прискорбием пришел к заключению, что он попался, и, вероятно, принялся бы философствовать о превратностях судьбы, если бы крепкая взбучка не лишила его дара речи.

Он сразу же заметил, что ему не надели наручников; потом кто-то сунул ему в руку фляжку с коньяком, что его даже растрогало: столь неожиданна была такая доброта.

- Кажется, он очухался, - сказал кто-то, и Уоткинс узнал по голосу ливрейного лакея.

- Мы изловили их, сэр, изловили обоих, - сказал дворецкий; это он подал Уоткинсу фляжку. - И все благодаря вам.

Никто не пояснил слова дворецкого, и Уоткинс так и не понял, при чем же тут он.

- Он никак не придет в себя, - произнес незнакомый голос, - эти злодеи чуть не убили его.

Мистер Тедди Уоткинс решил не приходить в себя, пока не уяснит, какова ситуация. Среди окружавших его темных фигур он заметил двоих, стоявших бок о бок с убитым видом, и что-то в очертании их плеч подсказало его наметанному глазу, что руки у них связаны. Двое! Уоткинс сразу понял, в чем дело. Он осушил фляжку и, пошатываясь, встал на ноги, услужливые руки поддержали его. Раздались сочувственные возгласы.

- Жму вашу руку, сэр, жму руку, - промолвил один из стоявших рядом. - Разрешите представиться. Премного вам обязан. Ведь эти негодяи покушались на драгоценности моей жены, леди Эвелинг.

- Счастлив познакомиться с вашей светлостью, - сказал Тедди Уоткинс.

- Вероятно, вы увидели, что эти негодяи побежали в кусты и бросились за ними?

- Так оно и было, - подтвердил мистер Уоткинс.

- Вам подождать бы, пока они влезут в окно, - сказал лорд Эвелинг. - Если бы они успели взять драгоценности, им пришлось бы гораздо солоней. На ваше счастье, двое полицейских были как раз у ворот и бросились вслед за вами. Вряд ли вы справились бы с обоими, но все равно это было очень смело с вашей стороны.

- Да, мне следовало подумать об опасности, - сказал мистер Уоткинс, - но ведь всего сразу не сообразишь.

- Разумеется, - согласился лорд Эвелинг. - Боюсь только, что они слегка помяли вас, - добавил он. Они теперь шли к дому. - Вы, я вижу, хромаете. Разрешите предложить вам руку.

И вместо того, чтобы проникнуть в Хэммерпондский особняк через окно будуара, мистер Уоткинс вступил в него навеселе и в приподнятом настроении через парадную дверь, опираясь на руку одного из пэров Англии. "Вот это, что называется, классная работа", - подумал мистер Уоткинс.

При свете газового фонаря обнаружилось, что "негодяи" были всего лишь местными дилетантами, неизвестными мистеру Уоткинсу. Их отправили вниз, в кладовую, где и оставили под охраной трех полицейских, двух лесников с ружьями наготове, дворецкого, конюха и кучера; утром преступников должны были препроводить в полицейский участок в Хейлхерст.

В зале хлопотали вокруг мистера Уоткинса. Его уложили на диване и ни за что не хотели отпустить одного ночью в деревню. Леди Эвелинг утверждала, что он бесподобный оригинал и что она именно так представляет себе Тернера [Джозеф Тернер (1775-1851) - английский живописец]: грубоватый мужчина с нависшими бровями, немного под хмельком, смелый и сообразительный. Кто-то принес замечательную складную лесенку, подобранную в кустах, и показал Уоткинсу, как она складывается. Ему также подробно рассказали, как была обнаружена в кустах проволока, вероятно, натянутая, чтобы задержать неосторожных преследователей. Хорошо еще, что ему посчастливилось миновать эту ловушку.

И ему показали драгоценности.

У мистера Уоткинса хватило ума воздержаться от лишних разговоров, ссылаясь при всяком опасном повороте беседы на пережитое потрясение. Наконец у него началась ломота в спине, и он принялся зевать. Тут хозяйка спохватилась, что стыдно утруждать разговорами человека, попавшего в такую переделку, и Уоткинс рано удалился в отведенную ему спальню, маленькую красную комнатку рядом с покоями лорда Эвелинга.

Рассвет увидел брошенный посреди Хэммерпондского парка мольберт с холстом, украшенный зеленой надписью, и охваченный смятением дом. Но если рассвет и увидел Тедди Уоткинса, а с ним и бриллианты леди Эвелинг, он не заявил об этом в полицию.



## ***Размышления о дешевизне и тетушка Шарлотта***

Пер. - Р.Померанцева

Мир совершенствуется. В дни моей юности, как многие из вас еще помнят, люди чтили красное дерево и почему-то предпочитали всякой другой мебели эти блестящие громады, удивительно похожие цветом на сырую печенку и такие тяжелые, что не сдвинешь. Те из нас, кто был слишком беден для красного дерева, притворялись, что имеют его, придавая своей мебели воспаленный оттенок с помощью фанеровки. Это заставило кое-кого решить, что все дело тут было в цвете. В те времена бытовало словечко "ничтожный", ныне почти забытое. Милая тетушка Шарлотта прибегала к этому эпитету, когда по-своему, по-женски, бранила ей неугодных. "Ничтожный", "пустой", "поддельный" было, по ее мнению, наихудшим, что можно сказать о человеке. Еще, помнится, она питала крайнее отвращение к накладному серебру и бронзовым полупенсам. Полупенсы ее юности представляли собой массивные диски из красной меди, к которым совсем не подходило слово "мелочь". То были красивые и увесистые монеты, почти столь же неудобные в обращении, как кроны. Помню, как однажды в детстве она поправила меня.

- Не называй пенни медью, деточка, - сказала она. - Медь - это металл, а нынешние пенсы, они бронзовые.

Удивительно, до чего живучи наши детские представления. Я по сей день считаю бронзу неким втирушей среди металлов, ничтожным выскочкой. Все в доме тетушки-Шарлотты было поразительно добротным и, за малым исключением, страшно неудобным; здесь не было вещи, которую мальчик мог бы разбить, не подвергшись за то анафеме. Только ее сервиз не лишен был прелести - по крайней мере другого я ничего не помню, - и каждая из этих заветных тарелок действительно стоила ее бесконечных восторгов. Меня водили в дорогих костюмчиках, доставлявших мне такие же муки, как Геркулесу его туника, омоченная в крови Несса [Несс - кентавр, поверженный Геркулесом; жена Геркулеса - Деянира омочила в крови Несса тунику мужа, чтобы вернуть его любовь, но кровь кентавра оказалась ядом]. Я слишком рано узнал цену добротным вещам. Узнал, скольких сердитых взглядов стоит каждая чайная чашка, и по гроб жизни возненавидел все дорогое. Самому мне любы дешевые и никчемные вещи, зауряднейший хлам, какой только можно получить за деньги, что-нибудь банальное, как примула, и недолговечное, как первый снег.

Подумайте сами, насколько дешевые и - если угодно - плохие вещи предпочтительней их дорогостоящих подмен. Допустим, вам надо что-то купить. "Только бери, что получше, - советует тетя Шарлотта, - такое, чтоб дольше служило". Вы следуете ее совету, и вещь служит веки вечные и становится семейным проклятием. Кому не известны эти донельзя скучные Добротные вещи, скучные, как верные жены, и столь же исполненные самодовольства? У тетушки Шарлотты за всю жизнь, наверно, не было ни одной новой вещи. Мебель красного дерева перешла к ней от дядюшки, а сервиз - от каких-то далеких предков. А ее постели, ее перины!.. Их посещали призраки. Лучшая из кроватей видела столько смертей, рождений и браков, что могла поведать историю трех поколений нашей семьи. Что-то в этом доме навевало мысль о кладбище, и не только потому, что спинки стульев походили очертаниями на могильные плиты. Моя память сохранила мрачные закоулки этого дома, его темные, как в склепе, углы, пышные драпировки, скрывавшие окна. Наша жизнь была чересчур буднична для подобной обстановки. Тетушка Шарлотта не догадывалась, что все это ее подавляло, а меж тем оно так и было. Этим и объяснялся, по-моему, ее душевный склад - ее мрачный кальвинизм, ощущение ничтожества и бренности всего земного. Утверждение, будто вещи являются принадлежностью нашей жизни, было пустыми словами. Это мы были их принадлежностью, мы заботились о них какое-то время и уходили со сцены. Они нас изнашивали, а потом бросали. Мы менялись, как декорации, они действовали в спектакле от

начала и до конца. То же самое было и с одеждой. Мы схоронили вторую сестру моей матери - тетушку Аделаиду, - поплакали и почти позабыли о ней, а ее великолепные шелковые платья, несмотря на свое сиротство, по-прежнему весело шуршали в нашем эфемерном мире.

Все это еще в раннем детстве противоречило моему представлению о жизни и об относительной ценности вещей. Я хочу иметь свои вещи; вещи, которые можно разбить, не разбив себе сердце, и, поскольку мы живем только раз, я ищу перемен - чтоб сперва было это, а потом то. Ценность старых и добротных вещей тети Шарлотты я узнал, лишь когда продавал их. За них дали на редкость много - за эти каменные стулья, как жернова, перемалывавшие людей; за этот хрупкий фарфор, доставлявший бесконечные тревоги до тех самых пор, пока чары его не разлетелись с ним вместе; за серебряные ложки, по милости коих тетя Шарлотта пятьдесят шесть лет кряду мучилась мыслью о взломщиках; за кровать, которую из всей родни пережил я один; за чудесные старинные часы - рослые, плечистые, с серебряным ликом.

Но, как я уже говорил, наши вкусы меняются - ушло в вечность красное дерево и репсовые гардины. Вещи теперь служат человеку, а прежде человека с детства учили служить вещам. Нынче я сам связующее звено между прошлым и будущим. Вещи, как весенние цветы, появляются и вновь исчезают. "Кто украдет мои часы, получит ерунду", - как говорил один поэт; они сделаны из бог весть какого металла и, если их день продержат на каминной полке, покрываются сплошным красновато-черным налетом, который очень меня веселит. Мальчиком я понял, что когда-нибудь надену дедушкину шляпу. Теперь у меня шляпа за десять шиллингов, а то и дешевле, и я меняю ее два или три раза в году. В прежние времена платье брали себе почти так же навечно, как жену. Наше нынешнее жилище полно разными блестящими предметами; повсюду легковесные креслица, прочные лишь настолько, чтобы не развалиться под вами; книги в ярких обложках; ковры, на которые вы спокойно можете бросить зажженную спичку. Вы не боитесь здесь что-нибудь поцарапать, опрокинуть кофе, разбросать по углам пепел. Уж ваша мебель не станет чваниться перед гостями. Она знает свое место.

Но особенно хороши дешевые вещи с точки зрения декоративности. Если что и выдавало в моей тетушке любовь к красоте, так это милый ее сердцу старый цветник, хотя даже тут она остается у меня под подозрением. Ее любимыми цветами были тюльпаны - эти накрахмаленные гордецы в малиновых прожилках. Полевые цветы она презирала. Драгоценности ее походили на выставку благородных металлов. Знай она стоимость платины, она б только ее и носила. Цепи, кольца и броши тети Шарлотты приобретались на вес. Она б отвернулась от работы Бенвенуто Челлини, если бы в вещи было менее двадцати двух каратов. Акварель она презирала; картина в ее глазах должна была представлять собою огромное, писанное маслом бурое полотно какого-нибудь Старого Мастера. В углу столовой в усадьбе Бэббиджей стояла горка с хвастливо сияющей позолоченной посудой; ее огораживал плюшевый шнур, не позволявший посетителям толком рассмотреть чеканку: они лишь узнавали стоимость и шли дальше. Я не держу в доме богато разукрашенного искусства. По мне, прелесть искусства составляют такие необъяснимые вещи, как идеи, мастерство и талант. На фартинг краски и бумаги - и перед вами шедевр, как это делают японцы. Не беда, если он упадет в огонь. Он исчезнет, как вчерашний закат, - завтра будет новый.

Японцы - истинные апостолы дешевизны. Греки жили, чтоб научить людей красоте, иудеи - нравственности, но вот явились японцы и принялись вдалбливать нам, что человек может быть честным, его жизнь - приятной, а народ - великим без домов из песчаника, мраморных каминов и буфетов красного дерева. Порой мне ужасно хотелось, чтоб тетушка Шарлотта пожила среди японцев. Она, конечно, обозвала бы их "горсткой ничтожеств". То, что у них столь употребима бумага и они носят бумажное платье и пользуются бумажными платками, преисполнило бы ее бесконечного презрения к ним. Как я ни старался, я не мог представить

себе тетю Шарлотту в бумажном белье. Она питала истинную ненависть к бумаге. Ее молитвенник был напечатан на шелку, все книги переплетены в кожу и не так для красоты, как для прочности вправлены в металлический кант. Настоящее ее место было в древнем Вавилоне - сей основательный народ высекал на камне даже газеты. Я мысленно сравнивал ее с той царевной, которая носила одеяние из кованого золота. Мальчиком я считал, что скелет у нее из красного дерева. Но как бы там ни было, старушки уж нет, и к тому же она оставила мне свою мебель. Наверно, она перевернулась в гробу, когда я принялся распродавать ее имущество. Даже семейный фарфор понемногу исчез. Негодуя за дурное отношение к ее слишком фундаментальным вещам, тетка вечно наказывала меня, запирала в чулане, сажала на хлеб и воду, давала непосильные задания, и я, признаться, низко отметил ей за это. Если будете в Уокинге, вы убедитесь в этом собственными глазами. На могиле ее стоит простой легкий крест. Он кажется белым пятнышком между двух безобразных гранитных пресс-папье, которыми придавлены лежащие справа и слева. Временами я готов в этом раскаяться. Как я посмотрю ей в лицо на том свете: я ведь так ее оскорбил!

1898

## ***Хрустальное яйцо***

Пер. - Н.Волжина.

Год тому назад близ Севендайлса еще стояла маленькая, вся снаружи закопченная лавка, на вывеске которой поблекшими желтыми буквами было написано: "К.Кэйв. Набивка чучел и антиквариат". Набор вещей, выставленных в ее витрине, поражал своей пестротой. Там были слоновые клыки, разрозненные шахматные фигуры, четки, пистолеты, ящик, наполненный стеклянными глазами, два черепа тигра и один человеческий, изъеденные молью обезьяны чучела (одно - со светильником в лапе), старинная шкатулка, несколько засиженных мухами страусовых яиц, рыболовные принадлежности и на удивление грязный пустой аквариум. В то время, к которому относится наш рассказ, среди всех этих предметов лежал и кусок хрусталя, выточенный в форме яйца и прекрасно отшлифованный. На него-то и смотрели двое стоявших перед витриной лавки: высокий худощавый пастор и смуглый чернобородый молодой человек восточного типа, одетый весьма непритязательно. Молодой человек что-то говорил, энергично жестикулируя, видимо, убеждал своего спутника купить хрустальное яйцо.

Они все еще стояли у витрины, когда мистер Кэйв вышел в лавку из задней комнаты, дожевывая на ходу кусок хлеба с маслом, отчего борода у него так и ходила ходуном. Увидев этих людей и догадавшись, что их заинтересовало, мистер Кэйв как-то сразу сник. Он виновато оглянулся через плечо и тихо притворил за собой дверь в заднюю комнату. Мистер Кэйв был старичок небольшого роста со странными водянисто-голубыми глазами на бледном лице. В волосах его мелькала желтоватая седина; на нем был поношенный синий сюртук, допотопный цилиндр и расшлепанные ковриковые туфли. Он выжидательно смотрел на разговаривающих. Но вот пастор сунул руку в глубину кармана, посмотрел на вынутые оттуда монеты и блеснул зубами в приятной улыбке. Когда они вошли в лавку, физиономия у мистера Кэйва вытянулась еще больше.

Пастор спросил без всяких обиняков, сколько стоит хрустальное яйцо. Мистер Кэйв бросил тревожный взгляд на дверь в заднюю комнату и ответил: пять фунтов. Обращаясь одновременно к своему спутнику и к мистеру Кэйву, пастор запротестовал против такой высокой цены (она действительно была гораздо выше того, что хотел просить Кэйв, когда эта

вещь попала к нему в руки) и начал было торговаться. Мистер Кэйв подошел к входной двери и распахнул ее.

- Цена пять фунтов, - повторил он, видимо, не желая утруждать себя бесцельным спором.

И тут в щелке над занавеской, которой была задернута застекленная дверь в комнату при лавке, показалась верхняя половина женского лица, глаза с любопытством уставились на покупателей.

- Цена пять фунтов, - дрогнувшим голосом проговорил мистер Кэйв.

Смуглый молодой человек пока что молчал, внимательно присматриваясь к Кэйву. Но теперь и он подал голос:

- Хорошо, платите пять фунтов.

Пастор посмотрел на своего спутника - не шутит ли он - и, переведя взгляд на мистера Кэйва, увидел, что тот побелел, как полотно.

- Это слишком дорого, - сказал пастор и, снова порывшись в кармане, стал пересчитывать наличность.

У него оказалось немногим больше тридцати шиллингов, и он стал урезонивать своего спутника, с которым был, видимо, на самой короткой ноге. Это дало мистеру Кэйву возможность собраться с мыслями, и он начал взволнованно объяснять, что, собственно говоря, хрустальное яйцо не продается. Оба покупателя, естественно, удивились: следовало бы подумать об этом раньше! Зачем же тогда было назначать цену? Мистер Кэйв сконфузился, но продолжал твердить, что продать яйцо он не может, так как договорился с другим покупателем. Истолковав эти слова как попытку еще больше набить цену, пастор и его друг сделали вид, будто хотят уйти, но в эту минуту задняя дверь отворилась, и в лавку вошла хозяйка - обладательница черной челки и маленьких глазок.

Эта женщина, полная, с грубыми чертами лица, была моложе мистера Кэйва и гораздо крупнее его. Поступь у нее была тяжелая, лицо - красное от волнения.

- Хрустальное яйцо продается, - сказала она. - И пять фунтов - цена вполне достаточная. Я не понимаю, Кэйв, почему ты отказываешь джентльменам?

Мистер Кэйв, крайне расстроенный этим внезапным вторжением, сердито посмотрел на жену поверх очков и стал - впрочем, не слишком уверенно - защищать свое право вести дела по собственному усмотрению. Между ними началась перепалка. Оба покупателя с интересом наблюдали эту сцену, то и дело подсказывая миссис Кэйв новые доводы. Припертый к стене, Кэйв все же не хотел сдаваться и нес что-то несуразное, путаное об утреннем покупателе хрустального яйца. Волнение дорого ему стоило, но он с необыкновенным упорством продолжал твердить свое.

Конец этому странному спору положил смуглый молодой человек. Он сказал, что они зайдут через два дня, и, следовательно, у того покупателя, на которого ссылается мистер Кэйв, будет время воспользоваться такой отсрочкой.

- Но уж тогда твердо, - сказал пастор. - Пять фунтов.

Миссис Кэйв сочла своим долгом принести извинения за мужа, пояснив, что он у нее иной раз "чудит", и по уходе покупателей супружеская чета приступила к открытому обсуждению этого случая во всех его подробностях.

Миссис Кэйв изъяснялась напрямик. Дрожа от волнения, ее несчастный муж то твердил о каком-то другом покупателе, то сбивался с этой версии и говорил, что хрустальное яйцо стоит не меньше десяти гиней.

- Тогда почему же ты спросил с них пять фунтов? - возразила ему жена.

- Прошу тебя, предоставь мне вести мои дела по собственному усмотрению, - отвечал Кэйв.

В доме мистера Кэйва жили его падчерица и пасынок, и вечером, за ужином, случай в лавке снова подвергся обсуждению. Домашние мистера Кэйва и без того невысоко ценили деловые способности главы семейства, но последний его поступок показался им верхом безумия.

- По-моему, он и раньше придерживал это яйцо, - заявил пасынок, нескладный верзила лет восемнадцати.

- Но \_пять фунтов\_! - воскликнула падчерица, юная дева двадцати шести лет, большая любительница поспорить.

Ответы мистера Кэйва были жалки по своей беспомощности: он только невнятно бормотал, что ему лучше знать, как вести дела. Посреди ужина несчастного погнали в лавку - запереть дверь на ночь. Уши у него горели, слезы досады затуманивали стекла очков. "Почему я не убрал яйцо с витрины? Какое легкомыслие!" - вот что не давало ему покоя. Он не видел способа отвертеться от продажи хрустального яйца.

После ужина падчерица и пасынок мистера Кэйва принарядились и отправились гулять, а жена поднялась наверх и, попивая горячую воду с сахаром, лимоном и еще кое с чем, стала обдумывать, как быть с хрустальным яйцом. Мистер Кэйв ушел в лавку и оставался там довольно долго под тем предлогом, что ему надо делать маленькие гроты в аквариумах для золотых рыбок. На самом же деле он был занят совсем другим, но об этом речь впереди.

На следующий день миссис Кэйв обнаружила, что хрустальное яйцо убрано с витрины и припрятано за стойкой подержанных книг по рыболовству. Миссис Кэйв переложила его обратно, на видное место. Говорить об этом с мужем она не пожелала, так как у нее разыгралась мигрень. Что касается самого Кэйва, то у него такое желание вообще никогда не появлялось. Время тянулось томительно. Мистер Кэйв был рассеян больше обычного (если только это возможно) и сверх того крайне раздражителен. После обеда, когда жена, по своему обыкновению, легла отдохнуть, он опять убрал яйцо с витрины.

На следующий день мистер Кэйв повез в одну из клиник морских собачек, которые требовались там для анатомических занятий. В его отсутствие мысли миссис Кэйв снова вернулись к хрустальному яйцу и к тому, как потратить нежданно-негаданные пять фунтов. Она уже успела самым приятным образом распределить эту сумму - между прочим, имелась в виду покупка зеленого шелкового платья и поездка в Ричмонд, - как вдруг звон колокольчика у входной двери вызвал ее в лавку. Посетитель оказался лаборантом из клиники, который пришел пожаловаться на то, что лягушки, заказанные накануне, до сих пор не доставлены. Миссис Кэйв не одобряла этой отрасли торговых операций мистера Кэйва, вследствие чего джентльмену, явившемуся в несколько запальчивом настроении, пришлось удалиться ни с чем после краткой и вежливой - в той мере, в какой это зависело от него, - беседы с хозяйкой. Взоры миссис Кэйв, естественно, обратились к витрине: вид хрустального яйца должен был придать реальность пяти фунтам и мечтам, связанным с ними. Каково же было ее удивление, когда яйца в витрине не оказалось!

Она кинулась к тому месту за прилавком, где нашла яйцо накануне. Но его и там не было. Тогда миссис Кэйв немедленно приступила к обыску лавки.

Доставив морских собачек по адресу, мистер Кэйв вернулся домой около двух часов и застал в лавке полный разгром. Жена его, злая-презлая, стояла на коленях за прилавком и рылась в материале для набивки чучел. Когда колокольчик возвестил о приходе мистера Кэйва, она высунула из-за прилавка свою свирепую красную физиономию и с места в карьер обвинила мужа, что он "спрятал его".

- Кого его? - спросил мистер Кэйв.

- Хрустальное яйцо.

Выражая всем своим видом крайнее удивление, мистер Кэйв бросился к витрине.

- Разве его здесь нет? - воскликнул он. - Боже мой! Куда же оно делось?

В эту минуту из задней комнаты в лавку вошел с громкой бранью пасынок мистера Кэйва, вернувшийся домой за минуту до него. Он работал на той же улице подмастерьем у краснодеревщика, торговавшего подержанной мебелью, но обедал дома и теперь изволил гневаться, что обед еще не готов. Однако, услышав о пропаже, мальчишка забыл о еде и перенес свой гнев с матери на отчима. Мать и сын, разумеется, сразу же решили, что мистер Кэйв спрятал хрустальное яйцо. Но он всячески отрицал это, не скупясь на клятвенные



заверения, ни для кого не убедительные, и под конец сам стал обвинять сперва жену, а за ней и пасынка в том, что хрустальное яйцо спрятали они, решив тайком продать его.

Ожесточенный, полный накала страстей спор привел к тому, что у миссис Кэйв начался нервный припадок - нечто среднее между истерикой и приступом бешенства, а пасынок на целых полчаса опоздал в мебельную мастерскую. Мистер Кэйв укрылся от разбушевавшейся жены в лавке.

Вечером спор возобновился, но уже с меньшей горячностью, и спорщики вели его под началом падчерицы обстоятельно, как судебное разбирательство. Ужин прошел невесело и закончился тяжелой сценой. Мистер Кэйв вскипел и выбежал из лавки, громко хлопнув дверью. Воспользовавшись его отсутствием, остальные члены семьи высказались о нем с полной свободой, а затем обшарили весь дом с чердака до подвала в надежде найти Хрустальное яйцо.

На следующий день оба покупателя снова появились в лавке. Миссис Кэйв встретила их чуть не со слезами. Как выяснилось из ее слов, никто, ни один человек не может себе представить, сколько ей всего пришлось вытерпеть от Кэйва на стезе их супружеской жизни. Кроме того, она поведала им - в несколько искаженном виде - историю исчезновения хрустального яйца. Пастор и смуглый молодой человек переглянулись между собой, внутренне посмеиваясь, но согласились с миссис Кэйв, что все это действительно очень странно. Они не стали задерживаться в лавке, так как миссис Кэйв явно вознамерилась изложить им всю свою биографию. Цепляясь за последнюю надежду, она все же успела спросить адрес пастора и пообещала известить его, если ей удастся добиться чего-нибудь от мужа. Адрес был дан, но потом, очевидно, утерян. Миссис Кэйв так и не могла сказать, куда он запропастился.

К вечеру того дня страсти в семействе мистера Кэйва несколько улеглись, и сам он, вернувшись из своей отлучки, поужинал в полном одиночестве, представлявшем приятный контраст с недавними бурями. Атмосфера в доме по-прежнему оставалась напряженной, но ни хрустальное яйцо, ни покупатели его так больше и не появились.

Теперь, чтобы не вводить кого-либо в заблуждение, мы должны признаться, что мистер Кэйв просто-напросто лгал. Ему было хорошо известно, где находится хрустальное яйцо. Его хранил у себя мистер Джекоби Уэйс, помощник демонстратора больницы св.Екатерины на Уэстборн-стрит. Прикрытое куском черного бархата, оно лежало у него дома на буфете возле графина с американским виски. От мистера Уэйса и были получены сведения, на основе которых написан этот рассказ. Кэйв принес хрустальное яйцо в сумке с морскими собачками и пристал к молодому ученому, чтобы тот спрятал его у себя. Мистер Уэйс согласился не сразу. У него были довольно своеобразные отношения с Кэйвом. Коллекционируя разного рода чудаков, он частенько приглашал к себе старика выкурить трубочку, выпить стакан вина и слушал его не лишённые занятости высказывания о жизни вообще и о миссис Кэйв в частности. Мистеру Уэйсу случалось иметь дело с этой дамой, когда мистера Кэйва не бывало в лавке. Он знал, что Кэйва притесняют дома, и, обдумав все как следует, решил приютить у себя хрустальное яйцо. Мистер Кэйв обещал объяснить свою странную приверженность к этой вещи, а пока что признался, что в хрустале ему открываются видения. В тот же вечер он опять зашел к молодому ученому.

Мистер Уэйс выслушал весьма путаный рассказ. Из него следовало, что Кэйв купил хрустальное яйцо заодно с другой мелочью на аукционе у одного разорившегося антиквара и, не зная стоимости этой вещи, назначил наугад десять шиллингов. Яйцо провалялось в витрине лавки несколько месяцев, и он уже подумывал, не снизить ли цену, как вдруг ему открылось нечто странное.

Надо иметь в виду, что здоровье у мистера Кэйва было плохое, а во время описываемых событий оно совсем расстроилось, чему немало способствовало также пренебрежительное и прямо-таки дурное отношение к нему жены и ее детей. Миссис Кэйв, женщина взбалмошная, бессердечная, питала все возрастающую склонность к спиртным напиткам. Падчерица была заносчива и сварлива, пасынок не выносил своего приемного отца и

пользовался каждым случаем, чтобы показать это. Хлопоты по лавке тяготили мистера Кэйва, и мистер Уэйс склонен думать, что старику тоже случалось иной раз грешить по части спиртного. В молодые годы Кэйв не знал лишений, получил хорошее образование, а теперь он по целым неделям страдал приступами меланхолии и бессонницей. Когда ему становилось немого от тяжелых мыслей, он тихонько, стараясь никого не разбудить, вставал ночью со своего супружеского ложа и бродил по дому. И однажды, часа в три ночи - было это в конце августа, - случай привел его в лавку.

Эта грязная маленькая конура была погружена во тьму, и только в одном ее уголке теплился какой-то странный свет. Подойдя поближе, мистер Кэйв увидел, что свет исходит от хрустального яйца, которое лежало на краю прилавка, у самой витрины. Тонкий лучик, пробившийся с улицы сквозь щель в ставне, падал прямо на яйцо и словно наполнял его сиянием.

Мистер Кэйв сразу же понял, что это противоречит законам оптики, известным ему еще со школьной скамьи. Если бы луч преломился в хрустале и собрался в фокусе внутри него, это было бы понятно, но такое рассеивание света шло вразрез с основными законами физики. Мистер Кэйв подошел к яйцу поближе, вгляделся в самую его глубь, осмотрел его со всех сторон, вдруг загоревшись той любознательностью, которая помогла ему с молодых лет определить свое призвание. Он поразился, увидев, что свет растекается по всему яйцу, точно это был полый шар, наполненный светящимися парами. Разглядывая яйцо то с правой, то с левой стороны, он случайно заслонил его от луча света, но хрусталь и тогда нимало не потускнел. Потрясенный этим открытием, мистер Кэйв взял яйцо и перенес его подальше от окна, в самый темный угол лавки. Оно продолжало излучать сияние еще минут пять, потом стало медленно тускнеть и наконец погасло. Мистер Кэйв поставил его под луч света, и почти тотчас же сияние снова разлилось по нему.

Эту часть удивительного рассказа старого антиквара мистер Уэйс мог подтвердить. Он сам не раз держал яйцо под лучом шириной чуть меньше миллиметра. И действительно, в полной темноте, накрытый куском черного бархата, хрусталь хоть и слабо, но все же фосфоресцировал. Однако в этой фосфоресценции было что-то странное, и видели ее не все. Так, например, мистер Харбинджер - имя, известное всем, кто интересуется работой Пастеровского института, - вообще не заметил никакого свечения. У мистера Уэйса эта способность была несравненно ниже, чем у мистера Кэйва. И даже у самого мистера Кэйва она сильно колебалась, обостряясь в часы наибольшей усталости и плохого самочувствия.

Свечение в хрустальном яйце с первого дня словно зачаровало мистера Кэйва. И то, что он долгое время ни с кем не делился своим открытием, говорит о его глубоком одиночестве больше, чем мог бы сказать целый том трогательных описаний. Бедняга жил в атмосфере такого недоброжелательства, что вздумай он признаться, что вот такая-то вещь доставляет ему удовольствие, как его мигом лишили бы ее. Он заметил, что с приближением утра, при рассеянном освещении, хрусталь перестает светиться изнутри. Какое-то время вообще удавалось наблюдать это свечение только по ночам в самых темных углах лавки.

Тогда мистер Кэйв решил воспользоваться куском старого бархата, служившего фоном для коллекции минералов. Сложив бархат вдвое и накрыв им голову и руки, он улавливал игру света в хрустальном яйце даже днем. Но тут ему приходилось быть начеку, чтобы не попасться жене, и он предавался этому занятию, залезая из предосторожности под прилавок, только в послеобеденное время, когда она отдыхала наверху. И вот однажды, поворачивая яйцо в руках, мистер Кэйв увидел нечто новое. В глубине хрусталя словно вспыхнула молния, и ему показалось, будто перед ним открылись на миг бескрайние просторы какой-то неведомой страны. Он повернул яйцо еще раз и снова поймал в тускнеющем хрустале то же видение.

Было бы слишком долго и скучно излагать все подробности этого открытия мистера Кэйва. Достаточно сказать о результатах его опытов: держа хрусталь под углом примерно в сто тридцать семь градусов к лучу света, в нем можно было ясно и подолгу видеть широкую и чем-

то совершенно необычную равнину. В пейзаже этом не было ничего фантастического, он казался вполне реальным, и чем сильнее был свет, тем живее и ярче обозначалась в нем каждая его деталь. Всю эту картину пронизывало движение, подчиняющееся размеренному ритму, и она непрестанно менялась в зависимости от направления луча света и той или иной точки зрения. Так бывает, когда рассматриваешь что-нибудь сквозь выпуклое стекло: стоит его повернуть, и все предстает в ином виде.

Мистер Уэйс уверял меня, что мистер Кэйв описывал ему все это очень обстоятельно, без малейших признаков возбуждения, которое обычно наблюдается у галлюцинирующих. Однако все попытки самого мистера Уэйса увидеть сколько-нибудь четкую картину в бледной, опаловой глубине хрусталя оканчивались полной неудачей. Видимо, разница в силе восприятия их обоих была слишком велика и то, что представлялось одному четким, ясным, было для другого всего лишь туманным пятном.

По словам мистера Кэйва, видение, открывавшееся ему в хрустальном яйце, оставалось неизменным. Это была широкая равнина, и он смотрел на нее откуда-то сверху, точно с башни или мачты. На востоке и на западе, далеко-далеко, равнину замыкали высокие красноватые скалы, похожие на те, что он видел на какой-то картине; на-какой именно, мистер Уэйс так и не добился от него. Скалы тянулись с севера на юг (направление можно было определить по звездам ночью) и, теряясь в бесконечности, видимо, смыкались где-то в туманных далах. В первый раз мистер Кэйв был ближе к восточной цепи скал; тогда над ними всходило солнце и в воздухе парило множество каких-то существ, похожих на птиц. Против солнца они казались совсем черными, а попадая в тень, ложившуюся от скал, светлели. Внизу, под собой, мистер Кэйв видел длинный ряд зданий, и чем ближе они были к темному краю картины, где преломлялся луч света, тем все более расплывчатыми становились их очертания. Сверкающий на солнце широкий канал окаймляли деревья с необычными по форме и цвету стволами - то темно-зелеными, как мох, то серебристо-серыми. Что-то большое и яркое пролетело в вышине над красноватыми скалами и равниной. В первый раз это зрелище открывалось мистеру Кэйву на две-три секунды, не больше. Руки у него дрожали, голова тряслась, и неведомая равнина то возникала перед ним, то снова исчезала в тумане, стоило только ему потерять нужный угол зрения.

Второй раз удача пришла только через неделю. Промежуток не дал ничего, кроме нескольких мучительно неясных проблесков и некоторого опыта в обращении с яйцом. Теперь равнина открылась мистеру Кэйву в перспективе. Вид изменился, но у него была странная уверенность, неоднократно подкреплявшаяся в дальнейшем, что он каждый раз смотрит на этот странный мир с одного и того же места, но только в разных направлениях. Большое, длинное здание, крышу которого мистер Кэйв видел впервые внизу, под собой, теперь вытянулось в перспективе. По крыше он его и узнал. Вдоль фасада этого здания шла терраса поистине огромных размеров, а посередине нее, на равном расстоянии одна от другой, высились массивные, но стройные мачты, к верхушкам которых были прикреплены какие-то маленькие блестящие предметы, отражавшие лучи заходящего солнца. О назначении этих предметов мистер Кэйв догадался гораздо позже, когда рассказывал о своих опытах мистеру Уэйсу. Терраса нависала над зарослями роскошных цветущих кустарников, а дальше начинался широкий луг, в траве которого возлежали какие-то странные существа, похожие на огромных, раздавленных в ширину жуков. За лугом бежала дорога, выложенная узором из розоватого камня, а еще дальше, вдоль цепи скал, сверкала зеркально-гладкая река, заросшая по берегам красной травой. Большие птицы тучами величественно парили в воздухе. По ту сторону реки, в чаще деревьев, покрытых мхами и лишайниками, высились дворцы, игравшие на солнце полировкой разноцветного гранита и металлической резьбой. И вдруг перед мистером Кэйвом что-то замелькало; это были словно взмахи крыльев или украшенного драгоценностями веера, и он увидел чье-то лицо, вернее, верхнюю часть лица, с огромными глазами - увидел его так близко от себя, точно их разделял только прозрачный хрусталь. Испуганный и пораженный живостью этих глаз, мистер Кэйв поднял голову, заглянул

за яйцо и, очнувшись от своих видений, увидел себя все в той же холодной, темной лавчонке, пропитавшейся запахом метила, плесени и гнили. И пока он изумленно озирался по сторонам, сияние в хрустале стало меркнуть и вскоре совсем погасло.

Таковы были первые опыты мистера Кэйва. Рассказывал он о них обстоятельно, со всеми подробностями. Мелькнув перед ним в первый раз, пейзаж в хрустальном яйце поразил его воображение, а по мере того, как он обдумывал увиденное, любопытство его перешло в страсть. Дела в лавке он вел теперь спустя рукава, помышляя только о том, как бы поскорее вернуться к своему новому занятию. И вот через несколько недель после странного открытия мистера Кэйва приход в лавку двух покупателей, тревоги, вызванные их намерением купить хрустальное яйцо, и исчезновение его с витрины - словом, все то, о чем я уже рассказывал.

До тех пор, пока мистер Кэйв держал свое открытие в тайне, он любовался этими чудесами украдкой, словно ребенок, одним глазком заглядывающий в чужой сад. Но мистер Уэйс обладал на редкость ясным и точным для начинающего ученого умом. Как только хрустальное яйцо появилось у него в доме и ему удалось убедиться собственными глазами, что старик антиквар говорит правду и что хрусталь действительно светится изнутри, он приступил к систематическому исследованию этого странного явления. Мистер Кэйв, не устававший любоваться зрелищем чудесной страны, просиживал у молодого ученого все вечера, с половины девятого до половины одиннадцатого, а иногда забегал и среди дня в отсутствие хозяина. Приходил он и по воскресеньям, в послеобеденное время. Мистер Уэйс с самого начала вел подробную запись их общих наблюдений, и методичность его помогла установить, какое направление светового луча дает наилучшую возможность обозревать картины, открывающиеся в хрустальном яйце.

Поместив яйцо в ящик с небольшим отверстием для луча и заменив светло-коричневые шторы на окнах своей комнаты плотными черными занавесками, мистер Уэйс значительно улучшил условия наблюдений, так что вскоре они могли обозревать равнину из конца в конец.

Теперь, после этих предварительных сведений, мы дадим краткое описание призрачного мира внутри хрустального яйца. Исследователи всегда придерживались одного и того же метода работы: мистер Кэйв всматривался в хрусталь и рассказывал, что он там видит, а мистер Уэйс, научившийся писать в темноте еще в студенческие годы, конспектировал его рассказы. Когда хрусталь тускнел, яйцо снова помещали в ящик и включали электричество. Мистер Уэйс задавал вопросы и делал те или иные поправки по ходу наблюдений, стараясь избежать малейших неясностей. Словом, ни того, ни другого нельзя было заподозрить в визионерстве, их занятие носило чисто деловой характер.

Мистера Кэйва больше всего интересовали похожие на птиц существа, которые всякий раз появлялись в хрустале. Сначала он считал этих птиц чем-то вроде дневных летучих мышей, потом, как ни странно, решил, что это ангелы. Головы у них были круглые, поразительно схожие с человеческими. Одно из этих существ когда-то и напугало мистера Кэйва, встретившись с ним взглядом в хрустале. Их серебристые, лишенные оперения крылья искрились на свету, как чешуя у рыбы, только что вынутой из воды. Впрочем, мистер Уэйс вскоре установил, что крылья эти не были похожи на крылья летучих мышей или птиц, а держались на изогнутых ребрах, расходящихся веером от туловища. (Крыло бабочки с чуть изогнутыми прожилками - вот наиболее близкое сходство.) Само туловище у них было небольшое; ниже рта выступали два пучка хватательных органов, похожих на длинные щупальца. Как это ни казалось невероятным мистеру Уэйсу, но в конце концов он пришел к мысли, что именно им, крылатым существам, принадлежат величественные дворцы, напоминающие человеческое жилье, и роскошные цветущие сады - короче говоря, все то, чем ласкала глаз широкая равнина. Мистер Кэйв, со своей стороны, подметил еще одну особенность этих зданий: обитатели их влетали и вылетали оттуда не через двери, а в окна - большие, круглые, легко открывающиеся. Сядут на свои щупальца, прижмут сложенные



крылья к тонкому, как тростинка, туловищу и легко спрыгнуть внутрь. В этом рое было и множество других, более мелких существ, подобных большим стрекозам, бабочкам и летающим жукам, а на зеленой луговине лениво копошились и бескрылые жуки, слепящие глаз своей яркой окраской. Большеголовые мухи огромных размеров, но тоже лишенные крыльев, деловито скакали по дороге и террасам, отталкиваясь от земли при помощи своих щупалец, похожих на человеческие руки.

Я уже упоминал о каких-то блестящих предметах на мачтах, которые стояли на террасе дворца у самого края этой картины. Однажды, когда видимость была исключительно хороша, мистер Кэйв рассмотрел одну из таких мачт и увидел, что этот блестящий предмет ничем не отличается от его собственного хрустального яйца. И, как выяснилось из дальнейших наблюдений, такие же хрустальные шары были почти на всех других двадцати мачтах. Время от времени крылатые существа взлетали на одну из них и, сложив крылья, обхватив ее щупальцами, подолгу, иной раз минут по пятнадцать, пристально вглядывались в хрусталь. Ряд наблюдений, проведенных по совету мистера Уэйса, убедил обоих исследователей, что хрустальное яйцо, в которое они смотрят, укреплено на террасе с двадцатью мачтами, на верхушке крайней из них, и что в лицо мистеру Кэйву заглянул один из обитателей потустороннего мира.

Таковы основные факты этой странной истории. Если не считать ее от начала до конца остроумной мистификацией мистера Уэйса, придется признать одно из двух: либо хрустальное яйцо мистера Кэйва находилось одновременно в двух мирах и, перемещаясь в одном мире, оставалось неподвижным в другом, что совершенно невероятно, либо между обоими хрустальными яйцами существовала какая-то связь и то, что было видно внутри одного из них здесь, на земле, при соответствующих условиях могло открыться наблюдателю в том, другом мире, и наоборот.

Сейчас мы, разумеется, не в состоянии объяснить, каким образом эти два хрустальных яйца могли быть связаны между собой, но современная наука уже не отрицает такой возможности. Предположение о некоем родстве между ними принадлежит мистеру Уэйсу, и, на мой взгляд, оно вполне правдоподобно.

Но где же находится тот, другой мир? Живой ум мистера Уэйса не замедлил пролить свет и на этот вопрос. После захода солнца небо в хрустале быстро темнело - сумерки там были совсем короткие, - появлялись звезды. Те же звезды, группирующиеся в те же созвездия, мы видим и на нашем небосклоне. Мистер Кэйв узнал Большую Медведицу, Плеяды, Альдебаран и Сириус. Следовательно, тот мир находится где-то в пределах солнечной системы и самое большее - на расстоянии каких-нибудь нескольких сот миллионов миль от нашего. Развивая дальше эту догадку, мистер Уэйс установил, что полночное небо в том мире намного темнее даже нашего зимнего, а солнечный диск несколько меньше. \_И на небосклоне там сияли две луны\_! ("Похожие на нашу луну, но меньшего размера и с другим расположением морей и кратеров".) Одна из этих лун двигалась так быстро, что движение ее было заметно глазу. Поднимались они обе невысоко и исчезали вскоре после восхода - другими словами, вращение их вокруг своей оси сопровождалось затмением вследствие близости обеих к планете, вращающейся вокруг солнца. И все это в точности соответствовало тем астрономическим законам (неизвестным мистеру Кэйву), которые должны существовать на Марсе.

В самом деле, почему не допустить, что, глядя в хрустальное яйцо, мистер Кэйв действительно видел планету Марс и ее обитателей? А если так, значит, вечерняя звезда, ярко сияющая в небе этого далекого мира, была не что иное, как наша Земля.

Первое время марсиане - если это на самом деле были жители Марса, - по-видимому, не подозревали, что за ними наблюдают. Иной раз кто-нибудь из них поднимался на мачту, вглядывался в хрустальное яйцо минутой-другой и перелетал к следующему, вероятно, в поисках лучшей видимости. Мистер Кэйв следил за жизнью этих крылатых существ без всяких помех с их стороны, и его наблюдения, хоть и отрывочные, давали пищу для ума. Представьте



себе, какое впечатление о людях сложилось бы у марсианина, если бы он после долгих усилий, напрягая глаза, мог бы лишь минуты по четыре за раз смотреть на Лондон с высоты колокольни св.Мартина! Мистер Кэйв не мог сказать, были ли крылатые марсиане такими же существами, как и те, что скакали по дороге и террасам, и могли ли последние обзавестись по желанию крыльями. Несколько раз на равнине появлялись какие-то двуногие, смахивающие на неуклюжих белых обезьян с прозрачным туловищем. Они паслись среди заросших лишайниками деревьев, и как-то раз один круглоголовый, передвигающийся прыжками марсианин погнался за ними и схватил одного своими щупальцами. Но тут видение сразу поблекло, и мистер Кэйв остался в темноте, сгорая от неудовлетворенного любопытства. В другой раз нечто огромное стремительно пронеслось по дороге вдоль канала. Когда это "нечто" приблизилось к краю картины, мистер Кэйв признал в нем сначала гигантское насекомое, а потом сверкающую металлом машину чрезвычайно сложной конструкции. Он хотел разглядеть ее как следует, но не успел, так быстро она скрылась из виду.

Спустя некоторое время мистер Уэйс вознамерился привлечь внимание марсиан, и в следующий раз, когда глаза одного из них глянули в хрусталь, мистер Кэйв громко вскрикнул и отскочил назад. Уэйс сейчас же зажег свет, и оба они стали подавать знаки марсианину. Но все их старания ни к чему не привели. Когда мистер Кэйв снова посмотрел в глубь хрустального яйца, там никого не было.

Такие сеансы продолжались до первых чисел ноября. Убедившись к этому времени, что подозрения его домашних улеглись, мистер Кэйв стал уносить хрустальное яйцо с собой, с тем чтобы не упускать ни малейшей возможности - днем ли, ночью ли - тешить свою душу видениями, которые составляли теперь весь смысл его жизни.

В декабре, готовясь к экзамену, мистер Уэйс был занят больше обычного; наблюдения над хрустальным яйцом, увы, на неделю пришлось отложить. Неделя прошла, но Кэйв не дал о себе знать и на десятый, а может быть, и на одиннадцатый день. Мистеру Уэйсу не терпелось снова приступить к наблюдениям, поскольку спешная работа у него кончилась, и он сам отправился к старику антиквару. Выйдя на Севендайлс, он увидел, что у торговца птицами и сапожника окна закрыты ставнями. Лавка мистера Кэйва тоже была на запоре.

Мистер Уэйс постучал в дверь; ему отворил пасынок старика с черной повязкой на рукаве. По его зову в лавке появилась миссис Кэйв в полном вдовьем трауре, хоть и дешевом, но явно рассчитанном на то, чтобы бросаться в глаза, как отметил мысленно мистер Уэйс. Он почти не удивился, узнав, что Кэйв умер и уже похоронен. Миссис Кэйв пустила слезу и несколько сиплым голосом сообщила ему, что она сию минуту с Хайгейтского кладбища. Вдовица, видимо, была вся во власти мыслей о своей дальнейшей судьбе и перипетий торжественной церемонии погребения, так что мистер Уэйс не сразу и с большим трудом выведал у нее подробности смерти старика.

Кэйва нашли мертвым в лавке рано утром на другой день после их последней встречи с мистером Уэйсом. Окоченевшие руки старика сжимали хрустальное яйцо, рассказывала миссис Кэйв, на губах застыла улыбка. Рядом с ним на полу лежал кусок черного бархата. Смерть наступила часов за пять, за шесть до того, как его обнаружили.

Уэйс был потрясен этим рассказом и горько упрекнул себя за то, что смотрел сквозь пальцы на явно ухудшавшееся здоровье старика. Впрочем, главным образом его беспокоило хрустальное яйцо. Зная некоторые особенности характера миссис Кэйв, он приступил к расспросам с осторожностью. И совершенно онемел от неожиданности, узнав, что хрустальное яйцо уже продано.

Когда покойника перенесли наверх, миссис Кэйв сразу же вспомнила про чудака пастора, предлагавшего пять фунтов за хрустальное яйцо, и решила написать ему о своей находке. Но лихорадочные поиски его адреса, в которых принимала участие и ее дочь, ни к чему не привели: бумажка затерялась. У миссис Кэйв не было средств на сложные по ритуалу похороны, которых заслуживал столь почтенный обитатель Севендайлса, и она прибегла к

помощи одного знакомого торговца с Грэйт-Портленд-стрит. Он любезно согласился взять часть вещей Кэйва по собственной расценке. В их числе было и хрустальное яйцо. Выразив, правда, несколько второпях, приличные случаю соболезнования вдове, мистер Уэйс поспешил на Грэйт-Портленд-стрит. Но там он узнал, что хрустальное яйцо уже продано и что купил его высокий смуглый человек в сером костюме. Здесь фактический материал этой странной, но, на мой взгляд, наводящей на размышления истории внезапно обрывается. Торговец с Грэйт-Портленд-стрит не знал, кто был тот высокий смуглый человек в сером, и не мог точно описать его мистеру Уэйсу. Он даже не заметил, в какую сторону покупатель пошел, выйдя из лавки. Мистер Уэйс до конца испытал терпение торговца, изливая в бесконечных расспросах свою досаду. Убедившись напоследок, что всему этому делу пришел конец, что теперь уж ничего не попишешь, он вернулся домой и с удивлением увидел свои заметки о наблюдениях над хрустальным яйцом, которые по-прежнему лежали на его заваленном книгами и бумагами столе.

Легко представить себе разочарование и досаду молодого ученого. Он еще раз сходил к торговцу на Грэйт-Портленд-стрит (столь же безуспешно), дал объявления в газеты и журналы, которые могли попасть в руки коллекционеров разных редкостей. Написал письма в "Дейли кроникл" и "Нэйчюр", но оба эти органа, заподозрив тут мистификацию, посоветовали ему подумать как следует, прежде чем настаивать на опубликовании своих писем. Кроме того, мистеру Уэйсу было дано понять, что эта странная история, лишенная каких бы то ни было вещественных доказательств, может повредить его репутации ученого.

Месяца через полтора после двух-трех последних бесед с антикварами мистер Уэйс скрепя сердце отказался от поисков хрустального яйца, тем более что работа в больнице оставляла у него мало свободного времени. Впрочем, недавно молодой ученый признался мне (и я не имею оснований не верить ему), что бывают дни, когда он бросает самые неотложные дела и, полный рвения, принимается разыскивать пропажу.

Найдется ли хрустальное яйцо или оно исчезло навсегда, об этом сейчас можно только гадать. Если теперешний его обладатель - коллекционер, он, казалось бы, должен узнать через антикваров, что эта вещь разыскивается. Мистер Уэйс уже выяснил, кто были те люди - пастор и "восточный человек", приходившие в лавку к мистеру Кэйву. Оказалось, что это почтенный Джеймс Паркер и молодой яванский принц Боссо-Куни. Им я обязан некоторыми подробностями этой истории. Настойчивость принца объяснялась просто любопытством и... долей чудачества. Ему захотелось купить хрустальное яйцо только потому, что Кэйв со странным упорством отказывался продать его.

Вполне вероятно, что тот, кому в конце концов досталась эта вещь, был не коллекционер, а просто случайный покупатель, и, может быть, хрустальное яйцо находится сейчас на расстоянии какой-нибудь мили от меня и украшает чью-нибудь гостиную, а то и служит пресс-папье, не обнаруживая своих замечательных свойств. Откровенно говоря, эта мысль отчасти и побудила меня изложить всю эту историю в форме рассказа в расчете на то, что так она скорее попадет на глаза рядовому потребителю беллетристики.

Мое собственное мнение о хрустальном яйце вполне совпадает с мнением мистера Уэйса. По-моему, между хрустальным шаром, укрепленным на вершине марсианской мачты, и хрустальным яйцом мистера Кэйва существует какая-то тесная связь, в настоящее время еще не разгаданная. Мы оба считаем также, что хрустальное яйцо могло быть послано с Марса на Землю (вероятнее всего, в незапамятные времена), когда марсиане захотели поближе познакомиться с нашими земными делами. Допускаю мысль, что у нас на Земле где-нибудь есть и другие такие же хрустальные шары - парные тем, что украшают остальные марсианские мачты. Во всяком случае, ссылками на галлюцинации тут ничего не объяснишь.

## ***Свод проклятий***

Профессор Гнилсток, к вашему сведению, объездил полсвета в поисках цветов красноречия. Точно ангел господень - только без единой слезинки, - ведет он запись людских прегрешений. Проще сказать, он изучает сквернословие. Его коллекция, впрочем, притязает на полноту лишь по части западноевропейских языков. Обратившись к странам Востока, он обнаружил там столь потрясающее тропическое изобилие сих красот, что в конце концов вовсе отчаялся дать о них хоть какое-нибудь представление. "Там не станут, - рассказывает он, - осыпать проклятиями дверные ручки, запонки и другие мелочи, на которых отводит душу европеец. Там уж начали, так держись..."

Однажды в Калькутте я нанял слугу весьма обнадеживающей внешности и месяц спустя или что-то около этого выгнал его, не заплатив. Поскольку дверь была на запоре и он не мог пырнуть меня своим огромным ножом, он уселся на корточках под верандой и с четверти седьмого почти до десяти утра ругал меня почему зря, изливая без продыха невероятный поток анафем. Сперва он клял мой род по женской линии до самой Евы, потом, поупражнявшись слегка на мне самом, взялся за моих возможных потомков, вплоть до отдаленнейших праправнуков. Затем он стал всячески поносить меня самого. У меня заболела рука записывать всю эту благодать. То была поистине антология бенгальской брани - яркой, неистовой, разнообразной. Ни один образ не повторялся дважды. Потом он обратился к разным частям моего тела. Мне здорово с ним повезло. И все же меня терзала мысль, что все это взято у одного человека, а их в Азии шестьсот миллионов.

- Разумеется, подобные изыскания сопряжены с некоторой опасностью, - заметил профессор в ответ на мой вопрос. - Первое условие для собирания брани - это вызвать против себя возмущение, особенно на Востоке, где обычно грозят всего-навсего карами небесными, и надо жестоко оскорбить человека, чтоб он явил вам все свои сокровища. В Англии вы ни от кого не услышите такого залпа откровенных, точных и подробных проклятий, которыми там бьют по врагу, - разве что от дам сомнительной репутации. А ведь несколько столетий назад анафема была обычным делом. Так, в Средние века она составляла часть судебной процедуры. Как явствует из протоколов гражданских палат, истцу полагалось произнести родительское, сиротское или еще какое-нибудь проклятие. Проклятие играло большую роль также и в церковной политике. На одном из этапов истории воинствующее христианство всего мира в унисон кляло по-латыни Венецианскую республику - представляете, какой это был громкий и внушительный хор! По-моему, нельзя допустить, чтобы эти древние обычаи канули в прошлое. А ведь, по моему подсчету, больше половины готских ругательств совсем забыто. В ирландском и гэльском, наверно, тоже имелись отличные вещи; кельты с их большим чувством колорита, живым умом и эмоциональностью всегда превосходили в брани бедных на выдумки тевтонцев. Однако все это доживает последние дни.

Право, нынешний средний британец совсем разучился божиться. Трудно себе представить что-нибудь бесцветней и скучней того, что идет сейчас в Англии за брань. Это обычная речь, одобренная полудюжиной общепринятых ругательств, которые вставляются между словами самым бессмысленным и нелепым образом. Подумать только, непринятые слова - и те употребляются на общепринятый манер! Помню, как однажды после полудня я ехал метрополитеном в вагоне третьего класса для некурящих, битком набитом простоллюдинами. Каждое существительное они подкрепляли одним и тем же глупым прилагательным и, несомненно, чувствовали себя удайцами. В конце концов я попросил их не повторять больше этого слова. Один из них мигом осведомился: "...какого... (право, я не силах приводить его детский лепет!) - какого... (опять это избитое слово) мне дело?" Тогда я спокойно взглянул на него поверх очков и начал сыпать. То было для бедняг настоящее откровение. Они сидели, разинув рты. Затем ближайшие ко мне стали потихоньку отодвигаться, и на первой же остановке, не успев поезд затормозить, они все как один ринулись из вагона, точно я был заразный больной. А монолог мой представлял собой

всего лишь слабое подобие нескольких банальных, ничего не значащих фраз, коими сирийские язычники честили обычно американских миссионеров.

- Еще спасибо, женщины помогают, не то в Англии совсем бы иссякло сквернословие, - закончил свою речь профессор Гнилсток.

- Не слишком ли дурно так думать о дамах? - осведомился я.

- Ничуть. По некоторым не очень ясным причинам они решили объявить ряд слов неприличными. Это чистейшая условность. И дело вовсе не в первичном значении этих слов, поскольку у каждого из них есть свой вполне допустимый парафраз или синоним. Но нарушение этого "табу" существом слабого пола считается предосудительным. Впрочем, дамы уже стали догадываться, как им исправить свою ошибку. Слово "чертов", говорят, уже проникло в будуар, и его можно частенько услышать в дамской беседе; возражать против него почитается теперь чуть ли не ханжеством. Между тем мужчины, особенно хлюпики, ни за что не станут делать то же, что женщины. В результате мужчин, поминающих черта, остальные их собратья ставят нынче почти на одну доску с теми, у кого в лексиконе слова "мерзкий" и "противный". Слабый пол скоро почувствует перемену, происшедшую с этим запретным словом. И тогда дамы тут же, разумеется, введут в обиход и все прочие ругательства. Поначалу это, наверно, будет несколько резать слух, но в результате не станет неприличных слов. Я уверен, что найдутся охотники поупражнять свое жалкое остроумие над женщиной, которая первой решится вступить на сей путь, но если дело станет за жертвой, то среди дам всегда найдется подвижница. Борясь против старой веры, она погрязнет в богохульствах и погибнет в них, как в тунике Несса, - мученица за чистоту нашей речи. И тогда исчезнет наша убогая ругань, это бессмысленное и нарочитое грубиянство. И от этого будет немалая польза.

Есть в этой области один раздел, который я назвал бы "изящным сквернословием". "Ах, сучий прах!" - вскричал король, увидев человека, взбирающегося на шпиль Солсберийского собора. - Выдать ему привилегию на право лазать туда, и чтоб больше никто не смел!" Подобные обороты можно занести в рубрику "антикварных проклятий". Для дам имеется вариант - "прах ты возьми", а в Британском музее я однажды наткнулся на такое производное - "прахоблуды". В прежние времена каждый джентльмен стремился иметь свое собственное проклятие, так же как свою особенную прическу, свой эскилибрис или какую-нибудь замысловатую подпись. Это словечко порхало в его речи, как бабочка на полотнах Уистлера, одновременно удостоверяя его личность и вызывая восхищение. Вот задрибабочка!.. Я часто подумывал о том, что не худо бы составить сборник таких изысканных примолвок и геральдических ругательств, напечатать его на лучшей бумаге с большими полями, переплести в мягкий сафьян, тисненый золотыми цветочками, и выпустить как подарок ко дню рождения или карманный справочник под титулом: "Обиходные проклятия".

Возвращаясь к брани, должен сознаться, что с грустью гляжу на ее упадок. Это было крайне полезное для морали и здоровья упражнение. Видите ль, когда с человеком случается неприятность или его охватывает волнение, мозг его под действием раздражителей вырабатывает огромное количество энергии. Ему приходится пускать в ход всю свою волю, чтоб сдерживать эту энергию. Часть ее просачивается порой к лицевым нервам и искажает лицо судорогой; часть может вызвать работу слезных желез, спуститься по блуждающему нерву, замедлить биение сердца и вызвать обморок или нарушить ток крови в мозговых сосудах и привести к параличу. Если же человек сдержит себя и не даст ей вырваться в одну из этих отдушин, она может перелиться через край, и тогда скандалы, разбитая мебель, а глядишь, и "убиство". Так вот, для всей этой энергии какое-нибудь забористое, крепкое словечко служит природным громоотводом. Все примитивные люди и большая часть зверей пользуются проклятиями. Это своего рода эмоциональное "рвотное". Ваш кот фыркает, чтоб не вцепиться вам в лицо. А конь, который не может послать вас к черту, мертвым падает на землю. Теперь, надеюсь, вам понятно, что заставляет меня сожалеть об упадке этого прекрасного и благотворного обычая...



Однако я должен работать. Сейчас я как раз объезжаю Лондон, не платя чаевых кэбменам. Порой удается выудить что-нибудь новенькое, хотя по большей части слышишь одни банальности.

За сим он пульнул в меня игривым трехэтажным и минуту спустя скрылся в клубях дыма, откуда я его перед тем извлек. Вообще он был малый веселый и приятный, хотя, надо признаться, занимался несколько предосудительным делом.

1898

## ***Род ди Сорно***

Пер. - Р.Померанцева

Рукопись, найденная в картонке

А картонка принадлежала Ефимии. Ее содержимое было варварски раскидано обезумевшим мужем, которому до зарезу понадобился галстук и не хватало выдержки и терпения дожидаться, пока придет жена и разыщет пропажу. Конечно, в картонке галстука не оказалось; хотя муж, как легко догадаться, перерыл ее снизу доверху. Галстука там не было, зато в руки ему попала пачка бумаг, которые можно было просмотреть, чтобы скоротать время до прихода Главного хранителя галстуков. К тому же всего интересней читать то, что ненароком попадает вам в руки.

Уже то, что Ефимия берегла какие-то бумаги, было открытием. На первый взгляд эти мелко исписанные страницы порождали мысль об измене, и поэтому муж взялся за чтение, исполненный страхов, которые рассеялись, едва он пробежал первые строчки. Он, так сказать, выполнял функцию полиции и тем себя оправдывал. И он начал читать. Но что это?! "Она стояла на балконе; позади нее было окно, а вельможный владелец замка ловил каждый взгляд ее капризных очей, тщетно надеясь прочесть в них благосклонность и преодолеть ее гордыню". Ничего похожего на измену!

Муж перелистнул страницу-другую - он начал сомневаться в своих полицейских правах. За фразой - "...отвести ее к ее гордому родителю" стояло написанное другими чернилами: "Сколько ярдов ковра, шириной в три четверти ярда потребуется для того, чтобы застеклить комнату в шестнадцать футов шириной и в двадцать семь с половиной футов длиной?" Тут он понял, что читает великий роман, созданный Ефимией в шестнадцатилетнем возрасте. Он уже что-то о нем слышал. Он держал в руках тетрадку, не зная, как поступить, - его все еще мучила совесть.

- Вздор! - решительно сказал он себе. - Допустим, что от романа просто не оторваться. Иначе мы выкажем пренебрежение к автору и его таланту.

С этими словами он плюхнулся в картонку прямо на груды вещей и, устроившись поудобнее, стал читать и читал до самого прихода Ефимии. Но она, узрев его голову и ноги, бросила несколько отрывочных и довольно-таки обидных замечаний по поводу какой-то раздавленной шляпки, а потом стала зачем-то силком вытаскивать его из картонки. Впрочем, это мои личные огорчения. А нас занимают сейчас достоинства романа Ефимии.

Героем ее повести был венецианец, звавшийся почему-то Иван ди Сорно. Насколько я мог установить, он и представлял собой весь род ди Сорно, упомянутый в заглавии. Никаких других ди Сорно я не обнаружил. Как и прочие герои повести, он был несметно богат и терзался глубокой печалью, причины которой остались неясными, но, очевидно, таились в его душе. Впервые он предстал перед нами, когда брел "...грустно поигрывая осыпанной камнями рукоятью кинжала... по темной аллее земляничных деревьев и остролистника, удивительно гармонировавшей с его сумрачным видом". Он размышлял о своей жизни, которую влачил под тягостным бременем богатства, не ведая чувства любви. Вот он "...идет



по длинной великолепной галерее...", "и сто поколений других ди Сорно, каждый с таким же горящим взглядом и мраморным челом, взирают на него с той же грустной печалью" - и вправду унылое зрелище! Кому бы оно не наскучило за столько дней! И вот он решает отправиться странствовать. Инкогнито.

Вторая глава озаглавлена: "В старом Мадриде". Здесь ди Сорно, закутавшись в плащ, дабы скрыть свой титул, "...бродит, грустный и безучастный, в суетливой толпе". Но Гвендолен - гордая Гвендолен с балкона - "...приметила его бледный и все же прекрасный лик". Назавтра, во время боя быков, она "...бросила на арену свой букет и, обернувшись к ди Сорно (совсем ей незнакомому, заметьте!)... глянула на него с повелительной улыбкой". "В тот же миг он, не раздумывая, кинулся вниз, туда, где метались быки и сверкали клинки тореро, а минуту спустя уже стоял перед ней и с низким поклоном протягивал ей спасенные цветы". "О, прекрасный сеньор! - сказала она. - Вряд ли эти бедные цветы стоили таких хлопот". Весьма мудрое замечание. И тут я вдруг отложил рукопись.

Мое сердце исполнилось жалости к Ефимии. Вот о ком она мечтала! О человеке редкой силы, с горящим взором, о человеке, который ради возлюбленной может расшвырять быков, кинуться на арену и единым духом взлететь обратно. И вот сижу я - грустная реальность, щедушный писака в комнатных туфлях, до смерти боящийся всякой скотины.

Бедная моя Ефимия! Мы так долго высмеивали и преследовали новый тип женщины и так в этом преуспели, что боюсь, наши жены очень скоро разочаровываются в нас, бедняжки. И пусть даже они сами себя обманывают, им от этого не легче. Они мечтают о каких-то чудесах бескорыстия и верности, о рослых светлокудрых Донованах и темноволосых Странствующих рыцарях, почитающих своих дам, как святыню. И тут приходит всякий сброд, вроде нас, грешных, которые сквернословят за завтраком, вытирают перья о рукава сюртуков, пахнут табаком, дрожат перед издателями и отдают на прочтение всему свету сокровенное содержимое их картонок. А ведь они - за редким исключением - так берегут свое богатство! Они по-прежнему тайно цепляются за мечты, которые мы у них отняли, и с таким тактом стараются сохранить хоть что-то из прежних надежд и хоть чего-нибудь добиться от нас. Лишь в редких случаях - как, например, в истории с раздавленной шляпкой - они срываются на крик. Впрочем, даже тогда...

Но довольно прозы. Вернемся к ди Сорно.

Наш герой не воспылил страстью к Гвендолен, как, наверно, решил неискuschenный читатель. Он "холодно" ей ответил, и взор его на мгновение задержался на ее камеристке - "прелестной Марго". Далее следуют сцены любви и ревности под замковыми окнами с железными переплетами. У прелестной Марго, хоть она и оказалась дочерью обедневшего принца, было одно свойство, присущее всей на свете прислуге: она день-деньской гладела в окно. Вечером после боя быков ди Сорно открылся ей в своих чувствах, и она от души пообещала ему "научиться его любить"; с той поры он дни и ночи "...гарцевал на горячем коне по дороге", проходившей у замка, где жила его юная ученица. Это вошло у него в привычку; за три главы он проехал мимо замка общим счетом семнадцать раз. Затем он стал умолять Марго бежать с ним, "пока не поздно".

Гвендолен после яростной стычки с Марго, во время которой она обозвала ее "паскудой" - весьма уместный лексикон для молодой дворянки! - "...с несказанным презрением выплыла из комнаты", чтобы, к вящему изумлению читателя, больше не появиться в романе, а Марго и ди Сорно бежали в Гренаду, где им начала строить ужасные козни Инквизиция в лице одного-единственного "монаха с горящим взором". Но тут женой ди Сорно возжелала стать некая графиня ди Морно, которая мимоходом уже появлялась в романе, а теперь решительно вышла на авансцену. Она обвинила Марго в ереси, и вот Инквизиция, скрывшись под желтым домино, явилась на бал-маскарад, разлучила влюбленных и увезла "прелестную Марго" в монастырь. Сам не свой, ди Сорно вскочил в карету и стал носиться по Гренаде от гостиницы к гостинице (лучше б он заглянул в участок!); нигде не найдя Марго, он лишился рассудка. Он бегал повсюду и вопил: "Я безумен! Безумен!" - что

как нельзя больше свидетельствовало о его полном помешательстве. В припадке безумия он дал согласие графине ди Морно "вести ее под венец", и они поехали в церковь (почему-то все в той же карете), но дорогой она выболтала ему свою тайну. Тогда ди Сорно выскочил из кареты, "...расшвырял толпу" и, "размахивая обнаженным мечом, начал требовать свою Марго у ворот Инквизиции". Инквизиция, в лице все того же испепеляющего взглядом монаха, "...глядела на него поверх ворот" - позиция, без сомнения, весьма неудобная. И в этот решающий миг домой вернулась Ефимия, и начался скандал из-за раздавленной шляпки. Я и не думал ее давить. Просто она была в той же картонке. А чтоб нарочно... Уж так само получилось. Если Ефимии хочется, чтоб я ходил на цыпочках и все время глядел, не лежит ли где ее шляпка, нечего было сочинять такой увлекательный роман. Отнять у меня рукопись как раз в этом месте было просто безжалостно. Я дошел только до середины, так что за поединком между Мечом и Испепеляющим взглядом должно было последовать еще много событий. Из случайно выпавшей страницы я узнал, что Марго закололась кинжалом (разукрашенным камнями), но обо всем, что этому предшествовало, я могу лишь догадываться. Это придало повести особый интерес. Ни одну книгу на свете мне так не хочется прочесть, как окончание романа Ефимии. И лишь из-за того, что ей придется купить новую шляпку, она не дает мне его, как я ни упрашиваю.

1898

## **Бог Динамо**

Пер. - С.Майзельс.

Главный механик, обслуживавший в Кемберуэлле три динамо-машины, которые с жужжанием и грохотом подавали ток электрической железной дороге, был родом из Йоркшира, и звали его Джеймс Холройд. Этот рыжий тупой битюг с кривыми зубами был опытным электриком, но горьким пьяницей. Он сомневался в существовании Верховного божества, но верил в цикл Карно [обратимый круговой процесс, представляющий идеальный рабочий цикл тепловой машины], читывал Шекспира и считал, что тот слабо разбирается в химии. Его помощник был родом откуда-то с Востока, и звали его Азума-зи. Впрочем, Холройд звал его Пу-ба. Холройд вообще предпочитал работать с неграми: они безропотно сносили его постоянные пинки и не совались к механизмам, чтобы узнать, как они действуют. Холройд так никогда и не понял, какие неожиданные повороты могут произойти в сознании негра, столкнувшегося с электричеством - этим венцом современной цивилизации; хотя в конце концов главному механику все же пришлось это узнать.

Этнография казалась бессильной для определения расовой принадлежности Азума-зи. Пожалуй, он больше всего приближался к негроидам, хотя волосы его были скорее волнистыми, чем курчавыми, а переносица вполне заметна. Да и кожа была, пожалуй, коричневой, а не черной, и белки глаз отливали желтизной. Широкие скулы и узкий подбородок придавали его лицу какое-то выражение вероломства. Голова, широкая сзади, переходила в низкий узкий лоб, словно его мозг был повернут в обратную сторону по сравнению с мозгом европейца. Как ни мал он был ростом, запас его английских слов был еще меньше. Разговаривая, он издавал массу странных звуков, совершенно бессмысленных для собеседника, а редкие членораздельные слова его были замысловаты и напыщенны. Холройд пытался очистить от скверны его языческие верования и часто под пьяную руку читал ему лекции о вреде суеверий и поносил миссионеров. Однако Азума-зи предпочитал не вступать в споры о своих богах, хоть и получал за это пинка.

Азума-зи, едва прикрытый куском белой ткани - чего было явно маловато, - явился из Стрейтс Сеттлментс и высадился в лондонском порту прямо из кочегарки парохода "Лорд

Клайв". С детства он слышал о величии и богатстве Лондона, где все женщины белы и светловолосы и даже нищие на улицах белые. И вот, позванивая в карманах только что заработанными монетами, он прибыл сюда, чтобы поклониться храму цивилизации. В день его приезда стояла гнетущая погода: с бурого неба на грязные улицы сыпался мелкий, истерзанный ветром дождь; Азума-зи смело кинулся в омут развлечений, но очень скоро очутился вновь на улице, больной, без гроша в кармане теперь уже европейского платья - бессловесное животное, если не считать скудного запаса самых необходимых слов; он был низвергнут из рая, чтобы гнуть спину на Холройда и переносить его издевательства в машинном зале электростанции Кемберуэлла. А для Джеймса Холройда это было самое любимое занятие.

В Кемберуэлле стояли три динамо с моторами. Те два, что находились здесь с самого начала, были невелики, но недавно установили еще одно - побольше. Маленькие машины не слишком шумели - ремни их, жужжа, бежали по шкивам, щетки гудели и искрили, и воздух со свистом вихрился между полюсами: у-у-у, у-у-у. Крепление одной из машин ослабло, она вибрировала, и пол в зале непрерывно дрожал. Но все эти звуки тонули в рокоте большого динамо, они поглощались могучим биением его железного сердца, в такт которому гудели все металлические части машины. У посетителя голова начинала идти кругом от непрерывной пульсации моторов, от вращения гигантских колес, от бега шариковых клапанов, внезапных выхлопов пара и прежде всего от низкого монотонного воя большого динамо. Механику этот последний звук указывал на неисправность машины, но Азума-зи считал его признаком могучей и гордой силы чудовища. Я хотел бы, если бы было возможно, чтобы грохот машинного зала непрерывно звучал в ушах читателя, чтобы наш рассказ шел под аккомпанемент гула машин. Это был ровный поток оглушительных шумов, из которых ухо выхватывало то один звук, то другой; прерывистый храп, сопение, вздохи паровых двигателей, чмоканье и хлопки снующих поршней, глухое содрогание воздуха под ударами спиц гигантских маховиков, щелканье то натягивающихся, то ослабевающих ремней, визгливый клекот малых машин, и над всем этим - порой неразличимый для усталого уха, но потом исподволь снова овладевавший сознанием - тромбонный вой большого динамо. Пол непрерывно дрожал и сотрясался под ногами. Это было странное, беспокойное место; не удивительно, что и мысли не текли здесь плавно и привычно, но судорожно дергались какими-то нелепыми зигзагами.

И все три месяца, пока длилась стачка механиков, предатель Холройд - человек с черной душой - и простой чернокожий Азума-зи никуда не отлучались из этого мира вихрей и содроганий; они даже спали и ели в маленькой деревянной пристройке между машинным залом и воротами.

Вскоре после появления Азума-зи Холройд прочел ему лекцию о своем большом динамо. Ему пришлось кричать, чтобы негр услышал его сквозь грохот и рев машин.

- Взгляни-ка! - кричал Холройд. - Куда до него твоим языческим богам!

И Азума-зи глядел. Вначале слов нельзя было разобрать, а потом он услышал:

- ...может убить сто человек. Намного мощнее других машин, - говорил Холройд. - Это уже что-то вроде бога.

Холройд гордился своим большим динамо и так расписывал его мощь и силу, что в конце концов эти рассказы, подкрепленные постоянным гулом и сумятицей, вызвали в кудрявой черной голове Азума-зи самый неожиданный и странный ход мыслей. Холройд наглядно объяснил с десятков способов, которыми машина может убить человека, а однажды заставил Азума-зи испытать легкий удар током, чтобы тот понял, какая в ней таится сила. С тех пор в минуты передышки от работы - тяжелой работы, так как он трудился и за себя и за Холройда - Азума-зи садился и неотрывно смотрел на большое динамо.

Щетки время от времени искрили и выплевывали голубые язычки - тогда Холройд чертыхался, но в остальное время машина работала ровно и ритмично, словно дышала. Приводной ремень скрипел по оси, а где-то сзади всегда раздавалось самодовольное уханье

поршня. Динамо было живым существом; с утра до ночи оно дышало в этом большом, просторном зале, а они с Холройдом заботились о нем; оно не было узником или рабом, толкающим корабли, как другие знакомые ему двигатели - жалкие пленники мудрого британца; это была царственная машина, властвовавшая над всеми остальными. Азума-зи про себя называл большую машину Богом Динамо, маленькие он презирал. Они часто капризничали и ломались, а большое работало без перебоев. Какое оно огромное! Как ровны и легки все его движения! В нем больше величия и спокойствия, чем во всех статуях Будды, которые он видел в Рангуне, - те боги неподвижны, а машина живет. Без усталости крутятся огромные черные катушки, кольца, не останавливаясь, бегут под щетками, и все покрывает басовое гудение главного якоря. Все это как-то волновало и будоражило Азума-зи.

Азума-зи не любил работать. Стоило Холройду отвернуться, чтобы уговорить сторожа принести еще виски, как Азума-зи садился и впивался взглядом в Бога Динамо, хотя его место было вовсе не здесь, а у топки, за двигателями; и ведь если Холройд заставлял негра сидящим без дела, он бил его куском толстой медной проволоки. Иногда Азума-зи подходил совсем близко к гиганту и смотрел на огромный кожаный привод, бегущий над головой. На ремне чернела большая заплата, которая тоже вертелась вместе с приводом, и в вечном грохоте и сутолоке Азума-зи почему-то нравилось следить, как она возвращается снова и снова. И в такт этому круговому ритму странные мысли начинали кружиться в мозгу Азума-зи.

Ученые говорят, что дикари наделяют душой камни и деревья, - а в машине куда больше жизни, чем в камне или в дереве. Ведь Азума-зи все еще оставался дикарем; цивилизация наложила на него отпечаток не более прочный, чем ткань его грошового костюма или слой угольной пыли на покрытом синяками лице. Его отец поклонялся упавшему метеориту, и, может быть, кровь его далеких предков окропляла путь колесницы Джаггернаута.

Он пользовался всяким случаем, чтобы коснуться большого динамо: оно неудержимо влекло его к себе. Он чистил и протирал его до тех пор, пока металлические части не начинали ослепительно сверкать. При этом его охватывало мистическое чувство служения. Он подходил и ласково трогал руками вращающиеся катушки. Боги, которым он поклонялся, были ведь так далеко. А в Лондоне люди прятали своих богов.

Постепенно его смутные ощущения стали более четкими, оформились в мысли и в конце концов воплотились в действия. Однажды утром, войдя в грохочущий зал, он низко склонился перед Богом Динамо, а когда Холройд отлучился, - подошел и шепнул гремющей машине, что он ее раб и молит сжаться над ним и спасти от Холройда. И в этот миг редкий луч солнца проник сквозь открытую арку содрогающегося машинного вала, и ревущий, крутящийся Бог Динамо весь засветился бледным золотом. И Азума-зи понял, что его служение угодно богу. Теперь он уже не чувствовал себя одиноким, а ведь он был так одинок в Лондоне. С тех пор, даже если его работа кончалась, что бывало не часто, он не спешил уйти из машинного зала.

В следующий же раз, когда Холройд дурно обошелся с ним, Азума-зи подошел к Богу Динамо и шепнул: "Ты видишь, о господин!" - и машина словно ответила ему сердитым рычанием. С этой минуты ему начало казаться, что стоит Холройду подойти к динамо, как в реве бога появляются угрожающие нотки. "Мой господин ждет своего часа, - сказал себе Азума-зи, - но глупец еще не преступил меру своего зла". И он надеялся и тоже ждал часа расплаты.

Однажды пробило катушку; Холройд осматривал место поломки - дело было после обеда, - и его случайно тряхнуло током; Азума-зи, стоявший за мотором, видел, как механик подпрыгнул и обругал неисправную катушку.

- Он предупрежден, - сказал про себя Азума-зи. - Но мой господин слишком терпелив.

Вначале Холройд хотел было растолковать "черномазому", как работает динамо, чтобы тот мог хоть изредка заменять его в машинном зале. Но когда он заметил, что Азума-зи так и липнет к гиганту, это показалось ему подозрительным. Он смутно чувствовал, что помощник



что-то замышляет, и, решив, что тот переложил масла для смазки катушек и случайно стер полировку, крикнул зычным голосом, перекрывая шум:

- Эй, Пу-ба, посмей только еще раз сунуться к большому динамо! Шкуру спущу!

Кроме того, именно потому, что Азума-зи нравилось быть около большой машины, механик считал, что надо держать его от нее подальше.

Азума-зи повиновался, но позже был пойман на месте преступления, когда кланялся Богу Динамо. Холройд скрутил ему назад руку и пнул ногой, как только негр повернулся, чтобы уйти. И когда потом Азума-зи стоял за мотором и со злобой смотрел в спину ненавистного механика, ему показалось, что машина гудит как-то по-новому и словно изрыгает угрозы на его родном языке.

Никто толком не знает, что такое безумие. Но мне кажется, что в то время Азума-зи был безумен. В непрестанном грохоте и вихре машинного зала его ничтожные познания и огромный запас суеверного воображения смешались и превратились в нечто очень близкое к сумасшествию. Именно так возникла в его мозгу идея принести Холройда в жертву фетишу Динамо, - и идея эта наполнила его душу странным трепетным ликованием.

В ту ночь двое мужчин и их черные тени были единственными обитателями машинного зала. Большая дуговая лампа, освещавшая зал, мигала и отбрасывала неверные багровые блики. Позади машин лежали черные тени. Регуляторы двигателей, вращаясь, то выскакивали на свет, то скрывались в тени, поршни стучали гулко и ровно. Мир, видимый сквозь открытую стену зала, казался туманным и невероятно далеким. Там царила полная тишина, ибо грохот машин заглушал все внешние звуки. Вдалеке маячил черный забор двора, за которым тянулись серые призрачные дома, а наверху в темно-синем небе мерцали бледные звезды. Внезапно Азума-зи пересек середину зала под бегущими кожаными приводами и вошел в тень большого динамо. Щелк! - и якорь завертелся быстрее.

- Какого черта ты полез к рубильнику! - заорал Холройд. - Сколько раз я говорил...

Но тут он увидел глаза Азума-зи, который вышел из тени и двинулся на него.

Миг - и перед большим динамо завязалась отчаянная схватка.

- Ах ты, болван черномазый! - выдохнул механик, когда коричневая рука схватила его за горло. - Смотри, напорешься на контактные кольца!

В следующую секунду он очутился на полу и почувствовал, что Азума-зи тащит его назад к Богу Динамо. Инстинктивно он выпустил врага из рук, желая спастись от машины...

Рассыльный, который стремглав прибежал со станции, чтобы узнать, что случилось в машинном зале, встретил Азума-зи у ворот, около сторожки. Азума-зи бессвязно пытался что-то объяснить, но рассыльный так ничего и не разобрал и поспешил в машинный зал. Динамо с грохотом работали, и с виду все было на месте, только в воздухе стоял характерный запах паленого волоса. А затем он вдруг заметил на передней поверхности большого динамо массу какого-то странного сморщенного вещества и, приглядевшись, узнал исковерканные останки Холройда.

На мгновение рассыльный остановился в замешательстве. Затем увидел лицо и судорожно закрыл глаза. Так, с закрытыми глазами, чтобы снова невзначай не увидеть механика, он повернулся на каблуках и выбежал из зала за помощью.

Когда Азума-зи увидел, как умирает Холройд в объятиях Великого Динамо, он сначала чуть-чуть испугался - что с ним теперь будет? Но в то же время он испытывал странное ликование - конечно, это была на нем милость Бога Динамо. И к тому времени, когда пришел человек со станции, он уже придумал, как вести себя, а главный инженер, прибежавший на место катастрофы, естественно, ухватился за мысль о самоубийстве. Инженер и не заметил бы Азума-зи, если бы не надо было задать негру несколько вопросов. Видел ли Азума-зи, как Холройд покончил с собой? Нет, Азума-зи ничего не мог видеть: он стоял у котла топки двигателя, пока не услышал, что у динамо изменился звук. Допрос был коротким: ведь никому и в голову не приходило подозревать его.



Исковерканные останки Холройда, снятые электриком с машины, были поспешно прикрыты закапанной кофе скатертью. Кто-то догадался привести врача. Главный инженер больше всего был озабочен тем, как бы поскорее пустить в ход динамо, ибо семь-восемь поездов уже простаивали в темных туннелях электрической железной дороги. Азума-зи отвечал - впопад или невпопад - на вопросы всех, кто по долгу службы или просто из любопытства заходил в машинный зал; наконец инженер отослал его обратно к топке.

На улице, у ворот, конечно, уже собралась толпа: лондонские зеваки почему-то, всегда толкуются по несколько дней на месте происшествия; двум или трем репортерам удалось как-то проникнуть внутрь машинного зала, и один даже добрался до Азума-зи. Но главный инженер - сам журналист-любитель - выпроводил их вон.

Вскоре тело увезли, и возбуждение улеглось. Азума-зи тихо стоял у своей топки, и в мерцании раскаленных углей ему снова и снова мерещилась фигура человека, который сначала яростно извивался, стараясь вырваться, а потом затих. Через час после убийства машинный зал выглядел для случайного посетителя так, словно здесь ничего не случилось. Стоя у топки, негр видел, что Бог Динамо по-прежнему вращается рядом со своими младшими братьями; стучат колеса, и пар в цилиндрах ухает точно так же, как это было весь вечер. Ведь с точки зрения физики инцидент был совершенно незначительным - произошло всего лишь временное отклонение потока электронов. Только теперь вместо коренастой тени Холройда в узкой полосе света на сотрясающемся полу, под бегущими приводами, двигалась стройная фигура и длинная тень главного инженера.

- Разве я не услужил своему господину? - чуть слышно спросил Азума-зи, невидимый в темном углу, и в ответ ему голос большого динамо зазвучал ясно и зычно. И когда он глядел на большой вращающийся механизм, им вновь овладело странное, болезненное возбуждение, исчезнувшее было со смертью Холройда.

Азума-зи никогда не видел, чтобы человека убивали так быстро и безжалостно. Большая гудящая машина уничтожила свою жертву, ни на секунду не прервав ровного движения. Воистину это был могущественный бог.

Ничего не подозревающий инженер стоял к нему спиной и царапал что-то на листке бумаги. Тень его лежала у ног гигантской машины.

Может быть, Бог Динамо все еще голоден? Его раб готов служить ему.

Азума-зи, крадучись, сделал шаг вперед; потом остановился. Инженер перестал писать, прошел в конец зала и начал осматривать щетки крайнего динамо.

Азума-зи, казалось, не мог решиться... Потом неслышно скользнул в тень, к рубильнику, и там замер. Вскоре послышались шаги возвращающегося инженера. Он остановился на прежнем месте, не подозревая, что в десяти шагах прячется сжавшийся в комок убийца. Большое динамо вдруг зашипело, и тут Азума-зи прыгнул на него из темноты.

Инженер почувствовал, что кто-то обхватил его сзади и тащит к большому динамо. Брыкаясь, он вцепился в голову негра и с силой потянул ее вниз; сжимавшие его руки разжались, и ему удалось отскочить от машины. Но Азума-зи снова схватил его и уперся ему в грудь курчавой головой; они топтались на месте, качаясь и тяжело дыша, и борьба эта, казалось, длилась целую вечность. Но вот инженеру удалось впиться зубами в черное ухо - он в бешенстве укусил негра. Азума-зи хрипло взвизгнул.

Они покатались по полу, и негру - "ценой уха?" - мелькнуло в голове у инженера - удалось вырваться из зубов врага, и теперь он начал его душить. Инженер беспомощно хватал руками воздух и тщетно пытался ударить Азума-зи ногой, как вдруг снаружи послышался спасительный звук чьих-то быстрых шагов. В один миг Азума-зи вскочил и кинулся к большому динамо. К вою машины по-прежнему примешивалось шипение. Вошедший служащий компании в ужасе смотрел, как Азума-зи схватился руками за оголенные провода, тело его судорожно дернулось, и он повис неподвижно, с искаженным лицом.

- Какое счастье, что вы вошли именно сейчас! - сказал инженер, все еще не в силах подняться с пола.

Он взглянул на содрогающееся тело.

- Страшная смерть, зато быстрая.

Чиновник все никак не мог оторвать глаз от трупа. Он был не из тех, кто сразу понимает, что произошло.

Наступило молчание.

Инженер встал на ноги, его шатало. Он медленно оттянул пальцем воротник рубашки и повертел головой.

- Бедный Холройд. Теперь я понимаю.

Затем почти автоматически подошел к рубильнику и перевел энергию снова на снабжение железной дороги. Когда он это сделал, прилипшее тело отделилось от машины и упало лицом вниз. Динамо опять гудело зычно и чисто, и якорь быстро рассекал воздух.

Так бесславно закончилось поклонение Божеству Динамо - вероятно, самое недолговечное из всех людских верований. Но даже это божество могло похвастаться одним мучеником и одним человеческим жертвоприношением.

## **Царство муравьев**

Пер. - Б.Каминская.

1

Когда капитану Жерилло приказали вести его новую канонерку "Бенджамен Констан" в Бадаму - небольшой городок на реке Батемо, притоке Гварамадемы, - чтобы помочь тамошним жителям бороться с нашествием муравьев, он заподозрил, что начальство над ним издевается.

Его служебная карьера была романтической и не совсем гладкой; здесь отчасти сыграли роль его томные глаза и привязанность одной знатной бразильской дамы. Газеты "Диарио" и "О Футуро" комментировали его новое назначение, увы, весьма непочтительно. И он чувствовал, что для такой непочтительности дает теперь новый повод.

Он был креолом и обладал чисто португальскими представлениями об этикете и дисциплине; единственный человек, которому он открывал свое сердце, был находившийся на судне инженер Холройд из Ланкашира; общение с ним, помимо всего прочего, давало капитану возможность практиковаться в английском; он произносил звук "th" весьма приблизительно.

- Они просто хотят сделать из меня посмешище! - говорил он. - Как может человек бороться с муравьями? Муравьи приходят и уходят.

- Поговаривают, что эти муравьи не уходят, - отвечал Холройд. - Парень, которого вы упоминали, этот Самбо...

- Самбо. Это значит "смешанная кровь".

- Самбо. Он сказал, что люди уходят.

Капитан раздраженно закурил.

- Такие случаи неизбежны, - сказал он немного погодя. - А почему? Нашествия муравьев и подобные штуки - все по воле божьей. Было такое нашествие в Тринидаде - маленьких муравьев, которые пожирают листья. Они объедают все апельсиновые, все манговые деревья! Что ж тут поделаешь? Иногда целые полчища являются к вам в дом - это воинственные муравьи, совсем другой вид. Вы покидаете свой дом, а они в нем наводят чистоту. Потом вы возвращаетесь - ваш дом чистехонек и стоит как новый. Никаких тараканов, никаких блох, никаких клещей в полу!

- Этот Самбо говорит, что здесь совсем другая разновидность муравьев.

Капитан пожал плечами, выпустил струйку дыма и занялся своей папиросой.

Вскоре он снова вернулся к той же теме.

- Мой дорогой Олройд, что мне делать с этими проклятыми муравьями? - Капитан задумался. - Смешно, право, - сказал он.

Во второй половине дня, облачившись в форму, капитан сошел на берег, и вскоре на корабль стали прибывать ящики и всякая тара. Позднее появился и он сам.

Холройд, наслаждаясь прохладным вечером, сидел на палубе, задумчиво курил и любовался Бразилией. Вот уже шесть дней, как они плыли вверх по Амазонке, уже несколько сотен миль отделяли их от океана, на восток и запад расстился бескрайний, как море, горизонт, а на юге не было видно ничего, кроме песчаного острова с редкими зарослями кустарника. Все так же безостановочно бежала вода, густая и грязная, в ней кишели крокодилы, над ней кружились птицы, вниз по реке бесконечной чередой плыли стволы деревьев. И бесцельность всего этого, отчаянная бесцельность наполняла душу Холройда.

Город Алемквер, с жалкой церквушкой, с тростниковыми навесами вместо домов и пепельно-серыми руинами, оставшимися от лучших времен, казался таким же затерянным в огромной пустыне Природы, как шестипенсовик в песках Сахары.

Холройд был молод; в тропики он попал впервые, приехав из Англии, где природа полностью покорена, стиснута оградами, стоками и каналами. И вот здесь ему неожиданно открылась ничтожность человека. Шесть дней, все удаляясь от моря, они плыли по заброшенным протокам, и человек был здесь такой же редкостью, как диковинная бабочка. Сегодня они могли увидеть каноэ, завтра - отдаленное поселение, а на третий день - вообще ни одной живой души. Холройд начал сознавать, что человек - и в самом деле редкое животное, непрочно обосновавшееся на этой земле.

С каждым днем он сознавал это все более отчетливо, проделывая извилистый путь к реке Батемо в обществе этого удивительного капитана, в распоряжении которого одна-единственная пушка, а на руках приказ не тратить ядер. Холройд прилежно изучал испанский, но застрял на настоящем времени и изъяснялся в основном существительными. Кроме него, единственным человеком, знавшим несколько английских слов - да и те он постоянно путал, - был негр-кочегар. Помощник капитана португалец да Кунха говорил по-французски, но как мало был похож его язык на тот, которому Холройд обучался в Саутпорте, и их общение ограничивалось приветствиями и простейшими фразами о погоде.

Погода же, как и все в этом удивительном новом мире, не считалась с человеком: удушающая жара стояла и днем и ночью, воздух и даже ветер обжигали, как горячий пар, насыщенный запахами гниющих растений. Аллигаторы и неведомые птицы, мошकारа разных видов и размеров, жуки и муравьи, змеи и обезьяны, казалось, удивлялись, что может делать человек в этой атмосфере, где солнце не приносит радости, а ночь - прохлады.

Ходить в одежде стало невыносимо, но и сбросить ее - значило заживо обуглиться днем, а ночью отдать себя на съедение москитам; находясь на палубе, можно было ослепнуть от яркого света, а оставаясь в каюте - задохнуться.

Среди дня прилетали какие-то насекомые, норовившие побольнее ужалить в щиколотку или запястья. Единственный, кто отвлекал Холройда от всех этих физических страданий, был капитан Жерилло, но он стал совершенно несносен: изо дня в день он рассказывал незатейливые истории своих любовных походов и нудно, будто перебирал четки, перечислял вереницу своих безымянных жертв. Иногда он предлагал заняться спортом, и они стреляли в аллигаторов. Изредка, завидев в зарослях человеческие поселения, они сходили на берег и оставались там день-другой, пили вино или просто сидели и болтали. Однажды ночью они танцевали с девушками-креолками, которых вполне устраивал бедный испанский язык Холройда без прошедшего и будущего. Но это были отдельные яркие просветы на фоне долгого унылого течения реки, вверх по которой их тянули мерно стучавшие моторы. На всем судне, от кормы и, пожалуй, до самого носа, царил веселое и соблазнительное языческое божество в образе большой винной фляги.

На каждой стоянке Жерилло все больше и больше узнавал о муравьях и постепенно проникся интересом к своей миссии.

- Это совсем новый вид муравьев. Мы должны стать - как это у вас называется? - энтомологами. Муравьи очень крупные. Пять сантиметров, а попадаются и побольше! Просто смешно: нас послали ловить насекомых, словно мы обезьяны... Правда, они пожирают страну... - Тут капитан взорвался: - Представьте, вдруг возникнут какие-нибудь осложнения с Европой, а я торчу здесь... Скоро мы будем в верховьях Рио-Негро, а пушка моя бездействует. Он потер колено и задумался.

- Люди, которые здесь танцевали, пришли из других мест. Они потеряли все, что имели. Однажды среди бела дня на их дома напали муравьи. Все выбежали на улицу. Знаете, когда появляются муравьи, каждый должен удирать поскорей, и дом захватывают муравьи. Если вы останетесь, они сожрут вас. Понимаете? И вот через некоторое время люди вернулись. Они говорили: "Муравьи ушли". Но муравьи вовсе не ушли. Люди пытались войти в дом - чей-то сын отважился. И муравьи на него напали.

- Набросились всем роем?

- Укусили его. Он тут же выскочил из дому и с воплем побежал. Бежит без оглядки прямо к реке, кидается в воду и топит муравьев. Вот так-то... - Жерилло замолчал, наклонился к Холройду и, глядя на него своими томными глазами, постучал костяшками пальцев по его колену. - В ту же ночь он умер, как будто был ужален змеей.

- Отравлен? Муравьями?

- Кто знает? - Жерилло пожал плечами. - Может быть, они его очень сильно искусили... Когда я принимал это назначение, я думал, что буду сражаться с людьми. А муравьи - они приходят и уходят. Человеку тут нечего делать.

Капитан часто потом заводил разговор с Холройдом о муравьях. И всякий раз, как им случалось плыть мимо любого, даже самого крошечного жилья, затерянного среди водного простора, солнечного света и далеких деревьев, Холройд, сделавший уже кое-какие успехи в языке, мог различить все чаще повторяющееся слово "Sauba" [вероятно, на каком-то смешанном наречии означает "муравей"]. Оно преобладало над остальными.

Теперь и Холройд начал испытывать интерес к муравьям, и по мере приближения к месту назначения этот интерес становился все острее. Жерилло неожиданно оставил свои прежние темы, а лейтенант-португалец стал разговорчив. Он знал кое-что о муравьях, пожирающих листья, и делился своими познаниями. Все, что слышал от него Жерилло, он передавал иногда по-английски Холройду. Он рассказывал ему о маленьких муравьях-работниках, которые образуют целые полчища и сражаются, о больших муравьях - командирах и вождях, которые заползают человеку на шею и кусают в кровь. Рассказывал, как они обгрызают листья и откладывают яйца, и о том, что муравейники в Каракасе достигают иногда сотни ярдов в поперечнике... Два дня подряд трое мужчин обсуждали, есть ли у муравьев глаза. На вторые сутки спор стал слишком ожесточенным. Спас положение Холройд, отправившись в лодке на берег, чтобы поймать муравьев и проверить. Он захватил несколько экземпляров разных видов и вернулся на судно. Оказалось, что у одних есть глаза, у других - нет. Спор зашел и о том, кусаются муравьи или жалят.

- У тех муравьев большие глаза, - оказал Жерилло, успевший собрать сведения на ранчо. - Они не бегают вслепую, как другие. Нет! Они забиваются в угол и наблюдают за вами.

- И жалят? - спросил Холройд.

- Да, эти жалят. Их укусы ядовиты. - Жерилло задумался. - Я не знаю, что может человек с ними сделать. Муравьи приходят и уходят.

- А эти не уходят.

- Они уйдут, - сказал Жерилло.

За Тамандой начинается длинный низкий безлюдный берег, который тянется на 80 миль. Минувя его, оказываешься у места слияния Гварамადемы с ее притоком Батемо, похожего на большое озеро; лес подступает все ближе и ближе и наконец придвигается совсем вплотную. Характер русла здесь меняется, часто попадаются коряги и камни, поэтому к вечеру "Бенджамен Констан" пришвартовался и стал под густую тень деревьев. Впервые за

много дней повеяло прохладой, и Холройд с Жерилло засиделись допоздна, покуривали сигары и блаженствовали, отдыхая от жары. Жерилло был поглощен муравьями и все время думал о том, что они могут натворить. В конце концов, совершенно сбивый с толку, он решил выспаться и, расстелив матрац, лег на палубе. В последних его словах, произнесенных, когда, казалось, он уже уснул, прозвучало отчаяние: "Что можно поделаться с этими муравьями?.. Вся затея совершенно бессмысленна".

В одиночестве Холройду оставалось лишь расчесывать искусанные комарами руки и предаваться размышлениям. Он сидел на фальшборте и прислушивался к чуть неровному дыханию Жерилло, пока тот окончательно не погрузился в сон. Потом его внимание привлекли шум и плеск реки, вновь пробудившие в нем чувство необъятности, которое он впервые испытал, когда покинул Пару и начал подниматься вверх по течению. Фонарь еле светил, на носу еще слышался говор, затем все стихло. Холройд перевел взгляд со смутно черневшей башни в середине канонерки на берег, на темный таинственный лес, где порою мерцали огоньки светляков и не смолкали какие-то посторонние загадочные шорохи.

Непостижимая беспредельность этих мест изумляла и подавляла его. Он знал, что в небесах людей нет, что звезды - это маленькие точки в необъятных просторах. Знал, что океан огромен и неукротим. Но в Англии он привык думать, что земля принадлежит человеку. И в Англии она в самом деле принадлежала человеку: дикие звери и растения живут там по его милости и доброй воле, там повсюду дороги, изгороди и царит полная безопасность. Даже судя по атласу, земля принадлежит человеку; вся она раскрашена так, чтобы показать его права на нее в противоположность не зависящей ни от кого синеве океана. Раньше Холройд считал само собой разумеющимся, что наступит время, и везде на вспаханной и обработанной земле будут проложены трамвайные линии и благоустроенные дороги, воцарятся порядок и безопасность. Теперь он начал в этом сомневаться.

Тянувшийся бесконечно лес казался непобедимым, а человек выглядел в нем в лучшем случае редким и непрошеным гостем. Предположим на минуту, что муравьи тоже начнут накапливать знания, как это делают люди с помощью книг и всяческих ученых записей, применять оружие, создавать великие империи, вести планомерную и организованную войну.

Холройд вспомнил услышанные Жерилло рассказы о муравьях, с которыми им предстояло встретиться. Они пускают яд наподобие змеиного и повинуются более крупным особям - вождям, как и муравьи-листоеды. Это муравьи-хищники, и куда они проникают, там и остаются.

Лес совсем затих. Вода непрерывно плескалась о борт судна. Над фонарем вился бесшумный, призрачный рой мотыльков.

Жерилло шевельнулся в темноте и вздохнул. "Что же делать?" - пробормотал он, повернулся и снова умолк. Жужжание moskitov отвлекло Холройда от размышлений, которые становились все более мрачными.

## 2

На следующее утро Холройд узнал, что они находятся в сорока километрах от Бадамы, и его интерес к берегам стал еще сильнее. Он подымался на палубу каждый раз, когда представлялась возможность внимательно осмотреть местность. Нигде Холройд не мог заметить присутствия человека, если не считать развалин дома, заросших сорными травами, и зеленого фасада монастыря в Мажу, оставленного давным-давно; из его оконного проема тянулось дерево, а вокруг пустых порталов обвивались гигантские вьюны. В то утро над рекой пролетали стайки странных желтых бабочек с полупрозрачными крыльями; многие из них садились на судно, и матросы их убивали.

На десятки миль вокруг повсюду шла молчаливая борьба гигантских деревьев, цепких лиан, причудливых цветов, и повсюду крокодилы, черепахи, бесконечные птицы и насекомые чувствовали себя уверенно и невозмутимо, а человек... Человек распространял свою власть всего лишь на небольшую вырубку, которая не покорялась ему; сражался с сорняками, сражался с насекомыми и дикими животными, только чтобы удержаться на этом жалком



клочке земли. Он становился добычей хищников и змей, всяких тварей, тропической лихорадки и уступал в этой борьбе. Человек был явно вытеснен из низовьев реки и повсеместно отброшен назад. Зброшенные бухты еще назывались здесь "каза", но руины белых стен и полуобвалившиеся башни свидетельствовали об отступлении. Здесь хозяйничали скорее пума и ягуар, чем человек.

Но кто же был настоящим хозяином?

На протяжении нескольких миль этого леса, наверное, куда больше муравьев, чем людей на всем земном шаре. Мысль эта показалась Холройдy совершенно новой. Понадобились какие-нибудь тысячелетия, чтобы люди перешли от варварства к цивилизации и почувствовали себя на этом основании хозяевами будущего и властелинами земли. Но что помешает муравьям пройти ту же эволюцию?

Известные до сих пор виды муравьев живут небольшими общинами, по несколько тысяч особей, и не предпринимают никаких совместных действий против окружающего их большого мира. Однако у них есть язык, у них есть разум! Почему же они должны остановиться на этой ступени, если человек не остановился?

Было уже за полдень, когда ори приблизились к покинутой куберте. Сначала она не производила впечатления покинутой: оба ее паруса были подняты и недвижно висели в безветрии полдня, а впереди на носу, рядом со сложенными веслами, сидел человек. Другой как будто спал, лежа ничком на продольном мостике, какие бывают на шкафуте больших лодок. Но вскоре по ходу куберты и ее движению наперерез канонерке стало ясно, что с ней происходит что-то неладное. Жерилло наблюдал за лодкой в бинокль и обратил внимание на странно темнеющее лицо человека, сидевшего на палубе, - багровое лицо без носа. Вернее, не сидевшего, а скорчившегося. И чем дольше смотрел на него капитан, тем больше отталкивал его этот человек, но вместе с тем он не мог отвести от него бинокля.

Наконец он все-таки перестал смотреть и пошел га Холройдом. Вернувшись, капитан окликнул куберту. Он окликнул ее опять, когда куберта проскользнула мимо канонерки. Отчетливо видно было ее название: "Санта Роза". Подплыв совсем близко и оказавшись в кильватере "Бенджамена Констан", она слегка нырнула носом, и скорчившийся на палубе человек вдруг рухнул, как будто все суставы у него распались. Шляпа его слетела, обнажившаяся при этом голова явила собой довольно плачевное зрелище, тело безжизненно грохнулось и покатилося за фальшборт, скрывшись из виду.

- Каррамба! - вскрикнул Жерилло, обернувшись к Холройдy, который уже подымался на мостик.

- Вы видели? - спросил капитан.

- Он мертв! - сказал Холройд. - Мертв. Вам бы следовало послать шлюпку. Там что-то неладно.

- Вы не заметили случайно его лица?

- А что у него с лицом?

- Оно... У-у-х! У меня нет слов...

Капитан отвернулся и тотчас вошел в роль энергичного и требовательного командира.

Канонерка подплыла к каноэ, стала параллельно его изменчивому курсу и спустила на воду шлюпку с лейтенантом да Кунха и тремя матросами, которые должны были подняться на "Санта Розу". Когда лейтенант ступил на борт каноэ, любопытство заставило капитана подрулить судно почти вплотную, и Холройд смог окинуть взглядом всю "Санта Розу", от палубы до трюма.

Теперь он ясно видел, что вся команда куберты состояла из двух мертвецов; он не мог разглядеть их лиц, однако по раскинутым рукам, на которых клочьями висело мясо, видно было, что трупы подверглись какому-то необычному процессу разложения. Сначала внимание Холройда сосредоточилось на двух загадочных кучах грязной одежды и бессильно висевших конечностях, а затем его взгляд обратился к раскрытому трюму, набитому сундуками и

ящиками, потом к корме, на которой зияла необъяснимой пустотой небольшая каюта. Холройд заметил, что средняя часть палубы усеяна движущимися черными точками.

Эти точки приковали его внимание. Они двигались по радиусам от лежащего человека, напоминая - сравнение сразу пришло ему в голову - толпу, которая расходится после боя быков. Холройд почувствовал, что рядом стоит Жерилло.

- Капитан, бинокль при вас? - спросил он. - Можете направить его прямо на палубу?

Что-то недовольно буркнув, Жерилло исполнил его просьбу и передал бинокль. Несколько мгновений Холройд разглядывал палубу.

- Это муравьи, - сказал он и отдал обратно бинокль.

Ежу показалось, что эти большие черные муравьи очень похожи на обычных и отличаются от них лишь размерами да еще тем, что на более крупных какое-то серое одеяние. Никаких других подробностей он заметить пока не успел.

Над бортом куберты показалась голова лейтенанта да Кунха, и последовал короткий разговор.

- Вы должны осмотреть палубу, - сказал Жерилло.

Лейтенант возразил, что куберта полна муравьев.

- Но у вас ведь есть сапоги!

Лейтенант поспешил переменить тему.

- Отчего умерли эти люди? - спросил он.

Капитан пустился в объяснения, которые Холройд не мог понять, и начался спор, становившийся все жарче и жарче. Холройд взял бинокль и снова стал разглядывать сначала муравьев, потом трупы на куберте.

Он описал мне этих муравьев очень подробно. По его словам, они были черного цвета и такой же величины, как виденные им до сих пор. Двигались они в определенном, сознательно выбранном направлении, что совсем не походило на механическую суету обычных муравьев. Приблизительно каждый двадцатый был значительно крупнее своих собратьев, отличаясь от них к тому же огромной головой. Ему вспомнились рассказы о вождях муравьев-листоедов, которые правят своими соплеменниками; подобно им, большеголовые, казалось, тоже направляли и координировали общее движение. Двигались они очень странно, откидываясь назад, будто отталкивались передними ногами. И Холройду вдруг привиделось (он не мог бы поручиться за точность из-за дальности расстояния), что на большинстве муравьев, в том числе и на крупных, одежда, которая держится на туловище с помощью блестящей белой перевязи, словно сплетенной из металлических нитей.

Услышав, что спор между капитаном и его помощником зашел слишком далеко, Холройд резко опустил бинокль.

- Произвести осмотр куберты - ваша обязанность, - заявил капитан. - Таков мой приказ.

Лейтенант, по-видимому, был склонен не подчиниться приказу. Немедленно из-за его спины показалась голова одного из матросов-мулатов.

- Я думаю, этих людей убили муравьи, - коротко сказал Холройд по-английски.

Капитан пришел в ярость и ничего не ответил.

- Я, кажется, приказал вам начать осмотр! - крикнул он по-португальски лейтенанту. - Если вы тотчас не начнете, это будет бунт, форменный бунт. Бунт и трусость! Где же мужество, которое должно воодушевлять всех нас? Я прикажу заковать вас в кандалы, застрелить, как собаку!

Он разразился потоком проклятий и ругательств, метался по палубе, потрясал кулаками, и видно было, что он совсем не владел собой, а лейтенант, бледный и притихший, стоял и смотрел на него. Пораженные разыгравшейся сценой, подошли остальные члены команды.

Когда капитан на минуту утихомирился, лейтенант неожиданно принял героическое решение: он отдал честь, весь как-то подобрался и стал взбираться на палубу куберты.

- А-а-ах! - воскликнул Жерилло, и рот его захлопнулся, как мышеловка.

Холройд видел, как муравьи отступают перед сапогами да Кунхи. Португалец медленно подошел к распростертому телу, наклонился над ним, задумался, потом стащил с него куртку и перевернул труп. Из одежды роem поползли черные муравьи, и да Кунха быстро отскочил назад, давая насекомых сапогами.

Холройд взял бинокль. Он увидел, что муравьи бросились врассыпную от ног захватчика и делают то, чего никогда не делали муравьи, известные ему прежде. Поведение их не имело ничего общего со слепыми движениями обычных представителей этого рода: они смотрели на человека, как смотрит вновь собирающаяся толпа на рассеявшее ее гигантское чудовище.

- Отчего он погиб? - прокричал капитан.

Холройд достаточно понимал по-португальски, чтобы уловить слова: "Труп слишком изъеден, и поэтому трудно понять причину".

- Что там, в носовой части? - снова крикнул Жерилло.

Лейтенант сделал несколько шагов вперед и продолжал отвечать по-португальски. Внезапно он остановился и стал сбивать что-то у себя с ноги. Он шел какой-то странной походкой, словно пытаясь наступить на что-то невидимое, а затем быстро зашагал к борту. Потом он весь напряжился, повернул назад, упрямо двинулся к трюму, поднялся на фордек, где были закреплены весла, на миг склонился над вторым трупом, громко застонал и твердой походкой направился назад к каюте. Повернувшись к капитану, он вступил с ним в беседу, сдержанную и почтительную с обеих сторон и совсем непохожую на гневный и оскорбительный выпад всего несколько минут назад. Холройд уловил только обрывки разговора.

Он снова посмотрел в бинокль и с удивлением обнаружил, что муравьи исчезли со всех открытых мест на палубе. Он направил бинокль во мрак каюты и трюма, и ему показалось, что темнота полна настороженных глаз.

Все решили, что куберта оставлена людьми, но так как она кишмя кишела муравьями, отправлять туда на ночевку матросов было опасно. Приходилось брать ее на буксир. Лейтенант пошел на нос, чтобы принять и закрепить конец, а находившиеся в шлюпке матросы привстали, чтобы в нужный момент помочь.

Холройд снова пошарил биноклем вокруг. Он все больше и больше убеждался, что на куберте происходит какая-то огромная, хотя и малоприметная, таинственная работа. Он разглядел, как муравьи-гиганты, ростом, наверное, в два дюйма, волоча грузы странной формы и непонятного назначения, стремительно двигались из одного укромного места в другое. По открытым участкам они бежали не колоннами, а широкой рассыпной цепью, и движение их удивительно напоминало перебежки современной пехоты под неприятельским огнем. Часть их нашла укрытие в куче одежды рядом с трупом, а вдоль борта, куда должен был сейчас направиться да Кунха, сосредоточилась целая армия.

Холройд не видел, как муравьи набросились на лейтенанта, но и теперь не сомневается в том, что на него было совершено настоящее согласованное нападение. Лейтенант внезапно вскрикнул, разразился проклятиями и стал колотить себя по ногам.

- Меня ужалили! - завопил он, обратив к капитану горящее ненавистью лицо.

Потом скрылся за бортом, прыгнул в шлюпку и сразу же бросился в реку. Холройд услышал всплеск воды.

Трое матросов вытащили его и положили в лодку. Той же ночью он умер.

3

Холройд и капитан вышли из каюты, в которой лежало распухшее и обезображенное тело лейтенанта, и, стоя рядом на корме, не сводили глаз с зловещего судна, плывшего за ними на буксире. Была душная темная ночь, и только таинственные вспышки зарниц освещали тьму. Смутный черный треугольник куберты качался в кильватере канонерки, паруса надувались и хлопали, над кренившимися мачтами плыл густой дым, и в нем непрерывно вспыхивали искры.

Мысли Жерилло все возвращались к тем злобным словам, которые произнес лейтенант в предсмертной горячке.

- Он сказал, что я убил его. Но это же просто абсурд. Ведь кто-то должен был подняться на куберту. Неужели нам бежать от этих проклятых муравьев, как только они покажутся? - возмущался капитан.

Холройд молчал. Он думал об организованном броске маленьких черных существ, переползающих через освещенную солнцем пустую палубу.

- Он обязан был пойти, - твердил Жерилло. - Он погиб, выполняя свой долг. Кого он может упрекать? Убит! Да, бедняга был просто - как это называется? - ну, неменяемым, что ли? Чуть-чуть не в своем уме. Он весь раздулся от яда. Г-м.

Наступило долгое молчание.

- Мы потопим каное. Сожжем его.

- А дальше что?

Вопрос вывел Жерилло из себя. Плечи его поднялись, руки взметнулись в негодуящем жесте.

- Так что же прикажете делать? - закричал он, переходя на злобный визг. - Что бы ни было, - бушевал он, - а я сожгу живьем каждого муравья в одиночку на этой проклятой куберте!

Холройд молча слушал его. Издали доносились вопли и вой обезьян, наполняя знойную ночь зловещими звуками; когда же куберта подошла ближе к берегу, к ним прибавилось гнетущее кваканье лягушек.

- Что же делать? - повторил капитан после долгой паузы. Потом, неожиданно исполнившись свирепой решимости и разразившись проклятиями, он приказал сжечь "Санта Розу" без всякого промедления. Всем пришлось очень по душе эта мысль, и матросы с жаром взялись за дело. Они выбрали трос, отрубили его, подожгли куберту паклей, пропитанной керосином, и вскоре "Санта Роза", весело потрескивая, пылала в необъятной тропической ночи. Холройд наблюдал, как во мраке тянется вверх желтое пламя и багровые вспышки зарниц, зажигаясь и угасая над вершинами деревьев, на мгновение выхватывают их силуэты из темноты. Позади Холройда стоял кочегар и тоже смотрел на пламя. Он был настолько возбужден, что даже прибежал к своим лингвистическим познаниям.

- "Sauba" делать пх, пх. Ох-хо! - И громко расхохотался.

А Холройд думал о том, что у маленьких существ там, на куберте, есть глаза и мозг.

Все происходящее казалось ему чем-то невероятно глупым и ложным, но что было делать?

Тот же вопрос с новой силой возник наутро, когда канонерка подошла наконец к Бадаме.

Селение это, с его домиками, крытыми пальмовыми листьями, с сахарным заводом, заросшим плющом, с небольшим причалом из досок и камыша, поразило тишиной и безмолвием; в это жаркое утро здесь не видно было никаких признаков человека. Муравьев же на таком расстоянии разглядеть было невозможно.

- Все ушли, - сказал Жерилло. - Но мы все-таки попробуем: нужно покричать и посвистать.

Холройд принялся кричать и свистеть. И тут капитана начали одолевать мучительные сомнения. Наконец он заявил:

- Нам остается только одно.

- Что? - спросил Холройд.

- Опять кричать и свистеть.

Так они и сделали.

Капитан ходил по мостику, разговаривая сам с собою и жестикулируя. Можно было подумать, что множество мыслей обуревают его мозг. С губ срывались отрывки каких-то слов. Он как будто обращался на испанском или португальском к воображаемому судилищу. Уже немного тренированное ухо Холройда уловило, что речь идет о боеприпасах. Вдруг Жерилло прервал свои раздумья и обратился к Холройду по-английски:

- Мой дорогой Олройд! Что же нам делать?

Вооружившись полевым биноклем, они сели в лодку и поплыли к берегу, чтобы изучить местность. На краях грубо сколоченного причала им удалось разглядеть крупных муравьев, неподвижные позы которых наводили на мысль, что они наблюдают за людьми. Жерилло несколько раз выстрелил в них из пистолета, но безрезультатно.

Между ближайшими домами Холройд различал какие-то странные земляные сооружения, очевидно, построенные муравьями, завоевавшими селение. Наши исследователи миновали пристань и позади нее увидели лежавший на земле скелет человека с белоснежной набедренной повязкой. Бросив грести, они стали вглядываться в него.

- Я обязан думать об их жизнях, - сказал вдруг Жерилло.

Холройд недоуменно взглянул на него, не сразу догадавшись, что он имеет в виду разноплеменный сброд, составлявший команду корабля.

- Высадить отряд на берег? Нет, это невозможно, никак невозможно. Все будут отравлены и распухнут, страшно распухнут и умрут, обвиняя меня одного. Совершенно невозможно... Если уж высаживаться на берег, то только мне, мне одному в толстых сапогах. Я сам ответчик за свою жизнь. Может, я останусь в живых. Или лучше не высаживаться? Просто не знаю, как быть. Не знаю.

Холройд подумал, что он все сам прекрасно знает, но промолчал.

- Эта история, - заявил вдруг капитан, - затеяна, чтобы поднять меня на смех. Вся история!

Они покружили вокруг дочиста обглоданного скелета, осмотрели его с разных сторон и вернулись на канонерку. К этому времени колебания Жерилло стали совершенно мучительными.

Наконец были разведены пары, и после полудня канонерка поплыла вверх по реке, как будто еще надеясь найти у кого-то ответ на тяжкий вопрос. К заходу солнца она возвратилась и бросила якорь. Собиравшаяся и бурно разразившаяся гроза утихла, наступила прохладная и спокойная ночь, на палубе все уснули. Все, кроме Жерилло. Он беспокойно метался по палубе и что-то бормотал. На рассвете он разбудил Холройда.

- Господи, в чем же дело? - спросил тот.

- Решено, - сказал капитан.

- Что, высаживаться на берег? - спросил Холройд, с которого сразу слетел сон.

- Нет, - ответил капитан и умолк. - Решено, - повторил он.

Холройд нетерпеливо ждал.

- Да, - сказал капитан. - Я выстрелю из большой пушки.

И он выстрелил! Одному богу известно, что подумали об этом муравьи, но он это сделал. Он выстрелил дважды, соблюдая торжественный ритуал. Матросы заткнули уши ватой. Все дело смахивало на военную операцию. Сначала ударили по старому сахарному заводу и разрушили его, потом снесли пустую лавку позади причала. Затем у Жерилло началась неизбежная реакция.

- Ничего хорошего из этого не выйдет, - сказал он Холройду. - Ничего хорошего. Ни черта. Мы должны вернуться назад за указаниями. Они подымут тарарам из-за ядер, настоящий тарарам. Вы еще не знаете, Олройд...

Он стоял и в полной растерянности смотрел на все окружающее.

- Но что же еще можно было сделать!

После полудня канонерка отправилась в обратный путь, вниз по реке, и к вечеру часть экипажа высадилась, чтобы похоронить тело лейтенанта на берегу, где еще не успели появиться новые муравьи.

4

Мне довелось услышать эту историю урывками от Холройда недели три тому назад. Новый вид муравьев не дает ему покоя, и он вернулся в Англию с намерением "возбудить", как он говорит, "умы людей" рассказом об этих муравьях, пока еще не слишком поздно. По его словам, они угрожают Британской Гвиане, которая находится немногим больше тысячи



миль от нынешней области их распространения, и министерству колоний следует немедленно за них взяться. Холройд заявляет со страстной убежденностью:

- Это думающие муравьи. Поймите, что это значит!

Они, несомненно, являются серьезным бедствием, и бразильское правительство поступило весьма благоразумно, предложив премию в пятьсот фунтов за эффективный способ их истребления. Столь же верно, что со времени своего первого появления три года назад в районе Бадамы эти муравьи одержали немало выдающихся побед. Фактически они оккупировали весь южный берег реки Батемо протяженностью приблизительно в шестьдесят миль, полностью изгнали оттуда людей, заняли плантации и селтльменты и захватили по меньшей мере один корабль.

Ходит даже слух, что каким-то необъяснимым образом они переправились через довольно широкий приток Капуараны и продвинулись на много миль к самой Амазонке. Можно не сомневаться, что они гораздо разумнее и обладают более совершенным общественным устройством, чем известные до сих пор виды муравьев: они не рассеяны отдельными общинами, а в сущности, организованы в единую нацию. Но особая и непосредственная опасность для человека заключается не столько в этом, сколько в сознательном применении яда против более сильного врага. По-видимому, их яд весьма схож со змеиным. Он вырабатывается всеми муравьями этого вида, применяют же его при нападении на человека более крупные их экземпляры, пользуясь острыми, как игла, кристаллами.

Подробную информацию о новых претендентах на мировое господство получить, конечно, трудно. Не существует прямых свидетелей их деятельности (если не считать Холройда с его беглыми показаниями), ибо очевидцы не уцелели в столкновении с ними. В районе Верхней Амазонки ходят самые невероятные легенды о смелости и мощи этих муравьев. Легенды эти растут с каждым днем, по мере того как, неуклонно продвигаясь вперед, завоеватели вызывают страх и тревожат воображение человека. Необычайным маленьким существам приписывается умение не только пользоваться орудиями труда, применять огонь и металлы, создавая чудеса инженерной техники, которые потрясли наши северные умы (мы еще не привыкли к таким чудесам, как тоннель под Парахибой, вырытый в 1841 году сауб'ами из Рио-де-Жанейро в том месте, где река столь же широка, как Темза у Лондонского моста); им приписывается также метод организованной и подробной регистрации и передачи сведений, аналогичный нашему книгопечатанию. До сих пор они упорно продвигались вперед, захватывая новые территории, вынуждая к бегству или неся гибель всем живущим здесь людям. Их численность быстро растет, и Холройд твердо уверен, что в конце концов они вытеснят человека из всей тропической зоны Южной Америки.

Скажите, почему они должны не двигаться дальше тропиков Южной Америки?

Правда, в настоящее время они находятся именно там. Если они будут продвигаться и впредь, то к 1911 году или около того они атакуют ветку железной дороги, проложенную вдоль Капуараны, и обратят на себя внимание европейских капиталистов.

К 1920 году они доберутся до среднего течения Амазонки. По моим расчетам, к 1950 или самое позднее к 1960 году они откроют Европу.

## Филмер

Пер. - И.Воскресенский

В овладение искусством полета вложили свой труд поистине тысячи людей: этот подал мысль, другие делали опыты, и, наконец, последнее напряженное усилие ума - и работа завершена. Но несправедливое общественное мнение выбирает из тысяч только одного, притом того, кто и не летал ни разу, и чтит его как первооткрывателя; точно так же оно прославило Уатта за открытие энергии пара и Стефенсона за изобретение парового двигателя.

И, конечно, среди всех почитаемых имен самую нелепую и трагическую известность получило имя бедняги Филмера - этот робкий кабинетный ученый решил задачу, которая век за веком ставила человечество в тупик и даже пугала; одним нажатием кнопки он изменил наши войны, и наш мир, и вообще едва ли не все условия человеческой жизни и счастья. Это был разительный пример вечно изумляющего нас несоответствия между ничтожным тружеником науки и величием его труда. Многие в Филмере остаются и, вероятно, останутся неясным и загадочным - филмеры не привлекают внимания босуэлов [писатель Джеймс Босуэл (1740-1795) прославился как автор подробнейшей биографии своего современника лексикографа и писателя Сэмюэля Джонсона], - но основные события его жизни и ее развязка достаточно известны, а кроме того, имеются письма, записки и случайные упоминания, позволяющие восстановить общую картину. Так, из отрывочных свидетельств и составлена эта повесть о жизни и смерти Филмера.

Первые достоверные сведения о Филмере дает документ, в котором он просит разрешить ему как студенту-стипендиату физического факультета работать в государственных лабораториях Южно-Кенсингтонского Лондонского университета; здесь же он называет себя сыном "армейского обувщика из Дувра" (попросту сапожника) и приводит отзывы преподавателей и оценки, полученные на экзаменах, в доказательство своих глубоких познаний в химии и математике. Не заботясь о своем достоинстве, он жалуется на трудности и лишения в надежде получить возможность к дальнейшему углублению этих своих познаний; он пишет, что лаборатория - это "цепь" всех его стремлений вместо "цель", и эта описка лишь придает выразительность его уверениям, что он намерен "приковать все свое внимание" к точным наукам. Надпись на обороте прошения показывает, что желание его было удовлетворено, но до самого последнего времени никакого следа его успешных занятий в государственной лаборатории обнаружить не удалось.

Теперь, однако, установлено, что, несмотря на высказанное им рвение к исследовательской работе, Филмер не выдержал и года таких занятий, соблазнился возможностью поправить свои денежные дела и нанялся к одному знаменитому профессору - за девять пенсов в час производить для него вычисления в обширных исследованиях по физике Солнца, исследованиях, которые еще и сейчас изумляют астрономов. О следующих семи годах жизни Филмера нет никаких сведений, сохранились только переходные свидетельства Лондонского университета, из которых видно, как он неуклонно подвигался к званию бакалавра сразу двух наук - химии и математики. Никто не знает, где и как жил в ту пору. Филмер, очень возможно, что он по-прежнему зарабатывал уроками и одновременно продолжал научные занятия, стремясь получить ученое звание. А потом, как ни странно, мы встречаем его имя в переписке поэта Артура Хикса.

"Вы помните Филмера, - писал Хикс своему другу Вансу, - ну так он ничуть не изменился: та же недружелюбная скороговорка, тот же небритый подбородок (и как это люди умудряются всегда ходить с трехдневной щетиной?), и какая-то хитрая повадка, словно он норовит исподтишка тебя обойти и пролезть вперед; даже его пиджак и обтрепанный воротничок нисколько не изменились за прошедшие годы. Он сидел в библиотеке и писал, а я из сострадания подсел к нему; он тут же умышленно оскорбил меня, загородив свою писанину. Можно подумать, будто под рукой у него какое-то блестящее открытие и он подозревает, что я (я, чью книгу издает Бодлеевская библиотека!) способен украсть его идею. В университете он добился необыкновенных успехов - об этом он говорил, торопясь и захлебываясь, словно боялся, что я перебую его, не дослушав, и среди прочего о полученной степени доктора наук упомянул мельком, словно это совершенный пустяк.

Потом он ревниво спросил, чем занимаюсь я, а его рука (поистине ограждающая длань) беспокойно прикрывала бумагу, в которой таилась драгоценная идея - его единственная многообещающая идея.

"Поэзия, - буркнул он, - поэзия. А что вы в ней проповедуете, Хикс?"

Вот как понимает поэзию еще не вылупившийся провинциальный профессор, и я от души благодарю бога, потому что, если бы не драгоценный дар праздности, меня, быть может, тоже ждал бы этот путь - докторская степень и духовное опустошение..."

Этот забавный набросок с натуры, вероятно, рисует Филмера, каким он был накануне своего открытия или очень незадолго до того.

Предсказывая ему провинциальную профессуру, Хикс ошибся. Наша следующая мимолетная встреча с Филмером - лекция "О каучуке и его заменителях", прочитанная им в Обществе поощрения ремесел (он уже был управляющим большой фабрики пластических веществ); тогда же, как мы теперь знаем, Филмер состоял членом Общества воздухоплавателей, хотя и не принимал никакого участия в дискуссиях, очевидно, предпочитая довести до конца свой великий замысел без посторонней помощи. А в последующие два года он поспешно берет несколько патентов и разными не очень солидными способами возвещает миру, что он завершил оригинальные исследования, которые позволяют ему построить летательный аппарат. Первое недвусмысленное сообщение об этом появилось в грошовой вечерней газетенке и исходило от соседа Филмера по дому. Вся эта спешка после столь долгой, терпеливой и тайной работы была, видимо, вызвана ложной тревогой: известный американский шарлатан от науки, некто Бутл, объявил о каком-то своем открытии, а Филмеру показалось, что тот перехватил его идею.

В чем же, собственно, состояла идея Филмера? В сущности, она была очень проста. До него развитие воздухоплавания шло двумя различными путями: с одной стороны, воздушные шары, большие летательные аппараты легче воздуха, надежные при подъеме и сравнительно безопасные при спуске, но беспомощные при малейшем ветерке; с другой - аппараты тяжелее воздуха, которые летали пока только в теории, - огромные плоские сооружения эти приводились в движение и держались в воздухе с помощью тяжелых моторов и большей частью разбивались при первой же посадке. Но если отбросить последнее обстоятельство, не позволяющее ими пользоваться, эти летательные аппараты имели неоспоримое теоретическое преимущество: благодаря своему весу они могли летать против ветра - необходимое условие, без которого воздухоплавание практически бессмысленно. Главная заслуга Филмера в том, что он нашел способ сочетать в одном аппарате противоположные и, казалось бы, несовместимые качества аэростата и тяжелой летательной машины, причем его аппарат можно было по желанию делать легче или тяжелее воздуха. На эту мысль натолкнули Филмера сжимающиеся пузыри рыб и воздушные полости в костях птиц. Он изобрел устройство, состоящее из сжимающихся и совершенно непроницаемых воздушных баллонов, которые, расширяясь, легко могли поднять летательный аппарат, а затем, сжатые посредством "мускулатуры", которой он их оплел, почти целиком убирались в каркас; все это крепилось на большой раме из жестких полых труб, и если аппарат начинал опускаться, воздух из труб автоматически при помощи остроумного приспособления перекачивался в баллоны и оставался там столько времени, сколько нужно было аэронавту. Этот аппарат в отличие от всех своих предшественников не имел ни крыльев, ни винта; единственным механизмом на нем было небольшое, но мощное устройство, служащее для сжатия баллонов. По замыслу Филмера, если из труб откачать воздух и увеличить тем самым объем воздушных шаров, машина, изобретенная им, могла подняться на значительную высоту, а затем, если сжать шары и перекачать воздух обратно в трубы, сместив при этом центр тяжести, она могла скользить по наклонной плоскости в любом направлении. Снижаясь, машина набирает скорость и в то же время теряет вес, а инерция движения, накопленная в стремительном падении, может быть использована для нового подъема, нужно только опять изменить центр тяжести и, направив машину вверх, увеличить объем шаров. Однако, чтобы осуществить эту идею, которую и поныне используют конструкторы всех удачных летательных аппаратов, требовался огромный труд по разработке деталей, и этому труду Филмер "отдавался самозабвенно и самоотверженно", как он всегда повторял репортерам, осаждавшим его, когда он достиг зенита славы. Особенно пришлось ему повозиться с

эластичной оболочкой сжимающихся баллонов. Он убедился, что здесь не обойтись без нового вещества, и вот, чтобы создать это вещество и наладить его производство, Филмеру, как он неоднократно твердил репортерам, "пришлось потрудиться гораздо больше, чем даже над моим основным и, казалось бы, куда более важным изобретением".

Но не следует думать, что Филмер стал знаменит сразу же, как только объявил о своем изобретении. Прошло почти пять лет, а он все еще не решался покинуть свое место на резиновой фабрике - очевидно, это был единственный источник его скромного дохода - и тщетно пытался доказать совершенно равнодушной публике, что он и в самом деле что-то изобрел. Большую часть своего досуга он тратил на сочинение писем в научные журналы и разные газеты, точно излагая конечный результат своих исследований и требуя денежной помощи. Одного этого было бы достаточно, чтобы его письма клали под сукно. Немало свободного времени, когда удавалось его выкроить, провел Филмер в бесплодных беседах со швейцарами крупнейших лондонских редакций: он совершенно не умел завоевывать доверие привратников; и он даже пробовал заручиться поддержкой Военного министерства. Сохранилось секретное письмо генерал-майора Залпа графу Аксельбанту. "Изобретатель этот с придурью и вдобавок невежа", - писал генерал-майор с присущей ему солдатской прямоотой и здравомыслием и тем самым позволил японцам добиться военного преимущества в этой области, которое они, к нашему великому беспокойству, сохраняют по сей день.

А потом пленка, изобретенная Филмером для сжимающихся воздушных шаров, оказалась пригодна для клапанов нового нефтяного двигателя, и он получил средства на постройку опытной модели своего аппарата. Он тотчас бросил резиновую фабрику, перестал строчить письма и статьи и втихомолку (похоже, что таинственность сопровождала все его начинания) взялся за работу. Он, видимо, руководил изготовлением отдельных деталей и свозил их постепенно в какое-то помещение в Шордиче, но окончательная сборка была произведена близ Димчерча, в графстве Кент. Модель была невелика и не могла поднять человека, но Филмер очень остроумно использовал для управления полетом то, что в те дни называли лучами Маркони. Первый полет этого первого действительно летающего аппарата состоялся над лугами около Барфорд-Бриджа, неподалеку от Хайта, в графстве Кент, и Филмер управлял своей машиной, сопровождая ее на специально сконструированном трехколесном велосипеде с мотором.

Полет в общей сложности прошел на редкость удачно. Аппарат привезли из Димчерча в Барфорд-Бридж на телеге, и он поднялся на высоту чуть ли не трехсот футов, потом устремился вниз, почти к самому Димчерчу, повернул, опять взмыл вверх, сделал круг и, наконец, благополучно опустился на поле в Барфорд-Бридже, позади постоянного двора. Во время посадки произошел странный случай. Филмер слез с велосипеда, перебрался через канаву, прошел ярдов двадцать по направлению к своему столь удачному детищу - и вдруг нелепо вскинул руки и свалился наземь в глубоком обмороке. Тут только окружающие вспомнили, что во время испытаний он был бледен, как мертвец, и взволнован до крайности, - не упали ли он в обморок, об этом никто бы и не подумал. Позднее, на постоялом дворе, он без всякой причины вдруг истерически разрыдался.

Свидетелей события насчитывалось не больше двадцати, да и те в большинстве своем были люди темные. Подъем аппарата наблюдал доктор из Нью-Ромни, но он не видел спуска: его лошадь испугалась электрического моторчика на велосипеде Филмера и сбросила седока на землю. Следили за полетом двое свободных от дежурства кентских полисменов, сидя в тележках; там же оказался торговец бакалейным товаром, объезжавший своих заказчиков, да прокатили две дамы на велосипедах - вот, собственно, и все очевидцы, которых можно назвать людьми образованными. Были здесь также два репортера (один - от фолкстоунской газеты, а другой - столичный репортерша уж совсем последнего разбора), чьи дорожные расходы оплатил сам Филмер, - он, как всегда, жаждал создать рекламу своему открытию и теперь уже знал, как это делается. Лондонский журналист был из тех, что способны вызвать недоверие даже к самым убедительным фактам, и вот его-то полуиронический отчет



об испытаниях и появился на страницах популярной газеты. Однако, к счастью для Филмера, рассказывать этот человек умел куда убедительнее, чем писать. Он явился предлагать "материальчик" в редакцию к Бэнгхерсту, владельцу "Новой газеты", одному из самых талантливых и самых беззастенчивых газетных дельцов Лондона, и Бэнгхерст зевать не стал. Репортер исчезает со сцены, вряд ли даже получив сколько-нибудь приличное вознаграждение, а Бэнгхерст, сам Бэнгхерст, собственной персоной, в сером диагональном костюме, со своим двойным подбородком, с брюшком, солидным голосом и внушительными жестами, является в Димчерч, движимый нюхом, отличающим его непревзойденный, длиннейший журналистский нос. Бэнгхерст все понял с первого взгляда: и что означает это изобретение и что оно сулит в будущем.

Едва Бэнгхерст взялся за дело, долгое затворничество Филмера обернулось славой. Изобретатель мгновенно стал сенсацией. Перелистывая подшивки газет за 1907 год, не веришь своим глазам, как быстро и до какого сияния можно было в те дни раздуть сенсацию. Июльские газеты еще ничего не знают о полетах и знать не желают, красноречиво утверждая своим молчанием, что люди не будут, не могут и не должны летать. В августе же полеты и Филмер, полеты и парашюты, воздушная тактика и японское правительство, и снова Филмер и полеты оттеснили с первых страниц и войну в Юнани и золотые прииски Верхней Гренландии. И потом Бэнгхерст дал десять тысяч фунтов, Бэнгхерст дает еще пять тысяч, Бэнгхерст предоставляет собственные широко известные и превосходные (но до сих пор пустовавшие) лаборатории и несколько акров земли рядом со своей усадьбой на Саррейских холмах "для бурного и напряженного" (в обычном стиле Бэнгхерста) завершения работы по созданию летательного аппарата, практически способного поднять человека. А тем временем каждую неделю в обнесенном стеной саду городского дома Бэнгхерста, в Фулхэме, избранные гости смотрели, как Филмер запускает свою действующую модель. Не считаясь с огромными расходами, но в конечном счете не без выгоды для себя "Новая газета" подарила своим читателям прекрасные фотографии на память о первом таком торжестве.

Здесь нам на помощь снова приходит переписка Артура Хикса с его другом Вансом.

"Я видел Филмера в ореоле славы, - писал Хикс с ноткой зависти, естественной в его положении поэта, вышедшего из моды. - Он гладко причесан и чисто выбрит, одет так, словно собирается прочесть вечернюю лекцию в Королевском обществе: сюртук моднейшего покроя, лакированные ботинки с длинными носами, а в целом престранное сочетание нахохленного гения со струсившим, смущенным неотесанным мужланом, выставленным на всеобщее обозрение. В лице ни кровинки, голова выдвинута вперед, маленькие желтые глазки ревниво поглядывают по сторонам, ловя знаки славы. Костюм его сшит превосходно и все равно сидит на нем, как самая дешевая пара из магазина готового платья. Он все так же невнятно бормочет, но можно догадаться, что речи его полны невероятного самовосхваления. Стоит Бэнгхерсту на минуту отвлечься, Филмер сразу же прячется за чужие спины, и когда он идет по лужайке бэнгхерстовского сада, видно, что он слегка задыхается, походка у него неровная, а белые слабые руки стиснуты в кулаки. Он весь в напряжении, в страшном напряжении. И это величайший изобретатель нашего века, да и не только нашего, Величайший Изобретатель всех времен! Поразительнее всего, что он и сам явно не ожидал ничего подобного, во всяком случае, не такого головокружительного успеха. Бэнгхерст не отходит от него ни на шаг - бдительный страж своей богатой добычи. Я ручаюсь, он притащит к себе на лужайку всех, кто только понадобится, чтобы довести до конца затею с этой машиной; вчера он заполучил премьер-министра, и, честное слово, сей благосклонный муж при первом же посещении держал себя там почти как равный. Подумать только! Филмер! Наш безвестный неряха Филмер - слава британской науки! Вокруг него толпятся герцогини, звучат чистые, мелодичные голоса прелестных леди. Вы заметили, как любознательны в наши дни знатные дамы? "О мистер Филмер, как вам это удалось?"

Простые люди в необычных условиях теряются и отвечают на вопросы очень невразумительно. Можно себе представить, что он им говорил! "...самозабвенный и



самоотверженный труд, сударыня, и, возможно, право, не знаю, но, возможно, и кое-какие способности..."

До сих пор Хикс и фотографическое приложение к "Новой газете" не противоречат друг другу. На одной фотографии машина спускается к реке, а под ней, в просвете между вязами, видна башня Фулхэмской церкви; на другой Филмер сидит у батарей прибора, управляющего полетом, а вокруг толпятся сильные мира сего и прелестные дамы; Бэнгхерст скромно, но с решительным видом расположился на втором плане. Снимок на редкость удачный. Впереди, почти заслоняя Бэнгхерста и пристально и задумчиво глядя на Филмера, стоит леди Мэри Элкингхорн, все еще прекрасная, несмотря на свои тридцать восемь лет и связанные с ее именем сплетни; на этой фотографии она единственная ничуть не позирует, словно бы даже и не замечает фотографа.

Таковы факты, внешняя сторона описываемых событий. Что же касается существа, тут очень многое остается неясным, и можно лишь строить догадки. Что ощущал Филмер в те дни? Какие тягостные предчувствия таились под этим модным, с иголки сюртуком? Портреты его появлялись во всех газетах, от грошовых листков до солиднейших печатных органов; он был известен миру как "Величайший Изобретатель всех времен". Он изобрел самый настоящий летательный аппарат, и с каждым днем в Саррейских мастерских первый такой аппарат достаточных размеров, чтобы поднять человека, принимал все более законченный вид. И никто в мире не сомневался - ведь это так логично и естественно! - что, когда машина будет готова, именно он, Филмер, ее изобретатель и создатель, с законной гордостью и радостью ступит на борт, поднимется в небо и полетит.

Но теперь-то мы хорошо знаем, что Филмер был органически неспособен испытать эту законную гордость и радость. Тогда это никому не приходило в голову, но дело обстояло именно так. Теперь мы не без оснований догадываемся, что в тот день он передумал о многом, а из его короткой записки врачу с жалобой на упорную бессонницу можем сделать вывод, что и по ночам его мучила та же мысль: пусть в теории полет безопасен, но ему, Филмеру, болтаться в пустоте на высоте тысячи футов над землей будет нестерпимо тошно, неуютно и опасно. Эта догадка осенила его, должно быть, когда его только еще начали называть "Величайшим Изобретателем всех времен", он как бы увидел, что ему предстояло сделать, и ощутил под собой бездонную пропасть. Возможно, когда-нибудь в детстве он случайно посмотрел вниз с большой высоты или уж очень неудачно упал; а быть может, от привычки спать не на том боку его преследовал всем нам знакомый кошмар, когда снится, что куда-то падаешь, и это вселило в него ужас; в силу этого ужаса теперь не приходится сомневаться.

Очевидно, в начале своих исследований Филмер никогда не задумывался над тем, что ему придется лететь самому; пределом его желаний была летающая машина; и вот обстоятельства заставляют его перешагнуть этот предел и совершить головокружительный полет там, в вышине. Он изобретатель - и он изобрел. Но он не рожден летать, и только сейчас до его сознания стало доходить, что именно этого от него ждут. Мысль о полете преследовала его неотступно, однако до самого конца он не подавал виду, все так же работал в прекрасных лабораториях Бэнгхерста, беседовал с репортерами и пребывал в знаменитостях, отлично одевался, вкусно ел, жил в роскошных апартаментах и наслаждался всеми вещественными, осязаемыми благами Славы и Успеха, как может ими наслаждаться только человек, который всю жизнь ждал своего часа и наконец дождался.

Спустя некоторое время еженедельные приемы в Фулхэме прекратились. Однажды модель на секунду вышла из повиновения; или, быть может, Филмера отвлекли комплименты присутствовавшего здесь архиепископа и он не дал нужной команды. Так или иначе, но в ту самую минуту, когда тот договаривал длинейшую латинскую цитату (какими всегда изъясняются архиепископы в романах), модель внезапно клюнула носом немного круче, чем следовало, и упала на Фулхэм-роуд, в трех шагах от стоявшего на дороге омнибуса. На миг

модель замерла - удивительная и словно удивленная, - затем съежилась и разлетелась на куски, случайно убив при этом запряженную в омнибус лошадь.

Архиепископа Филмер не дослушал. Он вскочил и застывшим взглядом смотрел, как его детище устремилось вниз и, уже не подвластное ему, пропало из виду. Его длинные белые пальцы все еще сжимали бесполезный теперь прибор. Архиепископ тоже обратил взор к небесам с неподобающим его сану опасением.

Потом треск, шум и крики, донесшиеся с дороги, вывели Филмера из оцепенения. "Боже мой!" - прошептал он и сел.

Остальные еще пытались разглядеть, куда девалась модель, некоторые кинулись в дом.

Несмотря на этот случай, постройка большого аппарата шла полным ходом. Руководил ею Филмер, как всегда, немного медлительный и очень осторожный, но в душе его росла тревога. Просто удивительно, как он заботился о прочности и надежности аппарата. Малейшее сомнение - и он прекращал все работы, пока сомнительную деталь не заменяли. Уилкинсон, его старший помощник, порой кипел от злости из-за таких проволочек, уверяя: почти все они совершенно ни к чему. Бэнгхерст расхваливал терпение и настойчивость Филмера на страницах "Новой газеты", а в разговорах с женой клял его на чем свет стоит; зато Мак-Эндрю, второй помощник, одобрял благоразумие Филмера. "Мы же не хотим провала, чудак, - говорил Мак-Эндрю всем и каждому. - Очень хорошо, что он осторожен, так и надо".

При всяком удобном случае Филмер опять и опять объяснял Уилкинсону и Мак-Эндрю, как действует каждая часть летательного аппарата и как им управлять, так что в решающий день они могли бы не хуже, а то и лучше его самого повести машину в небо.

Мне кажется, если бы в то время Филмер сумел разобраться в своих чувствах и раз и навсегда решить для себя вопрос о полете, он легко мог бы избежать столь мучительного испытания. Если бы он отдавал себе в этом ясный отчет, он мог бы предпринять очень многое. Разумеется, нетрудно было бы найти врача, чтобы доказать, что у него слабое сердце или неладно с легкими или желудком, а значит, ему лететь нельзя, но, к моему удивлению, этим путем он не пошел; или, будь у него больше мужества, он мог бы просто объявить, что сам лететь не намерен. Но беда в том, что, хотя страх прочно обосновался в его душе, все это было не так-то просто. Наверное, он все время твердил себе, что в нужную минуту соберется с силами и сумеет исполнить то, чего от него ждут. Он был как больной, который еще не понял, какой тяжкий недуг его поразил, и говорит, что ему немного нездоровится, но скоро полегчает. А пока что он медлил с окончанием постройки и, не опровергая слухов, будто полетит сам, только поддерживал рекламную шумиху. Он даже благосклонно принимал преждевременные похвалы своему мужеству. И, несмотря на свою тайную слабость, несомненно, радовался всем этим хвалам, знакам внимания и окружающей суете и даже упивался ими.

Леди Мэри Элкинхорн еще больше запутала его положение.

Как это у них началось, Хикс не представлял себе. Вероятно, поначалу она была просто "мила" с Филмером, проявила свою обычную бесстрастную пристрастность, и вполне возможно, что, когда он управлял своим чудовищем, парящим высоко в небе, он казался ей человеком необыкновенным, - этого Хикс нипочем не желал за ним признавать. И, должно быть, у них нашлась минута, чтобы остаться наедине, а у Великого изобретателя на минуту достало смелости пробормотать или даже выпалить какие-то слова личного свойства. С чего бы это ни началось, но, несомненно, началось и вскоре стало очень заметно для окружающих, которые привыкли находить в поступках леди Мэри Элкинхорн повод для развлечения. И все очень осложнилось, потому что влюбленность своеобразно подействовала на неискушенную душу Филмера и если не вполне, то в значительной степени укрепила его решимость встретиться с опасностью, и он даже не пробовал уклониться, хотя при других обстоятельствах такие попытки были бы естественны и понятны.

Какие чувства испытывала к Филмеру леди Мэри и что она о нем думала, об этом нам остается только гадать. В тридцать восемь лет можно быть очень мудрой и все же не слишком благоразумной, да и воображение в этом возрасте еще достаточно живо, чтобы создавать себе идеал и совершать невозможное. Филмер предстал перед ней как знаменитость, а это всегда действует; и потом он обладал силой, удивительной силой, по крайней мере в воздухе. Трюки с моделью и впрямь смахивали на колдовство, а женщины неизвестно почему склонны думать, что если уж человек в чем-то силен, значит, он всесилен. И тут уж все неприятные его черты и свойства превращаются в достоинства. Он скромненький, он чужд хвастовства, но дайте только случай проявить истинно возвышенные качества, и тогда... о, тогда все узнают ему цену.

Миссис Бэмптон, ныне покойная, сочла нужным сообщить леди Мэри, что Филмер, в общем-то, порядочный нехороший.

- Он, безусловно, человек совсем особенный, я таких никогда еще не встречала, - невозмутимо ответила леди Мэри.

И миссис Бэмптон, украдкой метнув быстрый взгляд на это невозмутимое лицо, решила, что ей тут больше делать нечего: говорить с леди Мэри бесполезно. Зато другим она наговорила немало.

И вот незаметно, своим чередом, подошел день, великий день, давно обещанный Бэнгхерстом читающей публике (а значит, всему миру), - день долгожданного полета. Филмер видел зарю этого дня, он ожидал ее еще с глубокой ночи; он видел, как блекли звезды, как серые и жемчужно-розовые тона уступили наконец место голубизне ясного, безоблачного неба. Он смотрел на все это из окна своей спальни в недавно пристроенном крыле бэнгхерстовского дома, выдержанного в стиле Тюдоров. А когда звезды погасли и в свете занимающегося дня уже можно было различить и узнать предметы, перед его взором все яснее и яснее стали вырисовываться праздничные приготовления по ту сторону буковой рощи, неподалеку от зеленого павильона на опушке парка: три деревянные трибуны для привилегированных зрителей, ограда из свежеструганых досок, сараи и мастерские, разноцветные мачты с потемневшими и обвисшими в утреннем безветрии флагами, которые Бэнгхерст счел нужным вывесить, и посреди всего этого нечто огромное, прикрытое брезентом. Это нечто было для человечества странным и внушающим ужас знаменем - началом, которое неминуемо распространится по свету, проникнет во все уголки, преобразит и подчинит себе все дела человеческие; однако Филмер едва ли обо всем этом думал: странный предмет занимал его лишь в той мере, в какой дело касалось его самого. Несколько человек слышали, как он далеко за полночь шагнул по комнате, - огромный дом был битком набит гостями, хозяин-издатель отлично усвоил принцип сжатия. А часов в пять, если не раньше, Филмер покинул свою комнату и вышел из спящего дома в парк, уже залитый светом и полный проснувшихся птиц, белок и ланей. Мак-Эндрю, который тоже всегда вставал рано, встретил его около аппарата, и они вместе еще раз его осмотрели.

Вряд ли Филмер в то утро позавтракал, несмотря на все настояния Бэнгхерста. По-видимому, как только гости начали понемногу выходить из своих комнат, он вернулся к себе. Отсюда часов в десять он вышел на аллею, обсаженную кустами, вероятно, потому, что увидел там леди Мэри Эллингхорн. Она прогуливалась взад и вперед, беседуя со своей школьной подругой миссис Брюис-Крейвен, и, хотя Филмер с этой дамой знаком не был, он присоединился к ним и некоторое время ходил рядом. Несмотря на всю светскую находчивость леди Мэри, несколько раз наступало молчание. Все ощущали неловкость, и миссис Брюис-Крейвен не нашлась, как ее сгладить. "Он произвел на меня, - говорила она потом, явно противореча сама себе, - впечатление глубоко несчастного человека, который хочет что-то сказать и ждет, чтобы ему в этом помогли. Но как можно помочь, когда не знаешь, чего ему надо?"

К половине двенадцатого огороженные места для публики были переполнены; по узкой дорожке, опоясывающей парк, двигалась вереница экипажей, а гости, ночевавшие в доме,

празднично разодетые, по лужайке и аллее направлялись к летательному аппарату. Филмер шел вместе с несказанно довольным, сияющим Бэнгхерстом и сэром Теодором Хиклом, президентом Общества воздухоплавателей. Сразу же за ними шли миссис Бэнгхерст с леди Мэри Элкингхорн, Джорджина Хикл и настоятель церкви. Бэнгхерст пространно и напыщенно разглагольствовал, а когда он на минуту замолкал, лестное для Филмера словечко вставлял Хикл. А Филмер шагал между ними и молчал, односложно отвечая лишь на вопросы, прямо обращенные к нему. Позади них миссис Бэнгхерст слушала складные и разумные речи священника с тем трепетным вниманием к высшему духовенству, от которого ее не излечили даже десять лет власти и преуспевания в обществе, а леди Мэри, должно быть, без тени сомнения в душе созерцала поникшие плечи своего "совсем особенного" человека, которому предстояло поразить весь мир.

Как только эту главную группу заметила расположившаяся за оградой публика, раздались приветствия, но не слишком дружные и не очень вдохновляющие. До аппарата оставалось яров пятьдесят, как вдруг Филмер поспешно оглянулся, проверил, близко ли дамы, и впервые решился заговорить сам. Чуть охрипшим голосом он на полуслове перебил рассуждения Бэнгхерста о прогрессе.

- Послушайте, Бэнгхерст... - начал он и умолк.

- Да? - отозвался тот.

- Я хочу... - Филмер облизал пересохшие губы. - Мне нездоровится.

Бэнгхерст стал как вкопанный.

- Что?! - воскликнул он.

- Голова кружится. - Филмер шагнул вперед, но Бэнгхерст не пошевелился. - Сам не знаю. Возможно, это сейчас пройдет. Если нет... может быть, Мак-Эндрю...

- Так вам нездоровится?! - повторил Бэнгхерст, уставясь в его побледневшее лицо. - Дорогая! - сказал он, когда миссис Бэнгхерст подошла к ним. - Филмер говорит, что ему нездоровится.

- Голова немного кружится, - объяснил Филмер, избегая взгляда леди Мэри. - Возможно, пройдет...

Наступило молчание.

Филмеру вдруг подумалось, что сейчас он самый одинокий человек на свете.

- Так или иначе полет должен состояться, - сказал наконец Бэнгхерст. - Может быть, вам где-нибудь посидеть минутку, передохнуть...

- Это, наверно, оттого, что столько народу... - произнес Филмер.

И опять молчание. Бэнгхерст испытующе посмотрел на Филмера, потом окинул взглядом публику за оградой.

- Да, неудачно, - сказал сэр Теодор Хикл. - Но все же... я полагаю... ваши помощники... Разумеется, если вы плохо себя чувствуете и не склонны...

- По-моему, мистер Филмер и мысли такой не допускает, - сказала леди Мэри.

- Однако если мистер Филмер утратил уверенность... Ему, пожалуй, опасно даже пытаться... - И Хикл покашлял.

- Именно потому, что опасно. - Леди Мэри не договорила, уверенная, что теперь мнение Филмера и ее собственное всем вполне ясно.

В душе Филмера шла борьба.

- Я знаю, мне надо лететь, - сказал он, уставясь в землю. Потом поднял глаза и встретил взгляд леди Мэри. - Да, я хочу лететь, - прибавил он и слабо улыбнулся ей. И повернулся к Бэнгхерсту. - Если бы мне просто немного посидеть где-нибудь в тени подальше от этой толпы...

Бэнгхерст начал понимать, что происходит.

- Пойдемте в мою комнатку в зеленом павильоне, Там прохладно. - Он взял Филмера под руку.

Филмер еще раз обернулся к леди Мэри Элкингхорн.

- Через пять минут все пройдет. Мне ужасно жаль...

Она улыбнулась ему.

- Я ничего такого не ждал... - сказал он Хиклу и пошел, увлекаемый Бэнгхерстом.

Оставшиеся смотрели им вслед.

- Он такой хрупкий, - промолвила леди Мэри.

- Он, безусловно, человек весьма нервный, - сказал настоятель, чьей слабостью было считать всех на свете, кроме многосемейных служителей церкви, "неврастениками".

- Но, право, - сказал Хикл, - совершенно не обязательно ему самому подниматься в воздух только из-за того, что он изобрел...

- Как же он может не подняться? - спросила леди Мэри с чуть заметной насмешкой.

- Если он теперь заболит, это будет весьма некстати, - строго сказала миссис Бэнгхерст.

- Не заболит, - ответила леди Мэри, вспомнив взгляд Филмера.

- Все будет в порядке, - сказал Бэнгхерст Филмеру по дороге к павильону. - Просто вам надо глотнуть коньяку. Понимаете, лететь вы должны сами. Даже обидно было бы... Не можете же вы позволить кому-то другому...

- Да нет, я сам хочу лететь, - сказал Филмер. - Я возьму себя в руки. В сущности, я и сейчас почти готов... нет! Сперва я все-таки глотну коньяку.

Бэнгхерст ввел его в небольшую комнатку, взял пустой графин и вышел за коньяком. Его не было, вероятно, минут пять.

Историю этих пяти минут написать невозможно. Люди на восточной стороне трибун временами видели в окне лицо Филмера, оно прижималось к стеклу, потом отодвигалось и пропадало. Бэнгхерст, что-то крикнув, исчез за главной трибуной, и сейчас же оттуда показался дворецкий с подносом и направился к павильону.

Комнатка в павильоне, где Филмер принял свое последнее решение, была уютная, с очень простой зеленой мебелью и старинной конторкой - Бэнгхерст в личной жизни был неприхотлив. На стенах висели небольшие гравюры с картин Морланда, была там и полка с книгами. А кроме того, Бэнгхерст случайно забыл здесь свое мелкокалиберное ружье, из которого иногда, забавы ради, стрелял грачей; оно лежало на конторке, а на углу каминной полки стояла коробка и в ней несколько патронов. Шагая взад и вперед по комнате и стараясь найти выход из мучительного положения, Филмер подошел сначала к изящному маленькому ружью, лежавшему на бюваре, а потом к коробочке с четкой надписью на красной этикетке: "Калибр 22. Дальнобойные".

Должно быть, его сразу осенило.

Как выяснилось, никто не подумал о Филмере, когда раздался выстрел, хотя в маленькой комнатке он должен был прозвучать очень громко, а рядом, за тонкой перегородкой, в бильярдной, находилось несколько человек. Однако дворецкий, по его словам, открыв дверь и почувствовав едкий запах пороха, мигом понял, что произошло. Ибо кто-кто, а прислуга в усадьбе Бэнгхерста уже и раньше догадывалась о том, что творилось на душе у Филмера.

Весь этот тяжелый день Бэнгхерст вел себя, как, по его мнению, подобало человеку, сраженному непоправимым несчастьем, и гости, хоть, право, это было нелегко, старались сделать вид, будто не поняли, как ловко его надул покойный. Публику, рассказал мне Хикс, словно ветром сдуло; и в Поезде на Лондон не было, кажется, пассажира, который не знал бы заранее, что летать человеку никак невозможно. "А все же, - говорили многие, - раз уж дело зашло так далеко, он мог бы и попробовать".

Вечером, когда почти все уже разъехались, Бэнгхерст не выдержал и дал волю своему отчаянию. Мне говорили, что он плакал (должно быть, внушительное зрелище!), и, конечно, он сказал, что Филмер загубил его жизнь, а затем предложил и продал весь аппарат Мак-Эндрю за полкроны. "Я-то думал..." - начал было Мак-Эндрю после завершения сделки и умолк.

Назавтра имя Филмера в "Новой газете" впервые упоминалось реже, чем в любой другой ежедневной газете мира. Прочие организаторы общественного мнения в более или менее



сильных выражениях, смотря по их достоинству и степени соперничества с "Новой газетой", объявляли о "безнадежном провале нового летательного аппарата" и о "самоубийстве шарлатана". Но жителей Северного Саррея эти известия не так уж поразили, их в это время занимали необыкновенные явления в небесах.

Накануне вечером Уилкинсон и Мак-Эндрю яростно заспорили об истинных причинах опрометчивого поступка их шефа.

- Бедняга, конечно, был трусоват, но что до познаний, тут уж его шарлатаном не назовешь, - говорил Мак-Эндрю. - И я готов доказать это на деле, мистер Уилкинсон, как только зеваки разъедутся и оставят нас в покое. Не по душе мне рекламная шумиха во время пробных полетов.

И вот, пока весь мир читал в газетах о бесспорном провале нового летательного аппарата, Мак-Эндрю парил в воздухе, скользил вниз, к земле, и опять уверенно взлетал в небо над Эксомом и Уимблдоном; а Бэнгхерст - он вновь обрел надежду и энергию, - вооруженный, помимо всего прочего, кинокамерой (которая, как обнаружилось впоследствии, не работала), не считаясь с правилами общественной безопасности и с местными властями, носился за Мак-Эндрю на автомобиле в одной пижаме (он заметил взлетающий аппарат из окна своей спальни, когда поднимал шторы) и пытался привлечь его внимание.

А в зеленом павильоне на бильярдном столе лежало завернутое в простыню тело Филмера.

## ***Неопытное привидение***

Пер. - И.Бернштейн.

Я очень живо помню, как все это было, когда Клейтон рассказал нам свою последнюю историю. Вижу, как сейчас: он сидит у пылающего камина, в углу знаменитого елизаветинского дивана, а рядом с ним Сандерсон покуривает свою неизменную глиняную трубку, на мундштуке которой выгравирована его фамилия. С нами были еще Эанс и Уиш, это чудо среди актеров и, кстати сказать, очень скромный человек. Мы все съехались в клуб "Сирена" в субботу утром, кроме Клейтона, который там ночевал, - с этого, собственно, он и начал свой рассказ. День мы провели за игрой в гольф, пока не наступили сумерки, потом обедали, и теперь все пребывали в том благодушном настроении, которое располагает человека послушать какую-нибудь занятную историю. Когда Клейтон начал рассказывать, мы, естественно, решили, что он выдумывает. Он и в самом деле, может быть, выдумывал - об этом читатель в самом ближайшем будущем сможет судить не хуже моего.

Правда, он начал серьезно, как рассказывают о каком-нибудь действительном происшествии, но мы тогда сочли это уловкой неискраивого враля.

- Между прочим, - начал он, вволю налюбовавшись огненным дождем искр, летевших вверх из полена, которое разбивал Сэндерсон, - знаете, я ведь ночевал здесь сегодня один.

- Не считая слуг, - заметил Уиш.

- Которые спят в другом крыле, - сказал Клейтон. - Н-да. Так вот...

Некоторое время он молча посасывал сигару, словно все еще сомневался, стоит ли быть с нами откровенным. Наконец сказал удивительно спокойным, обыкновенным тоном:

- Я поймал привидение.

- Привидение? - переспросил Сэндерсон. - Где же оно?

А Эванс, который всегда был большим поклонником Клейтона и только что возвратился из Америки, где провел целый месяц, сразу завопил:

- Привидение, Клейтон? Прекрасно! Расскажите же нам, как все это было!

Клейтон ответил, что сейчас расскажет, и попросил его прикрыть дверь.

- Разумеется, здесь не подслушивают, - пояснил он, как бы извиняясь передо мною, - но у нас тут дело так прекрасно поставлено, не хотелось бы вносить сумятицу разговорами о

привидениях. Здание здесь, знаете, темноватое, и дубовые панели по стенам - не стоит этим шутить. Да и привидение это было не обычное. Я думаю, оно больше сюда не вернется, никогда не вернется.

- Значит, вы его не задержали? - спросил Сэндерсон.

- Я его пожалел.

Сэндерсон выразил удивление. А мы все рассмеялись. Но Клейтон, криво усмехнувшись, сказал с легкой досадой:

- Я знаю. Но дело в том, что это действительно было привидение, я в этом так же уверен, как и в том, что вот сейчас говорю с вами. Я не шучу. Это правда.

Сэндерсон глубоко затянулся своей трубкой, искоса поглядывая на Клейтона красноватым глазом, и выпустил в его сторону тонкую струю дыма, что было красноречивее всяких слов.

Но Клейтон не обратил внимания на этот выпад.

- Ничего более странного со мной в жизни не случилось. Понимаете, я никогда раньше не верил в духов и во всякую чертовщину, никогда, и вдруг, пожалуйста, загоняю в угол настоящее привидение.хлопот у меня с ним было - не оберешься.

Он опять погрузился в раздумье и, машинально вытащив вторую сигару, обрезал ее забавным особым ножичком, который он с собою всегда носил.

- Вы с ним говорили? - спросил Унш.

- Да, наверное, с час, не меньше.

- И что ж он, разговорчив? - поддел я его, беря сторону скептиков.

- Бедный дух попал в затруднение, - ответил Клейтон, склонившись над сигарой, и в тоне его слышался легкий упрек.

- Рыдал? - спросил кто-то.

Клейтон испустил очень правдоподобный вздох.

- Боже ты мой, да! - сказал он. - Еще как, бедняга!

- Где же вы его застукали? - спросил Эванс с чистопробным американским акцентом.

- Я и не предполагал, - продолжал Клейтон, не отвечая ему, - каким жалким может быть привидение.

Он снова прервал рассказ, пока нашаривал в кармане спички, зажигал и раскуривал свою сигару. Но нам было не к спеху.

- Бедный. Мне-то было легко, - сказал он задумчиво. - Характер, - продолжал он, - сохраняется, даже когда человек теряет свою телесную оболочку. Обычно мы об этом забываем. Если человек волевой и целеустремленный, то и дух его будет волевым и целеустремленным, - большинство привидений, я думаю, такие же рабы навязчивой идеи, как и любой маньяк на земле, и упрямые, что твой осел, раз так настойчиво возвращаются все на то же место. Но этот бедняга совсем другой.

Клейтон вдруг поднял голову и странным взглядом обвел комнату.

- Я ничего обидного не хочу сказать, - проговорил он, - но все дело именно в этом: он с первого взгляда произвел на меня впечатление слабого человека.

Он говорил, помахивая зажженной сигарой.

- Знаете, я встретил его вон там, в длинном коридоре. Он стоял ко мне спиной, и я первый его заметил. Я сразу же сообразил, что это - привидение. Он был весь прозрачный, такой белесоватый. Прямо сквозь спину его видно было окошко в дальнем конце коридора. Но не только во всем его облике, даже в самой его позе было что-то слабое. Понимаете, он стоял, как человек, понятия не имеющий, что ему делать дальше. Одной рукой держался за стену, а другую прижал к губам - вот так!

- А собой он каков? - спросил Сэндерсон.

- Тщедушный. Знаете, такая шея тонкая, с двумя ложбинками позади ушей - вот тут и тут. Маленькая плоская голова, волосы торчком, уродливые уши. И плечи никудышные, поуже бедер; отложной воротник, дешевый пиджак, брюки мешковатые, обтрепанные над

каблуками. Вот таким он передо мной и предстал. Я спокойно поднимался по лестнице. Свечки я не нес: свечи стояли там, на столике на лестничной площадке, да и лампа горела, - и на ногах у меня были комнатные туфли. Поднявшись наверх, я сразу его заметил. Остановился как вкопанный и принялся его разглядывать. И, представьте, ничуть не испугался. Наверное, в таких случаях вообще никогда не бывает так страшно, как люди воображают. Удивился, конечно, и заинтересовался очень. "Господи ты боже мой, - думаю, - привидение! Наконец-то!" А ведь я вот уж двадцать пять лет как и на секунду не допускал существования привидений.

- Гм, - сказал Уиш.

- Но через минуту он, вероятно, почувствовал мое присутствие на площадке. Он резко повернул голову, и я увидел профиль незрелого юнца, маленький нос, усы щеточкой, слабо очерченный подбородок. Так мы с ним стояли - он смотрел на меня через плечо - и разглядывали друг друга. Потом он, видно, вспомнил свое высокое призвание. Повернулся, вытянулся, голова вперед, руки кверху, пальцы растопырил, как полагается привидению, и двинулся мне навстречу. При этом челюсть его отвисла, и он слабо, протяжно завыл: "Бу-у-у-у!" Нет, это было совсем не страшно. Я только что пообедал. Выпил бутылку шампанского и от одиночества прихватил еще две или три, нет, наверное, четыре или даже пять порций виски. Так что я оставался тверд, как скала, и испугался его не больше, чем если бы на меня стала наступать лягушка. "Бу, - говорю, - какая чепуха! Вы не принадлежите к этому клубу. Что же вы здесь делаете?"

Вижу, он вздрогнул. И снова за свое: "Бу-у-у! Бу-у!" "Вот еще! Разве вы состоите членом клуба? - говорю, и, чтобы показать ему, что он в моих глазах ничто, я прямо шагнул наискось сквозь него и взял со стола свечу. - Вы член клуба?" - снова спрашиваю, глядя на него сбоку.

Он чуть посторонился, чтобы я не занимал его места, и вид у него был при этом угнетенный.

"Нет, - сказал он в ответ на мой вопрошающий взгляд, - я не член этого клуба. Я призрак".

"Это еще не дает вам права доступа в клуб "Сирена". Вы кого-нибудь желаете здесь увидеть?"

Спокойно, не торопясь, чтобы нетвердость моей руки, вызванную вином, он не принял за проявление испуга, я зажег свечу. И повернулся к нему, держа огонь перед собою.

"Что вы здесь делаете?" - спросил я.

Он опустил руки, перестал выть и стоял, смущенный и неловкий, призрак бесхарактерного, глупого юнца.

"Я явился на землю", - говорит.

"Сюда вам совершенно незачем было являться", - сказал ему я твердым голосом.

"Но ведь я привидение", - возразил он в свое оправдание.

"Очень возможно, - говорю, - но сюда вам совершенно незачем являться. Здесь солидный частный клуб; приезжие останавливаются здесь с детьми, с няньками, а вы бродите здесь так неосмотрительно. Какая-нибудь малышка легко может набрести на вас и насмерть перепугаться. Об этом вы, конечно, не подумали?"

"Нет, сэр, - ответил он, - не подумал".

"А не мешало бы. У вас ведь нет никаких особых притязаний именно на этот дом? Вы не были здесь убиты, надеюсь?"

"Нет, сэр, никаких особых притязаний; просто я подумал; раз он такой старый и дубовые панели по стенам..."

"Это вас не извиняет. - Я поглядел на него строго. - Ваше появление здесь было ошибкой, - сказал я снисходительно. Потом я сделал вид, будто ищу спичку по карманам. А потом снова посмотрел на него и сказал напрямик: - На вашем месте я не стал бы дожидаться петухов. Я исчез бы немедленно".

"Дело в том, сэр..." - начал он растерянно.

"Исчез бы", - повторил я для пущей ясности.

"Все дело в том, сэр, что... я... у меня не получается".

"Не получается?"

"Нет, сэр. Вероятно, я что-то забыл. Я здесь со вчерашней полуночи прячусь по закоулкам, по комнатам, в пустых номерах. Сам не знаю, что со мной. Я никогда раньше не являлся и с непривычки чувствую себя совсем сбитым с толку".

"Сбитым с толку?"

"Да, сэр. Я пробовал несколько раз, но у меня ничего не выходит. Верно, я упускаю какую-то мелочь, но из-за этого я не могу вернуться назад".

Я, знаете ли, просто пришел в замешательство. А он глядел на меня так уныло, что я, хоть убейте, не мог продолжать с ним разговор в прежнем высокомерном, назидательном тоне.

"Вот странно, - говорю, и тут мне почудилось, что внизу кто-то ходит. - Идемте в мою комнату, - сказал я ему, - и там вы мне все расскажете подробнее. Я ничего не понял".

И я хотел было взять его под руку. Но, разумеется, это было все равно, что хвататься за дым.

Номер своей комнаты я, видно, позабыл, потому что мы с ним заглядывали в одну дверь за другой - хорошо еще, что я был один на всем этаже, - пока наконец я не признал мои пожитки.

"Ну вот, - сказал я и уселся в кресло, - присаживайтесь и расскажите мне все толком. Помоему, вы попали в крайне щекотливое положение, старина".

Ну, он сказал, что сидеть ему не хочется, лучше он полетает по комнате, если, конечно, я ничего не имею против. И стал летать взад-вперед, покуда мы вели с ним длинный и серьезный разговор. Очень скоро выпитое виски начало испаряться из моей головы, и мне вполне ясно представилось, в какую дьявольски дикую и невероятную переделку я попал. Я сижу, а у меня перед глазами, по моей чистой, уютной спальне с ситцевыми старинными занавесями в цветочек, летает взад-вперед настоящее, классическое привидение, полупрозрачное, бесшумное, только чуть слышно звучит его слабый голос. Сквозь его силуэт виден блеск начищенных медных подсвечников, блики огня на каминной решетке и рамки развешанных по стене гравюр, а он рассказывает мне о своей нескладной, злополучной жизни на этом свете, совсем недавно оборвавшейся.

Лицо у него было не то чтоб очень честное, но поскольку уж его видно было всего насквозь, иначе как правду он, конечно, говорить не мог.

- Как это? - спросил Уиш, вдруг выпрямившись в кресле.

- Что? - не понял Клейтон.

- Как это - поскольку его было видно насквозь, он мог говорить только правду? Я не понимаю.

- Я тоже, - ответил Клейтон с неподражаемой серьезностью. - Но тем не менее это так, могу вас уверить. Знаю только, что он ни разу ни на йоту не отступил от святой истины. Рассказывал он мне, как погиб: спустился с зажженной свечой в подвал посмотреть, где протекает газ... А работал он, когда обнаружилась эта утечка, как он мне объяснил, учителем английского языка в одной лондонской закрытой школе.

- Бедняга, - сказал я.

- И я так подумал, и чем больше он рассказывал, тем больше укреплялся в этой мысли. Существование его было бессмысленно и при жизни и после смерти тоже. Об отце, о матери и о своем школьном учителе - обо всех своих близких он говорил с озлоблением. Он был слишком обидчив, нервозен, считал, что никто его не ценил по-настоящему и не понимал. Кажется, у него за всю жизнь не было ни одного близкого человека, и никогда ни в чем он не добился успеха. От спорта уваливал, на экзаменах проваливался. "С некоторыми вот так бывает, - объяснил он мне. - Как только я входил, например, в экзаменационный кабинет, все сразу вылетало из головы". И, разумеется, был помолвлен - с такой же слабохарактерной особой, как он сам, надо полагать, - когда случилась эта досадная оплошность с газом, положившая конец всем его земным делам. "Ну и где же вы теперь? - спросил я его. - Не в..."

Но на эту тему он изъяснялся как-то туманно. Я понял его так, что он находился в некоем неопределенном, промежуточном состоянии, в каком-то особом резерве для душ, слишком

ничтожных для таких определенных вещей, как грех или добродетель. В общем, не знаю. Он был слишком неразвит и занят собой, чтобы я мог из его рассказа составить себе ясное представление о том месте, о той области, что лежит по Ту Сторону Добра и Зла. Но где бы он ни обретался, он, видимо, попал в общество себе подобных призраков - таких же малодушных юнцов из лондонского простонародья, которые все были между собой на дружеской ноге, и у них там, вероятно, без конца велись разговоры о том, кто и когда выходил являться, и о прочих подобных делах. Да, так он и говорил: "Выходил являться"! У них это там почитается величайшей доблестью, и большинство из них так никогда и не отваживается на такое предприятие. Ну, подзудили его, знаете, он и явился.

- Удивительно! - воскликнул Уиш, глядя в камин.

- Так, во всяком случае, я его понял, - скромно пояснил Клейтон. - Может быть, конечно, я не в состоянии был совершенно трезво отнестись к его рассказу, но именно такой он изобразил мне среду, в которой вращался. И он все летал по комнате и говорил, говорил своим слабым, глухим голоском - все о себе, о своей злополучной персоне, и ни разу от начала и до конца не произнес ни единого твердого суждения. Он был еще тщедушнее и бестолковее, еще никчемнее, чем если бы он стоял там живой. Но только тогда бы он, как вы понимаете, не стоял в моей спальне - то есть будь живой, я хочу сказать. Я бы вышвырнул его вон.

- Разумеется, - сказал Эванс, - есть такие жалкие существа на свете.

- И у них точно так же, как и у нас, могут быть свои призраки, - согласился я.

- Одно только можно сказать о нем определенно: он начал в какой-то мере осознавать собственное ничтожество. Неразбериха, в которую он попал с этим "появлением", страшно его подкосила.

Ему было сказано, что он "повеселится в свое удовольствие", он и вышел "повеселиться" - и вот, нате вам, ничего не получилось, только еще одна неудача на его счету! Он сказал, что считает себя полным, безнадежным неудачником. Он говорил - и я охотно этому верю, - что за что бы он в жизни ни брался, у него никогда ничего не выходило и не будет выходить впредь до скончания веков.

Вот если бы он встретил у кого-нибудь сочувствие, тогда... При этом он замолчал и посмотрел на меня. Потом сказал, что мне это, вероятно, покажется странным, но ни от кого никогда не видел он такого сочувствия, как сейчас от меня. Я сразу понял, к чему он клонит, и решил немедленно его осадить. Может быть, конечно, я бессердечный негодяй, но, знаете ли, быть Единственным Другом и Наперсником такого эгоцентричного ничтожества, призрачного или во плоти, все равно, - это выше моих сил. Я быстро встал.

"Не убивайтесь-вы из-за этого, - говорю ему. - Вам нужно подумать о другом: как выпутаться из этой истории, да поживей. Возьмите себя в руки и постарайтесь". "Не получается", - говорит он. "А вы попробуйте".

Ну, он и стал пробовать.

- Пробовать? Что именно? - спросил Сэндерсон.

- Пассы, - ответил Клейтон.

- Пассы?

- Да, сложный ряд жестов и пассов, движений руками. Таким путем он явился сюда и так же должен уйти назад. Господи! Ну и намучился же я!

- Но как можно какими-то жестами?... - начал я.

- Дорогой мой, - с особым ударением сказал Клейтон, поворачиваясь ко мне, - вам подавай ясность во всем. Как можно, я не знаю. Знаю только, что так это делается, то есть он, во всяком случае, так делал. Он ужасно долго бился, но потом наладил свои пассы и внезапно исчез.

- И вы, - медленно сказал Сэндерсон, - видели эти пассы?

- Да, - ответил Клейтон и задумался. - Очень это было странно, - продолжал он. - Только что мы с ним стояли здесь, я и этот тощий, смутный дух, в этой тихой комнате, в этой тихой, безлюдной гостинице, в этом тихом городке, безмолвной ночью. Ни звука нигде, кроме наших голосов и его тяжелого дыхания, когда он махал руками. Одна свеча горела на камине, а



другая - на ночном столике, только всего света и было, и по временам либо та, либо эта вдруг вспыхивала высоким, узким, дрожащим пламенем... И странные происходили вещи...

"Не выходит, - сказал он. - Я теперь никогда..." И сел вдруг на маленький пуфик у постели и зарыдал, зарыдал... Господи! Какой он был жалкий, какой несчастный! "Ну, ну, не расстраивайтесь", - сказал я ему и хотел было похлопать его по спине, но, будь я проклят, рука моя прошла сквозь него! Понимаете, к этому времени я уже был не таким несокрушимо спокойным, как сначала, на лестнице. Я уже полностью ощутил всю нелепость происходящего. Помню, я отдернул руку чуть не с оторопью и отошел к ночному столику. "Соберитесь с силами, - сказал я ему, - и попробуйте еще раз".

И для того, чтобы подбодрить его и помочь, я тоже стал пробовать вместе с ним.

- Что? - сказал Сэндерсон. - Вы стали делать пассы?

- Да, пассы.

- Но ведь... - начал я, взволнованный мыслью, которую сам еще не мог толком выразить.

- Это интересно, - перебил меня Сэндерсон, уминая пальцем табак в трубке. - Так вы говорите, что этот дух ваш открыл вам...

- Из всех сил старался открыть свой секрет, безусловно.

- Да нет, - возразил Уиш. - Он не мог. Иначе бы и вы за ним последовали.

- Вот именно! - подхватил я, обрадованный тем, что он сформулировал за меня мою мысль.

- Именно, - повторил Клейтон, задумчиво глядя на огонь.

Некоторое время мы все молчали.

- Но в конце концов у него все-таки вышло? - спросил Сэндерсон.

- В конце концов вышло. Я заставил его потрудиться как следует, но потом у него получилось, и довольно неожиданно. Он уже совсем отчаялся, мы с ним повздорили, а потом он вдруг встал и попросил меня проделать все это медленно, чтобы он мог видеть. "Мне кажется, - он сказал, - что если бы я мог увидеть со стороны, я бы сразу заметил, в чем ошибка". И так и было. "Знаю!" - вдруг сказал он. "Что вы знаете?" - спрашиваю. Но он только повторил: "Знаю. Знаю". А потом говорит мне таким раздраженным тоном: "Если вы будете смотреть, я не могу этого сделать, просто не могу - и все. С самого начала в этом и было дело отчасти. Я человек нервный, вы меня смущаете". Ну, тут мы немного поспорили. Естественно, мне хотелось посмотреть, но он был упрям, как мул, и я вдруг уступил: я устал, как собака, он меня страшно утомил. "Ладно, - говорю, - не буду я на вас глядеть". А сам отвернулся к зеркальному шкафу возле кровати. Он стал делать все сначала в очень быстром темпе. Я наблюдал за ним в зеркале, мне хотелось увидеть, в чем у нас была заминка.

Руки у него пошли колесом, ладони поворачивались - так и так и вот этак, и вот уже последнее движение: когда стоишь прямо, руки разводишь и запрокидываешь голову. И вот, понимаете, вижу, он уже так стоит. И потом вдруг нет его! Не стоит больше! Исчез. Отворачиваюсь от зеркала - пусто! Я один, только свечи вспыхивают, и в голове сумбур. Что это было? Да и было ли что-нибудь? Может, мне приснилось?... И в это самое мгновение, словно ставя нелепую точку и возвещая конец, часы на лестнице сочли уместным пробить один раз. Вот так: "Бомм!" Я был трезв, как судья. Мысли были ясные. Мое шампанское и виски испарились в глубине Вселенной. И я чувствовал себя чертовски странно, признаюсь, чертовски странно. Как-то чудно! Бог мой!

Некоторое время он молча разглядывал пепельный кончик своей сигары.

- Вот и все, что со мной произошло, - произнес он наконец.

- И тогда вы легли спать? - спросил Эванс.

- А что же еще мне было делать?

Мы переглянулись с Уишем. Нам хотелось позубоскалить, но было что-то такое, что-то необычное в голосе и в манерах Клейтона, не дававшее нам шутить.

- А как же насчет этих пассов? - спросил Сэндерсон.

- Да я, наверное, мог бы вам их показать.

- О! - произнес Сэндерсон и, вытащив перочинный ножик, принялся выковыривать нагар из своей глиняной трубки.

- Почему бы вам не проделать их прямо сейчас? - спросил он, закрывая ножичек.

- Я и собираюсь, - ответил Клейтон.

- Они не действуют, - сказал Эванс.

- А если действуют... - возразил я.

- Знаете, по-моему, лучше не надо, - сказал Уиш, вытягивая ноги.

- Почему? - удивился Эванс.

- Лучше не надо, - повторил Уиш.

- Да ведь он даже не знает, как их нужно правильно делать, - сказал Сэндерсон, набивая в трубку слишком много табаку.

- Все равно, по-моему, лучше не надо, - сказал Уиш.

Мы заспорили с Уишем. Он утверждал, что со стороны Клейтона это будет похоже на издевательство над серьезными вещами.

- Но ведь вы же не верите?.. - спросил я.

Уиш бросил взгляд на Клейтона, который, глубоко задумавшись, глядел в огонь.

- Верю... во всяком случае, больше, чем наполовину, - ответил Уиш.

- Клейтон, - сказал я, - вы для нас чересчур умелый враль. Все бы вообще ничего. Но это исчезновение... оно, знаете ли, было уж слишком убедительно. Признайтесь теперь, что все это вы сочинили.

Он встал, не отвечая, вышел на середину комнаты и повернулся лицом в мою сторону. Минуту он сосредоточенно разглядывал носы своих ботинок, а потом перевел напряженный взгляд на противоположную стену и так и замер. Затем медленно поднял ладони на уровень своих глаз и начал...

Дело в том, что Сэндерсон у нас масон, член ложи Четырех Королей, которая с таким успехом занимается исследованием и разоблачением всех бывших и настоящих масонских тайн, и среди ученых этой ложи Сэндерсон занимает отнюдь не последнее место. Он следил за движениями Клейтона с выражением живого интереса в своем красноватом глазу.

- Неплохо, - сказал он, когда все было кончено. - Вы знаете, Клейтон, вы действительно проделали все это на удивление правильно. В одном месте только упустили одну деталь.

- Знаю, - ответил Клейтон. - Я даже, наверное, смог бы показать вам, в каком именно.

- В каком же?

- Вот. - И Клейтон странным образом изогнул и вывернул руки, выставив вперед ладони.

- Да.

- Вот это-то как раз у него и не получалось, - пояснил Клейтон. - Но вы-то откуда?..

- Во всей вашей истории мне многое непонятно, в особенности, как вы могли это сочинить, - сказал Сэндерсон. - Но вот с этой стороной я как раз знаком. - Он подумал немного, а потом продолжал: - Эти пассы... связаны с определенным мистическим течением внутри масонства... Вам, наверное, известно... а иначе откуда бы вы?.. - Он подумал еще немного. - По-моему, не будет вреда, если я покажу вам правильный поворот ладоней. В конце концов, раз вы знаете, так знаете, а не знаете, так не знаете.

- Я не знаю ничего, - сказал Клейтон, - кроме того, что открыл мне этот бедняга минувшей ночью.

- Ну, все равно, - произнес Сэндерсон, с величайшей осторожностью положил на каминную доску свою глиняную трубку и проделал какое-то быстрое движение кистями рук.

- Вот так? - спросил Клейтон, повторяя движение за ним.

- Так, - ответил Сэндерсон и снова взял свою трубку.

- Ну, а теперь, - сказал Клейтон, - я могу проделать все правильно от начала до конца.

Он стоял перед прогоревшим камином и, улыбаясь, обвел нас взглядом. Но, по-моему, в его улыбке сквозила тень нерешительности.

- Если я сейчас начну... - проговорил он.

- По-моему, лучше не начинать, - сказал Уиш.

- Что вы! - возразил Эванс. - Материя не уничтожается. Неужели вы думаете, что все эти фокусы-покусы могут перенести Клейтона в мир теней? Ну уж нет! Что до меня, Клейтон, то можете упражняться сколько вам будет угодно, пока руки не отвалятся.

- Я не согласен, - сказал Уиш, вставая, и обнял Клейтона за плечи. - Вы заставили меня наполовину поверить этому вашему рассказу, и я не хочу видеть, как все это будет на деле.

- Бог ты мой! - удивился я. - Уиш-то испугался.

- Да, - сказал Уиш с истинным или восхитительно наигранным чувством. - Я верю, что если он проделает все, как надо, его не станет.

- Да что вы! - воскликнул я. - Для смертных есть только один путь из этого мира, и Клейтона отделяет от него по меньшей мере тридцать лет. Да к тому же... Такое жалкое привидение! Неужели вы думаете?..

Но Уиш, не дав ему договорить, раздвинул наши кресла и подошел к столу.

- Клейтон, - сказал он, - вы глупец.

Клейтон, оживившись, улыбнулся ему в ответ.

- Уиш прав, - сказал он, - а вы все неправы. Я исчезну. Я проделаю все пассы до конца, и когда я последним взмахом рук разрежу воздух - р-раз! - на этом коврике уже не будет никого, в комнате воцарится некое изумление, а почтенный джентльмен пяти пудов весом окажется перенесенным в мир теней. Я убежден в этом. И вы тоже убедитесь. Не желаю больше спорить. Давайте испытаем на деле.

- Нет! - Уиш сделал было шаг вперед, но остановился, и Клейтон, подняв руки, приготовился еще раз проделать пассы бедного духа.

К этому времени все мы были уже сильно взвинчены, главным образом из-за непонятного поведения Уиша. Мы не сводили глаз с Клейтона, и у меня по крайней мере при этом в спине было такое ощущение, будто я весь, от затылка до копчика, превратился в стальную пружину. А Клейтон с полной серьезностью, с какой-то уже высшей невозмутимостью качался и кланялся, выворачивая ладони, и крутил руками. И по мере того, как он приближался к концу, это становилось невозможно переносить, даже в зубах начался какой-то зуд. Последнее движение, как я уже говорил, состояло в том, что руки разводились в стороны и голова запрокидывалась вверх. И когда он, размахивая руками, дошел до этого последнего пасса, у меня перехватило дыхание. Глупо, конечно, но знаете это чувство, которое испытываешь, слушая рассказы о привидениях? Дело было вечером, после ужина, в старом, темном, таинственном доме. А что, если все-таки...

Долго, невыносимо долго он стоял так, раскинув руки и подняв спокойное лицо к ясному, прозаическому свету люстры. Мы замерли, казалось, на целую вечность, а затем с наших губ сорвался не то вздох облегчения, не то разочарованный возглас: "Нет!" Ибо мы увидели, что он не исчезает. Все это был вздор. Он рассказал нам досужую побасенку и едва не заставил нас в нее поверить, только и всего!.. Но в это мгновение лицо Клейтона изменилось.

Оно изменилось, как меняется фасад дома, в котором вдруг гаснут огни. Глаза его остановились, улыбка на губах застыла, а он все стоял на месте. Стоял и легонько покачивался.

Это мгновение тоже было как вечность. Но потом задвигались стулья, все попадало, мы бросились к нему... Его колени подогнулись, и он рухнул вперед, прямо в объятия к подскочившему Эвансу.

Мы все оторопели. Сначала никто не мог вымолвить ни слова. Мы и верили и все-таки никак не могли поверить... Очнувшись от тупого оцепенения, я обнаружил, что стою на коленях возле Клейтона, рубашка на груди у него разодрана, и рука Сэндерсона лежит прямо на сердце...

Ну, вот и все. То, что было перед нами, уже не требовало спешки: можно было подождать, пока происшедшее не будет осознано нами до конца. Он пролежал так целый час - он и по сей день лежит на моей памяти черным грузом недоумения. Клейтон и в самом деле перешел в иной мир, столь близкий и столь далекий от нашего, единственным путем,

который доступен смертным. Но перенесся ли он туда с помощью чар бедного духа или же его поразила апоплексический удар в середине веселого рассказа, как убеждало нас судебное следствие, не мне судить. Это одна из тех необъяснимых загадок, коим надлежит оставаться неразрешенными, пока не придет окончательное разрешение всего. Я знаю только одно: что в ту минуту, в то самое мгновение, когда он завершил свои пассы, он вдруг изменился в лице, покачнулся и упал у нас на глазах - мертвый!

## **Искушение Хэррингея**

Пер. - М.Колпакчи.

Невозможно установить, действительно ли все это произошло. Я знаю эту историю только со слов художника Р.М.Хэррингея.

По его версии, события развивались так: около десяти часов утра он зашел к себе в мастерскую закончить портрет, над которым работал накануне. Это была голова итальянца-шарманщика, и Хэррингей намеревался, хотя еще не решил окончательно, назвать эту картину "Молитвенный экстаз". Все это не вызывает сомнений, и в его словах звучит безыскусственная правда. Увидя шарманщика, который ждал, что ему бросят из окон монетки, Хэррингей с живостью, присущей талантливым людям, зазвал итальянца к себе в мастерскую.

- Становись на колени! - скомандовал Хэррингей. - Смотри вверх, на эту люстру, как будто ждешь, что оттуда посыплются деньги. И перестань скалить зубы! - продолжал он. - Меня не интересуют твои десны. Старайся выглядеть несчастным.

Теперь, когда прошла ночь, картина показалась ему совершенно неудавшейся.

- Вообще-то неплохо, - сказал себе Хэррингей. - Шея удачно выписана. А все-таки...

Он походил по мастерской, глядя на полотно то с одной, то с другой стороны. Затем выругался... В своем рассказе он не опускал подробностей.

- Картинка, и больше ничего, - пробормотал он. - Портрет какого-то шарманщика. Но живого шарманщика тут нет, как ни жаль. Не умею я почему-то писать живых людей. Неужели творческое воображение мне изменяет?

И это правда. Творческое воображение действительно ему изменяло.

- Эх, сюда бы кисть истинного мастера! Берешь полотно, краску и создаешь человека, как Адам был создан из красной глины. Ну, а это подобие лица! Да попадись вам оно на улице, вы сказали бы: его делали где-то в мастерской! Любой мальчишка крикнул бы: "Катись восвояси, чего вылез из рамы?" А между тем легонький мазок... Нет, так это оставить нельзя.

Хэррингей подошел к окну и стал спускать штору. Она была из голубого полотна и наматывалась на валик под окном: для того, чтобы лучше осветить мастерскую, ее надо было потянуть вниз. Взяв со стола палитру, кисти и муштабель, Хэррингей вернулся к картине, тронул коричневой краской уголок рта, а затем сосредоточил свое внимание на зрачках. Немного погодя он решил, что для человека, застывшего в напряженном ожидании, подбородок чересчур бесстрастен.

Наконец он отложил кисти в сторону, закурил трубку и стал критически всматриваться, проверяя, насколько продвинулась работа.

- Черт меня побери, да ведь он усмехается! - вскричал Хэррингей; и он до сих пор убежден, что портрет усмехнулся.

Лицо на портрете стало, бесспорно, гораздо живее, но, увы, выражало оно вовсе не то, чего желал художник. Да. Лицо усмехалось, тут не могло быть сомнений.

- "Молитва безбожника", - решил Хэррингей. - Этак будет и тонко и хитро. Но в таком случае левая бровь недостаточно саркастична.

Он подошел ближе, положил легкий мазок на левую бровь, а заодно сделал рельефнее ушную раковину, чтобы придать образу большую жизненность.

Потом снова стал рассуждать.

- Боюсь, что выражение молитвенного экстаза уже не вернуть, - сказал он себе. - Почему бы не назвать его "Мефистофелем"? Нет, это слишком затасканно. "Друг венецианского дожа" - вот это свежее. Впрочем, ему не пойдет кольчуга, это будет слишком напоминать наш легендарный Камелот [резиденция легендарного английского короля Артура]. А что, если облечь его в пурпуровую мантию и окрестить "Член священной коллегии"? Это покажет и юмор автора и его знакомство с историей Италии в средние века. Вот и у Бенвенуто Челлини, - продолжал Хэррингей, - есть портреты, где в одном из углов чуть светится золотая чаша, - очень остроумно! Но чтобы оттенить цвет лица моего итальянца, надо придумать что-то другое.

Хэррингей рассказывал, что он нарочно болтал сам с собой, чтобы заглушить безотчетное и мучительное ощущение страха. Лицо перед ним приобретало, как ни смотреть, все более отталкивающее выражение. И все-таки в нем чувствовалось и жило нечто из плоти и крови, пусть зловещее, но более живое, чем все, что когда-либо выходило из-под его кисти.

- Назову-ка я его "Портрет джентльмена", - сказал Хэррингей. - Просто "Портрет одного джентльмена".

- Не годится, - пробормотал он, все еще стараясь не падать духом. - Получилось именно то, что у нас принято называть "дурным вкусом". Раньше всего надо убрать усмешку. Если ее уничтожить и блеск в глазах сделать ярче (почему-то я раньше не замечал, какой у него жгучий взгляд), тогда он сможет сойти за... хотя бы за "Страдальца пилигрима". Но только по эту сторону Ла-Манша такое дьявольское лицо успеха иметь не будет.

- В чем-то я погрешил, - заключил он. - Может быть, брови слишком раскосы. - И, опустив шторм еще ниже, он снова схватил палитру и кисти.

Лицо на портрете, по-видимому, жило собственной жизнью. Хэррингей не мог доискаться, откуда же в нем такое дьявольское выражение. Это надо было проверить. Брови... Вряд ли причина была в бровях, но на всякий случай он их переделал. Лучше от этого портрет не стал, скорее наоборот, лицо сделалось еще более сатанинским. Углы рта?.. Уф! Саркастическая усмешка превратилась в угрожающе свирепую. Ну что ж, тогда, может быть, этот глаз? Беда, да и только! Хотя художник был уверен, что ткнул кисть не в киноварь, а именно в коричневую краску, он все-таки попал в киноварь. Теперь глаз, казалось, повернулся в орбите и засверкал злобным огнем. Тогда в порыве гнева, смешанного, быть может, с храбростью отчаяния, Хэррингей набрал на кисть ярко-красной краски и ударил ею по портрету. И тут случилось нечто очень любопытное и странное, если только это правда.

Этот сатанинский итальянец на портрете закрыл глаза, плотно сжал губы и рукой стер краску с лица.

Затем красный глаз снова открылся с легким звуком, напоминающим чмоканье, и на лице появилась улыбка.

- Какой же вы вспыльчивый! - произнес Портрет.

Хэррингей утверждает, что теперь, когда произошло худшее, к нему вернулось самообладание. Его спасла уверенность, что черти - существа разумные.

- А вы чего все время дергаетесь, гримасничаете и усмехаетесь, пока я вас пишу? - воскликнул он.

- Ничего подобного не было! - ответил Портрет.

- Нет, было, - возразил художник.

- Не выдумывайте, все это делали вы сами! - сказал Портрет.

- Нет, не я!



- Именно вы! - воскликнул Портрет. - И не вздумайте снова заляпать меня краской, потому что я говорю чистую правду. Все утро вы старались придать моему лицу какое-то дурацкое выражение. А между тем вы сами не знаете, какой должна быть ваша картина.

- Прекрасно знаю, - проворчал Хэррингей.

- Нет, не знаете, - повторил Портрет. - Вы никогда не ставите перед собой ясной цели. Каждую работу вы начинаете с самыми смутными намерениями, наобум. Вы уверены только в одном - что создадите нечто прекрасное, возвышенное, может быть, даже трагическое, но при этом полагаетесь на удачу, на счастливый случай. Милый мой, неужели вы думаете, что таким путем можно создать шедевр?

Не следует забывать, что обо всех этих событиях мы внаем только со слов Хэррингея.

- Я буду писать свои картины так, как считаю нужным, - спокойно заявил он.

Эти слова слегка озадачили Портрет.

- Нельзя написать картину без вдохновения, - возразил он.

- Что ж, я вас и писал с вдохновением!

- С вдохновением! - насмешливо процедил Портрет. - Да вам просто взбрело в голову написать картину, когда вы увидели, как шарманщик смотрит на ваши окна! "Молитвенный экстаз"! Ха-ха! На авось вы начали малевать, вот как дело было. И когда я увидел, что вы тут натворили, я и пришел. Решил с вами поговорить.

- Искусство, - продолжал Портрет, - в ваших руках довольно жалкое занятие. Работаете вы вяло. Не знаю почему, но чувствуется, что без души, и, кроме того, вы слишком много знаете. Это вам мешает. В разгаре работы вы спрашиваете себя, не была ли уже раньше написана похожая картина, и...

- Послушайте, - прервал его Хэррингей, ожидавший от дьявола чего-то более увлекательного, чем критические мысли об искусстве. - Вы что, читать мне лекцию собираетесь?

И он набрал на свою кисть из свиной щетины (номер двенадцатый) красной краски.

- Истинный художник, - заявил Портрет, - всегда невежествен. А тот, кто начинает теоретизировать, из художника превращается в критика. Вагнер... Послушайте, для чего вам эта красная краска?

- Я сейчас вас закрасю! - сказал Хэррингей. - Не желаю слушать всякую ерунду. Если вы воображаете, будто я только потому, что профессиональный художник, стану спорить с вами о сущности искусства, вы изволите ошибаться.

- Подождите минуточку! - сказал Портрет с тревогой. - Я хочу сделать вам одно предложение, вполне деловое предложение. Мои слова - сущая правда. Вам не хватает вдохновения. Что ж, я вам помогу. Вы, конечно, слышали о легендах про Кельнский собор и Чертов мост...

- Чепуха! - воскликнул Хэррингей. - Неужели вы воображаете, что я загублю душу ради удовольствия написать хорошую картину, которую все равно потом разругают? Вот вам за это!

Кровь стучала у него в висках. Опасность, по его словам, раззадоривала и придавала мужества. Набрав на кисть красной краски, он залепил ею рот своему созданию. Итальянец в негодовании начал стирать краску и плевать. И тут, как рассказывал Хэррингей, начался удивительный поединок. Художник замазывал полотно красной краской, а Портрет корчился и старался ее стереть.

- Вы напишете два шедевра, - предложил искуситель. - Два гениальные картины за душу художника из Челси. Согласны?

Хэррингей ответил новым ударом кисти.

В течение нескольких минут было слышно только, как шлепала кисть, как плевался и бранился итальянец. Немало краски попало на руку, которой он защищался, но часто Хэррингей бил без промаха - прямо в лицо.

Но вот кончилась краска на палитре, и противники замерли, запыхавшись и пристально глядя друг другу в глаза. Итальянец был так перепачкан красным, будто вывалился в крови на бойне.

Он едва переводил дыхание и ежился: его щекотала краска, стекавшая ему за воротник. Но все же первый раунд окончился в его пользу, и он упорствовал.

- Подумайте хорошенько, - сказал он. - Два непревзойденных шедевра, и в разных стилях. Каждый не уступает фрескам в соборе, и...

- Придумал! - крикнул Хэррингей и ринулся вон из мастерской, по коридору, в комнату своей жены.

Через минуту он прибежал с малярной кистью и внушительной банкой эмалевой краски, на которой было написано: "Цвет воробьиного яйца".

При виде этого красноглазый искуситель завопил:

- Три шедевра! Непревзойденных! Небывалых!

Хэррингей размахнулся, сплеча хватил кистью наискось по полотну и, набрав еще краски, запечатал ею глаз демона. Послышалось бормотанье: "Четыре шедевра", - и Портрет стал отплевываться.

Но теперь Хэррингей был хозяином положения и не собирался сдаваться. Быстрые и решительные мазки один за другим ложились на трепещущее полотно, пока, наконец, оно не превратилось в однородную блестящую поверхность "цвета воробьиного яйца". На миг снова показался рот, но он успел только проговорить: "Пять шедев..." - и Хэррингей залил его краской. Потом вдруг сверкнул злобным негодованием красный глаз, но после этого уже ничто не нарушало однообразия быстро сохнувшей эмалевой глади. Правда, от легкого содрогания полотна краска продолжала еще кое-где пузыриться, но потом улеглась, и полотно замерло в неподвижности.

Тогда Хэррингей (так по крайней мере он рассказывал) сел, закурил трубку, устремил взгляд на покрытое эмалевой краской полотно и попытался разобраться в том, что случилось. Потом он обошел мольберт, чтобы посмотреть на обратную сторону полотна. И тут ему стало досадно, что он не сфотографировал дьявола, прежде чем похоронить его под эмалевой краской.

Таков рассказ Хэррингея, и я за него ответственности на себя не беру. Как вещественное доказательство он показал небольшое полотно, двадцать четыре дюйма на двадцать, сплошь покрытое светло-зеленой эмалевой краской, и добавил к этому свои клятвенные уверения. Кроме того, известно, что Хэррингей не создал ни одного шедевра и, по убеждению своих самых близких друзей, никогда ничего выдающегося не создаст.

## **В бездне**

Пер. - З.Бобырь.

Лейтенант стоял перед стальным шаром и жевал сосновую щепочку.

- Что вы думаете об этом, Стивенс? - спросил он.

- Это, пожалуй, идея, - протянул Стивенс далеко не уверенным тоном.

- По-моему, шар должен расплющиться в лепешку, - сказал лейтенант.

- Он, кажется, рассчитал все довольно точно, - произнес Стивенс все еще бесстрастно.

- Но подумайте об атмосферном давлении, - продолжал лейтенант. - На поверхности воды оно не слишком велико: четырнадцать футов на квадратный дюйм; на глубине тридцати футов - вдвое больше; на глубине шестидесяти - втрое; на глубине девяноста - вчетверо; на глубине девятисот - в сорок раз; на глубине пяти тысяч трехсот, то есть миль, это будет двести сорок раз по четырнадцати футов; значит - сейчас подсчитаем, - тридцать английских центнеров, или полторы тонны, Стивенс; полторы тонны на квадратный дюйм! А глубина океана здесь, где он хочет спускаться, пять миль. Это значит - семь с половиной тонн.

- Звучит страшно, - произнес Стивенс, - но это на диво толстая сталь.

Лейтенант не ответил и снова взялся за свою щепочку. Предметом их беседы был огромный стальной шар, около девяти футов в диаметре, похожий на ядро какой-нибудь

титанической пушки. Он был заботливо установлен в огромном гнезде, сделанном в корпусе корабля, а гигантские перекладки, по которым его должны были спустить за борт, возбуждали любопытство всех заправских моряков, каким довелось увидеть его между Лондонским портом и тропиком Козерога. В двух местах в стальной стенке шара, один под другим, были прорезаны круглые люки со стеклами чудовищной толщины, и одно из них, вставленное в прочную стальную раму, было завинчено не до конца. В то утро оба моряка впервые заглянули в шар. Он был весь выстлан внутри наполненными воздухом подушками, между которыми находились кнопки для управления несложным механизмом. Мягкой обивкой было покрыто все, даже аппарат Майерса, который должен был поглощать углекислоту и снабжать кислородом человека, когда он влезет через люк внутрь шара и люк будет завинчен. Внутренняя поверхность шара была обита столь тщательно, что им можно было бы выстрелить из пушки без малейшего риска для находящегося внутри человека. И эти предосторожности были необходимы, так как вскоре в него должен был влезть человек, и тогда люки накрепко завинтят, шар спустят за борт, и он начнет погружаться все глубже и глубже, на глубину пяти миль, как и сказал лейтенант. Эта мысль не давала ему покоя, за столом он только об этом и говорил и успел всем надоесть. Пользуясь тем, что Стивенс - новый человек на корабле, он снова и снова возвращался к этой теме.

- Мне кажется, - заявил лейтенант, - что это стекло попросту прогнется внутрь, выпятится и лопнет под таким давлением. Дабрэ добивался того, что под большим давлением горные породы становились текучими, как вода. И попомните мои слова...

- Если стекло лопнет, - спросил Стивенс, - что тогда?

- Вода ворвется в шар, как струя расплавленного железа. Приходилось ли вам когда-нибудь испытывать на себе действие водяной струи, которую подвергли большому давлению? Она бьет, как пуля. Она расплющит его. Она хлынет ему в горло и в легкие, ударит ему в уши...

- Какое у вас богатое воображение! - перебил его Стивенс, ярко представивший себе всю картину.

- Это просто описание того, что неизбежно должно произойти, - возразил лейтенант.

- Ну, а шар?

- Шар выпустит несколько пузырьков и преспокойно уляжется на веки вечные на илистом дне, и в нем будет бедный Эльстед, размазанный по своим лопнувшим подушкам, как масло по хлебу. - Он повторил эту фразу, словно она очень понравилась ему. - Как масло по хлебу.

- Любуетесь игрушкой? - раздался чей-то голос. Позади них стоял Эльстед, одетый с иголки, в белом костюме, с папиросой в зубах; глаза его улыбались из-под широкополой шляпы. - Что это вы там говорили насчет хлеба с маслом, Уэйбридж? Ворчите, как всегда, на слишком низкие оклады морских офицеров? Ну, теперь еще несколько часов, и я отправляюсь в путь. Сегодня нужно установить тали. Это чистое небо и легкая зыбь - как раз то, что нужно, чтобы сбросить за борт десяток тонн свинца и железа, не правда ли?

- Для вас это не так уж важно, - заметил Уэйбридж.

- Конечно. На глубине семидесяти - восьмидесяти футов, а я там буду секунд через десять, вода совершенно неподвижна, хотя бы наверху ветер охрип от воя и волны вздымались к облакам. Нет. Там, внизу...

Он двинулся к борту, и оба его собеседника последовали за ним. Все трое облокотились о поручни и стали пристально глядеть в желто-зеленую воду.

- ...покой, - закончил свою мысль Эльстед.

Через некоторое время Уэйбридж спросил:

- Вы абсолютно уверены, что часовой механизм будет исправно работать?

- Я его испытывал тридцать раз, - ответил Эльстед. - Он обязан исправно работать.

- Ну, а если не будет?

- Почему же не будет?

- А я, - сказал Уэйбридж, - не согласился бы спуститься в этой проклятой машине, дайте мне хоть двадцать тысяч фунтов.

- Вы, я вижу, шутник, - проговорил Эльстед и невозмутимо плюнул за борт.

- Мне еще не совсем ясно, как вы будете управлять этой штукой, - сказал Стивенс.

- Первым делом я влезу в шар, и люк завинтят, - ответил Эльстед. - И когда я трижды включу и выключу свет, чтобы показать, что все в порядке, меня поднимут над кормой вот этим краном. Под шаром, как видите, Находятся большие свинцовые грузила, и на верхнем - вал, на нем намотано шестьсот футов прочного каната; это все, чем грузила соединяются с шаром, если не считать талей, которые будут перерезаны, когда шар спустят. Мы предпочли канат проволочному кабелю, так как его легче обрезать и он лучше всплывает, а это весьма важно, как вы увидите. В каждом из этих свинцовых грузил есть отверстие, и сквозь него пропущена железная штанга, выступающая с обеих сторон на шесть футов. Если по этой штанге ударить снизу, она толкнет рычаг и приведет в движение часовой механизм рядом с валом, на который намотан канат. Очень хорошо. Вся эта штука медленно спущена на воду, и тали перерезаны. Шар плывет, потому что он наполнен воздухом и, следовательно, легче воды, но свинцовые грузила падают прямо вниз, и канат разматывается. Когда он весь разматается, шар тоже начнет погружаться, притягиваемый канатом.

- Но зачем нужен канат? - спросил Стивенс. - Почему не прикрепить грузила прямо к шару?

- Чтобы он не разбился там, внизу. Ведь он будет опускаться все быстрее и наконец достигнет ужасающей скорости. Не будь каната, он разлетелся бы вдребезги, ударившись о дно. Но грузила упадут на дно первыми, и тотчас же скажется плавучесть шара. Он будет погружаться все медленней, потом остановится, а затем снова начнет всплывать. Тогда-то и заработает часовой механизм. Как только грузила стукнутся о дно океана, штанга получит толчок снизу и пустит в ход часовой механизм, и канат начнет снова наматываться на вал. Меня притянет к морскому дну. Там я пробуду с полчаса; электрический свет будет включен, и я смогу производить наблюдения. Потом часовой механизм освободит нож с пружиной, канат будет перерезан, и я стремительно всплыву вверх, как пузырек газа в содовой воде. Сам канат поможет мне всплыть.

- А что, если вы ударитесь при этом о какой-нибудь корабль? - спросил Уэйбридж.

- Я буду подниматься с такой скоростью, что пронесусь сквозь него, как пушечное ядро, - ответил Эльстед. - Об этом не беспокойтесь.

- А предположим, какое-нибудь проворное ракообразное животное заберется в ваш часовой механизм?..

- Это будет для меня настоящим приглашением остаться там подольше, - сказал Эльстед, повернувшись спиной к воде и глядя на шар.

Эльстеда опустили за борт около одиннадцати часов. День был безмятежно тихий и ясный, горизонт тонул в дымке. Электрический свет в верхнем люке весело мигнул три раза. Тогда шар начали медленно спускать на воду, и один из матросов, вися на кормовых цепях, приготовился перерезать канат, связывавший свинцовые грузила с шаром. Шар, казавшийся на палубе таким большим, под кормой выглядел совсем крохотным. Он слегка покачивался, и два его темных люка, приходившихся сверху, были совсем как глаза, в изумлении обращенные на людей, столпившихся у поручней.

- Интересно знать, нравится ли Эльстеду качка? - сказал кто-то.

- Готово? - спросил нараспев капитан.

- Готово, сэр.

- Так пускай!

Тали мгновенно были перерезаны, и большая волна перекатилась через шар, сразу ставший до смешного беспомощным. Кто-то махнул платком, кто-то неуверенно прокричал "Браво!", какой-то мичман медленно считал: "Восемь, девять, десять!" Шар качнулся еще раз, потом он дернулся, подняв фонтан брызг, и выровнялся.

Секунду он казался неподвижным, потом быстро уменьшился, затем вода сомкнулась над ним, и он стал смутно виден сквозь нее, увеличенный преломлением лучей. Прежде чем

успели сосчитать до трех, он исчез из виду. Где-то далеко внизу, в воде, мелькнул белый огонек, превратился в искру и погас. И осталась только чернеющая водяная глубь, откуда всплывала акула.

Внезапно винт крейсера заработал, вода заволновалась, акула исчезла в зыби, и поток пены хлынул по хрустальной глади, поглотившей Эльстеда.

- В чем дело? - спросил один матрос другого.

- Отходим на несколько миль, чтобы он не стукнул нас, когда выскочит, - ответил второй матрос.

Корабль медленно отошел на некоторое расстояние и снова остановился. Почти все свободные от работ продолжали наблюдать за мерно колыхавшимися волнами, в которые погрузился шар. В течение ближайшего получаса только и было разговоров, что об Эльстеде. Декабрьское солнце стояло уже высоко, и было очень жарко.

- Ему будет холодно там, внизу, - сказал Уэйбридж. - Говорят, на известной глубине температура глубины морской воды всегда близка к точке замерзания.

- Где он вынырнет? - спросил Стивенс. - Я что-то потерял направление.

- Вот в этой точке, - ответил капитан, гордившийся своим всеведением. Он уверенно указал пальцем на юго-восток. - И, по-моему, ему пора бы уже возвращаться, - добавил он. - Он пробыл под водой тридцать пять минут.

- Сколько времени нужно, чтобы достигнуть дна океана? - спросил Стивенс.

- При глубине в пять миль, учитывая ускорение, равное двум футам в секунду, это займет приблизительно три четверти минуты.

- Тогда он запаздывает, - заметил Уэйбридж.

- Похоже на то, - ответил капитан. - Я думаю, что несколько минут должно занять наматывание каната.

- Да, я упустил это из виду, - сказал Уэйбридж с видимым облегчением.

И началось томительное ожидание. Медленно проползла минута, но шар не показывался. Прошла другая, но ничто не нарушало маслянистой поверхности воды. Матросы наперебой объясняли друг другу, что канат будет наматываться довольно долго. Снасти были усеяны людьми.

- Поднимайся, Эльстед! - нетерпеливо крикнул старый матрос с волосатой грудью, остальные подхватили его крик, словно перед поднятием занавеса в театре.

Капитан метнул на них гневный взгляд.

- Правда, если ускорение меньше двух футов, - сказал он, - то шар может и задержаться. У нас нет абсолютной уверенности, что цифры правильны. Я не так уж рабски верю в вычисления.

Стивенс кивнул. Минуту-другую на мостике молчали. Потом Стивенс щелкнул крышкой часов.

Двадцать одну минуту спустя, когда солнце достигло зенита, они все еще ждали, что шар выплывет, и никто не решался даже шепнуть, что надежды больше нет. Уэйбридж первый высказал эту мысль. Он заговорил, когда отбивали восемь склянок.

- Я с самого начала сомневался в прочности стекла, - неожиданно сказал он Стивенсу.

- Господи! - вырвалось у Стивенса. - Неужели вы думаете...

- Гм! - многозначительно промычал Уэйбридж.

- Я и сам не очень верю в вычисления, - с сомнением произнес капитан, - так что не совсем еще потерял надежду.

И в полночь пароход все кружил вокруг того места, где погрузился шар, а белый луч прожектора шарил по волнам, то замирая на месте, то снова жадно протягиваясь вперед над водной пустыней, смутно мерцающей под звездами.

- Если люк не лопнул и не раздавил его, - сказал Уэйбридж, - так это еще хуже, тогда, значит, испортился часовой механизм, и он сейчас жив где-то там внизу, в пяти милях от нас, в темноте и холоде, запертый в этом своем пузыре, там, куда еще не проникал луч света, куда еще не заглядывал человек с того дня, как были сотворены воды. У него нет пищи, он



мучается от голода и жажды и с ужасом думает о том, умрет ли он от голода или задохнется. Что же с ним будет? Аппарат Майерса, вероятно, скоро перестанет действовать. Сколько времени он может работать?

- Боже ты мой! - воскликнул он. - Какие же мы крохотные существа! Какие дерзкие бесенята! Там, внизу, целые миры воды, ничего, кроме воды, и вокруг нас безбрежный простор, а над нами небо... Бездны!

Он протянул вперед руки, и в тот же миг белый лучик беззвучно скользнул по небу, замедлил ход, остановился, стал неподвижной точкой, словно в небе появилась новая звезда. Потом он соскользнул вниз и затерялся среди колеблющихся отражений звезд, в белой дымке морского свечения.

При виде этого Уэйбридж так и замер с протянутой рукой и открытым ртом. Он закрыл рот, опять открыл его и от нетерпения замахал руками. Потом он повернулся, крикнул первому вахтенному: "Эльстед показался!" - и бросился к прожектору.

- Я видел шар! - кричал он. - Там, по правому борту! Свет у него включен, и он только что выскочил из воды. Наведите туда прожектор. Мы должны увидеть его, когда он будет качаться на волнах.

Но им удалось найти исследователя только на рассвете. Они чуть не наткнулись на шар. Кран повернули, и сидевшие в шлюпке матросы прикрепили шар к цепи. Когда он был поднят на палубу, люк отвинтили, и несколько человек заглянули внутрь шара, где царила темнота. (Электрическая лампа предназначалась для освещения воды вокруг шара и была полностью изолирована от главной камеры.)

Внутри шара было очень жарко, и резина по краям люка размягчилась. На нетерпеливые вопросы не последовало ответа, в камере все было тихо. Эльстед лежал неподвижно, скорчившись на дне. Судовой врач вполз внутрь и, подняв Эльстеда, передал его матросам. В первый момент нельзя было сказать, жив он или умер. Лицо его в желтом свете корабельных ламп блестело от пота. Его снесли в каюту.

Скоро выяснилось, что он жив, но находится в состоянии полного нервного истощения и к тому же весь в синяках от тяжелых ушибов. Ему пришлось пролежать неподвижно несколько дней. Прошла неделя, прежде чем он смог рассказать о своих приключениях.

Едва он обрел дар речи, как заявил, что намерен опять спуститься на дно.

- Необходимо изменить конструкцию шара, - сказал он, - чтобы можно было в случае надобности оборвать канат, вот и все.

Он испытал поразительнейшее приключение.

- Вы думали, что я не найду там ничего, кроме ила, - сказал он. - Вы смеялись над моими исследованиями, а я открыл новый мир!

Он рассказывал бессвязно, то и дело забегая вперед, так что невозможно передать этот рассказ его собственными словами. Но мы попытаемся изложить здесь все им пережитое.

Сначала было очень скверно. Пока разматывался канат, шар все время бросало из стороны в сторону. Эльстед чувствовал себя, как лягушка, посаженная в футбольный мяч. Он не видел ничего, кроме крана и неба над головой да по временам - людей, стоявших у борта. Невозможно было угадать, куда кувыркнется шар. Ноги у Эльстеда вдруг поднимались вверх, и он пробовал шагнуть, но тут же летел вниз головой, а потом катался, ударяясь о стенки. Аппарат какой-нибудь другой формы был бы удобнее шара, но не выдержал бы огромного давления в морских глубинах.

Внезапно качка прекратилась, шар выровнялся, и, поднявшись, Эльстед увидел вокруг зеленовато-голубую воду, слабый свет, струящийся сверху, и стайку каких-то крохотных плавающих существ, стремившихся, как ему показалось, к свету. Пока он смотрел, становилось все темнее и темнее, и вода сверху стала темной, как полуночное небо, только зеленее, а внизу - совсем черной. А маленькие прозрачные существа начали слабо светиться и мелькали мимо окна зеленоватыми змейками.

А ощущение падения! Ему вспомнился первый момент спуска в лифте, только ощущение было более длительным. Попробуйте представить себе, что это такое! Тогда и только тогда Эльстед раскаялся в своей затее. Он увидел в совершенно новом свете грозившую ему опасность. Он подумал о больших каракатицах, обитающих, как известно, в средних слоях воды, об этих тварях, которых иногда находят полупереваренными в желудке кита, а порой они плавают по воде, дохлые и объединенные рыбами. Что, если такое чудовище схватится за канат и не отпустит?

А действительно ли хорошо проверен часовой механизм? Но хотел ли он сейчас падать дальше или возвращаться вверх - не имело ровно никакого значения.

За пятьдесят секунд снаружи стало темно, как ночью, только луч его лампы то и дело ловил какую-нибудь рыбу или тонущий предмет, но он не успевал разглядеть, что именно. Один раз ему показалось, что он видит акулу. А потом шар начал нагреваться от трения о воду. Эта опасность была в свое время упущена из виду.

Сначала Эльстед заметил, что вспотел, а потом услышал под ногами шипение, становившееся все громче, и увидел за окном множество мелких, очень мелких пузырьков, веером взлетающих вверх. Пар! Он пощупал окно - оно было горячее. Он включил слабую лампочку, освещающую внутренность шара, взглянул на обитые войлоком часы рядом с кнопками и увидел, что опускается уже две минуты. Ему пришло в голову, что стекло в люке может лопнуть от разности температур; он знал, что температура воды на дне близка к нулю.

Потом пол шара словно прижало к его ногам, рой пузырьков снаружи стал редеть, а шипение уменьшилось. Шар слегка закачался. Стекло не лопнуло, не прогнулось, и он понял, что опасности, связанные с погружением, во всяком случае, позади.

Еще через минуту он будет на дне. Он подумал о Стивенсе, и Уэйбридже, и обо всех оставшихся на корабле, отделенных от него пятимильной толщиной воды, более удаленных от него, чем самые высокие облака от земли. Он представил себе, как они медленно крейсируют там, наверху, и смотрят вниз, и гадают, что с ним.

Он взглянул в окно. Пузырьков больше не было, и шипение прекратилось. Снаружи была плотная чернота, как черный бархат, и только там, где воду пронизывал луч света лампы, можно было различить, что она желто-зеленого цвета. Потом мимо окна гуськом проплыли три каких-то создания - он мог различить лишь огненные контуры. Были ли они маленькими или только казались такими на расстоянии, он не мог бы сказать.

Они были очерчены голубоватым светом, почти таким же ярким, как огни рыбачьей лодки, и казалось, что этот свет дымится, и световые пятнышки тянулись вдоль всего тела этих тварей, словно иллюминаторы корабля. Их фосфоресценция, казалось, ослабевала по мере приближения к освещенному окну шара, и скоро Эльстед разглядел, что это рыбки какой-то странной породы - с огромной головой, большими глазами и постепенно суживающимся телом. Глаза их были обращены к нему, и он решил, что они сопровождали его при спуске. По-видимому, их привлекал свет.

Их становилось все больше. Спускаясь, он заметил, что вода светлеет и что в луче света кружатся мелкие пятнышки, как мошки на солнце. Это были, вероятно, частицы ила и тины, поднявшиеся со дна при падении свинцовых грузил.

Достигнув дна, он оказался в густом белом тумане, в который луч его лампы проникал всего на пять-шесть ярдов, и прошло несколько минут, прежде чем эта муть немного осела. Тогда при свете своей лампы и в неверном мерцании далекой стаи рыб он разглядел под плотным покровом черной воды волнистые линии серовато-белого илистого дна и спутанные кусты морских лилий, жадно шевеливших своими щупальцами.

Дальше виднелись изящные, прозрачные контуры гигантских губок. По дну было разбросано множество колючих, приплюснутых пучков, ярко-лиловых и черных, - возможно, какая-то разновидность морского ежа, - а через полосу света медленно, оставляя за собой глубокие

борозды, проползали маленькие существа, одни большеглазые, другие слепые, чем-то напоминавшие омаров и мокриц.

Вдруг рой мелких рыбок свернул со своего пути и налетел на него, как стая воробьев. Они промелькнули, подобные мерцающим снежинкам, и тогда он увидел, что к шару приближается какое-то более крупное существо.

Сначала он лишь смутно различал медленно движущуюся фигуру, отдаленно напоминавшую человека, потом оно вошло в полосу света и остановилось, зажмурив глаза. Эльстед смотрел на него в полном изумлении.

Это было странное позвоночное животное. Его темно-лиловая голова смутно напоминала голову хамелеона, но у него был такой высокий лоб и такой огромный череп, каких не бывает у пресмыкающихся; вертикальная постановка головы придавала ему поразительное сходство с человеком.

Два больших выпуклых глаза выдавались из орбит, как у хамелеона, а под узкими ноздрями был огромный, с жесткими губами, лягушачий рот. На месте ушей были широкие жаберные отверстия, и из них тянулись ветвистые кустики кораллово-красных нитей, похожие на древовидные жабры молодых скатов и акул.

Но самым удивительным было не это, почти человеческое, лицо. Неведомое существо было двуногим; его почти шаровидное тело опиралось на треножник, состоявший из двух лягушачьих лап и длинного, толстого хвоста, а передние конечности - такая же карикатура на человеческие руки, как лапки лягушки, - держали длинное костяное древко с медным наконечником. Существо было двухцветным: голова, руки и ноги лиловые, а кожа, висевшая свободно, как одежда, - жемчужно-серая. И оно стояло неподвижно, ослепленное светом.

Наконец этот неведомый обитатель глубин заморгал, открыл глаза и, затенив их свободной рукой, открыл рот и испустил громкий, почти членораздельный крик, проникший даже сквозь стальные стенки и мягкую обивку шара. Как можно кричать, не имея легких, Эльстед не пытался объяснить. Затем это существо двинулось прочь из полосы света в таинственный мрак, и Эльстед скорее почувствовал, чем увидел, что оно направляется к нему. Решив, что его привлекает свет, Эльстед выключил ток. В следующий момент что-то мягкое ткнулось о сталь, и шар покачнулся.

Потом крик повторился, и ему, казалось, ответило отдаленное эхо. Последовал еще один толчок, и шар закачался, ударяясь о вал, на который был намотан канат. Стоя в темноте, Эльстед вглядывался в вечную ночь бездны и через некоторое время увидел вдали другие, слабо фосфоресцирующие человекоподобные фигуры, спешившие к нему.

Едва сознавая, что делает, он стал шарить рукой по стене своей качающейся темницы, ища выключатель наружной лампы, и нечаянно включил свою собственную лампочку в ее мягкой нише. Шар дернулся, и Эльстед упал; он слышал крики, словно выражавшие удивление, и, поднявшись на ноги, увидел две пары глаз на стебельках, глядевших в нижнее окно и отражавших свет.

В следующий момент невидимые руки яростно заколотили по стальной оболочке шара, и он услышал страшный в его положении звук - сильные удары по металлической оболочке часового механизма. Тут он не на шутку струхнул: ведь если этим странным тварям удастся повредить механизм, ему уже не выбраться отсюда. Едва подумав это, он почувствовал, что шар дернуло, и пол с силой прижался к его ногам. Он выключил лампочку, освещавшую внутренность шара, и зажег яркий луч большой верхней лампы. Морское дно и человекоподобные создания исчезли, несколько рыб, гнавшихся друг за другом, мелькнули за окном.

Эльстед сразу подумал, что эти странные обитатели морских глубин оборвали канат и что он ускользает от них. Он поднимался все быстрее и быстрее, а потом шар разом остановился, и Эльстед ударился головой о мягкий потолок своей темницы. С полминуты он ничего не мог сообразить от удивления.

Потом он почувствовал слабое вращение и покачивание, и ему показалось, что шар тащат куда-то в сторону. Скорчившись у окна, он сумел повернуть шар люками вниз, но увидел только слабый луч лампы, устремленный в пустоту и мрак. Ему пришло в голову, что он увидит больше, если выключит лампу и даст глазам привыкнуть к темноте.

Он оказался прав. Через несколько минут бархатный мрак превратился в прозрачную мглу, и тогда, далекие, туманные, как зодиакальный свет летним вечером в Англии, ему стали видны движущиеся внизу фигуры. Он догадался, что неведомые создания отрезали канат и теперь движутся по морскому дну и тащат его за собой.

А потом он начал различать вдалеке, над волнистой подводной равниной бледное зарево, простиравшееся вправо и влево, насколько позволяло ему видеть маленькое окно. В ту сторону и тащили шар, как рабочие тащат аэростат с поля в город. Он двигался очень медленно, и очень медленно бледное сияние принимало более четкие очертания.

Было около пяти часов, когда Эльстед очутился над световой зоной и смог различить что-то вроде лиц, домов, сгруппированных вокруг большого здания без крыши, напоминавшего развалины какого-то старинного аббатства. Под ним словно была развернута карта. Все дома представляли собою стены без крыш, и так как их материалом, как он увидел позже, были фосфоресцирующие кости, то казалось, что они созданы из затонувших лунных лучей.

В промежутках между этими странными зданиями простирали свои щупальца колышущиеся древовидные криноиды, а высокие, стройные губки поднимались, как блестящие стеклянные минареты и лилии, из светящейся мглы города. На открытых площадях он заметил неясное движение, словно там толпился народ, но он был слишком далеко, чтобы разглядеть в этих толпах отдельных людей.

Потом его стали медленно притягивать вниз, и постепенно он смог разглядеть город более подробно. Он увидел, что ряды призрачных зданий окаймлены какими-то круглыми предметами, а потом различил на больших открытых площадях несколько возвышений, похожих на затянутые илом корпуса кораблей.

Медленно и неуклонно его тащили вниз, и предметы под ним становились ярче, яснее, отчетливее. Он заметил, что его тянут к большому зданию в середине города, и время от времени пристально всматривался в группу человекоподобных созданий, вцепившихся в канат. Он с удивлением увидел, что снасти одного из кораблей, составлявших такую замечательную черту этого города, усеяны жестикулирующими, глядящими на него существами, а потом стены большого здания бесшумно выросли вокруг него и скрыли город.

И что это были за стены - из пропитанных водою балок, спутанного кабеля, из кусков железа и меди, из человеческих костей и черепов! Черепа были расположены по всему зданию - зигзагами, спиралями и причудливыми узорами. Множество мелких серебристых рыбок, играя, прятались в них и выплывали из глазных впадин.

Внезапно до слуха Эльстеда долетели слабые крики и звуки, напоминавшие громкий зов охотничьего рога. И все это сменилось каким-то диковинным пением. Погружаясь, шар проплывал мимо огромных стрельчатых окон, через которые Эльстед смутно увидел группы этих невиданных, похожих на призраки существ, смотревших на него, и наконец опустился на некое подобие алтаря, стоявшего посреди здания. Теперь Эльстед снова мог ясно рассмотреть этих странных обитателей бездны. К своему изумлению, он увидел, что они простираются ниц перед его шаром, - все, кроме одного, одетого в своеобразное облачение из крупной чешуи, с блестящей диадемой на голове; тот стоял неподвижно и то открывал, то закрывал свой лягушачий рот, словно управляя хором.

Эльстеду пришла фантазия снова включить свою лампочку, так что он стал видим для всех этих жителей бездны, а сами они исчезли во мраке. Мгновенно пение сменилось криками, и Эльстед, стремясь снова увидеть диковинные создания, выключил свет и исчез у них из глаз. Но сначала он был слишком ослеплен, чтобы разобрать, что они делают, а когда наконец он снова увидел их, они опять стояли на коленях. И так они поклонялись ему без перерыва в течение трех часов.

Эльстед очень подробно рассказывал об этом удивительном городе и его обитателях, об этом городе вечной ночи, где никогда не видели солнца, луны или звезд, зеленой растительности и живых, дышащих воздухом существ, где не знают ни огня, ни света, кроме фосфорического свечения живых тварей.

Как ни поразителен его рассказ, еще поразительнее то, что такие крупные ученые, как Адаме и Дженкинс, не нашли в нем ничего невероятного. Они вполне допускают гипотезу, что на дне глубочайших морей живут разумные, снабженные жабрами позвоночные, о которых мы ничего не знаем, - существа, привыкшие к низкой температуре и огромному давлению и такие плотные, что они не могут всплыть ни живыми, ни мертвыми, - такие же потомки великой Териоморфы века Нового Красного Песчаника, как и мы сами.

Мы, однако, должны быть известны им как странные существа-метеоры, которые время от времени падают мертвыми из таинственного мрака их водяных небес. И не только мы, но и наши суда, наши металлы, наши вещи сыплются на них из мрака. Иногда тонущие предметы калечат и убивают их, словно по приговору неких незримых высших сил; а иногда падают предметы крайне редкие, или полезные, или своей формой вдохновляющие их на собственное творчество. Быть может, их поведение при виде живого человека станет нам более понятным, если представить себе, как восприняли бы дикари появление среди них сверкающего, слетевшего с неба существа.

Понемногу Эльстед, вероятно, рассказал офицерам "Птармигана" все подробности своего странного двенадцатичасового пребывания в бездне. Достоверно также, что он хотел записать это, но так и не записал. И нам, к сожалению, пришлось собирать разноречивые обрывки его истории, слушая рассказы капитана Симмонса, Уэйбриджа, Стивенса, Линдли и других.

Мы видим все это смутно, как бы урывками: огромное призрачное здание, преклоненных поющих людей с темными головами хамелеонов, в слабо светящихся одеждах, и Эльстеда, снова включившего свет, тщетно старающегося внушить им, что нужно оборвать канат, на котором держится шар. Время шло, и Эльстед, взглянув на часы, с ужасом увидел, что кислорода ему хватит только на четыре часа. Но пение в его честь продолжалось неумолимо, как песнь, славящая приближение его смерти.

Каким образом он освободился, Эльстед и сам не знал, но, судя по обрывку, висевшему на шаре, канат перетерся о край алтаря. Шар внезапно качнулся, и Эльстед взвился кверху, прочь из мира этих существ, как какой-нибудь небожитель, облаченный в эфирное одеяние, воспарил бы сквозь нашу земную атмосферу обратно в свой родной эфир. Он, должно быть, исчез у них из виду, как пузырь водорода, поднявшийся в воздух. Вероятно, это вознесение сильно удивило их.

Шар ринулся кверху с еще большей скоростью, чем когда стремился вниз, увлекаемый свинцовыми грузилами. Он очень разогрелся. Он взлетел люками кверху, и Эльстед помнил поток пузырьков, пенившийся у окна. Потом у него в мозгу словно завертелось огромное колесо, мягкие стенки стали вращаться вокруг него, и он потерял сознание. Дальше он помнил только, как очнулся у себя в каюте и услышал голос доктора.

Такова суть необычайной истории, урывками рассказанной Эльстедом офицерам на борту "Птармигана". Он обещал записать все это позже. Теперь же он только и думал, что об усовершенствовании своего аппарата, что и было сделано в Рио.

Остается лишь сказать, что 2 февраля 1896 года он вторично совершил спуск в бездну. Что произошло с ним, мы, вероятно, никогда не узнаем. Он не вернулся. "Птармиган" в течение двух недель крейсировал вокруг места, где он погрузился, тщетно разыскивая его. Потом корабль вернулся в Рио, и друзей Эльстеда известили телеграммой о его гибели. Таково положение дел в настоящее время. Но я не сомневаюсь, что будут предприняты новые попытки проверить этот диковинный рассказ о неведомых доселе городах в глубинах океана.



## Потерянное наследство

Пер. - Н.Высоцкая.

- Моего дядю, - сказал человек со стеклянным глазом, - можно было бы назвать восьмушкой миллионера. У него было около ста двадцати тысяч. Не меньше. И все свое состояние он оставил мне.

Я взглянул на засаленный рукав его пиджака, потом на потрепанный воротничок.

- Все до последнего пенни, - продолжал человек со стеклянным глазом, и я заметил, что здоровый зрачок глянул на меня чуть-чуть обиженно.

- Мне вот ни разу не довелось так неожиданно-негаданно получить наследство, - с наигранной завистью сказал я, пытаюсь подладиться к нему.

- Но ведь наследство не всегда приносит счастье, - вздохнув, заметил он и с истинно философской покорностью судьбе погрузил свой красный нос и жесткие усы в пивную кружку.

- Бывает... - подхватил я.

- Видите ли, он был сочинителем и написал уйму книг.

- Вот как!

- В том-то и беда. - Он взглянул на меня зрячим глазом, желая удостовериться, понял ли я его замечание, затем посмотрел в сторону и извлек зубочистку.

- Видите ли, - заговорил он после небольшой паузы, причмокнув губами, - дело было так. Он доводился мне дядей, дядей по матери. И была у него - как бы это сказать? - слабость - любил он писать назидательные книги. Слабость - даже не то слово, скорее мания. Он был библиотекарем в политехникуме, и как только к нему привалили деньги, весь отдался своей страсти. Поразительно! Непостижимо! На человека, которому уже стукнуло тридцать семь лет, ни с того ни с сего свалилась изрядная куча золота, и он ни разу не кутнул - ни единого раза. Всякий подумал бы, что парень как-никак приоденется - ну, скажем, закажет дюжины две брюк у модного портного, - ничего подобного! Верите ли, он до самой своей смерти не обзавелся даже золотыми часами. Вот и выходит, что некоторым богатство только во вред. Единственное, что он делал, это снял дом и распорядился доставить туда добрых пять тонн книг, а также чернил и бумаги, после чего со всем пылом принялся писать назидательные сочинения. У меня это не укладывается в голове. Но он поступил именно так.

Деньги достались ему - что тоже довольно-таки любопытно - ни с того ни с сего от дяди, когда ему стукнуло тридцать семь. Случилось так, что, кроме моей матери, у него не осталось на всем белом свете других родственников, только один троюродный брат. А я был у матери один. Вы еще не запутались? У троюродного брата тоже был сын, но он немножко поторопился представить его дяде. Этот его сыночек был довольно-таки избалованным ребенком и, как только увидел моего дядюшку, тотчас же завопил: "Прогоните его! Прогоните!" Ну и, конечно, все себе испортил. Вы понимаете, это было мне просто на руку, не так ли? И моя мать, женщина здравомыслящая и предусмотрительная, еще задолго до дяди решила для себя этот вопрос.

Насколько мне помнится, этот мой дядюшка был презабавный малый. И совсем не удивительно, что ребенок испугался. Волосы у него были черные, прямые и жесткие, точно у кукол, что продают у нас японцы, и они торчали венчиком вокруг голой макушки, на бледном лице за стеклами очков бегали большие темно-серые глаза. Он уделял много внимания своей одежде и носил широченное пальто и фетровую шляпу с полями невероятных размеров. Смею вас уверить, он был похож на подозрительного попрошайку. Дома он ходил, как правило, в грязном халате из красной фланели, а на голове красовалась черная ермолка. Эта ермолка придавала ему сходство с портретами всяких знаменитостей.

Дядюшка без конца переезжал с места на место вместе со своим стулом, принадлежавшим некогда Сэведжу Лэндору, и двумя письменными столами, один из которых, как уверял продавец, был собственностью Карлейля, а другой - Шелли. Он таскал с собой и портативную справочную библиотечку, по его словам, самую полную в Англии, - получался целый караван, который то направлялся в Даун, в те места, где жил Дарвин, то двигался к Рейгейту, где жил Мередит, потом - в Хэслмер, потом ненадолго в Челси, а затем снова возвращался в Хэмпстед.

Дядя знал, что в хозяйстве у него не все в порядке, но не подозревал, что и его собственные мозги были не совсем в порядке. То был плох воздух, то вода, то слишком высоко над уровнем моря, то еще какая-нибудь чепуха. "Многое зависит от окружающей обстановки, - говорил, бывало, он и испытующе смотрел на вас: уж не смеетесь ли вы над ним исподтишка? - Для такого впечатлительного человека, как я, очень много значит окружающая обстановка".

Как его звали? Вряд ли его фамилия скажет вам что-нибудь. Он не написал ни одной вещи, которую можно было бы одолеть, - ни единой. Прочсть эту галиматью было выше человеческих сил. Дядя говорил, что мечтает стать великим учителем человечества, но, по правде сказать, он сам не знал, чему будет поучать. Поэтому он занимался высокопарной болтовней, рассуждая о правде и справедливости, о духе истории и так далее. Он строчил книгу за книгой и издавал их на собственные средства. У него, знаете ли, и в самом деле мозги были набекрень, послушали бы вы, как он напускался на критиков, и не потому, что они задевали его, - это бы еще ничего, - но как раз потому, что они его просто не замечали.

- В чем нуждаются народы? - вопрошал он, бывало, простирая вперед свою тощую руку со скрюченными пальцами. - Разумеется, в наставлении, в руководстве! Они блуждают по холмам, как овцы, лишенные пастыря. В мире война и слухи о войне, в стране нашей дух разногласия, нигилизм, вивисекция, прививки, пьянство, бедность, нужда, опасные соблазны социализма, произвол хищного капитала! Ты видишь эти тучи, Тед? (Меня зовут Тед.) Ты видишь, как сгущаются над страной тучи? А там на горизонте - желтая опасность! - Его всегда тревожили события в Азии, призраки социализма и тому подобное. Тут он поднимал указующий перст, глаза загорались огнем, ермолка сползала набок, и он бормотал:

- Но я начеку. Чего я хочу? Руководить народами. Народами! Говорю без лишней скромности, Тед, я бы с этим справился. Я могу ими руководить - да что там говорить! Я приведу их к тихой пристани, в страну справедливости, "текущую медом и млеком".

Вот в таком духе он и разглагольствовал. Восторженная, бессвязная болтовня о народах, о справедливости и тому подобном. Настоящий винегрет из библейских изречений и брани. С четырнадцати до двадцати трех лет - пока я мог еще набираться ума - моя мать, умыв меня и тщательно расчесав мне волосы на прямой пробор (это она делала, разумеется, пока я еще был маленьким), таскала меня раз или два в неделю к этому сумасшедшему болтуну слушать его излияния по поводу того, что он вычитал в утренних газетах. При этом он изо всех сил старался подражать Карлейлю, а я, следуя наставлениям мамы, сидел с умным видом, притворяясь, что меня все это страшно занимает.

В дальнейшем я, бывало, сам заглядывал к нему, не ради наследства, а просто так. Кроме меня, его никто не навещал. Мне думается, он писал всем мало-мальски известным людям, прилагая к своим письмам одну-две книги собственного сочинения, с приглашением приехать и побеседовать с ним о благе всех народов мира; но ему мало кто отвечал, и никто ни разу не приехал. Когда служанка открывала вам дверь - страшная она была плутовка, эта служанка, - вы могли увидеть в гостиной груды писем, готовые к отправке, в том числе письма, адресованные князю Бисмарку, президенту Соединенных Штатов и тому подобным личностям. Вы поднимались по лестнице, проходили по затянутому паутиной коридору - эконома пила, как лошадь, и коридоры в дядиной квартире всегда были полны паутины - и вот вы в его кабинете. Повсюду кучи беспорядочно сваленных книг, на полу клочки бумаги, телеграммы и газеты, на столе и на камине чашки с остатками кофе и недоеденные гренки,

и среди всего этого его сгорбленная спина и волосы, торчащие из-под ермолки над воротником халата.

- Минуточку! - бросал он через плечо. - Одну минуточку! Как бы это получше выразиться? Вот-вот это самое слово - взаимосвязь! Ну, что, Тед, - говорил он, поворачиваясь в своем вертящемся кресле, - как поживает Молодая Англия? (Так он в шутку называл меня.)

Да, вот каков был мой дядя, и вот как он разговаривал, во всяком случае, со мной. Вообще-то он был довольно молчалив и застенчив. Он не ограничивался разговорами, но давал мне и свои книги - каждая страниц этак на шестьсот - с громкими заглавиями вроде "Община крикунов", "Чудовище фанатизма", "Суровые испытания и дуршлаг". Все это было очень смело, но избито. В предпоследний раз, что я его видел, дядя дал мне книгу. Уже тогда он чувствовал себя плохо и пал духом. Рука его дрожала. Все это, понятно, не ускользнуло от моего внимания, ибо для меня, разумеется, все эти незначительные симптомы были важны.

- Моя последняя книга, Тед, - сказал он. - Последняя книга, мой мальчик, мой последний призыв к ожесточившимся и невнемлющим народам.

И будь я проклят, если по его морщинистой желтой щеке не скатилась слеза. В последнее время он частенько плакал: ведь конец был уже близок, а он успел написать всего лишь пятьдесят три бредовые книги!

- Иногда мне кажется, Тед... - начал он и смолк. - Может быть, я был слишком горяч, слишком нетерпим к этому своевольному поколению. Пожалуй, нужно было побольше мягкости и поменьше слепящего света. Порой мне казалось, что я могу увлечь их... Но я, Тед, я сделал все, что было в моих силах...

И тут, в порыве откровенности, он первый раз в жизни признал себя побежденным. Это доказывало, что он был серьезно болен. С минуту он о чем-то думал, потом заговорил спокойно и тихо, так же разумно и трезво, как я сейчас с вами.

- Я был сущим глупцом, Тед, - сказал он, - всю свою жизнь я молот чепуху. И один господь, который читает в сердцах, знает, что мною руководило, - быть может, это было только тщеславие. Я сам не могу разобраться, Тед. Но он, он знает, что если я поступал глупо и был тщеславен, то в душе, в душе я...

Так говорил он, твердя все одно и то же, но внезапно умолк и протянул мне дрожащей рукой книгу. Тут в глазах у него зажегся прежний огонь. Я запомнил все до малейших подробностей, потому что, вернувшись домой, изобразил все это моей старушке матери, чтобы немножко развеселить ее.

- Возьми эту книгу и прочти ее, - сказал он. - Это мое последнее слово, последнее слово. Я завещал все свое состояние тебе, Тед. Постарайся употребить его с большей пользой, чем это удалось мне. - Тут он упал на подушки и закашлялся.

Помню, как я, вне себя от радости, возвращался домой. А в следующий раз, зайдя к нему, я застал его в постели. Пьяная экономка была внизу, и, прежде чем войти к дяде, я немного подурачился в коридоре со служанкой - я ведь был тогда молод. Он быстро угасал. Но тщеславие все еще снесло его.

- Ты прочел? - прошептал дядя.

- Читал всю ночь напролет, - сказал я, наклоняясь к его уху, чтобы подбодрить его. - Ваше последнее произведение, - продолжал я и, вспомнив какие-то стихи, добавил: - "отважной мысли взлет!"

Он тихо улыбнулся мне и попытался пожать руку, совсем слабо, как женщина, но так и не смог.

- "Отважной мысли взлет!" - повторил я, видя, что ему это приятно. Он не ответил. За дверью слышалось хихиканье служанки - мы ведь с ней иногда беззлобно прохаживались на его счет. Я взглянул дяде в лицо: глаза были закрыты, и вид у него был такой, словно кто-то двинул его кулаком по носу. Но он улыбался. Как странно, он был мертв, но улыбка

торжества озаряла лицо лежавшего передо мной человека, потерпевшего в жизни полный крах.

Так и скончался мой дядя. Вы, конечно, понимаете, что мы с мамашей позаботились устроить ему приличные похороны. Затем, естественно, начались поиски завещания. Сперва мы действовали вполне пристойно, но к вечеру уже обдирали обивку со стульев, выламывали филенки письменных столов и простукивали стены, каждую минуту ожидая появления остальных родственников. От экономки мы узнали, что она действительно заверяла, в качестве свидетеля, завещание, - совсем небольшое, сказала она, на листке почтовой бумаги, не далее как месяц тому назад. Другим свидетелем был садовник, слово в слово подтвердивший все сказанное ею. Но будь я проклят, если нам удалось обнаружить это или какое-нибудь другое завещание. Моя матушка не скупилась на проклятия, и, должно быть, дядюшка не раз перевернулся в гробу.

Наконец адвокат из Рейгейта огорошил нас завещанием, которое было сделано дядей много лет тому назад, после небольшой ссоры с моей мамашей. И на мою беду, другого завещания так и не удалось найти. По этому завещанию все до последнего пенни досталось сыночку троюродного брата дядюшки, тому самому, что закричал тогда: "Прогоните его!" - и уж, конечно, он ни единого дня не смог бы выслушивать, как я, дядюшкину болтовню!

Человек со стеклянным глазом замолчал.

- Кажется, вы говорили... - начал было я.

- Одну минутку, - прервал меня он. - Мне много лет пришлось дожидаться развязки, - до самого сегодняшнего утра, а ведь я был заинтересован во всей этой истории побольше вашего. Имейте же и вы немного терпения. Завещание оформили, этот малый получил наследство и, едва ему исполнился двадцать один год, принялся транжирить деньги. Уж он, будьте уверены, сумел все промотать! Он по любому поводу бился об заклад, кутил, швырял деньгами направо и налево. У меня все внутри переворачивается, как подумаю, какую жизнь он вел! Ему еще не было тридцати, когда он спустил все до последнего пенни, и кончил тем, что попал в долговую тюрьму. Он сидит там уже три года...

Ну, конечно, мне пришлось туго, ведь я - вы понимаете сами - умел делать только одно - выклянчивать наследство, все мои планы, так сказать, ждали своего осуществления, когда старикан скончался. Я пережил хорошие и плохие времена. Сейчас я как раз на мели. По правде сказать, я порядком нуждаюсь. И вот нынче утром я шарил по комнате, выискивая, что бы еще можно было продать, - и все эти подаренные мне тома, которых никто не купит, даже чтобы завернуть масло, действовали мне на нервы. Я обещал дяде никогда не расставаться с его книгами, и сдержать это обещание было легче легкого. С досады я швырнул в них башмаком, и книги рассыпались по комнате. Один том от удара подлетел кверху, описав в воздухе дугу. И из него выскользнуло - что бы вы думали? - завещание! Он своими руками отдал мне его в том самом, последнем томе.

Мой собеседник сложил на столе руки и печально взглянул здоровым глазом на свою пустую кружку, затем, тихо покачав головой, тихонько добавил:

- Я ни разу не раскрыл этой книги, даже не разрезал листы. - Тут он с горькой усмешкой посмотрел на меня, ища сочувствия. - Подумайте только! Запрятать его туда! А? В такое место!

С рассеянным видом он стал вылавливать из лужицы пива дохлую муху.

- Вот вам пример авторского тщеславия, - сказал он, посмотрев мне в лицо. - С его стороны это совсем не было злой шуткой. У него были самые лучшие побуждения. Он всерьез думал, что я и впрямь прочту дома его окаянную книгу от корки до корки. Но это также доказывает, - тут его взгляд снова обратился на кружку, - как плохо мы, несчастные создания, понимаем друг Друга.

Но нельзя было не понять явного желания еще выпить, сквозившего в его взгляде. Он принял угощение с плохо разыгранным удивлением и сказал непринужденным тоном, что если уж я так настаиваю, то он, пожалуй, не прочь.

## **Джимми - пучеглазый бог**

Пер. - И.Воскресенский.

- Не каждому доводилось быть богом, - сказал загорелый мужчина. - А вот мне пришлось. Со мной всяко бывало.

Я заметил, что говорит он со мной явно свысока.

- Кажется, куда уж больше, верно? - сказал он. И продолжал: - Я из тех, кто уцелел, когда пошел ко дну "Морской разведчик". Фу ты, пропасть! Как летит время! Двадцать лет прошло. Вы, верно, и не помните, что это за "Морской разведчик".

Название как будто знакомое. Я стал припоминать, где и когда я его слышал. "Морской разведчик"?

- Что-то такое с золотым песком... - начал я неуверенно. - А что именно...

- Вот-вот, - подхватил он. - Дело было в одном паршивом проливчике... Зашел он туда случайно, укрыться от пиратов. Это было еще до того, как с ними покончили. А в тех местах были вулканы какие-то, и всюду, где не надо, торчали скалы. Неподалеку от Суны много таких мест, там только гляди да поглядывай, не то враз налетишь на риф. Ну, мы и ахнуть не успели, как посудина ушла под воду, глубина - двадцать сажен, а на борту золота на пятьдесят тысяч фунтов, и песка и в слитках.

- Спасся кто-нибудь?

- Трое.

- Да, да, припоминаю, - сказал я. - Там еще велись потом спасательные работы...

Едва я произнес эти слова, загорелый разразился такой ужасной бранью, что меня взяла оторопь. Он перешел на более обычные ругательства и вдруг замолчал.

- Прошу прощения, - сказал он, - но... как услышу про спасательные работы...

Он наклонился ко мне.

- Я ведь тоже в это ввязался. Хотел заделаться богачом, а заделался богом. Как вспомню, душа горит...

Это, знаете, не сахар - быть богом, - опять начал он и потом высказал еще несколько столь же категорических афоризмов, которые, однако, ничего не объясняли. Наконец он вернулся к своему рассказу.

- Нас было трое: я, один матрос по имени Джекобс и Олвейз - помощник капитана с "Морского разведчика". Он-то и заварил кашу. Помню, мы плыли в шлюпке, и он подбросил нам эту мыслишку, всего-то два словечка сказал. Он был мастак по части всяких таких затей. "На этой посудине, - говорит, - осталось сорок тысяч фунтов, и уж кто-кто, а я-то точно знаю место, где она лежит". Ну, дальше уж не требовалось большого ума, чтобы смекнуть, что к чему. Он и заправлял всем с начала и до конца. Втянул в это дело братьев Сандерсов - у них была своя шхуна "Гордость Бенин" - и еще купил водолазный костюм - подержанный, с аппаратом для сжатого воздуха, так что не надо было нагнетать воздух помпой. Он бы и нырял сам, да не переносил глубины. А настоящие спасатели мотались где-то у Старр Рейса, за сто двадцать миль оттуда, и пресерьезно сверялись по карте, которую он самолично для них состряпал.

И весело же нам было на этой шхуне, скажу я вам! Все плавание мы балагурили, выпивали и тешили себя самыми радужными надеждами. Дело казалось нам ясным и простым, это был, как говорят тертые парни, "верняк". Мы все рассуждали, как там успехи у тех блаженных дураков, у настоящих спасателей - вышли-то они на два дня раньше нас, - и



хохотали до упаду. Обедали мы все вместе в каюте Сандерсов; занятная получилась команда: все капитаны и ни одного матроса, - и тут же торчал водолазный скафандр, дожидаясь своего часа. Младший Сандерс был парень смешливый, а это чучело и вправду потешное: огромная круглая башка, выпученные глазища. Сандерс и устроил из него забаву. Назвал его "Джимми Пучеглазый" и разговаривал с ним, как с человеко-м. Спрашивал, не женат ли он и как поживает миссис Пучеглазая и маленькие Пучеглазики. Прямо живот надорвешь. И каждый божий день все мы пили за здоровье Джимми, отвинчивали один глаз и вливали ему в нутро стаканчик рому, так что под конец от него уже не резиной воняло, а несло, как из винной бочки. Веселое было времечко, скажу я вам, мы и не чуяли, бедолаги, что нас ждет.

Сами понимаете, мы вовсе не собирались пороть горячку и рисковать понапрасну. Целый день мы осторожно, прощупывая дно, пробирались к "Морскому разведчику" - он затонул как раз между двух вязких серых гребней, это были языки лавы, и они круто подымались со дна, чуть что из воды не торчали. Пришлось остановиться за полмили, чтобы бросить якорь в безопасном месте, и тут мы разругались: кому остаться на борту? А та посудина как пошла ко дну, так на том же месте и лежала, даже видно было верхушку одной мачты. Спорили мы, спорили и всей оравой полезли в лодку. И я, надев водолазный костюм, ушел под воду. Было это в пятницу утром, едва только начинало светать.

Вот это было чудо! И сейчас вижу эту картину. Заря чуть занялась, и все кругом выглядело как-то чудно. Кто не был в тропиках, думает, там все сплошь ровный берег, да пальмы, да прибой. Как бы не так! В том местечке, к примеру, ничего похожего не было. Мы-то привыкли: скалы - так уж скалы, и волна о них бьется. А тут тянутся под водой этикие изогнутые серые насыпи, будто отвалы железного шлака, а понизу зеленая плесень; кое-где по хребту машут ветками колючие кусты: вода гладкая, стекло стеклом, и отсвечивает тускло, как свинец, а в ней застыли огромные водоросли, бурые, даже красные, и между ними ползает и шныряет разная живая тварь. А дальше, за этими отвалами, за рвами и котловинами, - гора, и по склонам лес вырос после пожаров и камнепадов последнего извержения. И на другой стороне тоже лес, а над ним торчат, будто развалины, будто - как бишь его? - амбатеатр из черных и рыжих угольев, из лавы этой самой, и посередке, точно в бухте, плещется море.

Так вот, значит, рассвет едва начинался, и все кругом казалось еще серым, белесым, и, кроме нас, в проливе не видать ни души. Только за грядой скал, ближе к открытому морю, стояла на якорь "Гордость Бенни".

Ни души, - повторил он и продолжал не сразу: - Даже не представляю, откуда они взялись. А мы-то были уверены, что кругом никого нет, и Сандерс-младший, бедняга, распевал во все горло. Я влез в шкуру Джимми Пучеглазого, только шлем еще не надел. "Одерживай, - предупредил Олвейз. - Вот она, мачта". Глянул я одним глазком через планшир и схватился за шлем, а тут Сандерс-старший круто развернул лодку, и я чуть не вывалился за борт.

Завинтили мне гляделки в шлеме, все в порядке, я закрыл клапан в поясе, чтобы воздух не поступал и легче было погружаться, и прыгнул в воду ногами вперед: лестницы-то у нас не было. Лодка закачалась, все, не отрываясь, смотрели мне вслед, а меня с головой укрыла темнота и водоросли вокруг мачты. Наверное, даже самый осторожный человек на свете не стал бы в таком месте никого опасаться. Уж очень пустынно и глухо там было.

Конечно, и то возьмите в расчет - ныряльщик я никакой. И никто из нас водолазом не был. Сколько пришлось повозиться, пока мы освоились с этим балахоном, а погружался я в первый раз. Ощущение премерзкое. Уши заложило - беда! Знаете, бывает: зевнешь или чихнешь - и отдает в ухо, - так вот, оно похоже, только в десять раз хуже. Башка трещит, вот тут, во лбу, прямо раскалывается и тяжелая, будто от сильной простуды. Дышать трудно. И под ложечкой сосет, идешь вниз, а чувство такое, словно наоборот, вверх тебя подымает, и конца этому нет. И не можешь задрать голову и посмотреть, что там, над тобой, и что делается с ногами - тоже не видать. И чем глубже, тем становится темнее, да еще на дне черный ил и пепел. Будто пятишься из утра обратно в ночь.

Из тьмы, точно привидение, показалась мачта, потом стаи рыб, потом заколыхался целый лес красных водорослей; бац! - я глухо стукнулся о палубу "Морского разведчика", и от меня, словно летом рой мух с помойки, метнулись рыбешки, кормившиеся мертвецами. Я отвернул кран, пустил сжатый воздух, потому что в скафандре стало душно и все еще, несмотря на ром, пахло резиной, и стою, прихожу в себя. Здесь, внизу, было прохладно, и это помогло мне отдышаться.

Полегчало мне, начал я осматриваться. Удивительное это было зрелище. Даже свет необыкновенный - будто сумерки, и отдает красным, это из-за водорослей, они так и выются лентами по обе стороны корабля. А высоко над головой свет зеленовато-синий, точно в лунную ночь. Палуба целехонька, пустая и гладкая, только выломаны две мачты да есть небольшой крен на правый борт; а нос и корма теряются во тьме крошечной. И не видать ни одного мертвеца, я подумал: верно, они лежат за бортом в водорослях; но после нашел скелеты двух человек в пассажирских каютах, там, где их настигла смерть. Как-то не по себе мне было, стою на палубе и понемногу все узнаю: вот местечко у поручней, тут я любил покурить в ясную ночь, а вон в том уголке один малый из Сиднея частенько любезничал со вдовушкой-пассажиркой. Оба они были не худенькие, а теперь - месяца не прошло - на них даже детенышу краба нечем поживиться...

Я всегда любил пофилософствовать, вот и потратил добрые пять минут на эти размышления, а уж потом отправился вниз, где хранилось это треклятое золото. Поиски оказались делом нескорым, двигался я больше ощупью, тьма - хоть глаз выколи, только из люка чуть сочился тусклый синий свет. Вокруг шныряли какие-то твари, одна легонько ткнулась в стекло очков, другая цапнула меня за ногу. Крабы, наверное... Я поддел ногой кучу какого-то непонятного хлама, нагнулся и поднял что-то такое все в шишках и шипах. Что бы вы думали? Позвоночник. Я, правда, не из брезгливых... Мы заранее до тонкости все обсудили, к тому же Олвейз точно знал, где стоял сундук. Я нашел его с первого раза. Мне удалось приподнять его за один угол на дюйм, не больше.

Он внезапно оборвал рассказ.

- Я держал его в руках, понимаете? - сказал он. - Золото! На сорок тысяч фунтов чистого золота! Я заорал "ура" или вроде того и чуть не оглох в своем шлеме. Мне уже не хватало воздуха, да и устал я - пробыл под водой уже минут двадцать пять - и решил, что с меня довольно. Отправился вверх через тот же люк и только высунул голову над палубой, вижу, страшный крабище, как бешеный, прыгнул в сторону и мигом исчез за бортом. Я не на шутку струхнул. Вылез на палубу, закрыл клапан сзади на шлеме, чтобы скопился воздух и вынес меня вверх. И замечаю: что-то шлепает над головой, будто лупят веслом по воде, - но вверх не поглядел. Думал, наши мне сигналият, что пора подниматься.

И тут мимо меня промелькнуло что-то тяжелое, воткнулось в деревянную обшивку и дрожит. Я глянул, а это длинный нож - я не раз видал его в руках Сандерса-младшего. Уронил, думаю, дурак, чуть меня не проткнул, ругаю его на все корки и начинаю подниматься к свету. Я был уже почти у верхушки мачты, как вдруг - бац! Что-то на меня свалилось, и чей-то башмак стукнул меня спереди по шлему. Потом навалилось что-то еще, оно отчаянно билось. Чувствую: увесистая штука, давит на голову, и вертится, и крутится. Если бы не башмак, я бы подумал, что это громадный осьминог или вроде того. Но осьминоги башмаков не носят. Все это случилось в одну минуту. Я почувствовал, что опять иду ко дну, растопырил руки, чтоб удержаться, но тут вся эта тяжесть соскользнула с меня и ухнула вниз, а меня подняло вверх...

Он помолчал.

- Я увидел голое черное плечо, а за ним лицо Сандерса-младшего, шею ему насквозь проткнуло копьё, а изо рта и из раны будто розовый дым клубился в воде. Так они и ушли вниз, вцепившись друг в друга и кувыркаясь, они уже не в силах были выпустить друг друга. Еще миг - и я хлопнулся шлемом о днище негритянского каноэ, чуть голову не расшиб. Негры! Целых два каноэ.

Жутко мне стало. Через борт перевалился Олвейз - в нем торчали сразу три копья. Вокруг меня в воде бултыхались ноги нескольких чернокожих. Всего я разглядеть не мог, но сразу понял, что игра кончена, отвернул до отказа клапан и опять пошел на дно вслед за беднягой Олвейзом, только пузыри надо мной взвились. Сами понимаете, до чего я был поражен и напуган. Я пролетел мимо Сандерса-младшего и того негра - они опять поднимались вверх и еще трепыхались из последних сил, миг - и я опять стою впотьмах на палубе "Морского разведчика".

Фу ты, пропасть, думаю, попал я в переделку! Негры? Сперва решил, так и так мне крышка - в воде задохнусь, а вынырну - копьем проткнут. Я не знал в точности, насколько у меня хватит воздуха, да и не очень-то хотелось отсиживаться под водой. Жарко мне было и мутило ужасно, да и струсил я до чертиков. Мы совсем забыли про туземцев, про этих грязных папуасов, будь они прокляты! Всплывать здесь нет никакого смысла, но что-то делать нужно. Недолго думая, я перебрался через борт, спрыгнул прямо в водоросли и, как мог быстро, зашагал прочь в темноте. Только один раз остановился, стал на колени, задрал голову - чуть в шлеме шею не свернул - и посмотрел вверх. Вижу, все пронзительно яркое, зелено-голубое, и качаются два каноэ, а между ними наша лодка, все очень маленькие, издали будто две черточки, а посерединке перекладина. У меня засосало под ложечкой, и еще я подумал, отчего это они так раскачиваются и зарываются носом...

Это были, пожалуй, самые скверные десять минут в моей жизни - бреду в темноте, спотыкаюсь, грудь сдавило так, что ребра трещат, словно тебя заживо в землю закопали, и мутит от страха и дышать уже нечем, только воняет ромом и резиной. Фу ты, пропасть! Немного погодя я почувствовал, что дно под ногами вроде как пошло покруче вверх. Скосил глаза, еще раз посмотрел, не видать ли каноэ и лодку, и иду дальше. Вот уже над головой воды на фут, не больше; попытался я разглядеть, куда иду, но, понятно, ничего не увидел, только отражение дна. Рванулся я вперед и будто пробил головой зеркало. Глаза очутились над водой, вижу: впереди отмель, берег, а чуть отступя лес. Осмотрелся - ни туземцев, ни нашей шхуны не видать, их заслонила гряда застывшей вздыбленной лавы. По дурости своей я вздумал бежать в лес. Шлем не снял, только отвернул одно стекло, жадно глотнул воздух, немного отдышался и зашагал на берег. До чего же воздух показался мне чистым и вкусным - сказать невозможно!

Конечно, если подметки у тебя свинцовые, в четыре дюйма толщиной, а голова всунута в медный шар величиной с футбольный мяч и вдобавок ты пробыл тридцать пять минут под водой, чемпионом по бегу не станешь. Я бежал, а выходило, что едва тащился, словно пахарь за плугом. Полпути не прошел и вдруг увидел десятка полтора чернокожих - вышли из лесу, будто нарочно меня встречать, и рты разинули от изумления.

Стал я как вкопанный и обругал себя последним дураком. Удрать обратно в воду у меня было столько же надежды, как у перевернутой черепахи. Я только завернул опять стекло очков, чтоб руки были свободны, и жду. Что мне еще оставалось?

Однако они не больно спешили, и я смекнул, в чем дело. "Джимми Пучеглазый, - говорю, - красавчик мой, это они на тебя загляделись". От пережитых опасностей и от резкой перемены этого окаянного давления я, видно, был малость не в себе. "Чего уставились? - говорю, словно дикари могли меня слышать. - Кто я такой, по-вашему? Ну-ну, глазейте, то ли еще будет!" Завернул выводной клапан и давай травить сжатый воздух из пояса - раздулся весь, как хвастливая лягушка. Это их совсем ошарашило. Вот провалиться, ни шагу больше не ступили, а потом один за другим хлоп на четвереньки. Они никак не могли взять в толк, что это перед ними за чудище, и оказали мне самый любезный прием, очень это было разумно с их стороны! Я подумал было потихоньку отступить к воде и удрать, но нет, пустая затея. Сделай я шаг назад - и они на меня набросятся. С отчаяния я двинулся к ним по отмели этакой мерной тяжелой поступью - иду и важно размахиваю толстыми ручищами. А у самого душа в пятках.

Но в трудную минуту что лучше всего выручает - это когда у тебя вид почудней. Я это и раньше знал и потом приходилось убеждаться. Нам-то с малолетства известно, что за штука водолазный костюм, нам и не понять, каково темному дикарю такое увидеть. Одни сразу дали тягу, другие скорей принялись биться оземь головой. А я все шагаю - важно, не торопясь, вид у меня дурацкий и хитрый, точь-в-точь водопроводчик, которому ненароком работы привалило. Ясное дело, они приняли меня за какое-то сверхъестественное существо.

Потом один вскочил и тычет в меня пальцем, а сам как-то весь вихляется, а остальные таращат глаза то на меня, то на море. "Что-то там стряслось", - думаю. Повернулся - медленно, важно, чтоб достоинство свое не уронить, вижу: огибает мыс пара каноэ и тащит на буксире нашу бедную старушку "Гордость Бенни". Тут я вконец расстроился. Но они, видно, ждали одобрения, и я неопределенно помахал руками. Потом повернулся и опять гордо зашагал к лесу. Помнится, я все твердил, как помешанный: "Господи, пронеси и помилуй! Господи, пронеси и помилуй!" Только круглый дурак, который сроду не нюхал опасности, позволит себе смеяться над молитвой.

Но эти черномазые вовсе не собирались меня отпускать. Они затеяли какие-то танцы с поклонами и понемногу оттеснили меня на тропу между деревьев. Уж не знаю, за кого там они меня принимали, только ясно, что не за британского подданного, а я на сей раз вовсе не спешил объявлять им свое подданство.

Если вы незнакомы с обычаями дикарей, может, вы и не поверите, но эти заблудшие темные души прямиком отвели меня к своему, что ли, капищу и представили старому черному камню. К тому времени я уже стал понимать, до чего они темные, и едва только увидал это божество, сразу смекнул, как себя вести. Я завыл басом "уау-уау", и был очень долго, и все размахивал руками, а потом этак медленно, торжественно повалил идола набок и уселся на него. Мне до смерти хотелось посидеть, водолазный костюм для прогулок в тропиках - одежда не очень-то подходящая. Ну, а их это совсем доконало, я видел, у них прямо дух захватило, когда я уселся на их идола, но через минуту они очухались и принялись во всю мочь мне кланяться.

Вижу я, все оборачивается хорошо, и мне малость полегчало, хоть плечи и ноги совсем разломило от тяжести.

Одно меня точило: вот вернутся те дикари, что были в каноэ, как-то они на все это посмотрят? Вдруг они видели меня в лодке, пока я не нырнул, да еще без шлема? Может, они с ночи следили за нами из засады. Тогда они будут обо мне другого мнения, чем эти. Мне показалось, я много часов маялся, ничего хорошего не ожидая. Наконец поднялась суматоха, и я понял, что они прибыли.

Но они тоже в меня поверили - вся их проклятая деревня поверила. Видно, я их взял тем, что битых двенадцать часов кряду, не меньше, просидел с грозным видом, не шевелясь, точно истукан, не хуже, чем эти, знаете, египетские идолы. Попробовали бы вы, каково это да в такой жаре и вонище! Я думаю, никому из них и не снилось, что внутри сидит человек. Они решили, что просто большой кожаный идол вылез из моря и принес им счастье. Но до чего меня замучила усталость! И жара! И духотища проклятая! До чего воняло резиной и ромом! Да еще они тут суетятся! Передо мной лежала плоская плита - обломок лавы, дикари развели на ней смрадный костер и то и дело кидали в него кровавые куски мяса; сами они, скоты, пировали в сторонке, а что похуже - сжигали в мою честь. Я уже малость проголодался, но теперь-то я понимаю, как боги ухитряются обходиться без еды: вокруг них всегда воняет горелым. Дикари приволокли со шхуны много всякой всячины, и среди прочего я увидел насос для нагнетания сжатого воздуха, - тут на душе у меня стало чуточку полегче; потом набегали парни и девушки, целая орава, и завели вокруг меня бесстыжие пляски. Удивительное дело, каждый народ оказывает уважение на свой манер. Будь у меня под рукой хороший нож, я бы многих отправил на тот свет, уж очень они меня взбесили. А я все сидел этак чинно, как в гостях, ничего лучше придумать не мог. Потом настала ночь, и в оплетенном прутьями капище стало, на их вкус, слишком темно (дикари, знаете, боятся темноты), и я начал этак сердито



мычать; тогда они разложили снаружи большие костры и оставили меня одного в темной хижине; наконец-то я мог без помехи отвернуть стекла очков и собраться с мыслями, и не надо было ни от кого скрывать, как мне худо. Бог ты мой! До чего мне было тошно!

Я ослаб и хотел есть, а мысли вертелись и вертелись, точно жук на булавке, - суеты много, а толку чуть. Никак с места не сдвинешься, все одно и то же. Жалел я товарищей - они, конечно, были ужасные пьяницы, но такой участи не заслужили; молодой Сандерс с копьем в глотке так и стоял у меня перед глазами. И еще я думал о сокровищах, что остались на "Морском разведчике", - как бы их достать и куда бы запрятать понадежнее, а потом уехать и снова вернуться за ними. И еще задача: где бы раздобыть чего-нибудь поесть? Прямо голова кругом шла. Попросить знаками, чтобы меня накормили, я боялся: будет слишком по-человечьи - и просидел голодный почти до самого рассвета. К этому времени деревня затихла, и я, не в силах больше терпеть, вышел из капища и размокал в миске какую-то дрянь вроде артишоков и немного кислого молока. Остатки я сунул среди других жертвоприношений, чтобы намекнуть им, какая еда мне по вкусу. А наутро они пришли поклониться мне, а я сижу, неподвижный и величественный, на их прежнем божестве, в точности как сидел вечером. Прислонился спиной к столбу посреди хижины и заснул. Вот так я и стал у язычников богом, конечно, по-настоящему это не бог, а одно богохульство, да ведь не всегда можно выбирать.

Хвастать не хочу, однако должен признаться: пока я был у этих дикарей богом, им необыкновенно везло. Особенных заслуг себе приписывать не стану, но удачу я им принес. Они воевали с другим племенем и победили, и я получил уйму приношений, от которых мне не было никакого толку; и рыба так и шла к ним в сети, и сорго на полях уродилось на диво. Они считали, что и шхуну захватили по моей милости. Недурно для начинающего бога, скажу я вам. И верьте не верьте, но я пробыл богом у этого дикого племени без малого четыре месяца.

Ну, а что мне оставалось делать? Но водолазный костюм я все-таки иногда снимал. Я заставил их соорудить внутри капища конурку вроде алтаря, немало помучился, пока втолковал им, что от них требуется. Ужасно трудно было добиться, чтобы они поняли, чего я хочу. Не мог же я ронять свое достоинство и коверкать их тарабарский язык (даже если б я и умел разговаривать по-ихнему), и не пристало мне без конца махать руками у них перед носом. Вот я и стал рисовать на песке картинки, потом присаживался рядом и гудел, как пароходная сирена. Порой они делали все наоборот. Но всегда очень старались. И все время я ломал голову, как бы довести до конца затею с этим треклятым золотом. Каждую ночь перед рассветом я в полном облачении выходил из капища и отправлялся к проливу взглянуть на то место, где на дне лежал "Морской разведчик", а однажды в лунную ночь даже попробовал добраться до него, но водоросли, скалы, темнота - все было против меня, пришлось отступить. Возвратился, когда солнце поднялось уже высоко, и вижу - на берегу стоят толпой мои глупые папуасы и молятся: дескать, морской бог, вернись к нам, пожалуйста. Я столько раз спотыкался и падал, всплывал и опять уходил под воду, что еле держался на ногах и был зол, как черт, а тут эти дурни прыгают и скачут от радости... я чуть было не начал лупить их по башкам всех подряд. Терпеть не могу лишних почестей.

А потом явился миссионер. Чтоб ему провалиться! Дело было за полдень, я важно восседал в наружной части капища, все на том же старом черном камне. И вдруг за стеной зашумели, залопотали, а потом слышу голос этого самого миссионера. "Они молятся пням и камням", - говорил он толмачу, и я мигом догадался, в чем дело. Пока я отдыхал, одно стекло очков было вывернуто, и я крикнул, недолго думая: "Пням и камням, говоришь? А ну-ка, иди сюда, сейчас я разобью твою ослиную башку". За стеной затихли было, опять залопотали, а потом он входит, как водится, с библией в руках - щуплый, рыжеватый, в очках, на голове пробковый шлем. Разглядел он меня в полутьме - круглая медная башка, выпученные глазища - и, смею сказать, малость оторопел. "Ну, - говорю, - почем ситец идет?" По совести, не люблю я миссионеров.



Потешался я над этим проповедником. Где уж ему было со мной тягаться! Спрашивает, кто я такой, а у самого поджилки дрожат. А я отвечаю: если, мол, хочешь узнать, кто я, читай, что у меня на ногах написано. Он нагнулся, а толмач, понятно, суеверный, как все чернокожие, подумал, что это он кланяется мне, - и сам скорей бух мне в ноги! Мои папуасы так и завывали от восторга, и после этого миссионерам уже нечего было делать в моей деревне, по крайней мере таким, как этот.

Но я, конечно, сваял дурака, что так от него отделался. Будь у меня хоть капля ума, я бы сразу рассказал ему про сокровище и взял бы его в компанию. Он бы, конечно, согласился. Малый ребенок и тот быстро смекнул бы, что неспроста тут появился скафандр, когда пропал "Морской разведчик". И вот неделю спустя утром выхожу я из своей хижины и вижу: по проливу тащится "Материнство", спасательное судно из Старр Рейса, прощупывает дно. Конеч всему, даром только я мучился. Фу ты, пропасть! И взбесился же я! Стоило сидеть чучелом в этом вонючем балахоне! Четыре месяца!

Загорелый опять прервал свой рассказ и разразился неистовой бранью.

- Подумать только! - снова заговорил он по-человечески. - На сорок тысяч фунтов золота!

- А тот проповедник потом вернулся? - спросил я.

- Еще бы! Чтоб ему пусто было! Он поклялся моим папуасам, что внутри ихнего бога сидит человек, и решил им торжественно это доказать. Но внутри-то ничего не оказалось, опять я его провел. Я терпеть не могу разные сцены и объяснения, так что поспешил убраться, двинулся по берегу домой, в Бению: днем скрывался в зарослях, а по ночам таскал в деревнях чего-нибудь поесть. Единственное оружие - копье. Ни одежды, ни денег. Ничего. Всего имущества, как говорится, собственная шкура. А в голове так и сверлит - плакали восемь тысяч фунтов золотом, моя пятая доля...

А дикари задали ему жару, голубчику, - и поделом! Решили, что это он спугнул их счастье.

## ***Каникулы мистера Ледбеттера***

Пер. - А.Ильф.

Мой друг мистер Ледбеттер - круглолицый маленький человек; сияние его кротких от природы глаз просто-таки ослепляет, когда он смотрит на вас через толстые стекла своих очков; у него низкий голос и неторопливая речь, раздражающая раздражительных людей. Став приходским священником, мистер Ледбеттер сохранил две привычки, приобретенные в ту пору, когда он был еще школьным учителем: манеру говорить слишком размеренно и четко, а также довольно беспокойное стремление быть твердым и прямолинейным во всех решительно случаях жизни. Он клерикал и шахматист, и над ним тяготеет подозрение, что он дает частные уроки высшей математики - занятие скорее похвальное, нежели прибыльное. Он словоохотлив, и речь его изобилует ненужными подробностями. Поэтому многие избегают разговоров с ним, считая его "надоедой", и даже своеобразно льстят мне, интересуясь, чего ради я знаюсь с ним. С другой стороны, еще больше людей дивится тому, что он водит знакомство с таким беспутным и сомнительным субъектом, как я. Лишь немногие равнодушно взирают на нашу дружбу. Однако никто из них не знает толком, что же нас связывает и какая мне выпала роль в прошлом мистера Ледбеттера, когда тот был на Ямайке.

Вспоминая об этом своем прошлом, он проявляет прямо-таки пугающую скромность. "Ума не приложу, что мне делать, если все откроется, - обычно говорит он и трагически повторяет: - Ума не приложу, что мне делать". Сомневаюсь, впрочем, что он мог бы что-нибудь сделать - разве только покраснеть до самых ушей. Однако все это случилось позже; умолчу сейчас и о первой нашей случайной встрече, ибо, как полагается, концу рассказа место в конце, а не в начале, хотя сам я частенько нарушаю это правило. А началось это

давным-давно; да, прошло около двадцати лет с тех пор, как Судьба хитроумным и удивительным образом толкнула мистера Ледбеттера, если можно так выразиться, прямо в мои объятия.

Я жил тогда на Ямайке, а мистер Ледбеттер учительствовал в школе, в Англии. Он был духовной особой и внешне выглядел совершенно так же, как теперь: та же круглая физиономия, те же или точно такие же очки, та же легкая тень изумления на безмятежном лице. Правда, когда мы встретились впервые, он смахивал на оборванца, а воротничок его - на мокрую тряпку; возможно, именно это и помогло нам сблизиться, но об этом, повторяю, позже.

Вся эта история началась в приморском городке Хизергейте, куда мистер Ледбеттер приехал на летние каникулы, чтобы вкусить долгожданный отдых. Он привез с собой блестящий коричневый чемодан с монограммой "Ф.У.Л.", новую, белую с черным соломенную шляпу и две пары белых фланелевых брюк. Понятно, что по случаю обретенной свободы настроение у него было превосходное: он не очень-то жаловал школу и своих учеников. После обеда с ним завязал разговор какой-то болтливый субъект - сосед по пансиону, где он остановился по совету своей тетушки. Кроме этого болтуна и его самого, других мужчин в доме не было. Их беседа вертелась вокруг массы вопросов: прискорбного исчезновения чудес и приключений в наши дни, популярности кругосветных путешествий, сокращения расстояний с помощью пара и электричества, безвкусицы рекламы, вырождения людей под влиянием цивилизации и еще многого другого. Особенно цветисто разглагольствовал этот субъект о том, что человеческая храбрость идет на убыль из-за того, что люди привыкли чувствовать себя в безопасности, и к оплакиванию этого несчастья довольно необдуманно присоединился мистер Ледбеттер. Первый восторг свободы от "служебных обязанностей" ослепил его, и, не желая ударить лицом в грязь на холостяцкой пирушке, он отведал куда больше, чем следовало, отличного виски, предложенного ему болтуном. Однако он настаивает, что отнюдь не охмелел.

И хотя он стал красноречивее обычного, его суждения не блистали остроумием. И после затянувшейся беседы о героическом прошлом, исчезнувшем навеки, он в полном одиночестве побрел в ярко освещенный луной Хизергейт и стал подниматься по крутой дороге, вдоль которой теснились виллы.

Душа его была полна скорби, и, шагая по пустынной дороге, он продолжал оплакивать судьбу, обрекшую его на серую жизнь школьного учителя. Какое он влачил прозаическое существование - такое затхлое, такое бесцветное! Тихая, мирная жизнь, одно и то же из года в год - где уж тут взяться храбрости! Он с завистью думал о бурных днях средневековья - таких близких и таких далеких, о допросах, шпионах и кондотьерах и о схватках не на жизнь, а на смерть. И внезапно его пронзило сомнение, странное сомнение: оно выплыло из какой-то случайной мысли о пытках и грозило разрушить настроение, которому он поддался в тот вечер.

А был ли он, мистер Ледбеттер, действительно так уж храбр, как ему казалось? И так ли уж было бы ему приятно, исчезни вдруг с лица земли железные дороги, полисмены и его собственная безопасность?

Болтун с завистью толковал о преступлениях. "На свете остался только один настоящий искатель приключений, - говорил он, - это грабитель. Подумайте только: он один на один против всего цивилизованного мира". И мистер Ледбеттер поддакивал, разделяя его зависть. "Они-то знают толк в жизни! - восклицал мистер Ледбеттер. - Кто еще может похвалиться этим? Вот бы попробовать!" И он озорно рассмеялся. Теперь, углубившись в самоанализ, он обнаружил, что хочет знать, есть ли разница между его храбростью и храбростью рядового преступника. Он решил, не раздумывая, ринуться навстречу этой предательской проблеме. "Я не прочь проделать все это, - сказал он. - Ведь меня так и тянет. Просто я не даю ходу своим преступным наклонностям. Меня сдерживает душевная стойкость". Однако, даже убеждая себя в этом, он все-таки сомневался.

В это время мистер Ледбеттер проходил мимо большой виллы, стоявшей в стороне от других. Над прочным широким балконом виднелось окно - оно было распахнуто настежь и зияло темнотой. В ту минуту он и не взглянул на него, но вид этого окна твердо запомнился ему и врезался в его мозг. Ему представилось, как, сжавшись в комок, он карабкается на этот балкон и ныряет в загадочную тьму комнаты. "Э, куда тебе!" - сказал дух сомнения. "Мне запрещает это мой долг по отношению к моим собратьям", - сказала чувство собственного достоинства.

Время шло к одиннадцати часам, и приморский городок уже затих. Казалось, луна усыпила всех. Только где-то далеко внизу неяркая полоска света между шторами напоминала о том, что кое-кто еще бодрствует. Он повернулся и медленно побрел обратно, к вилле с открытым окном. Некоторое время он стоял у калитки: его раздирали противоречия. "А ну, посмотрим, на что ты способен, - сказала сомнение. - Докажи, что осмелишься войти в этот дом, и все разрешится само собой. Соберись с духом и соверши кражу просто так. В конце концов разве это преступление?" Он беззвучно открыл и притворил за собой калитку и скользнул в тень кустарника. "Глупо", - сказала осторожность мистера Ледбеттера. "Этого надо было ожидать", - промолвило сомнение. Сердце его сильно билось, но, конечно, он ничуть не боялся. Нет, он ни чуточки не боялся! Он простоял в этих кустах довольно долго.

Ясно, что атака на балкон должна быть стремительной: луна светила ярко, и с улицы его мог увидеть любой. Зато даже ребенок взобрался бы на балкон по шпалере, обвитой худосочными, но честолубиво стремящимися вверх розочками. Там можно было укрыться в густой тени алебастровой вазы с цветами и поближе рассмотреть открытое окно - эту зияющую брешь в защитных укреплениях дома. На мгновение мистер Ледбеттер замер, подобно самой ночи, а потом коварное виски перетянуло чашу весов. Он ринулся вперед. Быстро, судорожно вскарабкался по шпалере, перекинул ноги через парапет и, пыхтя, присел в тени - все, как он и наметил. Он задыхался, дрожал, сердце колотилось, но душа его ликвала. Он готов был заорать во всю мочь от восторга, что не струсил.

Пока он там отсиживался, ему пришла в голову удачная строчка из "Мефистофеля" Уиллса. "Я чувствую себя котом на крыше", - прошептал он. Сверх его ожиданий это забавное приключение окончилось благополучно. Он даже посочувствовал тем несчастным, которым неведомо воровство. Все в порядке. Он в полной безопасности. И показал себя молодцом!

А теперь в окно, чтобы завершить задуманное! Стоит ли рисковать? Окно это находилось над входной дверью, и, по всей вероятности, за ним была лестничная площадка или коридор; он не заметил ни зеркал, ни других признаков спальни, и вообще на первом этаже окон больше не было - значит, никакой опасности сразу же наткнуться на спящего нет. Сначала он сидел под окном, прислушиваясь, потом заглянул внутрь. И вздрогнул - около самого окна на пьедестале стояла бронзовая статуя почти с него ростом, с распростертыми руками. Он быстро пригнулся, потом заглянул снова. На другом конце коридора виднелась широкая, слабо освещенная лестничная площадка; окно рядом было задернуто тонким занавесом из очень черных граненых бусин; широкая лестница шла вниз, в темноту, и другая - на второй этаж. Он мельком огляделся, но ничто не нарушало ночного покоя. "Преступление, - шептал он, - преступление", - и бесшумно, быстро перемахнул через подоконник. Ноги его неслышно утонули в медвежьей шкуре. Да, сомнений нет, он настоящий грабитель!

Он присел на корточки, весь зрение и слух. В саду послышалась к-акая-то беготня и шорох, и он чуть было не раскаялся в своем предприятии. Короткое "мяу", фырканье и прыжки убедили его, что там кошки. Он окончательно расхрабрился. Выпрямился. Вероятно, все уже спят. Кража со взломом - что может быть легче! Он был доволен, что наконец решился. Ему захотелось прихватить с собой какой-нибудь трофей - просто, чтобы показать, что ему чужд малодушный страх перед законом, - и выбраться оттуда тем же путем.

Он огляделся, и вдруг в нем снова заговорил дух сомнения. Настоящие грабители не остановились бы на этом: они не только входят в дом, они врываются в комнаты, они взламывают сейфы. Нет, он не боится. Но он не станет взламывать сейфы, чтобы хозяева

дома не подумали о нем превратно. Но в комнаты он должен войти, надо подняться наверх. Более того, он уверил себя, что ему ничего не грозит: в доме было так тихо, будто все вымерло. Однако ему пришлось сжать кулаки и напрячь все силы, прежде чем он стал подниматься на цыпочках по темной лестнице, замирая на каждой ступеньке. Наверху была квадратная площадка, куда выходило несколько закрытых дверей и одна открытая; во всем доме стояла тишина. Он приостановился, рисуя себе, что произойдет, если кто-нибудь проснется и выйдет из комнаты. Луна за открытой дверью ярко освещала спальню, на постели белело несмятое покрывало. Туда-то он и пробрался за три минуты, показавшиеся ему вечностью, и захватил трофей - кусок мыла! Он направился к двери, чтобы спуститься еще тише, чем поднимался. Это же сущий пустяк... Тес!..

Шаги! Треск гравия около дома, потом щелчок ключа в замочной скважине, зевок, стук захлопнувшейся двери и чирканье спички в холле внизу. И тут он оцепенел, сообразив, куда завело его безрассудство. "Как же я выкарабкаюсь, черт возьми?" - подумал мистер Ледбеттер.

В холле зажгли свечу, что-то тяжелое стукнулось о стойку для зонтиков, и по лестнице заскрипели шаги. Мистер Ледбеттер моментально понял, что отступление невозможно. На мгновение он замер - жалкая фигура кающегося грешника. "Господи боже мой! И свалил же я дурака!" - прошептал он и опрометью кинулся через темную площадку в пустую спальню, из которой только что вышел. Там он остановился и прислушался, дрожа всем телом. Шаги слышались уже на площадке между этажами.

О ужас! Вероятно, он в спальне этого полуночника! Не терять ни секунды! Мистер Ледбеттер подбежал к кровати, нагнулся, возблагодарил бога за полог, и не прошло и десяти секунд, как он заполз под него. Ни жив ни мертв, он стоял под кроватью на четвереньках. Сквозь тонкие складки полога он различил свет приближающейся свечи, тени беспорядочно заматались и замерли снова, когда свечу поставили на место.

- Ну и денек! - отдуваясь, сказал вошедший и свалил какой-то увесистый груз на стол - письменный, как догадался мистер Ледбеттер: он видел ножки этого стола. Потом невидимка направился к двери и запер ее на ключ, тщательно проверил оконные задвижки, спустил шторы и, вернувшись обратно, рухнул на кровать всей своей тяжестью, поразившей мистера Ледбеттера.

- Ну и денек! - повторил он. - Ну и ну! - И снова запыхтел. Тут мистер Ледбеттер был склонен думать, что он утирает лицо. Мистер Ледбеттер видел его сапоги - добротные, прочные сапоги; судя по тени от его ног на пологе, он отличался редкой толщиной. Немного погодя он снял какую-то верхнюю одежду - по мнению мистера Ледбеттера, сюртук и жилет - и, бросив их на спинку кровати, стал дышать размеренней, как бы остывая. Время от времени он бормотал что-то про себя и один раз тихо рассмеялся. Мистер Ледбеттер тоже бормотал про себя, но ему было не до смеха. "Ну и маху же я дал, - говорил мистер Ледбеттер. - Что мне теперь делать?"

Из-под кровати его взору открывалось немного. Хотя щелки между складками полога и пропускали чуточку света, но увидеть что-либо было невозможно. Кроме резких очертаний ног на пологе, остальные тени были загадочны и терялись в пестром узоре ситца. Из-под полога виднелась полоска ковра, и, с опаской заглядывая вниз, мистер Ледбеттер обнаружил, что этот ковер тянется по всему полу, насколько хватает глаз. Ковер был роскошный, комната просторная и, судя по колесикам и украшениям на ножках мебели, отлично обставленная.

Он плохо представлял, что ему делать дальше. Оставалось одно: ждать, пока этот тип ляжет спать, и потом, когда он уснет, прошмыгнуть к двери, отпереть ее и выскочить на балкон. Сможет ли он спрыгнуть с балкона? Тут и разбиться недолго! Поразмыслив о своих шансах, мистер Ледбеттер пришел в отчаяние. Он уже готов был высунуть свою голову рядом с сапогами этого джентльмена, кашляя, если нужно, чтобы привлечь его внимание, с улыбкой извиниться и объяснить свое неудачное вторжение несколькими учтивыми фразами. Однако он увидел, что эти фразы трудно придумать. "Разумеется, сэр, мое появление покажется вам



странным" или "Я надеюсь, сэр, вы простите мне несколько двусмысленное появление из-под вашей кровати?" - вот и все, что он смог из себя выжать.

Тут его одолели тяжкие сомнения. А если ему не поверят, что тогда? Неужели его безупречная репутация ничего не стоит? Конечно, спору нет, фактически он вор. И он уже принялся сочинять красноречивую защитительную речь, которую он произнесет на скамье подсудимых, когда ему предоставят последнее слово; тем временем тучный джентльмен встал и начал прохаживаться по комнате. Он выдвигал и задвигал ящики, и у мистера Ледбеттера мелькнула робкая надежда, что он раздевается. Не тут-то было! Он уселся за письменный стол и заскрипел пером, а потом стал рвать какие-то документы. И вскоре ноздри мистера Ледбеттера защекотал смешанный запах сигары и горячей бумаги верже.

"Положение мое, - рассказывал мне впоследствии мистер Ледбеттер, - оказалось трагическим во многих отношениях. Головой я до боли упирался в поперечную планку кровати, поэтому мой вес приходился главным образом на руки. Потом я почувствовал, что у меня, как говорится, одеревенела шея. Заболели руки, так как ковер под ними собрался крупными складками. Колени тоже занули, брюки на них туго натянулись. Тогда я носил воротнички гораздо выше, чем сейчас, - два с половиной дюйма, - и я заметил, что края слегка врезаются мне в подбородок, раньше я этого не ощущал. Но самое ужасное - у меня зачесалось лицо, я хотел поднять руку, но шуршание рукава напугало меня, и я мог облегчить свои страдания только жуткими гримасами. Потом мне пришлось отказаться и от этого утешения, так как я, по счастью, вовремя, заметил, что мои гримасы сдвинули очки на кончик носа. Если бы они соскочили, конечно, это выдало бы меня, но они кое-как удержались, поминутно грозя упасть. Вдобавок я был немного простужен, и мне не давало покоя непреодолимое желание то чихнуть, то высморкаться. Словом, хотя мое положение в целом и внушало мне крайнюю тревогу, физические страдания скоро стали совершенно невыносимыми. А я не мог позволить себе даже шевельнуть пальцем".

После бесконечной тишины послышалось звяканье. Понемногу оно стало ритмичным: звяк-звяк-звяк... - двадцать пять раз, - стук по столу и ворчание обладателя толстых ног. Мистеру Ледбеттеру пришло в голову, что звякает золото. Он недоверчиво прислушивался, заинтересованный, а звяканье все продолжалось. Любопытство его росло. Если в самом деле звякает золото, этот странный человек насчитал, вероятно, сотни фунтов. Наконец мистер Ледбеттер уже не мог больше сдерживаться и с величайшей осторожностью начал опускать руки и пригибать голову к самому полу в надежде рассмотреть что-нибудь из-под полога. Он шевельнул ногой, и пол слегка скрипнул. Звяканье сразу прекратилось. Мистер Ледбеттер замер. Звяканье возобновилось. Потом снова смолкло, и воцарилась полная тишина, только сердце мистера Ледбеттера стучало, как барабан.

Ничто не нарушало тишины. Голова мистера Ледбеттера в это время лежала на полу, и взору его открывались могучие ноги до самых колен. Они были совершенно неподвижны, стояли на носках и были задвинуты под кресло. Все было тихо, необыкновенно тихо. Мистера Ледбеттера осенила безумная надежда, что с неизвестным обморок или, может быть, он скоропостижно скончался, уронив голову на письменный стол...

По-прежнему стояла тишина. Что случилось? Терпение мистера Ледбеттера лопнуло. Почти не дыша, он подвинул вперед руку и указательным пальцем стал приподнимать полог до уровня глаз. Ничто не нарушало тишины. Теперь он видел колени незнакомца, письменный стол и... дуло тяжелого револьвера, направленного прямо ему в голову.

- А ну-ка, выходи, негодяй! - с тихим бешенством сказал голос толстого джентльмена. - Вылезай! Сюда, ну! И без всяких там фокусов, вылезай, живо!

Мистер Ледбеттер вылез, может быть, и неохотно, но без всяких фокусов и, как ему было приказано, без задержки.

- На колени! - скомандовал толстяк. - Руки вверх!

Полог снова упал за спиной мистера Ледбеттера, и, стоя на коленях, он поднял руки.



- Тоже мне, вырядился священником, - сказал толстяк. - Пропади я пропадом, если нет! Вот ведь попался коротышка, а? Ну ты, мерзавец! Кой черт принес тебя сюда? Кой черт ты залез под мою кровать?

И, не дожидаясь ответа, он тут же стал осыпать оскорблениями мистера Ледбеттера, издеваясь над его внешностью. Сам он тоже был не очень-то высок, зато выглядел куда сильнее мистера Ледбеттера; толщина его ног вполне соответствовала тучности тела; у него было широкое бледное лицо с мелкими тонкими чертами и двойной подбородок. Говорил он вполголоса, с каким-то пришепетыванием.

- Какого черта, говорю я, тебя понесло под мою кровать?

Мистер Ледбеттер с трудом выдавил жалкую, просящую улыбку. Откашлялся.

- Я, конечно, понимаю... - начал он.

- Что? Ах, черт! Мыло? Нет! Не шевели этой рукой, мерзавец!

- Это мыло, - сказал мистер Ледбеттер. - С вашего умывальника. Разумеется, если...

- Молчи, - оказал толстяк. - Вижу, что мыло. Черт знает что!

- Позвольте мне объяснить...

- Нечего объяснять. Соврешь, наверное. Да и времени нет. Так что все-таки я хотел узнать? А! Есть у тебя сообщники?

- Сейчас я все объясню...

- Сообщники есть? Чтоб тебя черт побрал! Начнешь болтать чепуху - стрелять буду.

Сообщники, говорю, есть?

- Нет, - сказал мистер Ледбеттер.

- Заливаешь, небось, - сказал толстяк. - Но ты поплатишься, если соврешь. Какого же дьявола ты зевал и не напал на меня, когда я шел по лестнице? На что ты рассчитывал? Подумать только - залез под кровать! В общем, ты пойман на месте преступления.

- Не знаю, как мне доказать свое alibi, - промолвил мистер Ледбеттер, желая показать, что он человек образованный.

Воцарилось молчание. Мистер Ледбеттер заметил, что на стуле около его мучителя, на груде смятых бумажек, лежит большой черный портфель, а стол засыпан пеплом и клочками бумаги. Зато параллельно краю стола аккуратными рядами стояли столбики желтых монет - в стократ больше золота, чем довелось видеть мистеру Ледбеттеру за всю его жизнь. Две свечи в серебряных подсвечниках освещали этот живописный натюрморт. Молчание длилось.

- Весьма утомительно держать руки вот этак, - сказал мистер Ледбеттер, заискивающе улыбаясь.

- Потерпишь, - сказал толстяк. - Что прикажешь мне все-таки с тобой делать?

- Я знаю, что положение мое двусмысленно.

- О господи! - воскликнул толстяк. - Подумать: двусмысленно! Шляется здесь со своим собственным мылом и носит этаким высоченным клерикальный воротник! Ты проклятый вор, такого еще свет не видывал!..

- Чтобы быть абсолютно точным... - начал мистер Ледбеттер, и вдруг очки его соскочили и звякнули о пуговицы жилета.

На изменившемся лице толстяка вспыхнула яростная решимость, и в револьвере что-то щелкнуло. Он положил на него другую руку. Потом посмотрел на мистера Ледбеттера и кинул взгляд на упавшие очки.

- Ну, теперь-то он взведен, - сказал толстяк после паузы и перевел дыхание. - Но знаешь, скажу я тебе, никогда ты не был так близко от смерти, как сейчас. Бог ты мой! А я даже рад. Твое счастье, что была осечка, а то здесь уже лежал бы твой труп.

Мистер Ледбеттер промолчал, но комната будто закачалась вокруг него.

- Что ж подделаешь! Хорошо, что так вышло. Нам же обоим лучше. О господи! - Толстяк шумно вздохнул. - И чего ты позеленел от такой-то ерунды?

- Я заверяю вас, сэр... - пролепетал мистер Ледбеттер.

- Остается одно. Если заявить в полицию, пиши пропало: дельце, которое я затеял, лопнет. Это не годится. Если связать тебя и бросить здесь, все равно завтра все откроется. Завтра воскресенье, а в понедельник банк не работает, - я рассчитывал как раз на свободные три дня. Застрелить тебя - пахнет убийством, за это по головке не погладят. И это загубит все дело. Будь я проклят, если я знаю, что с тобой делать, - да, будь я трижды проклят!

- Если вы мне позволите...

- Ты болтаешь, будто и впрямь священник, пропади я пропадом, если нет. Из всех воров ты... Ну ладно! Нет, все равно не позволю! Нет времени. Если снова начнешь трепаться, я всажу тебе пулю прямо в живот. Ясно? Придумал, придумал! Сначала мы сделаем вот что: обобщем тебя, дружок, обобщем - нет ли оружия, - да, всего обобщем! И слушай! Когда я велю тебе сделать что-нибудь, не разводи антимонии, а делай, да поживее!

И, не отводя из предосторожности револьвера от виска мистера Ледбеттера, толстяк велел ему встать и обыскал.

- Настоящий грабитель, как бы не так! - заключил он. - Да ты же типичный любитель. У тебя даже заднего кармана нет. Замолчи! И немедленно!

И как только вопрос был решен, мистер Ледбеттер по приказанию толстяка снял сюртук, засучил рукава и с револьвером у виска продолжил сборы, прерванные его появлением. С точки зрения толстяка, это был единственно возможный выход, ибо, если бы он занялся этим сам, ему пришлось бы выпустить из рук револьвер. Так что даже золото на столе было упаковано руками мистера Ледбеттера. Довольно оригинально выглядели эти ночные сборы. Толстяк непременно хотел разложить золото так, чтобы вес его равномерно и незаметно распределился по всему багажу. Нет сомнений, рассказывал мистер Ледбеттер, что вес этот был довольно основательный. На столе и в черном портфеле лежало около 18 тысяч фунтов золотом. Было и много маленьких пачек из пятифунтовых банкнот. Каждую пачку в 25 фунтов мистер Ледбеттер завертывал в бумагу. Эти пачки, аккуратно уложенные в сигарные коробки, разместились в дорожном багаже, кожаном саквояже и шляпной картонке. Около 600 фунтов отправлялось в путь в табачной жестянке и несессере. Десять фунтов золотом и несколько пятифунтовых бумажек толстяк рассовал по карманам. Время от времени он пенял мистеру Ледбеттеру за медлительность, торопил его и спрашивал, который час.

Мистер Ледбеттер перетянул ремнями саквояж и чемодан и вернул ключи толстяку. Было уже без десяти двенадцать, и часы еще не пробили полночь, когда толстяк усадил его на саквояж на почтительном от себя расстоянии, а сам поместился на чемодане с револьвером наготове и ждал. Его воинственное настроение как будто улеглось, и он некоторое время присматривался к мистеру Ледбеттеру, а потом поделился с ним некоторыми своими соображениями.

- По твоему произношению я думаю, что ты из образованных, - сказал он, раскуривая сигару. - Нет, ты уж лучше помолчи. Я по твоей физиономии вижу, что ты зануда и ничего путного не расскажешь, а ведь я сам такой старый враль, что чужое вранье меня не интересует. Так вот, говорю я, ты образованный человек. Ты это ловко придумал, что оделся священником. Ты сойдешь за священника даже среди образованных.

- Да я и есть священник, - сказал мистер Ледбеттер, - или по крайней мере...

- ...ты им прикидываешься. Меня не проведешь. Но ты не должен воровать. Не такой ты человек, чтоб воровать. Ты же просто трус, если можно так выразиться, - говорили тебе об этом раньше?

- Видите ли, - сказал мистер Ледбеттер, в последний раз стараясь завязать разговор, - именно это и интересовало меня...

Толстяк отмахнулся от него.

- Ты ведь зря загубишь свое образование, если будешь воровать. Ты выбери одно из двух: или занимайся подлогом, или хапай чужие деньги. Я лично хапаю. Да, именно хапаю. Откуда, ты думаешь, у меня это золото? А! Слышишь? Полночь!.. Десять. Одиннадцать.

Двенадцать. Меня всегда необычайно волнует этот медленный бой часов. Время - пространство... Сколько в них тайн! Почему тайны?.. Однако нам пора. Вставай.

И вежливо, но твердо он заставил мистера Ледбеттера повесить через плечо несессер на веревке, взвалить на спину чемодан и, невзирая на его глухие протесты, взять в свободную руку саквояж. Навьюченный донельзя, мистер Ледбеттер с опасностью для жизни начал спускаться по лестнице. Толстяк следовал за ним с пальто, шляпной картонкой и револьвером, отпуская язвительные замечания по поводу физической силы мистера Ледбеттера и помогая ему на лестничных поворотах.

- Валяй к черному ходу, - распорядился он, и мистер Ледбеттер, шатаясь, прогрохотал через оранжерею, оставляя в кильватере разбитые цветочные горшки. - Плевать на них, - сказал толстяк. - Это к счастью. Подождем тут до четверти первого. Можешь поставить вещи. Ну!

Мистер Ледбеттер, задыхаясь, рухнул на чемодан.

- Ведь только прошлой ночью, - выдохнул он, - я спал в своей маленькой комнатке, и мне и не снилось...

- Не к чему заниматься самобичеванием, - сказал толстяк, поглядывая на револьвер. Он замурлыкал себе под нос. И мистер Ледбеттер и тут не воспользовался предоставленной возможностью для объяснений.

Потом зазвенел колокольчик, и мистера Ледбеттера послали открыть дверь черного хода. Вошел блондин в костюме яхтсмена. Увидев мистера Ледбеттера, он страшно вздрогнул и хлопнул себя по заднему карману. Тут он заметил толстяка.

- Бингем! - воскликнул он. - Кто это?

- А я тут немножко занимаюсь филантропией: стараюсь перевоспитать этого грабителя. Только что поймал его: сидел под моей кроватью. Он ничего себе. Трусливый осел. Поможет нам, понесет вещи.

Сначала присутствие мистера Ледбеттера как будто встревожило блондина, но толстяк успокоил его:

- Да он один. Ни одна банда на свете не станет с ним связываться. Нет!.. Ради бога, ни слова, помалкивай!

Они вышли в темный сад. Чемодан по-прежнему покачивался на плечах мистера Ледбеттера. Человек в костюме яхтсмена шел впереди с саквояжем и револьвером, за ним - мистер Ледбеттер, нагруженный, как Атлас; шествие, как и прежде, замыкал мистер Бингем - с шляпной картонкой, пальто и револьвером. Вилла эта была из тех, где сады поднимаются по отвесной скале. Крутая деревянная лестница спускалась оттуда к купальне, смутно видневшейся на берегу. Внизу на привязи болталась лодка, а рядом стоял молчаливый маленький человек со смуглым лицом.

- Минуту! Я все объясню, - сказал мистер Ледбеттер. - Уверю вас...

Кто-то дал ему пинка, и он умолк.

Они заставили его идти вброд с чемоданом до самой лодки, они втащили его на борт за волосы, они всю ночь напролет называли его не иначе, как "мерзавец" и "грабитель". Но говорили они вполголоса, так что, если бы рядом и случился посторонний, он не заметил бы позора бедняги. Они привезли его на яхту, команда которой состояла из странных, подозрительных азиатов, и не то столкнули его с трапа, не то он упал сам, но он оказался в зловонной, темной дыре, где пробыл много дней, сам не зная сколько, потому что потерял счет времени, когда у него началась морская болезнь. Они угощали его сухарями и непонятными словами, они поили его водой с ромом, которого он не выносил. И там бегали тараканы, тараканы днем и ночью, а по ночам вдобавок и крысы. Азиаты очистили его карманы и забрали часы, но мистер Бингем восстановил справедливость, взяв часы себе. И пять или шесть раз корабельная команда: пять ласкаров (если они были ласкарами), китаец и негр - выуживала его из этой дыры и доставляла к Бингему с приятелем, чтобы он составил им партию в бридж, в юкр и в вист и слушал их рассказы и бахвальство, притворяясь, что ему очень интересно.

Кроме того, его принципы разговаривали с ним, как с закоренелым преступником. Они не позволяли ему и слова сказать в свое оправдание и все время давали понять, что никогда не видели столь отъявленного грабителя. Они без конца твердили это. Блондин был по характеру молчалив, но вспыльчив во время игры; зато оказалось, что мистер Бингем, заметно оживившийся после отъезда из Англии, не чужд жизнерадостной философии. Он распространялся о тайне пространства и времени и цитировал Канта и Гегеля или по крайней мере утверждал, что цитирует. Несколько раз мистер Ледбеттер пытался заговорить: "Видите ли, то, что я оказался под вашей кроватью...", - но его сразу обрывали приказанием то снять колоду, то передать виски или еще что-нибудь. После третьей неудачной попытки мистера Ледбеттера блондин стал относиться к этому вступлению вполне безучастно и, едва слышав его снова, разражался хохотом и со всей силой хлопал по спине мистера Ледбеттера.

- И начало старое и история старая, - эх ты, добрый старый грабитель! - приговаривал блондин обычно.

Так мистер Ледбеттер мучился много дней, возможно, двадцать, и однажды вечером его погрузили в лодку вместе с несколькими банками консервов и отвезли на маленький островок, где протекал ручей. Мистер Бингем сел в лодку вместе с ним, всю дорогу давал ему добрые советы и окончательно отклонил его последние попытки объясниться.

- Да ведь я совсем не вор, - сказал мистер Ледбеттер.

- Ты не будешь им никогда, - отвечал мистер Бингем. - Не быть тебе вором. Я рад, что ты начинаешь понимать это. Когда выбираешь профессию, надо учитывать свой характер. Если нет, не жди удачи. Вот я, например. Вся свою жизнь я провел в банках. Там я и пошел в гору. Я был даже директором банка. Но был ли я счастлив? Нет. А почему? Потому что это было не в моем характере. У меня слишком романтическая натура, я чересчур непостоянен. Так что фактически я это дело бросил. Вряд ли я еще когда-нибудь стану директором банка. Меня, конечно, были бы рады взять обратно - еще бы! Но теперь уж я знаю свой характер... С этим покончено! Больше я в банк ни ногой!

И так же, как не подходит мой характер для такого почтенного занятия, твой не подходит для преступления. Теперь я пригляделся к тебе получше и не советую заниматься даже подлогом. Вернись-ка ты, приятель, на путь истинный. Ведь твое призвание - филантропия, вот какое у тебя призвание. С твоим голосом тебе самое место в какой-нибудь Ассоциации Содействия Возвращению Заблудшей Молодежи на Стезю Добродетели или что-нибудь в этом роде. Поразмысли-ка над этим.

У острова, к которому мы подплываем, как будто нет никакого названия, - во всяком случае, на карте он не значится. На досуге ты можешь сам придумать ему название: у тебя там будет вдоволь времени подумать о всякой всячине. Насколько я знаю, вода там вполне пригодна для питья. Это один из Гренадинских островов - из Уордсуортской группы. Вон там, в тумане, синют остальные Гренадины. Вообще-то их видимо-невидимо, но отсюда разве углядишь? Раньше я часто думал: для чего созданы эти острова? Как видишь, теперь я знаю зачем. К примеру, этот вот остров - для тебя. Со временем тебя вызволит отсюда какой-нибудь абориген. Тогда говори о нас что хочешь, ругай нас последними словами - нам-то что! Возьми вот полсоверена. Не бросай их на ветер, когда вернешься к цивилизации. Если ты потратишь их с умом, ты сможешь начать новую жизнь. И не... Да не причаливайте вы, проходимцы, он доберется вброд!.. Послушай, не растрачивай драгоценного одиночества на дурацкие мысли. Это одиночество может в корне изменить твою жизнь. Береги деньги и время. Ты умрешь богачом. Сожалею, но консервы тебе придется нести в руках. Нет, тут неглубоко. Да провались ты со своими объяснениями! Нет времени! Нет, нет, нет! И слушать не хочу! Полезай за борт!

И когда наступила ночь, мистер Ледбеттер, тот самый, который когда-то так горько сетовал на недостаток приключений, сейчас сидел возле своих консервных банок, уткнувшись подбородком в колени, и покорно взирал сквозь очки на сияющее пустынное море.

Через три дня его обнаружил там рыбак-негр и отвез на остров св.Викентия, а оттуда, истратив последние гроши, он переправился в Кингстон, на Ямайку. И там бедняга окончательно запутался. Даже теперь он совершенно неделовой человек, а тогда он совсем не знал, что же ему делать. Единственное, на что он решился, - обойти всех тамошних священников, чтобы одолжить денег на дорогу домой. Но он был так грязен и оборван, а рассказы его так фантастичны, что ему никто не верил. Я встретил его случайно. Солнце уже заходило, когда он попался мне на дороге, ведущей к старому форту, где я прогуливался после сиесты; на его счастье, мне было скучно, и я никуда не собирался вечером. Он уныло тащился к городу. Меня заинтересовали его убитое горем лицо и кой-какие остатки пыльной одежды, напоминавшие о священническом сане. Наши взгляды встретились. Он заколебался.

- Сэр, - сказал он, переводя дыхание, - не можете ли вы уделить мне несколько минут, хотя я боюсь, что мой рассказ покажется вам невероятным?

- Невероятным? - повторил я.

- Да, - быстро ответил он. - Никто ему не верит, да и сам я тоже. Но уверяю вас, сэр...

Он беспомощно смолк. Тон его пришелся мне по душе. Этот человек показался мне чудачком.

- Перед вами, - сказал он, - самое несчастное существо на свете.

- Ну, к тому же вы, вероятно, не обедали? - догадался я.

- Да, - мрачно ответил он, - вот уже много дней.

- Так после обеда и расскажете, - сказал я и без лишних слов повел его в одно местечко, где, я знал точно, его костюм не мог никого шокировать. Там я и узнал его историю, правда, с некоторыми пропусками, которые он впоследствии восполнил. Сначала я тоже не поверил, но вино разгорячило его, легкий налет угодничества - следствие его злоключений - исчез, и я поверил. Я был настолько убежден в его искренности, что оставил его ночевать у себя и заверил на следующий день у своего ямайского банкира банковскую справку, которую он дал мне. И - что же поделаешь? - пришлось купить ему белье и прочую одежду, необходимую для человека без определенных занятий. Потом прибыла заверенная справка. Его потрясающая история оказалась правдой. Не буду останавливаться на дальнейшем. Он отбыл в Англию через три дня.

"Вы не можете представить, как я благодарен вам за доброту, с которой вы отнеслись к совершенно незнакомому человеку, - так начиналось письмо, полученное мною из Англии; дальше шло в том же духе. - Если бы не ваша великодушная помощь, я непременно опоздал бы к началу школьных занятий, и та минутная глупость, наверное, погубила бы меня окончательно. А теперь я безнадежно запутался в собственной лжи, к которой мне пришлось прибегнуть, чтобы объяснить, где я пропадал и откуда у меня такой черный загар. По легкомыслию я выдумал две или три истории, нисколько не представляя, чем это мне грозит. Я не осмеливаюсь сказать правду. В Британском музее я просмотрел несколько юридических справочников, и теперь нет никаких сомнений, что я "потворствовал", "содействовал" и "помогал" уголовному преступлению. Я узнал, что этот мерзавец Бингем был директором Хизергейтского банка и теперь обвиняется в огромнейшем хищении. Пожалуйста, прошу вас, сожгите это письмо сразу же по прочтении - я всецело доверяю вам. Хуже всего то, что ни моя тетя, ни хозяин пансиона, в котором я остановился, не верят ни единому моему слову. Они подозревают меня в чем-то позорном, но я не знаю, в чем именно. Тетя говорит, что простит меня, если я расскажу ей все. Но ведь я рассказал ей все, и даже \_больше\_, чем все, а она не верит. Конечно, им незачем знать, с чего все началось, и я представляю дело так, будто бы меня подстерегли на берегу я заткнули рот кляпом. Ну, а тетя желает знать, \_почему\_ меня подстерегли и заткнули рот кляпом и почему меня увезли на яхте. Не знаю, что ей сказать. Не придумаете ли вы какое-нибудь объяснение? Я уже совершенно отупел. И еще я хочу попросить вас об одной огромной услуге: если вы будете отвечать мне, возьмите, пожалуйста, два листка бумаги и на одном из них напишите такое письмо, чтобы из



него стало ясно, что я действительно был на Ямайке этим летом и что меня привезли туда на яхте, - я покажу это письмо тете. Я и без того в неоплатном долгу перед вами и просто не знаю, смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас..." и тому подобное. В заключение он повторял просьбу сжечь это письмо.

На этом и кончается удивительный рассказ о каникулах мистера Ледбеттера. Его размолвка с теткой продолжалась недолго. Старая дама простила его перед смертью.

## ***Препарат под микроскопом***

Пер. - И.Линецкий.

За окнами лаборатории висела влажная белесая пелена тумана, а внутри было жарко натоплено, и расставленные по концам длинных узких столов газовые лампы с зелеными абажурами заливали комнату желтым светом. На столах красовались стеклянные банки с останками искромсанных раков, моллюсков, лягушек и морских свинок, на которых практиковались студенты; вдоль стены против окон тянулись полки с обесцвеченными заспиртованными препаратами; над ними висел ряд превосходно исполненных анатомических рисунков в светлых деревянных рамах, а под ними кубиками выстроились в ряд шкафчики. Все двери лаборатории были выкрашены в черный цвет и служили классными досками; на них виднелись оставшиеся со вчерашнего дня полустертые чертежи и диаграммы. В лаборатории было пусто - если не считать демонстратора, который сидел за микротомом [прибор для получения срезов тканей, животных и растений] у дверей препараторской, - и тихо, если не считать негромкого ритмичного постукивания и щелканья микротомом. Однако разбросанные вокруг вещи говорили о том, что здесь только что побывали студенты: повсюду лежали портфели, блестящие футляры с инструментами, на одном столе большая таблица, прикрытая газетой, на другом - изящно переплетенный экземпляр "Вестей ниоткуда", книги, которая совершенно не вязалась с окружающей обстановкой. Все это в спешке оставили студенты, когда, заглянув на минутку в лабораторию, они бросились в соседний лекционный зал занимать места. Оттуда, из-за плотно притворенных дверей, едва доносился монотонный голос профессора.

Сквозь закрытые окна слышался приглушенный бой башенных часов: одиннадцать. Щелканье микротомом стихло; демонстратор посмотрел на часы, встал, заложил руки в карманы и не спеша пошел к дверям лекционного зала. Здесь он на мгновение остановился, прислушался, и тут взгляд его упал на томик Уильяма Морриса. Он взял книгу, посмотрел на заголовок, усмехнулся, раскрыл ее, прочел имя владельца на титульном листе, полистал и положил на место. Почти в ту же минуту мерное бормотание лектора вдруг прекратилось, из лекционного зала слышался стук карандашей, брошенных на пюпитры, шарканье ног и разноголосый гул. Затем чьи-то уверенные шаги приблизились к двери, она слегка приоткрылась, да так и осталась: по-видимому, какой-то вопрос задержал того, кто хотел войти.

Демонстратор повернулся, медленно прошел мимо микротомом и скрылся в дверях препараторской. Тем временем из лекционного зала с тетрадами в руках начали выходить студенты. Некоторые сразу прошли к своим столикам, а несколько человек собрались в кучку у самой двери. Это была чрезвычайно разношерстная публика, так как, пока Оксфорд и Кембридж упорно противились робким предложениям допустить в их стены представителей низших классов. Колледж оф Сайенс успел на много лет опередить Америку и в социальном отношении представлял собой весьма пеструю картину; кроме того, колледж пользовался большой популярностью и, раздавая стипендии еще более щедро, чем шотландские университеты, широко открывал свои двери студентам всех возрастов и состояний.

На этом курсе был двадцать один студент, но многие задержались в лекционном зале, чтобы задать вопросы профессору, срисовать с доски диаграммы, пока их не стерли, или

получше рассмотреть препараты, которые демонстрировались на лекции. В числе девяти человек, вошедших в лабораторию, были три девушки; одна из них, миловидная, хрупкая блондинка в очках, одетая в зеленовато-серое платье, остановилась у окна, всматриваясь в туман, а остальные две, здоровые, некрасивые девицы, развернули и надели коричневые полотняные передники, в которых они обычно препарировали. Двое мужчин также прошли к своим местам - бледный чернобородый человек, бывший портной, и красивый, румяный юноша лет двадцати, в хорошо сшитом коричневом костюме - молодой Уэддерберн, сын известного окулиста Уэддерберна. Остальные столпились у дверей лекционного зала; крошечный горбун в очках уселся на гнутый деревянный табурет, двое других - невысокий молодой брюнет и светловолосый юноша с красным лицом - прислонились к фаянсовой раковине, а четвертый остановился против них; он-то и говорил больше всех.

Фамилия его была Хилл. Это был крепко сколоченный двадцатилетний парень с бледным лицом, темно-серыми глазами, волосами неопределенного цвета и с крупными неправильными чертами лица. Он глубоко засунул руки в карманы и разговаривал слишком громко. Воротничок у него был обтрепан и плохо накрахмален, костюм явно куплен в магазине готового платья, а на одном башмаке сбоку, у самого носка, красовалась заплатка. Разговаривая и слушая собеседников, он непрестанно оглядывался на дверь лекционного зала. Они обсуждали неутешительный вывод только что прослушанной лекции, завершающей курс "Введение в зоологию". "Выйти из яйца, чтобы создать яйцо, - вот единственный смысл существования высших позвоночных", - меланхолически закончил лектор, изящно закруглив, таким образом, свой беглый очерк сравнительной анатомии. Горбун в очках с шумным восхищением повторил эти слова, адресуясь к светловолосому студенту и подстрекая его начать одну из тех бестолковых, расплывчатых и всеобъемлющих дискуссий, которые почему-то так милы сердцу всякого студента.

- Быть может, таково и наше предназначение, - ответил светловолосый, принимая вызов. - С точки зрения науки. Но ведь есть нечто превыше ее.

- Наука - это знание, приведенное в систему, - безапелляционно сказал Хилл. - Идеи, которым нет места в системе, никому не нужны. - Он сам не понимал, дельная это мысль или глупость, пока не убедился, что слушатели приняли его слова всерьез.

- Никак не возьму в толк, - сказал горбун, обращаясь ко всем сразу, - каковы взгляды Хилла: материалист он или нет.

- Превыше материи есть только одно, - не задумываясь, ответил Хилл, уверенный, что на этот раз попадет в точку; кроме того, он чувствовал, что в дверях, за его спиной, кто-то стоит, и слегка повысил голос, чтобы вошедшая студентка его услышала. - И это одно - иллюзия, будто существует нечто превыше материи.

- Наконец-то вы обнародовали свое кредо, - сказал светловолосый. - Стало быть, это просто иллюзия? Все наши старания жить по-человечески, а не по-собачьи, все наши труды и поиски высшего начала - все ни к чему? До чего же вы, однако, непоследовательны! Взять хоть этот ваш социализм. Почему вас так волнуют судьбы человечества? Что вам за дело до нищих на улице? Зачем вы подсовываете эту книжонку, - он указал кивком головы на Уильяма Морриса, - всем и каждому у нас в лаборатории?

- Девушка, - шепнул горбун, смущенно оглядываясь.

Темноглазая девушка в темном платье вошла в лабораторию со свернутым передником в руке и остановилась по другую сторону стола, наблюдая через плечо за собеседниками и прислушиваясь к спору. Не обращая внимания на горбуна, она переводила взгляд с Хилла на его собеседника. Хилл постарался сделать вид, что не замечает ее, и выдал себя только тем, что подчеркнуто не обращал на нее внимания; впрочем, она сразу поняла его игру, и это было ей приятно.

- Не понимаю, - сказал Хилл, - почему человек должен жить, как свинья? Только потому, что ему не дано прожить больше ста лет и он не знает, есть ли на свете что-нибудь выше материи.

- А почему бы и нет? - спросил светловолосый.

- А почему да? - сказал Хилл.

- Какая ему выгода, если он не будет свиньей?

- Вот все вы, религиозные люди, таковы. Вам обязательно подавай выгоду. Разве нельзя добиваться справедливости ради справедливости?

Они замолчали. Потом светловолосый нерешительно ответил, явно стараясь выиграть время:

- Ну, видите ли... выгода... когда я говорю о выгоде...

Но тут горбун пришел ему на выручку, задав Хиллу вопрос. Он был совершенно невыносим в спорах, так как вечно приставал с вопросами, которые всякий раз сводились к требованию всему дать определение.

- А как вы определяете справедливость? - спросил он на этот раз.

Хилл вышел было из себя, но тут, как по заказу, подоспела помощь в лице демонстратора Брукса, который притащил из препараторской несколько только что убитых морских свинок, держа их за задние лапки.

- Вот и последняя порция материала в этом семестре, - сказал юноша, который до сих пор молчал.

Брукс обошел лабораторию, швыряя по паре свинок на каждый стол. Остальные студенты, издали учуяв поживу, повалили из лекционного зала, толкаясь в дверях. Спор сразу прекратился, так как каждый старался первым добраться до своего стола, чтобы выбрать тушку получше. Зазвякали ключи, из шкафчиков появились инструменты для препарирования. Хилл уже стоял у своего стола; из кармана у него торчал футляр с набором скальпелей. Девушка в темном подошла ближе и, перегнувшись через стол, мягко сказала:

- Я вернула вашу книгу, мистер Хилл. Вы видели?

Хилл с самого начала отлично знал, что девушка тут, и видел книгу; тем не менее он сделал неуклюжую попытку притвориться, что заметил ее только теперь.

- Ах, да, - сказал он, взяв книгу со стола. - Вижу. Вам понравилось?

- Мне хотелось бы как-нибудь поговорить с вами о ней.

- Разумеется, - сказал Хилл. - С удовольствием. - Он смущенно запнулся. - Вам понравилась книга?

- Книга удивительная. Только я не все поняла.

Вдруг послышалось нечто вроде ослиного рева, и студенты притихли. Это подал голос демонстратор. Он стоял у доски, собираясь приступить к обычным объяснениям, и, чтобы водворить тишину, по своему обыкновению, не то гудел, как труба, не то громко откашливался. Девушка в темном проскользнула между столами к своему месту, прямо перед местом Хилла, а Хилл, сразу же забыв о ней, достал из ящика записную книжку, торопливо перелистал ее, извлек из кармана огрызок карандаша и приготовился делать подробные заметки во время предстоящей демонстрации. Ибо демонстрации и лекции - это библия студента. Что же касается книг, то, если не считать трудов вашего профессора, можно - и даже рекомендуется - обходиться без них.

Хилл был сыном лендпортского сапожника, и ему посчастливилось получить государственную стипендию, случайно попавшую в распоряжение Лендпортского технического колледжа. Теперь он жил в Лондоне на двадцать один шиллинг в неделю и находил, что при должной бережливости этой суммы хватает не только на пропитание, но и на одежду (то есть изредка на целлулоидный воротничок), на чернила, иголки, нитки и тому подобные мелочи, необходимые городскому жителю. Он учился в Лондоне первый год и готовился к первой экзаменационной сессии, но его отец, старик с землистым лицом, так хвастался своим "сыном-профессором", что успел до смерти надоесть завсегдатаям всех лендпортских пивных. Хилл был энергичный юноша, исполненный невозмутимого презрения к духовенству всех сект и вероисповеданий, а также благородного стремления переделать мир. Он был уверен, что стипендия откроет перед ним блестящие перспективы. В семь лет он научился читать и с тех пор неутомимо читал без разбора все, что попадалось под руку. Его жизненный опыт не выходил за пределы острова Портси и был приобретен

главным образом в оптовом обувном складе, где он некоторое время работал после окончания семи классов городской школы. Несомненные ораторские способности Хилла получили полное признание в студенческом дискуссионном клубе, собрания которого происходили в металлургической аудитории первого этажа, среди дробильных машин и макетов рудников; когда он брал слово, аудитория неизменно встречала его оглушительным грохотом пюпитров. Он был как раз в том возрасте, когда люди особенно впечатлительны, когда жизнь расстилается у их ног, точно просторная долина в конце узкого ущелья, долина, полная удивительных открытий и волнующих подвигов. К тому же он понятия не имел о собственной ограниченности и считал, что ему не хватает лишь знания французского языка и латыни.

Сперва его интересы распределились поровну между занятиями биологией в колледже и социальными и богословскими проблемами, к которым он относился с величайшей серьезностью. По вечерам, после закрытия библиотеки большого музея, он возвращался в Челси, садился на кровать в своей каморке и, накинув пальто и намотав на шею шарф, переписывал конспекты лекций или изучал протоколы вскрытий; потом Торп вызывал его свистком (к жильцам мансарды хозяйка посетителей не пускала), и они шли бродить по мокрому, блестящим под лучами газовых фонарей улицам и вели беседы в описанном выше духе: о существовании бога, о справедливости, о Карлейле и о преобразовании общества. В пылу спора Хилл обращался не только к Торпу, но и к случайным прохожим и порой терял нить аргументов, заглядевшись на хорошенькое, накрашенное личико и поймав на лету многозначительный взгляд.

Наука и Справедливость! Впрочем, не так давно в его жизни появился третий интерес, и он сам стал замечать, что мысль его то и дело перескакивает с судьбы мезобластических сомитов и возможных объяснений бластопоры [отверстие у зародыша животного организма, посредством которого его полость сообщается с окружающей средой] к темноглазой девушке, сидевшей в лаборатории впереди него.

Она в отличие от него платила за обучение; чтобы поговорить с Хиллом, ей приходилось снисходить до него, спускаться с невообразимых социальных высот. У Хилла душа уходила в пятки при мысли о воспитании, которое она, вероятно, получила, и об изысканности ее манер. Сперва она обратилась к нему по поводу каких-то неясностей в строении черепной коробки кролика, и тут он обнаружил, что, по крайней мере когда дело касается биологии, ему не приходится краснеть. Потом они, как и все молодые люди, которым нужен только первый толчок, перешли к общим темам, и пока Хилл донимал ее своими социалистическими идеями (какой-то инстинкт удержал его от прямых нападков на религию), она собиралась с силами, чтобы взяться за его эстетическое воспитание, как она это про себя называла. Она была годом или двумя старше его, что, впрочем, никогда не приходило ему в голову.

"Вести ниоткуда" послужили началом взаимного обмена книгами. У Хилла был нелепый принцип "не тратить времени" на стихи; с ее точки зрения, это было ужасным недостатком. Как-то в перерыве между лекциями ей случилось встретиться с ним с глазу на глаз в маленьком анатомическом музее, где рядами стояли скелеты; он был один и стыдливо ел в сторонке булочку - свой обычный завтрак. Мисс Хейсман ушла, но тотчас же вернулась и с несколько таинственным видом подала ему томик Браунинга. Стоя к ней боком, он неуклюже взял книгу левой рукой, так как правая была занята булкой. Впоследствии он вспоминал, что слова его при этом прозвучали не очень внятно и не так непринужденно, как ему хотелось бы.

Это случилось после экзамена по сравнительной анатомии, накануне того дня, когда служащие наглухо заперли двери колледжа, а студенты разъехались на рождественские каникулы. Зубрежка и возбуждение перед первым испытанием временно оттеснили на задний план все остальные интересы Хилла. Как и другие студенты, он строил догадки о результатах экзаменов и с удивлением заметил, что никто не считает его возможным претендентом на Гарвеевскую юбилейную медаль [учреждена в честь Гарвея Уильяма (1578-1657), основоположника научной физиологии], присуждение которой определялось

исходом этого и еще двух экзаменов. Примерно в это же время Хилл начал замечать, что Уэддерберн, на которого он до тех пор почти не обращал внимания, становится его соперником. За три недели до экзаменов Хилл и Торп по обоюдному согласию прекратили ночные прогулки, а квартирная хозяйка объявила Хиллу, что за обычную плату она не в состоянии доставлять ему такую уйму керосина. После занятий в колледже он бродил по улицам, вооружившись узенькими листками бумаги, на которых были перечислены органы раков, черепные кости кроликов, позвоночные нервы и прочее, и зубрил все это до тех пор, пока не стал в конце концов настоящим бедствием для встречающих прохожих.

Потом наступила естественная реакция, и его рождественские каникулы были целиком заполнены стихами и темноглазой девушкой. Еще необъявленные результаты экзамена настолько отошли на задний план, что Хилл просто не понимал отцовского волнения. Все равно учебника сравнительной анатомии в Лендпорте не было, а покупать книги Хилл по бедности не мог. Зато в библиотеке был неисчерпаемый запас стихов, и он с жадностью на них накинудся. Он растворился в убаюкивающих строфах Лонгфелло и Теннисона, почерпнул твердость в Шекспире, нашел родственную душу в Попе и учителя в Шелли и не поддавался завлекающим голосам таких сирен, как Элиза Кук и миссис Хименс [Кук, Элиза (1818-1889) - английская писательница, издатель журнала для семейного чтения; Хименс (1793-1835) - английская поэтесса, автор чувствительных стихов]. Только Браунинга он больше не читал, так как надеялся получить остальные томики в Лондоне у мисс Хейсмен.

Возвращаясь в колледж после каникул, он нес первый томик в своем лоснящемся черном портфеле, а ум его был занят множеством весьма тонких мыслей и соображений о поэзии вообще. Разумеется, он сразу же сочинил на эту тему небольшую речь, а потом и еще одну, поменьше, чтобы украсить церемонию возвращения книги ее владелице. Утро выдалось редкостное для Лондона: было морозно и ясно, легкая дымка смягчала контуры предметов, с безоблачного голубого неба лились теплые лучи солнца; пробиваясь между громадами домов, они одели в янтарь и золото солнечную сторону улицы. В холле колледжа Хилл снял перчатки и расписался, но пальцы его так ооченели, что характерный росчерк, который он себе выработал, превратился в какие-то зигзаги. Образ мисс Хейсмен не покидал его-ни на минуту. На площадке лестницы он увидел толпу у доски объявлений. Может быть, это список биологов? Мгновенно позабыв о Браунинге и о мисс Хейсмен, Хилл устремился в самую гущу. Он кое-как протолкался к списку и, прижавшись щекой к рукаву человека, который стоял ступенькой выше, прочел:

#### РАЗРЯД I

Х.Дж.Сомерс Уэддерберн

Уильям Хилл

а дальше следовал второй разряд, который нас сейчас не интересует. Примечательно, что он даже не потрудился разыскать имя Торпа в списках физического отделения, а сразу же выбрался из давки и стал подниматься по лестнице со странным смешанным чувством презрения к остальному второразрядному человечеству и острой досады на Уэддерберна. Наверху, в коридоре, когда он вешал пальто, демонстратор зоологического кабинета, недавно окончивший Оксфорд и в душе считавший Хилла крикуном и "зубрилой", каких свет не видывал, обратился к нему с самыми сердечными поздравлениями.

Остановившись на минуту у дверей, чтобы перевести дыхание, Хилл вошел в лабораторию. Окинув комнату взглядом, он увидел, что все пять студенток уже сидят на своих местах, а Уэддерберн - еще недавно такой застенчивый Уэддерберн - непринужденно прислонился к подоконнику и, поигрывая кистями штор, беседует со всеми пятерыми сразу. Конечно, у Хилла хватило бы смелости и даже самоуверенности на то, чтобы завязать разговор с одной девушкой; он не смутился бы, даже если бы ему пришлось произнести речь в комнате, битком набитой девицами. Но он отлично понимал, что так свободно и уверенно держать себя, так легко парировать выпады собеседников ему было бы не по плечу. Только что, поднимаясь по лестнице, он готов был отнестись к Уэддерберну великодушно, пожалуй, даже с некоторым



восхищением и открыто и сердечно пожать ему руку, как противнику, с которым провел всего только один раунд. Однако до рождества Уэддерберн ведь никогда не заводил бесед в этом конце комнаты. Туман легкого возбуждения, окутывавший Хилла, вдруг сгустился в чувство острой неприязни к Уэддерберну. Вероятно, это отразилось на его лице. Когда он подошел к своему месту, Уэддерберн небрежно кивнул ему, а остальные переглянулись. Мисс Хейсмен бросила на него мимолетный взгляд и отвела глаза.

- Не могу согласиться с вами, мистер Уэддерберн, - сказала она.

- Поздравляю вас с первым разрядом, мистер Хилл, - сказала девушка в очках, поворачиваясь к нему и приветливо улыбаясь.

- Пустяки, - сказал Хилл, не спуская глаз с Уэддерберна и мисс Хейсмен, разговаривавших между собой, и сгорая от желания узнать, о чем они между собой говорят.

- Мы, жалкие второразрядники, смотрим на это иначе, - сказала девушка в очках.

О чем это там рассказывает ей Уэддерберн? Что-то об Уильяме Моррисе! Хилл не ответил девушке в очках, и улыбка на ее лице погасла. Ему было плохо слышно, и он никак не мог придумать, как бы "влезть" в их разговор. Проклятый Уэддерберн! Хилл уселся, открыл портфель и хотел было сразу же, на глазах у всех, отдать мисс Хейсмен томик Браунинга, но вместо этого вынул новую тетрадь для сокращенного курса элементарной ботаники, который студенты должны были прослушать в январе и феврале. И сразу же в дверях лекционного зала появился полный, грузный человек с бледным лицом и водянисто-серыми глазами - профессор ботаники Биндон, который приехал на два месяца из Кью; молча потирая руки и благодушно улыбаясь, он прошелся по лаборатории.

В течение ближайших шести недель Хилл испытал целый комплекс внезапных и новых для него эмоциональных потрясений. Внимание его было сосредоточено главным образом на Уэддерберне, о чем мисс Хейсмен и не подозревала. Она сказала Хиллу (в сравнительном уединении музея, где происходили их свидания, они много говорили о социализме, о Браунинге и общих проблемах), что встретила с Уэддерберном у знакомых и что "у него наследственная одаренность: ведь известный Уэддерберн, крупный специалист по глазным болезням, - его отец".

- Мой отец - сапожник, - ни с того ни с сего сказал Хилл и тут же почувствовал, что эти слова не делают ему чести. Однако такая вспышка зависти не задела мисс Хейсмен: ей казалось, что это ревность, которую она сама же и вызвала. А он мучился, сознавая превосходство Уэддерберна и считая, что тот бессовестно использует свое преимущество. Везет же этому Уэддерберну: подцепил себе знаменитого папашу, и ему еще ставят это в заслугу, вместо того чтобы по справедливости вычестить у него с полсотни баллов в виде компенсации! Ведь вот Хиллу пришлось самому завоевывать внимание мисс Хейсмен и неуклюже беседовать с ней в лаборатории о несчастных морских свинках, а этот Уэддерберн какими-то задворками пробрался на ее социальные высоты, чтобы там болтать с ней на том изысканном жаргоне, который Хилл более или менее понимал, но говорить на котором не умел. Кстати сказать, он к этому не очень-то стремился. Кроме того, он считал бестактностью и даже издевательством со стороны Уэддерберна изо дня в день являться на лекции в превосходном костюме со свежими манжетами, выбритым, подстриженным, безупречным во всех отношениях. И совсем уже низостью было то, что Уэддерберн вначале вел себя так робко, притворялся скромником, позволил Хиллу вообразить себя звездой первой величины, а потом внезапно стал ему поперек дороги. К тому же у Уэддерберна появилась склонность вмешиваться в любой разговор, если при этом присутствовала мисс Хейсмен, и, конечно, он всегда искал случая опорочить идеи социализма и атеизма. Он так изощрялся в поверхностных, но весьма метких и язвительных замечаниях по адресу социалистических лидеров, что доводил Хилла до грубых выходок; в конце концов Хилл почти так же возненавидел изысканную самовлюбленность Бернарда Шоу, роскошные обои, и золотообрезные книги Уильяма Морриса, и восхитительно нелепых идеальных рабочих из романов Уолтера Крейна, как ненавидел самого Уэддерберна. Страстные дебаты в

лаборатории, в свое время стяжавшие Хиллу славу, выродились в опасные и бесславные стычки с Уэддерберном, которых Хилл не старался избежать только из смутного сознания, что тут затронута его честь. Он отлично понимал, что в дискуссионном клубе под оглушительный аккомпанемент хлопающих пюпитров он в два счета разгромил бы Уэддерберна. Но Уэддерберн неизменно уклонялся от посещения клуба и от разгрома, оправдываясь - экое отвратительное позерство! - тем, что он "поздно обедает".

Не следует думать, что все это рисовалось Хиллу в таком простом и грубом виде, как здесь рассказано. Хилл отличался врожденной склонностью к обобщениям. Уэддерберн был для него не столько человеком, ставшим на его пути, сколько типом, выдающимся представителем определенного класса. Экономические теории, которые после долгого брожения сложились в уме Хилла, вдруг стали конкретными и осязаемыми. Весь мир наполнился Уэддербернами - воспитанными, изящными и изящно одетыми, непринужденными в разговоре и безнадежно поверхностными: епископами Уэддербернами, профессорами Уэддербернами, Уэддербернами - членами парламента и землевладельцами, Уэддербернами - кавалерами единого ордена сибаритов и мастерами воздвигать целые крепости из эпиграмм, чтобы укрыться от наседающего в споре противника. И наоборот, в каждом, кто был плохо одет или плохо выбрит - начиная с сапожника и кончая кучером, - Хилл видел теперь человека, брата и товарища по несчастью. Он стал, так сказать, защитником всех отверженных и угнетенных, хотя со стороны казался просто самоуверенным, дурно воспитанным молодым человеком. К тому же защитник он был никуда не годный. За вечерним чаем, который студентки возвели в традицию, разыгрывались теперь настоящие баталии, и Хилл снова и снова выходил из них разъяренный, измученный, с горящими щеками, и даже в дискуссионном клубе обратили внимание на нотки горечи и сарказма, появившиеся в его речах.

Теперь едва ли следует объяснять, как важно было для Хилла (хотя бы только в интересах человечества) обогнать Уэддерберна на предстоящих экзаменах и затмить его в глазах мисс Хейсмен; вы поймете также, почему мисс Хейсмен стала жертвой заблуждения, в которое так часто впадают женщины. Поединок между Хиллом и Уэддерберном, который по-своему, сдержанно отплачивал Хиллу за его откровенную враждебность, она истолковала как дань ее неописуемому очарованию; она была Прекрасной дамой на этом турнире скальпелей и карандашных огрызков. К тайной досаде своей лучшей подруги, она даже испытывала угрызения совести, так как была доброй девушкой, читала Рескина и современные романы и потому отлично понимала, как сильно деятельность мужчины зависит от поведения женщины. Правда, Хилл никогда не заговаривал с ней на любовные темы, но она просто приписывала это его чрезвычайной скромности.

По мере приближения второго экзамена Хилл становился все бледнее, и студенты говорили, что он напряженно работает. Его можно было встретить в дешевой закусочной рядом с Саут-Кенсингтонским вокзалом, где он наспех съедал булочку, запивая ее молоком и не отрывая глаз от мелко исписанных листков с заметками. Зеркало в его комнате было окружено такими же бумажками со всевозможными сведениями о стеблях и пестиках, а над умывальником висела диаграмма, на которую он глядел, если только мыло не попадало в глаза. Он даже пропустил несколько собраний дискуссионного клуба, но, как и прежде, давал себе передышку, встречаясь с мисс Хейсмен то по соседству, в обширных залах художественного музея, то в маленьком музее, который помещался в верхнем этаже колледжа, а то и просто в коридорах. Чаще всего они встречались в узенькой, полной кованых сундуков и старинных железных изделий галерее около библиотеки книг по искусству, и здесь Хилл, тронутый ласковым и лестным для него вниманием мисс Хейсмен, подолгу беседовал с ней о Браунинге и поверял ей свои честолобивые мечты. Она отметила как замечательную и характерную его особенность полное отсутствие корыстолюбия. Он совершенно хладнокровно относился к перспективе прожить всю жизнь, не расходуя и сотни фунтов в год. Но он твердо решил собственными руками переделать мир так, чтобы в

нем стало лучше жить, и этим путем добиться всеобщего признания. Его учителями и героями были Бредло и Джон Бернс [Чарлз Бредло (1833-1890) - английский политический деятель, оратор, издатель журнала "Национальные реформы"; Джон Бернс (1858-1943) - английский политический деятель, враг социалистического движения], люди бедные, даже нищие и все же великие. Впрочем, мисс Хейсмен считала, что подобные образцы не отвечают требованиям эстетики, которая воплощалась для нее (хотя сама она об этом не догадывалась) в красивых обоях и драпировках, в приятных книжках, элегантных туалетах, концертах и во вкусно приготовленных и изысканно поданных кушаньях.

Наконец настал день второго экзамена, и профессор ботаники, человек суетливый и дотошный, переставил все столы в длинной и узкой лаборатории для того, чтобы студенты не списывали друг у друга, взгромоздил на стол кресло и усадил в него демонстратора (который чувствовал себя там, по его словам, как индусский бог), чтобы экзаменующиеся не жульничали, и повесил снаружи на дверях записку "Вход воспрещен", а для чего - не мог бы понять ни один здравомыслящий человек. И все утро, с десяти до часу, перо Уэддерберна скрипело наперегонки с пером Хилла, а перья остальных, как неутомимая стая гончих, мчались по следам вожаков, и вечером повторилось то же самое. Уэддерберн был еще спокойнее, чем обычно, а у Хилла весь день горели щеки, и карманы его пальто раздулись от учебников и тетрадей, с которыми он не расставался до последнего мгновения. А на следующий день, утром и вечером, студенты держали практический экзамен: они должны были делать срезы и определять препараты. Утро привело Хилла в уныние, так как он понимал, что приготовил слишком толстый срез, а потом настал вечер, и дело дошло до таинственного препарата.

Это был один из любимых приемов профессора ботаники. Здесь было нечто общее с подходным налогом: он сулил вознаграждение за жульничество. На предметный столик микроскопа устанавливался препарат - стеклянная пластинка, которую удерживали на месте легкие стальные пружинки; инструкция гласила, что препарат нельзя смещать. Студенты подходили по очереди, зарисовывали препарат, описывали в экзаменационной тетради то, что они увидели, и возвращались на свои места. Одно неосторожное прикосновение пальца, какая-нибудь доля секунды - и препарат сдвинется с места. А это было, как объяснил профессор, недопустимо, так как объект, который следовало определить, представлял собой срез ствола определенного дерева. В том положении, в каком он стоял, узнать его было очень трудно, но стоило немного сдвинуть пластинку, как в поле зрения попадал другой участок среза и происхождение препарата становилось вполне очевидным.

Когда подошла очередь Хилла, он был возбужден после возни с биологическими красителями; усевшись на табурет перед микроскопом, он повернул зеркало, чтобы лучше осветить объект, и машинально подвинул пластинку с препаратом. Тотчас же вспомнив о запрещении, он, не отрывая руки, сдвинул стеклышко на прежнее место и замер в ужасе от своего поступка.

Затем он осторожно повернул голову. Профессор куда-то вышел; демонстратор, восседая на своей импровизированной трибуне, просматривал "Журнал научной микроскопии", остальные экзаменующиеся были заняты и сидели к нему спиной. Стоит ли сейчас признаться? Он сразу понял, что лежит под микроскопом. Это была "чечевичка", характерный препарат бузины. Не спуская глаз с товарищей, Хилл заметил, что Уэддерберн вдруг обернулся и бросил на него подозрительный взгляд. Умственное возбуждение, которое в продолжении двух дней поддерживало удивительную работоспособность Хилла, превратилось в страшное нервное напряжение. Экзаменационная тетрадь лежала перед ним. Не записывая своего ответа и глядя одним глазом в микроскоп, он начал бегло зарисовывать препарат. Мысли его были заняты внезапно возникшей, нелепой и головомомной моральной проблемой. Опознать ли препарат? Или просто оставить вопрос без ответа? Тогда Уэддерберн, вероятно, выйдет на первое место. Если бы стекло не сдвинулось, догадался бы он, что перед ним бузина? Как это теперь выяснить? Впрочем, возможно, что Уэддерберн не

узнал "чечевичку". А что, если Уэддерберн тоже сдвинул стекло? Хилл посмотрел на часы. У него еще есть пятнадцать минут на размышление. Он захлопнул тетрадь, собрал цветные карандаши, которыми раскрашивал рисунки, и вернулся на место.

Он перечитывал свою запись, грыз ногти и думал. Признаться теперь - значило бы навлечь на себя неприятности. Он \_должен\_ одолеть Уэддерберна. Его кумиры, почтенные джентльмены Джон Бернс и Бредло, вдруг вылетели у него из головы. В конце концов, говорил он себе, взгляд, брошенный на запретную часть препарата, был совершенно невольным; это была чистая случайность, которая скорее могла сойти за откровение свыше, чем за преимущество, добытое незаконным путем. Если он воспользуется подобной случайностью, это будет куда менее бесчестно, чем поведение Брума, который, веруя в могущество молитвы, ежедневно молился о ниспослании ему первого разряда. "Осталось пять минут", - сказал демонстратор, откладывая журнал и внимательно оглядывая экзаменующихся. Хилл не спускал глаз со стрелок часов. За две минуты до срока он с беззаботным видом раскрыл экзаменационную тетрадь и, чувствуя, как у него горят уши, вписал под своим рисунком название препарата.

Когда появился список результатов второго экзамена, оказалось, что Хилл и Уэддерберн поменялись местами; девушка в очках, знакомая с демонстратором в частной жизни (он, как ни странно, был просто человеком), сообщила, что по обоим экзаменам Хилл набрал в сумме 167 баллов из 200 возможных, обогнав соперника на один балл. Хотя его и считали "зубрилой", он все же вызывал известное восхищение. Он принимал поздравления, он вырос в глазах мисс Хейсмен, звезда Уэддерберна явно склонилась к закату, но во всем этом был привкус горечи, порожденный тягостным воспоминанием. Сперва он ощутил бурный прилив энергии, и в речах, которые он произносил на собраниях дискуссионного клуба, снова зазвучали барабаны победного шествия демократии; он усердно изучал сравнительную анатомию и делал успехи в своем эстетическом образовании. Но перед его умственным взором все вновь и вновь возникало яркое видение: жалкий трус мошенничает у микроскопа.

Ни один человек не видел его поступка; в существование всеведущего и вездесущего бога Хилл решительно не верил; и все-таки он мучился. Воспоминания не мертвы, это живые существа, которые дремлют, пока их не трогают, но начинают расти и принимают порой самые неожиданные формы, если их постоянно тревожить. Сначала Хилл отлично помнил, что он прикоснулся к стеклышку нечаянно, но с течением времени он как-то запутался в своих воспоминаниях и в конце концов уже не знал, - хотя и уверял себя, что знает, - действительно ли препарат сдвинулся случайно. Впрочем, быть может, эти угрызения совести следует отнести за счет диеты: завтракал он обычно наспех, днем ограничивался булкой и только после пяти часов, если выпадала свободная минута, закусывал соразмерно своим ресурсам в каком-нибудь трактирчике на задворках Бромптон-роуд. Иногда он позволял себе покупать трехпенсовые или девятипенсовые издания классиков, что обычно приводило к воздержанию от мяса и картофеля. Всем известно, что систематическое недоедание неизбежно сопровождается приступами душевной депрессии, сменяющейся нервным подъемом. Но, кроме того, Хилл и в самом деле испытывал глубокое отвращение ко лжи, отвращение, которое этот богохульник - лендпортский сапожник - воспитал в нем с детства, не останавливаясь перед бранью и побоями. О таких отъявленных атеистах я могу сказать только одно: они могут быть - и обычно бывают - глупцами, людьми, лишенными всякой тонкости, людьми, для которых нет ничего святого, грубиянами и злобными мошенниками, но лгать они не любят. Будь это не так, будь у них хотя бы слабое представление о компромиссе, они стали бы просто не слишком прилежными прихожанами.

Но хуже всего для Хилла было то, что воспоминание о поступке отравляло его отношения с мисс Хейсмен. Теперь, когда она явно предпочитала его Уэддерберну, он понял, что и сам увлечен ею, и начал отвечать на знаки ее внимания робким ухаживанием; однажды он даже купил букетик фиалок, сунул его в карман и потом, в галерее со ржавыми железными доспехами, волнуясь и запинаясь, преподнес ей этот уже измятый и увядший подарок. И еще



одна из радостей его жизни была отравлена: обличения мерзости капитализма. А главное, отравлено было его торжество над Уэддерберном. Раньше он был убежден в своем превосходстве и злился только потому, что не мог добиться всеобщего признания. Теперь его мучила мрачная уверенность в собственном ничтожестве. Он пытался было найти оправдание для своего поведения в стихах Браунинга, но анализ быстро развеял его надежды. В конце концов, как это ни странно, те же побуждения, которые привели его недавно к бесчестному поступку, заставили его пойти к профессору Биндону и чистосердечно во всем признаться. Так как он был стипендиатом и не платил за учение, профессор не пригласил его сесть, и ему пришлось исповедоваться, стоя перед профессорским столом.

- Поразительный случай, - сказал профессор Биндон, стараясь представить себе, как все это может отразиться на нем самом, и затем дав волю своему гневу. - Совершенно небывалый случай. Сначала такой поступок, сейчас это признание, я вас просто не понимаю... Вы из числа тех студентов... В Кембридже никому и в голову не пришло бы... Мне следовало об этом подумать... Зачем же вы жульничали?

- Я не жульничал, - сказал Хилл.

- Но вы сами только что признались...

- Мне кажется, я объяснил...

- Одно из двух: либо вы жульничали, либо нет.

- Но ведь я сказал, что сделал это нечаянно.

- Я не метафизик, я служитель науки и признаю только факты. Вам было сказано не сдвигать препарат. Вы его сдвинули. Если это не жульничество...

- Будь я жуликом, - сказал Хилл, и в голосе его прозвучала истерическая нотка, - разве я пришел бы сюда и стал рассказывать?

- Ваше раскаяние, конечно, говорит в вашу пользу, - сказал профессор Биндон, - но факты от этого не меняются.

- Не меняются, сэр, - подтвердил Хилл, сдаваясь в порыве полного самоуничтожения.

- Даже теперь вы причиняете нам множество неприятностей. Придется пересматривать экзаменационный список.

- Полагаю, что так, сэр.

- Ах, вы полагаете? Конечно, его придется пересмотреть. Пропустить вас теперь было бы просто недобросовестно с моей стороны.

- То есть как это не пропустить? - сказал Хилл. - Вы меня провалите?

- Таковы общие правила. Иначе во что превратились бы экзамены? А чего же вы ожидали? Вы рассчитывали увильнуть от ответственности за свой поступок?

- Я думал, может... - Хилл запнулся. - Вы меня провалите? Я думал, что поскольку я сам рассказал вам, вы могли бы просто аннулировать баллы, которые и получил за этот препарат.

- Ну нет, - сказал Биндон. - Помимо всего прочего, это было бы несправедливо по отношению к Уэддерберну. Аннулировать баллы, только и всего? Нелепость! Официальные "Правила" прямо указывают...

- Но ведь я сам признался, сэр!

- В "Правилах" ничего не говорится о том, каким образом факты выплывают наружу. "Правила" просто предусматривают...

- Тогда я погиб. Если я провалюсь на этом экзамене, у меня отнимут стипендию.

- Об этом следовало думать раньше.

- Но, сэр, войдите в мое положение...

- Ни во что я не могу входить. Профессор в этом колледже - машина. "Правила" запрещают нам даже давать рекомендации студентам, поступающим на службу. Я машина, и вы привели меня в действие. Я должен...

- Это очень жестоко, сэр...

- Может быть.



- Если будет считаться, что я провалился по вашему предмету, то мне лучше сразу же отправиться домой.

- Это уж как вы сочтете нужным. - Голос Биндона несколько смягчился. Он понимал, что неправ, и был не прочь уступить - в той мере, в какой это не противоречило прежним его словам. - Как частное лицо, - добавил он, - я считаю, что ваше признание значительно уменьшает вашу вину. Но вы пустили машину в ход, и остановить ее невозможно. Я... я очень сожалею о вашей опрометчивости.

Хилл был так потрясен, что ничего не ответил. Внезапно и совершенно отчетливо он увидел перед собой грубое лицо своего старика отца, сапожника из Лендпорта.

- Боже правый! Какого дурака я сваял! - вырвалось у него.

- Надеюсь, - сказал Биндон, - что эта ошибка послужит вам уроком.

Любопытно, что они при этом думали и сожалели о различных ошибках.

Наступило молчание.

- Я хотел бы денек подумать, сэр, а потом я сообщу вам... Я говорю об уходе из колледжа, - сказал Хилл, направляясь к дверям.

На следующий день место Хилла пустовало. Девушка в очках, как всегда, первая принесла новость. Она подошла к Уэддерберну и мисс Хейсмея, которые обсуждали представление "Мейстерзингеров".

- Слыхали? - спросила она.

- О чем?

- О жульничестве на экзаменах?

- Жульничество? - воскликнул Уэддерберн, вдруг заливаясь краской. - Как?

- Этот препарат...

- Сдвинут? Не может быть!

- Но это так. Срез, который запрещено сдвигать...

- Чепуха! - сказал Уэддерберн. - Вот еще. С чего они взяли? А кого они обвиняют?

- Мистера Хилла.

- Хилла?

- Мистера Хилла.

- Как, неужто Хилла-праведника? - сказал Уэддерберн, воспрянув духом.

- Я этому не верю, - сказала мисс Хейсмен. - Откуда вы знаете?

- И я не верила, - сказала девушка в очках. - Но тем не менее это так. Мистер Хилл сам признался профессору Биндону.

- Вот так штука! - сказал Уэддерберн. - Неужели Хилл? Впрочем, я всегда не слишком доверял этим благодетелям рода человеческого...

- Вы совершенно уверены? - прерывающимся голосом спросила мисс Хейсмен.

- Совершенно. Ужас ведь, правда? А с другой стороны, чего вы хотите? Сын сапожника.

Но тут мисс Хейсмен удивила девушку в очках.

- Все равно не поверю, - сказала она, и густой румянец заиграл на ее матово-смуглом лице. - Не поверю до тех пор, пока он сам мне не скажет. Прямо в лицо. Да и тогда навряд ли поверю.

- И, резко повернувшись спиной к девушке в очках, она пошла на свое место.

- И все-таки это правда, - сказала девушка в очках, с улыбкой поглядывая на Уэддерберна.

Но Уэддерберн не отвечал. Видимо, она принадлежала к числу тех людей, которым суждено не получать ответа на свои замечания.

## **Об уме и умничанье**

Пер. - Р.Померанцева

И, кстати, о некоем Крихтоне

Крихтон невероятно умный человек - почти неправдоподобно, сверхъестественно умный. И не просто сведущий в том или в этом, а вообще образец ума; вам его никогда не обскакать; он идет по свету и бесцельно рассыпает перлы своего остроумия. Он побивает вас в шутках, ловит на неточностях и подает ваши лучшие номера куда тоньше и оригинальней. Истинно воспитанный человек, на столь многое притязающий, окажется, по крайней мере вам в утешение, уродлив лицом, хил или несчастлив в браке, но Крихтону и в голову не приходит подобная деликатность. Он появится в комнате, где вы, скажем, сидите компанией и острите, и начнет сыпать шутками, пусть и менее забавными, но, бесспорно, более хлесткими. И вот вы один за другим умолкаете и, попыхивая трубкой, глядите на него с тоскою и злобой. Еще не было случая, чтобы он не обыграл меня в шахматы. Люди говорят о нем и спрашивают моего мнения, и, если я решаюсь нелестно о нем отозваться, смотрят так, будто подозревают меня в зависти. Безмерно хвалебные рецензии на его книги и полотна предстают моим взорам в самых неожиданных местах. Право, из-за него я почти перестал читать газеты. И однако...

Подобный ум - еще не все на свете. Он никогда не пленял меня, и мне часто думалось, что вообще он не может никого пленить. Допустим, вы сказали что-то остроумное, произнесли какой-то парадокс, нашли тонкое сравнение или набросали образную картину; как воспримут это обычные люди? Те, кто глупее вас, люди нетонкие, заурядные, не посвященные в ваши проблемы, будут попросту раздражены вашими загадками; те, кто умней, почтут ваше остроумие явной глупостью; ровни же ваши сами рвутся состричь и, естественно, видят в вас опасного конкурента. Словом, подобный ум есть не что иное, как чистый эгоизм в его наихудшей и глупейшей форме. Этот поток остроумия, извергаемый на вас без устали и сожаления, - неприкрытое хвастовство. Гуляет себе по свету этакий хмельной раб острословия и сыплет каламбурами. А потом берет те, что получше, и вставляет в рамку, под стекло. И вот появляется импрессионистская живопись вроде картин Крихтона, - те же нанесенные на полотна остроты. Они лишены содержания, и у скромного благомыслящего человека моего типа вызывают приступы отвращения, точно так же, как фиглярство в литературе. Сюжет здесь не более чем предлог, на деле это бессмысленная и неприличная самореклама. Такой умник считает, что возвысится в ваших глазах, если будет беспрестанно вас поражать. Он и подписи-то не поставит без какой-нибудь особенной завитушки. У него начисто отсутствует главное свойство джентльмена: умение быть великодушно-банальным. Я ж...

Если говорить о личном достоинстве, то юному отпрыску почтенного семейства, небездарному от природы, не к чему унижаться до подобного кривлянья. Умничанье - последнее прибежище слабодушных, утеха тщеславного раба. Вы не можете победить с оружием в руках и не в силах достойно снести второстепенную роль, и вот себе в утешение вы пускаетесь в эксцентричное шукачество и истощаете свой мозг острословием. Из всех зверей умнейший - обезьяна, а сравните ее жалкое фиглярство с царственным величием слона!

И еще, я никак не могу избавиться от мысли, что ум - наибольшая помеха карьере. Разве приходилось вам видеть, чтобы по-настоящему умный человек занимал важный пост, пользовался влиянием и чувствовал себя уверенно? Взять, к примеру, хотя бы Королевскую академию или суд, а то и... Какое там!.. Ведь само понятие разума означает способность постоянно искать новое, а это есть отрицание всего устоявшегося.

Когда Крихтон начинает особенно действовать мне на нервы, обретает новых поклонников или входит в еще большую славу, я утешаюсь мыслями о дяде Августе. Это была гордость нашей семьи. Даже тетя Шарлотта произносила его имя с замиранием в голосе. Он отличался поразительной, я бы даже сказал, исполинской глупостью, которая прославила его и, что важнее, доставила ему влияние и богатство. Он был прочен, как египетская пирамида, и от него так же трудно было ждать, чтоб он хоть капельку сдвинулся с места или сделал что-нибудь неожиданное. О чем бы ни шла речь, он всегда выказывал полнейшее невежество; все, что он изрекал своим звучным баритоном, было чудовищно глупо. Он мог

- я не раз был тому свидетелем - сровнять с землей какого-нибудь умника типа Крихтона своими похожими на трамбовку тяжелыми, плоскими и увесистыми репликами, которых было ни отразить, ни избегнуть. Он неизменно побеждал в спорах, хотя совсем не был остр на язык. Он просто подминал под себя собеседника. Это походило на встречу шпажонки с лавиной. Душа его обладала колоссальной инертной массой. Он не знал волнения, не терял выдержки, не утрачивал сил, он давил - и все тут. Умные речи разбивались о него, как легкие суденышки о бетонированные берега. Его точным подобием является его надгробный памятник - массивная глыба из нетесаного гранита, откровенно безобразная, но видная за милю. Она высится над лесом крохотных белых символов людской скорби, будто и на кладбище он подавляет собой целую толпу умников.

Уверяю вас, разумное есть противоположность великому. Британская империя, как и Римская, создана тупицами. И не исключено, что умники нас погубят. Представьте себе полк, состоящий из шутников и оригиналов. Свет еще не знал государственного деятеля, который не отличался бы хоть малой толикой глупости, а гениальность, по-моему, непременно в чем-то сродни божественной простоте. Те, кого принято называть великими мастерами - Шекспир, Рафаэль, Милтон и другие, - обладали какой-то особой непосредственностью, неизвестной Крихтону. Они заметно уступают ему в блеске, и общение с ними не оставляет в душе тягостного духовного напряжения. Даже Гомер временами клюет носом. В их творениях есть пригодные для отдыха места - широкие, овеваемые ветром луговины и мирные уголки. А вот Крихтон не открывает вашим взорам просторов Тихого океана; он томит вас бесконечным видом на мыс Горн; всюду хребты да пики, пики да хребты.

Пусть Крихтон нынче в моде - мода эта недолговечна. Разумеется, я не желаю ему зла, и все же не могу отделаться от мысли, что конец его близок. Наверно, эпоха умничанья переживает свой последний расцвет. Люди давно уже мечтают о покое. Скоро заурядного человека будут разыскивать, как тенистый уголок на измученной зноем земле. Заурядность станет новым видом гениальности. "Дайте нам книги без затей, - потребуют люди, - и самые что ни на есть успокоительные, плоские шедевры. Мы устали, смертельно устали!". Кончится этот лихорадочный и мучительный период постоянного напряжения, а с ним исчезнет и литература *fin du siecle'a*, декаданса и прочее, прочее. И тогда подымет голову круглолицая и заспанная литература, литература огромной цели и крупной формы, полнотелая и спокойная. Крихтона запишут в классики, господа Мади будут со скидкой продавать его не нашедшие спроса произведения, и я перестану терзаться его тошнотворным успехом.

1898

## ***Странная орхидея***

Пер. - Н.Дехтерева

Покупка орхидей всегда сопряжена с известной долей риска. Перед вами сморщенный бурый корень - во всем остальном полагайтесь на собственное суждение, или на продавца, или на удачу, как вам угодно. Может, растение это обречено на гибель или уже погибло, может, вы сделали вполне солидную покупку, стоящую потраченных денег, а может - и так не раз бывало - перед вашим восхищенным взором медленно, день за днем, начнет разворачиваться нечто невиданное: новое богатство формы, особый изгиб лепестков, более тонкая окраска, необычная мимикрия. Гордость, краса и доходы расцветают вместе на нежном зеленом стебле, и как знать, возможно, и слава. Ибо для нового чуда природы необходимо новое имя, и не естественно ли окрестить цветок именем открывшего его? "Джонсмития"! Что ж, встречаются названия и похуже.

Быть может, надежды на такое открытие и сделали из Уинтера Уэдерберна завсегдатая цветочных распродаж - надежды и, вероятно, еще то обстоятельство, что у него не было в жизни никаких других сколько-нибудь интересных занятий. Это был робкий, одинокий, довольно ничемный человек со средствами, достаточными для безбедного существования, и недостатком духовной энергии, которая заставила бы его искать занятий более определенных. Он мог бы с равным успехом коллекционировать марки или монеты, переводить Горация, переплетать книги или открывать новые виды диатомеи [диатомея - кремнистая водоросль]. Но вышло так, что он занялся выращиванием орхидей, и все его честолюбивые помыслы оказались сосредоточены на маленькой садовой оранжерее.

- Почему-то мне кажется, - сказал он однажды за кофе, - что сегодня со мной непременно что-нибудь случится. - Говорил он медленно - так же, как двигался и думал.

- Ах, ради бога, не говорите об этом! - воскликнула экономка, его кузина. Для нее туманное "что-нибудь случится" всегда означало лишь одно.

- Нет, вы меня неверно поняли. Я не имею в виду ничего неприятного... хотя что я, собственно, имею в виду, я и сам не знаю.

- Сегодня, - продолжал он, помолчав, - у Питерсов распродажа кое-каких растений из Индии и с Андаманских островов. Хочу заглянуть к ним, посмотреть, что у них там хорошего. Как знать, а вдруг я приобрету что-нибудь ценное? Может, это предчувствие.

Он протянул чашку за второй порцией кофе.

- Это растения, собранные тем несчастным молодым человеком, о котором вы мне на днях рассказывали? - спросила экономка, наливая кофе.

- Да, - ответил Уэдерберн и задумался, так и не донеся до рта кусочек поджаренного хлеба.

- Со мной никогда ничего не случается, - заговорил он, продолжая свои мысли вслух. - Почему, хотел бы я знать. С другими происходит все что угодно. Взять хотя бы Харви. Только на прошлой неделе в понедельник он нашел шестипенсовик, в среду все его цыплята заболели вертячкой, в пятницу приехала двоюродная сестра из Австралии, а в субботу он вывихнул ногу. Целый водоворот волнующих событий по сравнению с моей жизнью.

- На вашем месте я предпочла бы поменьше волнений, - сказала экономка. - Не думаю, чтоб они пошли вам на пользу.

- Да, конечно, это беспокоит. Но все же... Вы подумайте, ведь со мной никогда ничего не случается. Когда я еще был мальчуганом, я ни разу не пережил ни одного приключения. Я рос и никогда не влюблялся. Так никогда и не женился. Хотел бы я знать, что испытывает человек, когда с ним случается что-нибудь действительно необычное. Этому любителю орхидей было всего тридцать шесть - он был на двадцать лет моложе меня, - когда он умер. А он был дважды женат, один раз разводился, четыре раза болел малярией и один раз сломал себе берцовую кость. Однажды он убил малайца, в другой раз его ранили отравленной стрелой. И в конце концов он погиб в джунглях от пиявок. Все это, разумеется, очень беспокоит, но зато как интересно, за исключением разве только пиявок.

- Все это не пошло ему на пользу, я уверена, - проговорила леди убежденно.

- Да, пожалуй. - Уэдерберн взглянул на часы. - Двадцать три минуты девятого. Я выеду без четверти двенадцать, времени у меня хватит. Я думаю надеть летний пиджак - сегодня достаточно тепло, - серую фетровую шляпу и коричневые ботинки. Дождя, мне кажется...

Он кинул взгляд сперва на безоблачное небо и залитый солнцем сад за окном, затем, с тревогой, на лицо кузины.

- Я считаю, все-таки лучше взять зонтик, раз вы едете в Лондон, - сказала она тоном, не допускающим возражений. - Туда и обратно дорога не очень-то близкая.

Уэдерберн вернулся под вечер в необычном для него взволнованном состоянии. Он совершил покупку. Редко случалось, чтобы он действовал решительно, но на этот раз было именно так.

- Это ванды, а это дендробии и палеоофис, - перечислял он. Глотая суп, он любовно созерцал свои приобретения. Он разложил их перед собой на белоснежной скатерти и, пока обедал,

сообщал кухне всяческие о них подробности. По заведенному обычаю каждую свою поездку в Лондон он заново переживал по возвращении, что доставляло удовольствие и ему и его слушательнице.

- Я так и знал, что сегодня что-нибудь произойдет. И вот я купил все это... Некоторые из них - я почему-то положительно убежден в этом, - некоторые из них окажутся замечательными. Ну как будто кто-то сказал мне, что будет именно так, а не иначе. Вот эта, - он указал на сморщенный корень, - не определена. Не то палеонофис, не то что-то другое. Весьма возможно, что это новый вид или даже новый род. Это как раз последний экземпляр из того, что собрал бедняга Баттен.

- Мне неприятно смотреть на это. У нее отвратительная форма.

- На мой взгляд, она пока лишена всякой формы.

- Ужасно не нравятся мне эти торчащие отростки.

- Завтра они спрячутся в горшке под землей.

- Похоже на паука, притворившегося мертвым.

Уэдерберн улыбался и, склонив голову набок, рассматривал корень.

- Да, признаться, не очень красивый образчик. Но об этих растениях никогда нельзя судить по корню. Может оказаться прекраснейшая орхидея. Сколько дел у меня на завтра! Сегодня вечером я должен обдумать, как мне рассадить все это, а уж завтра примусь за работу.

- Беднягу Баттена нашли в мангровом болоте - не то мертвым, не то умирающим, - вскоре заговорил он опять. - Одна из этих орхидей лежала под ним, примятая его телом. Уже несколько дней перед тем он был болен местной лихорадкой, очевидно, он потерял сознание; эти мангровые болота очень вредны для здоровья. Говорят, болотные пиявки высосали из него всю кровь, всю до единой капли. Может, именно вот эта орхидея, которую он пытался достать, и стоила ему жизни.

- От этого она не кажется мне лучше.

- Пусть жены сетуют, удел мужей трудиться ["Три рыбака" Чарлза Кингсли (1819-1875)], - изрек Уэдерберн с глубочайшей серьезностью.

- Только подумать - умереть без всякого комфорта, в каком-то отвратительном болоте! Лежать в лихорадке, и ничего, только хлородин и хина, - если мужчин предоставить самим себе, они будут питаться одним хлородином и хиной, - и никого поблизости, кроме этих противных туземцев! Я слыхала, что все туземцы Андаманских островов ну просто ужасны, во всяком случае, едва ли можно ждать от них хорошего ухода за больным, раз никто их тому не обучал. И все это лишь для того, чтобы в Англии, кто пожелает, мог купить орхидеи!

- Разумеется, удобств там мало, но некоторые находят удовольствие в таком образе жизни, - сказал Уэдерберн. - Во всяком случае, туземцы, которые участвовали в экспедиции Баттена, были настолько культурны, что хранили собранные им растения, пока не вернулся его коллега, орнитолог. Хотя, правда, они дали орхидеям завянуть и не смогли объяснить, к какому виду они принадлежат. Именно поэтому эти растения меня так интересуют.

- Именно поэтому они вызывают во мне отвращение. Я не удивлюсь, если окажется, что на них бациллы малярии. Только представить себе - на этих безобразных корешках лежало мертвое тело. Боже мой, мне сначала это не пришло в голову. Нет, заявляю категорически: я больше не в состоянии куска в рот взять.

- Я приму их со стола, если хотите, и переложу на скамейку у окна. Мне их оттуда так же хорошо видно.

В течение последующих дней он действительно с головой ушел в работу - возился в своей оранжерейке с углем, кусочками тикового дерева, мохом и другими таинственными аксессуарами всякого, кто выращивает орхидеи. Он считал эти дни преисполненными событий. По вечерам он рассказывал друзьям о новых орхидеях. И снова и снова говорил о своем предчувствии чего-то необычного.



Несколько ванд и дендробий погибло, несмотря на все заботы, но странная орхидея вскоре начала показывать признаки жизни. Он был в восторге, когда обнаружил это, и тут же потащил свою кузину в оранжерею, не дав ей доварить варенье.

- Это бутон, - пояснял он, - а тут скоро будет множество листьев. А вот эти маленькие отростки - это воздушные корешки.

- Как будто из бурой массы торчат белые пальцы, - сказала экономка. - Нет, они мне не нравятся.

- Почему же?

- Не знаю. Похоже на пальцы, готовые схватить. Я не вольна в своих симпатиях и антипатиях.

- Не могу, конечно, поручиться, но, насколько мне известно, подобных воздушных корешков нет ни у одного вида орхидей. Впрочем, может, это моя фантазия. Посмотрите-ка, на концах они немного сплюснены.

- Они мне не нравятся, - повторила экономка и, вздрогнув, отвернулась. - Я понимаю, это глупо с моей стороны, и очень о том сожалею, раз вы-то от них в таком восторге. Но у меня из головы не выходит этот труп.

- Но разве обязательно это то самое растение? Ведь это только мои догадки.

Она пожала плечами.

- Все равно, они мне не нравятся.

Уэдерберна слегка задело такое отвращение к его орхидее. Но это не помешало ему толковать об орхидеях вообще и об этой в частности, как только у него являлась к тому охота.

- Сколько всегда занятого с этими орхидеями, - сказал он как-то, - столько возможностей и неожиданностей. Дарвин изучал их оплодотворение и доказал, что все строение самого обыкновенного цветка орхидеи приспособлено к тому, чтобы насекомые могли переносить пыльцу с растения на растение. Но существует множество уже известных видов орхидей, которые не могут быть оплодотворены таким образом. Например, некоторые из киприпедий - не известно ни одно насекомое, которое могло бы переносить с него пыльцу. А у некоторых орхидей вообще никогда не находили семян.

- Но как же вырастают новые цветы?

- Из усов и клубней и тому подобного. Это легко объяснимо. Непонятно другое: для чего служат цветы? Весьма вероятно, - добавил он, - что моя орхидея окажется в этом отношении совершенно необыкновенной. Если так, я буду ее изучать. Я давно уж собираюсь заняться исследованиями, как Дарвин, но все как-то не находилось времени или что-нибудь мешало. Знаете, листья уже начинают разворачиваться. Мне бы очень хотелось, чтобы вы зашли взглянуть на них.

Но она заявила, что в оранжерее слишком душно, у нее там разбалчивается голова. Она видела растение уже два раза, - в последний раз воздушные корешки, к сожалению, напомнили ей щупальца, которые словно бы тянутся к добыче. Они стали преследовать ее во сне: будто растут прямо на глазах и стараются ее схватить. Поэтому она решительно заявила, что больше не хочет смотреть на орхидею, и Уэдерберну пришлось одному восхищаться развернувшимися листьями. Они были обычного размера, широкие, темно-зеленые и блестящие, покрытые у основания пурпуровыми пятнышками. Ему никогда еще не встречались такие листья. Он поместил орхидею на низкую скамью под термометром, а рядом устроил нехитрое приспособление: на горячие трубы батареи капала из крана вода, и воздух вокруг насыщался парами. Все послеобеденное время Уэдерберн теперь проводил в мечтах о приближающемся цветении странной орхидеи.

И наконец великое событие свершилось. Едва войдя в маленькое, крытое стеклом помещение, он уже знал, что бутон распустился, хотя огромный палеонофис скрывал от него его сокровище. В воздухе носился новый аромат - сильный, необычайно сладкий, заглушавший все остальные запахи в этой душной, наполненной испарениями теплице.

Уэдерберн поспешил к орхидее, и - о радость! - на свисающих зеленых ветвях качались три крупных белых цветка, источавших этот одуряющий аромат. Уэдерберн замер от восторга.

Цветы были белые, с золотисто-оранжевыми полосками на лепестках; тяжелый околоцветник изогнулся, и его чудесный голубоватый пурпур смешивался с золотом лепестков. Уэдерберн тотчас понял, что это совершенно новый вид. Но какой нестерпимый запах! Как душно в оранжерее! Цветы поплыли у него перед глазами.

Надо проверить, не слишком ли высока температура. Он шагнул к термометру. Внезапно все закачалось. Кирпичный пол поднялся и опустился. Белые цветы, зеленые листья, вся оранжерея - все накренилось, потом подскочило вверх.

В половине пятого, согласно раз и навсегда заведенному порядку, экономка приготовила чай. Но Уэдерберн к столу не явился.

"Никак не может расстаться со своей противной орхидеей, - подумала она и подождала еще минут десять. - Вдруг у него остановились часы? Надо пойти позвать его".

Она направилась прямо к оранжерее, открыла дверь, окликнула его. Ответа не последовало. Она заметила, что воздух в оранжерее очень спертый и насыщен крепким ароматом. И тут она увидела что-то, лежащее на кирпичном полу у горячих труб батареи.

С минуту она стояла неподвижно.

Он лежал навзничь у подножия странной орхидеи. Похожие на щупальца воздушные корешки теперь не висели свободно в воздухе, - сблизившись, они образовали как бы клубок серой веревки, концы которой тесно охватили его подбородок, шею и руки.

Сперва она не поняла. Но тут же увидела на его щеке под одним из хищных щупальцев тонкую струйку крови.

Крикнув что-то нечленораздельное, она бросилась к нему и попробовала отодрать похожие на пиявки присоски. Она сломала несколько щупальцев, и из них закапал красный сок.

От одуряющего запаха цветов у нее начала кружиться голова. Как они вцепились в него! Она тянула тугие веревки, а все вокруг плыло, как в тумане. Она чувствовала, что теряет сознание, и понимала, что этого нельзя допустить. Оставив Уэдерберна, она поспешно открыла ближайшую дверь, вдохнула свежий воздух, - и тут ее осенила блестящая мысль. Схватив цветочный горшок, она швырнула его в стекло в конце оранжереи. Затем с новыми силами принялась тащить неподвижное тело Уэдерберна. Горшок со странной орхидеей свалился на пол. С мрачным упорством растение все еще цеплялось за свою жертву. Надрываясь, она тащила к выходу тело вместе с орхидеей. Затем ей пришлось в голову отрывать присосавшиеся корешки по одному, и уже через минуту Уэдерберн был свободен. Он был бледен, как полотно, кровь текла у него из многочисленных круглых ранок.

Поденный рабочий, привлеченный звоном бьющегося стекла, подошел как раз в тот момент, когда она окровавленными руками волокла из оранжереи безжизненное тело. На мгновение он представил себе невероятные вещи.

- Скорее воды! - крикнула она, и ее голос рассеял его фантазии. Когда поденщик с необычным для него проворством вернулся, неся воду, он застал экономку всю в слезах; голова Уэдерберна лежала у нее на коленях, она стирала кровь с его лица.

- Что случилось? - спросил Уэдерберн, приоткрыв глаза, и тут же закрыл их снова.

- Бегите живей, скажите Энни, пусть сейчас же идет сюда, а потом за доктором Хэддоном, - сказала она поденщику. И добавила, видя, что тот медлит: - Я все расскажу, как только вы вернетесь.

Вскоре Уэдерберн вновь открыл глаза. Заметив, что его тревожит необычайность его позы, она объяснила:

- Вам стало дурно в оранжерее.

- А орхидея?

- Я пригляжу за ней.

Уэдерберн потерял много крови, но, в общем, особенно не пострадал. Ему дали выпить коньяку с каким-то розовым мясным экстрактом и уложили в постель. Экономка вкратце рассказала доктору Хэддону обо всем, что произошло.

- Сходите в оранжерею и посмотрите сами, - предложила она.

Холодный воздух врывается в открытую дверь, приторный запах почти исчез. Воздушные корешки, разорванные и уже увядшие, валялись среди темных пятен на кирпичном полу. Ствол орхидеи сломался при падении горшка. Края лепестков сморщились и побурели. Доктор наклонился было разглядеть их получше, заметил, что один из воздушных корешков еще слабо шевелится, - и передумал.

На следующее утро странная орхидея все еще лежала там, почерневшая, испускающая запах гнили. От утреннего ветерка дверь поминутно хлопала, и весь выводок орхидей Уэдерберна съежился и завял. Зато сам Уэдерберн, лежа у себя в спальне, ликовал, упиваясь рассказами о своем необыкновенном приключении.

## ***Страусы с молотка***

Пер. - Т.Озерская.

- Уж если говорить о ценах на птиц, то мне довелось видеть страуса, который стоил триста фунтов стерлингов, - сказал мастер по набивке чучел, вспоминая свои молодые годы, когда он немало поколесил по свету. - Триста фунтов!

Он поглядел на меня поверх очков.

- А я видел такого, которого за четыреста продать отказались, - заметил я.

- Но ведь у тех птиц не было ничего особенного, это были самые обыкновенные страусы. Даже малость облезлые, потому что сидели на голодном пайке. И не то чтобы на этих птиц был тогда повышенный спрос. Я бы не сказал, чтобы пять страусов на борту судна Ост-Индской компании уж так дорого стоили. Нет, все дело было в том, что один из них проглотил бриллиант.

Пострадавший был не кто иной, как сэр Мохини, падишах - шикарный малый, ну прямо франт с Пиккадилли, сказали бы вы, оглядев его с ног до головы, вернее, с ног до плеч. Потому что выше торчала безобразная черная голова в таком здоровенном тюрбане, а на тюрбане бриллиант. Чертова птица вдруг как клюнет камешек да и проглотила его, а когда этот тип поднял крик, смекнула, видно, что дело неладно, пошла и смешалась с другими страусами, чтобы сохранить свое инкогнито. Все произошло в одну минуту. Я прибежал туда чуть не раньше всех. Слышу, язычник этот призывает в свидетели всех своих богов, а двое матросов и тот малый, что вез страусов, так и помирают со смеху. Если вдуматься, так и вправду это ведь не совсем обычный способ терять драгоценности. Тот малый, приставленный к страусам, при самом происшествии не присутствовал и не знал, какая из птиц выкинула эту штуку. Видите, что получилось: камешек-то исчез бесследно. Сказать по правде, я не слишком огорчился. Этот франт начал похвастаться своим дурацким бриллиантом, едва успел ступить на борт.

Ну, понятно, весть об этом мигом облетела весь корабль, от кормы до носа. Все стали судачить наперебой, а падишах спустился к себе в каюту чуть не плача. За обедом (падишах всегда, бывало, сидел за отдельным столиком с двумя другими индийцами) капитан слегка проехался на его счет, и это задело падишаха за живое. Он обернулся и начал кричать у меня над ухом. Не покупать же ему этих страусов! Он и так получит свой бриллиант обратно. Он британский подданный и знает свои права. Бриллиант должен быть найден. Вынь да положь! А не то он подаст жалобу в палату лордов.

Но малый, приставленный к страусам, оказался форменной дубиной - в его деревянную башку невозможно было ничего вколотить. Он наотрез отказался подпустить врача к своим

страусам. Ему-де приказано кормить их только тем-то и тем-то и ухаживать за ними так-то и так-то, и он в два счета вылетит вон, если будет делать не то и не так. Падишах продолжал настаивать на промывании желудка, хотя, сами понимаете, птицам его делать никак невозможно. Падишах, как все эти несуразные бенгальцы, был начинен всякими там идеями насчет права и закона и все грозился наложить на страусов арест, ну и прочее и тому подобное. Но какой-то старикашка, у которого, по его словам, сын был адвокатом где-то в Лондоне, заявил, что предмет, проглоченный птицей, становится *ipso facto* [в силу самого факта (лат.)] частью самой птицы, и потому единственное, что остается падишаху, - это требовать возмещения убытков. Но даже в этом случае ответчик может сослаться на неосторожность пострадавшего. Какое он имел право находиться возле птицы, которая ему не принадлежит?

Тут падишах крепко приуныл, особенно когда почти все нашли эти соображения довольно резонными. Юриста на борту не оказалось, и мы судили и рядили об этом происшествии на все лады. Потом, когда уже миновали Аден, падишах, как видно, пришел к тому же мнению, что и мы, и втихомолку предложил малому, приставленному к страусам, продать ему все пять штук оптом.

На следующее утро за столом во время завтрака поднялся сущий содом. Малый, который был при страусах, не имел, разумеется, никакого права торговать этими птицами и ни за что на свете не пошел бы на это, но он, как видно, дал понять падишаху, что один субъект, по фамилии Поттер, уже сделал ему такое же предложение, и падишах принялся бранить этого Поттера на чем свет стоит. Однако большинство склонялось к тому, что Поттер - малый не промах, и когда тот заявил, что уже телеграфировал из Адена в Лондон, испрашивая согласия на продажу птиц, и в Суэце должен получить ответ, я, признаться, крепко ругнул себя за то, что упустил такой случай.

В Суэце Поттер сделался обладателем страусов, а падишах заплакал - да, заплакал самыми настоящими слезами - и с места в карьер предложил Поттеру за его страусов двести пятьдесят фунтов, то есть на двести с лишним процентов больше, чем уплатил за них сам Поттер. Но Поттер заявил, что пусть его повесят, если он уступит кому-нибудь хоть перышко. Он-де намерен заколоть их всех, одного за другим, и найти бриллиант. Но потом он, должно быть, передумал и пошел на уступки. Это был азартный человек, игрок и малость шулер, и, верно, такая затея - распродажа страусов "с сюрпризом" - пришлась ему по вкусу. Так или иначе, но он шулки ради решил спустить своих птичек поштучно с молотка, заломив для начала по восемьдесят фунтов за каждую, а себе оставить только одного страуса - на счастье.

Надо вам сказать, что бриллиант-то и в самом деле был очень ценный. Среди нас оказался один торговец драгоценностями, маленький такой человечек, еврей, так он с самого начала, как только падишах показал этот камень, оценил его в три-четыре тысячи фунтов, поэтому не удивительно, что эта "лотерея со страусами" имела успех. А я еще накануне разговорился о том о сем с малым, приставленным к страусам, и он как-то невзначай обмолвился, что один страус вроде занемог. Похоже, расстройство желудка, сказал он. Эта птица была приметная - с белым пером в хвосте, и на другой день, когда начался аукцион и первым пошел с молотка именно этот страус, я тут же надбавил еще пять к восьмидесяти пяти, которые сразу дал падишах. Боюсь, однако, что я малость погорячился, слишком поспешил с надбавкой, и остальные, должно быть, смекнули, что мне кое-что известно. А падишах, тот так и вцепился в этого страуса, все надбавлял и надбавлял, прямо как одержимый. Кончилось тем, что еврей купил эту птицу за сто семьдесят пять фунтов. Падишах крикнул: "Сто восемьдесят!", да уж поздно было, - молоток опустился, заявил Поттер. Словом, страус достался торговцу, а он, недолго думая, схватил ружье и пристрелил птицу. Тут Поттер поднял черт знает какой крик - ему хотят сорвать продажу остальных трех, вопил он, - а падишах, конечно, вел себя как форменный идиот. Впрочем, мы все порядком раскипятились. Признаться, я был без памяти рад, когда эту птицу, наконец, выпотрошили и никакого камня в ней не оказалось. Я ведь сам дошел до ста сорока фунтов, надбавляя цену за этого страуса.

Маленький еврей был, как все евреи: он не стал убиваться из-за того, что ему не повезло, но Поттер отказался продолжать аукцион, пока все не примут его условие: товар выдается на руки только по окончании распродажи. Торговец драгоценностями принялся спорить - он доказывал, что тут случай особый. Мнения разделились почти поровну, и аукцион пришлось отложить до утра.

В этот вечер обед у нас прошел оживленно, смею вас уверить, но в конце концов Поттер поставил на своем: ведь всякому было ясно, что так для него меньше риска, а мы как-никак были ему признательны за его изобретательность. Старикашка, у которого сын адвокат, заявил, что он обдумал это дело со всех сторон и ему кажется весьма сомнительным, чтобы, вскрыв птицу и обнаружив в ней бриллиант, можно было не вернуть его законному владельцу. А я, помнится, сказал, что тут пахнет статьей о незаконном присвоении ценных находок, да так оно, в сущности, и было. Разгорелся жаркий спор, и под конец мы решили, что, конечно, глупо убивать птицу на борту парохода. Тут старый джентльмен снова ударился в крюкостворство и принялся доказывать, что аукцион - это лотерея, а лотереи запрещены законом, и потащился жаловаться капитану. Но Поттер заявил, что он просто распродает страусов как самых обыкновенных птиц и знать не знает ни про какие бриллианты и никого ими не соблазняет. Наоборот, он уверен, что никакого бриллианта в этих трех птицах, предназначенных к продаже, нет. По его мнению, бриллиант должен быть в том страусе, которого он оставил себе. Во всяком случае, он очень и очень на это рассчитывает.

Как бы там ни было, на другой день страусы сильно поднялись в цене. Должно быть, цену им набило то, что теперь шансы увеличились на одну пятую. Проклятые создания пошли с молотка в среднем по двести двадцать семь фунтов. И, удивительное дело, ни один из них не достался падишаху, ни один. Он только попусту драл глотку, а в ту минуту, когда надо было надбавлять пену, вдруг начинал кричать, что наложит на страусов арест. Вдобавок Поттер явно ставил ему палки в колеса. Один страус достался тихому, молчаливому чиновнику, другой - маленькому еврею-торговцу, а третьего купили сообща судовые механики. И тут Поттер вдруг начал скулить - зачем он продал этих страусов! Вот, дескать, выбросил на ветер добрую тысячу фунтов, а его страус, верно, пустышка, и всегда-то он, Поттер, остается в дураках. Но когда я пошел потолковать с ним, не уступит ли он мне свой последний шанс, оказалось, что он уже продал своего страуса одному политическому деятелю, который возвращался из Индии, где проводил отпуск, занимаясь изучением общественных и моральных проблем. Этот, последний страус пошел за триста фунтов.

Ну вот, в Бриндизи спустили с парохода трех этих чертовых птиц, хотя старый джентльмен усмотрел в этом нарушение таможенных правил. Там же вслед за страусами сошел на берег и Поттер, а за ним и падишах. Индеец едва не рехнулся, когда увидел, что его сокровище разъезжается, так сказать, в разные стороны. Он все твердил, что добьется наложения ареста (дался же ему этот арест!), и совал свои карточки с адресом всем, кто купил страусов, чтобы знали, куда послать бриллиант. Но никто не желал знать ни имени его, ни адреса и не собирался сообщать своего. Ну и скандал же они подняли на пристани! Потом все разъехались кто куда. А я поплыл дальше, в Саутгемптон, и там, когда сошел на берег, увидел последнего из страусов, того, что купили судовые механики. Эта глупая голенастая птица торчала возле сходней в какой-то клетке, и я подумал, что трудно подобрать более нелепую оправу для драгоценного камня. Если, конечно, бриллиант был там.

Чем все это кончилось? Да тем и кончилось. А впрочем... Да, похоже, что так оно и было. Тут, видите ли, одно обстоятельство проливает некоторый свет на это дело. Неделию спустя по возвращении домой я делал кое-какие покупки на Риджент-стрит, и как вы думаете, кого я там встретил? Падишаха и Поттера - прогуливаются себе под ручку, и оба веселые. Если малость вдуматься...

Да, мне это уже приходило в голову. Но только бриллиант был самый что ни на есть настоящий, тут сомневаться не приходится. И падишах тоже, безусловно, важная персона. Я



видел его имя в газетах, и не раз. Ну, а вот действительно ли птица проглотила камень - это уж, как говорится, вопрос особый.

## **Красный гриб**

Пер. - И.Грушецкая

Мистер Кумс чувствовал отвращение к жизни. Он спешил прочь от своего неблагополучного дома, чувствуя отвращение не только к своему собственному, но и ко всякому бытию, свернул в переулок за газовым заводом, чтобы уйти подальше от города, спустился по деревянному мосту через канал к Скворцовым коттеджам и очутился в сыром сосновом бору, один, вдали от шума и суматохи человеческого жилья. Больше нельзя терпеть. Он даже ругался, что было совсем не в его привычках, и громко повторял, что больше этого не потерпит.

Мистер Кумс был бледнолицый человек с черными глазами и холеными, очень темными усиками. Стоявший торчком тугой, слегка поношенный воротничок создавал видимость двойного подбородка, а пальто, хотя и потертое, было отделано каракулем. Перчатки, светло-коричневые с черными полосками, были разорваны на кончиках пальцев. В его внешности, как сказала однажды его жена в те милые, безвозвратные, незапамятные дни, короче говоря, еще до их женитьбы, было что-то воинственное. А теперь она называла его - хоть и дурно разглашать то, что говорится наедине между мужем и женой, - она называла его: "Настоящее чучело".

Впрочем, она не скупилась и на другие нелестные прозвища.

Заваруха опять началась из-за этой нахалки Дженни. Дженни была приятельницей жены и без всякого приглашения со стороны мистера Кумса упорно являлась каждое воскресенье пообедать и портила весь день. Это была крупная, разбитная девушка, любившая крикливо одеваться и пронзительно хохотать, но ее сегодняшнее вторжение превзошло все, что было раньше: она притащила своего приятеля, франтоватого и одетого так же безвкусно, как и она сама. И вот мистер Кумс, в накрахмаленном чистом воротничке и воскресном сюртуке, сидел за обеденным столом, безмолвный и негодующий, в то время как жена его и гости болтали без умолку о таких пустяках, что уши вяли, и громко смеялись. Скрепя сердце он вытерпел все это, но вот после обеда (который "по обыкновению" запоздал) мисс Дженни не придумала ничего лучше, как сесть за пианино и наигрывать негритянские песенки, словно был будничным день, а не воскресенье. Нет! Человеческая природа не в силах вынести такого надругательства! Услышат соседи, услышит вся улица - это позор! Он не мог больше молчать!

Он хотел было заговорить, но почувствовал, что бледнеет, и от робости у него перехватило дыхание. Он сидел у окна на стуле - креслом завладел новый гость. "Воскресенье!" - с трудом выдавил он из себя, повернувшись к ним, и в тоне его слышалась угроза. "Воск-ресе-енье!" Да, голос был, что называется, "зловещий".

Дженни продолжала играть, но жена, просматривавшая стопку нот на крышке рояля, вперила в него сердитый взгляд.

- Опять что-то не так? - сказала она. - Людям и поразвлечься нельзя?

- Я не возражаю против разумных развлечений, - сказал маленький мистер Кумс, - но не намерен слушать увеселительные песенки в воскресенье в своем доме.

- А чем плохи мои песенки? - Дженни оборвала игру и, зашуршав всеми оборками, повернулась на вертящемся стуле.

Кумс почувствовал, что назревает ссора, и, как все нервные, застенчивые люди в таких случаях, взял слишком вызывающий тон.

- Вы там поаккуратнее со стулом, - сказал он, - а то он не приспособлен к тяжестим.

- Оставьте в покое тяжести, - раздраженно сказала Дженни. - Что вы там прохаживались насчет моей игры?

- Я полагаю, вы не хотели сказать, мистер Кумс, будто вам неприятно поразвлекаться музыкой в воскресенье? - спросил новый гость; он откинулся в кресле, выпустил облако папиросного дыма и улыбнулся с оттенком превосходства. А миссис Кумс говорила приятельнице:

- Играй, Дженни, не обращай внимания.

- Вот именно! - ответил гостю мистер Кумс.

- Могу я осведомиться, почему? - спросил гость. Он явно наслаждался своей папиросой, а также предвкушением ссоры. Это был долговязый малый в светлом щегольском костюме; в его белом галстуке красовалась серебряная булавка с жемчужиной. "Он проявил бы больше вкуса, надев черный костюм", - подумал мистер Кумс. Он ответил гостю:

- А потому, что мне это не подходит. Я деловой человек. Я должен считаться со своей клиентурой. Разумные развлечения...

- Его клиентура! - фыркнула миссис Кумс. - Только это от него и слышишь... Нам надобно делать это, нам нельзя делать то...

- А если тебе не нравится считаться с моей клиентурой, - ответил мистер Кумс, - зачем ты выходила за меня замуж?

- Непонятно! - встала Дженни и повернулась к пианино.

- В жизни не видывала таких, как ты, - сказала миссис Кумс. - Начисто переменялся с тех пор, как мы поженились. Прежде...

Дженни снова уже барабанила: тут-тум-тум!

- Послушайте, - проговорил мистер Кумс, выведенный наконец из себя. Он встал и возвысил голос: - Говорят вам, я этого не допущу. - И даже сюртук его топорщился от негодования.

- Ну-ну, без насилия, - произнес долговязый, приподнявшись.

- Да вы-то кто такой, черт возьми! - свирепо спросил мистер Кумс.

Тут заговорили все разом. Гость заявил, что он "нареченный" Дженни и намерен защищать ее, а мистер Кумс ответил, что пусть себе защищает где угодно, но только не в его (мистера Кумса) доме; а миссис Кумс сказала, что хоть бы он постыдился так оскорблять гостей и что он превращается (как я уже упоминал) в настоящее чучело; а кончилось все тем, что мистер Кумс приказал своим гостям убираться вон, а те не ушли, и он сказал, что тогда придется уйти ему самому. С пылающим лицом, со слезами на глазах выбежал он в переднюю, и пока он там сражался с пальто - рукава сюртука упорно вздергивались кверху - и смахивал пыль с цилиндра, Дженни снова заиграла, и ее наглое "тум-тум-тум" провожало его до порога. Он хлопнул дверью так, что, казалось, весь дом задрожал. Вот что было непосредственной причиной его скверного настроения. Теперь вам понятно, почему он испытывал такое отвращение к жизни?

И вот, расхаживая по скользким лесным тропинкам - был конец октября, и всюду из-под ворохов хвой и по канавам пестрели грибные гнезда, - он припоминал всю горестную историю своей женитьбы. Она была несложна и достаточно обычна. Теперь он начал понимать, что жена вышла за него из простого любопытства и из желания избавиться от тяжелой, изнурительной, плохо оплачиваемой работы в мастерской. Но, как большинство женщин ее круга, она была недалекой и не понимала, что обязана помогать мужу в его работе. Она была падка до развлечений, многословна, общительна и гостеприимна и явно разочаровалась, поняв, что замужество не избавило ее от гнета бедности... Его заботы раздражали ее, а на малейшее замечание она заявляла, что он вечно брюзжит. Почему он не мог быть таким милым, как раньше? А Кумс был безответный человечек, вскормленный на книге "Помогай самому себе" и лелеявший скромную мечту о "достатке", нажитом путем самоограничения и борьбы с конкурентами. Потом появилась Дженни, этот Мефистофель в женском облике, с ее вечной болтовней о вздыхателях, и начала таскать жену по театрам и "все в таком роде". Вдобавок у жены были тетки, двоюродные братья и сестры, и все они

пожирали его состояние, оскорбляли его, мешали ему в делах, докучали лучшим клиентам и вообще портили ему жизнь как только умели. Уже не впервые гнев и негодование, к которым примешивался какой-то смутный страх, гнали мистера Кумса из дому; он убегал прочь, яростно и громко клялся, что больше этого не потерпит, и так понемногу впустую растрачивал свой пыл. Но никогда еще он не испытывал такого глубокого отвращения к жизни, как сегодня; в этом повинны были, вероятно, и воскресный обед и пасмурное небо. А может быть, он начал наконец понимать, что неуспех его дел - это следствие его женитьбы. Сейчас ему угрожало банкротство, а там... Что ж, возможно, она и раскается, когда уже будет слишком поздно. А судьба, как я уже указывал, обсадила тропинку в лесу пахучими грибами, обсадила ее по обе стороны и густо и пестро.

Трудно приходится мелкому лавочнику, когда у него плохая подруга жизни. Весь его капитал вложен в дело, и покинуть жену означает для него примкнуть к армии безработных где-нибудь на чужбине. Развод для него - недостижимая роскошь. Добрые, старые традиции законного, нерасторжимого брака безжалостно связывают его, и нередко дело кончается трагедией. Каменщики жестоко бьют своих жен, а герцоги им изменяют; но именно в среде маленьких клерков и лавочников все чаще в наши дни случаи убийства. Поэтому вполне понятно - и прошу отнестись к этому как можно снисходительней, - что воображение мистера Кумса обратилось к такому блистательному способу завершить его разбитые надежды, и некоторое время мысли его занимали бритвы, револьверы, столовые ножи и трогательные письма к следователю с именами врагов и христианской мольбой о прощении. Но вскоре злоба сменилась глубокой грустью. Он венчался в этом самом пальто и в этом самом сюртуке, первом и единственном, какой у него был в жизни. Еще вспомнилось, как он ухаживал за ней в этом самом лесу, и годы лишений ради того, чтобы накопить состояние, и светлые, полные надежд дни медового месяца. И вот как все это обернулось! Неужели провидение так немилосердно к людям! Им опять завладела мысль о смерти.

Он вспомнил о канале, над которым недавно проходил, и усомнился: покроет ли его с головой даже посредине, в самом глубоком месте. И среди этих грустных раздумий на глаза ему попался красный гриб. С минуту он тупо глядел на него, затем подошел и нагнулся, приняв его за оброненный кем-то кожаный кошелек. Тут он увидел, что это шляпка гриба, необычайно красного, как бы ядовитого оттенка, скользкая, глянцевиная, с кислым запахом. Он стоял, нерешительно протянув к нему руку, и вдруг мысль о яде пронзила его мозг. Тогда он сорвал гриб и выпрямился, держа его в руке.

Запах у гриба был острый, резкий, но не противный. Он отломил кусочек; свежая мякоть была светло-кремовой, но не прошло и десяти секунд, как она превратилась в изжелта-зеленую. Глядеть на это было забавно, и он отломил еще и еще кусочек. "Удивительные растения эти грибы", - подумал мистер Кумс. Все они содержат смертельный яд, как часто говорил ему отец, - смертельный яд.

"Самый подходящий момент для отчаянного шага. Здесь вот и сейчас, почему бы нет?" - раздумывал мистер Кумс. Он откусил кусочек, крохотный кусочек, самую малость. Во рту стало так горько, что он чуть не сплюнул, а потом начало печь, как будто он хватил горчицы с добавкой хрена и с грибным привкусом...

В своем возбуждении он и не заметил, как проглотил первый кусочек. Что же, съедобно или нет? Он чувствовал удивительную беспечность. Надо бы еще попробовать... В самом деле съедобно, даже вкусно! Отдавшись новым впечатлениям, он забыл о своих горестях. Ведь это была игра со смертью. Он снова откусил кусочек, на этот раз побольше. У него как-то странно закололо в пальцах на руках и на ногах. Сильнее забился пульс; кровь зашумела в ушах, как жернова. "Еще кусок... попроб..." - пробормотал он. Он повернулся - ноги плохо слушались его - и поглядел по сторонам. Неподалеку он увидел красное пятно и попытался подойти к нему. "Недурной закусон, - бормотал он. - Э, да тут их еще..." Он рванулся вперед и, протянув к грибам руки, повалился ничком. Но трогать их не стал. Он вдруг забыл обо всем на свете.

Он перевернулся, присел и удивленно огляделся. Его старательно вычищенный цилиндр откатился к канаве. Он приложил руку ко лбу. Что-то произошло, но что именно, он не мог ясно вспомнить. Как бы там ни было, тоска его рассеялась, на душе стало весело и легко! Но горло по-прежнему горело. Внезапно он громко засмеялся. Его что-то огорчало? Он ничего не помнил. Во всяком случае, он не будет больше грустить. Он поднялся и с минуту стоял, пошатываясь, со светлой улыбкой глядя на окружающий мир. Кое-что он начал припоминать, впрочем, довольно смутно, - в голове вертелась какая-то карусель. Ну да, там, дома, он наскандалил из-за того, что люди хотели повеселиться. Они были совершенно правы; жизнь должна быть как можно радостней. Он пойдет сейчас домой и все уладит и успокоит их. А почему бы ему не набрать этих великолепных поганок и не угостить их? Набрать целую шляпу верхом. Вот этих красных с белыми крапинками и еще желтеньких. Да, он показал себя бирюком, ненавистником радости, но он все поправит. Как забавно надеть, скажем, пальто наизнанку и натывать в карманы жилета веточки дикого терновника. И - с песней домой - весело провести вечер.

Как только мистер Кумс ушел, Дженни перестала играть и, повернувшись к присутствующим, спросила:

- Ну, из-за чего было поднимать такой шум?

- Вот видите, мистер Кларенс, что мне приходится терпеть от него... - сказала миссис Кумс.

- Уж очень горяч, - степенно произнес мистер Кларенс.

- И меня особенно удручает, - продолжала миссис Кумс, - что нет в нем ни малейшего понимания нашего положения; он только и думает, что о своей несчастной лавчонке. Соберу ли я иной раз небольшое общество, или куплю себе безделицу, чтобы приодеться немного, или потрачу на себя какой-нибудь пустяк из денег, отложенных на хозяйство, - сейчас же недовольство. "Бережливость", видите ли, "борьба за существование" и все такое. Он не спит ночами, все думает и думает и мучает себя, как бы ему сэкономить на моих расходах лишний шиллинг. Он как-то потребовал даже, чтобы мы ели маргарин. Стоит мне уступить хоть раз - кончено!

- Безусловно, - подтвердила Дженни.

- Если мужчина ценит женщину, - произнес мистер Кларенс, откидываясь в кресле, - он должен быть готов приносить для нее жертвы. Что касается меня, - тут взгляд мистера Кларенса остановился на Дженни, - я не позволю себе и думать о браке, пока у меня не будет возможности жить с супругой на широкую ногу. А иначе это не что иное, как эгоизм. Сквозь невзгоды жизни мужчина должен пройти один, а не тащить с собой...

- Ну, с этим я не вполне согласна, - перебила его Дженни, - я не вижу, почему бы мужчине отказываться от помощи женщины... Лишь бы он не обращался с ней грубо... Грубость - это...

- Вы не поверите, - сказала миссис Кумс, - но я, видно, лишилась рассудка, когда выходила за него. Я должна была понять. Не будь тут моего отца, он отказался бы даже от свадебной кареты...

- Боже! До этого дойти! - сказал совершенно потрясенный мистер Кларенс.

- Все говорил, что деньги, мол, нужны ему для дела, и тому подобные глупости. Он не позволил бы мне нанять женщину, чтобы помогала мне раз в неделю, да тут я крепко взялась. А ведь какой крик он поднимает из-за денег, наступает на меня с книгами да со счетами, чуть не кричит: "Нам бы только продержаться в этом году, а там уже дело пойдет". А я говорю: "Если продержимся в этом году, то опять будет: "Нам бы только продержаться в следующем году". Я тебя знаю, - говорю я ему. - Не добьешься ты, чтобы я себя заморила, превратила в какое-то пугало. Что же ты не женился на кухарке, - говорю, - раз тебе нужна кухарка, а не благопристойная девица... Я говорю..."

И все в том же роде. Но незачем дальше слушать этот малопоучительный разговор. Достаточно сказать, что с мистером Кумсом вскоре было покончено, и они приятно провели

время у пылающего камина. Затем миссис Кумс вышла приготовить чай, а Дженни присела на ручку кресла возле мистера Кларенса и кокетничала с ним, пока не раздался звон посуды.

- Что это мне будто слышалось... - лукаво спросила миссис Кумс, входя, - и посыпались шуточки о поцелуях... Они уютно сидели вокруг небольшого круглого столика, когда первые признаки возвращения мистера Кумса дали себя знать. Слышалось звяканье щекотки у наружных дверей...

- Вот и он, мой господин и повелитель, - сказала миссис Кумс, - уходит, как лев, а возвращается, как ягненок. Держу пари...

В лавке раздался грохот: по-видимому, упал стул. Кто-то прошел коридором, выделывая ногами замысловатые па. Затем дверь распахнулась, и появился Кумс, но Кумс преображенный. Безупречный воротничок был сорван. Старательно вычищенный цилиндр, до половины наполненный грибным крошечком, был зажат под мышкой, пальто вывернуто наизнанку, а жилет украшен цветущими пучками желтого дрока. Но что значили все эти незначительные изменения праздничного костюма в сравнении с тем, как изменилось его лицо! Оно было мертвенно-бледным, неестественно расширенные глаза горели, и горькая усмешка кривила посиневшие губы.

- Веселитесь! - сказал он, стоя в дверях. - Разумное развлечение. П-пляшите. - Танцуя, он сделал три шага вперед, остановился и отвесил поклон.

- Джим! - взвизгнула миссис Кумс.

А у мистера Кларенса от испуга отвисла челюсть.

- Чаю, - забормотал мистер Кумс. - Чай - хорошая штука. Поганки тоже...

- Напился, - проговорила Дженни слабым голосом. Никогда еще не видела она у пьяных такой мертвенной бледности лица, таких расширенных, горящих глаз.

Мистер Кумс протянул мистеру Кларенсу пригоршню ярко-красных грибов.

- Хор-роший закус-сон, - бормотал он. - Попробуй.

Тон у него был очень приветливый. Но при виде их оторопелых лиц его настроение мгновенно переменялось, как это бывает у ненормальных, и он поддавался безудержной ярости. Казалось, недавний скандал пришел ему на память. Зычным голосом - миссис Кумс такого не знала - он крикнул:

- Мой дом, я здесь хозяин, ешьте, что вам дают! - Но не двинулся с места, не сделал ни одного резкого движения, прокричал безо всякого усилия, словно прошептал, и все еще протягивал им пригоршню красных грибов.

Кларенс не на шутку струсил. Не в силах выдержать полный ярости и безумия взгляд мистера Кумса, он вскочил на ноги, оттолкнул кресло и попятился. Кумс пошел на него. Дженни, не теряя времени, с легким вскриком юркнула за дверь. Миссис Кумс поспешила за ней вслед. Кларенс хотел увернуться; Кумс опрокинул столик с посудой, ухватил гостя за шиворот и пытался напихать ему в рот грибов. Кларенс без возражений оставил в его руках воротничок и выскочил в коридор; лицо его было облеплено красными крошками.

- Заприте его! - крикнула миссис Кумс, и это удалось бы сделать, если бы ее не покинули союзники; Дженни увидела, что дверь в лавку приоткрыта, устремила туда и захлопнула ее за собой, а Кларенс поспешил укрыться в кухне. Мистер Кумс всем телом навалился на дверь, и жена его, заметив, что ключ остался по ту сторону двери, взбежала по лестнице и заперлась в спальне.

Новообращенный прожигатель жизни появился в коридоре; он уже растерял свои украшения, но чинный цилиндр с грибами все еще торчал у него под мышкой. Он поколебался, какой из трех путей ему избрать, и направился к кухне. Кларенс, тщетно возившийся с ключом, был вынужден отказаться от намерения отрезать мистеру Кумсу путь и подался в кладовку, где и был настигнут раньше, чем успел отворить дверь во двор. Мистер Кларенс крайне сдержан в описании того, что последовало. Вспышка мистера Кумса как будто уже улеглась, и он опять превратился в добродушного затейника. А так как вокруг лежали ножи - столовые и кухонные, - то Кларенс принял великодушное решение ублажать



мистера Кумса, не доводить дело до трагедии. Не подлежит сомнению, что мистер Кумс в свое удовольствие позабавился над мистером Кларенсом; они не могли бы резвиться дружнее, если бы знали друг друга с детства. Хозяин любезно уговаривал мистера Кларенса отведать грибы и, задав ему небольшую трепку, почувствовал глубокое раскаяние при виде изукрашенного лица гостя. Потом мистера Кларенса как будто бы сунули под кран и начистили ему лицо сапожной щеткой - он, по-видимому, твердо решил подчиняться любым прихотям сумасшедшего, - и, наконец, взъерошенного, полинявшего, обтрепанного сунули в пальто и выпроводили черным ходом, так как Дженни все еще преграждала выход через лавку. Тут блуждающие мысли мистера Кумса обратились к Дженни. Ей не удалось отворить выходную дверь, но засов спас ее в ту минуту, когда ключ мистера Кумса начал отпирать американский замок, и весь остаток вечера она просидела в лавке.

Затем мистер Кумс, очевидно, вернулся в кухню все еще в поисках развлечений и, несмотря на то, что был заядлым трезвенником, выпил (или вылил на лацканы своего первого и единственного сюртука) с полдюжины бутылок портера, которые миссис Кумс берегла на случай болезни. Он поднял веселый звон, отбивая горлышки бутылок тарелками - свадебным подарком жены - и распевая шуточные песенки; так началась грандиозная попойка. Он сильно порезался осколком бутылки, и это кровопролитие - единственное во всем нашем рассказе, - а также частые спазмы - ибо на неискушенного человека портер действует сильнее, - видно, кое-как угостили демона грибного яда. Но мы предпочитаем набросить покров на заключительные события этого воскресного вечера. Все кончилось глубоким, все исцеляющим сном на углях в подвале.

Прошло пять лет. Опять стоял октябрьский полдень; и снова мистер Кумс прогуливался по сосновому лесу за каналом. Это был все тот же черноглазый человечек с темными усиками, что и в начале повествования, но его двойной подбородок был уже не только кажущимся. На нем было новое пальто с бархатными отворотами; изящный воротничок, с отвернутыми уголками, отнюдь не жесткий и не топорный, заменил воротничок ходячего образца. На нем был блестящий новый цилиндр и почти новые перчатки с аккуратно заштопанной дырочкой на кончике пальца. Даже случайный наблюдатель заметил бы в его осанке отпечаток высокой добропорядочности, а закинутая назад голова указывала, что человек знает себе цену. Теперь он был хозяином с тремя помощниками. За ним следом, словно карикатура на него, шагал рослый загорелый парень - его брат Том, только что вернувшийся из Австралии. Они вспоминали о былых трудностях, и мистер Кумс только что обрисовал свое финансовое положение.

- Да, Джим, у тебя славное дельце, - сказал брат Том, - твое счастье, что ты сумел так его поставить при нынешней конкуренции. И твое счастье, что у тебя такая жена - во всем тебе помощница.

- Между нами говоря, - сказал мистер Кумс, - не всегда оно так было. Да, не всегда... В начале дамочка была с капризами. Женщины - забавные создания.

- Да что ты!

- Ну да. Ты и не поверишь, до чего она была взбалмошна и все старалась как-нибудь меня поддеть! Я был слишком покладистым, любящим, ну таким вот... знаешь... Она и вообразила, что и сам я и дело мое только для нее и существуем. Дом мой превратила в какой-то караван-сарай. Вечно тут торчали всякие знакомые, всякие приятельницы по работе со своими кавалерами. По воскресеньям распевались шуточные песенки, а лавка была в полном забросе. Она еще и глазки начала строить всяким юнцам. Говорю тебе, я не был хозяином в своем доме.

- Даже не верится!

- Право же. Конечно, я пытался ее вразумить и говорил ей: "Я не какой-нибудь граф, чтобы содержать жену, как балованного зверька. Я женился на тебе, чтобы иметь помощницу и подругу". Я говорил ей: "Ты должна мне помогать, вместе мы вытянем". Но

она и слушать не хотела. "Хорошо же, - сказал я, - мягок-то я мягок, пока не выйду из себя, а дело; - говорю, - к тому идет". Да куда там, она и не слушала!

- Ну и как же?

- С женщинами оно всегда так. Она не верила, что я способен на это - ну, что я могу выйти из себя. Женщины ее породы, Том, между нами говоря, уважают мужчину, если они его побаиваются. И вот, чтобы припугнуть ее, я и учинил скандал. Подружилась с женой на работе одна девица, Дженни, стала у нас бывать и привела как-то своего дружка. Мы с ним повздорили, и я ушел из дому сюда, в лес, - такой же вот был денек, как сегодня, - и все обдумал порядком. Потом вернулся да как наброшусь на них.

- Ты?

- Я. В меня словно бес вселился. Ее я не отколотил, удержался, но уж парню задал трепку, - в общем, чтобы показать ей, на что я способен... А он был здоровый парень! Оглушил я его и стал бить посуду и нагнал на нее такого страху, что она убежала и заперлась от меня.

- Ну, а потом что?

- Вот и все! На следующий день я сказал ей: "Теперь ты знаешь, каков я, когда выйду из себя". И больше мне не пришлось ничего добавлять.

- И с тех пор ты счастлив? Да?

- Да, можно сказать, что и счастлив. Самое важное - это поставить на своем! Не будь того дня, я бы сейчас бродяжничал по дорогам, а она и вся ее семейка ворчали бы на меня, что вот я довел ее до нищеты. Знаю я все их штучки. Но ничего, теперь все в порядке. И ты это правильно сказал, что у меня славное дельце.

Они прошли несколько шагов, размышляя каждый о своем.

- Забавные существа - женщины! - сказал Том.

- Им нужна твердая рука, - сказал мистер Кумс.

- А грибов-то здесь сколько, - заметил Том, - и какой только от них прок!

Мистер Кумс поглядел вокруг.

- Я полагаю, что в них есть очень большой смысл, - сказал он.

Вот и вся благодарность, какую получил красный гриб за то, что, помрачив рассудок жалкого человечка, сделал его способным к решительным действиям и таким образом перевернул весь ход его жизни.

1897

## ***Морские пираты***

Пер. - В.Азов.

1

До необычайного происшествия в Сидмауте особый вид *Nauplateuthis ferox* был описан в науке только в самых общих чертах, на основании полупереваренных щупалец, добытых близ Азорских островов, да изуродованного тела, исклеванного птицами и изъеденного рыбами, которое было найдено в начале 1896 года мистером Дженнингсом у мыса Лендсэнд.

И действительно, ни в одной области зоологии мы не бродим в такой темноте, как в той, которая изучает глубоководных кефалоподов. Только случайность, например, привела к открытию князя Монакского, нашедшего летом 1895 года около дюжины новых форм. Добыча включала и вышеупомянутые щупальца. Это произошло совершенно неожиданно. Китоловы убили за Тэрсейрой кашалота; в предсмертных судорогах он бросился прямо на яхту князя, но, не рассчитав сил, перекатился через нее и издох в двадцати ярдах от руля. Во время агонии он выбросил большое количество каких-то крупных предметов. Князь, смутно

разобрав, что это нечто ему незнакомое и, по-видимому, интересное, сумел благодаря своей находчивости вытащить их из воды, прежде чем они затонули. Он приказал привести в движение винты и заставил эти предметы вертеться в созданных таким образом водоворотах. Тем временем быстро спустили шлюпку. Так вот эти куски и оказались целыми кефалоподами и частями их. Некоторые экземпляры достигали гигантских размеров, и почти все были совершенно неизвестны науке!

По-видимому, эти большие и проворные твари, населяющие средние глубины моря, навсегда останутся неизвестными нам; держась под водой, они неуловимы для сетей и могут попасть к нам в руки только в результате какого-нибудь редкого, непредвиденного происшествия вроде вышеуказанного. Что касается *Haploteuthis ferrox*, например, мы до сих пор ничего не знаем о них, так же как о местах рождения сельдей или морских путях лосося. Зоологи так и не могут объяснить их неожиданное появление у наших берегов. Возможно, что голод поднял их из глубины. Но, может быть, лучше не вдаваться в разные гадательные рассуждения и прямо приступить к нашему рассказу.

Первым человеческим существом, увидевшим своими глазами живого *Haploteuthis ferrox*, точнее, первым человеческим существом, оставшимся в живых, увидев его, - так как теперь едва ли можно сомневаться, что волна несчастных случаев с купальщиками и катающимися в лодках, пронесшаяся вдоль побережья Корнуэллса и Дэвона в начале мая, была вызвана именно этой причиной, - был удалившийся от дел чайный торговец по фамилии Физон, проживавший в пансионе в Сидмауте. Это произошло днем, когда он гулял по тропинке вдоль скал между Сидмаутом и бухтой Ладрам. Скалы здесь очень обрывистые, но в одном месте в их красной поверхности вырублен ступенчатый спуск. Мистер Физон находился как раз возле этого места, когда внимание его привлекла шевелившаяся масса, которую он сначала принял за стаю птиц, дерущихся из-за какой-то добычи, казавшейся на солнце розовато-белой. Было время отлива, и масса эта, находившаяся довольно далеко, отделялась еще широкой полосой скалистых рифов, покрытых темными морскими водорослями и местами перерезанных серебристыми лужами. Нужно добавить, что мистера Физона ослеплял блеск расстилавшегося вдали моря.

Посмотрев через минуту еще раз в ту сторону, он заметил, что ошибся: над грудой кружилось множество птиц, главным образом галок и чаек; белые крылья чаек сверкали в солнечных лучах, и птицы казались крошечными по сравнению с лежавшей внизу массой. Любопытство мистера Физона, конечно, еще более возросло именно потому, что его первое впечатление оказалось ошибочным.

Так как мистер Физон гулял лишь для собственного удовольствия, вполне естественно, что он вместо того, чтобы идти к бухте Ладрам, решил посмотреть на загадочную массу. Он подумал, что это, может быть, какая-нибудь большая рыба, случайно выброшенная на берег и бьющаяся на песке. И вот он стал поспешно спускаться по крутой, длинной лестнице, останавливаясь приблизительно через каждые тридцать футов, чтобы перевести дыхание и взглянуть на таинственный предмет.

Спустившись к подножию скалы, Физон оказался, конечно, ближе к заинтересовавшему его предмету; но теперь, на фоне пылающего неба, эта масса казалась темной и неясной. То, что выглядело розоватым, заслонили груды покрытых водорослями валунов. Все-таки мистер Физон рассмотрел, что масса состоит из семи округленных тел - не то отдельных, не то соединенных в одно целое, - и заметил, что птицы все время кричат, облетая массу, но, видимо, боясь приблизиться к ней.

Мистер Физон, увлекаемый любопытством, начал пробираться по источенным волнами скалам. Убедившись, что они очень скользкие от густого слоя морских водорослей, он остановился, снял ботинки и засучил брюки выше колен. Он сделал это, конечно, для того, чтобы не поскользнуться и не упасть в лужу; кроме того, он, может быть, просто воспользовался предлогом хоть на минуту вернуться к ощущениям детства, так поступили бы на его месте многие. Во всяком случае, несомненно, что это спасло ему жизнь.

Он приблизился к своей цели с той уверенностью, которую полная безопасность здешних мест внушает их обитателям. Круглые тела двигались взад и вперед. Только поднявшись на груды валунов, о которых я упоминал, он понял страшный смысл своего открытия. Это застигло его врасплох.

Когда он показался на гребне, округлые тела распались, и стал виден розовый предмет: оказалось, что это наполовину съеденное человеческое тело, мужчины или женщины, он не мог определить. А округлые тела были неведомыми, чудовищными тварями, по форме немного напоминающими осьминога с очень гибкими и длинными щупальцами, извивающимися на песке. Шкура их неприятно блестела, как лакированная кожа. Изгиб окруженного щупальцами рта, странный нарост над ртом и большие осмысленные глаза придавали этим существам какое-то уродливое сходство с лицом человека. Туловища их по величине напоминали крупную свинью; щупальца, как ему показалось, были длиной в несколько футов. Он полагает, что чудовищ было по меньшей мере семь или восемь. В двенадцати ярдах позади них, в пене прилива, из моря выползали еще два.

Они лежали, распластавшись на камнях, и глаза их уставились на Физона со злобным любопытством. Но, по-видимому, мистер Физон не испугался и даже не понял, что он подвергается опасности. Он не был испуган, по-видимому, потому, что движения чудовищ были вялыми. Но, конечно, он был потрясен и вознегодовал, увидев, что эти отвратительные твари пожирают человеческое тело. Он подумал, что им попался утопленник. Чтобы отогнать их, мистер Физон закричал. Увидев, что это на них не действует, он поднял большой камень и запустил им в одно из чудовищ. И вот эти чудовища, расправляя щупальца, медленно двинулись к нему. Они осторожно ползли, обмениваясь друг с другом тихими, мурлыкающими звуками.

Тут только мистер Физон понял, что ему угрожает, и побежал назад. Пробежав двадцать ярдов, он остановился и оглянулся. Он был уверен, что чудовища очень неповоротливы. Но - увы! - щупальца переднего уже цеплялись за скалистый гребень, на котором он только что стоял!

Увидев это, он опять закричал - теперь уже от страха - и пустился бежать. Он перескакивал через камни, скользил, перебирался вброд по пересеченному водой пространству, отделяющему его от берега. Высокие красные утесы вдруг отодвинулись страшно далеко, и двое рабочих, занятых исправлением ступенек спуска и не подозревавших о беге, в котором ставкой была человеческая жизнь, казались ему существами из другого мира. Он слышал, как чудовища плескались в луже чуть ли не в десяти шагах от него. Один раз он поскользнулся и упал.

Чудовища преследовали Физона до самого подножия скал и отступили тогда, когда у их основания к нему присоединились рабочие. Втроем они забросали чудовищ камнями, а потом поспешили в Сидмаут, чтобы заручиться помощью и лодками и вырвать оскверненное тело из щупалец этих гнусных тварей.

## 2

Не удовлетвоваввшись своим первым опытом, мистер Физон тоже отправился в лодке, чтобы точно указать место приключения.

Прилив уже начался, и пришлось сделать довольно большой круг, чтобы добраться до места. Когда они наконец добрались, истерзанное тело уже исчезло. Вода прибывала, затопляя одну за другой груды тинистых камней. И четверо в лодке - рабочие, лодочник и мистер Физон - стали смотреть уже не на берег, а на воду под килем.

Сначала им удалось различить в воде только очень небольшое: темную и густую чашу водорослей ламинария, в которой изредка мелькала рыба. Они искали приключений и поэтому громко выражали свое разочарование. Но вскоре они увидели одно из чудовищ. Оно уплывало в открытое море, передвигаясь странным круговым движением, которое чем-то напоминало мистеру Физону качание привязанного аэростата. Колеблющиеся ленты водорослей заволновались, разделились, и три новых чудовища показались в темноте,

отчаянно борясь друг с Другом из-за чего-то: может быть, из-за утопленника: Через минуту бесчисленные зеленовато-оливковые ленты водорослей снова сомкнулись над барахтающейся грудой.

Увидев это, все четверо в волнении начали бить веслами по воде и кричать. Тотчас же они заметили суетливое движение в водорослях и отъехали немного, чтобы лучше разглядеть, что это такое. Как только волнение улеглось, они увидели, что все дно между водорослями словно усеяно глазами.

- Уроды проклятые! - крикнул один из рабочих. - Да их тут целые дюжины!

Тотчас же чудовища начали подниматься на поверхность. Мистер Физон впоследствии описал автору этих строк поразительную картину появления чудовищ из колеблющейся заросли ламинарий. Ему казалось тогда, что это длилось довольно долго, но, вероятно, на самом деле все произошло в несколько секунд. Сперва появились одни глаза, потом показались щупальца, которые вытягивались то там, то здесь, раздвигая чашу водорослей. Потом странные существа начали увеличиваться в размере, пока наконец дно не стало видно за их переплетающимися телами и концы щупалец не показались над волнующейся поверхностью воды.

Одна из тварей дерзко всплыла у самой лодки и, цепляясь за нее тремя из своих заканчивающихся присосами щупалец, перебросила четыре остальные через борт, как будто намереваясь не то перевернуть лодку, не то забраться в нее. Мистер Физон тотчас же схватил багор и, яростно колотя им по мягким щупальцам твари, заставил ее опустить их. Тут он получил удар в спину, чуть не сваливший его за борт: дело в том, что лодочнику пришлось пустить в ход весло, чтобы отразить такое же нападение с другой стороны лодки. Твари отступили и погрузились в воду.

- Лучше уберемся отсюда, - сказал мистер Физон, дрожа всем телом.

Он сел у руля, а лодочник и один из рабочих взялись за весла. Второй рабочий стоял на носу с багром, готовый отразить новое нападение щупалец. Все молчали. Мистер Физон выразил общее желание. Притихшие и испуганные, побледневшие, они теперь думали только о том, как бы выбраться из ужасной ловушки, в которую так легкомысленно забрались.

Но только весла погрузились в воду, как темные, гибкие, извивающиеся канаты связали их движения и обвились вокруг руля, а у бортов лодки, поднимаясь петлеобразными движениями, снова показались присосы. Люди налегли на весла и рванули изо всех сил, но без результата: так застревает лодка в плавучих массах водорослей.

- Помогите! - крикнул лодочник, и мистер Физон со вторым рабочим бросились к нему, чтобы помочь ему вытащить весло.

В это время человек с багром - его звали, кажется, Иван - с проклятием вскочил и, нагнувшись над бортом, стал, насколько это ему удавалось, наносить удары по кольцу щупалец, которые сомкнулись вокруг подводной части лодки. Оба гребца тоже вскочили, чтобы найти лучшую точку опоры и вытащить весла. Лодочник передал свое весло мистеру Физону, и тот изо всех сил принялся тащить его. А сам лодочник, открыв большой складной нож и тоже наклонившись над бортом, начал рубить обвившиеся вокруг весла скользкие присосы.

Мистер Физон, шатаясь от судорожных толчков лодки, стиснув зубы, задышавшись, с надувшимися от напряжения жилами на руках, вдруг посмотрел на море. Неподалеку от них по мощным валам надвигающегося прилива прямо к ним плыла большая лодка. Мистер Физон заметил трех женщин и ребенка; лодочник был на веслах, а малыш в соломенной шляпе с розовой лентой стоял на корме и весело их приветствовал. Сначала мистер Физон думал, конечно, только о том, чтобы позвать на помощь; потом он подумал о ребенке. Он тотчас же опустил весло, отчаянным движением вскинул руки и крикнул сидящим в лодке, чтобы они скорей отъезжали "ради бога". Мистер Физон даже не подозревал, что поступок его при подобных обстоятельствах был не чужд героизма и свидетельствует о его скромности и



мужестве. Весло, которое он отпустил, сразу скрылось под водой и вскоре всплыло в двадцати ярдах от них.

В ту минуту мистер Физон почувствовал, что лодка сильно закачалась, и хриплый вопль лодочника Хилла заставил его забыть о другой лодке. Мистер Физон обернулся и увидел, что Хилл с искаженным от ужаса лицом корчится у передней уключины, правая рука его погружена в воду за бортом и кто-то тянет ее вниз. Он издавал только резкие короткие крики: "О-о-о!" Мистер Физон думает, что Хилл был захвачен щупальцами, когда рубил их под водой. Теперь, конечно, совершенно невозможно установить, как было на самом деле. Лодка до того накренилась, что борт почти касался воды. Ивэн и второй рабочий багром и веслом били по воде справа и слева от погруженной руки Хилла. Физон инстинктивно стал так, чтобы выровнять лодку.

Тогда Хилл, дюжий, здоровый человек, сделал отчаянное усилие и почти встал на ноги. Он вытащил руку из воды. Она была опутана сложным сплетением коричневых канатов. Глаза ухватившего его чудовища, глядя прямо и решительно, на мгновение показались на поверхности. Лодка кренилась все больше и больше, и вдруг коричневатозеленая вода хлынула через борт. Хилл поскользнулся и упал на борт; рука его с вцепившимися в нее щупальцами опять погрузилась в воду. Падая, Хилл перевернулся и ударил сапогом по колену мистера Физона, который бросился, чтобы удержать его. В следующее же мгновение вокруг пояса и шеи Хилла обвились новые щупальца, и после короткой и судорожной борьбы, во время которой лодка чуть не опрокинулась, Хилл был перетянут через борт, а лодка выпрямилась от сильного толчка; мистер Физон чуть не перелетел через другой борт, но уже не видел борьбы, продолжавшейся в воде.

Мистер Физон выпрямился, напрасно стараясь найти равновесие, как вдруг заметил, что, пока они боролись с чудовищами, начавшийся прилив снова отнес их лодку к покрытым водорослями камням. В каких-нибудь четырех ярдах плоский камень возвышался над омывающим его приливом. В одно мгновение мистер Физон вырвал у Ивэна весло, изо всех сил погрузил его в воду, потом бросил его, подбежал к носу лодки и прыгнул. Он почувствовал, что ноги его скользят по камням. Отчаянным усилием он заставил себя перепрыгнуть на соседний камень. Он споткнулся, упал на колени и снова поднялся.

- Берегись! - крикнул кто-то, и большое тело ударило его сзади.

Сбитый с ног одним из рабочих, он растянулся плашмя в луже, оставленной приливом; падая, он слышал придушенные, отрывистые крики, как он думал тогда, Хилла. Мистер Физон удивился, что у Хилла такой пронзительный голос и что в нем столько оттенков. Кто-то перепрыгнул через него, поток пенистой воды обдал его и прокатился дальше. Он поднялся на ноги и, не оглядываясь на море, промокший до костей, со всей быстротой, на какую только был способен от страха, побежал к берегу. Перед ним по отмели, между камнями, на небольшом расстоянии друг от друга, спотыкаясь, бежали оба рабочих.

Наконец мистер Физон оглянулся и, увидев, что погони нет, посмотрел по сторонам. Он был ошеломлен. С самого момента появления кефалоподов из воды он действовал так стремительно, что не успевал отдавать себе отчет в своих поступках. Теперь ему казалось, будто он очнулся от страшного сна.

Над ним сияло безоблачное послеполюденное небо, и море колыхалось, ослепительно сверкая; пена, нежная, как взбитые сливки, разбивалась о низкие, темные гряды скал. Лодка лежала в дрейфе, мягко покачиваясь на волнах ярдах в двенадцати от берега. Хилл и чудовища, напряжение и ярость смертельной борьбы исчезли, как будто их вовсе не было.

Сердце мистера Физона неистово колотилось. Он дрожал всем телом и тяжело дышал.

Однако чего-то не хватало. Несколько мгновений он не мог сообразить, чего именно. Солнце; море, небо, скалы - чего же нет? Потом он вспомнил о лодке с катающимися. Она исчезла. Уж не выдумал ли он ее? Он обернулся и увидел двух рабочих. Они стояли рядом под нависшей массой высоких розовых скал. Он спросил себя, не следует ли ему сделать еще одну, последнюю, попытку спасти Хилла. Но его нервное напряжение улеглось, он

чувствовал себя беспомощным и вялым. Он повернул к берегу и направился, спотыкаясь и шлепая по воде, к своим спутникам.

Оглянувшись еще раз, он увидел в море две лодки; та, которая была дальше, неуклюже качалась, опрокинутая кверху килем.

3

Вот каково было появление *Naploteuthis ferox* на девонширском побережье. Это было самое опасное нападение чудовищ вплоть до настоящего времени. Если сопоставить рассказ мистера Физона с несчастными случаями при катании на лодках и купании, о которых я уже упоминал, с отсутствием в этом году рыбы у корнуэльских берегов, нам станет ясно, что стаи этих прожорливых выходцев из морских глубин пробирались за добычей вдоль заливаемой приливом береговой линии.

Высказывалось предположение, будто голод заставил их подняться на поверхность и побудил к переселению. Но я лично склоняюсь к теории, выдвинутой Хемсли. Хемсли утверждает, что стая этих тварей приохотилась к человеческому мясу, доставшемуся ей после крушения какого-нибудь корабля, погрузившегося в ее владения, и вышла из своей привычной зоны в поисках этого лакомства. Подстерегая и преследуя суда, чудовища добрались до наших берегов по следам трансатлантических пароходов. Но обсуждать здесь убедительные, прекрасно обоснованные доводы Хемсли, пожалуй, неуместно.

Может быть, аппетиты стаи удовлетворились добычей в одиннадцать человек, потому что, насколько удалось выяснить, во второй лодке было десять. Во всяком случае, в этот день чудовища ничем не обнаружили своего присутствия у Сидмаута. Весь вечер и всю ночь после происшествия берег между Ситоном и Бадли-Солтертоном находился под надзором четырех лодок таможенной стражи, вооруженной гарпунами и кортиками. С вечера к ним присоединилось множество так или иначе вооруженных экспедиций, организованных частными лицами. Мистер Физон, однако, не принял участия ни в одной из них.

Около полуночи с одной из лодок, находившейся в море приблизительно в двух милях от берега к юго-востоку от Сидмаута, донеслись взволнованные крики и показались странные сигналы фонарем: в обе стороны и сверху вниз. Ближайшие лодки тотчас же поспешили на тревогу. Храбрецы в лодке - моряк, священник и два школьника - действительно увидели чудовищ, которые прошли под их лодкой. Как и все живущие в глубине существа, животные фосфоресцировали. Они проплыли приблизительно на глубине пяти-шести ярдов, подобные отблескам лунного света в черной воде. Втянув щупальца, словно погруженные в спячку, медленно перекатываясь и подвигаясь клинообразной стаей, они плыли на юго-восток.

Сидевшие в лодке передавали свои впечатления восклицаниями, отчаянно жестикулируя. Сначала к ним подошла одна лодка, потом другая; под конец вокруг них образовалась маленькая флотилия из восьми или девяти лодок, и в тишине ночи поднялся шум, словно на рынке. Желаящих преследовать стаю оказалось очень мало или даже вовсе не оказалось: у людей не было ни оружия, ни опыта для такой рискованной охоты, и скоро - может быть, даже с чувством некоторого облегчения - все повернули назад, к берегу.

А теперь я перейду к тому, что является, пожалуй, самым поразительным фактом во всей этой поразительной истории. У нас нет никаких сведений о дальнейшем движении стаи, хотя весь юго-западный берег был настороже. Можно, пожалуй, считать показательным тот факт, что третьего июня в Сарке на берег был выброшен кашалот. А через две недели и три дня после сидмаутского приключения на песчаный берег в Кале выплыл *Naploteuthis*. Он был еще живой. Несколько свидетелей видели, как его щупальца судорожно двигались, но, по видимому, он уже подышал. Некий господин Пуше достал ружье и застрелил его.

Это был последний живой *Naploteuthis*. Их больше не видели и на французском берегу. Пятнадцатого июня почти не поврежденный труп чудовища был выброшен на берег близ Торкэ, а через несколько дней судно биологической морской станции, производящее исследование близ Плимута, выловило гниющее туловище чудовища с глубокой рубленой

раной, нанесенной кортиком. В последний день июня мистер Экберт Кэйн, художник, купаясь вблизи Ньюлина, вдруг вскинул руки, закричал и пошел ко дну. Его друг, купавшийся вместе с ним, не сделал попытки спасти его и сейчас же поплыл к берегу. Вот последнее происшествие, которое еще раз напомнило об этом необыкновенном набеге из морской глубины. Сейчас еще преждевременно утверждать, что набег не повторится, но будем надеяться, что чудовища теперь ушли, - ушли навсегда в непроницаемые для солнечного света океанские глубины, из которых они так странно и неожиданно выплывали.

## ***Поиски квартиры как вид спорта***

Пер. - Р.Померанцева.

С того часа, как Адам и Ева рука об руку вышли из ворот рая, люди без отдыха ищут себе жилище. В любом не слишком захолустном предместье вы повстречаете сегодня толпу новых Адамов и Ев, которые с розовыми ордерами на право осмотра и ржавыми ключами в руках по-прежнему ищут свой Эдем. Для них это отнюдь не развлечение. Большинство этих бедных паломников выглядят просто усталыми, кое-кто вдобавок бранится между собой, и все непременно злые, расстроенные, несчастные: руки у них в грязи - они ощупали столько водяных баков, - а платье перепачкано известкой. Еще недавно, в пору нежного ухаживания, им виделись в мечтах туманные очертания их гнездышка, но вот они пустились искать его по свету - и никак не найдут. А ведь это так для них важно! Они выбирают фон, атмосферу, так сказать, колорит трех-четырёх, и притом основополагающих, лет своей жизни.

Выбирать среди этих пустых зданий особенно трудно потому, что вы непременно получаете свое будущее жилище в готовом виде или даже с чужого плеча. Я, по крайней мере, никак не могу отделаться в этих пустых стенах от мысли о покойнике, некогда здесь обитавшем. На обоях, точно белесые призраки, вырисовываются контуры картин прежнего владельца; вот торчат гвозди от незримых гардин, а эта вмятина в стене - последнее напоминание об исчезнувшем фортепьяно. Так и чудится, будто с наступлением сумерек все эти вещи опять сползаются на свои старые места. Быть может, в доме жил какой-нибудь нервный субъект, и эти расшатанные дверные ручки и оборванный шнур колокольчика - следы отгремевших баталий. Вон и в спальне на маркизе порвана тесемка. Он был любителем пива - на полу в подвале пятно от постоянно капавшего крана; отличался беспечностью - по стене видно, что не раз лопались водопроводные трубы; делал все топорно - взгляните, как он починил калитку, лучше уж оставил бы сломанной! Прежний хозяин словно не хочет уступать своих прав - воспоминания о нем рассеяны по всему дому, от подвала до чердака. Право же, это его дом, а не мой. Помимо старых домов, населенных призраками, существуют новые, от которых так и веет духом оптового производства и откровенным желанием строителей сэкономить на чем возможно. Как бы все это вам ни претило, конец всегда один. Обойдя сотню домов в поисках идеала, вы начинаете понимать всю бессмысленность вашей затеи. И вы поступаете, как все. Квартиру всегда снимают в минуту отчаяния.

Однако подобные неприятности подстерегают лишь тех, кто действительно ищет жилье. Того, кто делает это из любви к искусству, ждет лучшая участь. Для него эти прогулки увлекательны сами по себе, их не портит практическая цель. Поиски квартиры превращаются для него в настоящее развлечение, которое почему-то не обрело популярности у нас в Англии. Правда, я слышал, что иные старые дамы коротают таким образом время между церковными службами, но широким кругам населения этот вид спорта совсем неизвестен. А между тем трудно представить себе лучший и вполне отвечающий вкусам эпохи способ провести субботний вечер. Пустой дом - это современный реалистический роман в камне, полный намеков и символов, призванных восполнить отсутствие людей; он побивает нынешнюю литературу ее же средствами: в конце и в начале полная

неопределенность. То, что у нас пренебрегают осмотром пустых домов, я объясняю лишь тем, что достоинства сего спорта еще недостаточно познаны. Цель моей книги - ввести его в моду.

Паломник по пустым домам очень скоро подметит одну занятную особенность, а именно: что большая часть домовладельцев у нас - престарелые леди и джентльмены, живущие по соседству. Недвижимость в виде дома с садом или без одного приобретает для людей определенного возраста какую-то магическую силу, особенно если они из торговцев. Прочитав в смотровом ордере: "Ключ у жильцов через дом", вы можете быть уверены, что встретите именно такого рода хозяев. Вы стучитесь к "жильцам через дом", и спустя немного к вам выходит упитанный лысый джентльмен или дама музейного возраста и предлагают показать вам свою "собственность". Очевидно, между приходами съемщиков эти старички спят, ибо они выходят к вам свежие и полные желаний побольше узнать о своих возможных новых соседях. Они расскажут вам все подробности о последнем съемщике, о нынешних соседях справа и слева, о самих себе, о том, как сыро во всех прочих домах по соседству, как еще на их памяти за домом начиналось поле пшеницы, и о том, чем они спасаются от ревматизма. Видя, с каким упоением предаются они этой болтовне, паломник-любитель преисполняется законной гордости от содеянного им доброго дела. Порой иными из этих стариков овладевает приступ дружелюбия. Один джентльмен, коему любой мужчина до сорока должен был казаться ребенком, в подтверждение своих доброхозяйских чувств подарил автору сих строк три огромных зеленых яблока. Пусть это было не бог весть что, но все же эти яблоки вызвали явную зависть кучки мальчишек, после чего перешли в их руки.

Кое-кто из домовладельцев строил дом по собственному плану, и тогда его жилище отличают какие-нибудь сугубо индивидуальные черты: например, отсутствие подвала для угля, башня с зубцами или мраморные колонны, исполненные несоразмерного достоинства. Один маленький, сравнительно молодой старичок с милым румянцем и коротко стриженными серебряными волосами устроил над входом в дом нишу и поместил туда статую, которая походила на Венеру Милосскую в шоколадного цвета пижаме. "Сперва она была голая, - пояснил старичок, - но мои соседи не слишком сильны в искусстве и стали протестовать. Вот я и покрасил ее коричневой краской".

В одной из этих экскурсий автору сопутствовала Ефимия. Тогда-то он и набрел на Хилл-Крест: огромный дом - всего за несчастные сорок шиллингов в год! - который отпирал какой-то ключ-мегатерий. Чтобы повернуть его, пришлось налечь им обоим да еще пустить в ход зонтик. Мизерность платы ставила в тупик, и пока они там сидели - а их задержала гроза, - они ломали себе голову над тем, какое здесь случилось убийство. Из окон верхнего этажа открывался вид на крыши противоположных зданий.

- Интересно, сколько нужно времени, чтобы из подвала подняться наверх? - сказала Ефимия.

- Явно больше, чем мы ежедневно можем себе позволить, - ответил съемщик-любитель. - А представь себе, каково будет искать мою трубку по всем этим комнатам! Боюсь, что, поднявшись с постели в обычный час, в столовую мы доберемся лишь к одиннадцати, а чтобы за ночь толком выспаться, надо будет начать восхождение в спальню с восьми вечера. В этом доме нам придется стать настоящими Гаргантюа - тратить на каждое дело вдвое или втрое больше времени и числить в сутках не двадцать четыре часа, а все сорок восемь. Тогда мы не заметим, сколько у нас пропадает времени на хождение по дому. Если мы будем вдвое дольше сидеть за столом, есть вдвое больше и делать все в масштабе один к двум, то не исключено, что постепенно мы приспособимся к обстановке и сами сделаемся вдвое крупнее.

- Тогда-то, наверно, мы здесь и обживемся, - промолвила Ефимия.

Они опять спустились вниз. Гроза к этому времени разбушевалась вовсю. В комнатах было темно и мрачно. Тяжелая боковая дверь - она закрывалась, лишь когда ее запирали снаружи, - качалась и хлопала под каждым порывом ветра. Но пришельцы не скучали: они затеяли в передней кухне игру в крикет и гоняли зонтом скомканный в шарик смотровой ордер.

Съемщик-любитель поднял Ефимию на руки и посадил ее на высокий буфет: тут они сидели и болтали ногами, терпеливо дожидаясь, пока кончится гроза и они смогут уйти.

- Я, наверно, чувствовала бы себя в этой кухне, как одна из моих маленьких кукол на кухне игрушечного домика, который был у меня в детстве, - заметила Ефимия. - Она во весь рост умещалась под столом, и хотя в буфете стояло всего четыре тарелки, каждая из них была ей почти по пояс.

- Твои воспоминания заняты, как всегда, - сказал съемщик-любитель, - и все же они не разъясняют мрачной тайны этого дома. Почему за него просят всего сорок шиллингов в год?

Этот вопрос не давал ему покоя. Сколько он ни расспрашивал, он так и не узнал, отчего дом сдается так баснословно дешево и почему он вечно пустует. Вот с какими загадками сталкивается съемщик. Огромный, с садом чуть ли не в пол-акра дом, где можно поселить добрую полудюжину семей, кланчит у вас жалкие сорок шиллингов в год. Может, его легче сдать за восемьдесят? Подобные вопросы встают перед вами, впрочем, в каждом вашем паломничестве, и это как раз придает особый интерес и приятность данному виду спорта. Разумеется, при условии, что вами не владеет тайное желание стать временным владельцем одного из этих жилищ.

1898

## **Рассказ о XX веке**

Пер. - Ю.Кагарлицкий

*Для умеющих мыслить*

1

Тому минуло уже не год и не два...

Изобретатель умер на чердаке. Слишком гордый, чтобы принять пособие от прихода, он проел всю свою одежду, отковырял всю штукатурку со стен своего убогого жилища и съел ее до последнего кусочка, обгрыз ногти под корень - и умер.

Он лежал тощий - кожа да кости; при жизни он соблюдал слишком строгую диету, и количество извести в его рационе превышало норму.

Но хотя Изобретатель умер, мысль его продолжала жить.

Ею завладела коммерческая предприимчивость, которой наша страна обязана своим величием, своим местом в авангарде армий прогресса. Владелец ссудной кассы, где Изобретатель за тринадцать шиллингов шесть пенсов заложил свой патент, Исаак Мелуиш (представитель того самого капитала, что составляет опору прогресса), организовал акционерную компанию "Много-будешь-знать - скоро-состаришься" и внедрил изобретение на практике.

Идея состояла в следующем:

Локомотив нового типа. Колеса вращает электричество от динамо-машины, в свою очередь, приводимой в движение вращением колес. Такая машина, стоит лишь придать ей начальную скорость, приобретает, как легко понять, большую и устойчивую движущую силу. Начальную скорость машина получает действием сжатого воздуха.

Исаак Мелуиш развил эту идею. Он применил ее к метрополитену (в этом и состояло новшество), а потом взял побольше влиятельных лиц и проспектов и так умело все перемешал, что разделить их стало уже невозможно. Когда была начата подписка на акции, замысел окончательно обрел реальную форму.

Столице и окрестностям предстояло силою ума Мелуиша вступить в новую жизнь. А S2O3 и SO2 не будут отныне подрывать здоровье обитателей Лондона. Преобладание получит озон.



Туннели будут иллюминированы и украшены.

Более того, акции компаний, связанных с новым предприятием, взлетят в заоблачные выси и там останутся, подобно пророку Илии.

Открытие решено было отметить национальным праздником. В первом поезде совершат поездку по Малому кольцу почетные пассажиры. Ведущий актер театра "Лицей" (он же единственный владелец) исполнит сразу все роли, какие играл в жизни, и со зрителей не будут спрашивать денег. В Хрустальном дворце состоится банкет для цвета нации, а в Альберт-холле - богослужение разом для всех вероисповеданий...

И было во человецех благоволение.

Неф Хрустального дворца был ярко освещен и великолепно украшен. Все, кто обладал талантом и красноречием, все преуспевающие и процветающие восседали за банкетным столом. На галереях теснилась посредственность. Это несметное скопище выложило бессчетные полугинеи, дабы иметь счастье увидеть, как едят великие мира сего. Присутствовало девятнадцать епископов во фраках, четыре принца с переводчиками, двенадцать герцогов, ученая женщина, президент Королевской академии, четырнадцать известных профессоров, среди них - один ученый, семьдесят настоятелей (все как на подбор), президент Материалистического религиозного общества, популярный клоун, тысяча шестьсот четыре владельца оптовых и розничных мануфактурных, шляпных, бакалейных и чаесторговых фирм, депутат парламента (прозревший представитель рабочего класса), почетные директора чуть ли не всей вселенной, двести три биржевых маклера, один занимающий видную должность граф, который некогда сказал нечто весьма остроумное, девять обыкновенных графов с Пиккадилли, тринадцать графов-спортсменов, семнадцать графов-купцов, сто тринадцать банкиров, один профессиональный мошенник, один врач, двенадцать директоров театров, величайший романист Бладсол, один электротехник (из Парижа), сонмы директоров электрических обществ, их дети и внуки, их кузены и кузины, племянники, дяди, родители и друзья, несколько звезд с небосклона юриспруденции, два рекламных агента, сорок один фабрикант патентованных медицинских средств, лорды, пэры, медиум, прорицатель, иностранные музыканты, офицеры, капитаны, гвардейцы и тому подобное.

До публики на галереях долетало только: "Бү-бү-бү, бү-бү-бү, бү-бү-бү..."

Сидевшие близко слышали; "...ы шшше недостаточно знаем, где прррримчивость... дерзкие устремления человечества (громкие аплодисменты) в этом вопрррр всииний с нааайии... восхождение на недоступные веррррр... более того. Пробиваться сквозь них, покорять (бурные аплодисменты) рр рrr rrrr (продолжительная овация). Расчет, смелость и рrr бrrr..."

Великий человек, кажется, продолжал в том же духе, когда сэру Исааку Мелуишу подали телеграмму. Он взглянул на нее, побледнел, как полотно, и свалился под стол.

Там мы его и оставим.

А случилось вот что. Почетные пассажиры были в сборе: августейшая особа с телохранителем, премьер-министр, два епископа, несколько популярных актрис, четыре генерала из министерства внутренних дел, различные чужеземцы, лицо, по-видимому, имеющее отношение к военно-морскому ведомству, министр просвещения, сто двадцать четыре паразита, состоящих на государственной службе, один идиот, председатель торговой палаты, мужской костюм, финансисты, второй идиот, лавочники, мошенники, театральные

декораторы, еще один идиот, директора и так далее и тому подобное, как уже перечислялось выше. Почетные пассажиры заняли места в поезде. При помощи сжатого воздуха он развил большую скорость. Технический директор с улыбкой обратился к августейшей особе: "С позволения вашей милости мы сначала проедем по Малому кольцу и посмотрим украшения". Все были веселы и довольны.

Никогда еще так не бросалось в глаза добросовестное стремление августейшей особы испытывать интерес ко всему на свете. Эта особа настаивала, положительно настаивала на том, чтобы технический директор показал ему моторы и подробно все объяснил.

- Все, что вы видели, - отечественного производства, - заключил свои объяснения технический директор, маленький болтливый человек. - Вам известна превосходная фирма Шульца и Брауна в Пекине. Производство было перенесено туда в 1920 году ввиду дешевизны рабочей силы. Так вот, каждая из этих деталей исключительно прочна и надежна. Сейчас я покажу вам тормозное устройство. Должен заметить, что, согласно первоначальному проекту, в машине предполагалось хранить большой запас сжатого воздуха. Я усовершенствовал эту систему. Сила вращения колес не только запускает динамо, но и нагнетает воздух, предназначенный для следующего пуска. С самого начала и до тех пор, когда машина не остановится навсегда, она действует без всякого притока внешней энергии. К тому же без затрат. Ну, а теперь, поскольку мы заговорили о том, что машина когда-нибудь остановится, я покажу вам тормозное устройство. - И технический директор, улыбнувшись при мысли, что так удачно сострил, повернулся к машине. Очевидно, он не нашел того, что искал, потому что стал внимательней вглядываться в механизм. - Бэдли, - сказал он, слегка покраснев, - где тормоза?

- Кто их знает! - ответил Бэдли. - Я сперва думал, вот эта ручка тормозная, да только к ней притронулся - она и отвалилась! Видать, гипсовая, для украшения приделана.

На лице технического директора мгновенно сменилась вся гамма цветов, от стронциево-красного до талиево-зеленого.

- Тормозов нет, - сказал он августейшей особе к добавил: - Взгляните на манометр.

Голос его становился все тише и отчетливей, как у человека, пытающегося подавить нахлынувшие чувства.

- Пожалуй, я все уже видел. Благодарю вас, - сказала августейшая особа. - Достаточно. Я желал бы выбраться отсюда, если только это возможно. Для меня такая скорость слишком велика.

- Мы не можем остановиться, ваше величество, - сказал технический директор. - Больше того, судя по манометру, нам остается либо удвоить скорость, либо разлететься на куски. Давление сжатого воздуха все усиливается.

- В этих критических и непредвиденных обстоятельствах, - промолвил его августейший собеседник, смутно припоминая, как полагается говорить на открытии парламента, - нам представляется целесообразным увеличить скорость. И чем скорее, тем лучше.

Собрание в Хрустальном дворце кончилось полным замешательством, и сидевшие за банкетным столом, отталкивая друг друга, кинулись расхватывать шляпы. Проповедник изрекал в Альберт-Холле свои благоглупости о ниспосланном стране процветании, когда ему подали телеграмму. После, этого он продолжал проповедь, но уже на тему: "Суета сует". Тревога медленно ползла из этих двух центров и после выхода вечерних газет охватила всю страну.

3

Что было делать?

Что можно было сделать?

Следовало бы поднять этот вопрос в парламенте, но сей орган власти нельзя было собрать ввиду отсутствия спикера: он был среди почетных гостей в поезде. Митинг на Трафальгар-сквере, где хотели обсудить этот вопрос, по привычке разогнали, пользуясь, новым методом.

А тем временем обреченный поезд, все увеличивая скорость, описывал круг за кругом. Утром двадцатого наступил конец. Между станциями Виктория и Слоунсквер поезд сошел с рельсов, пробил стену тоннеля и загрохотал по подземной сети газовых, водопроводных и канализационных труб. Потом на какой-то миг наступила зловещая тишина, сразу же нарушенная грохотом валившихся по обе стороны от места катастрофы домов. И вот чудовищный взрыв потряс воздух.

От большинства пассажиров ничего не осталось. Августейшая особа, однако, как ни в чем не бывало приземлилась в Германии. Дельцы-пройдохи осели вредоносным туманом на соседние страны.

## **Торжество чучельника**

Пер. - С.Майзельс.

Вот несколько секретов ремесла чучельника. Мне поведал их он сам, когда был в приподнятом настроении. Он рассказал мне эти секреты между первым и четвертым стаканами виски, когда человек еще понимает, что говорит, но уже говорит лишнее. Мы сидели вдвоем в его каморке, которая служила одновременно библиотекой, гостиной и столовой; один угол был скрыт от глаз дешевой бисерной занавеской, но зловоние, доносившееся оттуда, безошибочно указывало, что именно там чучельник и занимается своим ремеслом.

Он сидел на складном стуле, задрав ноги в изодранных ковровых шлепанцах на каминную доску, где лежала куча стеклянных глаз, и время от времени растирал пяткой упрямые кусочки угля. Между прочим - хотя это и не имеет отношения к рассказу о его триумфах, - штаны на нем были из отвратительной желтой клетчатой материи, модной еще в те времена, когда наши отцы носили бакенбарды, а матери ходили в кринолинах. Он был черноволос и розовощек, с огненно-кариими глазами, куртка его представляла собой лоснящийся слой грязи на вельветиновой основе. На фарфоровой трубке красовались три грации; очки вечно сидели так криво, что левый глаз смотрел на собеседника поверх оправы прямо в упор, маленький и зоркий, а правый, сильно увеличенный и кроткий, лишь смутно виднелся сквозь стекло.

Вот что он мне поведал:

- Нет на свете человека, Беллоуз, который был бы таким искусником, как я. Такой еще не родился. Я делал слонов и бабочек, и, смею вас уверить, животные от этого только выигрывают и выглядят куда лучше, чем живые. Случалось набивать и чучела людей, только все больше орнитологов-любителей. Хотя один раз довелось сработать и чучело негра.

Нет, законом это не воспрещается. Я растопырил ему пальцы, и получилась отличная вешалка для шляп. Только этот дурак Хомерсби как-то ночью затеял с ним драку и испортил его. Это было давно, вас еще и на свете не было. Трудно доставать кожу, а то бы я сделал еще одного.

Неприятно? Отчего же? По-моему, набивка чучел - дело с будущим, не хуже кремации или погребения. Ведь при этом вы можете окружить себя дорогими сердцу покойниками. А такие фигурки, расставленные по всему дому, заменят любую компанию и обходятся куда дешевле. Можно даже снабдить их часовыми механизмами, и тогда они могут пригодиться в хозяйстве.

Конечно, придется их полировать, но вовсе не обязательно, чтобы лысины блестели ярче, чем иные натуральные. Например, как у старика Манингтри. И уж, во всяком случае, с чучелами родственников можно разговаривать, не опасаясь, что они тебя будут перебивать - даже тетки. Уверяю вас, набивка чучел имеет огромное будущее. Ну, и опять же ископаемые...

Он внезапно умолк.

- Нет, этого я вам, пожалуй, не скажу. - Он задумчиво пососал трубку. - Спасибо, не откажусь. Только поменьше воды.

Ну, понятно, все, что я говорю, - строго между нами. Вы, верно, знаете, я ведь уже сделал несколько дронтов и одну большую гагарку? Нет? Да что вы! Сразу видно, дружище, в нашем деле вы только любитель. Да ведь половина всех больших гагарок на свете такие же подлинные, как платок святой Вероники или плащ Иоанна Крестителя. Мы делаем этих птичек из перьев чомги и из другого подходящего материала. И яйца большой гагарки тоже делаем!

- Что вы говорите!

- Конечно. Их изготавливают из самого тонкого фарфора. И скажу прямо, это дело стоящее. Можно выручить... Да вот, только на днях за одно заплатили триста фунтов. Мне-то кажется, что яйцо и вправду было подлинное, а там, кто его знает, никогда нельзя быть уверенным. Работа тонкая, а как кончишь, надо обязательно присыпать сверху пылью: ведь никто из владельцев ни за что не рискнет протереть тряпкой свое сокровище. В этом-то вся и штука! Пусть даже яйцо ему подозрительно, он не станет разглядывать его слишком пристально. Уж очень это хрупкий капитал!

А вы и не знали, до каких высот поднимается искусство набивки чучел? Ну, это еще что, мой мальчик! (Я могу потягаться и с самой Природой.) Одна из самых что ни на есть больших гагарок - самая подлинная! - сделана вот этими руками.

Ну, уж нет. Изучите-ка орнитологию и тогда извольте отличить ее сами. Да я вам больше скажу: ко мне даже обращался синдикат торговцев птицей - сделайте, мол; несколько штук гагарок, чтобы посадить на виду в неисследованных шхерах к северу от Исландии. Может, я этим и займусь как-нибудь на досуге. А сейчас мне не до того - занят одним дельцем. Слыхали о динорисе?

Это большая новозеландская птица, из тех, что теперь уже вымерли. В просторечии ее так и называют "моа", что значит "вымершая": моа больше не существует. Поняли? Так вот, там у них сохранились ее кости, да где-то в болоте нашли еще кое-что: перья, высохшие кусочки кожи. Я и хочу - скажу вам откровенно - сделать поддельное чучело этой самой моа. У меня есть на примете один парень, который заявит, будто нашел ее в каком-то высохшем болоте и сразу же на месте набил чучело - вроде побоялся, что иначе она рассыплется в прах. Оперение у нее, правда, совсем особенное, но я знаю способ очень просто и так славно распушать кусочки подпаленных страусовых перьев... Да, да, это от них тот странный запах, что вы заметили. Без микроскопа подделку не обнаружить, но вряд ли они решатся ради проверки ломать ценный экземпляр.

Вот таким образом и я тоже понемножку толкаю науку вперед. Но это все лишь простое подражание Природе. Было время, когда мне удалось достигнуть большего... Я переплюнул Природу.

Он снял ноги с каминной доски и с доверительным видом наклонился ко мне.

- Я сам создавал птиц, - сказал он шепотом. - Совершенно новые виды. Улучшенные. Не похожие ни на одну из существующих...

Многозначительно помолчав, он снова задрал ноги.

- Так сказать... несколько обогатил вселенную. Некоторые из моих птичек сделаны вроде новых видов колибри - прелестные малютки! - а другие - просто черт знает что. И самая чудная, на мой взгляд, - это *Anomalopteryx Jejunus*. *Jejunus-a-um* означает "пустая"; она названа так потому, что в ней и в самом деле ничего не было: внутри совершенно пусто, если не считать набивки. Эта птица теперь у старика Джаверса, и он, ей-богу, гордится ею ничуть не меньше меня самого. Это настоящий шедевр, Беллоуз. В ней есть милая неуклюжесть пеликана, дурацкое самодовольство попугая, грациозная несуразность фламинго и контрастная вспышка красок оранжевой утки. Вот она какова, эта птица! Я собрал ее из скелетов аиста и тукана и из вороха самых разных перьев. Для настоящего художника, Беллоуз, такая работа - чистое наслаждение...

Как я до этого додумался? Да очень просто, как всегда бывает с великими открытиями. Один юный гений, из тех, что пописывают научные статьи в газетах, достал где-то немецкий

трактат о новозеландских птицах и при помощи словаря да природной смекалки перевел оттуда кусок; а так как смекалки-то, видно, не хватило, то он и перепутал поныне живущую птицу аптерикса с вымершим аномаль-оптериксом; он там расписал, что птица пяти футов вышиной, что водится она в джунглях Норс Айленда, что это-де боязливое, редко встречающееся пернатое, которое трудно поймать, и так далее и тому подобное.

Джаверс, на редкость невежественный человек даже для коллекционера, прочитал эту заметочку и поклялся, что любой ценой добудет такую штуковину. И начал осаждать продавцов запросами. Теперь поглядите, чего можно добиться упорством и силой воли. Коллекционер клянется, что получит экземпляр птицы, которой в природе нет, никогда не было и которая от одного стыда за свою чудовищную нелепость ни за что бы не появилась на свет, если бы это от нее зависело. И он таки добился своего. Он ее заполучил!

А не выпить ли еще виски, Беллоуз? - прервал себя чучельник, которого минутные размышления о непостижимой напористости и о складе ума коллекционеров отвлекли было от главной темы. И, наполнив стаканы, он продолжал рассказывать, как однажды смастерил чучело прелестной русалки и как странствующий проповедник, у которого она отбила всю паству, уничтожил ее, заявив, что это - идолопоклонство и даже кое-что похуже. К сожалению, разговор заинтересованных сторон - творца, будущего владельца русалки и его гонителя - принял характер совершенно непечатный, и посему я не решаюсь предать гласности это забавное происшествие.

Читатель, незнакомый с темными делами коллекционеров, склонен будет, наверное, усомниться в правдивости рассказов моего чучельника; но что касается яиц большой гагарки и чучел несуществующих птиц, то подтверждение его словам я нашел у известных орнитологов. А статейка о новозеландской птице действительно появилась в одной утренней газете безупречной репутации. Чучельник сохранил этот номер и показал его мне.

## ***Сокровище в лесу***

Пер. - Н.Семевская.

Челнок приближался к берегу, и перед путешественниками открылась бухта. Разрыв в сплошной пене прибоя указывал то место, где в море впадала речка. Течение ее можно было проследить по более густым и темно-зеленым зарослям девственного леса, покрывавшего склон холма. Лес подходил к самому берегу моря. Вдали возвышались горы, туманные, точно облака, и похожие на внезапно замерзшие волны. На море была легкая, почти незаметная зыбь. Небо сверкало.

Человек с самодельным веслом в руках перестал грести.

- Должно быть, где-то здесь, - произнес он и, положив весло, указал рукой.

Его товарищ, сидевший на носу челнока, внимательно вглядывался в берег. На коленях у него лежал пожелтевший лист бумаги.

- Поди-ка посмотри, Эванс! - сказал он.

Оба говорили тихо. Губы у них пересохли и шевелились с трудом.

Тот, кого звали Эвансом, пошатываясь, прошел вперед и заглянул через плечо спутника.

Бумага представляла собой грубо набросанную карту. Ее много раз складывали, она выцвела, измялась, была порвана по сгибам, так что приходилось соединять ее куски. На карте с трудом можно было различить очертания бухты, нанесенные почти стершимся карандашом.

- Вот риф, - сказал Эванс, - а здесь лагуна. - Он провел по карте ногтем. - Вот эта кривая, извилистая линия - река, наконец-то напьемся! А звездочка обозначает место, которое нам нужно.



- Видишь пунктирную линию? - сказал человек с картой. - Она прямая и идет от рифа к этим пальмам. Звездочка стоит как раз там, где линия перерезает реку. Когда войдем в лагуну, надо отметить это место.

- Странно, - сказал Эванс, помолчав, - для чего поставлены вот эти значки? Похоже на план дома или чего-то такого, но никак не пойму, почему эти черточки показывают то одно направление, то другое. А на каком языке тут написано?

- По-китайски, - сказал человек с картой.

- Ну, конечно, он же был китаец, - заметил Эванс.

- Все они были китайцы, - сказал человек с картой.

Оба сидели несколько минут молча, вглядываясь в берег, а челнок медленно плыл вперед по течению. Потом Эванс взглянул на весло.

- Твой черед грести, Хукер, - сказал он.

Хукер, не торопясь, сложил карту, сунул ее в карман, затем осторожно обошел Эванса и принялся грести. Движения его были медленными, как у обессиленного человека.

Эванс сидел, полузакрыв глаза, и смотрел, как все ближе подступает пенная коралловая гряда. Солнце теперь было почти в зените, и небо раскалилось, словно печь. Хотя они были близко от сокровища, Эванс не испытывал того возбуждения, которое предвкушал раньше. Напряженная борьба за карту, длительное ночное путешествие от материка в челноке без запаса еды и питья совсем доконали его, как он выразился. Он старался подбодрить себя, старался думать о золотых слитках, о которых говорили китайцы, но мысленно все время видел перед собой пресную воду, журчащую реку и ощущал невыносимую сухость во рту и в горле. Уже слышались ритмичные удары волн о рифы, лаская слух Эванса. Вода билась о борт челнока. При каждом взмахе весла с него падали капли. Эванс задремал.

Он смутно сознавал, что они приближаются к острову, но к этому примешивались странные сновидения. Он снова переживал ту ночь, когда они с Хукером случайно узнали тайну китайцев. Он видел деревья, залитые лунным светом, небольшой костер и темные фигуры трех китайцев, с одной стороны посеребренные луной, а с другой освещенные пламенем костра. Он слышал, как китайцы разговаривали между собой на ломаном английском языке, потому что все они были уроженцами разных провинций. Хукер первый уловил суть их разговора и посоветовал Эвансу прислушаться. Временами они ничего не могли расслышать, а те обрывки разговора, которые доносились до них, были непонятны. Речь шла о каком-то испанском судне с Филиппин, севшем на мель, и о его сокровищах, спрятанных до лучших времен. Людей с погибшего корабля осталось мало: одни заболели и умерли, кого-то убили в ссоре, наконец, те, кто уцелел, ушли в море на шлюпках, и о них ничего больше не было слышно. А потом Чанг Хи всего лишь год назад попал на остров и случайно наткнулся на слитки золота, пролежавшие там двести лет. Он бросил джонку, на которой приехал, и один с огромным трудом закопал сокровище в новом месте, очень надежном; он особенно подчеркивал надежность этого места, - очевидно, тут он чего-то не договаривал. Теперь ему нужны были помощники, чтобы вернуться на остров и извлечь сокровище. Затем в воздухе замелькала карта, и голоса затихли. Недурная история для ушей двух бродяг-англичан без пенни за душой! А затем Эванс увидел во сне, что он держит Чанг Хи за косу. Чего там, жизнь китайца не так священна, как жизнь европейца! Теперь перед Эвансом возникло хитрое лицо китайца; сперва выражение его было яростным и напряженным, как у внезапно потревоженной змеи, потом оно стало испуганным, жалким и в то же время полным затаенного коварства, а под конец Чанг Хи непонятно и неожиданно усмехнулся. Потом стало очень жутко, как это иногда бывает во сне. Чанг Хи что-то быстро и неясно бормотал, угрожая ему. Эванс видел груды золота, но Чанг Хи мешал ему и боролся с ним, отталкивая его от сокровища. Эванс схватил Чанг Хи за косу; какой большой этот желтолицый и с какой силой он отбивался, усмехаясь... Чанг Хи становился все больше и больше. Вдруг блестящие кучи золота превратились в ревущую печь, а огромный дьявол, удивительно похожий на Чанг Хи, но с большим черным хвостом, стал совать раскаленные уголья в глотку Эванса. Они

сильно обжигали. Другой дьявол выкрикивал его имя: "Эванс, Эванс, не спи, болван!" Или это был голос Хукера?

Эванс очнулся. Они были у самого входа в лагуну.

- Здесь должны быть три пальмы, в одну линию с этими кустами, - сказал Хукер, - смотри-ка. Когда доплывем к зарослям, потом свернем вон к тому кусту и доберемся до места, как только войдем в речку.

Перед ними было устье реки. Увидев реку, Эванс воспрянул духом.

- Поторопись, друг, - воскликнул он, - а то, ей-богу, напьюсь морской воды!

Он сжал зубами руку и, не отрываясь, смотрел на серебряную полосу воды между скалами и зелеными зарослями.

Потом он чуть не с яростью взглянул на Хукера.

- Дай-ка мне весло, - проговорил он.

Они достигли устья. Проплыв немного вверх, Хукер зачерпнул горстью воду, попробовал и выплюнул. Проехав еще немного, он снова попробовал воду.

- Годится, - сказал он, и они стали жадно пить.

- К черту! - внезапно воскликнул Эванс. - Так не напьешься! - Рискуя, выпасть из челнока, он перегнулся через его борт и начал пить прямо из реки.

Наконец они напились, ввели челнок в небольшой приток реки и собрались вылезть на берег среди густых зарослей, спускавшихся к самой воде.

- Нам придется продираться сквозь заросли к берегу моря, чтобы найти кустарник и от него прямо идти туда, куда нам нужно, - сказал Эванс.

- Лучше проедем туда на лодке, - предложил Хукер.

Они снова вывели челнок в реку и стали грести к морю, а потом вдоль берега, туда, где рос кустарник. Здесь они остановились, втащили легкий челнок на берег и пошли к лесу; они шли до тех пор, пока лагуна и кустарник не оказались перед ними на одной линии. Эванс захватил с собой из челнока туземную одноконечную кирку с полированным камнем на конце поперечины. Хукер нес весло.

- Теперь прямо вон туда, - сказал он, - будем пробираться сквозь кусты, пока не выйдем к реке. А там поищем!

Они пробивались сквозь густые заросли тростника, гигантских папоротников и молодых деревьев. Сначала идти было трудно, но скоро стало попадаться все больше высоких деревьев с открытыми полянками между ними. Яркий свет солнца почти незаметно сменялся прохладной тенью. Наконец они очутились среди огромных деревьев, сплетавшихся высоко над их головами в зеленый шатер. Со стволов свешивались тускло-белые цветы, от одного дерева к другому перекидывались ползучие растения. Тени сгущались. На земле все чаще встречались бурые пятна мха и лишайников.

По спине Эванса пробежала дрожь.

- Здесь даже как-то холодно после жары на берегу, - сказал он.

- Надеюсь, мы правильно идем, - заметил Хукер.

Далеко впереди в густом мраке они увидели наконец просвет там, где лучи жаркого солнца пронизывали лес. Здесь был густой подлесок и росли яркие цветы. Затем они услышали шум воды.

- Вот и река. Она, должно быть, близко, - заметил Хукер.

Берега реки густо заросли. Пышные растения, еще не получившие названия, зеленели среди корней высоких деревьев и поднимали к небу свои гигантские веерообразные листья. Было множество цветов, и какие-то ползучие растения с яркой листвой цеплялись за стволы. На поверхности широкой заводи, которую охотники за кладом сначала не заметили, плавали большие овальные листья и бледно-розовые, точно восковые, цветы, напоминавшие водяные лилии. Дальше, где река сворачивала в сторону, она была покрыта пеной и шумела на порогах.

- Ну как? - сказал Эванс.

- Немного отклонились от прямой, - ответил Хукер, - так и следовало ожидать.  
Он повернулся и стал всматриваться в прохладную густую тень безмолвного леса.

- Если побродить по берегу вверх и вниз, мы найдем то, что нам нужно.

- Ты говорил... - начал Эванс.

- Он говорил, что там груда камней, - закончил Хукер.

Оба внимательно посмотрели друг на друга,

- Давай для начала поищем немного ниже по течению, - предложил Эванс.

Они пошли вперед медленно, с любопытством оглядываясь по сторонам. Вдруг Эванс остановился.

- Что там за чертовщина? - проговорил он.

Хукер посмотрел туда, куда Эванс указывал пальцем.

- Что-то синее, - заметил он.

Они только что поднялись на пригорок и оттуда увидели какой-то непонятный синий предмет. Хукер почти сразу догадался, что это такое.

Он быстро пошел вперед и увидел мертвое тело с согнутой рукой; она-то и привлекла их внимание. Рука крепко сжимала кирку. Человек оказался китайцем. Он ничком лежал на земле, и по положению тела было ясно, что он мертв.

Хукер и Эванс подошли ближе и молча смотрели на зловещие останки. Труп лежал на открытой поляне под деревьями. Поблизости была китайская лопата, а дальше - разбросанная куча камней и возле нее свежеврытая яма.

- Кто-то здесь уже побывал, - хрипло промолвил Хукер.

Внезапно Эванс начал ругаться и топтать ногами.

Хукер побледнел, но ничего не сказал. Он подошел к простертому телу и увидел, что шея мертвеца была красной и распухшей. Распухли также его руки и ноги.

- Фу! - сказал Хукер, резко отвернулся и подошел к яме. Он вскрикнул от удивления. - Болван! Все в порядке! - обратился он к Эвансу, который медленно шел за ним. - Сокровище здесь!

Он опять взглянул на мертвого китайца, а затем снова на вырытую яму.

Эванс подбежал к яме. Перед ним лежали тускло-желтые бруски, наполовину вытащенные из земли злополучным китайцем. Эванс наклонился над ямой и, расчистив руками землю, торопливо вынул один из тяжелых брусков. При этом какой-то маленький шип уколол его в руку. Он вытащил тоненький шип пальцами и поднял слиток.

- Только золото и свинец могут быть такими тяжелыми, - в радостном волнении сказал он.

Хукер все еще смотрел на тело. Что-то ему было непонятно.

- Он забежал вперед тайком от приятелей, - наконец заметил Хукер, - пришел сюда один, а здесь его укусила ядовитая змея. Интересно, как он нашел это место?

Эванс стоял, держа в руках слиток. Что значил какой-то мертвый китаец?

- Нам придется по частям перетащить все это на материк и на время опять закопать там, - проговорил он, - но как мы дотащим все эти слитки до челнока?

Он снял куртку, разложил ее на земле и бросил на нее два или три слитка. При этом он заметил, что еще один шип впился ему под кожу.

- Больше нам не снести, - сказал он и добавил с неожиданным раздражением: - На что ты там уставился?

Хукер взглянул на него.

- Невыносимо... У него такой вид... - Он кивнул в сторону трупа. - Он так похож...

- Чепуха! - сказал Эванс. - Все китайцы похожи друг на друга.

Хукер смотрел в лицо своему товарищу.

- Во всяком случае, я похороню его, прежде чем притронусь к сокровищу.

- Не валяй дурака, Хукер, - сказал Эванс. - Оставь эту падаля.

Хукер колебался. Он медленно осмотрел бурую землю вокруг.

- Меня это как-то пугает, - проговорил он.

- Вопрос в том, - сказал Эванс, - что делать с этими слитками: снова закопать их где-нибудь здесь или перевезти на челноке через пролив?

Хукер молчал. Тревожным взглядом обводил он высокие стволы деревьев и далекие, залитые солнцем зеленые ветви над головой. Когда глаза его остановились на китайце в синей одежде, он снова вздрогнул.

- Что с тобой, Хукер? - спросил Эванс. - Ты спятил?

- Так или иначе, надо унести отсюда золото, - ответил Хукер.

Он взялся за ворот куртки Эванса, а тот ухватился за полы, и они подняли золото.

- Куда пойдем? - спросил Эванс. - К челноку? Странно, - добавил он, сделав несколько шагов, - у меня все еще болят руки от гребли... Черт побери! Здорово болят. Придется сделать передышку.

Они положили куртку на землю. Лицо у Эванса побледнело, и лоб покрылся мелкими капельками пота.

- Что-то душно здесь, в лесу, - пробормотал он.

С внезапным приступом необъяснимой ярости он закричал:

- Что толку весь день торчать здесь! Слушай-ка, поднимай куртку. Как ты увидел мертвого китайца, так ничего больше не делаешь, только глазеешь по сторонам!

Хукер пристально смотрел в лицо своему компаньону. Он помог поднять куртку со слитками, и они молча пошли дальше. Пройдя шагов сто, Эванс начал задыхаться.

- Что с тобой? - спросил Хукер.

Эванс, спотыкаясь, сделал еще несколько шагов, а затем с проклятием вдруг уронил куртку, так что золото вывалилось. С минуту он стоял, глядя на Хукера, и затем со стоном схватился за горло.

- Не подходи ко мне! - проговорил он, прислонившись к дереву, и более твердым голосом добавил: - Мне сейчас станет легче.

Пальцы его, сжимавшие ствол дерева, разжались, и он стал медленно сползать вниз, пока не рухнул бесформенной массой к подножию дерева. Руки его судорожно сжимались, лицо было искажено болью. Хукер подошел к нему.

- Не трогай меня! Не трогай! - задыхаясь, проговорил Эванс. - Положи золото на куртку.

- Может, помочь тебе? - спросил Хукер.

- Положи золото на куртку!

Когда Хукер поднимал слитки, он почувствовал, как что-то укололо его в большой палец. Он взглянул на руку и увидел тонкий шип дюйма в два длиной.

Эванс вскрикнул и стал кататься по земле.

У Хукера вытянулось лицо. Он смотрел на шип блуждающими глазами. Потом посмотрел на Эванса, который корчился на земле; его тело поминутно сводила судорога. Потом Хукер посмотрел туда, где между стволами деревьев и паутиной ползучих растений в тусклой серой дымке неясно виднелось тело китайца в синей одежде. Хукер вспомнил черточки в углу плана и сразу понял все.

- Господи, помоги мне! - проговорил он.

Эти ядовитые шипы были в точности похожи на те, которыми даяки стреляют из своих духовых ружей.

Хукер понял теперь, почему Чанг Хи был так уверен, что клад спрятан надежно. Он понял и усмешку Чанг Хи.

- Эванс! - закричал Хукер.

Но Эванс лежал безмолвно и неподвижно, только руки и ноги у него временами подергивались в предсмертной судороге. В лесу стояла глубокая тишина.

Тогда Хукер принялся с отчаянием сосать то место на большом пальце, где виднелось крошечное розоватое пятнышко. Он сосал и сосал - он боролся за жизнь. Внезапно он почувствовал тупую боль в руках и плечах, пальцы его с трудом сгибались, и он понял, что сосать не стоит.

Он сразу опустил руку и сел рядом с грудой слитков. Положив подбородок на руки и опершись локтями на колени, он смотрел на все еще вздрагивавшее тело Эванса. В памяти снова возникла усмешка Чанг Хи. Тупая боль теперь подступала к горлу и понемногу усиливалась. Высоко над его головой легкий ветерок шевелил листву, и белые лепестки неведомого цветка, кружась, падали в лесном полумраке.

## **Что едят писатели**

Пер. - Р.Померанцева

Рискуя огорчить новичка-литератора, я вынужден напомнить ему несколько банальных, но важных истин, связанных с литературным трудом. При всей своей банальности они объясняют многое, на первый взгляд непонятное. Что такое, скажем, творческая индивидуальность? Откуда эта способность выразить нечто свое - новое? А кроются за этим очень простые вещи. Кому не известно, что после длительного поста мозг наш работает вяло, нет и проблеска живой мысли, нам трудно сосредоточиться, и мы не в силах заставить себя думать по-настоящему. С другой стороны, сразу после сытной трапезы мысли у нас рождаются весомые, но неповоротливые. Чай вызывает у нас поток приятных размышлений, а те, кто принимал Истонский гипофосфатный сироп, легко припомнят, как быстро это снадобье возбуждает мозговую деятельность и подстегивает воображение. В свою очередь, шампанское, особенно если ему сопутствует рюмка виски, порождает шутовское и беззаботное настроение, тогда как десятка три устриц, съеденных натошак, вызывают по большей части состояние глубокой грусти, а то и черной меланхолии. Развивая эту тему, можно было бы отметить огрубляющее влияние пива, успокоительные свойства салата, возбуждающее действие цыплят под острым соусом, но мы и без того уже достаточно сказали в пояснение нашей мысли. Из вышеизложенного, безусловно, явствует, что самобытность писателя определяется лишь характером его пищи.

В подтверждение напомним читателю о, пожалуй, самом известном случае из жизни Карлейля, когда он при неких памятных обстоятельствах вышвырнул в окно свой завтрак. Что побудило его к этому? Неужели друзья сберегли эту историю лишь из низменного пристрастия к мелочам, принижающим великого человека! А ведь кое-кто хочет убедить нас, будто в этом проявилась всего лишь детская нелюбовь к холодному мясу и крутым яйцам. Это утверждение абсурдно. Между тем что может быть естественней справедливого возмущения при виде того, как рушится тщательно продуманная система питания? Новичок-литератор, если только он человек вдумчивый и не погряз безнадежно в глупых теориях о вдохновении и прирожденном таланте, надеюсь, отлично поймет, что я раскрываю ему самый, пожалуй, важный секрет писательского мастерства.

А теперь перейдем к более непосредственным советам. Если вы хотите, чтобы в ваших произведениях хоть сколько-нибудь чувствовалась сила и свежесть, вам совершенно необходимо погубить свой желудок. Это подтвердит всякий литератор. Добиться этого надо во что бы то ни стало - даже если вам придется свести свое питание к сосискам, луку и сыру. Покуда вы потакаете своим гурманским наклонностям, писателя из вас не выйдет.

В страданье познается то,

Что в песне говорится.

Поэтому те, кто живет дома, под опекой матери или старшей сестры, никогда и ни при каких обстоятельствах, как бы ни было сильно их тщеславие, не создадут ничего, кроме доморощенной поэзии. Ведь они едят в определенные часы, и притом очень вкусно, а от этого (да простится мне моя грубость) у них чертовски хиреет фантазия!

Тщательно изучив воспоминания о писателях прошлого, а также опыт ныне здравствующих писателей, мы откроем два способа погубить свой желудок и укрепить талант. Это переезд в



убогие мебелишки (мы могли бы назвать дюжину знаменитостей, вскормивших там великое честолубие) или женитьба на миловидной девице, совершенно несведущей в хозяйстве. Первый метод более эффективен, ибо миловидная девица непременно захочет целый день сидеть у вас на коленях, а это большая помеха в литературном труде.

Принадлежность к какому-нибудь клубу, где можно обедать, - пусть Даже к клубу литераторов, - неизбежно губит начинающего писателя. Эту роковую ошибку совершил не один даровитый юнец, по собственному почину или по совету неразумных друзей пытавшийся "пролезть" в общество знаменитостей, - он сберег свой желудок, но утратил репутацию.

После того как вы расправились со своим желудком (это - общее условие для успешной работы в литературе), вам предстоит выбрать меню, наиболее отвечающее вашим творческим планам. Здесь надо помнить, что все писатели держат свою кухню в тайне. Стивенсон сбежал на Самоа, дабы скрыть тщательно продуманную систему питания и уберечь своих поваров от возможного подкупа. Даже сэр Уолтер Безант, а он очень откровенен с начинающим литератором, не обмолвился ни словом о своей простой, здоровой и незатейливой пище. Сала утверждал, что ел все подряд, однако скорее всего он просто шутил. Наверное, у него было какое-нибудь главное блюдо, а все остальное служило гарниром. Интересно, а чем питался Шекспир? Беконом? Мистер Бэрри выпустил прелестную и весьма поучительную для молодого юмориста книгу о своей трубке и табаке, но почти ничего не сообщил в ней о том, что он ест и пьет. Его рассуждения о трубке повлияли на многих, и теперь каждый молодой репортер-честолубец непременно вытащит на людях хорошо обкуренную трубочку с таким диковинным чубуком, хоть его и мутит от табака. Тот факт, что знаменитости столь ревниво оберегают тайну своего питания - заметьте, они никогда не пускают интервьюера на кухню и не дают ему взглянуть на объедки, - разумеется, вынуждает нас прислушиваться ко всяким толкам и строить всевозможные гипотезы. Так, мистер Эндрю Лэнг ассоциируется для многих с лососем, но скорее всего это - чистое заблуждение. Пристрастие к лососине отнюдь не способствует развитию таланта; лососина, как легко убедиться, - кушанье унылое и несытное, способное скорее всего породить мировую скорбь мистера Хэлла Кейна.

Мистер Хэггард - и тот не питался одним сырым мясом. Для мелодраматичной и несколько грустной истории, право, не сыщешь ничего лучше простых булочек с коринкой, только надо есть их свежими да побольше. Легкий юмористический стиль проще всего достигается с помощью содовой и сухих бисквитов, если за ними следует черный кофе. Содовая может быть ирландской или шотландской, на выбор. Дабы научиться писать цветисто и вычурно, новичок должен ограничиться тушеными овощами и кипяченой водой и приобщиться к борьбе против алкоголя, табака, опиума и вивисекции, а также стать защитником вегетарианства и феминизма.

Тем, кто желает сотрудничать в толстых журналах, рекомендуется есть вареную свинину с капустой, запивать ее бутылочным пивом и заедать яблоком в тесте. Это самым действенным образом пресечет всякую склонность к шутке или к тому, что в респектабельных кругах Англии считается двусмысленностью, и обеспечит вам полную поддержку серьезной публики, читающей эти издания. Как только вы почувствуете, что теряете сон и покой, бросайте писать. С другой стороны, для того, чтобы сотрудничать в журналах, именуемых публикой "декадентскими", надо добрую неделю питаться лишь воздушными булочками, изредка позволяя себе выпить чаю у какого-нибудь литератора. Все, кто вскормлен на ячменных лепешках, становятся мозговитыми. Подобная диета - если вы изредка нарушаете ее и наедаетесь до отвала шоколадом и макаронами, запивая их дешевым шампанским, - а также каждодневные прогулки от Оксфорд-Серкус через Риджент-стрит, Пикадилли и Грин-парк в Вестминстер и обратно должны послужить хорошей основой для острой социальной сатиры.

Откуда возникла самобытность мистера Киплинга, неизвестно. А многие хотели бы знать. Возможно, он питался чем-нибудь найденным в джунглях, какими-нибудь ягодами или еще

чем. Один мой приятель провел с этой целью серию опытов, но вместо отчета о них оставил завещание, да и то не успел продиктовать до конца. (Это было не совсем обычное завещание: оно состояло из одних проклятий, и в нем не упоминалось ни о какой собственности, кроме его кишок.) Для детективных рассказов лучше всего идет холодный крепкий чай с черствыми бисквитами, тогда как для социального романа автору надо есть побольше вареного риса с поджаренным хлебом и запивать их водой.

Впрочем, почти все приведенные здесь рецепты основаны на догадках. Несомненно одно: каждый автор, после того, как пищеварение его будет испорчено, должен сам подыскать себе наиболее подходящую диету, а именно такую, которая особенно неприемлема для его желудка. Если вы не добьетесь нужного эффекта с помощью обычной пищи, попробуйте химикалии. Кстати, среди новичков-литераторов огромный успех имело бы какое-нибудь "Писательское питание Джэббера", должным образом разрекламированное и снабженное портретами писателей в их салонах с подписью: "Питался исключительно продуктами Джэббера", - а также врачебными справками, подтверждающими вредность этих продуктов, и хвалебными (и препарированными разгромными) рецензиями на сочинения авторов, сидящих на пище Джэббера. К указанным продуктам неплохо было бы примешивать небольшую, но действенную дозу мышьяка.

1898

## **Игрок в крокет**

Пер. - С.Займовский.

### **1. КРОКЕТИСТ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЧИТАТЕЛЮ**

Мне пришлось беседовать с двумя необычными субъектами, из-за которых я утратил душевный покой. Едва ли будет преувеличением сказать, что они заразили меня чрезвычайно странными и неприятными мыслями. Мне хочется поделиться с вами тем, что я от них услышал, мне это нужно самому, чтобы как-то разобраться в путанице своих переживаний. То, что они рассказали, фантастично и несуразно, но если я изложу это на бумаге, у меня будет легче на душе. Более того, мне хочется изложить все это связно, по порядку - тогда, быть может, кто-нибудь из доброжелательных читателей сможет убедить меня, что история, рассказанная мне этими двумя субъектами, - сплошная выдумка.

Это было нечто вроде истории о привидениях. Но история не совсем обычная. Тут гораздо больше реалистических подробностей, поэтому она не забывается и волнует несравненно больше, чем прочие рассказы такого рода. Это не сказка о каком-нибудь доме с привидениями, или о кладбище с призраками, или о чем-нибудь столь же ничтожном. Привидение, о котором мне рассказали, было куда страшнее: под его властью находилась целая округа; началось со смутного беспокойства, которое сменилось страхом; мало-помалу это ощущение становилось все сильнее и неотвязней. Оно непрерывно росло. И наконец перешло в сплошной, беспросветный ужас. Не по душе мне эти духи, которые распространяются и хотят заполнить все вокруг, пусть даже это одно воображение. Но, пожалуй, лучше мне начать сначала и рассказать все по порядку, как я это слышал сам.

Прежде всего несколько слов о себе. Конечно, я предпочел бы не говорить о себе, но без этого вы вряд ли поймете мою роль. Я, пожалуй, один из лучших крокетистов нашего времени и могу сказать это без ложной скромности. Кроме того, я первоклассный стрелок из лука. Тем и другим может быть лишь человек дисциплинированный и уравновешенный. Многие считают меня - я это знаю - несколько смешным и изнеженным по той причине, что моя любимая игра - крокет; это говорят у меня за спиной, а иногда и прямо в глаза; и, должен сказать, бывали минуты, когда я сам готов был с этим согласиться. Однако многие меня любят, все ласково

называют меня Джорджи, и в общем я себе нравлюсь. Каких только людей нет на свете, и я не нахожу нужным прикидываться человеком обычным, когда в действительности я не таков. В определенном смысле я, без сомнения, неженка; однако я умею сохранять хладнокровие и присутствие духа во время игры, и деревянный шар у меня похож на дрессированное животное. А на теннисном корте я привожу в слепую ярость самых свирепых игроков. К тому же я не хуже любого профессионала проделываю фокусы, требующие ловкости рук, известной смелости и полного самообладания.

В сущности говоря, многие спортивные знаменитости, рекордсмены, азартные игроки и прочие гораздо больше мне сродни, чем они могли бы подумать. В их притязаниях на мужественность немало лицемерия. В глубине души они такие же смирные, ручные зверьки, как и я. Они прячутся от жизни. Я допускаю, что хоккей больше сродни гладиаторским боям, чем мой излюбленный спорт, что авиация и автомобилизм представляют больше опасностей, а карточная игра больше волнует; но, по-моему, все эти виды спорта так же далеки от действительности, как мой крокет. Ведь риск лежит за пределами действительности. И эти люди, подобно мне, всю жизнь занимаются делом безобидным и бесплодным.

Нельзя не признать, что моя жизнь была исключительно бедна событиями. Я родился слишком поздно, чтобы принять участие в мировой войне, и жил спокойно, окруженный комфортом. Воспитывала меня тетка, сестра отца, мисс Фробишер - та самая мисс Фробишер, активная участница всемирного женского гуманистического движения, и лишь взрослым я понял, что воспитание мое было - как это ни парадоксально звучит - в высшей степени банальным. Моя жизнь состояла из запретов и ограничений. Меня приучили сохранять спокойствие, быть учтивым и не выказывать своих чувств при всякого рода неожиданностях. А главное - считаться только с тем, что общепризнано, и соблюдать приличия.

Тетка взяла меня к себе трехлетним ребенком, когда мои родители разошлись, и с той поры уже не расставалась со мной. Эта женщина, надо откровенно сказать, глубоко ненавидит и презирает все, что связано со взаимоотношениями между мужчиной и женщиной; дурной поступок моих родителей - газеты в ту пору печатали подробные отчеты о бракоразводных процессах, - а также некоторые подробности этого дела до крайности ее шокировали. Когда я поступил в школу в Гартоне, она поселилась поблизости, чтобы я мог жить дома, так же поступила она и позже, когда я учился в Кибле. Вероятно, у меня от природы были задатки неженки, и благодаря такому воспитанию они развивались.

У меня мягкие руки и слабая воля. Я предпочитаю избегать важных решений. Тетушка никогда со мной не расставалась, она на каждом шагу окружала меня безграничной материнской любовью, избаловала меня и не приучила к самостоятельности. Впрочем, я не осуждаю ее и даже не слишком об этом жалею. Такими уж мы созданы. Она была богата, всю жизнь могла делать что хотела и помыкать другими, я благодаря ей чувствовал себя обеспеченным и мог ни о чем не заботиться. До поры до времени нам жилось легко. Подобно большинству знатных и богатых людей, мы принимали как должное и свое привилегированное положение, и подобострастие слуг, и всеобщую благосклонность. Вероятно, многие сотни тысяч людей, так же обеспеченных материальными благами, как мы, принимают это как нечто само собою разумеющееся.

"Чем бы нам заняться? - спрашиваем мы. - Куда бы поехать?" Мы вольны поступать, как нам нравится. Мы сливки человечества.

У нас собственный дом на Аппер-Бимиш-стрит, в скромном местечке в Хэмпшире, и мы частенько путешествуем. Моя тетюшка, как известно многим, женщина весьма темпераментная - конечно, отнюдь не в предосудительном смысле, - и порой мы воспламеняемся энтузиазмом ко всемирному женскому гуманистическому движению (я, впрочем, никогда толком не понимал, что это за движение) и разъезжаем по всему земному шару, где только есть в гостиницах номера с ванной, на чем тетка всегда настаивала, "устанавливая контакты" до тех пор, пока у тетушки не произойдет каких-нибудь неприятностей на почве выборов в комитет; после этого на год или на два мы забываем о всемирном женском гуманистическом движении и

гоняем шары по крокетным площадкам в обществе чемпионов или же завоевываем почетные значки искусной стрельбой из лука. Мы оба очень сильны в этом искусстве, и художник Уилмердингс даже изобразил мою тетюшку в образе Дианы. Но особенно сильны мы в крокете. Мы, наверное, были бы чемпионами, если бы не гнушались рекламы и вульгарности. Кроме того, мы неплохо играем в теннис, а в гольф, пожалуй, похуже; но в теннисе теперь разбираются решительно все, так что мы не любим, когда зрители смотрят на нашу игру; гольф же дает возможность общаться с самыми разнообразными людьми. Иногда мы просто отдыхаем. Недавно мы отдыхали в Ле Нупэ после крайне неприятного съезда представительниц женского гуманистического движения в Чикаго. (Чем меньше мы скажем об этих американских делегатках, тем лучше; но тетка моя вполне им под стать.)

Полагаю, что теперь вы получили достаточно ясное представление обо мне и о моем образе жизни. В Ле Нупэ были две прекрасные площадки для гольфа, и, кроме того, мы нашли отличного секретаря-стенографистку, которая вела обширную корреспонденцию тетки, связанную с женским движением, а главное - с процессом против миссис Глайко-Хэрриман, допустившей против нее клеветнические выпады; утром секретарша стенографировала, днем переписывала это на машинке, а после чая приносила письма для просмотра. Там нашлось несколько довольно милых людей, с которыми приятно было непринужденно поболтать. До завтрака, а иногда и после завтрака - крокет, в восемь вечера - обед. В бридж мы играем только после обеда, это - наше нерушимое правило.

Таким образом, у меня оставалось немало свободного времени, пока тетка писала свои письма, заносчивые и саркастические, как могло бы показаться человеку, не знающему ее нрава; с утра я отправлялся на прогулку, поднимался на гору, к источникам Пероны, где я пил воды не столько для здоровья, сколько для развлечения, а потом сидел, предаваясь блаженной праздности, на террасе отеля "Источник", стараясь заглушить чернильный привкус лечебной воды различными прохладительными напитками. Моя тетюшка - убежденная трезвенница; но за последние годы я понял, что, если я стану в таких делах следовать своим собственным вкусам, это будет и приятней и полезней для нас обоих. Я хочу сказать, что тогда я делаюсь общительнее.

Думаю, что я достаточно подробно рассказал о себе, и теперь, с вашего разрешения, отступаю, так сказать, на задний план - или, вернее, удаляюсь в тень, - чтобы познакомить вас с первым из двух чудачков, с которыми я встретился на террасе отеля в Пероне.

## 2. СТРАХИ НА КАИНОВОМ БОЛОТЕ

Я впервые увидел доктора Финчэттона на террасе, где, жуя булочку, потягивал безобидный вермут с сельтерской водой. Доктор Финчэттон сидел через столик от меня и яростно расправлялся с книгами, взятыми из местной библиотеки. Он раскрывал их одну за другой, прочитывал несколько страниц, потом, что-то сердито бормоча, швырял книгу наземь с пылкостью, которая привела бы библиотекарей в отчаяние. Подняв голову, он встретил мой укоризненный взгляд. Он посмотрел на меня, потом улыбнулся.

- Десятки книг, - проговорил он, - сотни книг - и ни одной стоящей! Все они никуда не годятся!

В его негодовании было что-то комическое.

- Зачем же вы их читаете? - спросил я. - Чтение засоряет память и мешает думать.

- Это как раз мне и нужно! Я приехал сюда для того, чтобы перестать думать - и забыть. Да вот никак не могу! - В голосе его, чистом и звонком, послышались гневные нотки. - Одни из этих книг скучны, другие раздражают. А иные даже напоминают мне о том, что я стараюсь забыть!

Перешагнув через груды отвергнутых томиков, он направился ко мне с графином и бокалом и, не дожидаясь приглашения, сел за мой столик. Он поглядел мне в глаза с приветливым и слегка

насмешливым выражением. Я знаю, что для тридцатитрехлетнего мужчины слишком похож на херувима, и было совершенно ясно, что он обратил на это внимание.

- А вы много думаете? - спросил он.

- Порядочно. Почти каждый день отгадываю кроссворды в "Таймсе". Я часто играю в шахматы, главным образом по почте. И неплохо играю в бридж.

- Я не об этом. Думаете ли вы всерьез о том, что вас мучает и угнетает, о том, что вы не можете объяснить?

- Меня ничто не угнетает.

- Вы интересуетесь духами и привидениями?

- Не очень. Я не из тех, кто верит в духов, но не могу сказать, что я в них не верю. Вы меня понимаете? Я их никогда не видел! Полагаю, что в пользу спиритизма можно привести немало доводов, хотя в этой области шарлатанства хоть отбавляй. Мне кажется, спиритам удалось доказать, что существует бессмертие, и это хорошо. Моя тетушка, мисс Фробишер, такого же мнения. Но столоверчение, спиритические сеансы и прочее - это, по-моему, дело специалистов.

- А что если бы вы обнаружили, что вас окружают духи?

- Со мной такого не бывало.

- Ну, а здесь ничто не вызывает в вас беспокойства?

- Где? - спросил я.

- Здесь, - повторил он и указал на спокойное море и мирный небосклон.

- Да что же здесь может быть такого?

- А все-таки?

- Ничего не замечаю.

- Завидую вашей невосприимчивости... или невозмутимости! - Он допил бокал и потребовал еще пол-литра вина. То ли потому, что он не разбирался в винах, то ли по особому пристрастию, он пил простое красное вино. - Разве вы не чувствуете, что тут что-то есть? Какая-то опасность?

- В жизни не видел ничего безмятежнее. На небе ни облачка.

- А я бы этого не сказал... У меня были мучительные переживания. До сих пор не могу успокоиться. Странное дело! Вы ничего не чувствуете. Может быть, я стал так восприимчив после того, как это произошло...

- А что, собственно, произошло?

- Если хотите, я с удовольствием вам расскажу... Это, знаете ли, целая история.

- Пожалуйста, - сказал я.

И он начал рассказывать. Сперва рассказ его был довольно бессвязен, но потом дело пошло более гладко. Не то чтобы он хотел поделиться именно со мной, просто ему нужен был слушатель, и он сам желал услышать, как это прозвучит. Я почти не перебивал его.

Может быть, я напрасно с ним разговаривал. Я даже не знал, кто он такой. Он не назвал себя, и мне пришлось спросить его имя. В нем было что-то чуждаковатое; я совершенно забыл, что большой дом, стоявший на холме, высоко над городом, был лечебницей для душевнобольных - психотерапевтическим институтом, как выражаются теперь, - и мне следовало улизнуть под каким-нибудь предлогом, прежде чем он приступил к рассказу.

Но в нем не было ничего подозрительного. Ни его манеры, ни внешность не были странными. Казалось, он измучен бессонницей, под глазами темные круги, но в остальном он ничем не отличался от других. На нем был самый обычный серый костюм, цветная рубашка и скромный галстук. Галстук был повязан несколько косо, но это пустяки. Многие мужчины не умеют повязывать галстук как следует, хотя мне трудно представить себе, как могут они с этим примириться. Повязать галстук правильно вовсе не трудно. Мой новый знакомец был худощав и довольно красив; у него был, что называется, чувственный рот, прикрытый короткими усиками. Он сидел, подавшись вперед и упрятав скрещенные руки под грудь, как прячет кошка свои передние лапы. Говорил он, пожалуй, слишком увлеченно, хотя и старался себя



одергивать. Так как до возвращения в Ле-Нупэ у меня оставался еще добрый час, я предоставил ему говорить, не перебивая его.

- Сначала, - говорил он, - я думал, что все дело в болотах.

- В каких болотах?

- В Каиновом болоте. Вы слышали о Каиновом болоте?

В школе я был довольно силен в географии, но такого названия припомнить не мог. Мне, однако, не хотелось сразу сознаться в своем невежестве. Что-то казалось мне знакомым. "Болото" как будто давало какую-то нить. Перед моим взором смутно маячили трясины, бесконечные топи, низко нависшее небо, серые, прелые соломенные крыши, пришвартованные старые лодки и полчища гудящих комаров.

- Рассадник малярии и ревматизма, - сказал он, словно в ответ на мои мысли. - Я купил себе там практику... Простите за эти подробности о себе. Сделал я это отчасти потому, что запросили с меня удивительно мало, а при моих ограниченных средствах мне нужен был какой-нибудь заработок, отчасти же потому, что мне хотелось оставить клинику и Лондон и дать отдых голове. Я приехал туда измученный и разочарованный. Работа на первый взгляд показалась легкой. Конкуренции там, среди болот, в сущности, не было, если не считать так называемого "Острова", куда иногда заезжают на своих автомобилях врачи из ближайшего города. Зато в приходы, расположенные у окрестных холмов и среди солончаков, они никогда не заглядывают, разве что их вызовут туда на консилиум. Пришлось приступить к практике, хотя у меня не было достаточной квалификации, так как я нуждался в спокойной обстановке... Я отказался от мысли добиться ученой степени.

Он помолчал, видимо, подыскивая слова.

- Вы заболели? - попытался я прийти к нему на помощь. - Почему вы оставили клинику, не кончив курса? Простите, что я задаю вопросы, но вы не похожи на человека, который мог бы провалиться на экзаменах.

- Я не провалился. В сущности, во мне честолубия даже больше, чем следует. Вероятно, я слишком напряженно работал. И слишком много размышлял над различными вопросами. Политикой я интересовался живее, чем большинство наших студентов-медиков. Меня очень волновали вопросы общественной справедливости и вопрос о войне. О войне - особенно. Я работал сверх сил. Возможно, у меня были слишком тяжелые переживания. Да... да, это несомненно. В конце концов утренняя газета могла так меня взбудоражить, что я целый день не в состоянии был работать.

Надо сказать, что нервы мои были в постоянном напряжении с самого начала учебы. Признаю это. Я не любил анатомировать; не любил всех этих больных в палатах. Одно возбуждало во мне жалость, другое ужасало.

Я согласился с ним.

- Медицина и меня всегда приводила в ужас. Я бы этого не вынес!

- Но ведь врачи необходимы людям, - возразил он.

- Во всяком случае, я не стал бы врачом. За всю свою жизнь я видел не больше трех покойников, да и те мирно лежали в постели.

- Ну, а на дорогах? Когда едешь на автомобиле, вечно видишь ужасные зрелища.

- Мы никогда не ездим в автомобиле. Все здравомыслящие люди от этого отказались.

- Вы, как я вижу, с детства избегали уродливых сторон жизни. Ну, а я нет. Я сразу очутился в самой ее гуще, когда избрал медицину. Я думал о добре, которое мог сделать, и никогда не думал о мрачных сторонах действительности. Вы избежали этого. Я же сперва не пытался избежать, а потом отступил. Когда я приехал в те места, у меня было такое чувство, что я убежал от жизни. Там, говорил я себе, никогда не будет ни войны, ни бомбежки. Там я смогу прийти в себя. Там будут только обыкновенные больные, которым я смогу оказать действительную помощь. Каиново болото лежит в стороне от больших дорог. Там не будет даже пострадавших от автомобильных катастроф, на которых порой жутко смотреть. Вы меня понимаете? Каиново болото казалось мне лучшим местом на свете, и мне было приятно

приехать туда летом, когда распускаются полевые цветы, когда порхают сотни бабочек и стрекоз и всюду щебечут птицы, а по реке плавают удобные лодки, на которых приезжают туристы и рыболовы с семьями. Я рассмеялся бы, если бы мне сказали, что я попаду в страну привидений!

Я принял все меры, чтобы успокоить нервы. Я не выписывал газет. Я довольствовался краткими еженедельными обозрениями с диаграммами вместо иллюстраций. Я не раскрывал книг, написанных после Диккенса.

Местные жители показались мне вначале туповатыми и скрытными, но добродушными. Ничего подозрительного я в них тогда не заметил. Старик Роудон, викарий церкви Святого Креста в Слэкнесе, стоявшей на краю равнины, рассказал мне, что жители, спасаясь от лихорадки, потихоньку злоупотребляют наркотиками и что он склонен считать их дружелюбие притворным. Я сразу же после приезда пошел засвидетельствовать ему свое почтение. Это был пожилой человек, туговатый на ухо; в Слэкнесс он переехал по болезни, поменявшись с другим священником. Церковь и его дом вместе с еще несколькими домишками приютились, так сказать, на холме, напоминавшем спину крокодила; вокруг росли вязы. Сомневаюсь, собирались ли на его проповеди хоть два десятка прихожан. Он был не слишком словоохотлив, его старая, сгорбленная жена и того меньше; у него были камни в печени и язва на ноге, но больше всего неприятностей ему, кажется, доставлял новый священник, сторонник "высокой церкви", недавно прибывший в соседний приход Марш Хэверинг. Сам он, по-видимому, принадлежал к "низкой церкви" и склонялся к кальвинизму; но первое время я не мог понять, почему он говорит о своем более молодом собрате с такой опаской и с таким возмущением. Дворянских поместий на Каиновом болоте не было, население, если не считать ветеринара, нескольких учителей начальной школы, трактирщиков и содержателей гостиниц в окрестностях Бикон Несса, состояло исключительно из фермеров и сельскохозяйственных рабочих. У них не было ни фольклора, ни песен, ни кустарных изделий, ни местных костюмов. Трудно представить себе почву, менее подходящую для каких бы то ни было психических явлений. И все же, знаете...

Он нахмурился и продолжал рассказывать ровным голосом, словно стараясь выразиться как можно ясней и заранее отвечая на возможные возражения с моей стороны:

- В конце концов... Жизнь там такая тихая, простая, невозмутимая... Может быть, именно потому все, что скрывается в глубине, все, что осталось бы незаметным в менее серой и скучной обстановке, там выплывало наружу, действовало на воображение.

Он помолчал, выпил бокал вина, задумался, потом продолжал:

- Тишина в тех местах удивительная! Иногда я останавливал автомобиль на извилистой дороге, проходящей по дамбе, и долго стоял, прислушиваясь, прежде чем двинуться дальше. Было слышно, как блеют овцы на лиловых холмах в четырех-пяти милях от меня, иногда доносился далекий крик водяной птицы, резкий, похожий на вспышку неоновых светов среди безмолвной лазури неба, или шум ветра и морских волн у Бикон Несса, до которого был добрый десяток миль, и тогда мне казалось, что я слышу сонное дыхание земли. Ночью, разумеется, звуков было больше: вдалеке выли и лаяли собаки, свистали коростели, какие-то твари шуршали в камышах. Но и ночью бывает порой гнетущая тишина...

Первое время я не придавал значения тому, что местные жители, такие бесчувственные с виду, потребляют все больше снотворных лекарств и опиума, а число самоубийств и таинственных преступлений, в отличие от преступлений с ясными и легко объяснимыми мотивами, в этой округе исключительно велико и возрастает на глазах. Хотя, конечно, в округе с таким маленьким населением одно-два убийства уже составляли значительный процент от общего числа преступлений. Встречая местных жителей днем, я не замечал в их облике ничего злодейского. Они не смотрели в глаза, но, может быть, таково было их представление о благовоспитанности. А ведь за последние пять лет на Каиновом болоте были совершены три, если не больше, чудовищных убийств, видимо, дело рук родичей и соседей, причем в двух случаях преступников найти не удалось. Третий преступник был братоубийцей. Когда я

заговорил об этом с викарием, он буркнул что-то насчет "дегенератов, которые женятся только между собой", видимо, не желая обсуждать эту неприятную и малоинтересную для него тему.

Странная и тягостная обстановка на Каиновом болоте не замедлила сказаться: у меня началась бессонница. Раньше я спал превосходно, но не прошло и двух месяцев после моего приезда, как сон мой стал тревожным. Я просыпался, охваченный странным беспокойством, меня без всяких причин мучили кошмары. Раньше мне никогда не снилось ничего подобного. Мне грозили, меня подстерегали, выслеживали, преследовали, я отчаянно дрался, обороняясь, и просыпался с криком, - знаете, как жалобно кричат люди во сне, - весь в поту, дрожа всем телом. Порой сны бывали до того жуткими, что я боялся уснуть снова. Я пробовал читать, но никакая книга не могла рассеять мое беспокойство.

Стараясь избавиться от этого тревожного состояния, я испробовал все средства, какие обычно приходят в голову молодому врачу, но ничто не помогало. Я соблюдал диету. Делал гимнастику. Вставал ночью с постели, одевался и шел гулять пешком или ехал в автомобиле, преодолевая страх. Ночные кошмары продолжали преследовать меня и днем. Ощущение кошмара окутывало меня, и я не в силах был его стряхнуть. Это были сны наяву. Никогда еще я не видел такого зловещего неба, как во время этих ночных прогулок. Я пугался каждой тени, чего со мной не бывало даже в детстве. Иногда по ночам я громко кричал, тоскуя по дневному свету, как человек, задыхающийся в запертой камере, молит о глотке воздуха.

Эта бессонница, естественно, начала подрывать мое здоровье. Я стал нервным, склонным к фантазиям. Я стал замечать за собой галлюцинации, похожие на те, какие бывают при белой горячке. Но они были еще страшней. Иногда я внезапно оборачивался, испытывая ощущение, что у меня за спиной бесшумно крадется собака, готовясь броситься на меня; или же мне мерещилось, что из-под чехла кресла выползает черная змея.

Появились и другие симптомы потери душевного равновесия. Я поймал себя на том, что подозреваю врачей "Острова" в заговоре против себя. Какие-нибудь незначительные мелочи, досадные пустяки, нарушения профессиональной этики, мнимые обвинения разрастались у меня в воображении, словно я был одержим манией преследования. Я с трудом удерживался от желания писать дурацкие письма, бросать вызов или требовать объяснений. Потом мне стали казаться зловещими молчание и жесты некоторых моих пациентов. Я сидел у постели больного, и мне мерещилась какая-то враждебная суетня, злобные перешептывания за дверью.

Я не понимал, что со мной творится. Я старался вспомнить, не было ли у меня какого-нибудь нервного потрясения, но не мог ничего припомнить. Все это осталось позади, в Лондоне. Температура и самочувствие у меня были нормальные. Но ясно было, что я никак не могу приспособиться к новой среде. Каиново болото обмануло мои ожидания. Оно не принесло мне исцеления. Но необходимо было взять себя в руки. Весь свой небольшой капитал я вложил в эту практику, и приходилось держаться за нее. Мне некуда было деваться. Надо было сохранить самообладание, мужественно встретить эту напасть и побороть ее, прежде чем она доконает меня.

Но только ли во мне дело? Неладно ли только с моим здоровьем, или же виновата обстановка? Преследуют ли кошмары и галлюцинации и других местных жителей, или же это бывает лишь с приезжими и потом проходит? Быть может, это должен испытать каждый? Быть может, это своего рода акклиматизация? В расспросах мне приходилось быть осторожным: врачу нельзя признаваться, что он нездоров. Я стал наблюдать за своими пациентами, за своей старой служанкой, за всеми, с кем - мне приходилось общаться, искал симптомов, подобных моим. И я нашел то, что искал. Под внешним тупым безразличием в этих людях таилось глубокое беспокойство! Их, как и меня, преследовал страх. Страх привычный, укоренившийся. Но при этом какой-то неопределенный. Они страшились неведомого. Этот страх в любое мгновение мог перейти на что угодно и перерасти в непреодолимый ужас.

Приведу вам несколько примеров.

Как-то вечером одна из моих пожилых пациенток оцепенела от ужаса, увидев какую-то тень в углу; когда я придвинул свечу и тень заколебалась, старуха громко вскрикнула.

- Но ведь тень не может причинить вам никакого вреда, - стал я ее убеждать.

- Я боюсь! - отвечала она, и это был ее единственный довод. Не успел я остановить ее, как она схватила часы, стоявшие у нее на ночном столике, швырнула их в черную, жуткую пустоту и с головой накрылась одеялом. Должен признаться, что на минуту я остолебенел, уставившись в угол, на разбитые часы.

В другой раз я видел, как один фермер, охотясь на зайцев, вдруг остановился, с ужасом оглядел трепетавшее на ветру воронье пугало, не замечая меня, вскинул ружье и выстрелом разнес в клочья безобидное чучело.

Все поголовно боялись темноты. Я убедился, что моя старая служанка после сумерек не решается выйти даже к почтовому ящику, который был в каких-нибудь ста шагах от дома. Она приводила всевозможные отговорки, когда же ее припирали к стенке, просто отказывалась идти. Мне приходилось самому вынимать письма или ждать до утра. Я узнал, что даже влюбленные парочки не выходили из дому после заката солнца.

Не могу передать, - продолжал он, - как это ощущение жути овладело мной и мало-помалу усиливалось; оно так захватило меня, что стоило ветру хлопнуть ставнем или угольку выпасть из камина, как я вздрагивал.

Я не мог отделаться от этого состояния; ночи стали невыносимы. Я решил серьезно поговорить об этой странной тревоге со старым викарием. В определенном смысле округа была в его ведении, так же как и в моем. Должен же он знать хоть что-нибудь. К этому времени мои нервы вконец расстроились. После одной особенно жуткой и тяжелой ночи я решил, не откладывая, отправиться к викарию. Очень уж мне было плохо...

Помню, с каким чувством полнейшей незащитности ехал я к нему по болотам. Они были такими голыми, такими открытыми, что, казалось, там не могла гнездиться опасность. Но когда я приближался к кучке деревьев или кустов, мне мерещилась засада. Я утратил уверенность, присущую всякому живому существу. Я чувствовал, что окружен силами зла, что они угрожают мне. И это среди бела дня, в ясный солнечный день! И никого кругом, кроме птиц...

Мне повезло: в тот день старик был словоохотливей обычного.

Я прямо приступил к делу.

- Я в этих краях человек новый, - начал я. - Не замечается ли тут что-нибудь неладное?

Он уставился на меня и, почесывая щеку, обдумывал ответ.

- Как же, замечается, - сказал он.

Он увел меня к себе в кабинет, с минуту прислушивался, как бы желая удостовериться, что никто нас не услышит, потом тщательно запер дверь.

- Вы очень чувствительны, - проговорил он. - С вами это началось раньше, чем со мной. Сначала ощущаешь что-то неладное - и чем дальше, тем хуже... Что-то скверное!

Мне запомнились эти его первые слова, его слезящиеся старческие глаза и приоткрытый рот, в котором виднелись гнилые зубы. Он подсел ко мне поближе, приложил к волосатому уху ладонь и сказал:

- Говорите тихо и медленно, тогда я услышу.

Он был очень доволен, что может наконец поговорить об этом. Он надеялся спокойно дожить здесь свой век, но понемногу им овладела смутная тревога, неприметно перешедшая в страх. Уехать он не мог. Он, как и я, застрял здесь. Говорить об этом ему было нелегко. С женой он на эту тему никогда не разговаривал. До переселения сюда они жили дружно и легко находили общий язык.

- А теперь, - сказал он, - нас что-то разделило. Я не могу больше разговаривать с женой! Не пойму, что с ней творится.

- Что же вас разделило? - спросил я.

- Зло.

Так он назвал это.

- Оно разделяет всех, - продолжал он. - В самых обычных вещах начинаешь усматривать признаки чего-то зловещего.

Недавно у него вдруг зародилось странное подозрение, - ему почудился какой-то привкус в еде и необычные ощущения после нее.

- Я начинаю опасаться за свой рассудок, - продолжал он. - Или я схожу с ума, или моя жена. И все-таки с пищей было что-то неладно. Хотя - кому это нужно?..

Больше он об этом ничего не сказал.

Местные жители показались ему вначале просто тупоумными. Потом он начал понимать, что они вовсе не так уж тупоумны, но до крайности скрытны и подозрительны. Иногда в их глазах ему чудился блеск, как у собаки, готовой укусить. И даже у детей загорались глаза, когда он начинал следить за ними. Без причины. Решительно безо всякой причины! Все это он говорил шепотом, сидя рядом со мной.

Потом он придвинулся еще ближе.

- Они жестоко обращаются с животными, - сказал он. - Бьют своих собак и лошадей! Не всегда. Это похоже на какие-то приступы.

- Дети приходят в школу с синяками, - продолжал он. - И от них нельзя добиться ни слова... Они запуганы.

Я спросил его, не чувствует ли он, что эти таинственные явления нарастают. Всегда ли здесь было так? Письменных свидетельств о прошлом этой округи нет. Но он считал, что они действительно нарастают. Не всегда это было так. Я высказал предположение, что в здешней атмосфере всегда было что-то зловещее, но мы заметили это лишь тогда, когда испытали загадочное влияние на себе.

- Возможно. Пожалуй, отчасти вы правы, - согласился он.

Старый викарий рассказал мне кое-что о своем предшественнике. Этого человека вместе с его женой посадили в тюрьму за зверское обращение с девушкой, которая была у них в услужении. В тюрьму! Они утверждали, что она лгала и у нее были дурные привычки. Так они оправдывались. Они якобы хотели ее исправить. Но на деле они просто ненавидели ее... А ведь до их приезда сюда за ними никто не знал ничего дурного.

- Это было всегда, - прошептал старый викарий. - Всегда! Где-то в глубине. Какой-то проклятый злой дух овладевает всеми нами. Я молюсь. Не знаю, что было бы со мною, если бы я не молился. Я просто не вынес бы этой жизни: денег уходит пропасть, и все так грубы и делают мне всякие гадости, швыряют в меня камнями... И потом эта мысль о яде. Она угнетает меня больше всего...

Так разговаривали мы среди бела дня в его большом, убогом, скудно меблированном кабинете, хотя этот разговор скорее пристало бы вести в темной пещере.

Постепенно его речи все больше становились похожими на бред. Зло гнездится в почве, заявил он, под землей. Он особенно подчеркнул эти слова - "под землей". При этом он дрожащей рукой указал вниз. В Каиновом болоте погребено нечто могучее и страшное. Какое-то огромное зло. Оно разбито. Рассеяно по всему болоту.

- Мне кажется, я знаю, что это, - боязливо шепнул он, но не сразу объяснил, в чем дело. - Они тревожат его, не хотят оставить в покое!

Кто эти "они", понять было трудно. В последние годы через болото прокладывали дороги, там шли осушительные работы, а теперь начались раскопки. И это еще не все. Во время войны распахали старинные пастбища. Вскрыли старые язвы.

- Понимаете, вся эта местность была некогда пустыней, и всюду могилы!

- Курганы? - спросил я.

- Нет, - настаивал он. - Могилы, кругом могилы!

Некоторые из древних людей, по его словам, "окаменели". Здесь попадались камни самой удивительной формы. Омерзительные! И они продолжают выкапывать всякие штуки, говорил он. А лучше бы оставить их в покое. Это просто необходимо. Они сеют сомнения, растерянность, разрушают веру!

И вдруг викарий ни с того ни с сего напустился на дарвинизм и эволюционную теорию. Воспоминания о полемике, которую ему приходилось вести всю жизнь, причудливо



переплетались у него в мозгу с ужасами Каинова болота. Он спросил меня, был ли я в музее в Истфоке.

Потом он заговорил о выставленных там исполинских костях. Я заметил, что он, вероятно, имеет в виду кости мамонтов, динозавров и тому подобных животных.

- Великанов, - настаивал он. - Обратите внимание на то, что "они" называют орудиями труда! Орудия эти слишком велики и неуклюжи, чтобы обыкновенный человек мог управляться с ними. Топоры, копья - огромные орудия убийства, и ничего больше.

"Смертоносные камни" - так окрестил он их. Смертоносные камни великанов!

Он сжал костлявую руку в кулак, его дрожащий голос поднялся до крика, и глаза вспыхнули неподдельной злобой.

- Люди, откапывающие эти кости, - продолжал он, - ни перед чем не останавливаются. Они извлекают на свет темные тайны! Им кажется, будто они что-то опровергают... Но могила есть могила, покойник есть покойник, пролежи он в земле хоть миллион лет! И пусть бы эти злобные существа лежали в земле! Пусть лежат! Оставьте их прах в покое! - Теперь старик уже не говорил робким шепотом, как вначале; охваченный яростью, он забыл о своих страхах. Он не слушал моих возражений.

Наконец он разразился гневной речью. Его дряхлое тело тряслось, он весь преобразился от злобы. Главным объектом его нападок были местные археологи и натуралисты, но самым странным и нелогичным образом он приплел сюда свое возмущение обрядами "высокой церкви", которые ввел новый священник в Марш Хэверинге.

- Как раз теперь, когда Зло вырвалось на волю и, подобно испарениям, поднялось из болот, когда всего нужнее истинная вера, единая истинная вера, - кричал он, потрясая руками, - является этот субъект со своими ризами, статуями, музыкой и балаганом!

Впрочем, даже если бы я мог описать неистовство этого несчастного старика, его яростные хриплые вопли, я не стал бы докучать вам этим. Он требовал подавления, преследования науки, Рима, всякой безнравственности и нескромности, всякой веры, кроме его собственной, преследований и насильственного покаяния, без которых нельзя спастись от Гнева, неумолимо надвигающегося на нас!

- Они переворачивают землю, выкапывают бог весть что, и мы дышим прахом давно умерших людей! - Казалось, этими криками он хотел разогнать страх, нависший над всеми обитателями этих мест. - Проклятие Каина! - вопил он. - Воздаяние за Каинов грех.

- Но при чем тут Каин? - вставил я наконец.

- Здесь он кончил свои дни, - заявил старик. - Уж я-то знаю! Ведь недаром это место называется Каиновым болотом! Он скитался по лику земли и пришел наконец сюда - пришел с худшими из своих сынов. Они отравили землю. Долгие века преступлений и зверств, а затем потоп похоронил их в этих болотах, и здесь они должны бы лежать до скончания века!

Я пытался оспаривать это фантастическое измышление. Каиново болото - это лишь искаженное название "Гайново болото", как значится во всех путеводителях и главное - в кадастровой книге [земельная опись Англии, произведенная в 1086 году Вильгельмом Завоевателем]. Но старик перекричал меня; где мне было тягаться с его неистовым карканьем! Глухота служила ему щитом против всяких возражений. Голос его заполнял всю комнату. Викарий высказал все, что накопилось в нем за долгие месяцы одиноких раздумий. Слова его казались обдуманскими, приготовленными заранее. Подозреваю, что многие из них неоднократно звучали с кафедры в церкви Святого Креста в Слэкнесе. В его воображении беспорядочно переплетались сыны Каина и пещерные люди, мамонты, мегатерии и динозавры. Это был какой-то ураган дикого вздора. И все же... И все же, знаете ли...

Несколько минут доктор Финчэттон безмолвно смотрел на залив Ле Нупэ.

- После всего этого у меня возникла догадка. Не знаю, покажется ли она вам хоть сколько-нибудь разумной - здесь, в это ясное утро. Но я подумал, что нас преследовало и угнетало нечто древнее, первобытное, звериное...

Он кивал головой, как бы подкрепляя свои слова, в которых, казалось, сам сомневался.

- Видите ли... Когда вас преследует привидение эпохи королей Георгов, эпохи Стюартов или елизаветинских времен, привидение в латах или в цепях, это уже скверно. Но к таким привидениям испытываешь нечто вроде дружеского чувства. В них нет жестокости, подозрительности или дикой злобности! А вот души какого-нибудь племени пещерных людей... Жуткие духи... Как, по-вашему?

- Может быть, и так, - уклончиво ответил я.

- Да. А от пещерных людей один шаг до человекообразных обезьян. Представьте себе, что на нас восстали все наши предки! Пресмыкающиеся, рыбы, амебы! Эта мысль была до того фантастична, что на обратном пути из церкви Святого Креста в Слэкнесе я попытался даже засмеяться.

Тут доктор Финчэттон умолк и посмотрел на меня.

- Но мне было не до смеха, - добавил он.

- Пожалуй, и мне было бы не до смеха, - сказал я. - Ужасная мысль! По-моему, пусть уж лучше мерещатся духи в образе человека, чем всякие обезьяны.

- Я возвращался домой, - продолжал доктор, - испытывая еще больший ужас, чем когда ехал к священнику. Теперь мне повсюду начали мерещиться привидения. Старик, нагнувшийся в канаве над упавшей овцой, превратился в уродливого, горбатого дикаря со звериными челюстями. Я не решился посмотреть, что он делает, и когда он крикнул мне что-то, - может быть, просто "здравствуйте", - я сделал вид, что не слышу. Когда я проезжал мимо кустов, душа у меня уходила в пятки, я замедлял ход и, миновав кусты, развивал бешеную скорость.

В тот вечер, сударь, я напился - в первый раз в жизни. Оставалось одно из двух: либо пить, либо бежать! Может быть, я еще неопытен, но таково мое правило: врач, без предупреждения бросающий практику, то же самое, что часовой, ушедший с поста. Как видите, мне оставалось только запить.

Собираясь ложиться спать, я поймал себя на том, что боюсь отпереть входную дверь и выглянуть наружу. Тогда я сделал над собой судорожное усилие и распахнул дверь настежь...

Передо мной в лунном свете лежали болота: низко стлавшийся туман, казалось, заколыхался, когда я открыл дверь. Он как будто настороженно прислушивался. И казалось, над болотом витало что-то зловещее, чего я никогда раньше не ощущал.

Но я не ушел с крыльца. Я не отступил. Я даже попытался произнести какую-то пьяную речь.

Не помню, что я говорил. Быть может, я сам перенесся далеко назад, в прошлое, в каменный век, и издавал лишь нечленораздельные звуки. Но в своей речи я бросал вызов - вызов всему злему наследию, оставленному прошлым человеку.

### 3. ЧЕРЕП В МУЗЕЕ

И вдруг доктор Финчэттон прервал свой рассказ.

- Вам это кажется бредом сумасшедшего? - спросил он. - Хотите, чтоб я продолжал?

- Нет, ничуть, - пробормотал я. - То есть да, пожалуйста. Я хочу сказать: пожалуйста, продолжайте! Меня это очень заинтересовало. Разумеется, когда сидишь здесь, за столиком, а кругом так светло, и все так ясно и просто, ваш рассказ кажется несколько невероятным... Вы меня понимаете?

- Понимаю, - сказал он, но не улыбнулся мне в ответ.

Он огляделся по сторонам.

- Да, здесь может показаться, что ничего, кроме вермута с сельтерской да завтрака и на свете нет!

На его лице появилось выражение крайней усталости.

- Я отдыхаю, - проговорил он. - Да. Но рано или поздно мне придется вернуться все к тому же. Мне бы хотелось еще немножко поговорить с вами. Если, конечно, вы ничего не имеете против. В вас есть, если можно так выразиться, какое-то ободряющее отсутствие воображения. Вы как чистый лист бумаги!

Я готов был слушать его дальше. Мне и в голову не приходило, что эти рассказы могут потревожить мой сон. Я люблю видеть сны по утрам, перед тем как проснуться. Люблю предаваться мечтам и фантазиям. В такие минуты чувствуешь себя в безопасности. Иной раз проберет дрожь, но настоящего страха нет. Рассказы о невероятном я люблю именно потому, что они невероятны. С тех пор как я в детстве открыл Эдгара Аллана По, у меня появился вкус к жуткому и таинственному, и я, несмотря на сопротивление тетушки - она буквально в ярость приходит при одном намеке на возможность чего-нибудь необычайного или незаурядного, - потихоньку зачитывался его произведениями. Моя тетушка совершенно лишена воображения, а для меня воображение стало ручным зверьком, с которым я любил играть. Я не думал, что он может когда-нибудь серьезно оцарапать меня; этот котенок знает меру. Впрочем, сейчас я уже не так уверен в этом. Но как приятно было спокойно сидеть в безопасности под ярким солнцем Нормандии и слушать рассказы о болотах, над которыми витал ужас.

- Продолжайте, сэр, прошу вас, - сказал я. - Продолжайте!

- Итак, - снова заговорил доктор Финчэттон, - я решил бороться всеми средствами, какие только допускало мое воспитание и звание врача. Виски и произнесенная мной вызывающая речь, - хотя я произнес ее не столько в действительности, сколько в воображении, - принесли мне пользу. В ту ночь я впервые за много недель забылся крепким сном и наутро почувствовал себя настолько освеженным, что мог обдумать свое положение. Как медик я, естественно, должен был предположить, что эта повальная эпидемия страха и галлюцинаций, охватившая целую округу, вызвана каким-нибудь вирусом, находящимся в воздухе, в воде или в почве. Я решил пить только кипяченую воду и не есть ничего сырого. Но все же я склонен был допустить, что эти явления могут быть вызваны чем-нибудь не столь материальным. Я не могу назвать себя убежденным материалистом. Я готов был поверить и в чисто психологическую инфекцию, но, разумеется, не в Каиновых сынов, о которых говорил викарий. На другое утро я решил навестить к стороннику "высокой церкви" в Марш Хэверинге, преподобному Мртоверу, которого так ненавидел викарий; мне было интересно узнать, что он скажет по этому поводу.

Но вскоре я убедился, что этот молодой человек так же безумен, как и его коллега, склонный к кальвинизму. Если старик во всем винил науку, раскопки и католицизм, то этот молодой человек поносил реформацию и горячо распространялся о пуританских гонениях на ведьм в шестнадцатом веке. Он без колебаний заявил мне, что от нас отступились ангелы-хранители и на землю вернулся дьявол. Нас тревожит вовсе не дух Каина и его грешных сынов: мы одержимы дьяволом. Мы должны восстановить единство христианства и изгнать дьявола.

Это был очень бледный, гладко выбритый молодой человек с тонкими чертами лица и горящими черными глазами, говорил он высоким тенором. Он почти не жестикулировал и только крепко стискивал свои худые руки. Будь он не англиканским священником, а католиком, его обязательно сделали бы миссионером. Он владел красноречием, необходимым миссионеру. Он сидел передо мной в своей сутане, глядя куда-то в пустоту поверх моей головы, и излагал свой план изгнания дьявола из болот.

Я чувствовал, что он воображает медленные, длинные процессии, идущие по извилистым болотным тропинкам, шествия с хоругвями и ризами, в церковных облачениях, хоры мальчиков, курящиеся кадила, священники, окропляющие топи святой водой. Я представил себе, как старый викарий, увидев все это из окна своего грязного кабинета, с хриплым криком выбегает из дома и во взгляде его жажда крови.

- Но ведь найдутся люди, которые этому воспротивятся? - заметил я.

В тот же миг мистер Мртовер преобразился. Он встал и простер руку, похожую на когтистую орлиную лапу.

- Мы сломим сопротивление, - произнес он, и в этот миг я понял, почему убивают людей в Белфасте, Ливерпуле и Испании.

Слова доктора показались мне странными. Я перебил его:

- Но, доктор Финчэттон, какое отношение имеют к Каинову болоту Белфаст, Ливерпуль и Испания?

Он замолчал, посмотрел на меня с каким-то странным выражением, не то упрямства, не то подозрительности.

- Я говорил о Каиновом болоте, - сказал он, подумав.

- Так при чем же тут Белфаст и Испания?

- Ни при чем. Я упомянул о них просто к слову... Или нет, позвольте! Позвольте! Я думал о фанатизме. У обоих этих людей - у викария и у пастора - были свои убеждения, да! Убеждения, несомненно, возвышенные и благородные. Но в действительности-то им хотелось драться. Им хотелось вцепиться друг Другу в глотку. Вот как подействовал на них болотный яд! Не вера волновала их, а страх. Они чувствовали потребность кричать и приводить друг друга в ярость...

Ну, я испытывал те же чувства. Отчего я орал и бредил накануне ночью на своем крыльце возле болота? И потрясал кулаками?

Он вопросительно посмотрел на меня, как будто ждал ответа.

- У греков было слово для обозначения этого состояния, - сказал он. - Паника. Эндемическая [свойственная данной местности] паника - вот заразное начало болот!

- Может быть, это название и подходит, - заметил я, - но разве оно объясняет что-нибудь?

- Видите ли, - продолжал доктор Финчэттон, - к этому времени мной самим овладел панический страх. Я почувствовал, что должен действовать, и как можно скорее. Если я не изгоню дух болота сейчас же, он овладеет мною! Я не выдержу. Нужно принять решительные меры. Так как у меня не было в то время никаких срочных дел, я решил сбежать на полдня из своей приемной и съездить в Истфок, в музей. Я думал, что мне будет полезно посмотреть на кости мамонта, которые под влиянием викария начали уже превращаться в Моем воображении в человеческие; может быть, мне удастся поговорить с хранителем музея, я слышал, что это незаурядный археолог.

Хранитель оказался приятным человеком небольшого роста, в очках, с широким приветливым бритым лицом. Но в нем была какая-то настороженность. Это была настороженность хорошего фотографа или портретиста - единственная неприятная его черта. Я чувствовал, что стоит мне отвернуться, как он изучает меня...

Я проявил большой интерес к кремневым орудиям, которые во множестве были найдены в невысоких холмах над болотами, и к ископаемым человеческим останкам. Хранитель любил свое дело и был не прочь поговорить с неглупым человеком. Он принялся рассказывать мне историю этой округи.

- Вероятно, здешние места были обитаемы уже тысячи лет назад, - заметил я.

- Сотни тысяч, - поправил он меня. - Тут жили неандертальцы и... Но позвольте показать вам нашу гордость!

Он подвел меня к запертому стеклянному шкафу, и я увидел массивный череп с низко нависшими надбровными дугами, который, казалось, хмуро глядел на меня пустыми глазницами. Рядом лежала нижняя челюсть. Это грязно-рыжее, как ржавое железо, сокровище представляло собой, по словам хранителя, самый совершенный в мире экземпляр. Череп был почти в полной сохранности. Он уже помог разрешить множество спорных вопросов, возникших из-за плохой сохранности других черепов. В соседней витрине лежало несколько шейных позвонков, искривленная берцовая кость и целая куча всяких обломков; раскопки на том месте, где все это было найдено, еще не закончились, потому что кости, наполовину истлевшие, были очень хрупки, и извлекать их приходилось с большими предосторожностями. Раскопки производились с особой тщательностью. Ученые надеялись в конце концов полностью восстановить весь скелет. В той же самой расселине, в известняке, куда, вероятно, это первобытное существо упало, оступившись, были найдены очень примитивные, грубые орудия. Пока я осматривал череп, обратив внимание на его свирепый оскал и словно живой еще взгляд пустых впадин, из которых некогда глядели на мир глаза, хранитель внимательно наблюдал за мной.

- Это, вероятно, один из наших предков? - спросил я.

- Более чем вероятно.

- Вот что у нас в крови! - воскликнул я.

Я украдкой покосился на чудовище и заговорил так, как будто оно могло нас услышать. Я задавал десятки дилетантских вопросов. Я узнал, что этот вид существовал на земле много тысячелетий. Бесчисленные поколения звероподобных, свирепых людей бродили по этим болотам в доисторическую эпоху несчетных века. По сравнению с их невообразимо долгим господством все бытие современного человечества могло бы показаться одним днем. Миллионы звериных существ прожили свою жизнь, оставив после себя обломки, орудия, камни, которые они обтесали или обожгли на кострах, и кости, которые они обглодали. Нет камешка в болоте, которого они не держали бы в руках, нет кочки, которой они не попирали бы ногами миллиарды раз.

- В нем есть что-то страшное, - рассеянно проговорил я, думая о своем. И наконец решился поставить вопрос ребром. Я спросил хранителя, не слыхал ли он - не высказывал ли ему кто-нибудь мнение, - что на болоте нечисто.

Взгляд его глаз, увеличенных очками, стал еще пытливей. Да, он кое-что слышал.

- Что же именно? - спросил я.

Но он хотел, чтобы я высказался первым. Он молча ждал, и мне пришлось начать. Я рассказал ему, собственно, все то, что вы сейчас услышали.

- Мне не вырваться из этих болот, - жаловался я. - И если я не предприму что-нибудь, они доведут меня до помешательства. Я не могу этого вынести - и вынужден терпеть. Скажите мне, почему тут снятся такие ужасные сны, почему страх преследует меня днем и ночью?

- Вы не первый обращаетесь ко мне с таким вопросом, - сказал он, не сводя с меня глаз.

- И вы можете объяснить, что это такое?

- Нет, - отвечал он.

Хранитель говорил осторожно, взвешивая слова, и пристально смотрел на меня. Он сказал, что ездил туда на раскопки и встречал кое-кого из местных жителей.

- Им не нравятся раскопки, - заметил он. - Нигде не встречал я такого недоверчивого отношения. Может быть, это объясняется местными суевериями. Может быть, страх заразителен. Они явно чего-то боятся. И теперь мне кажется, их страх возрос. В последнее время очень трудно бывает добиться разрешения вести раскопки в частных владениях.

Я прекрасно понимал, что он рассказывает мне далеко не все. Казалось, он делает опыт, как бы проверяя на мне свои мысли. Он вскользь заметил, что ему самому никогда не удастся уснуть среди этих болот, даже днем. Иногда, просеивая землю, он останавливался, прислушивался, опять принимался за работу и опять останавливался.

- Я ничего не слышал, - добавил он, - а все-таки нервы были напряжены!

Он умолк. Пристально, с непередаваемым выражением смотрел он на череп пещерного человека.

- Неужели вы думаете, что такое безобразное существо могло оставить после себя призрак? - спросил я.

- Он оставил свои кости, - ответил хранитель. - Вы думаете, у него было то, что называют духом? Дух, который, может быть, до сих пор испытывает потребность вредить, пугать и мучить? Дух подозрительный, который легко приходит в ярость?

Тут я, в свою очередь, посмотрел на него с удивлением.

- Вы сами этому не верите. Вы стараетесь внушить это мне. С какой-то целью...

Он рассмеялся, по-прежнему не спуская с меня глаз.

- Если так, то мне это не удалось, - сказал он. - Я действительно хотел внушить вам это. Если это страх перед привидением - что ж, привидение можно изгнать. Если из-за него начнется лихорадка - лихорадку можно вылечить. Но что можно сделать, если это просто панический страх и затаенное неистовство, - что делать тогда?



- Это очень мило с вашей стороны, - сказал я, - что вы пытаетесь подбодрить меня таким образом, укрепить, так сказать, мой дух для изгнания дьявола. Но это не такое легкое дело.

- И тогда, - сказал доктор Финчэттон, - он перестал гипнотизировать меня взглядом из-под очков и заговорил откровенно.

Теории его сильно отдавали метафизикой, а я плохой метафизик. Это были странные наукообразные бредни, и все же они кое-что объясняли. Я попробую изложить их, как умею. Вот как он выразился: мы ломаем рамки настоящего - "рамки нашего настоящего".

Доктор Финчэттон вопросительно посмотрел на меня. Я благоразумно промолчал. Я не имел ни малейшего представления о том, что такое "рамки нашего настоящего".

- Продолжайте, - сказал я.

- Он стоял ко мне в профиль и уже не следил за мною, а смотрел в окно и, видимо, выкладывал то, что было у него на душе.

- Лет сто назад, - сказал он, - люди гораздо больше жили настоящим, чем теперь. Прошлые уходило назад на четыре-пять тысяч лет, а будущее, вероятно, представлялось еще более ограниченным, они жили сегодняшним днем и, как им казалось, вечностью. Об отдаленном прошлом они ничего достоверно не знали. Не заботились они и о близком будущем. Вот этого, - он кивнул на череп пещерного человека, - попросту не существовало. Все это было похоронено, забыто и вычеркнуто из жизни. Людям казалось, что их окружает магический круг, который оберегает их, хранит их безопасность. И вдруг в прошлом столетии этот круг разорвался. Мы заглянули в прошлое, стали ворошить век за веком и все дальше заглядывать в будущее. Вот в чем наша беда.

- На болоте? - спросил я.

- Повсюду. Ваш викарий и тот молодой священник бессознательно чувствуют это, но не умеют выразить. Или, во всяком случае, они выражают свои чувства совсем не так, как мы с вами. Иногда прошлое лежит ближе к поверхности, но оно всюду. Мы сломали рамки настоящего; и прошлое, долгое, темное прошлое, исполненное страха и злобы, о существовании которого наши деды не знали и даже не подозревали, хлынуло на нас. А будущее разверзлось, как пропасть, готовая нас поглотить. Вернулись звериные страхи, звериная ярость, и бывшая вера уже не в силах их сдерживать. Пещерный человек, обезьяноподобный предок, зверь-прародитель вернулись. Вот в чем дело! Уверю вас, то, о чем я говорю, вполне реально. Это происходит всюду. Вы были на болотах. Там вы почувствовали их присутствие, но, говорю вам, эти воскресшие звери бродят повсюду. Во всем мире ощущается их грозное присутствие. - Он умолк, блеснул на меня очками и снова стал смотреть в окно.

- Ну хорошо, - заметил я, - только чем же эта мистика может помочь мне? Что мне-то делать?

Он ответил, что это - явление психического порядка и от него необходимо избавиться.

- Мне придется сегодня же вернуться на болото, - сказал я.

А он все твердил, что рамки настоящего сломаны и восстановить их невозможно. Я должен раскрыться - он так и сказал: "раскрыться" - и охватить сознанием тот всеобъемлющий мир, в котором пещерный человек - такое же "сегодня", как ежедневная газета, а грядущее тысячелетие уже у порога.

- Все это прекрасно, - сказал я, - но какой в этом смысл? Что мне делать? Я спрашиваю вас: что мне делать?

Он опять посмотрел на меня.

- Боритесь с этим, если можете, - сказал он. - Возвращайтесь домой. Бегством вы не спасетесь. Возвращайтесь и снова начните борьбу с тем, что вам мерещится: со Злом, Страхом, духом Каина или духом вот этого существа...

Он замолчал, и мы оба посмотрели на безобразный череп, словно ожидая, что он тоже скажет свое слово.

- Приспособьтесь к новым масштабам, постарайтесь охватить их мыслью, - сказал он доверительно, понизив голос. - Сопровитесь. А если начнете терять почву под ногами, ищите помощи. Хорошо бы вам съездить в Лондон и полечиться. Обратитесь к Норберту, он

живет на Харли-стрит, кажется, в доме номер триста девяносто один, я могу узнать точно. Он один из первых открыл психическую болезнь, от которой вы страдаете, и нашел какой-то способ лечения. Признаться, он помог и мне. Правда, методы у него грубые и необычные. Я страдал приблизительно тем же, что и вы, и, услышав о нем, обратился за помощью. Это было как раз вовремя. Раз или два в неделю он бывает в Ле Нупэ. Там у него клиника...

Этим и кончилась моя встреча с хранителем музея в Истфоке. Он ободрил меня. Современный научный язык, на котором он со мной разговаривал, был мне понятен. Мне стало ясно, что тут нет ничего загадочного, невероятного и что положение мое не безнадежно; я просто экспериментатор, которому предстоит совершить неприятный, рискованный, но все же вполне осуществимый опыт.

- Но мне не посчастливилось в этой последней борьбе с призраками пещерных людей, - продолжал доктор Финчэттон. - Я уехал из Истфока засветло. Еще по дороге домой я увидел жуткое зрелище. Это была собака, которую забили до смерти. Да, до смерти! Вы скажете, на этом свете столько ужасного, что зверски убитая собака не такая уж важность. Но для меня это было важно.

Она лежала в крапиве у дороги. Я подумал, что какой-нибудь автомобиль переехал ее и отбросил в сторону. Я вышел взглянуть на собаку и удостовериться, что она мертва. Она была не просто убита; ее буквально превратили в месиво. Ее били каким-то тупым и тяжелым орудием. Вероятно, у нее не осталось ни единой целой косточки. Кто-то обрушил на нее град, ураган ударов.

Я знаю, что для медика я слишком чувствителен. Как бы то ни было, я уехал в ужасе, мне стало страшно за человека: какой глубокий источник зверства таится в его природе! Что за взрыв ярости убил это злополучное животное? Но не успел я вернуться домой, как получил новый удар. Вам это опять-таки может показаться мелочью. Меня же это буквально сразило. Из прихода Святого Креста примчался запыхавшийся мальчишка на велосипеде. Он был так испуган, что в первую минуту я ничего не мог понять из его слов и только потом разобрал, что старый викарий Роудон набросился на свою несчастную жену и чуть не убил ее. Он повалил ее на пол и начал избивать.

- Бедная старуха! - проговорил мальчик. - Езжайте туда скорей! Мы связали его и посадили в сарай, а она лежит в постели и до того перепугана, что говорить не может. А ему все мерещится что-то страшное. Просто ужас. Он говорит, будто она хотела отравить его... А ругается как!..

Я сел в свою машину и поехал. Мне удалось кое-как успокоить бедняжку; муж не так сильно избил ее, как я опасался, - несколько ссадин, все кости целы; но главное - моральное потрясение. Пришли два полисмена и отвезли старика Роудона в полицейский участок в Холдинге. Я не хотел спускаться вниз, не хотел видеть его. Женщина почти не могла говорить. "Эдуард!" - пробормотала она и с изумлением повторила: "О, Эдуард!" Потом с каким-то ужасом вскрикнула: "Эдуард!" Я дал ей снотворного, попросил соседку посидеть с ней ночью, а сам уехал домой.

Пока мне приходилось заниматься делом, я был бодр, но как только добрался домой, почувствовал резкий упадок сил. Я не в состоянии был есть. Я выпил довольно много виски и вместо того, чтобы лечь в постель, заснул в кресле у камина. Проснулся я в холодном поту и увидел, что огонь в камине догорает. Я лег в постель, но когда наконец уснул, меня начали преследовать кошмары, и я опять проснулся. Я встал, надел старый шлафрок, сошел вниз и развел огонь, решив ни за что больше не спать. Но я все же задремал в кресле, а потом опять лег. Так, между кроватью и креслом, я провел всю эту ночь. В моих сновидениях все смешалось: несчастная запуганная старуха, ее не менее жалкий супруг, рассуждения хранителя музея, засевшие у меня в голове, а над этим всем маячил дьявольский палеолитовый череп.

Этот первобытный человек все больше и больше преследовал меня. Я не мог выбросить из памяти его безглазый взгляд и торжествующий оскал ни во сне, ни наяву. Просыпаясь, я видел его таким, каким он был в музее, словно живое существо, которое задало нам загадку и потешалось над нашими бесплодными попытками ее разрешить. Во сне череп увеличивался. Он

становился исполинским, огромным, как утес, а глазницы и впадины на месте скул превращались в пещеры. Мне казалось - сновидения так трудно передать, - что череп вздымался и в то же время по-прежнему неподвижно высился у меня перед глазами. А перед ним кишели, как муравьи, его бесчисленные потомки; полчища людей метались во все стороны. Вид у них был обреченный, они робко, почтительно склонялись перед своим предком, и, казалось, их неодолимо влекло скрыться в его всепоглощающей тени. Вот эти полчища начали строиться в шеренги и колонны, облеклись в мундиры и зашагали к черному провалу его рта, ощерившегося темными, словно ржавыми, зубами. И из этой тьмы потекло нечто... нечто красное и липкое, что он явно смаковал. Кровь.

И тут Финчэттон произнес очень странную фразу:

- Маленькие дети, погибающие на улицах во время воздушных налетов.

Я ничего не сказал. Я спокойно и внимательно слушал. Это была "реплика в сторону", как говорят актеры. Он продолжал свой рассказ с того места, на котором остановился.

- Утро, - продолжал он, сосредоточенно помолчав несколько мгновений, - застало меня у телефона. С огромным волнением и трудом, едва не разорившись, я нашел себе заместителя и помчался в Лондон, к пресловутому Норберту, стараясь удержать, так сказать, остатки рассудка. И Норберт направил меня сюда... Норберт, надо сказать, человек весьма незаурядный. Он оказался совсем не таким, как я думал.

Доктор Финчэттон умолк. Он взглянул на меня.

- Вот и все.

Я молча кивнул головой.

- Ну, - сказал он, - что вы обо всем этом думаете?

- Через день или два я, может быть, начну об этом думать. А сейчас не знаю, что и сказать... Это неправдоподобно, и все же вы меня почти убедили. Я хочу сказать, что не думаю, чтобы все это на самом деле могло произойти, - это я не решусь утверждать, - но я верю, что это случилось с вами.

- Вот именно! Я рад, что мне представился случай поговорить с таким человеком, как вы. Именно это и предписал мне Норберт. Он настаивает, чтобы я освоился с происшедшим и научился отличать действительно случившееся со мной, жизненную реальность, как он выражается, от страхов и фантазий, которыми я ее окутал. Он говорит, что я должен смотреть на это бесстрастно. Ибо в конце концов, как вы думаете, - он пытливо поглядел на меня, - что именно из всего, что я вам рассказал, - реальность, действительное событие и что следует считать - как бы это выразиться? - психической реакцией? Старик Роудон, набросившийся на свою жену, - это реальность. Зверски убитая собака - тоже реальность... Норберт, видите ли, считает, что я должен спокойно поговорить обо всем этом с человеком уравновешенным, который не слишком тревожится о прошлом или о будущем. Чтобы факты воспринимались именно как факты, а не как страхи и ужасы. Он хочет вернуть меня к тому, что он называет "разумной чувствительностью", и таким образом направить мои дальнейшие действия.

Финчэттон допил вино.

- Очень любезно с вашей стороны, что вы выслушали меня, - сказал он.

Тут какая-то тень упала на террасу перед нами и воскликнула:

- А, здравствуйте!

#### 4. НЕСНОСНЫЙ ПСИХИАТР

Тень доктора Норберта не понравилась мне еще до того, как я поднял голову и увидел его самого. Вид у него был нарочито самоуверенный и внушительный, а я, хоть и ленив, изнежен и пассивен, порой бываю упрям, как целый табун мулов. Он еще и рта не успел раскрыть, а я уже готов был встретить в штыки каждое его слово.

На мой взгляд, он совсем не был похож на психиатра. У психиатра, по-моему, должен быть мягкий взгляд, успокаивающие манеры и полнейшее самообладание. Вид он должен иметь

свежий и здоровый, а доктор Норберт был похож на труп. Он был рослый, подвижный, неопрятный, у него были непослушные черные волосы и густые брови, а большие сверкающие темные глаза либо бегали по сторонам, когда он разглагольствовал, либо неподвижно, сосредоточенно разглядывали меня, сверкали на меня из-под нахмуренных бровей в минуты зловещего молчания. Черты лица были у него крупные, рот выразительный, как у оратора, голос необычайно звучный и сильный. Он носил старомодный стоячий белый воротничок и свободный черный галстук бабочкой, сдвинутый на сторону. Казалось, он оделся раз навсегда по какой-то старинной довоенной моде и с тех пор ни разу не переодевался. Он скорее смахивал на актера в отпуску, чем на психиатра. Глядя на него, я вспомнил карикатуры в старинных номерах "Панча" - на Гладстона, Генри Ирвинга или Томаса Карлейля. Самый неприятный субъект, какой только может нарушить покой двух прилично одетых современных англичан, сидящих за аперитивом на террасе отеля "Источник" в Пероне.

Но вот он здесь, совсем не такой, каким я его себе представлял, великий доктор Норберт, целитель душевных недугов Финчэттона; подбоченившись, он смотрел на меня сверху вниз с самым внушительным видом. Финчэттон назвал вид Норберта "неожиданным", но меньше всего я мог ожидать такой огромной, самоуверенной и старомодной фигуры.

- Я наблюдал вас сверху, - заявил он таким тоном, словно он был сам всемогущий господь бог. - Не хотел прерывать Финчэттона, пока он рассказывал свою историю. Но я вижу, вы кончили, - теперь держитесь!

Финчэттон поглядел на меня, безмолвно умоляя примириться со странными манерами Норберта и выслушать его.

- Вы слышали его рассказ? - спросил меня Норберт. Он и не думал скрывать, что он психиатр, а Финчэттон его пациент. - Рассказывал он вам, как пещерный человек овладел его мыслями? Говорил об ужасах Каинова болота? Отлично! А о все усиливающемся ощущении зла, разлитого вокруг? Ну, и как вы к этому отнеслись? Что вы, человек нормальный, об этом думаете?

И он приблизил ко мне свое широкое лицо, на котором выразилось любопытство.

- Расскажите это своими словами, - прибавил он и ждал, как учитель, экзаменующий ребенка.

- Доктор Финчэттон, - сказал я, - рассказал мне много необычайного. Это так. Но мне нужно как следует все обдумать, прежде чем я смогу высказать свое мнение.

Норберт скорчил гримасу, как учитель, раздосадованный непонятливостью ученика.

- Но я хочу знать, как вы относитесь к этому сейчас. Прежде чем вы это обдумаете.

"Можешь хотеть сколько угодно", - сказал я про себя.

- Не могу, - сказал я вслух.

- Но для доктора Финчэттона чрезвычайно важно, чтобы вы высказались сейчас! На это есть особые причины.

Вдруг я услышал бой часов.

- Боже! - воскликнул я, вставая и бросая десятифранковую бумажку официанту. - Тетушка ждет меня к завтраку! Это невозможно!

- Но не можете же вы так это оставить, - сказал Норберт, изобразив на своем лице удивление и недоверие. - Никак не можете! Ваш долг по отношению к ближнему - выслушать эту историю и помочь разумно ее объяснить. Вы должны помочь нам. - Глаза его сверкнули. - Я положительно не могу отпустить вас!

Я повернулся к Финчэттону.

- Если доктор Финчэттон, - сказал я, - захочет продолжить разговор на эту тему...

- Разумеется, он хочет продолжить разговор!

Я не сводил глаз с Финчэттона, который кивнул мне с умоляющим видом.

- Я еще приду, - сказал я. - Завтра. Примерно в этот же час. Но сейчас я больше не могу задерживаться... Ни в коем случае.

Я стал спускаться по извилистой дороге быстрым шагом, почти бегом, - я в самом деле был обеспокоен тем, что так замешкался: тетушка моя, надо сказать, из себя выходит, когда ее

заставляют ждать в час завтрака. Я уже немного жалел о своем обещании и злился, что дал вырвать его. Выходило, что я уступил каким-то глупым требованиям, лишь бы поскорей уйти.

Я обернулся и увидел над собой обоих моих собеседников - они сидели рядом, причем Норберт закрывал собою Финчэттона.

- До завтра! - крикнул я, хотя вряд ли они могли меня услышать.

Норберт важно махнул рукой.

Между тем меньше всего на свете мне хотелось снова увидеть этого доктора Норберта! Право, я чувствовал к нему сильнейшую неприязнь. Мне не нравилось, что он всем своим видом как бы говорил: "Вы с Финчэттоном - кролики, и сейчас я начну вас анатомировать". Мне не понравился его громкий и словно бы обволакивающий голос, его нависший лоб, его настойчивость. К тому же я не выношу повелительных угловатых жестов, особенно когда у человека непомерно длинные руки. Но, с другой стороны, мне очень понравился доктор Финчэттон, и его история меня заинтересовала. Мне кажется, он очень живо все рассказал. Мне очень хотелось бы, чтобы и в моем пересказе прозвучала его убедительная интонация. Расставшись с ним, я начал обдумывать вопросы, какие следовало бы ему задать, и мне захотелось снова его увидеть. Норберт казался мне нахалом, который прервал рассказ на самом интересном месте. Я отбросил мысль о нем и продолжал думать о Финчэттоне.

Было что-то необычайное в этой истории с заколдованным болотом, куда человек попадал душевно здоровым и уравновешенным, любовался бабочками и цветами и откуда убежал сломя голову в безумном страхе и ярости, - она завладела моим воображением. А этот зловещий древний череп, череп предка, который сперва таился где-то в тени, а потом медленно выступил на передний план!.. Словно за прозрачной перегородкой зажегся свет. Это объяснение само по себе было загадкой. И вот мало-помалу эти челюсти облекались плотью, призрачные губы появились над оскаленными зубами, а под низко нависшими бровями загорелись злобные, темные, налитые кровью глаза. Чем больше я думал об услышанном, тем больше пещерный человек становился живым существом.

В конце концов уже не череп, а лицо смотрело на меня, когда я вспоминал эту бредовую повесть. Конечно, это нелепо, но мне, право, казалось, что глаза чудовища следят за мной. Они следили за мной весь вечер, лицо кривлялось и скалилось всю ночь. В тот день я играл в крокет очень рассеянно и небрежно, а вечером оскорбил тетушку до глубины души из рук вон плохой игрой в бридж. Она была моим противником, но ожидала от меня обычного искусства, и ее так смутили и сбили с толку мои промахи, что она проиграла партию вместе со своим партнером. Но я едва ли слышал ее упреки и, уйдя к себе в комнату, раздевался медленно, поглощенный мыслями о болоте, залятом и таинственном, по которому бродил звероподобный выходец с того света. Я долго сидел, размышляя об этом, прежде чем лечь спать.

На другой день я довольно поздно пришел в отель "Источник", хотя собирался прийти пораньше. Я рассчитывал поехать на трамвае, но полицейский в штатском сказал мне, что трамваи не ходят. Коммунисты организовали забастовку, и в трамвайном парке произошла стычка, несколько человек было ранено.

- В наше время нужно быть твердым, - заметил полицейский.

Пришлось идти пешком, и я с неудовольствием увидел длинные ноги доктора Норберта, торчавшие из-под столика на террасе, а доктора Финчэттона не было и в помине. Норберт знаками подозвал меня к себе, и я сел на зеленый стул за его столик. Сделал я это с большой неохотой. Я хотел дать ему понять, что желаю видеть только Финчэттона. Мне хотелось узнать о нем поподробней, а анализ моей психики, вивисекция, вторжение этого самоуверенного субъекта в мой интимный мир мне вовсе не улыбались.

- А где ваш друг? - спросил я.

- Сегодня он прийти не может. Но это все равно.

- Но ведь мы, кажется, условились...

- Да, он тоже так считал. Но ему помешали. Однако, как я уже сказал, это не имеет значения.

- Я этого не нахожу!



- С моей точки зрения это неважно. Мне очень хочется узнать, как здравомыслящий, посторонний человек смотрит на эту историю, завладевшую сознанием Финчэттона. Для него это не менее существенно, чем для меня.

- Но как же я могу вам помочь?

- Очень просто! Слыхали вы когда-нибудь о местности, называемой Каиновым болотом?

Он повернулся и взглянул на меня совершенно так же, как посмотрел бы на животное, которому только что сделал впрыскивание.

- Вероятно, это где-нибудь в Линкольншире.

- Никакого Каинова болота не существует!

- Значит, оно называется иначе?

- Это миф!

С минуту он рассматривал меня, потом решил, что больше наблюдать за мной неинтересно. Он сложил на столе свои огромные руки и заговорил, тщательно подбирая слова, устремив взгляд на море.

- Наш приятель, - сказал он, - был врачом и жил близ Или. Все, что он рассказывал вам, - правда, и вместе с тем все, что он рассказывал вам, - ложь. Его необычайно волнуют некоторые вещи, а высказать их, даже про себя, он может только в форме вымысла.

- Но что-нибудь из всего этого было в действительности?

- О да! Был случай зверского обращения с собакой. Был пьяный бедняга викарий, избивший свою жену. Такого рода случаи бывают каждый день во всех странах света. Это в природе вещей. Тот, кто не в силах примириться с такими фактами, сэр, не сможет жить на свете. И Финчэттон действительно ходил в музей Трессидера в Или, и хранитель музея Каннингэм понял его состояние и направил его ко мне. Но его заболевание началось еще до того, как он попал на болото. Он рассказал вам, в сущности, все, но вы увидели это как бы сквозь бутылочное стекло, искажающее форму. А знаете, что побудило его измыслить всю эту историю?... - Доктор Норберт повернулся ко мне, подбоченился и посмотрел мне прямо в глаза. Он говорил неторопливо и вдумчиво, точно писал заглавными буквами: - Современная действительность так страшна и чудовищна, так его угнетает, что ему приходится облекать ее в форму сказки о древних черепах, о безмолвии в стране бабочек; он хочет внушить себе, что все это лишь галлюцинация, чтобы поскорей от этого отделаться.

Выражение лица у доктора было такое странное, что мне стало не по себе. Я отвернулся и поманил официанта, чтобы заказать еще вермута и вернуть себе самообладание.

- Но что же ужасного в нашей действительности? - спросил я небрежным тоном.

- Неужели вы не читаете газет? - сказал доктор Норберт.

- Не слишком усердно. Большая часть того, что там пишут, кажется мне либо напыщенной ложью, либо Преднамеренным искажением истины. Но я почти каждый день решаю кроссворды в "Таймсе". Кроме того, читаю почти все статьи о теннисе и крокете. Разве я пропустил что-нибудь интересное?

- Вы пропустили все то, от чего Финчэттон сошел с ума.

- Сошел с ума?

- Разве он не повторял мои слова - эндемическая паника? Зараза, носящаяся вокруг нас? Болезнь, таящаяся в самой основе нашей жизни, прорывающаяся то в одном, то в другом месте и сковывающая людей бессмысленным страхом?

- Да, он употребил это выражение.

- Вот видите! С этим-то мне и приходится иметь дело. И я еще только начинаю разбираться. Это новая чума - чума психическая! Умственное расстройство, долго таившееся в сокровенных тайниках сознания, эндемическая болезнь, возникающая внезапно и разрастающаяся во всемирную эпидемию. То, что наш друг рассказывал про какое-то заколдованное болото, на самом деле происходит сейчас с тысячами людей, а завтра будет происходить с сотнями тысяч. Вас ничто не тревожит. До поры до времени... Может быть, у вас иммунитет... Для моих

исследований этого распространяющегося заболевания чрезвычайно важно знать, как реагирует на него незатронутое сознание!

- Мое сознание всегда с трудом воспринимало чуждые мне мысли, - сказал я. - Но все-таки я не хочу рисковать. Не думаете ли вы, что теперь и я начну бояться темноты и открытых мест, что мне будут мерещиться обезьяны и дикари, угрожающие человечеству?

Он положил на стол свою огромную руку, придавив ею мою.

- Если это с вами случится, - сказал он, зловеще сверкнув глазами, - могу посоветовать вам одно: мужайтесь.

Мне вдруг пришло в голову, что этот человек, в сущности, такой же помешанный, как и Финчэттон. Я спросил его напрямик:

- Доктор Норберт, уж не заболели ли вы сами?

Глаза его сверкнули еще ярче. Он вскинул голову, потом уронил ее тяжело, как молот.

- Да!

Он произнес это таким тоном, что у меня на лбу выступил пот.

- Я заболел давно, - продолжал он. - Мне пришлось лечить себя самому. Помочь было некому. Я должен был изучать болезнь на себе. Да, сэр, через все это я прошел. И выкарабкался. Теперь я закален, приобрел иммунитет. Ценой отчаянной борьбы...

И он прочел мне самую удивительную лекцию, какую я когда-либо слышал. Прежде чем начать, он некоторое время молчал. Он не мог говорить о таких вещах, откинувшись в удобном кресле. Сперва он сидел, ухватившись за подлокотники обеими руками. Потом встал и, говоря, расхаживал взад-вперед по террасе, не столько говорил, сколько ораторствовал. У меня неплохая память, но я не могу восстановить все хитросплетения его рассуждений. Поэтому я приведу дословно лишь некоторые его фразы. История Финчэттона казалась фантастичной. В словах же Норберта не было ничего фантастического. Он начал с псевдонаучных и философских рассуждений, но мало-помалу его речь превратилась в бурную, путаную проповедь. Мы должны овладеть жизнью, ухватиться за нее. Некоторые его мысли мне уже были известны со слов Финчэттона. Я узнавал его любимые выражения. Например, "сломанные рамки настоящего".

- Но что это означает? - спросил я не без раздражения.

- Животные, - сказал он, - живут всецело в настоящем. Их кругозор ограничен непосредственно окружающей средой. Точно так же жили и примитивные народы. Израэли, Сэндс, Мэрфи и множество других ученых работали над этой проблемой. - Он быстро перечислил десятка два фамилий, но я запомнил только эти три. - А мы, люди, проникали в прошлое и в будущее. Мы множили свои воспоминания, предания, традиции, мы полны предчувствий, надежд, страхов. И потому мир стал для нас подавляюще огромным, страшным, пугающим. То, что казалось навсегда забытым, вдруг воскресло а нашем сознании.

- Иными словами, - сказал я, стараясь удержать разговор в конкретных рамках, - мы узнали о пещерном человеке.

- Узнали! - воскликнул он. - Да мы живем с ним бок о бок! Он никогда не умирал. И не думал умирать. Но только... - Он подошел и хлопнул меня по плечу. - Только он скрывался от нас. Скрывался долгое время. А теперь мы очутились с ним лицом к лицу, и он, скаясь, издевается над нами. Человек ничуть не изменился. Это - злобное, завистливое, коварное, жадное животное! Если отбросить все иллюзии и маски, человек оказывается все тем же трусливым, свирепым, лютым зверем, каким был сто тысяч лет назад. Это не преувеличение. То, что я вам говорю, - чудовищная реальность. Зверь затаился и выжидал подходящего времени, чтобы наверстать упущенное. Любой археолог скажет вам это; у современного человека череп и мозг ничуть не лучше, чем у первобытного. Это настоящий пещерный человек, только более или менее дрессированный. Никакой существенной перемены не произошло, никакого ухода от прошлого не было. Цивилизация, прогресс - все это, как мы видим, самообман. Мы ничего не достигли. Решительно ничего! Некоторое время человек строил себе в уютном мирке своего настоящего, мирке богов и божественного промысла, радужные надежды. Это были

искусственные выдумки, красивый обман. Только теперь мы начинаем понимать, до чего все это надуманно. Все это рушится, мистер Фробишер! Все вокруг нас рушится, а мы, кажется, бессильны помешать этому. Кажется, это так... И спасения не видно. Нет, сэр. Вся цивилизация была жалкой, бесполезной фикцией. И теперь это обнаружилось; слишком беспощадной была ее судьба. Ошеломляющее открытие приходится делать, сэр! И когда чувствительные, не подготовленные к этому люди, вроде нашего бедного друга Финчэттона, осознают это, они оказываются слишком слабыми и не выдерживают. Они отказываются воспринимать такой жуткий, огромный мир, как наш. Они жадно слушают всякие рассказы об одержимости, о случаях помешательства в надежде узнать какой-нибудь способ изгнания дьявола, им кажется, что это принесет исцеление... Но исцеления нет. В наше время невозможно отмахнуться от действительности, приукрашая ее.

- Да, сэр! Фактам надо смотреть в глаза! - загремел Норберт. - Прямо в глаза! - Он размахивал руками и, казалось, обращался не ко мне, а к какому-то многочисленному публичному собранию. - Прошло то время, когда на людей можно было надевать шоры, чтобы они не видели слишком много... Прошло навсегда. Ни одна религия уже не вселяет в душу уверенность. Ни одна церковь не приносит утешения. С этим навсегда покончено.

- Ну и что же? - спросил я подчеркнуто спокойным тоном. Чем громче он орал, тем холоднее и неприязненней я становился.

Норберт сел и опять схватил меня за руку. Голос его стал проникновенным. Он уже не кричал, а говорил тихо и многозначительно:

- Сумасшествие, сэр, с точки зрения психиатрии - это лишь реакция бедной Природы на ошеломляющий факт. Это - бегство. Теперь интеллигентные люди во всем мире сходят с ума! Они дрожат, ибо понимают, что борьба против пещерного человека, который над нами, в нас, который, в сущности, и есть мы, это борьба против их воображаемого "я". Ни от чего в мире нет спасения. Мы только воображали, будто нам удалось победить Его. Его! Зверя, неотступно преследующего нас!

Я высвободил руку движением, которое, надеюсь, показалось ему произвольным. У меня явилось нелепое ощущение, что я похож на свадебного гостя, схваченного Старым моряком [герой одноименной поэмы английского поэта С.Кольриджа (1772-1834)].

- Но в таком случае, - сказал я, пряча руки в карманы и откидываясь назад, чтобы он не мог снова схватить меня, - в таком случае, что вы делаете с Финчэттоном? Что вы намерены предпринять?

Доктор Норберт развел руками и встал.

- Говорят вам, - крикнул он, словно я находился в двадцати шагах от него, - ему придется в конце концов сделать то, что должны будем сделать все мы! Взглянуть в глаза фактам! Взглянуть им в глаза, сэр! Пройти через это. Пережить, если хватит сил, или погибнуть. Сделайте, как я, приспособьте свое сознание к новым масштабам! Только гиганты могут спасти мир от губельного возврата к прошлому, и потому мы - все, кому дорога цивилизация, - должны стать гигантами. Нам придется сковать мир, как стальной цепью, более крепкой, более сильной цивилизацией. Мы должны сделать такое умственное усилие, какого еще не бывало под небом. Воспрянь, о Дух Человека! (Он так и назвал меня.) Или ты будешь сокрушен навеки!

Я хотел было сказать, что предпочитаю поражение без шума и крика, но он не дал мне вставить ни слова.

Ибо теперь он просто-напросто бредил. На губах у него даже выступила пена. Он шагал взад-вперед и говорил, охваченный безумием.

Думается мне, что с незапамятных времен приличным людям, вроде меня, не раз приходилось выслушивать подобные бредни, но было нелепо слушать все это на террасе отеля "Источник" в Пероне, над Ле Нупэ, в прелестное утро лета от рождества Христова тысяча девятьсот тридцать шестого. Он метался взад и вперед, как древнееврейский пророк. Все это, пожалуй, было бы неплохо для далекого прошлого - вся эта риторика, судьбы мира и прочее, но в современной

жизни его хриплые вопли звучали неуместно. Скажу прямо: это была возмутительная неблагопристойность. Я старался не слышать и не запоминать то, что он говорил.

Отвечать ему не имело смысла. Легче было бы плыть против гигантских каскадов Ниагары.

Теперь он уже открыто уговаривал меня. Да, именно меня. Никогда еще я не слышал таких дурацких угроз. Он заклинал меня ободриться духом, чтобы спастись от Грядущего Гнева. Так он и выразился: "От Грядущего Гнева". Он напомнил мне о Петре Пустыннике [Петр Амьенский-Пустынник - французский монах, которому приписывалась организация первого крестового похода (1096-1099 гг.)], который буйствовал в тихих христианских городках в одиннадцатом веке и затеял крестовые походы. Он напомнил мне Савонаролу и Джона Нокса [Савонарола, Джироламо (1452-1498) - знаменитый итальянский проповедник и религиозно-политический реформатор; Нокс, Джон - шотландский реформатор XVI века], всех этих смутьянов, так много нашумевших в истории, но ничего не изменивших в мире, призывавших людей отдать свою жизнь, "все по шатрам своим, израильтяне" - взяться за оружие, штурмовать Тюильри, разрушить Зимний дворец и совершать множество бессмысленных поступков. И все это - заметьте - в крохотном Ле Нупэ!

Он принялся перечислять зверства, убийства и ужасы, творившиеся во всем мире. Конечно, в наше время на белом свете немало кровавых злодеяний и мучений. Конечно, перспективы наши довольно мрачны. Возможно, нам предстоят жестокие войны, воздушные налеты и погромы. Но что могу сделать я? Что толку меня запугивать? При всей его пылкости нетрудно было заметить, что в нем нет уверенности, что в лучшем случае он борется с призраками идей. Всякий раз, как я пытался что-нибудь спросить, он повышал голос и осаживал меня.

- Слушайте, что вам говорят! - гремел он.

Но, как видно, сказать ему было нечего.

- В скором времени, - продолжал он, - люди окончательно лишатся покоя, уверенности, отдыха. (Слава богу, он не оказал, что я "живу у кратера вулкана".) Человеку не останется другого выбора: он должен будет либо превратиться в загнанное животное, либо стать ревностным приверженцем истинной цивилизации, упорядоченной цивилизации, какой до сих пор не видел мир. Либо жертвой, либо членом Комитета общественного спасения! И я имею в виду вас, друг мой! Я говорю это вам! Вам! - И он ткнул в меня костлявым пальцем.

Так как на террасе, кроме нас, никого не было - официант ушел, - это "вам" и это тыканье пальцем было совершенно излишне. Доктор Норберт был лишен чувства меры.

И все же... Как мне ни неприятно, должен сознаться, что эти два человека а конце концов загипнотизировали меня, заразили своим беспокойством и одержимостью. Я стараюсь трезво взглянуть на них, когда пишу эти строки, и вижу, как трудно мне остаться беспристрастным. Мне это удастся так же плохо, как Финчэттону, когда он изливался передо мной. Не думал я, что можно подпасть под гипноз, просто сидя рядом с человеком и слушая его. Мне казалось, что при этом нужно сидеть смирно и сознательно "поддаваться" гипнозу, иначе ничего не выйдет. А теперь я замечаю, что сплю уже не так хорошо, как прежде; я ловлю себя на том, что меня заботят мировые проблемы; между строками газет я читаю про всякие ужасы и сквозь прозрачную оболочку вижу иногда неясно, но порой достаточно четко лицо пещерного человека... Как это выразился Финчэттон? "Вздыхается и в то же время по-прежнему неподвижно высится у меня перед глазами". И должен сознаться, что я теперь не так спокойно разговариваю с людьми, как раньше. На днях я даже осмелился довольно резко перечить тетушке, что глубоко удивило нас обоих. И накричал на официанта...

Но всю серьезность положения я понял только после разговора с Норбертом. С этих пор я потерял душевное равновесие и, расставшись с Норбертом, твердо решил никогда больше не встречаться ни с ним, ни с Финчэттоном. Но семена безумия были посеяны и дали всходы. За эти два утра я успел заразиться. Зачем только, о глупец, слушал я этих людей? Теперь я уже болен.

Мне это кажется возмутительным. Зачем обрушивать на человека ужасы Каинова болота, не сказав при этом толком, что ему делать? Да, я понимаю, что наш теперешний мир скоро

провалится ко всем чертям. Я вполне сознаю, что мы все еще находимся под властью пещерного человека и что он готовится снова ввергнуть нас в первобытное состояние. Удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Мне уже является во сне исполинский череп, и эти кошмары мучительны. Но что толку говорить о них? Если я расскажу тетушке, она решит, что я спятил. Что вообще может поделать такой человек, как я?

Познать действительность, приспособить свое сознание к новым масштабам? Стать "исполином духа"? Ну и выраженьице! Строить новую, могучую, стальную цивилизацию на месте старой, гибнущей?.. Это мне-то?.. Но ведь я не так воспитан. Разве это для меня?

От таких, как я, этого нечего и ожидать.

Я готов поддержать все, что сулит людям надежду. Я всей душой за мир, за порядок, за социальную справедливость, за служение обществу и тому подобное. Но если от меня требуют, чтобы я думал!.. Но если от меня хотят, чтобы я решил, что мне делать с собой!..

Нет, это уж слишком.

В то утро я с большим трудом избавился от потока норбертовского красноречия. Я встал.

- Мне надо идти, - сказал я. - В половине первого я должен играть с тетушкой в крокет.

- Но что значит крокет, - крикнул Норберт нетерпеливо, - когда мир рушится у вас на глазах?

Он сделал такое движение, словно собирался преградить мне путь. Ему хотелось продолжать свои апокалиптические пророчества. Но я был сыт ими по горло.

Я посмотрел ему в глаза твердым, спокойным взглядом и сказал:

- А мне наплевать! Пусть мир провалится ко всем чертям. Пусть возвращается каменный век. Пусть это будет, как вы говорите, закатом цивилизации. Очень жаль, но сегодня утром я ничем не могу помочь. У меня другие дела. Что бы там ни было, но в половине первого я, хоть тресни, должен играть с тетушкой в крокет!

## Чудотворец

Пер. - И.Григорьев

Весьма сомнительно, чтобы этот дар был врожденным. Лично я считаю, что он появился у него неожиданно. Ведь до тридцати лет этот человек был заядлым скептиком и не верил в чудотворные силы.

А теперь, за неимением более подходящего места, я упомяну здесь, что рост у него был маленький, глаза карие, а волосы рыжие и вихрастые; кроме того, он обладал усами, которые закручивал вверх, и большим количеством веснушек. Его звали Джордж Макуиртер Фодерингей - имя отнюдь не из тех, которые сулят чудеса, - он служил клерком в конторе Гомшотта. Он очень любил по всякому поводу доказывать свою правоту, и его необычайный дар обнаружился именно в тот момент, когда он категорически заявил, что чудеса невозможны.

Этот спор завязался в баре "Длинного Дракона", и оппонент мистера Фодерингея, Тодди Бимиш, парировал все его аргументы довольно однообразным, но весьма действенным утверждением: "Это по-вашему так", - чем совсем вывел его из себя.

Кроме них двоих, в баре были запыленный велосипедист, хозяин заведения Кокс и мисс Мейбридж - в высшей степени порядочная и весьма корпулентная буфетчица "Дракона". Мисс Мейбридж стояла спиной к мистеру Фодерингею и мыла стаканы. Остальные же смотрели на него, забавляясь тщетностью его попыток доказать свою правоту.

Доведенный до белого каления торрес-ведрасской тактикой [тактика, применявшаяся англо-португальскими войсками у города Торрес-Ведраса в 1810 году] мистера Бимиша, мистер Фодерингей пустил в ход все свое красноречие.

- Послушайте-ка, мистер Бимиш, - сказал он. - Давайте разберемся, что такое чудо. Это нечто не совместимое с законами природы и произведенное усилием воли, нечто такое, что не могло бы произойти, если бы кто-то не сделал подобного усилия.



- Это по-вашему так, - сказал мистер Бимиш победоносно.

Мистер Фодерингей воззвал к велосипедисту, который до сих пор слушал молча, но теперь выразил свое согласие, смущенно кашлянув и взглянув на мистера Бимиша. Хозяин отказался высказать свое мнение, но когда мистер Фодерингей вновь повернулся к мистеру Бимишу, тот неожиданно согласился с таким определением чуда, хотя и со значительными оговорками.

- Например, - сказал, воспрянув духом, мистер Фодерингей, - чудом было бы следующее: вот та лампа, согласно законам природы, не может гореть, если ее перевернуть вверх дном, не так ли, Бимиш?

- Это по-вашему не может, - ответил Бимиш.

- А по-вашему как? - воскликнул Фодерингей. - Значит, по-вашему она...

- Да, - неохотно согласился Бимиш, - не может.

- Отлично, - продолжал мистер Фодерингей. - Допустим, кто-то приходит, ну хотя бы я, например, становится здесь и, собрав всю силу воли, говорит этой лампе, вот как я сейчас скажу: "Перевернись вверх дном, но не разбейся и продолжай гореть и..." Ой!

Тут было из-за чего воскликнуть "Ой!". Невозможное, невероятное свершилось у всех на глазах. Перевернувшись вверх дном, лампа повисла в воздухе и продолжала спокойно гореть, а ее пламя было обращено вниз. Это был факт столь же достоверный и неоспоримый, как и сама эта лампа, обыкновенная лампа в баре "Длинного Дракона".

Мистер Фодерингей стоял, вытянув вперед указательный палец и сдвинув брови, как человек, ожидающий неизбежной катастрофы. Велосипедист, который сидел ближе всех к лампе, пригнулся и перепрыгнул через стойку. Все повскакали с мест. Мисс Мейбридж обернулась и взвизгнула.

Около трех секунд лампа продолжала спокойно висеть.

Затем мистер Фодерингей испустил стон, исполненный мучительной тревоги:

- Я больше не могу удерживать ее!

Он попытался, перевернутая лампа выбросила язык пламени, стукнулась об угол стойки, отлетела в сторону, разбилась об пол и погасла. К счастью, резервуар у нее был металлический, иначе начался бы пожар.

Первым молчание нарушил мистер Кокс. Если отбросить излишнюю крепость выражения, смысл его слов сводился к тому, что Фодерингей дурак, но мистер Фодерингей находился в таком состоянии, что не стал оспаривать даже столь абсолютное утверждение. Он был слишком ошеломлен случившимся. Тут заговорили и другие, но не пролили света ни на суть дела, ни на роль в нем мистера Фодерингея. Общее мнение совпало с мнением мистера Кокса, но было выражено еще более бурно. Все обвиняли Фодерингея в глупой проделке и доказывали ему, что он легкомысленно нарушил покой окружающих и подверг их жизнь опасности.

Мистер Фодерингей до того растерялся и смутился, что был готов с ними согласиться, и, когда ему предложили удалиться восвояси, он не оказал почти никакого сопротивления.

Он брел домой, красный как рак; ворот его пиджака был измят, глаза щипало, уши пылали. Он с беспокойством косился на каждый из десяти уличных фонарей, мимо которых ему пришлось пройти. И только очутившись в уединении своей маленькой спальни на Черчроу, он наконец собрался с мыслями и, припомнив все обстоятельства вечера, спросил себя:

"Что же все-таки случилось?"

К этому времени он уже снял пиджак и ботинки и теперь сидел на краю кровати, засунув руки в карманы, в семнадцатый раз повторяя свое оправдание:

"Я же не хотел, чтобы эта проклятая лампа перевернулась!"

Но тут он вспомнил, что, произнося слова команды, бессознательно пожелал, чтобы его приказ исполнился, и что потом, увидев лампу в воздухе, почувствовал, что поддерживать ее в таком положении должен тоже он, хотя и не понимал, каким образом.

Если бы мистер Фодерингей отличался философским складом ума, он непременно принялся бы размышлять над словами "бессознательно пожелал", поскольку они охватывают

сложнейшие проблемы волевого акта; но он не был склонен к абстрактным размышлениям, и эта мысль была настолько смутной, что он принял ее безоговорочно. Затем, опираясь на нее, он - как я должен признать, без особой логики - прибегнул к проверке опытом.

Решительным жестом мистер Фодерингей протянул руку к свече, сосредоточился, хотя чувствовал, что делает глупость, и сказал:

- Поднимись!

В то же мгновение сомнения его исчезли: свеча поднялась и на какой-то миг повисла в воздухе, а затем вслед за его ошеломленным "Ах!" с громким стуком ударилась о тумбочку, оставив мистера Фодерингея в полной темноте, если не считать тлевшего фитиля.

Некоторое время мистер Фодерингей сидел в темноте и не шевелился.

- Значит, так оно и было, - проговорил он наконец. - Но в чем тут дело, не пойму.

Тяжело вздохнув, он начал рыться в карманах, отыскивая спички. Не найдя их, он поднялся и стал обшаривать тумбочку.

- Хоть бы одну найти, - сказал он.

Он взялся за пиджак, но и там спичек не было, и тут ему пришло в голову, что чудеса можно творить даже со спичками. Он вытянул руку и в темноте, грозно нахмурившись, произнес:

- Пусть в этой руке будет спичка.

Ему на ладонь упал какой-то легкий предмет, и он зажал его в кулаке.

После нескольких неудачных попыток зажечь спичку мистер Фодерингей обнаружил, что она безопасная. Он бросил ее, и тут же ему пришло в голову что она загорится, если он того пожелает. Он пожелал, и спичка вспыхнула на салфетке, посланной на тумбочке. Он поспешно схватил ее, но она погасла. Сообразив, что его возможности далеко не исчерпаны, Фодерингей ощупью нашел свечу и вставил ее в подсвечник.

- А ну-ка зажгись! - приказал он, и в ту же секунду свеча загорелась, и он увидел в салфетке черную дырочку, над которой курился дымок.

Некоторое время мистер Фодерингей глядел то на дырочку, то на свечу, а потом, подняв глаза, встретился взглядом со своим отражением в зеркале. Несколько секунд он с его помощью безмолвно общался со своей душой.

- Ну, а что вы сейчас скажете насчет чудес? - спросил он наконец вслух, обращаясь к отражению.

Последующие размышления мистера Фодерингея носили хотя и напряженный, но весьма смутный характер. Насколько он понимал, ему достаточно было пожелать, и его желания тут же исполнялись. После того, что случилось, он не был склонен рисковать и решался только на самые безобидные опыты. Он заставил листок бумаги взлететь в воздух и окрасил воду в стакане в розовый, а затем в зеленый цвет. Кроме того, он создал улитку, которую тем же чудодейственным способом сразу уничтожил, и сотворил для себя новую зубную щетку. Когда миновала полночь, он пришел к выводу, что его воля должна быть на редкость сильной. Разумеется, он это и раньше подозревал, хотя и не был твердо уверен, что прав. Испуг и растерянность первых часов теперь сменились гордостью от сознания своей исключительности и от туманного предчувствия возможных выгод.

Неожиданно до его сознания дошло, что куранты на церковной башне бьют час ночи, и, поскольку он не сообразил, что чудесным образом может избавиться от необходимости пойти утром в контору Гомшотта, он стал раздеваться дальше, чтобы поскорее лечь в постель.

Он уже начал стаскивать рубашку, но тут его внезапно осенила блестящая мысль.

- Пусть я окажусь в постели, - произнес он и очутился там.

- Раздетый, - тут же поправился он и, почувствовав прикосновение холодных простынь, поспешно добавил:

- И в ночной рубашке... Нет, не в этой, а в хорошей, мягкой, из тонкой шерсти. А-ах! - вздохнул он удовлетворенно. - А теперь я хочу уснуть сладким сном...

Проснулся он в обычное время и за завтраком был задумчив: все, что произошло с ним накануне, начало казаться ему необыкновенно ярким сном. Тогда он решил проделать еще несколько безопасных опытов. Так, например, за завтраком он съел три яйца: два, поданные хозяйкой - приличные, но все же чуточку лежалые, и третье - превосходное гусиное яйцо, снесенное, сваренное и поданное на стол его чудодейственной волей.

Мистер Фодерингей поспешил в контору Гомшотта в состоянии сильного волнения, которое он тщательно скрывал. И о скорлупе третьего яйца он вспомнил лишь вечером, когда о ней заговорила хозяйка. Весь день чудесные свойства, которые он открыл в самом себе, не давали ему спокойно работать, однако это не навлекло на него никаких неприятностей, так как вся работа была выполнена за последние десять минут при помощи чуда.

К вечеру удивление сменилось глубокой радостью, хотя ему по-прежнему неприятно было вспоминать обстоятельства его изгнания из "Длинного Дракона", тем более что сильно приукрашенный рассказ об этом событии дошел до его сослуживцев и вызвал немало шуток. Мистер Фодерингей пришел к выводу, что хрупкие вещи следует поднимать с большой осторожностью, зато во всех остальных отношениях его дар обещал ему все больше и больше. В частности, он решил пополнить свое имущество, неприметно сотворив кое-что. Он уже создал пару великолепных бриллиантовых запонок, но тут же поспешно уничтожил их, так как к его конторке подошел Гомшотт-младший. Мистер Фодерингей опасался, что Гомшотт-младший может заинтересоваться, откуда они у него. Он ясно сознавал, что должен пользоваться своим даром осторожно и осмотрительно, но, насколько он мог судить, это было не труднее, чем научиться ездить на велосипеде, а эти трудности он уже преодолел. Быть может, именно эта ассоциация идей даже в большей степени, чем предчувствие холодной встречи в "Длинном Драконе", побудила его после ужина отправиться в проулок за газовым заводом и там втихомолку поупражняться в сотворении чудес.

Пожалуй, опыты мистера Фодерингея не отличались оригинальностью, так как, если не считать его необычайного дара, он был самым заурядным человеком. Он вспомнил чудо с жезлом Моисея, но вечер был темный и неподходящий для присмотра за огромными сотворенными змеями.

Затем он припомнил чудо из "Тангейзера", о котором однажды прочитал в концертном зале на обороте программы. Оно показалось ему очень приятным и безопасным. Он воткнул свою трость - превосходную пальмовую трость - в траву у дорожки и приказал этой сухой деревяшке зацвести. В то же мгновение воздух наполнился ароматом роз, и, чиркнув спичкой, мистер Фодерингей убедился, что это прекрасное чудо было повторено. Его радость была прервана звуком приближающихся шагов. Боясь, что его чудодейственный дар будет обнаружен преждевременно, он поспешно скомандовал зацветшей трости:

- Назад!

На самом деле он хотел сказать: "Стань снова тростью", - но второпях оговорился.

Трость стремительно понеслась прочь, и приближавшийся человек издал сердитый возглас, подкрепив его смачным словом.

- В кого это ты швыряешься колючими ветками, дурак? Всю ногу мне исцарапал!

- Простите, - начал мистер Фодерингей, но, сообразив, что объяснения могут только еще больше испортить дело, смутился и начал нервно теревить усы.

К нему приближался Уинч, один из трех полицейских, охраняющих покой Иммеринга.

- Тебе что, нравится палками швыряться? - спросил полицейский. - А! Да это вы! Лампу в "Длинном Драконе" "вы разбили?"

- Нет, не нравится. Совсем нет, - ответил мистер Фодерингей.

- Так зачем же вы швырнули эту палку?

- Угораздило же меня! - воскликнул мистер Фодерингей.

- Вот именно! Она ведь колючая! Для чего вы ее швырнули, а?

Мистер Фодерингей растерянно пытался сообразить, для чего он ее швырнул. Его молчание, по-видимому, раздражало мистера Уинча.

- Вы понимаете, что вы совершили нападение на полицейского, молодой человек? На полицейского!

- Послушайте, мистер Уинч, - с досадой и смущением сказал мистер Фодерингей. - Мне очень жаль... Дело в том, что...

- Ну?

Мистер Фодерингей так и не сумел ничего придумать и решил говорить правду.

- Я творил чудо... - Он старался говорить небрежным тоном, но из его усилий ничего не получилось.

- Творил чу... Что это еще за чушь!.. Творил чудо! Смех, да и только. Да ведь вы тот самый молодчик, который не верит в чудеса... Значит, опять устроили дурацкий фокус! Ну, вот что я вам скажу...

Однако мистеру Фодерингею так и не пришлось услышать, что именно хотел сказать ему мистер Уинч. Он понял, что выдал себя, разгласил свою драгоценную тайну! Злость придала ему энергии. Он яростно крикнул, шагнув к полицейскому:

- С меня довольно! Я вам сейчас покажу дурацкий фокус! Отправляйтесь-ка в преисподнюю! Марш!

И в то же мгновение он остался один.

В этот вечер мистер Фодерингей не творил больше чудес и не пытался даже узнать, что стало с его расцветшей тростью. Испуганный и притихший, он вернулся домой и прошел прямо к себе в спальню.

- Господи! - пробормотал он. - Какой же сильный дар! Просто всесильный! Я вовсе этого не хотел... Интересно, какая она, преисподняя?

Мистер Фодерингей сел на кровать, чтобы снять сапоги, и тут ему пришла в голову счастливая мысль. Он переправил полицейского в Сан-Франциско, а затем, предоставив события их естественному ходу, уныло лег спать. Ночью ему снился разгневанный Уинч.

На следующий день мистер Фодерингей услышал две интересные новости. Во-первых, кто-то посадил великолепный куст вьющихся роз перед самым домом мистера Гомшотта-старшего на Ладдабороу-роуд; а во-вторых, реку до самой мельницы Роудинга собираются обшарить, чтобы найти тело полицейского Уинча.

Весь день мистер Фодерингей был рассеян и задумчив и чудес больше не творил, если не считать нескольких распоряжений относительно Уинча и того, что он при помощи чуда безупречно выполнял свою работу, несмотря на беспокойные мысли, роившиеся в его голове, словно пчелы. Его необычная рассеянность и подавленность были замечены окружающими и сделались предметом шуток, а он все время думал об Уинче.

В воскресенье вечером Фодерингей пошел в церковь, и, как нарочно, мистер Мейдиг, который интересовался оккультными явлениями, произнес проповедь о "деяниях противозаконных". Мистер Фодерингей не особенно усердно посещал церковь, но его стойкий скептицизм, о котором я уже упоминал, к этому времени значительно поколебался. Содержание проповеди пролило совершенно новый свет на его недавно открывшиеся способности, и он внезапно решил сразу же после окончания службы обратиться к мистеру Мейдигу за советом. Приняв это решение, он удивился, почему не подумал об этом раньше.

Мистер Мейдиг, тощий, нервный человек с очень длинными пальцами и длинной шеей, был явно польщен, когда молодой человек, чье равнодушие к религии было известно всему городку, попросил разрешения поговорить с ним наедине. Поэтому мистер Мейдиг, едва освободившись, провел мистера Фодерингея к себе в кабинет (его дом примыкал к церкви), усадил его поудобнее и, став перед весело плавающим камином, - при этом ноги его отбрасывали на противоположную стену тень, напоминавшую колосса Родосского, - попросил изложить свое дело.

Мистер Фодерингей смутился, не зная, как начать, и некоторое время бормотал фразы, вроде: "Боюсь, едва ли вы мне поверите, мистер Мейдиг..." Но потом собрался с духом и спросил, какого мнения он придерживается в вопросе о чудесах.

Мистер Мейдиг внушительно произнес "видите ли", потом еще раз повторил это слово, но тут мистер Фодерингей перебил его:

- Думаю, вы не поверите, чтобы самый обыкновенный человек, например, вроде меня, сидящего вот тут, перед вами, умел с помощью какой-то внутренней своей особенности творить усилием воли всякие чудеса.

- Это возможно, - сказал мистер Мейдиг. - Что-нибудь в этом роде, пожалуй, возможно.

- Если вы разрешите мне воспользоваться какой-нибудь вашей вещью, я покажу вам это на деле, - сказал мистер Фодерингей. - Вот, например, банка с табаком, там, на столе. Будет ли чудом то, что я собираюсь с ней сделать? Одну минутку, мистер Мейдиг.

Сдвинув брови, он протянул палец к банке с табаком и произнес:

- Стань вазой с фиалками!

Банка с табаком послушно выполнила приказание.

Увидев такое превращение, мистер Мейдиг вздрогнул и застыл на месте, поглядывая то на чудотворца, то на вазу с цветами. Он ничего не сказал. Наконец он все-таки решился нагнуться над столом и понюхать фиалки; они были только что сорваны и необыкновенно красивы. Затем он опять устремил взгляд на мистера Фодерингея.

- Как вы это сделали? - спросил он.

Мистер Фодерингей подергал себя за усы.

- Просто приказал, и вот вам, пожалуйста! Что это: чудо, или черная магия, или что-нибудь еще? Что это со мной, как вы думаете? Об этом-то я и хотел спросить вас.

- Явление это в высшей степени необычное.

- А неделю назад я не больше вашего знал, что способен на это. Все получилось совсем неожиданно. Моя воля, наверное, обладает каким-то странным свойством, а больше я ничего не знаю.

- Вы только вот это способны делать? А больше ничего?

- Да сколько угодно! - воскликнул Фодерингей. - Все, что хотите!

Он задумался и вдруг вспомнил фокус, который когда-то видел.

- Вот, пожалуйста! - Он протянул руку. - Наполнись рыбой... Нет-нет, не это! Стань прозрачной чашей, полной воды, и чтобы в ней плавали золотые рыбки! Так-то лучше. Видите, мистер Мейдиг?

- Удивительно! Невероятно! Или вы необыкновенный... Впрочем, нет...

- Я мог бы превратить эту вазу во что угодно, - сказал мистер Фодерингей. - Во что угодно. Смотрите! А ну-ка, стань голубем!

В следующее мгновение сизый голубь уже порхал по комнате и вынуждал мистера Мейдига наклоняться всякий раз, когда пролетал мимо него.

- Замри! - приказал мистер Фодерингей, и голубь неподвижно повис в воздухе.

- Я могу превратить его опять в вазу с цветами, - сказал он и, спустив голубя снова на стол, сотворил и это чудо.

- Вам, наверное, скоро захочется выкурить трубку. - И с этими словами он восстановил банку с табаком в ее первоначальном виде.

Мистер Мейдиг наблюдал за этими последними превращениями в молчании, которое было красноречивее всяких слов. Теперь он поглядел круглыми глазами на Фодерингея, осторожно поднял банку с табаком, осмотрел ее и опять поставил на стол.

- Мм-да!.. - только и мог он сказать.

- Ну, теперь мне будет легче объяснить, зачем я пришел сюда... - И Фодерингей принялся сбивчиво и многословно рассказывать о странных событиях последних дней, начав с происшествия в "Длинном Драконе", но то и дело перескакивал на судьбу Уинча, чем сбивал слушателя с толку.

По мере того как он рассказывал, гордость, вызванная в нем изумлением мистера Мейдига, исчезла, и он опять стал самым обыкновенным мистером Фодерингеем, каким его знали все.



Мистер Мейдиг внимательно слушал, сжимая в руках банку с табаком, и выражение его лица постепенно менялось. Когда мистер Фодерингей дошел до чуда с третьим яйцом, священник, подняв дрожащую руку, перебил его.

- Это возможно! - воскликнул он. - Вполне вероятно. Конечно, это поразительно, зато позволяет объяснить некоторые совершенно загадочные явления. Способность творить чудеса есть дар, особое свойство, вроде гениальности или ясновидения. До сих пор оно встречалось очень редко, и только у исключительных людей. Но в данном случае... Меня всегда приводили в недоумение чудеса Магомета, йогов и госпожи Блаватской, но теперь все стало ясно. Да, это особый дар! И как превосходно это доказывает правоту рассуждений нашего великого мыслителя, - мистер Мейдиг понизил голос, - его светлости герцога Аргайльского. Здесь мы проникаем в тайны, более глубокие, чем обыкновенные законы природы. Да... Так продолжайте, продолжайте же!

Мистер Фодерингей стал рассказывать о неприятном инциденте с Уинчем, а священник, уже забывший недавнее благоговейное изумление и испуг, то и дело прерывал его удивленными восклицаниями и жестами.

- Вот как раз это меня и беспокоит больше всего, - продолжал мистер Фодерингей. - Именно по этому поводу я хочу получить у вас совет. Уинч сейчас в Сан-Франциско, где это, я не знаю, но он, конечно, там. Но в результате мы оба - и он и я - оказались в весьма затруднительном положении, как вы сейчас сами поймете. Ему, конечно, трудно понять, что с ним стряслось, но, надо думать, он и напуган, и взбешен до крайности, и рвется поскорее рассчитаться со мной. Я уверен, что он все время пытается выехать из Сан-Франциско и вернуться сюда. А я каждые два-три часа отсылаю его обратно, едва вспомню об этом. Он, конечно, не понимает, что с ним происходит, и это, разумеется, его раздражает. И если он каждый раз покупает билет, то изведет уйму денег. Я сделал для него все, что мог, но ему ведь трудно поставить себя на мое место. Еще я подумал, что если преисподняя такова, какой мы ее себе представляем, то его одежда успела обгореть прежде, чем я переправил его в другое место. В таком случае в Сан-Франциско его могли бы посадить в тюрьму. Конечно, едва я об этом подумал, я тут же распорядился, чтобы на нем немедленно появился новый костюм. Но вы понимаете, как я запутался?

Мистер Мейдиг нахмурился.

- Да, я понимаю. Положение весьма затруднительное. Какой выход могли бы вы найти... - И он произнес несколько туманных и ничего не решающих фраз, а затем продолжал: - Но забудем на время об Уинче и обсудим вопрос более широко. Я не считаю, что это черная магия или что-нибудь в том же роде. Я не считаю, что в этом есть что-либо преступное, мистер Фодерингей, если только вы не скрыли каких-нибудь существенных фактов. Нет, это чудеса, чистейшие чудеса, я бы сказал, чудеса высшего класса.

Он начал расхаживать по ковру, жестикулируя. А мистер Фодерингей с озабоченным видом сидел у стола, подперев щеку рукой.

- Не знаю, что мне делать с Уинчем, - проговорил он.

- Дар творить чудеса, по-видимому, весьма могучий дар, обязательно поможет вам уладить дела с Уинчем, - продолжал мистер Мейдиг. - Дорогой сэр, вы же совершенно исключительный человек, в ваших руках поразительные возможности. Взять хотя бы то, что вы сейчас показали. Да и в других отношениях... Вы можете сделать многое такое, что...

- Да, я уже кое-что придумал, - сказал мистер Фодерингей, - но не все получается как надо. Вы ведь помните, какой сперва получилась эта рыба: и рыба вышла не та и сосуд не тот. Вот и я решил посоветоваться с кем-нибудь.

- Весьма похвальное решение! - перебил мистер Мейдиг. - Весьма похвальное. Весьма!

Он на миг умолк и посмотрел на мистера Фодерингея.

- В сущности, ваш дар безграничен. Давайте испытаем вашу силу. Действительно ли она... Действительно ли она такова, какой кажется.

И вот, хотя это может показаться невероятным, вечером в воскресенье 10 ноября 1896 года в кабинете домика позади пресвитерианской церкви мистер Фодерингей, подстрекаемый и вдохновляемый мистером Мейдигом, начал творить чудеса. Мы просим читателя обратить особое внимание на число. Он, конечно, может возразить, что некоторые детали этой истории неправдоподобны и что, если бы нечто похожее действительно случилось, об этом уже год назад было бы написано во всех газетах. Особенно невероятным покажется читателю все то, что будет рассказано дальше, ибо если допустить, что это произошло на самом деле, то читателю и читательнице придется признаться, что уже больше года назад они при совершенно небывалых обстоятельствах погибли насильственной смертью. Но ведь чудо и есть нечто невероятное, иначе оно не было бы чудом, и читатель на самом деле погиб насильственной смертью больше года назад. Из дальнейшего изложения событий это станет вполне ясным и очевидным для каждого здравомыслящего читателя. Но сейчас еще рано переходить к концу рассказа, так как мы едва перевалили за его середину. К тому же мистер Фодерингей творил вначале лишь робкие и мелкие чудеса: немудреные фокусы с чашками и разными безделушками, столь же жиденькие, как и чудеса теософов. Тем не менее партнер мистера Фодерингея наблюдал за ним с благоговейным страхом. Мистер Фодерингей предпочел бы тут же уладить дела с Уинчем, но мистер Мейдиг всякий раз отвлекал его. Однако, когда они сотворили с десяток пустяковых домашних чудес, их уверенность в собственных силах возросла, воображение разыгралось, и они захотели дерзнуть на большее.

Первое более значительное чудо было вызвано все растущим чувством голода и нерадивостью миссис Минчим, экономки мистера Мейдига. Ужин, к которому священник пригласил Фодерингея, был, несомненно, приготовлен небрежно и показался двум усердным чудотворцам весьма неаппетитным.

Они успели уже сесть за стол, и мистер Мейдиг пустился рассуждать скорее печально, нежели сердито о недостатках своей экономки, когда мистер Фодерингей сообразил, что ему представляется новая возможность сотворить чудо.

- Не сочтете ли вы, мистер Мейдиг, дерзостью с моей стороны, если я позволю себе...

- Дорогой мистер Фодерингей, конечно, нет. Мне просто в голову не пришло...

Мистер Фодерингей сделал широкий жест.

- Что же мы закажем? - спросил он тоном, побуждавшим не стесняться и не ограничивать себя ни в чем.

Соответственно пожеланиям мистера Мейдига меню ужина было коренным образом пересмотрено.

- Что касается меня, - сказал мистер Фодерингей, разглядывая блюда, выбранные мистером Мейдигом, - то я предпочитаю кружку портера и гренки с сыром. Это я и закажу. Бургундское мне не совсем по вкусу.

И в тот же миг по его команде на столе появилась кружка портера и гренки с сыром.

Они просидели за ужином довольно долго, болтая как равные (мистер Фодерингей отметил это с приятным удивлением) о чудесах, которые им еще предстояло сотворить.

- Между прочим, мистер Мейдиг, я, пожалуй, мог бы помочь вам... в вашем доме.

- Я не совсем понял, - проговорил мистер Мейдиг, наливая в рюмку сотворенное чудом старое бургундское.

Мистер Фодерингей откуда-то из пространства взял вторую порцию гренков с сыром и принялся за нее.

- Полагаю, - начал он, - что мог бы ("чавк-чавк") сотворить ("чавк-чавк") чудо с миссис Минчин ("чавк-чавк"), исправить ее недостатки.

Мистер Мейдиг поставил стакан на стол. Лицо его выразило сомнение.

- Она... она очень не любит, когда вмешиваются в ее дела. Кроме того, сейчас уже двенадцатый час, и она, вероятно, спит. И, вообще говоря, стоит ли...

Мистер Фодерингей обдумал эти возражения.

- А почему бы не воспользоваться тем, что она спит?

Сперва мистер Мейдиг не соглашался, но в конце концов уступил. Тогда мистер Фодерингей отдал распоряжение, и сотрапезники вновь занялись ужином, хотя уже и без прежнего безмятежного спокойствия. Мистер Мейдиг начал перечислять возможные благотворительные перемены в характере своей экономки, с оптимизмом, который даже поужинавшему мистеру Фодерингею показался чуть-чуть вымученным и лихорадочным, и в этот момент сверху донесся какой-то неясный шум. Они вопросительно переглянулись, и мистер Мейдиг поспешно вышел из комнаты. Мистер Фодерингей услышал, как мистер Мейдиг окликнул свою экономку и затем осторожными шагами поднялся к ней. Через несколько минут священник легкой походкой вернулся в комнату; Лицо его сияло.

- Удивительно, - воскликнул он, - и трогательно! В высшей степени трогательно!

Он начал расхаживать по коврику перед камином.

- Раскаяние, самое трогательное раскаяние... Сквозь щелку в двери... Бедняжка! Поистине удивительная перемена! Она уже встала! Вероятно, она встала сразу же. Специально проснулась, чтобы разбить бутылку коньяку, припрятанную в сундучке. И призналась в этом! Но ведь такой факт дает нам... Он открывает перед нами небывалые возможности. Если уж мы могли совершить такую чудесную перемену даже в ней...

- Возможности у нас, по-видимому, безграничны, - заметил мистер Фодерингей. - А что касается мистера Угенча...

- Несомненно, безграничны, - сказал мистер Мейдиг, расхаживая по ковру и, отмахнувшись от проблемы Уинча, принялся развертывать перед Фодерингеем целый ряд тут же приходивших ему на ум удивительных планов, Каковы бы ни были эти планы, непосредственного отношения к сути нашего рассказа они не имеют.

Достаточно сказать, что все они были проникнуты бесконечной благожелательностью, такого рода благожелательностью, которую принято называть послеобеденной. Достаточно сказать также, что проблема Уинча так и осталась нерешенной. Нет необходимости уточнять, далеко ли зашло выполнение этих планов. Так или иначе произошли удивительные перемены. Когда настала полночь, мистер Мейдиг и мистер Фодерингей метались при свете луны по холодной рыночной площади в настоящем экстазе чудотворства: мистер Мейдиг непрестанно жестикулировал, полы его сюртука развевались, а маленький мистер Фодерингей гордо шествовал рядом, уже не пугаясь своего могущества.

Они исправили всех пьяниц своего избирательного округа, превратили в воду все пиво и все горячительные напитки (в этом вопросе мистер Мейдиг настоял на своем, несмотря на возражения мистера Фодерингея), далее они значительно улучшили местное железнодорожное сообщение, осушили Флиндерское болото, улучшили почву на склонах холма Одинокое дерево и вывели у священника англиканской церкви бородавку. Затем они решили посмотреть, нельзя ли что-нибудь сделать с подгнившими сваями Южного моста.

- Завтра город станет неузнаваем! - захлебываясь от восторга, проговорил мистер Мейдиг. - Как все будут удивлены и восхищены!

Вдруг часы на колокольне пробили три.

- Вот те на! - воскликнул мистер Фодерингей. - Уже три часа. Мне пора домой. В восемь мне нужно быть в конторе, а, кроме того, миссис Уимс...

- Но мы ведь только начинаем, - возразил мистер Мейдиг, полный сладостного сознания неограниченной силы. - Подумайте, сколько добра мы сделаем. Когда все проснутся...

- Но... - начал мистер Фодерингей.

Мистер Мейдиг внезапно схватил его за руку. Глаза священника возбужденно сверкали.

- Мой дорогой друг, - сказал он, - незначем торопиться. Взгляните! - Он указал на плывшую над самой головой луну. - Иисус Навин!

- Иисус Навин? - переспросил мистер Фодерингей.

- Да! - повторил мистер Мейдиг. - Почему бы и нет? Остановите ее!

Мистер Фодерингей посмотрел на луну.

- Это, пожалуй, уже слишком! - проговорил он, помолчав.

- Но отчего? - спросил священник. - Впрочем, она ведь и не остановится: вы просто остановите вращение Земли, и время остановится. Мы же никому не причиним вреда.

- Гм! - сказал мистер Фодерингей. - Ну что ж... - Он вздохнул. - Я попробую. Вот...

Он застегнул пиджак на все пуговицы и обратился к земному шару настолько твердо и уверенно, насколько мог:

- А ну перестань вращаться, слышишь?

И в то же мгновение он кубарем полетел в пространство со скоростью нескольких десятков миль в минуту. Несмотря на то, что он ежесекундно описывал в воздухе круги, он все же сохранил способность думать. Ведь мысль - удивительная вещь: то она течет медленно, как смола, то вспыхивает мгновенно, как молния.

Поразмыслив секунду, мистер Фодерингей приказал:

- Пусть я спущусь на землю целый и невредимый! Что бы ни случилось, пусть я окажусь на земле целым и невредимым!

Он произнес это как раз вовремя, потому что его одежда, нагревшись от быстрого полета, уже начала тлеть. Мистер Фодерингей шлепнулся на землю, но, несмотря на силу удара, уцелел, потому что опустился на кучу земли, которая показалась ему свежевырытой. Огромная глыба металла и камня, удивительно похожая на башню с часами с рыночной площади, рухнула на землю около мистера Фодерингея, подскочила и, перелетев через него, рассыпалась - в разные стороны полетели обломки камня, кирпича и штукатурки, словно разорвалась бомба. Мчавшаяся по воздуху корова с размаху ударилась о кусок стены и разбилась, как яйцо. Затем раздался оглушительный грохот, по сравнению с которым все, что ему приходилось слышать за свою жизнь, показалось лишь шелестом оседающей пыли, и последовал еще ряд более слабых ударов. Дул такой страшный ветер, что Фодерингей с трудом мог поднять голову, чтобы осмотреться, но он был слишком ошеломлен и измучен, чтобы сообразить, где он и что произошло. И начал он с того, что ощупал голову и убедился в целостности своих развевающихся по ветру волос.

- Господи! - бормотал мистер Фодерингей, захлебываясь ветром. - Еще секунда, и мне была бы крышка! Что-то получилось не так. Буря и гром! А только минуту назад была такая тихая ночь. Это Мейдиг подбил меня на такую штуку. Ну и ветер! Если я и дальше буду делать подобные промашки, то это плохо кончится! Где Мейдиг? До чего же все перемешалось!

Он огляделся, насколько позволяли ему хлопавшие на ветру полы его пиджака. Все вокруг выглядело очень странно.

- Небо, во всяком случае, на месте, - проговорил мистер Фодерингей. - А вот про все остальное этого не скажешь. Да и небо выглядит так, будто надвигается ураган. Луна по-прежнему висит над головой. Совсем как несколько минут назад. Светло, как в полдень. Но все остальное... Где город? Где... где все? И почему только начал дуть этот ветер? Я же не заказывал никакого ветра.

После нескольких неудачных попыток подняться на ноги мистер Фодерингей остался стоять на четвереньках, цепляясь руками и ногами за землю. Он смотрел на залитый лунным светом мир с подветренной стороны, а вывернутый наизнанку пиджак хлопал над его головой.

- Да, в мире что-то нарушилось, - пробормотал Фодерингей, - а что именно, один бог ведает.

Вокруг, в белесом сиянии луны, сквозь облака пыли, поднятой завывающим ветром, можно было различить лишь огромные кучи перемешанной с обломками земли, которые все увеличивались; ни деревьев, ни домов, никаких привычных очертаний - ничего, кроме хаоса, теряющегося во тьме среди вихря, грома и молний приближающегося урагана. В блеске молний мистер Фодерингей различил возле себя бесформенную грудку щепок, которые недавно

были вязом, теперь расколотым от корней до кроны. А поодаль из развалин выступали согнутые и перекрученные железные балки. Он понял, что это был виадук.

Дело в том, что мистер Фодерингей, остановив вращение огромной планеты, забыл позаботиться о различных мелких предметах на ее поверхности, которые способны двигаться, однако земля вертится так быстро, что ее поверхность у экватора пробегает более тысячи миль в час, а в наших широтах - более пятисот миль. Поэтому и город, и мистер Мейдиг, и мистер Фодерингей - все без исключения полетело вперед со скоростью около девяти миль в секунду, то есть гораздо быстрее, чем если бы ими выстрелили из пушки, и каждый человек, каждое живое существо, каждый дом, каждое дерево, то есть, абсолютно все, что находится на земле, было сорвано с мест, разбито и полностью уничтожено. Только и всего.

Мистер Фодерингей, разумеется, не понял, в чем было дело. Но он сообразил, что потерпел неудачу, и проникся отвращением ко всяким чудесам. Теперь он был в полной тьме, потому что тучи сгрудились и закрыли от него луну. В воздухе метались и дергались, как в пытке, полосы града. Оглушительный рев ветра и воды заполнил вселенную. Прикрыв глаза ладонью, мистер Фодерингей вгляделся в ту сторону, откуда дул ветер, и при свете молний увидел надвигающийся на него громадный водяной вал.

- Мейдиг! - Слабый голос Фодерингея затерялся в грохоте бушующей стихии. - Эй, Мейдиг!.. Стой! - крикнул он, обращаясь к приближавшейся воде. - Стой! Ради бога, остановись!

- Минуточку, - попросил он молнии и гром. - Погодите минутку! Дайте мне собраться с мыслями... Что мне теперь делать? Что же все-таки мне делать? Господи! Хоть бы Мейдиг был здесь... Знаю! - вдруг закричал мистер Фодерингей. - Только, ради бога, на этот раз обойдемся без путаницы.

Все еще стоя на четвереньках, лицом к ветру, он напряженно думал, как исключить возможность хотя бы малейшей ошибки.

- Вот, - сказал он наконец, - то, что я прикажу, пусть теперь исполнится только после того, как я крикну: "А ну!.." Господи! Почему я раньше об этом не подумал...

Он пробовал перекричать рев бури и кричал все громче и громче в тщетном желании услышать собственный голос.

- Так вот!.. Начинаю! Не забудь о том, что я только что сказал! Во-первых, когда исполнится все, что я скажу, пусть я потеряю свой дар творить чудеса, пусть моя воля станет такой же, как у всех людей, и пусть будет покончено с этими опасными чудесами. Они мне не нравятся. Лучше бы я их не творил. Ни одного, даже самого маленького. Это во-первых. А во-вторых, пусть я вернусь к тому времени, когда еще не случилось первого чуда, и пусть все станет таким, каким было до того, как перевернулась та проклятая лампа. Это трудная задача, зато последняя. Понятно? Больше никаких чудес, все должно стать таким, каким было, а я хочу оказаться в "Длинном Драконе" как раз перед тем, как выпил свои полпинты. Вот и все! Да. - Он впился пальцами в землю, зажмурился и крикнул: - А ну!

Стало совсем тихо. Мистер Фодерингей почувствовал, что стоит на ногах.

- Это по-вашему так, - сказал кто-то.

Фодерингей открыл глаза. Он был в баре "Длинного Дракона" и спорил с Тодди Бимишем о чудесах. В памяти его мелькнуло воспоминание о чем-то очень важном, но сразу же исчезло.

Видите ли, если не считать того, что мистер Фодерингей потерял способность творить чудеса, все остальное стало таким, каким было, а следовательно, и его ум и память тоже стали такими, какими были до того, как началась эта история. Так что все рассказанное здесь остается ему неизвестным и по сей день. И, разумеется, он по-прежнему не верит в чудеса.

- Я утверждаю, что настоящих чудес не бывает, что бы вы там ни говорили, и готов вам это неопровержимо доказать.

- Это по-вашему так, - возразил Тодди Бимиш и добавил: - Докажите, если можете!

- Послушайте-ка, мистер Бимиш, - сказал мистер Фодерингей. - Давайте разберемся, что такое чудо. Это нечто несовместимое с законами природы и произведенное усилием воли...



1899

## Звезда

Пер. - Н.Кранихфельд.

В первый день нового года три обсерватории почти одновременно объявили, что в движении планеты Нептун, самой отдаленной из всех обращающихся вокруг Солнца, замечена большая неправильность. Огилви еще в декабре указал на непонятное замедление движения Нептуна. Подобное сообщение, однако, не могло заинтересовать мир, большая часть населения которого не знала даже о существовании планеты Нептун. Открытие еле заметного отдаленного пятнышка света в районе загапризничавшей планеты также не вызвало ни у кого особенного волнения, если не считать астрономов. Однако ученые обратили серьезное внимание на это сообщение даже раньше, чем стало известно, что новое тело быстро увеличивается и становится все ярче, что его движение совершенно непохоже на движение планет и что Нептун и его спутник все больше и больше отклоняются от обычной орбиты - явление совершенно беспрецедентное.

Помимо ученых, мало кто способен представить себе всю чудовищную изолированность солнечной системы. Солнце, его крохотные планеты, пылинки астероидов и бесплотные кометы плывут в беспредельной пустоте, почти непостижимой для воображения. За орбитой Нептуна, насколько мы можем судить, простирается пустое пространство, лишенное тепла, света и звука, абсолютная пустота, миллион миль, повторенный двадцать миллионов раз, - таково наименьшее расстояние, которое нужно пересечь, чтобы достичь ближайшей звезды. И за исключением немногих комет менее материальных, чем тончайшее пламя, на памяти человечества ничто не пересекало бездны этого пространства, пока в самом начале XX века не появилось это неизвестное блуждающее тело. Огромная масса материи, тяжелая, стремительная, неожиданно вынырнула из черной безвестности небесной пустоты в пределы, доступные лучам Солнца. На второй день пришелец был ясно виден даже в слабый телескоп, как пятнышко с еле уловимым диаметром, в созвездии Льва, вблизи Регула. Скоро его можно было наблюдать в театральный бинокль.

На третий день нового года читатели газет на обоих полушариях были впервые оповещены о действительном значении этого необычного небесного явления. "Столкновение планет" - так озаглавила статью одна лондонская газета, публикуя высказанное Дюшеном мнение, что неизвестная новая планета, вероятно, столкнется с Нептуном. Редакционные статьи были посвящены той же теме. Таким образом, третьего января в большинстве мировых столиц царил неясное ожидание какого-то неминуемого небесного явления, и, когда зашло солнце и на земле наступила ночь, тысячи людей обратили взоры на небо, чтобы увидеть все те же давно знакомые звезды.

Ничто не изменилось, пока в Лондоне не наступил рассвет и не зашло созвездие Близнецов, а звезды над головой не начали бледнеть. Это был обычный зимний рассвет. Тьма медленно сменялась дневным сумраком, а кое-где желтый блеск газа и свечей в окнах показывал, что люди уже встают. И вдруг сонный полицейский перестал зевать, замерли суесящиеся люди на рынках, рабочие, спешившие на работу; развозчики молока и разносчики газет, усталые, бледные кутилы, возвращающиеся домой, бездомные бродяги и часовые на своих постах, батраки, бредущие в поле, и браконьеры, тайком пробирающиеся домой (вся сумрачная, пробуждающаяся страна увидела это) и в океане - моряки, ожидавшие дня: в западной части неба внезапно вспыхнула большая белая звезда!

Она была ярче любой звезды на нашем небосклоне, ярче вечерней звезды в часы наибольшей яркости. Она сверкала, белая и большая, еще час после наступления дня, уже не мерцающая точка, а небольшой круглый сияющий диск. И там, куда еще не дошли научные знания, люди

смотрели на нее со страхом и говорили о войнах и моровых язвах, предвещааемых этим огненным знаменем в небе. Коренастые буры, темнокожие готтентоты, негры Золотого Берега, французы, испанцы, португальцы - все стояли под лучами восходящего солнца, наблюдая, как странная новая звезда исчезала за краем горизонта.

А в сотнях обсерваторий уже несколько часов нарастало сдержанное волнение, прорвавшееся, когда два далеких тела столкнулись; в спешке готовились фотографические аппараты и спектроскопы, чтобы запечатлеть небывалое, удивительное явление - гибель целого мира. Ибо в огне погиб целый мир - планета, сестра нашей Земли, но намного превосходившая ее размерами. Неизвестная планета, явившаяся из неизмеримых глубин пространства, ударилась о Нептун, и жар, возникший от столкновения, превратил два твердых тела в единую раскаленную массу. В тот день, за два часа до восхода Солнца, бледная большая звезда обошла весь мир и исчезла из виду на западе, когда Солнце встало уже высоко. Повсюду люди дивились на эту звезду, но из всех, кто видел ее, больше всего удивлялись ей моряки - постоянные наблюдатели звезд, - ведь, находясь далеко в море, они ничего не слышали о ее появлении, и теперь глядели, как она восходит, подобно карликовой Луне, поднимается к зениту, висит над головой и на исходе ночи потухает на западе.

А когда она снова возшла над Европой, толпы зрителей на пригорках, на крышах домов, на открытых местах уже смотрели на восток, ожидая восхода этой новой большой звезды. Она восходила, предшествуемая белым сиянием, подобным блеску белого огня, и те, кто в предыдущую ночь видел ее рождение, теперь разразились криками. "Она стала больше! - кричали они. - Она стала ярче!" И действительно, хотя серп Луны, заходившей на западе, был гораздо больше, он при всей своей величине сиял не ярче маленького диска удивительной звезды.

"Она стала ярче!" - восклицали толпившиеся на улицах люди. Но наблюдатели в темных обсерваториях переглядывались, затаив дыхание. "Она приближается, - говорили они. - Приближается!"

И один голос за другим повторял: "Она приближается!" И телеграф выстукивал это известие, и оно передавалось по телефонной проволоке, и в тысяче городов перепачканные наборщики набирали слова: "Она приближается!" Клерки в конторах бросали перья, пораженные страшной мыслью, люди, разговаривавшие в тысяче мест, вдруг осознавали страшную возможность, заключенную в словах: "Она приближается!" Эти слова неслись по просыпающимся улицам; их выкрикивали на покрытых инеем дорогах мирных деревень. Люди, прочитавшие эти слова на трепещущей телеграфной ленте, стояли в желтом свете открытых дверей и кричали прохожим: "Она приближается!" Хорошенькие женщины, раскрасневшиеся, сверкающие драгоценностями, выслушивали от своих кавалеров в перерыве между танцами шуточный рассказ об этом событии и с притворным интересом опрашивали: "Приближается? В самом деле? Как интересно! Каким умным, умным человеком надо быть, чтобы сделать такое открытие!"

Одиноким бродягам, не нашедшим приюта в эту холодную зимнюю ночь, поглядывали на небо и бормотали, чтобы отвлечься: "Пусть приближается, ночь холодна, как благотворительность. Только если она даже и приближается, тепла и от нее все равно немного".

- Что мне за дело до новой звезды? - кричала плачущая женщина, опускаясь на колени возле умершего.

Школьник, вставший рано, чтобы готовиться к экзамену, размышлял, глядя сквозь покрытое морозным узором стекло на большую, ярко сияющую белую звезду. "Центробежность! Центростремительность... - сказал он, подперев кулаком подбородок. - Если планета, потеряв свою центробежную силу, вдруг остановится, что тогда? Будет действовать сила центростремительная - и планета упадет на Солнце. И тогда... Окажемся ли мы на ее пути? Неужели..."

Этот день угас, как и все предыдущие бесчисленные дни, а в поздние часы морозной ночи вновь пришла странная звезда. Она была теперь так ярка, что увеличившаяся Луна казалась только бледно-желтой тенью самой себя. Один из городов Южной Африки встречал наиболее уважаемого из своих граждан и его молодую жену, возвращавшихся из свадебной поездки. "Даже небеса иллюминированы", - сказал льстец. Под тропиком Козерога двое темнокожих влюбленных, чья любовь была сильнее страха перед дикими зверями и злыми духами, притаились в камышах, где летали светляки. "Это наша звезда", - шептали они, упоенные ее серебристым сиянием.

Великий математик у себя в кабинете отодвинул лежавшие перед ним листы бумаги: его вычисления были закончены. В белом пузырьке еще оставалось немного лекарства, которое помогало ему бодрствовать и работать в течение четырех долгих ночей. Каждый день он, как всегда, спокойный, точный, терпеливый, читал лекции студентам, а затем возвращался к своим вычислениям. Его осунувшееся и немного воспаленное после искусственной бессонницы лицо было серьезно. Некоторое время он, казалось, о чем-то размышлял. Потом подошел к окну, и штора, щелкнув, поднялась. На полпути к зениту, над скученными крышами, трубами и колокольнями города, висела звезда.

Он взглянул на нее так, как смотрят в глаза честному противнику.

- Ты можешь убить меня, - сказал он, помолчав. - Но я могу вместить тебя - и всю вселенную тоже - в этом крошечном мозгу. Я не захотел бы поменяться с тобой. Даже теперь.

Он посмотрел на маленький пузырек.

- Больше спать незачем, - сказал он.

На следующий день в полдень, точно, минута в минуту, он вошел в свою аудиторию, положил шляпу, как всегда, на край стола и тщательно выбрал самый большой кусок мела. Студенты утверждали, будто он может читать лекцию, только если вертит в пальцах мел, и однажды, когда мел был спрятан, он якобы не сумел сказать ни слова. Теперь он посмотрел из-под седых бровей на поднимающиеся амфитеатром ряды молодых, оживленных лиц и заговорил в обычной своей манере, выбирая самые простые слова и фразы.

- По некоторым обстоятельствам, от меня не зависящим, - сказал он и остановился, - я не смогу закончить этот курс. Судя по всему, милостивые государи, если говорить кратко и ясно, судя по всему, человечество жило напрасно.

Студенты переглянулись: не ослышались ли они? Не сошел ли он с ума? Они поднимали брови, они усмехались, но двое-трое напряженно смотрели на спокойное, обрамленное седыми волосами лицо профессора.

- Было бы интересно, - продолжал он, - посвятить сегодняшнее утро расчетам, которые привели меня к такому выводу. Постараюсь, насколько могу, все вам объяснить.

Предположим...

Он повернулся к доске, обдумывая диаграмму, как делал это обычно.

- Что значит "жило напрасно"? - шепотом спросил один студент другого.

- Слушай! - отозвался тот, кивая на лектора.

Скоро они начали понимать.

В эту ночь звезда взошла позднее, так как движение на восток увлекло ее через созвездие Льва к Деве, и свет ее был так ярок, что, когда она поднялась, небо стало прозрачно-синим и все звезды скрылись, за исключением Юпитера, бывшего в зените, Капеллы, Альдебарана, Сириуса и двух звезд Большой Медведицы. Она была ослепительно белой и очень красивой. Во многих местах земного шара в эту ночь вокруг новой звезды заметили бледное кольцо. Она стала заметно больше. В ясном небе тропиков она благодаря преломлению света, казалось, достигла величины почти четверти лунного диска. В Англии земля была по-прежнему покрыта инеем, но свет заливал все, как в летнюю лунную ночь. В этом холодном, ясном свете можно было разобрать обыкновенную печать, и городские фонари казались желтыми и бледными.

В эту ночь на земле никто не спал, и в Европе над деревнями в холодном воздухе стоял глухой гул, подобный жужжанию пчел в кустах. В городах он разрастался в набат. Это звонили колокола на миллионах башен и колоколен, призывая людей отказаться от сна, не грешить больше и собираться в церквях для молитвы. А в небе, по мере того как Земля совершала свой поворот вокруг оси и ночь проходила, поднималась ослепительная звезда.

Во всех городах улицы и дома светились огнями, верфи сияли, и всю ночь дороги, ведущие к возвышенностям, были освещены и полны народом. По всем морям, омывающим цивилизованные страны, суда с паровыми машинами, суда с надутыми парусами плыли на север, набитые людьми и животными, потому что по всему свету телеграф уже разнес переведенное на сотни языков предупреждение великого математика. Новая планета и Нептун, сплетенные в пламенном объятии, неслись все быстрее и быстрее к Солнцу. Огненная масса уже пролетала по тысяче миль в секунду, и с каждой секундой ужасающая скорость увеличивалась. Если бы планета сохранила свое направление, то пролетела бы на расстоянии ста миллионов миль от Земли и не причинила бы ей вреда. Но вблизи этого ее пути, пока еще почти не потревоженная, вращалась со своими лунами могучая планета Юпитер, совершая величественный оборот вокруг Солнца. С каждой минутой притяжение между огненной звездой и величайшей из планет становилось все сильнее. Что могло произойти в результате? Юпитер неизбежно должен был отклониться от своей орбиты и начать двигаться по эллипсу, а огненной звезде, отвлекаемой его притяжением, предстояло "описать кривую" и по пути к Солнцу либо столкнуться с Землей, либо пройти очень близко от нее. "Землетрясения, вулканические извержения, циклоны, гигантские приливные волны, наводнения и неуклонное повышение температуры до неизвестно какого предела" - вот что предсказывал великий математик.

А в вышине, подтверждая его слова, сияла одинокая, холодная, голубовато-белая звезда близящегося светопреставления.

Многим, кто, до боли напрягая зрение, смотрел на нее в эту ночь, казалось, что ее приближение заметно на глаз. И в эту же ночь неожиданно изменилась погода: мороз, охвативший Центральную Европу, Францию и Англию, сменился оттепелью.

Но если я сказал, что люди молились всю ночь напролет, садились на корабли, бежали в горы, - это не значит, что весь мир был охвачен ужасом из-за появления звезды. Привычка и нужда по-прежнему правили миром, и, если не считать разговоров в свободное от работы время, созерцания великолепия ночного неба, девять человек из десяти жили своей обычной жизнью. Во всех городах все магазины, за исключением одного или двух, тут и там открывались и закрывались в положенное время; врачи и гробовщики занимались своим делом, рабочие собирались на фабриках, солдаты маршировали, ученики учились, влюбленные искали встреч, воры прятались и убегали, политики строили свои планы. Печатные машины грохотали ночи напролет, выпуская газеты, и многие священники той или иной церкви отказывались открывать свои храмы, чтобы не поощрять того, что они считали безрассудной паникой. Газеты напоминали об уроке тысячного года: тогда ведь тоже ожидали конца света. Звезда, в сущности, не звезда, а только газ, комета; и даже если бы это была звезда, все равно она не может столкнуться с Землей. Таких случаев еще не было. Всюду о себе заявлял здравый смысл - презрительный, насмешливый, склонный требовать строгих мер против упрямых паникеров. Вечером, в семь часов пятьдесят минут по гринвичскому времени, звезда сблизится с Юпитером. Тогда будет видно, какой оборот примет дело. В грозном предостережении великого математика многие были склонны видеть искусную саморекламу. В конце концов здравый смысл, немного разгоряченный спором, отправился спать и тем доказал незыблемость своих убеждений. Варварство и невежество, которым приелась эта новинка, также вернулись к привычным занятиям, и все животное царство, за исключением воющих собак, перестало обращать внимание на звезду.

И все же, когда наблюдатели в европейских государствах снова увидели звезду, которая, правда, взошла на час позднее, но казалась не больше, чем в предыдущую ночь, не спало еще

достаточное количество скептиков, чтобы высмеять великого математика и заключить, что опасность уже миновала.

Но скоро насмешки стихли: звезда росла. Она росла с грозным постоянством, час от часу; с каждым часом она приближалась к полуночному зениту и становилась все ярче и ярче, пока не превратила ночь в день. Если бы звезда двигалась к Земле не по кривой, а по прямой, и если бы она не потеряла своей скорости под влиянием притяжения Юпитера, она должна была бы пролететь бездну, отделявшую ее от Земли, в один день, но она двигалась по кривой, и ей потребовалось целых пять дней, чтобы приблизиться к нашей планете. На следующую ночь, когда звезда возшла над Англией, она была величиной в треть лунного диска, и оттепель все усиливалась. Взойдя над Америкой, звезда была уже величиной почти с Луну, но в отличие от Луны она слепила и жгла. И там, где она всходила, начинал дуть жаркий ветер, а в Виргинии, Бразилии и в долине реки святого Лаврентия она блестела сквозь клубы грозových туч, сверкающих фиолетовыми молниями и сыплющих небывалым градом. В Манитобе наступила оттепель и началось опустошительное наводнение. На всех горах в эту ночь начали таять снега и льды, все реки, берущие начало в этих горах, вздулись, и забурили, и скоро в верховьях потащили деревья, трупы людей и животных. Вода поднималась с неизменным постоянством, озаренная призрачным блеском, и наконец вышла из берегов и хлынула вслед за бегущим населением речных долин.

На южноатлантическом и аргентинском побережье приливы были выше, чем когда-либо на памяти людей, и во многих местах бури гнали воду на много миль в глубь материка, затопляя целые города. За ночь зной стал так велик, что восход солнца казался приближением тени. Начались землетрясения; они прокатились по всей Америке, от Полярного круга до мыса Горн, сглаживая горные склоны, разрезая землю, обращая дома и ограды в щебень. После одной такой могучей судороги рухнула половина Котопахи и хлынул жидкий поток лавы, такой глубокий, широкий и быстрый, что он в один день достиг моря.

А звезда продвигалась над Тихим океаном, имея в кильватере побледневшую Луну и волоча за собой, как шлейф, грозные бури и растущую приливную волну, которая тяжело катилась за ней, пенясь, захлестывая один остров за другим и начисто смывая с них людей. И наконец эта клокочущая страшная стена в пятьдесят футов высоты, озаренная ослепительным светом, гонимая раскаленным ветром, с голодным воем обрушилась на все азиатское побережье и ринулась в глубь материка по равнинам Китая. Недолгие минуты звезда, теперь более горячая, громадная и яркая, чем самое жаркое Солнце, с беспощадной ясностью озаряла обширную густонаселенную страну, ее города и деревни с пагодами и садами, дороги, необозримые возделанные поля и миллионы лишившихся сна людей, в беспомощном страхе глядящих в добела накаленное небо, а потом на них надвинулся все нарастающий рокот воды. Та же участь постигла в эту ночь многие миллионы людей: они бежали, сами и не зная куда, задыхаясь, с помутившимся от страха сознанием, а сзади вставала стремительная белая стена воды. И наступала смерть.

Китай был залит слепящим белым светом, но над Японией, Явой и всеми островами Восточной Азии большая звезда вставала тусклым огненным шаром, потому что вулканы, приветствуя ее, выбрасывали в воздух огромные столбы пара, дыма и пепла. Вверху были раскаленные газы и пепел, внизу - яростные потоки лавы, и вся Земля содрогалась и гудела от толчков землетрясения. Вскоре начали таять вечные снега Тибета и Гималаев, и вода по десяткам миллионов углубляющихся, сходящихся русел устремилась на равнины Бирмы и Индостана. Сплетенные кроны индийских джунглей пылали в тысяче мест, а в воде, кипящей у основания стволов, плыли темные тела и все еще слабо шевелились в свете кроваво-красных языков пламени. В слепом ужасе бесчисленные людские толпы устремились по широким водным дорогам к последней надежде человечества - к открытому морю.

Звезда с ужасающей быстротой становилась теперь все больше, все жарче, все ярче. Океан под тропиками перестал фосфоресцировать, и пар призрачным вихрем клубился над темными, вздымающимися валами, на которых чернели пятна гонимых бурей кораблей.



И тогда случилось нечто удивительное. Тем, кто в Европе ожидал восхода звезды, показалось, что Земля перестала вращаться. Везде - на открытых вершинах холмов и на плоскогорьях - люди, спасавшиеся здесь от наводнения, рушащихся домов и горных обвалов, напрасно ожидали этого восхода. Час проходил за часом в томительном ожидании, а звезда все не всходила. Снова люди увидели древние созвездия, которые они считали исчезнувшими для себя навсегда. В Англии было жарко, но небо было ясное. Хотя Земля содрогалась непрерывно, но в тропиках просвечивали сквозь пелену пара Сириус, Капелла и Альдебаран. И когда наконец большая звезда вошла - почти на десять часов позже, чем прежде, - вслед за ней почти сразу вошло Солнце, а в центре белого сердца звезды виднелся черный диск.

Звезда начала замедлять свое движение, проходя еще над Азией, и вдруг, когда она висела над Индией, свет ее затуманился. Вся индийская равнина от устья Инда до устья Ганга этой ночью представляла собой неглубокое сверкающее озеро, над поверхностью которого поднимались храмы и дворцы, плотины и холмы, черные от усеявших их людей. На каждом минарете гроздьями висели люди и один за другим падали в мутную воду, когда жара и страх наконец одолевали их. Над всей страной стоял непрерывный вопль, и вдруг на это горнило отчаяния набежала тень, подул холодный ветер, и за клубились тучи, порожденные охлаждением воздуха. Смотревшие вверх на звезду, почти ослепленные люди заметили, что на нее наползает черный диск. Между звездой и Землей проходила Луна. И как будто в ответ на мольбы людей, воззвавших к богу, в минуту этой передышки на востоке со странной, необъяснимой быстротой вынырнуло Солнце. И звезда. Солнце и Луна, все вместе, понеслись по небу.

И вскоре те, кто так долго ждал появления звезды в Европе, увидели, как она вошла почти одновременно с Солнцем; некоторое время оба светила стремительно неслись по небу. Их движение замедлилось, и наконец они остановились, слившись в одно блестящее пламя в зените. Луна больше не затемняла звезды, и ее уже нельзя было различить в ярком блеске неба. И хотя большинство уцелевших смотрели на небо в мрачном оцепенении, порожденном голодом, усталостью, жарой и отчаянием, все же нашлись люди, понявшие значение этих явлений. Звезда и Земля сошлись на самое близкое расстояние, проплыли рядом, и звезда начала удаляться. Она уже уменьшалась, все быстрее и быстрее завершая свой стремительный полет к Солнцу.

Потом сгустились тучи и скрыли небо, и грозы окутали весь мир огненной тканью молний; по всей земле пролились такие ливни, каких люди никогда еще не видали, а там, где вулканы извергали красное пламя к балдахину туч, с неба низринулись потоки грязи. Повсюду вода отступала с равнин, оставляя покрытые грязью и тиной развалины, и земля, как взморье после бури, была усеяна всевозможными облаками и трупами людей и животных. Вода возвращалась в русла много дней, смывая почву, деревья и дома, намывая огромные дамбы и вырывая глубокие овраги. Это были дни мрака, сменившие дни звезды и зноя. Все это время и в течение еще многих недель и месяцев продолжались непрерывные землетрясения.

Но звезда прошла, и люди, гонимые голодом, понемногу собирались с мужеством и возвращались в свои разрушенные города, к опустошенным житницам и залитым полям. Те немногие суда, которым удалось спастись от бурь, подошли к берегу, полуразбитые, осторожно пробираясь среди новых скал и отмелей, выросших в ранее хорошо знакомых гаванях. А когда бури утихли, люди заметили, что повсюду дни стали жарче, чем раньше. Солнце делалось больше, а Луна, уменьшившись до одной трети своей прежней величины, совершает свой оборот вокруг Земли за восемьдесят дней.

В нашу задачу не входит рассказывать о новых братских отношениях между людьми; о том, как были спасены законы, книги и машины, о странной перемене, происшедшей с Исландией, Гренландией и побережьем Баффинова залива: такими зелеными, цветущими стали эти места, что приплывшие туда моряки с трудом поверили своим глазам. Не будет здесь рассказано и о том, как в результате потепления люди расселились к северу и к югу, ближе к полюсам. Это была только история появления и исчезновения звезды.

Марсианские астрономы - потому что на Марсе есть астрономы, хотя марсиане - существа, сильно отличающиеся от людей, - были, естественно, глубоко заинтересованы этими явлениями. Конечно, они рассматривали их со своей точки зрения. Один из них писал: "Принимая во внимание величину и температуру метательного снаряда, пущенного через нашу солнечную систему к Солнцу, можно только удивляться, что на Земле, едва не задетой снарядом, имели место сравнительно незначительные разрушения. Все известные нам очертания континентов и водных пространств остались прежними, и единственно заметной переменной было значительное уменьшение белых пятен, которые считаются замерзшей водой на земных полюсах".

Это только показывает, какими ничтожными кажутся величайшие людские бедствия, если смотреть на них с расстояния нескольких миллионов миль.

1899